

Г. И. УСПЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 4

ИЗ ДЕРЕВЕНСКОГО ДНЕВНИКА

МУЧЕНИКИ МЕЛКОГО КРЕДИТА

НЕПОРВАННЫЕ СВЯЗИ

ОВЦА БЕЗ СТАДА

МАЛЫЕ РЕБЯТА

БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАНЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Издание осуществляется
под общей редакцией
В. П. ДРУЗИНА

*Подготовка текста
и примечания*
Н. И. СОКОЛОВА

ИЗ ДЕРЕВЕНСКОГО ДНЕВНИКА

ИЗ ДЕРЕВЕНСКОГО ДНЕВНИКА

I

Внимание к деревне. — Слепое-Литвино. — Помещичий дом и его владельцы старые и новые. — Барин и мужик. — Волость. — Бумажная точность. — «Без разговоров!» — Денег — денег! — Заработки. — Понравился господам. — Крестьянин Иван Афанасьев. — Бабий заработок.

1

Никогда русская деревня и даже просто «деревенская глушь» не пользовалась в такой степени благосклонным вниманием образованного русского общества, как в настоящее время. Одни, убедившиеся в бесплодности своего интеллигентного существования «в одиночку», ищут, или вернее, полагают найти под соломенными крышами недостающее им общество, среди которого и надеются растворить остатки своих умственных и нравственных сил (см. рассказ «Овца без стада»). Другие, напротив, полагают найти под теми же крышами нечто совершенно новое, небывалое, спасительное чуть не для всего человечества, погибающего от эгоистически направленной цивилизации. Третьи интересуются ею просто с эгоистической точки зрения, стремясь доподлинно знать, что̀ именно можно взять у деревни для улучшения своего интеллигентного существования («Малые ребята»). Но вообще для каждой из заинтересованных групп совершенно ясно стало в последние дни, что деревня начала играть значительную роль и что мой карман, мой ум, мой душевный мир — все это как будто находится в самой тесной связи с карманом, умом и душой деревни. Оказалось, что пустота деревенского кармана опустошит и мой; темнота деревенского ума не даст хода и моему уму, довольно-

таки просвещенному, а иное направление деревенского духа может парализовать и в одно мгновение уничтожить громадные жертвы и труды, страстно и бескорыстно направленные ко благу всего человечества. Когда во главе этой удивительной деревенской силы стояла помещичья власть, никто и не думал считать деревенские соломенные крыши за нечто достойное внимания. Нужно было одно: извлекать из этой соломы золото. И золото это являлось — стоило только барину дать приказ бурмистру. Нужно было водворить где-нибудь цивилизацию, умиротворить, смирить, и проч., и проч. — опять-таки стоило приказать, и мужик бегом бежал через моря и реки, через Балканы и Альпы, забирался в Париж, подъезжал к Англии... Все было возможно в ту пору по единому мановению... Но теперь, когда волшебный жезл из рук интеллигентных передан самому мужику, когда он находится не у помещичьего бурмистра, а у народного, волостного суда, — теперь настало время подумать и о деревне, тем более что за полштоф водки волостной суд иной раз может и не пустить жезла в ход, а тем самым неминуемо подвергнуть опасности и карманное и нравственное спокойствие образованного человека. Необходимо поэтому знакомиться с деревней, узнать, что̀ в ней есть, чего она хочет, о чем думает и вообще что̀ она такое.

Нижеследующие очерки ни в каком случае не имеют претензии отвечать обстоятельно на всю массу вопросов, возбуждаемых русской деревней, потому что это действительно только беглые, случайные заметки человека, так же, как и огромное большинство читателей, незнакомого с деревней и только теперь сознавшего необходимость этого знакомства. Кроме того, случайные наблюдения этих заметок относятся к известной только местности, Новгородской губернии, — к известной деревне, с которыми пришлось пишущему эти строки познакомиться в известное время, именно летом 1877 года. Делать поэтому какие-нибудь общие выводы относительно вообще положения деревни и тем более относительно *народного* духа и миросозерцания — будет невозможно.

При большем досуге и внимательности к делу деревенька, о которой идет речь, могла бы дать обильный и богатый материал, освещающий многое множество смутных представлений о русской действительности, так как

в ней счастливо соединились все нравственные и экономические черты, отличающие наше переходное время: она знакома и с железной дорогой, которая проходит недалеко, и с заработком, благодаря дороге, на чужой стороне, и с барином совершенно нового, коммерческого, даже прямо кулацкого типа (арендатором), словом — знакома с возможностью хлопотать и биться для себя, для улучшения своего положения и в то же время твердо помнить времена крепостного права в лице коммерсанта-барина. Есть тут старые старики, для которых теперешний мужик — распутник и пьяница, которые ропщут и на папироски, и на высокие смазные сапоги, и вообще на все порядки, повторяя при всяком удобном и неудобном случае: «а отчего? — оттого, что волю дали! страху нету». Есть и молодые, которые как будто чуть-чуть задумываются над вопросом: «да почему же, в самом деле, непременно нужно так много страху?» Есть старухи, которые, заслышав о «некрутчине», впадают в какой-то трагический экстаз, ходят как помешанные, причитая и махая по ветру платком и раздирая вам, постороннему человеку, своим беспредельным горем всю душу. И есть парни, которые не то чтобы рвутся в эту некрутчину, а просто не считают ее таким ужасом, о каком помнит старуха. Знают эти парни, что служба коротка, харч хорош, а уйти... отчего ж и не уйти отсюда?.. Словом, измененные экономические и общественные условия в положении мужика, изменившие — или по крайней мере изменяющие его нравственный мир, — могли бы быть наблюдаемы в нашей деревеньке весьма успешно, если бы, повторяю, был досуг, то есть не одно только лето, а год и два, и если бы необходимой внимательности не препятствовала значительная личная отчужденность от деревни.

Запишем поэтому, что можем.

2

Вид деревеньки самый обыкновенный. Холмистые поля спускаются к речке, не широкой и не глубокой, в которой будто бы в прошлые времена было «страсть сколько» рыбы. Теперь рыба перевелась; изредка попа-

дается окунь в четверть величиной да уклейка, занимающаяся съеданием червяков на удочках и потом быстро убегающая. *«Прежде были»* язи, лещи. «Во какие!» — показывают старожилы (те самые, что говорят: «страху мало»), растопыривая руки на аршин. Щуки в прежнее время попадались по три аршина и по два пуда весу. Теперь ничего нет — ни язей, ни щук; плотва иной раз побалует мужика, а то больше всё раки; да и раки-то не те, что прежде, а маленькие, корявые — «шут их знает, что за раки за такие!» Под впечатлением этих баснословных рассказов о баснословных язях и щуках современный деревенский рыболов может по целым дням мучить себя, тщетно разыскивая по обоим берегам речонки «клёвых мест» и тщетно надеясь на хороший улов: рыбы в самом деле нет; а если и есть, то она почему-то умеет только съедать червяка и уходить. «Видно, и рыба тоже поумнела,— невольно думает современный рыболов: — какого веселого червяка насадил — и то ничего! В прежнее время она бы его так не оставила — эво, как рот-то бы разинула, со всем бы с нутром крючок тащить пришлось, — а тут вот на-ко!.. И червяк ее не веселит».

Веселый, жирный червяк в самом деле напрасно пляшет на крючке, напрасно юлит своим жирным телом, от боли конечно (от этого-то юления его и называют «веселым»): «нет в нонешней рыбе простоты, хитра стала и лукава...» Впрочем, иной раз внезапно, недуманно-негаданно, вдруг в безрыбную речонку забредет в самом деле какое-нибудь чудовище, какой-нибудь необыкновенный язь или какая-нибудь щука аршина в полтора. Откуда являются такие чудовища — решительно никто не знает, и хотя появления их редки, года в два — раз, но зато вполне достаточны, чтобы следующие поколения так же твердо верили в необыкновенные уловы, как верит в них и деревенская старина.

Берега речки кой-где покрыты кустарником, кой-где болотце и песочек, а на дне густая трава, которую большею частью и вытаскивают вместо рыбы мужики, задумавшие побродить (не раздеваясь) с бреднем. В рабочую пору в разных местах речонки мокнут деревянные бороны, перевернутые длинными зубцами в воду. Вообще речонка тиха, ничем не оживлена и молча, потихоньку

течет в тихих, молчаливых берегах. Называется эта речонка Слепухой; а деревенька, лежащая по другой ее стороне, называется Слепое-Литвино: тут, на этом самом месте, где стоит деревенька, по рассказам старожилов, ослепла Литва. Шла она несметным полчищем и, дойдя до этого места, вдруг ослепла и дальше не пошла.

Через Слепуху перекинут новый, земский мост, и его белые перила, белые новые сваи невольно радуют вас, говоря, что Слепое-Литвино не совсем забытая деревня, что кто-то помнит о ней. С середины моста открывается такой вид: направо, на крутом пригорке, среди густого березового парка, виднеется господский дом. Налево, по низменному берегу, виднеется, также из-за березок, красная крыша волостного правления, соединенного с несчастной деревенской «училисшей», а подальше, в приветливой зелени березничка, виднеется крылечко кабака. За этой передовой линией построек, обитаемых начальством и интеллигенцией, тянутся жиденькие крестьянские постройки, перемежающиеся плетнями, низенькими, почерневшими крышами амбарчиков и редкими, в двух-трех местах, купами небольших деревьев. Даже и издали трудно отыскать в массе деревянных построек хотя какие-нибудь черты, которые бы могли приветливо подействовать на глаз. «Кое-как», «ничего не поделаешь» и другие положения, выработанные человеком, у которого дела идут плохо, припоминаются даже вам, постороннему человеку, при взгляде на деревеньку. «Кое-как» покрыты крыши, и солома на них придерживается «кое-как» разбросанными на ней жердями; «кое-как» сплетен плетень, «кое-как» держится крыльцо. Даже не приходит и в голову смотреть на это олицетворение «ничего не поделаешь» как на вид или на пейзаж; только взглянешь и думаешь: «как бедно живут-то эти литвиновские мужики!..» Не будь этого нового моста, который говорит, что кто-то думает об этих глухих и бедных местах, тут было бы такому постороннему деревне человеку, как вы, читатель, как я, нестерпимо грустно и горько сразу, с первого дня по приезде сюда... Унылый, бедный вид деревеньки, эта задумчивая тишина, царящая в ней, этот ничем не привлекающий вашего испорченного разнообразием взора упорный, однообразный и беспрестанный труд, держащий деревеньку на белом свете, — все это,

столь неподходящее к вашим испорченным вкусам, производило бы в вас гнетущее ощущение одиночества.

Но вот на ваше счастье мост — и хороший мост, — и уж вам легче. Его правильность и известного рода изящность, старательность постройки и отделки почему-то понятней для вас и веселее, чем унылый вид деревни. Но это еще не все. Пройдя мост с одного конца на другой и приближаясь к крестьянским постройкам, мы, опечаленные серьезно-задумчивою бедностью деревни, с радостью встречаем настоящую мелочную лавку с настоящей вывеской: изображены на ней, по обыкновению, фрукты, виноградные кисти, маленький китаец, а продается деготь, хлеб, кнуты, вожжи, лапти, ситец, двухкопеечные сказки и трехкопеечные папиросы — с одной стороны — это для крестьян, и, с другой, писчая бумага, почтовые марки и папиросы фабрики Петрова — для высшего общества. Лавка эта выступила вперед из ряда крестьянских домов, поместившись на самом бойком месте. Деревня у нее за спиной, направо господский дом, налево волость, кабак, а за волостью, в расстоянии версты — церковь. Кроме этого, мимо нее бежит почтовая дорога на уездный город N.

По воскресным дням лавка эта набита битком; но из двадцати человек, преимущественно женщин, присутствующих в лавке, покупают (купят или нет — это еще неизвестно) никак не больше двух. Остальные только смотрят, любуются красивым видом ситцев, папиросных оберток, трогают товары рукой, прикасаются пальцем. И унылой деревеньке хочется так же чего-нибудь повеселей, покрасивей, как хочется и вам, постороннему в ней человеку. И деревеньку тоже тянет распрямиться иной раз и освободиться на минуту от своей трудовой задумчивости и исполненного серьезной заботы однообразия. Но постороннего, не деревенского человека, человека, долго жившего в городах, эта серьезная трудовая забота, веющая от всей деревенской обстановки, поражает почти испугом. Ему тотчас нужно чего-нибудь полегче, поснисходительней этих серьезных впечатлений; ему хочется куда-нибудь укрыться от них, и уж он наверное, и без всякой надобности, прежде всего сунется в лавку, если она есть, в волость, к «попу», в господский дом... Он рад будет встретить немецкий сюртук, хорошо запряженный

тарантас, даже обертку знакомого табаку. Так пугает русского, отторженного от народной жизни человека подлинный вид и смысл обыкновенного деревенского угла.

Вот какова существенная черта производимого деревнею впечатления. Эта трусливость перед деревней слагается из внезапной устали, одолевающей вас (еще только чутьем понимающего и только издали подавляемого размерами деревенского труда), из страха перед вашим бессилием и, к чести вашей, из капельки стыда.

«Легче, легче! — подавленное впечатлениями, вопиет все ваше существо: — чего-нибудь не так просто-правдивого, не так утомительно-ясного, не так кротко и покорно стыдящего вас... Чего-нибудь поразнообразнее, пообильнее красками, чего-нибудь, что́ бы не так правдиво и сильно действовало на вас и так дерзко не поднимало бы вашей умеющей прилаживаться к обстоятельствам совести».

В ряду таких облегчающих робкую интеллигентную душу пристанищ первое место несомненно занимает помещичий дом. Говорю на этот раз не о том только помещичьем доме, который украшает собою левый берег Слепухи, но о помещичьем доме всех деревенских углов земли русской.

Редкое поистине явление представляют эти рассадники отечественной аристократии. «Чего-чего не было тут в старые годы! Чего-чего не насмотрелись эти стены», — подумается всякому размышляющему о русском житье-бытье, а между тем в десять — пятнадцать лет наидлиннейшие хроники наидревнейших господских домов забываются почти бесследно, не оставляя в окружающих ни единого мало-мальски определенного воспоминания, то есть не оставляя, после своего долголетнего процветания, почти ничего, что́ бы имело какую-нибудь законность, смысл, соответственный этой законности явления, и соответственную им внешнюю форму. Всматриваясь в длинную историю помещичьего дома, как нельзя лучше убеждаешься, что в однообразных равнинах русской земли, в однообразнейших, все подводящих под одно, условиях естественных нет возможности вытанцоваться, самостоятельно выделиться из этого однообразия чему-нибудь такому в смысле привилегированности, что́ бы хоть капельку равнялось в прочности привилегированности

старого европейского мира. Простор, то есть в буквальном смысле обилие места для всех, и сознание этого простора, сознание того, что «всем хватит», не дают возможности развиваться в должной мере тому азарту эгоизма, которым должен был жить «благородный» человек. Я знаю, что у меня «может быть» много, что у меня есть это многое; знаю, что со временем оно будет мое, — и я уж вполовину покойнее, апатичнее переношу свое теперешнее затруднительное положение. А это сознание, что всем хватит, всегда жило и живет в крестьянине; оно и теперь помогает крестьянину изо дня в день тянуть свою лямку и позволяет ему быть иной раз очень веселым в самых крутых обстоятельствах. Оно было коротко знакомо и барину, который должен был чуять, что только казенное право ограждает его привилегированное положение, удерживает за ним его тысячи десятин и что без этого казенного ограждения решительно нет никаких резонов именно ему стоять выше последнего мужика, так как и этот последний мужик, никого и ничто не стесняя, ни у кого ничего ровнешенько не отнимая, может иметь те же самые тысячи десятин.

Именно у барина-то русского никогда и не было внутренней причины быть жадным, воевать за свое привилегированное положение, потому что у него и врагов-то не было никаких.

В высокой ограде своих казенных прав он сидел один, точно в тюрьме в одиночном заключении, и положительно сходил с ума. Кроме таких радостей, как в самом деле довольно хорошо разработанное служение еде и «греху», — что такое, хотя мало-мальски в привлекательных формах, осталось в назидание потомству даже от периода так называемых «настоящих» бар?.. Из тех отрывочных рассказов о прошлом, которые уцелели в воспоминании старожилов, вы услышите об ужасных зверствах, возводимых на степень удовольствия, об ужасных бесчинствах против слабых и бессильных попов и чиновников, бесчинствах, тоже имевших целью потеху, развлечение, и волей-неволей увидите, что наш феодал не мог выдумать ни удовольствия, ни потехи, ни развлечения, мало-мальски похожих на удовольствия здорового человека. Пороть и наслаждаться этим — надо быть больным; приклеить попу бороду к столу — надо быть

пьяным; вывалять станового в дегтю и пуху и потом заплатить ему — затея человека и не трезвого и не умного. Мало того, похоже ли на правду — быть другом человечества, человеком неописанной доброты, «хрустальной душой», и не сделать так, чтобы об этих дорогих качествах человеческой души и мысли хоть единое словечко припомнилось народом, не говоря уже о реальных фактах, которых настоящие, не больные человеколюбцы могли бы, при своем всемогуществе (по крайней мере в своем собственном углу), предъявить несметное множество? Словом, не вдаваясь слишком в подробные воспоминания, касающиеся внутреннего содержания и внешнего обличия старобарского житья-бытья, невольно убеждаешься в том, что мозг, ум, сердце плохо и нездорово делали свое дело в этих обширных, когда-то блистательных господских дворцах, и, напротив, что-то напоминающее расслабление мозга, вялость, упадок всех сил, болезненнейшие нервные припадки характеризует собою шумный период боярского житья. Ничего похожего нет на ястребиный образ жизни голодного, но жадного европейского хищника, безжалостно рвавшего куски из чужих рук и утаскивавшего их в свои орлиные гнезда. Это — ястреб. А наш барин — я и не знаю, чтó такое. Сидит и объедается, сечет, от скуки заводит тяжбу, бьет направо и налево и всем за это платит, «колобродит», в веселые минуты хоронит осетра или опять-таки дерет станового, попа. Еще хуже барин-вольтерьянец, революционер, собирающий оброки, продающий крестьянские деревни на своз. Какому ястребу придет в голову рассуждать о благе цыплят и в то же время хватать их? Ястреб только хватает и ест. Или: — какой голубь будет пожирать своих птенцов, как пожирал их голубь-революционер — барин, торговавший крестьянами? Все это таило в себе неправду, все говорило о недостатке внутренней сильной и резонной причины быть феодалом, барином. Не было причины стать во враждебные отношения к «черни непросвещенной», так как она и не думала враждовать. Ну как же, из чего, из какого материала выделать свое барство при таких неблагоприятнейших для неравенства условиях?

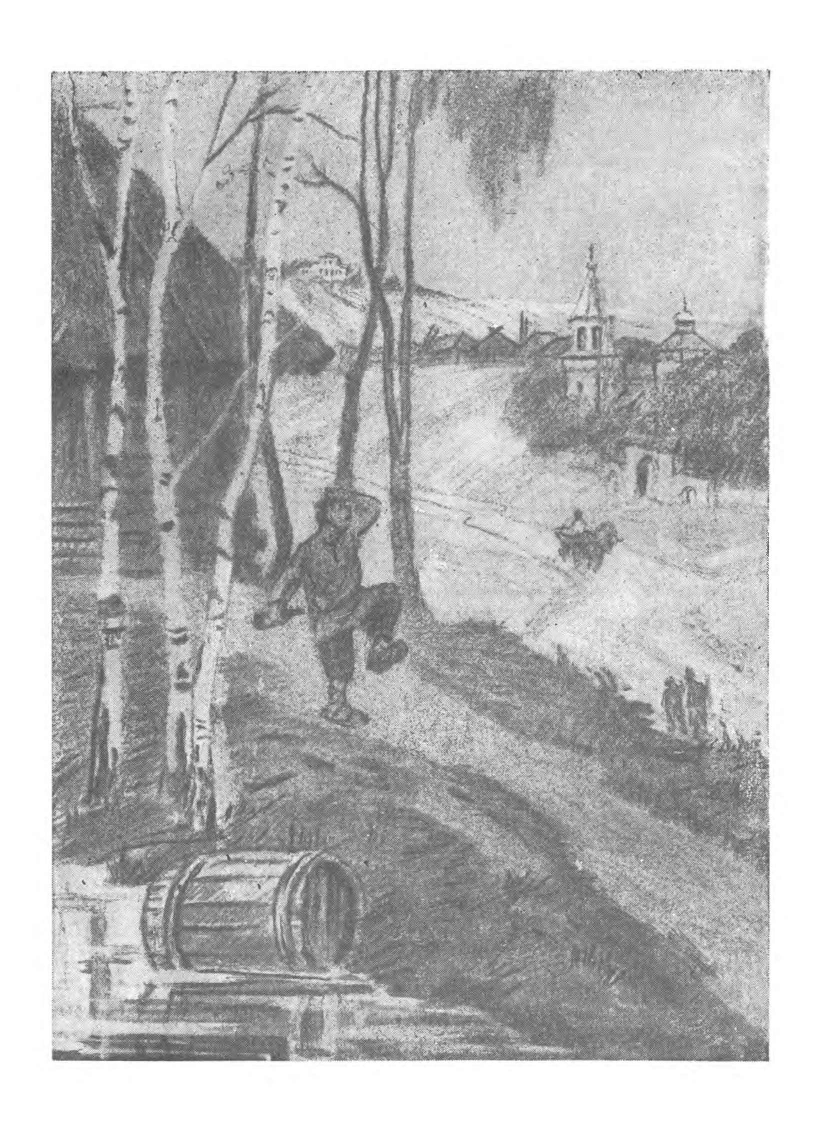
Слепое-Литвино также, хотя очень и очень смутно, помнит это время «настоящих» господ; но, кроме какого-то

утомления при уходе за этими капризными, больными и несчастными людьми, нет никаких прочных воспоминаний об этой знаменитой поре, нет ни прочной злобы на прошлое, нет и доброго о нем слова. Сторож, прослуживший по необходимости лет двадцать пять в сумасшедшем доме, должен был, мне кажется, по окончании этой службы точно так же вспоминать ее, как вспоминает мужик, то есть утомлением от этой возни с людьми, которые не знают, что делают, и бьют его, несчастного, и плюют, и ругают так, зря, без всякой причины, «ни за что».

3

Но вот, наконец, этот шумный, жирный период настоящего барства кончился, оставив по себе кучи законных и незаконных ртов и наследников, мебель, пропитанную жиром человеческим до того, что к ней нельзя прислониться (непременно прилипнет либо плечо, либо затылок), облупленные амуры на потолках, амуры и «псишэ» по стенам, громадный процесс в суде и несметную кучу долгов. Разбрелись музыканты, разбрелись повара, разбрелись по свету законные и незаконные рты, убедившись, что надо искать других кусков, так как «на всех» оставшегося нехватит. На весь этот порожденный праздностью, больною фантазией и обжорством люд, в самом деле, приходилось так мало (если разделить поровну), что для каждого рта было гораздо удобнее, ссылаясь на имеющее получиться богатство, занимать у первого ротозея, чем в самом деле получать это богатство в руки. Как сумели извертываться эти потомки доблестных отцов — очень хорошо рассказывают нам процессы, и мы не будем останавливаться на этом подробно. Неумение делать, неумение думать и бессилие не только победить, но даже и бороться с громадным аппетитом изуродованной плоти — вот вообще характерные черты, наследованные потомками.

Покуда разбредался весь этот «обреченный» народ, покуда он пристраивался так или сяк к разным местам и кускам, барский дом стоял один-одинешенек, полегоньку опустошаемый неведомо каким людом и быстро разрушаемый природой. Разрушались гроты, мостики,



монплезиры; отваливались деревянные лиры и венки с карнизов и балконов, и ветер вышибал стекла из итальянских и венецианских рам. Долго стоял в таком виде дом. Наконец где-то последовало какое-то решение, где-то объявлена продажа, — и дом попал в чьи-то новые руки. Началась новая история новых владельцев.

Владелец, последовавший за настоящими господами и барами, всегда почти не настоящий барин, а человек, *добившийся возможности* жить по-барски. Пишущему эти строки удалось видеть довольно характерный экземпляр такого «нового барина». С раннего детства человек этот, происходивший из мещанского семейства, знал нищету и нужду; лет с десяти он уже сидел в кабаке, с пятнадцати — занимал какую-то должность по откупу. По собственному его выражению, он тридцать лет ходил «по горло в грязи», в откупных подвалах, опаивая народ без жалости и снисхождения, отбиваясь взятками от судейских, словом — вращаясь в самом темном омуте самых темных условий русской жизни. Человек этот видал всякие виды: и он «подводил», и его «подводили»; и он упекал, и упекали его. Где кулаком, простым ударом, колом, где деньгами, где обманом, пронырством, хитростью вывертывался он из всяких положений, затруднений и к сорока годам вышел в люди, то есть стал одеваться по-господски, ездить в коляске по губернскому городу и творить блуд.

Рост, сложение и сила виденного мною субъекта были громадны. Это поистине был исполин, человек, который в сорокаградусные морозы мог править лошадьми без рукавиц, причем руки не только не мерзли, но, напротив, — от них валил пар, как от кипящего самовара. Обильно покрывавшие лицо и руки желто-синие веснушки и подстриженная жесткая, как проволока, рыжая борода, маленькие серые глаза в белых ресницах — всегда выдавали его мужицкую породу, в какие бы костюмы он ни наряжался и в каких бы колясках ни разъезжал. Это действительно и был мужик, попробовавший быть и жить барином. Наблюдения его над русскою жизнью были необыкновенно тонки, жестки и непоколебимы. Господ, владающих «нашим братом», он понимал тонко, выражался зло и метко, как умный мужик. Осмеивая и презирая то, от чего он отбился, — всю эту

гадость сорока лет своей жизни, он, делаясь барином, не только не был утомлен жизнью, не только не устал, но, напротив, — вошел в самый аппетит жизни в свое удовольствие, радуясь счастью положения, в котором можно смело сказать себе: «знать ничего не хочу, живу в свое удовольствие»... «Отцапал» (собственное выражение гиганта) он имение и зажил по-барски... но, увы! нет у нас особенных форм барской жизни. Ешь, пей, блуди: вот и все, что могли рекомендовать новому барину его предшественники. Как мужик, кулаком выбившийся в люди, он никоим образом не мог развлекаться вольтерьянством, или «пленной мысли раздраженьем». Что за чепуха! «Из мужиков только-только выбился, да опять в мужики? — ну уж это извините! Ты *мне* подай, а там я знать не хочу...» — сказал бы он всякому, кто бы стал учить его барскому поведению. Земства и прочие общественные обязанности он давно понял в простой форме взноса денег и решительно не имел охоты вожжаться со всем этим. «Слава богу, видали на своем веку... довольно!..» Чего-нибудь *эдакого*!.. хотелось ему, что̀ бы не напоминало прошлого. И прошлое это отозвалось на нем не одним презрением к людскому стаду.

Сознание горького горя этого прошлого всей своей суммой отразилось на нем по-мужицки, по-русски — «запоем». Этой болезнью он раз в год страдал в сильнейшей степени; но об этом после. Задача великана состояла в том, чтобы жить в свое удовольствие, для себя и притом не по-мужицки. «Нет ли чего получше?» Мгновенно идея великана была понята: дом наполнился знатоками не-мужицкого препровождения времени, и в пять лет, по его собственному выражению, он «проел» все имение...

На мой вопрос, каким это образом можно в такое короткое время «проесть» такую «прорву» денег? — гигант отвечал:

— Как проедают-то?.. Наживать трудно, а проесть, прожить — это, сделайте милость, сколько вам будет угодно.

— Ну как же, как?

— Да вот как, например. Теперь вот от моего дома до губернского города пятьдесят верст считается... так или нет?

— Так.

— Ну вот извольте потрудиться проехать эти пятьдесят верст не три или четыре часа, а примерно недельку или полторы... И при всем том, заметьте, лошади у нас первый сорт — тройки призовые... на эдаких лошадях тридцать верст в час — вот какая езда, а мы едем неделю или две...

— Что же вы делаете?

— Больше ничего, что едем «в свое удовольствие»! Компания нас тут собралась питухов, лучше требовать нельзя, — ну и... И у кабаков, и с бабами, и под горкой, и на лужочке, и на горке, и в кусточках, везде, где полюбится, — остановки, закуски, песни, да по рюмочке, да пошлем за шампанским, и так в продолжение всего времени — глядь — тысчонки четыре-пяток и рассортировал в разные места... Как проедали!?. Захотел только! Раз из Москвы метлу привез... совершенно даже из помойного ведра метла была эта, а спросите, во сколько обошлась, — и ахнешь...

— Зачем же метлу-то?

— Зачем? Фантазия — больше ничего!.. И не припомнишь всего-то, почему и что... Вступит вот в башку — давай метлу ли, что ли... ну и... Раз тоже на свадьбе у одного богача, на обеде в Тестовском трактире, в Москве, на стол на парадный влез да как тряхонул всем корпусом — на три с половиной тысячи и набил за один мах стекла да хрусталю одного... Фантазия, ничего не поделаешь!

Разговор наш происходил в большой парадной зале. Но, увы! это уже были остатки всякого великолепия и прошлого и нынешнего; гигант уже все проел и добивался продажи объедков, искал случая «всучить» их кому-нибудь, даже отдавал дом в аренду за недорогую цену, в полтораста рублей (это и было причиною нашего знакомства). Парадная зала как нельзя лучше рисовала этих новых «людей своего удовольствия». Весь пол, выкрашенный когда-то масляной краской, был изожжен окурками папирос и сигар, очевидно в изобилии усеивавших пол четырехугольниками, свидетельствовавшими о карточных или питейных столах. К изображениям амуров и психэ прибавились изображения того же направления, но попроще выражавшие мысль. Это были чуть не лубочные картинки, изображавшие или исключительно

голых женщин, или что-нибудь близко касающееся того же предмета: жена застает мужа, целующего кухарку; офицер спрятался за дверь, в которую входит старик, очевидно муж; у кровати видны женские башмачки. Словом, пол и стены говорили, что̀ делали люди, переломавшие в буквальном смысле всю мебель; теперь она не только липла, но валилась при каждом прикосновении; ни к стулу, ни к столу нельзя было прикоснуться: все расшатано громадным напившимся и наевшимся народом.

Рассказывая свои подвиги, великан был скучен и задумчиво смотрел в окно. Снег покрывал глубокими сугробами видневшиеся из окна балкон, почти вырубленный сад и соседние холмы.

— Вот тут был лесок, — говорил по временам гигант как бы сам с собой и в это время разглядывал комнату. — Десять тысяч взял... Проел! Там вот... тридцать... Семь с половиной — вон взял за кусок... ха-арроший березничек!.. Много тоже там оставлено...

— А ведь скучно вам, должно быть, от всего этого? — спросил я.

— Неужто нет? Смерть какая тоска!

— Это теперь; а тогда?

— Да и тогда забирала, признаться, иной раз ух какая меланхолия!.. Больше от нее и кутили-мутили... Подумаешь, подумаешь — все суета!.. Да так-то затоскуешь, так-то запечалишься... Прежде я запоем-то пил со зла. Набьется в душу разного гаду, разного пакостного составу, — эх, идол бы тебя взял, — и рванешь все с корнем, смаху, месяц прогоришь в кипучей смоле — и опять готов, и опять пошел в ход!.. А тут без дела-то тоска, пусто, чистая смерть, слабость, ну не знаю — хуже всякой муки! Ничего на душе нет... и не знаешь, за что прицепиться; не знаешь, как, *с чего запой-то начать*.

И тут рассказал он мне про прием, который он употреблял в такие минуты для того, чтобы «расчать» запой. Не находя в себе ни в чем, ни к чему ни аппетита, ни влечения, он прибегал к такому средству: ехал он обыкновенно для этого в Москву, чтобы не опозориться в губернском или уездном городе, или даже в деревне, и там, встав чем свет, шел в кабак, первый, какой откроется по раннему времени, выбирая самое пьяное из московских

мест: Грачовку, Солянку и т. д. В таких местах толпится всегда великое множество оборванного, безночлежного народа, воров, пьяниц и проч. Иные из них целую ночь мерзли на морозе, иные не ели, иные с ума сходят от головной боли и, трясясь, ищут случая опохмелиться. Вот эту-то жажду выпить для тепла, для похмелья и разыскивал великан для того, чтобы можно было «расчать». Войдя в кабак, он садился у двери, предварительно купив штоф водки, и поджидал этих жаждущих... Горький пьяница — первый посетитель кабака: стало быть, ждать приходилось недолго. Всякий такой несчастный, войдя, начинал Христом-богом молить целовальника дать ему выпить «ради Христа». Начиналась сцена, полная истинного ужаса: целовальник отказывал, а несчастный бился, и мучился, и умолял... Эту сцену великан созерцал до тех пор, пока одеревенелое воображение его хоть чуть-чуть начинало понимать мучившую несчастного жажду. Тогда он звал его к себе и давал водки, страстно любуясь той жадностью, с которой несет пьяница водку к губам, проливая и боясь пролить, и еще пристальнее наблюдал самую минуту питья и следующее за ним ощущение необыкновенной радости. На чужом примере, на чувстве чужой жажды великан воскрешал в себе самом ощущение этой жажды. Иной раз нужно было извести до шести полуштофов, перепоить десятки пьяниц, чтобы в горле и во всем существе великана проявились вызванные воображением симптомы такой же самой страстной жажды! Так ослаб он от жизни на барскую ногу. Прежде таких возбуждений не требовалось. Старухи пьяные особенно сильно действовали на него, так как мучения их были, по женской слабости, беспредельно сильнее мучения пьяных мужчин. После двух-трех старух у великана захватывало горло, и он принимался «садить» на две, на три недели. В такие минуты он пропивал не более десяти рублей всего-навсего. Мужицкие недуги недорого обходятся. Грабили его в таком виде, убивали и не добивали несчетное число раз; но бог хранил его, и до сих пор он все еще, как говорят, «слава богу».

Женат он в течение своей жизни три раза, причем первая его жена была за ним «за третьим», вторая — за вторым, и только третья была девушка, когда он уж успел быть два раза женатым. От всех этих браков у него были

дети; кроме того, у каждой жены его тоже были дети от предшествовавших великану мужей, и все это в высшей степени разнообразное население, включавшее в себя детей полковничьих, чиновничьих, купеческих, поповских и т. д. до бесконечности, кроме детей, прижитых, между прочим, и мужчинами и дамами этого круга, — все это, благодаря великану, ставшему барином, сгустилось, в цветущие времена житья в свое удовольствие, в старых покоях господского дома, одержимое ненасытною жаждою ничегонеделания и удовольствий. Благодаря широкому распутству великана, многое множество этого неизвестно зачем нарожденного народа навеки погибло, подышав атмосферой ничем не стесняемого скотства, и, разбредшись по лицу земли русской, после того как великан «проел» все свои «вольности» и угодья, — еще более увеличило собой густой слой то наглой, то беспомощной жадности, который и без того довольно густо осел после первого периода жизни *барских хорóм.*

4

Не имея с крестьянином коммерческих дел, не имея официальной власти, не покупая или не продавая крестьянину, барин никоим образом не может найти почти ни малейшей связи с крестьянином и, покуда не съест с ним двадцати пудов соли, едва ли может рассчитывать на искренность с его стороны, даже в самом простом, обыкновенном разговоре. У крестьянина прочно сложилось какое-то в самую кровь въевшееся убеждение, что барин *не понимает ровно ничего.* Не понимает «житейского», не понимает того, чтó держит человека на земле, чтò заправляет его жизнью, душой и думой. Барин может купить, потому что у него есть деньги; может продать, потому что имеет товар; может заказать и заплатить за это; — словом, может делать все, что могут сами собой делать деньги. И во время этих операций, вообще во время денежной связи барина с мужиком, могут существовать между тем и другим, повидимому, довольно близкие отношения, могут происходить «понятные» обоим разговоры, хотя и далеко не искренние, никогда не допускающие барина близко к правде своих мыслей и чувств. Но как

только барин возмечтал, основываясь на этом денежном знакомстве с народом, продолжать это знакомство так, «просто», «как человек», как продолжает всю жизнь быть знаком мужик с мужиком, — тут конец всякой связи. «Что ж может значить барин без денег в то время, когда он не заказывает, не покупает и не продает? Нешто он что понимает?»

Прошлая история барина как нельзя лучше укрепляет в воображении крестьянина убеждение в полной внутренней бессодержательности его как человека. Усталость от его неразумных капризов, колобродств и т. д., словом, от всех проявлений больного господского тела и ума, — это утомление уничтожает в крестьянине всякую охоту взглянуть на этот вопрос с какой-нибудь другой стороны, как-нибудь иначе понять барина. Перестав быть заказчиком, покупателем, нанимателем или чиновником, барин делается для мужика *ничем* и с ужасом принужден видеть, что у последнего нет и тени уверенности, что с этим существом можно иметь хотя такие же частные отношения, как и с своим братом-односельчанином. Необходимо дьявольское терпение, продолжительное и настойчивое желание фактически, *на деле* доказать понимание барином простых человеческих отношений, чтобы мужик начал верить, что и в барине сидит такой же человек, как и в нем.

Попробуемте, например, зайти вот в эту крестьянскую кузницу, которая дымится на соседнем пригорке близ дороги. Зайдемте поговорить с крестьянами, посмотреть на работу, на труд, узна́ть, сколько он дает доходу, и т. д. У низенькой квадратной двери кузницы собралось несколько крестьян. Одни из них ждут своих подков, своих лемешей; другие пришли, так же как и вы, постоять, посмотреть, поговорить. До тех пор покуда мы не приходили, у всех шел и деловой и шутливый разговор: и о работе говорили они, и о податях, и пошутили над молодым парнем, только что женившимся, и пожалели Ивана мельника, у которого такой-то мужик совсем отбил жену. В это время приходим мы с вами. Нам не нужно ни лемешей, ни подков; мы пришли *так*, как и два-три другие

крестьянина, стоящие здесь же. Но, увы! с нашим приходом баляканье прекращается: «что вы тут понимаете? это не ваше дело». Пристать к разговору, который только что шел, нам нет возможности. Нам «ничего не нужно» — стало быть, и разговаривать с нами не о чем.

Никогда никому из находящихся в этой кучке не придет в голову, что вам «хочется» или «надо» просто поговорить об обыкновенных житейских вещах; никто и не думает подозревать в вас какой-нибудь интерес к личному делу крестьян, и никто и не думает интересоваться вашим личным барским делом. Что ж с вами делать? «Угостите, барин, кузнецов-то! Право слово!» Другими словами: «Что пришел-то? Хоть полштофа с тебя, шатущего, разгрызть...» Или еще хуже: «Митрофан, представь штучку — барин тебе поднесет! добер барин-то!» — «Уж да-абер!» — хором подтверждают другие присутствующие, явно играющие комедию и решительно не желающие видеть в вас человека. «Барин! Что ж у него в голове? Верно какой-нибудь вздор! Представь ему, Митрофан, штучку — все нам по стаканчику». Не подозревая в вас никаких серьезных желаний, компания непременно «для вас» (если только надеется достигнуть результата в виде водки) начинает глупый скоромный разговор, и вы видите, что этот разговор именно для вас, для барина, которого интересует только «разная мерзотина». Ничего подобного никто из них не позволит себе с своим братом-крестьянином, который бы точно так же пришел и сел у двери кузницы на камушке. Потом, со временем, вы добьетесь от них человеческих отношений, если сумеете понадобиться им без заказов и без денег. Но на это надо много времени и труда, а так, с первого раза, без заказу и покупки у вас нет никакой связи. Пошли вы по деревне — это вы за бабами, за девками. Говорить с вами можно, только надеясь на угощение, и только сальности и глупости. Переставая быть заказчиком и покупателем, барин, просто как человек, способен только на пустые желания и на пустые поступки, словом — на что-нибудь такое, что не придет в голову ни одному крещеному человеку: вот первое впечатление, производимое на мужика барином, когда он подходит к нему «просто так», как «человек к человеку».

Эта черта крестьянского взгляда на барина ужасно горько отозвалась на третьей формации владельцев барского дома, последовавших за проевшим все случайным барином, или, вернее, простым «едоком». Возвращаясь к истории великана, мы должны упомянуть о том, что желание его «всучить» свои объедки какому-нибудь дураку (буквальное выражение) исполнилось как нельзя лучше. Среди нарожденного барским домом народа не все были червонные валеты и рты: были люди и другого типа, которые, не страдая ненасытностью аппетитов желудка, не менее сильно страдали умственной жаждой. Именно страдали, болели: трудно быть здоровому, родившись в этой жирной тюрьме. Эти люди — им же несть числа — поняли, что в положении русского барина нету дела, нету жизни; что ее надо искать в труде, вблизи нищеты и невежества. Хорошая народная и именно русская черта русской души, не находившей никаких резонов для своей привилегированности, сказывалась в этом направлении мысли потомков барства. И вот началось движение «господ» в объятия «мужиков». С одним из таких-то людей и познакомился случайно великан в губернском городе, где-то в трактире. Расписал ему свои объедки в человеческом и минералогическом смысле — и всучил... Живет он теперь тихо в Москве с маменькой, старой старухой, и маленькой девочкой от последней жены и бога благодарит, что не погиб. Не та участь постигла барина, не хотевшего быть барином, — участь, постигшая не одного из людей, руководимых таким же нежеланием барствовать и не могших с этим барством разделаться. Да, никто из них не хотел быть барином, но все-таки барином оставался.

Впрочем, интеллигентным людям, стремящимся к деревне, нами будет посвящено несколько особых очерков, где читатель найдет более подробный рассказ о барине едва очерченного теперь типа.

6

Волостное правление и кабак, лежащие по левую сторону моста, уже не производят такого веселого впечатления, как лавка и господский дом. Вокруг и внутри этих строений царит, особливо в кабаке, мужик, и, вступая

в его царство, необходимо позабыть о всяком разнообразии. Впрочем, чтобы переход от легковесных впечатлений господского дома к тяжеловесным впечатлениям деревни не был слишком резок и труден, мы постараемся облегчить его известной постепенностью.

Два писаря волостного правления, то есть один писарь, а другой его помощник, оба парни ражие, молодые, которыми мы начинаем знакомство с мужицкою жизнью деревни, своим наивным — как наивны молодые толстые дворняжки — видом, наверное, произведут на читателя благоприятное впечатление. Посмотрите, с какою беспечностью валяются они по лавкам, сытно, до отвала пообедав у учителя (за четыре рубля педагог ухитряется кормить их на убой и еще иметь «пользу»!). Дело происходит в довольно большой комнате волостного присутствия. На стене портрет государя, в простенке между окон, выходящих на большую дорогу, две-три кружки для сбора пожертвований на разные благотворительные учреждения, с печатными при них воззваниями; у одного из окон — стол с пером, бумагами, чернильницей. Солнце — двухчасовое, жгучее солнце— так и «жарит» в оба окна, наполняя комнату страшной жарой и полчищами мух. Но здоровенных парней это не беспокоит. Один, лежа на узенькой лавке, подставил солнцу спину и только покряхтывал от удовольствия; а другой, на такой же узенькой лавочке, ухитрился залечь на спине, задрав разутые ноги к печному отдушнику. Оба они без сюртуков и без жилетов. Долгое время не происходит никакого разговора, и не слышно ничего, кроме пыхтения, выражающего стремление отдуться от тяжкого бремени еды.

— А что, — с расстановкой и полусонно произносит, наконец, писарь (человек, лежащий на спине): — что у вас... в Болтушкине... как насчет этого дела?..

— Насчет товару-то? — ленивейшим тоном переспрашивает помощник (лежащий ничком) и распускает ноги, тоже босые, по обеим сторонам лавки.

— Само собой...

— У нас в Болтушкине — сколько хочешь...

Он потягивается, выгибая спину, как кот.

— Ну?!

— Ну вот, стану я врать. Сколько хочешь, столько и есть...

— Какую угодно?

Помощник, помолчав секунду, дает ответ, так сказать, среднего направления, необычайно лениво говоря:

— А то что же!.. Вот там... разговаривать!.. Это у вас тут всё тридцать, да сорок, да полтинник... У нас в Болтушкине этого нет... Шалишь, брат!.. У нас этого баловства нет... Знак подал — и готово.

— Какой знак?

— Аль не знаешь? Маленький ребенок, что ли, ты?.. Какой знак? — ну мигнешь, пройдешься мимо, кашлем дашь знать... мало ли есть предметов...

— И готово?

— А то что же еще разговаривать-то?.. Много будешь разговаривать, так это очень для них жирно...

Все это произнесено беспечнейшим жирным хрипом, приближающимся к звукам простуженного горла.

— А кто в Болтушкине писарем?

— Аль разлакомился?.. Хе-е, брат!..

— Хе-хе-хе... Ей-ей, переведусь в Болтушкино!..

— Хе-хе-хе... Ишь ты кот сибирский какой!.. Поди переведись... Утрут тебе нос-то там... Хе-хе-хе... Я шукну одно слово, поглядим, ухватишь ли...

— Отчего ж я-то не ухвачу? Ты хватал, а я нет?

— Я другое дело... я знаю сноровку.

— И я знаю.

— Нет, не знаешь...

— Ан вот знаю.

— Ну хорошо. Отвечай, как надо поступать, чтобы всякую заинтересовать?

— Деревенскую или благородную?..

— Все одно, сплошь...

Писарь молчит, взволнованный разрешением этой задачи.

— И не знаешь... а я знаю!

Помощник при этом садится.

— Ну как же, чем?..

— Чем! — так я тебе и сказал...

— Нет, пожалуйста, скажи!..

Писарь тоже вскакивает с лавки.

— Вот дурака нашел! стану я секреты открывать...

— И всех?..

— Всех до единой... Хоть графиня, хоть что́...

Писарь бросается к помощнику и начинает его умолять.

— Ну, голубчик, ну, Ваня... скажи... я тебе...

— Нечего, нечего вас баловать!

Писарь принимается тормошить помощника, и оба они начинают бороться посреди комнаты. Долго шуршат их босые ноги по деревянному, покрытому высушенной солнцем грязью полу; долго раздается то там, то сям грохот отскочившей лавки или стола, на которые налетают эти юные силачи. В борьбе они забыли разговор, растрепались, раскраснелись — любо смотреть на парней. Ломая друг друга то на одну, то на другую сторону, они только покряхтывают, не теряя веселого расположения духа. Ткнутый кулаком в брюхо, писарь отскакивает в сторону, потирая больное место, — и бой оканчивается.

— Я, брат, — говорит помощник самоуверенно: — и не таких свертывал в комок...

— Эка! в живот-то пхнул...

— И ты пхай! Чего же? Ну-ко, пхни-ко меня... На! Отскочу я или нет?

— Давай!

— На.

Помощник выпячивается вперед.

— Ну пхай!

Писарь действует ехидно, из-под низу, так что и помощник отлетает в сторону.

— Нешто так можно, свинья ты этакая!

— Я ненарошно...

— Дубина этакая! — ненарошно...

— Ну прости, пожалуйста... Нешто я...

— Чорт этакой... Дай-ко я тебя так гвоздану, так ты у меня кубарем к чорту на рога улетишь... Ты пхай в живот — нешто так можно?.. Вот куда пхай!..

— Ну давай...

— Ну на!.. Да смотри, идол, башку сверну...

На этот раз три удара кулаком, направленные без ехидства в указанное место, не производят на помощника никакого впечатления.

— Ну бей, бей! — приговаривает он.

— Да! — говорит писарь. — Вспучил живот-то!..

— Вспучил! Ну-ка вспучь ты, погляжу я... Ну-ка, становись...

— Ну дуй!

Писарь раздувает живот елико возможно, но от одного удара в самом деле летит кубарем...

— Вот те вспучил! — приговаривает помощник.

— Свинья этакая... как хватил!..

— А! свинья!

— Чистая свинья!..

— Нет, брат, тебе до меня далеко!..

— Дубина!..

— Вот те и дубина!

— Нет, вот как! — оживленно заговорил писарь: — согласен так — давай?

— Как?

— А вот как... Я возьму палку...

— А я тебя ею тресну по башке...

Начинается хохот. В это время отворяется дверь, и показывается фигура учителя с удочкой.

— Что вы тут гогочете, как жеребцы в конюшне?

Писаря едва могут уняться.

— Куда это вы, Митрофан Петрович?

— Да вот хочу перед чаем немножечко посидеть. Авось к ужину ушицу наберу... Будет баловаться-то, бери у Петьки уду — пойдем...

— Пойдем, пожалуй, попытаем, отчего же! — произносит лениво помощник, к которому относятся эти слова.

— И я, — прибавляет писарь: — от нечего делать...

Одевают сапоги, запасаются табаком, спичками и отправляются рыть червей. Спустя десять минут всех троих, окруженных ребятишками, помогающими надевать червей, можно видеть на берегу реки. Каждый из ловцов выбрал по тихому местечку в кустах и терпеливо следил за поплавком. Тихо в кустах, тиха вода, и чудно хорош и свеж воздух. Ни одной тревожной, беспокойной мысли нет ни в ком, кроме сладкой тревоги в ожидании минуты, когда рыба потянет крючок книзу.

— И-ва-а-а-ныч!.. — откуда-то далеко, по верхам густого кустарника, доносятся звуки визгливого, очевидно женского голоса.

— Эй! — кричит в кустах помощник: — Скворцов! слышишь, что ль?

— Чего?

— Как чего? Слышишь, зовут!..

— Где зовут-то? Только было клевать начала...

— Бу-у-ма-аага-а!

— Бумага! слышишь, что ль... Пойдем!

Помощник и писарь бросают удочки, так однакож, что поплавки остаются на воде, и уходят.

— Скорей, — кричит им учитель. — Тут окунья — страсть!..

— Сейчас!

— Стадами ходит!..

— Приде-ом!

Но на этот раз им не пришлось скоро возвратиться назад: в правлении ожидал их нарочный из уездного города, привезший большой пакет с надписью «экстренно-важное». В пакете было распоряжение о немедленном призыве ополчения. (Записки относятся к лету 1877 года.)

— Ого! — сказали писарь и помощник, прочитав содержащиеся в конверте бумаги.

Приходилось немедленно садиться за работу.

7

Уж не думает ли читатель, что я, вслед за изображением волостной идиллии, изображу теперь сцену, в которой баловники-писаря окажутся манкирующими своими обязанностями? Помня прошлые времена, читателю может представиться, что, несмотря на серьезность и важность полученной бумаги, писаря, увлекшиеся рыбной ловлей, спокойно положат ее под сукно, а сами отправятся опять на берег и, сказав себе насчет бумаги — «успеется», будут преспокойно продолжать свои невинные удовольствия. Нет, не приходится теперь говорить о сельских и волостных властях ничего подобного. Времена стали не те, и точность в исполнении своих писчебумажных обязанностей в настоящее время составляет самую видную черту деревенской жизни. Не расспрашивая и не задумываясь, «почему», «зачем», писаря часа два скрипели перьями по бумаге, адресуя к сельским старостам приказания явиться в волость таким-то и таким-то крестьянам, вынувшим рекрутские жребии в таком-то году. Не расспрашивая и не думая расспрашивать о причине спешной посылки за старшиной, рассыльный гнал

свою лошадь в соседнюю деревню, где жил старшина. И старшина в свою очередь, услыхавши, что пришла бумага, немедленно оделся и прибыл в волость. Точно так же, «без всяких разговоров», два рассыльных поехали развозить по деревням, для передачи сельским старостам, написанные писарями предписания, а сельские старосты в тот же вечер объявили призываемым о том, чтобы завтра они шли в волость, о том, чтобы такие-то и такие-то мужики приготовили подводы. И все это буквально «без разговоров» о причине, без расспросов о том, куда и зачем погонят. Плачут, конечно, женщины, матери, невесты; сапожник Петр тоже жалеет, что приходится бросить мастерство и за что ни попало продать инструмент; но ни у кого ни на единую минуту не мелькнет вопрос: зачем и куда? — раз приказание пришло из волости. На все эти вопросы, зачем гонят и куда гонят, не ответит никто — ни сельский староста, ни волостной старшина, ни писарь. Да и никто из них не спросит, или, вернее, отвык спрашивать и разбирать то, что приходит сюда в деревню в виде приказывающей, но никогда ничего не объясняющей бумаги.

Я три месяца жил в деревне, в то время как наши войска переходили Дунай, дрались, умирали, тонули, покоряли и покорялись. Три месяца вся читающая городская Россия уже жила тревожными интересами войны, и в течение таких-то трех месяцев я ни от кого, не исключая писарей, учителя, даже иерея, не слыхал здесь ни единого слова о том, что делается на белом свете. Газет никто никаких не получает, а в город или на станцию никто не ездил: огороды, косьба, словом — хозяйство. «Собрать рекрутов призыва такого-то года...» «Произвести приемку лошадей, выбранных тогда-то и тогда-то» — вот что доходит в деревню от самых крупных исторических событий, и, кроме этих официальных требований, вовсе ничего не говорящих о значении переживаемой минуты, — ничего, ровно ничего и никому неизвестно, и ровно ниоткуда не приходит в деревню ничего такого, что бы показало значение этого призыва или покупки казною лошади в общей картине совершающихся событий. Человек, который через неделю, через две будет защищать Шипку или Карс или освобождать Болгарию, уходя из села, по совести может жалеть только о том, что

сапожные инструменты пришлось отдать за бесценок и что не скоро опять заведешь эти инструменты; но ни о Шипке, ни о Болгарии, ни о причине, требующей его на защиту кого-то, — ничего этого ему неизвестно, никто об этом ему не скажет ни единого слова, а главное — он сам *отвык* расспрашивать об этом и узнавать.

Я бы сказал большую неправду, если бы стал утверждать, что в этом «нерассуждении» народа скрывается, положим в данном случае, охота идти в бой и детски-чистое желание постоять за правое дело. Нет этого ничего. Никто не знает — зачем, в чем дело, но всякий беспрекословно идет потому, что привык идти, когда ему скажут: «иди»; привык платить, когда скажут: «плати», и совершенно отвык от «разговоров» на тему — куда? зачем? и почему? так как идея большого или маленького явления, совершающегося в общей жизни государства, никогда не доходила до деревни. Сюда являются только какие-то дребезги, если можно так выразиться, этой идеи, не дающие о ней никакого понятия. Не только об общем ходе политической жизни, в данную минуту переживаемой всей страной, деревня не имеет никакого понятия — она никогда не знает даже о причинах, влияющих прямо на ее экономическое положение, на ее карман.

Посмотрите, в самом деле, много ли требует его *собственного рассудка* тот широкий круг общественной, государственной службы, которую несет крестьянин, и вы увидите, что в этом отношении он не может играть никакой роли. Он может распределить между своими односельцами цифру взимаемых с деревни денег, но самая цифра эта приходит уж готовая — «из города». Высчитано, что с Слепого-Литвина приходится получить 1082 руб. $^{3}/_{4}$ коп., и Слепое-Литвино разбивает эту цифру на количество душ. И так во всем. А всего этого куда как много проходит ежедневно чрез деревню, без всякой возможности с какой-нибудь стороны найти кончик нитки, по которой можно бы было добраться до источника. Изволь тут развиваться, понимать и думать!

Таких-то вот общественных обязанностей деревня имеет, правду говоря, бесчисленное множество. Их разнообразие и несвязность одного требования с другим хотя и отбили охоту у крестьян от общих взглядов и рассуждений, но занимают в крестьянском обиходе громад-

ное и главное место. Каким-то тяжелым клубом свернулись все разнообразные отрасли общественной службы в сознании крестьянина, и, не распутывая этого клубка (так как распутать его почти невозможно), крестьянин определил его одним словом — «деньги». Вся куча повелительных наклонений низвергается в деревенскую глушь в виде простого требования денег и вообще каких-нибудь материальных расходов, но денег, денег — главным образом... Всякая, самая благороднейшая мысль, направленная на общую пользу, откуда бы она ни шла, дойдя до деревни, превращается в простое требование денег. Проекты «оздоровления», «образования», «поднятия народной нравственности», «оживления народа», словом — всякая *благая* мысль, как только начала приводиться в исполнение, непременно начинается в каком-нибудь Слепом-Литвине прямо со «взносов». В Петербурге, в губернском городе, в уездном — идут разговоры, проекты, доказательства, прения; слышны разные, бесспорно умные слова: «развитие», «улучшение», а в Слепом-Литвине, во имя этих прекрасных проектов и слов, происходит только *раскладка.* Из таких слов, как «образование», «развитие», «улучшение», в Слепом-Литвине, неведомо каким образом, образуются совершенно другие и всегда грустные слова: «по гривеннику», «по двугривенному», «по полтине». И все эти гривенники и полтинники вносятся «без всяких разговоров», а если и не вносятся в должном количестве, то все-таки каждый старается заплатить, чувствуя, что за ним есть недоимка.

Обведя вокруг Москвы круг радиусом верст в четыреста, мы получим местность, в которой положение крестьянина и направление его мысли в общих чертах определится стремлением «добыть денег», только добыть денег — больше ничего. К этому направлению крестьянской мысли начало присоединяться плохо определяемое, но тяжко чувствуемое крестьянином желание — уйти куда-нибудь, желание как-нибудь полегче добывать то, что теперь добывается с таким трудом. И это стремление уйти из сухих и жестких условий крестьянской среды объясняется все тою же необходимостью добывать все больше и больше денег. В самом деле, никогда крестьянину не приходилось так много платить наличными деньгами, как теперь. Платить хлебом, тальками, курами,

поросятами, как он в старые годы платил помещику, который все это мог сбыть оптом в губернский город или в Москву, — теперь не приходится: ни кур, ни холста, ни муки не возьмет ни одно волостное правление; нужны чистые деньги, кредитные билеты, и вот этих-то чистых денег и неоткуда взять крестьянину, настоящему деревенскому мужику. Он чувствует, что платить ему «надо»: об этом никаких разговоров и сомнений нет; но платить нечем. Вышло так, что в настоящую минуту нет крестьянского двора, по крайней мере в Слепом-Литвине, о котором главным образом и идет речь, который бы не платил за двух — никак не меньше — душ. Семь человек ратников, ушедших в ополчение, составляют вновь добавочный платеж за четырнадцать душ, раскладывающийся не более как на пятьдесят человек работников-мужчин. К покрову непременно необходимо представить эти деньги; нет сомнения, что недоимка будет громадная (на шестидесяти дворах Слепого-Литвина ее наросло уже 8000 руб.); но слепинские мужики, не зная, сколько придется выработать (тут тоже тьма кромешная), все-таки будут биться, стараться добыть деньги... Откуда и как же они их добудут?

На этот вопрос всякий слепинский мужик может дать вам только такой ответ:

— Откуда!.. Ведь господь милостив, батюшка... Человек всю жизнь бьется — все ничего, а вдруг «и из палки выстрелит»!

То есть вдруг, неведомо откуда и как, налетит на человека полтинник, рубль — и спасет его от беды.

8

Здесь кстати сказать о самой последней формации господского дома. Несмотря на то, что настоящий, колобродящий и капризничающий барин прошел, что прошел барин пожирающий и барин гуманничающий,[1] только теперь, когда в барском доме поселился просто немецкий кулак Клейн, барский дом стал заслуживать в глазах крестьянина внимание и даже уважение... Да! В доме

[1] См. рассказ «Непорванные связи».

живет просто кулак, а крестьянин начинает видеть в нем нечто высшее, так как здесь — единственное место в деревне, откуда можно хотя изредка, но все-таки получать чистые деньги... Отцом и благодетелем становится этот какой-то Адольф Иваныч, содержавший в Петербурге дом терпимости. Все знают это, но все-таки уважают Адольфа Иваныча, и уважают не только потому, что он дает хлеб, давая работу, а и потому, что он сумел выбиться, выйти в люди, в помещики, тогда как был такой же мужик, как и все. Это уж уважение интеллигентности, понятной крестьянину, поставленному в необходимость выше всего почитать рубль серебром. Что Адольф Иваныч этот нажил деньги нечистым путем — за то он сам и ответит пред богом: это его дело; а главное — умел нажить. О его высших качествах ума свидетельствует также и то, что он не капризничает без толку, не проедает добра, не колобродит с канавами и дренажами, а просто обирает, где только возможно, экономно и умно, запрягая этих же самых крестьян в труднейшие работы, которые стоили бы больших денег, если бы Адольф Иваныч не был умен и не сумел бы обыграть мужиков на водке, словно на картах. Решительно ни один крестьянин не может, то есть буквально не в состоянии не уважать этого Адольфа Иваныча как ум, как талант, так как у каждого крестьянина на плечах лежит та же самая тяжкая задача — «добыть денег», которую Адольф Иваныч так блистательно разрешил. Есть между слепинскими мужиками просто влюбленные в последовательность и неумолимую логику, с которою Адольф Иваныч преследует свои цели. Вот пример: у соседней помещицы стала пропадать мука из амбара. Она приказала караулить своему приказчику; приказчик укараулил какого-то мужика, царапнул его камнем и привел к барыне. Нужно прибавить, что приказчик — человек тоже «энергический» и тоже «последовательный».

Пойманный мужик стал просить помилования, и барыня простила. Последовательный приказчик немедленно попросил расчета.

Я видел его, когда, по получении расчета, он отправлялся к Адольфу Иванычу просить места. Рассказав историю с вором, он прибавил: «Что ж это такое? Нешто можно так поступать? Опосля этого они (то есть

собственные же его односельцы) и всё будут таскать да в ногах валяться... Нет, у Адольф Иваныча этого нет: уж у него, брат, раз что сказано — свято! Сказал «бей!» — уж бей, постоит за тебя до последнего слова; хоть к мировому, хоть в сенат — уж не отступится от своего... А это что ж такое?..»

Итак, не отступайся от «своего», гони «свою» линию до последнего предела, наживай где и как можно, ответ один — богу!.. Вот в каких формах начинают выясняться преимущества умного человека перед глупым.

— Чистый дурак или чистая дура, — скажут вам о том или другом помещике или помещице. — Так надо сказать — балалайка бесструнная.

— Отчего так?

— Да как же, помилуйте! кабы ежели бы он (или она) *свою пользу* понимал, нешто бы он стал так-то?.. А то судите сами...

И затем рассказывается история, из которой видно, что человек своей пользы не понимает.

— И есть дурак! как же не дурак-то?

Пожив в деревне и ознакомившись с неоспоримою важностью рубля серебром, начинаешь соглашаться с мнением относительно людей, не понимающих своей пользы.

9

Возвращусь, однако, к разговору о средствах и путях, какими может быть добыта слепинским крестьянином кредитная бумажка. Словами «всю жизнь бьешься, а вдруг из палки выстрелит» опытный в этом деле крестьянин совершенно верно определяет полнейшую случайность в возможности приобретения рублей. И в самом деле, даже слепинским мужикам, деревня которых лежит на большой почтовой дороге и в десяти верстах от станции железной дороги, даже и таким, относительно сказать, благоприятно поставленным мужикам почти невозможно определить, откуда именно грянет выстрел рублем, из какой палки.

В ряду таких случайных заработков слепинского мужика первое место все-таки занимает заработок, даваемый барином, на этот раз барином шальным на «новые

деньги», деньги железнодорожные, случайные, пьяные. Отвоевав в Питере концессию, схватив куш и просто-напросто «объевшись» купленых столичных утех, яств и питей, такой новый случайный барин чувствует утробную жажду «воздуха», «снегу», «черного хлеба», вообще деревни; и вот уже несколько лет сряду, начиная с половины или с конца октября, в Слепое-Литвино стали наезжать эти «господа» на охоту.

Каждый убитый такими охотниками заяц, по рассказам слепинских мужиков, обходится господам не менее как в двадцать рублей серебром — цифра баснословная, сумасшедшая, не имеющая сравнения с цифрами никаких заработков, требующих того же промежутка времени, что и приезд господ. Благодаря этим охотам в крестьянских домах Слепого-Литвина то и дело встречаешь пустые бутылки от шампанского, от рейнвейна и т. д. Такая черта господских наездов в деревню сулит еще множество посторонних заработков, влечет за собой другую серию услуг, также всегда щедро оплачиваемых. Явные и для всех видимые следы благосостояния в некоторых крестьянских семьях, начавшегося именно благодаря этим случайным господским наездам, заставляют всю деревню поголовно ждать этих наездов с нетерпением. Но вот беда: чтобы наезд этот был так же выгоден, как он оказался выгодным для «умелых», надо уметь приметить и поймать в массе наезжающих вместе с господами прихотей и капризов — такую прихоть, такой каприз, удовлетворяя который можно рассчитывать на верную выручку. В этом вся штука: узнать человека, распознать, на что он «ходит», «ловится», и потом уже «бить в эту точку». Тут, во время этих наездов, производится двойная охота: господа охотятся за зайцами, выслеживают волков и лисиц, а мужики охотятся за господами и выслеживают их капризы и прихоти. Трудна эта, надо сказать правду, ух как трудна эта охота крестьянина за барином! Выслеживает его вся деревня, от мала до велика; каждому нужно найти свой кончик нитки и крепко держаться за него, а между тем никому неизвестна вообще конструкция господских внутренностей; неизвестно, как, откуда и каким путем пойдет каприз, с которого боку схватиться. Все это темно, покрыто мраком неизвестности. Правда, в общих чертах крестьяне знают, что из барина

выйдет, если он не настоящий охотник, что-нибудь веселое и капризное, необъяснимое; но кто именно из этой толпы настоящий охотник, кто только бахвал, бабник, любитель скоромных разговоров — это еще неизвестно. И вот тут-то и требуется страшная работа ума, к несчастию решительно не поддерживаемая более или менее обстоятельным знакомством с аппетитами, управляющими вообще господским образом жизни. И попрежнему приходится полагаться на случай, на выстрел из пня.

— Вон Михайло Петров... Тот чем господам понравился? А попался ему, братец ты мой, купец с Калашниковой пристани... Ну только очинно этот купец был сурьезен!.. Так сурьезен, что это даже ужасти! Думал, думал Михайло-то Петров, что тут с эстим сурьезным купцом делать... И так не выходит, и в эвту сторону тоже не берет... А богат купец-то, отойтить от него «так» — обидно! Ну, думает Михайла, что будет! — и больше ничего, что стал ему угождать... Ничего не просит, чтобы там на водочку или что, а так стал вроде как раб бессловесный... И вперед-то его в сугроб забежит, по шею провалится: «не ходите, говорит, ваше сиятельство, глыбоко тут, не в это место идете»... И ножки-то ему обчистит, веточку приподымет, то есть всеми способами... И ни-ни-ни насчет чтобы награды, ни боже мой! Расточил он вокруг купца — этого самого почтения и благолепия видимо-невидимо; услуживает ему, и благодарит, и напредки приглашает, и хвалит — расхваляет, а денег не просит... Что ж ты думаешь, пронял ведь!

— Прронял?!

— Пробрал, братец ты мой, в самый корень!.. И что ж ты думаешь? — И всего-то в сурьезном купце и было товару, что одна глупость... Почитай его да хвали — и все!.. И преспокойно совсем с лапочками возьмешь!.. Вот, поди ты, узнай их! А уж какой был сурьезный, боже мой! Мы думали уж, и подходу к нему нету, точно какой, например, столб деревянный; а он, братец ты мой, больше ничего что балобан: хвали его да угождай — и все!.. С тех пор Михайло-то и пошел в ход... И дом оправил, и лошадей тройка — все, слава богу, пошло. Теперича как сурьезный купец едет — уж Михайло без шапки бежит за тройкой верст пять... И купец-то, братец ты мой, никого, кроме Михайлы, не зовет... Уж наши пробовали

было, да нет! — «Михайлу, говорит, давай!..» Поди ты вот...

— Нет, братцы, как я однова влопался было с этими с господами! — начинает речь новое лицо из слепинских мужиков.

Разговор происходил на бревне, где собрались в праздник посидеть слепинские обыватели. Бревно лежит близ реки, у моста; место здесь просторное, веселое, видно далеко.

— Так было втесался, так это — ах!.. Попался мне тоже ха-арочий «теленок». Утрафил я ему тоже, вот как и Михайло, в почтение... Что угодишь, что похвалишь, глядь — гривенник да двугривенный. Вижу я такое удовольствие — попер в эвтот бок. «Уж барин, этаких господ, надо так сказать, и не было и не видано...» Расписываю его так-то, да и махони: «Какой, говорю, это барин? Не барин это, а бог!..»

— Охо-хо!.. — загоготали слушатели: — эк ты его как вздыбил... ха-ха-ха!..

— Передал, брат! — заметил старый старик.

— Ровно через крышу перебросил, — прибавил другой. — Ну что ж он-то?

— Как, братцы мои, взбодрил я его эдаким-то манером — и что только сталось с барином, не ведаю! Покраснел весь, ровно рак, и уж принялся же он меня пушить, на чем только свет белый стоит! До того же все молчал, а тут как пошел, как пошел!.. «И холоп, и подлец, и пошел прочь!» и, боже только милостивый, чего-чего не наговорил... Вижу — шабаш! Просолил барина начисто!..

— Просолил, это уж верно!

— Стою, молчу, ничего не могу в толк взять, а вижу, братцы мои, — понял... «Тебе, такому-сякому, двугривеннички надобны?.. ты из-за гривенника собаку дохлую готов целовать и богу на нее молиться?..»

— А-а-а... понял!

— То-то — понял, братцы мои!.. Слушаю я так-то, вижу, плохо; а жаль барина-то... Думаю, каким теперича манером мне его оборотить?.. И что ж, ребята? Ведь оборотил!..

— Ну? — единодушно возопило все облепленное народом бревно.

— Перед истинным богом, оборотил!.. Перво-наперво дал я волю: звони, мол, во все!.. Что уж, вижу — ничего не поделаешь.

— Уж тут что! Чего уж тут поделать!

— Думаю, ребята: дуй, ваше благородие; может быть, господь нам и поспособствует...

— Ха-ха-ха!..

— Лупи, мол, не жалей кубышки... Распечатал он меня, надо сказать прямо, вполне. Места живого не оставил... Замолчал. «Пошел вон!» Я и ушел, а сам думаю: нет, шалишь! Ушел и он к Адольфу Иванычу в покои — обедать с прочими господами... Я остался у крыльца с лошадьми; думаю, уж как-нибудь надо выбираться из бучила... Думал, думал и надумал. Часа через два этак места — откушали, выходят... Выходит народу сразу человек десять... Перекинулся я тут на грубость. Подхожу к моему, говорю: «За что ты меня, барин, говорю, обидел — я к тебе всей душой...» — «Пошел прочь!» Договорить не дал. Я к господам: «Вот, говорю, господа, обидел меня ваш канпанион: всю дорогу я его одобрял, а он меня что ни на есть худыми словами обругал!..» Господа сейчас: «Что такое, что такое?!.» Я рассказал, как было, да и говорю: «Ежели, говорю, их сиятельству не по нраву, что я, то есть, их ублаготворяю всячески, так не угодно ли, мол, пущай они мне положат хошь пять рублей серебром, и тогда, заместо того, я ихнее благородие обругаю... Ежели им это лучше по сердцу».

Компания, заседающая на бревне, помирает со смеху.

«Сколько, говорю, угодно, хошь два дня буду ругать их — у нас на это хватит...» Двинул я так-то — покатились со смеху мои господа. «А умеешь ругаться? хорошо умеешь?»—«Сколько вам угодно». Хохочут, помирают. Тут один из них выскочил — толстоморденький этакий, ба-альшой тоже мешок петербургский, генерал полный: «Валяй, говорит, меня, мерзавец этакий! Посмотрим, говорит, точно ли ты мастер!» — «Извольте, говорю, ваше сиятельство!» Сел в мой тарантас еще с одним, надо быть, генералом: «Делай!» говорит. Ну я и принялся!.. Так всю дорогу, братцы мои, до самой станции, уж как только я его ни поливал, то есть и так и этак... Все десять верст я его садил всячески, то есть уж хуже не надо, — грохочет!.. Зальется, зальется, а я-то ему: «ах ты, барабанная

палка, ах ты...» Ну, то есть все горло у меня пересохло, осип, покуда до станции-то доехал. «Ловко, говорит, молодец!» Выкинул-таки, ребята, синюю бумагу... Право слово, выкинул. С тех пор, как чуть что: «Где Куприян?» Сейчас меня... С тех-то пор я маленько и того... Дай ему бог здоровья! Ха-ар-роший человек!

— И кажинный раз — ругай?

— Эко ты!.. Поди-ко, обругай его так-то!.. В каком духе человек. Иной раз он тебя и в волости выдерет за какое-нибудь слово... Так он тебе и дался ругать! Авось не дурак. Главная причина только, что с ругательств с этих я ему пондравился... вот в чем расчет.

— Пондравиться-то хитро!.. А уж раз тебя барин признал, уж тут как не удержаться... Гляди только в оба — твое будет.

«Пондравиться» приезжающим господам — первая забота слепинских мужиков.

— И чем же, братцы мои, я ему пондравился? — удивляясь неисповедимым путям промысла, рассказывает один из слепинских счастливцев: — Больше ничего, что сказал правду!

— Ну?

— Перед богом!.. Повел их Адольф Иваныч по старому месту; то есть вчера — будем так говорить — по этим местам с своими приятелями Адольф-то Иваныч ходил, а нониче и господ по тем же местам повел. Думал, думал я: всем, мол, объявлю дело начисто. Думаю, жалковато мне Адольфа-то Иваныча конфузить, — а ну как да и выгорит на мое счастье от этих слов? Да с господом и грохнул: «Что ж вы это, говорю, Адольф Иваныч, по старым-то местам водите? Ведь, говорю, мы вчерашнего числа сами зверя здесь распугали; нешто, говорю, так можно с господами поступать?..» Тут он на меня, а господа за меня: «Правду ли ты говоришь?» — «Провалиться скрозь землю! вот извольте поглядеть, как в эфтом месте наломано, как тут натоптано». Поглядели: «так!» С тех пор без меня ни-ни. Даже и останавливаются у меня и ночуют: к Адольф Иванычу ни ногой. Нарочно посылают ко мне с известием: «едем, мол; станови охоту». С тех пор вот... А из-за чего? Только что вот правду сказал... Поди вот!..

— А мне, ребятушки, попался сокол, так окромя этого самого ничего и знать не знаем.

— Товару?

— Тоись только одно и одно... Как приедет, уж это знай: целую ночь не спать. Под окнами стучим, выкликаем — соблаз! А добер!.. Ха-арроший человек. Дай бог ему здоровья. Что-то вот прошлую зиму не был, не будет ли нынешнюю... Я было ему хорошую штучку припас.

— О?

— Право слово.

— А ведь грех это!

— Братец ты мой! Мы и так, и без этого все во грехе. Опять же всякий богу даст ответ сам. Нешто я обманом или что?.. сама готова — видишь вот. Это, брат, дело тоже темное, кто больше ответит: она, а может, и барин.

— А может, и ты!

— Что ж поделаешь-то!.. Спросят — так и мы дадим ответ.

Говорится это в буквальном смысле. Говорящий это так и понимает, что на том свете он объяснит богу все подробно, и тогда наверное окажется, что вины его нету. Надежда, что бог простит за все это, живет в мужике, поднимающемся из-за копейки на всякие «нелегкие». И надо полагать, что господь в самом деле простит слепинским мужикам их даже, повидимому, тяжкие грехи.

Заработок, доставляемый господскими наездами, самый значительный по размерам денег, получаемых мужиками. Правда, заработок этот сопряжен с необыкновенными трудностями, требующими всей силы умственного напряжения со стороны охотящихся за господами мужиков, преисполнен невероятных, трудно постижимых и бесчисленных случайностей. Но зато тот, кому удалось овладеть полем битвы, может смело считаться счастливцем: в какую-нибудь неделю, в течение которой продолжается охота, умный, ловкий человек одними «наводками» сумеет нажить столько, сколько в обыкновенное время не только деревенский мужик, но и деревенский специалист — кузнец, портной, сапожник — не наживет, сидя над работой целые месяцы. Правда также, что такой заработок довольно-таки сквернит человека, и иной раз бывает положительно противно смотреть на иного счаст-

ливца и слушать его радостные рассказы о том, как и чем он «поправился»; но зато в результате всех этих гадостей являются деньги — а это главное.

Все другие заработки, доступные слепинскому мужику, точно так же случайные, не так хитры, как заработок на господских капризах, но зато и не имеют тех благодетельных результатов. Разжиться, поправиться с них — нет почти никакой возможности, и иной раз, глядя на такой заработок, решительно не понимаешь, из-за чего бьется человек, если не принимать в расчет уверенности этого, повидимому, напрасно бьющегося человека, что иной раз и «из палки выстрелит».

10

В Слепом-Литвине живет крестьянин Иван Афанасьев — живой образец мужика, поставленного в необходимость бросаться из стороны в сторону, чтобы где-нибудь и как-нибудь захватить в свои руки этот проклятый рубль серебром. Иван Афанасьев — редкий экземпляр «крестьянина» в полном смысле этого слова, то есть человека, который неразрывно связан с землею — и умом и сердцем. Земля, по его понятию, — истинная кормилица, источник радостей, горестей, счастия и несчастия, всех его молитв и благодарностей к богу... Земледельческий труд, земледельческие заботы и радости способны были бы наполнить собою весь внутренний мир Ивана Афанасьева, не давая возможности и подумать о том, чтобы можно было променять земледельческий труд на что-нибудь другое, на какой-нибудь другой, более выгодный труд. Иван Афанасьев — не влюблен в землю, как, может быть, покажется читателю из вышеприведенных слов моих об этом человеке; нет, он связан с ней, с землей, и со всем, что переживает она в течение года, связан, как муж с женой, даже теснее, потому что они, в самом деле, живут почти как одно целое. Вместе с тем Иван Афанасьев и «не прикован» к земле, нет: тем-то и дорог земледельческий труд, что отношения между человеком и этой землей, этим трудом — не насильственные, что связь рождается чистая, из чистого, ясно видимого добра, которое делает земля человеку, убежденному без всякого

насильства в том, что за это даваемое землею добро надобно угодить и ей, надо похлопотать и за нее. На таких чистых, совестливых началах держится и весь обиход подлинной, неиспорченной крестьянской семьи, и она бы была истинно и беспримерно прекрасна, если бы могла развивать эти начала, то есть свободный, непринужденный союз, основанный на непоколебимом сознании, что добро добывается добром. Но, увы! несмотря на то, что Иван Афанасьев и его кормилица-земля исполняют свое дело совестливо до последней степени, пришли времена, которые как будто даже и внимания не желают обращать ни на труды Ивана Афанасьева, ни на его отношения к земле и вовсе не ценят ни чистоты этих отношений, ни того, что на этих отношениях держится все русское крестьянство, вся русская сила. «Денег подавай!» — вопиют эти времена и больше ничего знать не хотят. «Как же я брошу землю, помилуйте, сделайте милость? — возражает Иван Афанасьев: — ну пойду я на заработок; а как же земля-то останется? Ведь мы землей всю жизнь живем». Иван Афанасьев — такой истинный земледелец, истинный «крестьянин», что самый лучший заработок не в силах был бы заглушить в нем тоски по земле, по тому разнообразию явлений, которыми окружен труд земледельца, связывающий его душу и мысль и с небом, и с землею, и с солнцем красным, и с зорями ясными; с вьюгами, дождями, метелями, морозами, со всем созданием божьим, со всеми чудесами этого божьего создания...

«Денег подавай!» — вопиют новые времена — и, что поделаешь, Иван Афанасьев начинает «биться» из-за денег...

— Пошла одно время в наших местах, — рассказывает Иван Афанасьев: — пошла в ход тряпка. Стали наезжать покупщики; окромя как тряпку, ничего больше и не спрашивают. Надумал и я этим самым делом заняться. Лошадка у меня была хоть и плохонькая и тоща, а ноги таскала, сказать нельзя. Померекали об эфтом деле с женой, и та склоняется на тряпку, полагает так, что польза будет. Порешили мы занять деньги на начатие у жениного дяди; человек был он пожилой, от всех отделившись, один со старухой, и тоже этой тряпкой орудовал. Хорошо. Вот поехали мы к дяде — за два-

дцать за пять верст жил, — вымолили у него десять рублей, весной чтоб отдать. Накупил он мне на эти десять рублей ситцев, пряников, колечек, серег — свой сундучок дал и говорит: «Ну! теперь ступай с богом!» — «Дяденька, говорю, да как же я торговать-то буду. Что на что менять? Сколько за что давать?» — «Я этому, говорит, всю зиму учился, и ты учись. Слушайся, что бабы будут говорить, — они тебя научат скоро...» Нечего делать. Поехал я с товаром по деревням... Еду по деревням, кричу: «Трепья, трепья!..» Выбегают с трепьем бабы, обступили меня, пошла торговля... На платки, на ситец, на серьги. На деньги не торговал, ни копейки не было... Вот хорошо. Поторговал я так-то в одной деревне, в другой, в третьей; выезжаю из третьей-то — дай, думаю, сочтусь, сколько будет моих барышей, наторговал ли хошь с гривенник-то; а уж дело шло к вечеру, и пора домой было ехать. Стал я считать, вижу — плохо дело: товар мой я весь почесть растерял, роздал, а трепья у меня и наполовину против товару не потянет... Прямо сказать, в первый же день начисто я проторговался... Тут я и понял дядины слова, что, мол, бабы-то меня выучат... И уж точно — выучили, век не забуду. Еду я домой — ест меня тоска. Приехал — уж совсем темно стало, огни уж везде, а мне хоть бы и глаза не глядели ни на что: товар растерял, а ничего не привез. Остались у меня одни пряники. (И пряников тоже дядя купил — бабы, девки любят; только у меня что-то бабы пряников не брали: надо быть, видели, что я с простиной торгую.) Остались только у меня эти самые пряники, да и те все в мешке переломались. Скучно мне, оченно неприятно было. Жена видит, что дело мое неладно, молчит. Сижу так-то, думаю, как мне с этим трепьем быть? Смотрю, идут парни с посиделок. «Мы, говорят, слышали от твоей бабы, что пряники, что ли-то, у тебя есть?» — «Есть», говорю. «Давай!» Отпустил. Узнали на деревне, что у меня пряники, повалил ко мне народ, и бабы, и парни, и девки: лавочки в ту пору у нас еще не было. Не больше как часа в полтора все мои пряники я и расторговал. Ничего что изломанные и все такое — только подавай... Все начисто до последней порошинки расторговал; стал считать — вижу: польза, и не маленькая!.. Вот, думаю, господь мне послал милость свою, хоть мало-

мальски убытки мои покрою (теперича вся забота — хоть бы с долгами-то расплатиться, а уж куда торговать!..). Наутро, чем свет, только что белеть начало, погнал я свою кобылку на станцию — за пряниками. Вечером — опять торговля, и опять всё разобрали: польза идет хорошая. Наутро опять на станцию, опять вечером торгую. И так пошло дело чудесно, что ежели бы мне эдак-то проторговать недели с две — и долги бы заплатил, да и пользы бы имел по крайности рубля на три... Ну, только не вышло. Как проведали наши слепинские, что Иван, мол, Афанасьев на пряниках расторговываться стал, и повалили тоже на станцию закупать. Развелось у нас в ту пору пряников больше, чем хлеба или снегу на дворе... И с этих пор все мы остались в чистом убытке. Я-то по крайности хоть мало-мальски на отдачу сбил деньжонок, а другие-прочие так и остались с пряниками. С тех пор я уж торговлей не занимаюсь. Ни-ни, сохрани бог... Как отдал дяде заемные, так у меня словно гора с плеч свалилась: бог с ней и с торговлей, не наше это, крестьянское, дело!..

Из таких эпизодов соткана вся жизнь Ивана Афанасьева в течение последних десяти лет. Не умея, как истинный крестьянин, ни хитрить, ни лукавить, ни обманывать (земледельческий труд ничему такому не учит), Иван Афанасьев прогорает на всех предприятиях, цель которых добыть деньги. Раз его заманила какая-то родственница, жившая в кормилицах в Петербурге, и сулила место дворника. Иван Афанасьев соблазнился, истратил все деньги, какие были, на машину и приехал в Петербург. Место ему, в самом деле, нашлось; но странное дело: больше, чем малого ребенка, его испугала эта бездонная пропасть «чужого» народа, которым кишит столица. Он испугался этой голой работы из-за денег; ему трудно было жить без «своих», трудно работать без их поддержки. В тот день, когда нужно было идти на место, Иван Афанасьев затосковал, как школьник, которому не хочется покинуть родительский дом. Кормилица-родственница, которая раздобыла ему место и у которой он останавливался в Петербурге, напрасно гнала его идти на место, напрасно торопила... Иван Афанасьев заскучал еще пуще от этих понуканий. Когда же, наконец, он очувствовался и пошел, то, придя на место, нашел, что

оно занято другим. Триста верст Иван Афанасьев шел до деревни пешком, питаясь Христовым именем, и, наконец, кое-как доплелся до двора.

— Тут-то я уж отдох!.. Думаю, бог с вами совсем, с местами... Я на одном хлебе просижу — по крайности дома!.. А что намучился, так это одному богу известно...

После каждой из таких неудач и отлучек из дому Иван Афанасьев возвращался к родному гнезду всегда с необычайною детскою радостью, несмотря на то, что, возвращаясь, был еще бедней, чем тогда, когда уходил. Он рад корке хлеба, лишь бы она была своя, домашняя, лишь бы ему быть в понятной ему, знакомой, любимой среде...

«Денег! денег!» — вопиет новейшее время, и не умеющий их доставать Иван Афанасьев вновь ловится на каком-нибудь денежном плане. Сманивают его на землекопную работу, рыть канал близ Ладожского озера, дают десять рублей вперед, обещают поить, кормить. Нечего делать, идет Иван Афанасьев и — глядишь — через полгода плетется домой без копейки, и без здоровья, и без одежи... Оказывается, что спать ему приходилось в снегу, что кормили его падалью, что обсчитывали без зазрения совести, что многое множество перемерло от болезней рабочего народа и зарыто кое-где... Насмотревшись и настрадавшись, Иван Афанасьев рад, что выручил паспорт, и ушел куда глаза глядят. И уж как рад дому-то, как рад своей соломенной крыше, печке, этому жидкому, кислому «своему» квасу!.. Как ни изнурят, ни измучают его, но свои места, а главное— возвращение «к крестьянству», то есть земледельческому труду, вновь восстановляет все его нравственные силы, уничтожает на его лице следы болезни, горя, негодования, — и вновь это лицо глядит спокойно, благородно и приветливо...

Но деревенские дела идут таким путем, что Ивану Афанасьеву никоим образом не придется остаться дома. Он уж и теперь поговаривает:

— Ежели бы хоть на пять рублей в месяц, то есть верных, какое местечко было, — кажется, сейчас бы пошел. Право слово!

Это-то именно и грустно.

Хуже всего в этой случайности заработков то, что они разрушают общность деревенских интересов, деревенский

«мир». Такие заработки никоим образом не могут считаться мирскими; каждый, кому удалось ухватить, ухватил сам, своим умом и для себя, и невольно тянет в свою сторону. При таком ходе дел та правдивость имущественных отношений, которою держится мир благодаря земледельческому труду, нарушается неравенством то там, то сям прибавляющихся и вполне чуждых земле средств. Там, где заработок мало-мальски хорош, там, где он дает больше денег,—пропадает даже и охота жить земледельческим трудом, тянуть эту крестьянскую лямку, не дающую ни единой копейки денег, которые именно и нужны. Является прямое желание уйти и от мира, и от деревни, и от земли, отплачиваясь от всего этого деньгами.

11

Кстати два слова об одном «бабьем заработке». С некоторого времени слепинские крестьянки получили возможность брать питомцев воспитательного дома на вскормление, так как районы, в которые отдавались дети воспитательными домами, постоянно увеличивались: теперь район петербургский уж сошелся границею с московским. Через каждые четыре месяца каждая кормилица получает десять рублей, или, всего-навсего, в год тридцать рублей. Но хотя этот заработок и определен, он лучше всего доказывает, до какой степени крестьянину нужны деньги: за эти тридцать рублей, за три красненькие бумажки, большею частью прямо поступающие в волостное правление, крестьянское семейство платит своими трудами и хлопотами и тратою времени не менее как в пять раз более того, что получает. Напрасно полагают, что из смертности детей деревенские люди делают доходную статью; ничего этого нет: дети мрут, правда, как мухи, особливо летом, но не от дурного ухода, не от худого умысла, а от незнания, от небрежности врачей или от бедности самих крестьян. Если бы не эти несчастные три бумажки красных, поверьте, мало бы нашлось охотников переносить муку ухода за «казенным» ребенком, ухода, обставленного бесчисленным множеством формальностей, которыми знающие их люди очень легко могут пользоваться в ущерб этим десяти рублям.

По Николаевской железной дороге едет старуха-баба и держит на коленях мешок. Дело происходит в третьем классе, летом 1877 года, в жгучий июльский день.

— Далеко ли, бабушка? — спрашивает ее мещанин-сосед.

— Да вот (она назвала станцию)... лекарь там наш живет...

— Какой такой ваш лекарь?

— А наш, питомницкий...

— Что ж, ты захворала, что ли, али так?

— Нету, миленький, не захворала... Я бы легче помереть, не то что хворать согласна была, ничем...

Старуха заплакала и шопотом произнесла:

— Погляди-кось, что везу-то...

Осматриваясь с осторожностью по сторонам, она открыла мешок, и мещанин, к неописанному ужасу своему, нашел в нем три детские трупа, завернутые в тряпки.

— Господи помилуй! Что ж это такое?..

— То-то, горюшко-то!.. Не хоронят, вишь, без записки от доктора, а доктор-то от нас — эво где... С гробом идти — кондуктор не пустит, нанимай особый вагон: вот и таскаю в мешке...

— Ах-ах-ах!.. Крещеные?

— Как же, соколик, крещеные... все крещеные... Помирают, друг ты мой, один за одним!.. А все от молока. Киснет молоко-то: что будешь делать, кабы у нас погреба были, ледники — ну так! А то киснет — да и шабаш! а они с кислого-то и мрут... И денег-то не дадут, и свои-то на разъезды изведешь; а что мученья на душу примешь — и язык не поворачивается сказать. Что я намучилась-то с эстими с мертвенькими-то!..

— Что ж так, ты-то одна орудуешь?

— Да больно, друг ты мой, накладно каждой кормилке самой ехать... Я еду, один билет плачу; вот они мне и складывают на билет-то... Кабы не старость моя горькая да не сиротство...

— А потом назад от доктора-то?

— Вестимо, назад.

Старуха плакала, а мещанин качал головой.

Вот какие сценки случаются среди скромного и трудного заработка крестьянки не больше как в тридцать рублей в год. Уж, стало быть, крестьянскому дому деньги нужны «дозарезу».

II

Без газет. — Улица. — «Деревенское обозрение». — Опыт деревенской газеты. — Подати — подати! — Понукатели. — Упорщики и неплательщики. — Смерть мальчика. — Приезд доктора. — Учитель. — Лошадиная холка и красильщик Петр. — Деревенская тайна.

1

Вот уже четвертые сутки, как я не получаю с почтовой станции ни книг, ни газет, ни журналов! Столичному жителю, столичному читателю никогда не понять, что за жестокое мучение должен в подобных случаях испытывать такой же самый столичный житель, сидящий почему-нибудь в деревне, в русской деревенской глуши! Отвыкнув от понимания сущности и форм деревенской жизни, далекий, благодаря этим формам, даже от мысли находить между деревней и столицей какую-нибудь связь, такой человек (живет ли он на даче или только что благоприобрел тихий деревенский уголок в потомственное владение) не может обойтись без газет. Они необходимы ему, как необходимы пузыри для человека, боящегося плавать по глубокой и широкой реке. Что делать, если эти пузыри лопнут? Если два-три-четыре дня нет известий ни с театра войны, ни из сфер правительственных, словом — нет ничего, чем столичный житель привык интересоваться ежедневно, — в обоих случаях гибель неминучая! По обоим берегам реки, среди которой он гибнет, видны толпы народа; но никто не поможет ему. Одни работают, не видят его гибели, не слышат его воплей. Другие и видят и слышат, но ничего сделать не могут: ни лодок нет, ни пловцов. Погибай среди бела дня, во цвете лет, на глазах толпы людей! Та же самая история происходит и в случаях, когда по каким-нибудь, всегда неведомым причинам из рук ваших исчезает газетный

лист... «Что в Плевне? Что в Карсе? Что в Александринке?» — взывает погибающий — и ниоткуда нет ответа! Ни лавочник, ни батюшка, ни волостной старшина, ни тем паче обыватель деревни, крестьянин, никто не ответит ни на один вопрос... Все они «рады бы радостью» помочь вам, но не могут, потому что у них *свои* дела, *свои* заботы...

— Были вы на станции, Иван Иваныч? — вопиете вы к лавочнику.

— Только сейчас вернулся...

— И не стыдно вам не зайти на почту, не взять газет?..

— Из ума вон!.. Совсем из ума вон!.. Да всё с этими раками...

— Какими раками?

— Да раков отправляли в Питер, пять тысяч, так целый божий день бился как собака... Подите-ко, отведайте, каково с нашими с первоначальниками-то дорожными!.. Тут не до газет!..

Отвечая на ваши расспросы, лавочник норовит уйти к амбару и нетерпеливо вертит в руках ключ: ему нужно там что-то гораздо более важное, чем то, о чем вы его расспрашиваете. Очень хорошо вы видите нетерпение, с которым он отвечает на ваши расспросы; но утопающий хватается за соломинку, и вам нет никакой возможности отпустить его на волю...

— Не слыхали ли по крайней мере чего-нибудь?..

— Нет... что-то бытто не слышно. Расшибли, говорят!..

— Кого? Где расшибли?

— Да болтали там, на станции, наши бытто расшибли... что-то... Муки, говорят, сблаговестили у турок оченно довольно...

— Да где? Кого кто расшиб-то?..

— А уж не могу вам в точности... слышно, что сорок бытто тысяч... Не то муки, не то в плен... али как... Уж точно не могу вам... Я сейчас! — вдруг вырываясь из неловкого положения, в которое вы поставили его своими расспросами, и проворно убегая в сторону, уж издали кричит вам лавочник. — Я сию минутую, только что вот насчет солонины... как бы не попортилась... дух дала... с-сию минутую!

Но, уж будьте уверены, вам не дождаться его возвращения; у него там в погребе всепоглощающий интерес: солонина дала дух, а ведь ее посолено пятнадцать пудов! Продать ее или повременить, не выменять ли на жеребенка у Тарасова или двинуть в казармы? — обо всем этом надо подумать, и подумать много... Какие тут газеты!..

У лавочника — солонина, у батюшки — хлопоты с уборкой, благо удались хорошие дни, хлопоты с розыском рабочих... Словом, у всякого деревенского жителя есть нечто более важное, более спешное, чем все эти турки, Плевны, газеты. Беспомощность вашего положения именно тем и ужасна, что вы не можете не понимать, как в самом деле важна эта солонина одному, уборка другому, и, стало быть, погибая, не имеете права негодовать на то, что вас не спасли. Рассыльный, который, получая от волостного правления три рубля в месяц на своих харчах, должен ежедневно ходить на почтовую станцию, оставил вас на четыре дня (а может оставить и на четыре недели) без газет, то есть без дыхания и воздуха, оставил потому, что ему навернулась работа: сосед-дьякон перевозит избу и платит деньгами по полтора рубля в день. Зная хоть чуть-чуть цену деньгам, ни у кого, даже у волостного начальства, не подымется рука на этого старика, не исполняющего своих обязанностей. Осенью, которая уж почти на дворе, ему надо платить подати, нужны деньги, а газеты — «успеется»!

И вот вы идете ко дну. С гладкой поверхности политических, литературных, правительственных, русских и иностранных и всяких иных известий вы, лишенные газетных пузырей, идете ко дну неподкрашенной, ненапечатанной русской действительности. Бесцветные, но крепкие и цепкие водоросли, покрывающие это дно в изобилии, начинают опутывать вас со всех сторон, не дают двинуть ни рукой, ни ногой... «Солонина дала дух», «продешевил с овсом», «испортил шкуру», «передал три копейки», «легче помереть, чем на сорок на пять копеек соглашусь» — все эти подлинные и насущнейшие интересы самого дна русской жизни опутывают, душат непривычного столичного жителя.

В первые дни моего пребывания в деревне такие минуты, когда неаккуратность рассыльного или какая-ни-

будь иная случайность не давала мне возможности своевременно иметь газету, журнал, — такие минуты были минутами истинного мучения. Доходило дело до того, что я, как манне небесной, рад был всякому печатному лоскуту, садился к стене и с удовольствием перечитывал газеты, которыми были оклеены стены обитаемого мною дома... Так велика была моя разорванность с интересами деревни, так грубо относился я к ежедневным заботам и нуждам окружающей меня среды, руководствуясь в этой грубости только тем, что эти интересы и ежедневные заботы являются перед моими глазами не в тех формах, к каким я привык и в каких желал бы их видеть. Время и довольно настойчивая неаккуратность рассыльного, по мере разгара деревенских работ все чаще и продолжительнее оставлявшего меня без пузырей, понемногу и, как мне кажется, довольно основательно исцелили меня от этой нетерпимости сначала к непривлекательной сухой форме деревенского быта, а потом и к не менее непривычной для меня самой сущности этой неприбранной, не разложенной по газетным рубрикам жизни. Перечитав все обклеенные газетами стены и пережив мучительные минуты, когда уж ровно нечего было читать, когда нигде не находилось ни одного печатного клочка, я невольно стал задумываться над тем в высшей степени неловким положением, которое я всякий раз испытывал, покончив с газетным листом и выйдя на деревенскую улицу.

2

Обыкновенно, очутившись после газетного листа на деревенской улице, некоторое время ровно ничего не понимаешь. В газете — отчет о рефератах по народному образованию, о поощрении торговли и промышленности, довольно ловко уясненные вопросы о том, чем нам быть, что́ мы будем и куда идем. И вот, начитавшись всего этого, то есть всевозможных взглядов, мнений и мероприятий, касающихся русского народа, обсудив их, согласившись с одним, не согласившись с другим, составив свои собственные теории и взгляды, так несомненно касающиеся всего русского, я неожиданно теряюсь, даже забываю все мои и чужие взгляды и теории, как только

вхожу в самую средину этого народа... Что за тайна? Для какого же народа все это печатается и пишется и о каком таком народе размышляю я сам, если этот народ своими солонинами, шкурами и прочими непостижимыми для меня интересами выбивает из моей головы и заботы о лучшей системе народного обучения и твердую уверенность в нашей исторической миссии среди славянства, словом — все, что я, живя в деревне, должен искусственно поддерживать в себе газетой?

Размышляя на эту тему, я очень скоро убедился, что вся беда разъясняется самым простым манером, и именно тем, что люди высшего развития и общества, органами которых служат газеты, делающие все, без сомнения, для народа, не дают себе труда обратиться именно к мнению того, о ком идет речь и о ком идут все эти хлопоты. Реферат о народном образовании прочитывается в ученом обществе, принимается, одобряется — и делу конец. Как осуществится предлагаемая желающим народного блага референтом мера в среде самого народа — никто не спрашивает об этом. Столица, а стало быть, и столичная газета не принимает во внимание того самого народного материала, над которым они производят свои опыты улучшений, усовершенствований и вообще всяких благодеяний. Ни в одной газете нет обстоятельного, хотя бы раз в год появляющегося «деревенского обозрения», которое обращало бы внимание на участь, постигшую то или другое дарованное столицею народу благодеяние, и показало бы, в каком виде благодеяние это добралось до деревни. Ничего подобного мне не случалось нигде видеть или читать: деревня просто благодетельствуется так-таки «без всяких разговоров»; и вот почему деревенская действительность ставит в такое неловкое положение всех, самым специальным и тщательным образом разрешивших у себя дома, хотя бы и в самом благороднейшем смысле, всевозможные касающиеся народа вопросы: чем ему быть, что ему надо, какая у него задача и т. д.

Мало-помалу мысль о правах деревни в решении вопросов, касающихся ее собственных нужд и забот, стала вытеснять из моего газетного сознания решения этих деревенских народных вопросов, придуманные не деревней. Почему — стало приходить мне в голову — в газетных решениях вопросов народной жизни не играет никакой

роли ни эта солонина, из-за которой человек забывает войну и Болгарию; ни эти раки, ни вообще все интересы, задачи, заботы, которыми живет и которыми держится на свете деревня? Почему она безропотно должна принимать всевозможные решения относительно того, чем ей быть? Почему она сама не имеет права сказать — что ей нужно? И долго ли, наконец, она не будет знать, что такое задумывают для нее чужие люди, хотя и люди высшего развития?..

Да, решил я под влиянием этих мыслей: — необходим настоящий мужицкий орган, орган деревенской жизни, без иностранных известий, без театральных и литературных фельетонов, орган не курьезов и смехоты, а настоящего положения деревенского кармана, деревенского ума, сердца, желаний, нужд, надежд. Такой орган осветил бы тьму кромешную русской жизни, внес бы свет в темную комнату, где приходится ходить ощупью, путаться, теряться, спотыкаться, словом — не знать, где что и кто?..

В первый же раз как рассыльный оставил меня без газет на целую неделю, я, чтобы убить время, принялся за составление программы и первого нумера ежедневного периодического издания, посвященного деревне и мужику. Я ни на минуту не сомневался, что дело это легкое, стоит только приняться за работу поприлежнее. Но, увы, опыт разубедил меня в этой легкости. Дело оказалось необыкновенно трудным, главным образом потому, что я за образец взял себе программу обыкновенных столичных газет, и тут мне пришлось убедиться, что ни один из отделов столичной газеты не пригоден для газеты мужицкой. Чтобы достойно подражать органам высшего развития и высшего общества, я должен был просто лгать всякий вздор, сочиняя передовые статьи, в других же отделах должен был отсекать от того и другого факта особенные, только деревне свойственные привески, чтобы факт этот влез в ту или другую рубрику. Наконец некоторые факты решительно не влезали в тот отдел, к которому они подходили по внешнему виду. Столичные газеты, не претендующие на то, что их забывают тотчас по прочтении и ни в каком случае не будут помнить на следующее утро, могут позволить себе крошить русскую и иностранную жизнь как им угодно: столичная публика все потребит. А с деревенской делать этого не прихо-

дится: мужицкий орган — насущное и настоящее дело, в противном случае зачем и затевать затею.

Чтобы слова мои о трудности задачи не были бездоказательными, приведу пример: состоялось распоряжение о возвращении призванных ратников-одиночек. Куда я должен девать это известие? В столичных газетах оно занимает две строчки в отделе правительственных известий и четыре в хронике, где сказано о единодушном восторге: так в столичной газете. В мужицкой — должно быть совсем иначе; и как ни странно для столичного читателя, а это известие я должен поместить в отделе «недоимок», потому что:

— Здравствуй, Петр! Воротили тебя?

— Как же-с!

— Что же, рад ты? Рады твои?

— Чему радоваться-то?

— Как чему? Пошел бы, убили бы...

— А тут-то что?

— Как? а тут ты дома...

— Дома-то дома, да что я делать-то буду?.. Думали, *совсем* угонят, заложились совсем, сорок целковых стали проводы. А теперь и денег нет, да лишний рот... да в долгу все... Теперь подати... Чем отдашь-то? — денег-то ведь нет!

Или в каком из соответствующих столичным газетам отделов должен напечатать я следующее:

«Сельскому старосте Петру Михайлову. — Приказываю я тебе собрать с мужиков — которые положены за порубку с семи душ — по шести с четвертаком, то чтобы непременно к богоотцы Акимыанны ты собрал, чтобы Аким Ивановичу непременному был представлен взыск в день ангела. Поручаю тебе с большим старанием предписываю я чтоб собрать в течение того времени. Волостной старшина Полуптичкин».

Что это такое? Внутреннее ли просто известие, правительственное ли распоряжение, или это годится в отдел хроники, как прибавление к известию об именинах Аким Иваныча? Но, кроме этого голого известия о собрании штрафа и о том, что старшина хочет сделать подарок в день ангела потерпевщему «непременному», — кроме этого, я не знаю, как мне помирить с этим радушием старшины его полное к этому Акиму Иванычу презрение.

Этот же старшина — поговорите с ним об Аким Иваныче — скажет вам, что человек этот кулак и проныра, что при наделе он обманул крестьян, что крестьянский дрянной надел записал по первому разряду, а свои отличные земли — по третьему и налог платит по третьему. На какие такие рубрики могу я разбить этот факт, взятый во всей совокупности? Чтобы не запутывать читателя, я прямо удивлю его, сказав, что записка старшины должна быть, вместе с упомянутым выше деревенским привеском (о том, что Аким Иваныч — кулак), помещена в отделе *«народного просвещения»* и даже, как это ни покажется странным, под особым названием: *«Следы системы классического образования в деревне»*.

В видах образования культурных людей вводится классическая система образования. Предполагаются культурные столпы, расставленные в разных весях земли русской и влияющие благотворным образом на массу, влияющие своей внутренней, нравственной высотой, заставляющие чувствовать массу внутреннее превосходство такого человека и таким образом облагораживаться. Раз система признана достойной — ограничиваться школой, медленным приготовлением новых людей, невозможно. Предписания о необходимости уважения ко всякому благородству, наверное, следуют из столиц в губернские города, из губернских — в уездные, оттуда — в волости, в сельские общества. И вот через исправников, архиереев, губернаторов, благочинных идея о необходимости в среде народа внутренно отличных от массы существ, упрощаясь в слоге и изложении, доходит до деревни, — и вот «приказываю я тебе» почтить Аким Иваныча как культурного человека, хотя он и кулак по нашему деревенскому, некультурному мнению.

Этих двух примеров, я полагаю, достаточно для того, чтобы понять всю важность и всю трудность затеянного было мною дела. Один уже пример Петра, возвращенного в лоно родительского дома и недовольного этим, говорит о том, что не худо бы прежде, чем благодетельствовать, спросить у деревни: точно ли нужно брать этих Петров? Но этот пример, как и последующий, главным образом доказывает только трудность разработки формы мужицкого органа. Вот почему, оставив мысль о мужиц-

ком органе, я решился представить просто мой дневник, занося явления деревенской жизни в том виде и в том порядке, в каком они следуют день за днем. Привожу отрывок из этого дневника, касающийся первых дней осени.

3

Существеннейший признак осени — такой же грустный и унылый, как желтые листья леса, как грозные тоны, начинающие слышаться в порывах ветра, — есть, несомненно, появление в волостном правлении предписания уездного исправника о скорейшем взимании податей. — Странное дело! Несмотря на то, что все волостные правления только и живут изо дня в день, из года в год такими предписаниями уездного исправника, весть о том, что «пришла бумага насчет податей», производит на обитателей нашей деревеньки впечатление почти неожиданности и по тягости, по унылости едва ли не превосходит впечатления и осеннего воя ветра, и голых деревьев, и мокрых желтых листьев.

Дело в том, что в течение всей рабочей поры, начиная с апреля, мая и вплоть до уборки полей, то есть до первых дней осени, предусмотрительные руководители наши ни единым словом не тревожат крестьянина. — Ни становой, ни исправник, ни старшина, ни староста — никто решительно из имеющих власть не пикнет, не заикнется ни о каких деньгах, — вдруг, точно по мановению волшебного жезла, замирают грозные крики: «давай», «давай!» Всякое начальство притаивается, словно исчезает с лица земли, и обыкновенный (не «порядочный») мужик, для которого понуканье, дерганье и всякое тормошенье составляют, вследствие долгой привычки, главнейшее и существеннейшее содержание жизни человеческой вообще, не видя этого дерганья и понуканья, начинает понемногу забывать о нем и незаметно отдается земледельческому труду. Надо удивляться, с какой детской наивностью предается он забвению ожидающей его катастрофы. — Точно забитый и замученный педагогами школьник, он, оставшись один, без наказаний и понуканий, во мгновение ока забывает все, что выдолбил, и все, что перенес от педагогов, забывает все это под впе-

чатлением нескольких мгновений покоя. Нельзя не сознаться, что мера эта благодетельна: она поощряет рвение крестьянина к труду, который не мог бы быть столь успешным, если бы происходил под беспрерывным давлением одного и того же «давай!» Работа его идет втрое, вдесятеро лучше. Его поддерживают всевозможные планы, всевозможные фантазии, которые лезут в это время в его забычивую голову: вот он продаст хлеб, купит лошадь, телушка за лето отходится как нельзя лучше — тоже деньги; вот уж он покрыл и поправил сарай, сшил себе и мальчишке новые сапоги — и так до бесконечности. Под влиянием этих планов и фантазий он бьется пять месяцев как рыба об лед, вытягиваясь вместе с своей лошаденкой из последних сил; и к концу лета, когда поля покрыты волнующимися пышными хлебами, он до того уже осваивается с своими несбыточными планами, что начинает думать о праздниках, предстоящих в августе и в сентябре, и совершенно не подозревает, что он уже в блокаде...

Едва он свез с поля и смолол первый сноп нового хлеба, как бомбардирование открывается внезапно со всех пунктов и с непомерной настойчивостью. И в самом деле: необходимо сразу выбить всевозможные фантазии, необходимо с корнем вон, как гнилой зуб, вырвать эти грезы о телушке, чтобы облегчить нелегкий переход от розовых планов к горькой и пасмурной действительности. И, надо отдать справедливость осаждающим, энергия их выше всякой похвалы. Положительно можно сказать, что не успел слепинский мужик довезти первого мешка нового хлеба с мельницы домой, как в ту же самую минуту разнеслась по деревне весть о «бумаге насчет податей». Оказалось, что еще вчера, в одиннадцать часов вечера, старшина посылал за старостой и объявил ему о строжайшем предписании. И мгновенно по всей округе, точно холодный и упорный осенний ветер, поднимающий холодную пыль и уныло завывающий в печных трубах, загудела по деревням унылая весть о податях — о страховых, о земских, о поземельных... Летние фантазии разрушались в самое надлежащее время, именно когда еще почти весь хлеб, хоть и сжатый, стоял в поле, а яровое наполовину и не было даже убрано. Предписания одно за другим, точно шрапнели, не давая опомниться,

громили округу без умолку, настигали слепинского мужика на всех путях. Пошел он в кабак — хвать, у самого носа разрывается граната, являясь в виде сельского старосты:

— Будет деньги-то в кабак таскать! Подати несите... бумага вон!

— И всего-то гривенник несу... два стаканчика...

— Всё давайте, что есть!

— Мы с нашим полным удовольствием, да какие это деньги — гривенник!..

— Все меньше будет! Знаю я ваше прекрасное удовольствие... зачну вот продавать...

— Храни бог!.. авось...

Мужик идет в кабак, и колом влезают ему в горло оба стаканчика.

— Эй-эй! — кричит, между прочим, староста, настигая другого случайно встретившегося слепинца: — подати несите! Скажи своим, чтобы беспременно... бумага — боже мой!

— Ладно!

— Чего ладно! Сейчас давай, сколько есть!

— Да нетути сейчас-то.

— Когда ж будут? — все нетути да нетути. Когда ж будут-то?

— Авось...

— Авось! А мне за вас в темной сидеть?.. Чтоб беспременно несли — вот что!

— Принесем...

— Да, беспременно несите! Много вам прощали — ноне «поступать» станут.

Слово «поступать», очевидно, очень значительно и для старосты и для мужика.

— Что ты! — говорит он испуганно: — господь с тобой, авось поплатимся...

— Ну то-то! Помнить это надо!

Говоря такие страшные слова и суля такие угрозы, сельский староста, как мужик доподлинно знающий невозможность в данную минуту напирать на крестьян «всурьез», потому что из этого ничего не выйдет, кипятится и свирепствует без всякого серьезу, просто исполняя предписание. Ввиду такой внутренней непрочности идеи о необходимости взносов, непрочности, живущей даже

в самом сельском начальстве, главнейшем добывателе наших сотен миллионов, необходимо вести осаду с непоколебимою настойчивостью; необходимо день и ночь долбить циркулярами и телеграммами исправников; необходимо тормошить становых, необходимо не давать опомниться ни старшинам, ни старостам, чтобы все это полчище финансистов постоянно стояло на ногах и чтобы оно, внутренно сознающее непреоборимую трудность предстоящей финансовой операции, выкинуло бы, под влиянием бомбардировки, всякие мысли об этой трудности и сосредоточилось бы только на требовании. И вот почему, едва смолот первый сноп, — крик «подати! подати!» начинает гудеть над деревней неумолкаемо.

— Подати несите! Несите подати! — как-то угрожающе (хотя и кротко) советует старшина, появляясь на деревенской улице, появляясь как бы случайно, по пути в лавку, но в сущности именно только за тем, чтобы укрепить в населении главную идею времени. Все мимоедущие и мимоидущие власти, которые в течение лета куда-то запропастились, а если и показывались на деревенских аванпостах, то с совершенно мирными намерениями, как, например, с вопросами о том, что «много ли, мол, нынче ягод? много ли будет осенью свадеб?» и «не скучно ли, мол, тебе, Авдотья, одной, без мужа-то?» — все это кроткое, любезное и милое сословие явилось теперь в совершенно ином виде. Никто из них не пройдет, не проедет, чтобы не остановиться или не остановить своих лошадей перед первым встречным мужиком и не сказать ему торопливо и решительно:

— Скажи старосте, чтобы непременно подати... Слышишь?

— Слушаю-с!

— Непременно! Слышишь ли? Неп-ре-мен-но!..

— Слушаю-с!

— То-то слушаю-с! Непре-мммснно!

Или:

— Ты староста?

— Я-с!

— Как подати?

— Помаленечку идут...

— Как помаленечку?.. Что такое «помаленечку»?

— Мы с нашим с полным... кабы ежели бы...

— Что такое — «кабы ежели»? Какие такие «ежели»? Никаких «ежели» тут нет и быть не может. Слышишь?

— Слушаю-с!

Благодаря такой тактике недели через две-три непрерывной осады слепинские мужики окончательно забывают всевозможные летние фантазии и перестают понимать в себе и вне себя что-либо другое, кроме необходимости платить подати.

Вот «Общее обозрение» существеннейших признаков первых осенних дней в деревне.

4

Осаждающие, как я уж упомянул, несмотря на точность, аккуратность и немедленность исполнения предписаний, не только «серьезно» не питают лично к осажденным враждебных чувств, но, напротив, если дело дойдет до разговора о предстоящей кампании, не замедлят высказать вам прежде всего о неуспешности предпринятой ими осады, даже почти о полной ее бесполезности. Всякий палит исправно, настойчиво, неумолимо, но знает, что толку будет мало и что «ежели бы не семейство» или что-нибудь в этом роде, что заставляет человека палить из-за молочишка, так бы отряс прах от ног и ушел бы куда-нибудь к другому, более мирному делу.

— Да неужели вы полагаете, что на мне нет креста? — восклицает где-нибудь в интимном кругу и в минуту откровенности кто-нибудь из числа лиц, ежедневно рассылающих по всем концам уезда «строжайшие предписания» о взыскании «без послабления и снисхождения». — Неужели вы полагаете, что у меня вместо головы ведерная бутыль или кирпич? Вот не угодно ли, прошу вас покорно, прежде чем осуждать...

И вслед за тем из бокового кармана военного сюртука торопливо вытаскивается целая кипа бумаг.

— Вот-с! Сделайте одолжение.

Длинная бумага есть объяснительная записка в ответ на строжайший выговор, полученный уездным понукателем от понукателей губернских. В записке говорится, что если не собрано за первую треть 16 744 руб. с копейками, то это происходило не от личной бездеятельности понука-

теля или нерадения, а от других причин, которые он и считает долгом изложить перед начальством, дабы оказаться чистым со стороны подозрений в нерадении. В доказательство своего рвения он приводит примеры необыкновенных, поистине героических подвигов: он переплывал на утлой ладье реки, бывшие еще в полном разливе, застревал в зажорах, сажал в темную сельских старост и т. д. Но при всей своей неустрашимости, при всей своей готовности не мог ничего сделать с непреоборимыми фактами действительности: с бесхлебьем людей, бескормицею скотов, «из которых, например, овцы совершенно облезли, а коровы до того отощали, что на бывшей ярмарке он собственными глазами видел таких, которые не могли стоять на задних ногах, а сидели, словно зайцы, на собственном своем хвосте». И не случайность какую-либо, вроде неурожая, или падежа скота, или эпидемии, винит он в существовании этих неодолимых для успешности взимания обстоятельств, хотя и эти случайности без внимания не оставляет, но видит «причину в корне, а именно»... Далее, конечно, идет то, что известно всем и каждому: разделы, баловство, пьянство. Дойдя до этих слов, вы готовы возвратить рукопись автору; но автор останавливает вас, говоря:

— Читайте, читайте дальше!.. Там есть, есть настоящее!.. Это ведь только для отводу... Там дальше я ввернул втихомолку... Не беспокойтесь, будьте покойны, извольте читать!

И действительно, в пышном букете тщательно собранных народных пороков замечается тщательно спрятанный репейник: идет речь о наделе, о доходности его и о соразмерности...

— Всё знаем-с! Уж говорено! Писано-переписано... И что ж за все это? — кроме выговоров да распеканий ничего не видишь и не слышишь... В нынешнем году я получил уж пять выговоров простых да с полдюжины строжайших: — так тут перестанешь рассуждать... Нет, батюшка, кабы не семейство...

И такие речи слышатся по всей длинной лестнице понукателей, от высших до низших. Везде понимание и гуманизм, всегда, впрочем, довольно счастливо завершающийся на деле непреклонностью. Низший понукатель

деревни, сельский староста, так тот даже разъясняет вам самые мельчайшие причины неуспеха осады. Не дальше как сегодня, то есть в тот самый день, когда мне пришло в голову завести дневник, я зазвал к себе с улицы нашего сельского понукателя и, коснувшись в разговоре вопроса дня, слышал от него самые рациональные и обстоятельные суждения.

— Много ли набрали, Михаил Петрович? — спросил я его.

Михаил Петрович засмеялся и махнул рукой.

— И не поминайте!.. За два-то дня — четыре с чем-то рубля со всех семидесяти домов... Один только мужик дал рубль, и то спасибо, что я его настиг на мосту — с работы шел: плотник он, с расчетом, — а то всё гривенник, двугривенный, полтинник... Вот тут вам и собирай! Покуда выберешь с них двадцать-то пять рублей...

— Что ж вы будете делать?

— Да что с ними делать-то? Что-нибудь-то принеси, сделай милость, и то спасибо. Да откуда ему взять, сами вы посудите? Доходу у него всего-навсего пятьдесят рублей, это уж если весь урожай продать, а взносу — двадцать пять; да ведь надо сапоги, свечку иной раз, соль, да мало ли что — все из этого.

Деревенский понукатель развивает картину крестьянских нужд в мельчайших подробностях и заканчивает ее вопросом:

— Ну что ж, помилуйте, с них взять? Откуда он возьмет, когда у него ничего нет?

И, повергнув вас в грустное раздумье, тоже довольно грустным тоном прибавляет:

— Ничего не поделаешь! До покрова как уж нибудь, хоть по гривенникам, буду принимать, ну а уж с покрова, видно, посурьезней придется.

— То есть как посурьезней?

— Да что же мне-то делать? Придется так, что возьму шестерых понятых да пойду по деревне с одного конца до другого с описанием... У нас на это есть инструкция, сказано — не дожидаться ни станового, ни что... Что делать? и рад бы — придется!

И поверьте, что пойдет, опишет и предоставит. Кроме земли, у крестьянина есть лишняя овца, лишняя

телушка... Вот они-то и ответят. И ведь все понимают дело отлично, верно — и все-таки продолжают поступать без всякого «послабления».

Глядишь-глядишь на все это, и так-то тяжко становится на душе...

5

Нет никакого сомнения в том, что жизнь, под беспрерывным долговременным влиянием теории «гуманной беспощадности», не прошла бесследно для обывателей деревни. Есть у нас умышленные «упорщики», неплательщики, не покоряющиеся требованиям осаждающих, не желающие остаться довольными решением волостного суда о наказании двадцатью ударами за неплатеж податей — участь большинства отхожей молодежи, но в общем такие люди значат мало и деморализующего впечатления не производят. У нас, в Слепом-Литвине, можно указать только на двух такого рода упорщиков.

Один из них — старый старик, остаток старого крепостного права, человек, ропщущий на новые порядки, на то, что волю дали, дали волю всем: мужикам судить своего брата, молодым ребятам курить табак и т. д. Но ожесточение этого человека очень легко объясняется тем обстоятельством, что он стар, ветх, что никаким образом по закону его невозможно высечь... Все его ожесточение выражается только в том, что он кобенится платить деньги до последней возможности. «Погодишь!» — говорит он старосте, и староста годит, потому что знает стариковский нрав и потому что нет в деревне человека, который бы не приходился старику родней. Кроме того, семья старика — самая большая в деревне и самая состоятельная; старик и права-то уж не имел бы распоряжаться делами этой семьи, но уступить этого права он не хочет, отбирает от детей деньги и держит их в повиновении капиталом, которым по смерти облагодетельствует всю семью. Уважение к этому капиталу сильно и во властях предержащих (я говорю о сельских): и вот почему старик может кобениться и оттягивать деньги до последней возможности. «Попробуй-ко, коснись!..» — ставит он на вид всем и каждому, подразумевая под словом «коснись» — розги. В конце концов он все-таки,

с ругательствами «подавись» и проч., платит деньги и уничтожает таким образом всякий смысл своего упорства.

Другой упорщик, — также человек, не производящий на слепинцев никакого вредного впечатления, — синильщик Петр. Это человек озлобленный и для слепинцев несимпатичный. За подделку пятака серебром он высидел шесть лет в остроге, и общество, вновь принявши его, смотрит на него с некоторою боязнью: человеку такому ничего не стоит, думает оно, поджечь деревню, разорить всех дотла; слава богу, сидел в остроге — не велика беда и еще посидеть. Общество не позволяет ему даже выстроить избу, а постановило, что если он хочет жить в Слепом-Литвине и заниматься красильным мастерством, то обязан жить на квартире, то есть находиться постоянно под наблюдением постороннего глаза. Негодуя от всей души на свое положение, Петр старается пользоваться им, поддерживая грубостью со всеми убеждение в своей жестокости. С этим человеком разговоры о податях обыкновенно ни к каким существенным результатам не приводят.

— Ты что ж денег-то не несешь! — мимоходом адресуется к Петру староста.

— Каких денег? — ощетинившись и сверкнув глазами, не говорит, а рычит Петр. Он стоит на крыльце с каким-то синим ведром и при словах: «каких денег?» делает этим ведром такой жест, что староста отступает несколько шагов назад.

— Каких тебе денег? — повторяет Петр, относя руку с ведром назад и двинувшись вперед на один большой шаг.

— Казенных денег! — тоже орет, отступая однако, староста.

— Чево-о?

— Денег! вот чего! Слышишь, ай нет?

— Ты чего горло-то дерешь?

— Ты деньги-то неси, вот что!

— Горло-то ты чего, говорю, дерешь?

— Я говорю — деньги подавай!

— Как-кие?

— Такие!

— Какие деньги?

— Тьфу ты, острожная твоя душа! — произносит староста и торопливо идет прочь.

Петр некоторое время молча смотрит ему вслед, сверкая глазами, затем с озлоблением выплескивает из ведра синие помои и победителем уходит в свою хибару.

Такого рода неплательщики никоим образом не могут поколебать в обыкновенном слепинском обывателе, обыкновенном сером мужике, полнейшую, безграничнейшую уверенность в том, что нести деньги «надо». Иван Афанасьев, с которым читатель знаком по предшествовавшему отрывку, — образец такой упорной веры. в «надо». Наслушавшись речей старосты, познакомившись, благодаря ему, с настоящим положением слепинских платежных сил, я завел с ним речь по этому предмету при первом же свидании...

— Ну, как подати, Иван Афанасьич?

— Надоть!

Иван Афанасьич вздохнул.

— Чем же вы отдадите?

— Как-нибудь, по силе возможности!

И, помолчав, прибавил:

— Надоть!..

6

Не знаю, в какой отдел моего мужицкого обозрения девать маленький деревенский эпизод, которым ознаменовались первые осенние дни в Слепом-Литвине, или, вернее, первый куль нового хлеба.

Была темная, дождливая осенняя ночь; неумолчно и обильно лил дождь, при порывах ветра начинавший «сечь» в окна и шаркать по крыше... Вся деревня давным-давно спала мертвым сном; был уж второй час ночи, пора самая глухая, непробудная: ни одного живого человека не встретишь на ста верстах кругом. В такую-то пору сидел я за книгой. Какой-то стон и оханье под окном остановили меня. «О-о-о-о!..», «О-о-о-о!..» — слышалось мне, когда я прислонился к стеклу окна...

— Мих-хайла-а! — изо всей мочи, напрягая последние истомленные силы, прокричал стонущий человек и опять устало заохал.

— Кто тут? — приотворив окно, спросил я.

— Ох, родимый, мальчишку ищу... с отцом поехал — ни отца, ни мальчишки... И что сталось!.. о-ох-ох-ох!

Это была женщина.

— Куда ездил-то он?

— На мельницу, родной, — молол.

— Ты была на мельнице-то?

— Была, была... нетути, уехали, да вишь... до дожжа... Хожу, ищу с коих пор... Видно, что недоброе случилось.

— Теперь ничего не найдешь, темно!

— О-ох, не найду!..

Этот разговор разбудил моих сожителей, которые кое-как уговорили женщину переночевать в кухне или погодить до свету. Измученная, она было согласилась, вошла в кухню, присела, охая и стеная, но не осталась, несмотря ни на что... «Не дома ли? — твердила. — Может, и дома... Куда им деться? Некуда... Нет, недоброе... Ох, худое, худое...» И наконец-таки ушла. «Михайло-о!...» — слышался ее голос, издалека доносимый ветром.

Чем свет по деревне разнеслась недобрая весть: на рассвете крестьянка нашла своих, но в каком виде! Муж валялся на поле, верст за десять, и спал пьяный; в стороне от него паслась высвободившаяся из упряжки лошадь, а под телегой и под мешками с новой мукой лежал мертвый мальчик...

Как случилось это несчастие? Никто путем рассказать не мог. Разбуженный отец только с ужасом таращил глаза и меньше всех знал, что такое с ним случилось. Он помнил только, что вчера поехал на мельницу, что взял с собою шестилетнего сынишку (все человек: подержит лошадь, сумеет сказать «тпру» в то время, когда отец будет на мельнице). Помнит, как он радовался, таская мешки новой муки... Помнит, как подъехали дядя Егор да дядя Пахом; ехали они со станции и везли ведро хорошего вина. «Ай новина?» — спросил Егор. «Она самая!.. — Никак вино везешь?» — «Вино!» — «Дай стаканчик, я тебе новинки отсыплю». — «Что отсыпать, давай мешок-то — пей!» — «Так уж тогда давай всей компанией выпьем, новину обмоем...» Выпили по стаканчику, по другому, по третьему... «а тут и не помню». Не помнит также ничего и дядя Егор, и дядя

Пахом тоже чуть-чуть что-то домекает... Помнится ему, бытто мальчишки и не было в телеге... «Ежели б было, авось бы заметили, не ввалились бы в телегу целой гурьбой песни петь...» — «Господи помилуй! уж неужто мы не видали его да навалились и задавили?..» — «Царица небесная!» — «Да не спал ли мальчик-от?» — «Спал, спал и есть!» — вспоминает отец. «Как же это, господи?» — «Вино-то дюже забрало!.. Вино хорошее, вино, надо сказать прямо, первый сорт!» — «Много ль ты его выпил-то?..» — «Да господь его знает... дядя Егор ни бутыли, ни муки не привез, да и то очутился вместе с телегой неведомо где...»

Идут толки, расспросы; но никто путем не знает, как случилось это несчастие. Кто и когда свалился из телеги, как, кто и где очутился? Раздавили ли мальчика люди или мешки и телега? Всякий помнит только стаканчики, а потом ничего и не помнит — потому вино дюже хорошо попалось. А мальчик лежит мертвый на лавке, и белым холстом покрыты его изуродованные члены!.. Вчера он еще бегал, играл в лошадки, в воров, то есть ловил вора, вел его в арестантскую, кричал: «отдай деньги!», а теперь вот — мертвый... Как? за что? Сразу, бог знает за что, бог знает почему, свалилась на людей беда, истинная деревенская беда, которая бьет, как гром, никому ничего не объясняя. И пришиблен человек, да как пришиблен! Разбита, как дерево молнией, мать, ошеломлен и в глубине своей совести заклеймен ощущением ужасного преступления отец, простой, серый, работящий мужик. Есть ли какая-нибудь возможность распутаться, разобрать что-нибудь в этом глубоком несчастии всему этому несчастному народу?.. Облегчит ли кто-нибудь эту бесконечную боль матери, непостигаемый ужас отца? «Вино дюже крепко!» — может только сообразить этот несчастный человек во всей массе нахлынувшего на него горя.

Целый день надо всей деревней, не говоря о семье маленького покойного, висело ощущение неразгаданного несчастия, которое всякому говорило, что есть над всеми что-то беспощадное, что может грянуть на нас неведомо когда и разнести вдребезги.

Наконец пронеслась весть: «Становой!»

И всем стало легче... Хоть кто-нибудь покончит

с этим тяжелым недоумением. Так, сам по себе, только будешь думать и мучиться, мучиться и думать и все-таки ничего, ровно ничего не придумаешь. Становой взял лист бумаги и написал протокол, в котором была смерть от задавления телегой. Понятые подписались и разошлись по домам. Дело конченное. Далее мыслей начальства не приходится распускать темные мысли мужицкие — не к чему...

Мальчишку зарыли; и вот из деревенской девушки, из деревенской молодухи образовалась деревенская женщина с разбитой грудью, с угнетенным выражением лица и с сознанием, что нет на свете ничего, кроме муки мученской... А из парня и работящего отца вышел мужик, молчаливый в поле, молчаливый дома, снимающий молча шапку перед каждым тарантасом и издали сворачивающий с дороги в грязь, в лужу от всякого встречного: всякий встречный лучше его, всякий имеет право идти по дороге, тогда как он серый мужик — «суконное рыло»!

7

При всеобщей заботе о податях крестьяне невольно должны обращать особенное внимание на всякое явление, в глубине которого скрываются деньги. Ввиду этого слепинские жители с особенным интересом ожидали приезда врача воспитательного дома, чтобы разузнать, когда им будут выданы свидетельства на получение десяти рублей за последнюю треть года. Свидетельства за предшествующую треть года были заложены давным-давно и забраны — у кого в лавке мукой, солью; у кого, с уступкой конечно, отданы ростовщикам. Эти новые свидетельства, деньги по которым получают в конце трети, ожидаемы были также для немедленного залога в лавку или ростовщикам...

В первых числах сентября неожиданно приехал доктор и остановился у меня, так как в нанимаемом мною доме — он узнал от лавочника — есть большая, удобная комната. Никогда, или по крайней мере очень, очень много лет, не видал я такого олицетворения русского чиновнического типа. Поставленный в необходимость исполнять неисполнимое (возможно ли что-нибудь сде-

лать одному человеку, с аптечкой в полторы квадратных четверти, для нескольких сот детей, разбросанных на громадном пространстве целого уезда), этот человек, как и всякий русский чиновник, не имеющий силы оторваться от жалованья, создал из своего дела нечто поистине национальное, то есть дела он не делал, потому что не мог, но беспрерывно мучился (или показывал вид, что мучается) и мучил окружающих, подвластных ему людей, запутывал себя и других в какой-то паутине всяких вздоров, запутывая до помрачения ума и сам уставая при этом до того, что у него «пересыхало горло», и до обычной фразы в конце концов:

— Вот наша собачья жизнь! Если бы не семейство,— и т. д...

Битых два часа этот «служащий» человек орал на собравшихся по его призыву баб с ребятами, не сказав им ни единого слова дела, потому что такие слова не привели бы ровно ни к чему.

— Да ты говори путем! — часто слышалась бабья речь во время его монологов.

— Я вам двадцать тысяч раз говорил... довольно с меня!.. У меня и так голова поседела от вашего безобразия!.. Свиньи вы! — вот я вам что скажу раз навсегда. Если бы вы как следует исполняли то, что вам приказывают, тогда дело было бы другое...

— Кажись, мы стараемся...

— «Кажись»!.. Вам все, дуракам, «кажись»!.. А вот как напишу ревизору, тогда и узнаешь кузькину мать. «Кажись»!.. Ты что?

— Третий месяц пошел...

— Кто ты такая?

— Аксинья...

— Какая Аксинья?

— Маркова!.. — заговорили несколько голосов.

— Что ж тебе нужно?

— Билетик бы...

— Какой билетик? За что? Откуда?.. Что она такое говорит?

Баба молчит.

— Что у ней, язык, что ль, отнялся?

— Она от Марьи ребенка приняла... Третий месяц держит задаром, просит билет на осень...

— Как она смела взять без позволения?
— Там прописано в билете...
— В каком билете?
— А в Марьином.
— Что это значит — «в Марьином»? Что такое прописано? Тебе пропишут порку, а ты пойдешь ко мне? Вам будут там прописывать, а я тут с вами толкуй? Нет уж, покорно благодарю!.. Довольно с меня и того...
И так далее, все в том же роде.
Этому человеку необходимо было терзаться самому и терзать других по целым часам, прежде нежели он отливал в пузырьки баб несколько капель ревеню или прежде нежели объявлял какой-нибудь Аксинье, что она не получит за три месяца ни копейки, так как в билете именно это и прописано и ничего другого там нет и не было. Пробушевав несколько часов, намучившись и намучив других, нажаловавшись на начальство, на свою каторжную жизнь, похвалившись своими благодеяниями, своими хлопотами, врач, наконец, уплелся в соседнюю деревню, оставив баб в недоумении. Точно кто-то взял каждую за шиворот, ни с того ни с другого наорал, растрепал, оглушил и выпихнул невесть куда.

По отъезде доктора между бабами произошел (когда они очнулись) разговор, давший мне возможность внести в мой дневник несколько слов, касающихся деревенской педагогии.
Бабы кучей стояли под моим окном и некоторое время были в полном оцепенении.
Наконец Аксинья Маркова очнулась и произнесла:
— Тоже билеты дают... а кто их там разберет, прости господи...
— Ты бы писарю дала прочитать-то?..
— Да читали уж... Хоть читай, хоть нет, ишь он... ровно цепная собака!
— То-то читали. Кто читал-то?
— Да Федюшка Корзухин читал...
— Нашла кому!.. Что мальчишка знает?
— Ведь небось учут их. Шут их знает, чему их там учут-то...
— На-ашла!.. Вот тебе и начитал на шею...

— Да что мне? Пойду да швырну его (ребенка) Марье, пущай берет назад, а мне отдаст за три месяца... Шут с ей!

— И то-о!.. Бог с ним совсем... Что она? Нешто так делают? Кабы свой бы...

Долго бабы тараторили о своих бедах, наконец ушли. Меня заинтересовал Федюшка Корзухин, которого я знал. Это — мальчик лет тринадцати, и, как мне казалось, умный, грамотный. Отец его хвалился даже, что «хошь сам от безграмотства пропадаю, ну только уж сынишку произведу...» И вот такой-то Федюшка поверг бабу в большое горе именно своей безграмотностью.

При первой встрече я спросил его:

— Это ты, что ль, Аксинье билет-то Марьин читал?

— Мы.

— Ты что ей там прочитал-то?

— Что писано.

— Нет, не то, что писано.

Я рассказал ему всю историю. Оказалось впрочем, что и отец и Аксинья уже намылили ему голову.

— Как же это ты?

— Я читал... все...

— Как же ты не понял, что написано? Разве там много напечатано?

— Не... не много...

— И ты не понял?

— Не...

— Долго ли ты учился?

— Три зимы...

— Плохо, брат!

Мы расстались.

Под впечатлением этого разговора иду к учителю, с которым я был уже давно знаком.

По случаю летнего времени учитель перебрался из маленьких комнат своей квартиры при училище в большую классную комнату. Я застал его за таким занятием: он ходил на четвереньках по какой-то разноцветной, как мне показалось, простыне и был окружен чашками с клеем, обрезками разноцветной бумаги, тряпками и проч.

— Что это вы такое делаете?

— Вот вензель... «*А*» — видите... Аким Иванычу в день ангела.

— Что это вы всё Аким Иванычу да Аким Иванычу?

— Нельзя... Хороший человек — раз, а во-вторых — член. А я ведь еще землемерием занимаюсь при съезде, в летнее-то время; он — мой начальник, вот я и желаю ему...

Учитель шмыгнул ладонью по носу, полюбовался буквою *А*, почти уже написанной на простыне, и продолжал:

— Видите, какой у меня план... Я взял за женой в деревне Болтушкине два дома. Теперь они отдаются за́ бесценок, вот я и хочу перейти туда. Тогда у меня в одном доме школа, в другом верх — сам займу, а низ — под кабак сдам. Огороды свои. Видите? Жалованье то же, что и тут, а поглядите-кось, сколько расчету-то... Ну, а Аким-то Иваныч меня не пускает, потому я хором здесь дирижирую... не хочет пустить... Говорит: «тогда от съезда откажем». Ну вот я ему и хочу сюрпризик... Хе-хе-хе... авось!

Добродушно радовался учитель своей штуке и своему плану и долго потом расписывал мне, сколько у него останется лишку, если он перейдет в Болтушкино.

— Капуста, например, или репа, морковь там, то есть все, все, все, все — свое!..

Говорил он с восторгом, поводя рукой, как бы обозначая какие-то широчайшие горизонты, переполненные репой, морковью, всем, всем...

Долго мы толковали на эту тему; наконец, уходя, я сказал учителю:

— А вот ваш один ученик какую штуку отмочил... — И рассказал ему историю о Федюшке, который, учась три года, не мог понять прочитанного.

— Э, батюшка, — добродушно проговорил учитель: — хотите вы от них!.. Подите-ко, обломайте их, чтоб они понимали-то... И-и! Всех дураков не переучишь! Слава богу, хоть на экзаменах-то не срамят!.. И этого-то подите-ка добейтесь от них... Провалят раз-другой — и остался без хлеба!.. Хоть на экзаменах-то выручают — и то спасибо, а вы там! Посмотрите-ка, как наедут к нам из города надзиратели, да смотрители, да попечители да как начнут загвазживать разные вопросы, один

хитрей другого: так тут только держись за «грядки», точно на перекладной мчат... «Что такое святой дух?», «Почему заутреня раньше обедни?» — то есть не приведи бог! «Что такое святой дух»! Позвольте узнать — что такое? Скажи: третье лицо святыя троицы — это им мало! Надо и им чем-нибудь отличиться — недаром они ревизоры. Озадачить нашего брата для них первое удовольствие... Ну и налаживаешь ребят на этакие фокусы...

— И отвечают?

— У меня-то? Поп-пробуй-ка у меня!.. Уж ежели *я сам* кого вызову — уж тот ответит... Конечно, со всеми не сладишь; где этакую ораву оболванить одному: ведь это нешто люди? — дрова, поленья... больше ничего! Ну, а уж будьте покойны. Мне нельзя как-нибудь: у меня, батюшка, семья на плечах!

8

Возвращаюсь к повествованию о таких явлениях осенних дней, в которых какую-нибудь роль играют деньги. К сожалению моему, таких явлений с «деньгами» в настоящую минуту в деревне крайне мало. Настоящая осень с охотами и наездами господ не начиналась, а других мало-мальски определенных или наверное ожидаемых подспорий что-то не видать. Впрочем, как ни странно это покажется, но к числу таких подспорий можно до некоторой степени причислить и войну, не в тех, конечно, видах и формах, в которых она является пред столичным читателем, а в тех, в каких доходит она до деревенского мужика. Уже было говорено, что всякое мероприятие, или столичная реформа, или столичная идея, дойдя до деревни, превращается в простое требование денег. В форме требований то людей, то подвод, то лошадей приходит в деревню и война; но, уводя людей, она аккуратно и хорошо платит за скотину. Не один из слепинских мужиков спрятал сотенную бумажку благодаря конской повинности, и есть такие, кому выпал на долю барыш.

Здесь следовало бы закончить этот отрывок из деревенского дневника, так как осенние дни не дали до сей

минуты еще ничего достойного быть отмеченным, если бы, опять-таки неведомо откуда, из-под совершенно определенного факта конской повинности не вылезал на мои глаза цепляющийся за него факт неопределенной, темной глубины, самого дна деревенской жизни... Именно: у старосты Михаила Петрова (с которым читатель познакомился в начале этого отрывка), у этого умного, знающего деревенскую подноготную человека, забраковали на приеме лошадь. Михаил Петров огорчился; он уж наметил хорошенькую лошадку и норовил приобресть ее на те деньги, которые бы пришлось получить ему с ремонтера. Лошадь подходила под мерку, а между тем операция не удалась только потому, что холка у этой лошади была натерта в одном месте. Негодуя на эту холку, Михаил Петров вспомнил, что натертое место не зарастает у лошади уже третий год, стал размышлять о причине такой странности... Не размышлять же обстоятельно о натертой холке он не мог потому, что она лишила его денег (денег!) и расстроила планы. И неведомо из какой тьмы тем его осенило воспоминание о том, что лошадь эта куплена, три года тому назад, у того самого Петра-синильщика, с которым читатель также познакомился в этом отрывке.

«А ведь что-нибудь это значит, — подумал Михаил Петрович и немедленно же вспомнил, что год тому назад волк зарезал у одного крестьянина корову, купленную также у Петра... — Что-нибудь это не так! Ведь заживают же холки у других лошадей, ведь в одно лето зарастают так, как будто и натерто не было! — недоумевал он. — И потом, отчего волк не зарезал коровы, покуда она стояла на дворе у Петра, а сделал это тотчас, в тот же день, как попала к другому хозяину?»

Очевидно, что от Петра идет какое-то зло: там зарезана корова, тут не приняли лошадь — везде убыток, и все от Петра. Есть в нем что-то худое, недоброе; недаром он сидел в остроге и зол на деревню и норовит пустить красного петуха... Два такие убытка, и всё от Петра, представлялись Михаилу Петрову основательнейшими доводами в пользу того, что у Петра, или в Петре, или около Петра что-то нечисто... темно и недобро... Свернуть с пути таких подозрительных мыслей Михаил Петров не имел возможности, потому что ежеминутно

его мучила мысль об убытке, о забраковании лошади, ежеминутно он должен был думать о том, что вся беда в холке, а от холки мысль переносилась на Петра, на то, что это — подозрительный человек, что это — острожник, а там само собой припоминалась корова, и от коровы опять к забраковке и т. д. Петр невольно становился, в воображении практического, «понимающего» Михаила Петрова, центром, вокруг которого вращались мысли о неудаче, об убытке, о разрушенных надеждах... И фигура Петра — темная и без того почти никем достаточно не понимаемая — становилась еще непонятнее и темней... Не прямое представление чорта, а что-то близко подходящее к нечистой силе, к чему-то таинственному и злому, незаметно присоединилось к личности Петра в воображении Михаила Петрова.

— А что, староста, — сказал ему вечером несчастного дня один из деревенских мужиков: — что я хочу у тебя спросить... Петруха вот синильщик просит у меня на задворках хатенку поставить... Как по-твоему: дозволено ли по закону его пустить?

Михаил Петров помалчивал, кряхтел.

— По три серебра сулится платить на год... Всё — деньги... А мне что ж? Место не украдет...

— Н-не знаю!.. — таинственно сказал Михаил Петров. — Пустить — отчего не пустить; дело это мирское... а только что...

Староста покачал головой и прибавил:

— Человек-то он... не того... что-то бытто... нечистоват!

— Неужто ж он худое что думает? Чай и на ем крест есть? Я же ему ублаготворение делаю; неужто ж он мне-то уж что-нибудь?.. Ведь тоже побился на своем веку, должо̀н оценить, что даю ему упокой... Ведь и он крещеный человек-то?..

— Так-то так... да не очень-то, говорю, вокруг его благополучно... Так мне вот бытто думается... А впрочем...

— Али что-нибудь?

— Да вот, примерно, хоть это как по-твоему будет?

И Михаил Петров рассказал про холку.

— Ведь три года — это, братец ты мой, тоже надо подумать!.. Опять вот у Мирона с коровой...

И с коровой историю рассказал Михаил Петров.

— Ведь уж что-нибудь же да означает это? — философским тоном продолжал Михаил Петров, видимо стараясь сам проникнуть в самую глубину тайны: — ведь уж есть же что-нибудь?

Мужик слушал и задумался.

— Не хомут ли? — робко возразил он.

— Хомут! А отчего ж у других и хомут натрет, а все зарастает? Отчего же тут-то тр-ри года, братец ты мой? Ну пущай и хомут, а корову-то почему же так? Ведь покуда у Петра была — ничего, а как только вот к Мирону... Н-нет, тут не очень чисто!

Задумавшийся мужик, не угнетаемый так сильно мыслью об убытке, как был угнетен староста, пробовал было возразить, что и с коровой, может, так, «случаем» вышло, но Михаил Петров опять затуманил его, говоря:

— Случаем!.. Ну, пущай так; ну, а холка-то почему ж? — ведь три года...

Тайна не только не выяснялась, но делалась еще таинственнее и запутаннее, тьма еще темнее... Оба — и Михаил Петров и мужик — чувствовали, что разобрать все это невозможно, и знали одно, что тут, в этой тьме, главное действующее лицо все-таки тот же Петр.

— Вот тоже, — крепко подумав, робко произнес мужик: — у Андреяна... Тоже Петр... стало быть, купил он, Пётра-то, у Андреяна овцу, а Андреяна лошадь пала... после того...

— Ишь ты вот! — воскликнул Михаил Петров. — Именно говорю тебе — не чисто!.. Вот погляди! Уж что же нибудь есть в эфтом случае, что вред один от него — и больше ничего... Как хочешь! По мне все одно, я препятствовать не буду, хочешь, отдавай место, хочешь, нет, а что есть тут худое — уж это помни ты мое слово!.. Чует мое сердце, что не без этого... А по мне — как хошь...

И мужик и староста чуяли, что все это, может быть, и не так. Но никак не могли решить: значат ли что-нибудь все эти холки, коровы и овцы или же ничего не значат?

«А ну как что-нибудь в самом деле?» — думалось — и ответа не имелось никакого...

— Что ж, Кузьмич? — спросил Петр крестьянина, у которого на задворках думал поселиться. — Сладили мы с тобой дело-то али нет?..

— Надо быть, не выйдет, Петр Микитич.

— Что ж так?

— Да так, не подходит дело!

— Чего не подходит-то?

— Да все что-то бытто не того...

— Ты толком говори: чего не подходит? чего ты косишься-то?

— Чего мне коситься...

— Так чего ж ты рыло-то воротишь? Грабить, что ли, я тебя стану, в самом деле, за твою доброту-то? Что ты, с ума, что ль, сшел?

Петр совсем было убедил Кузьмича в безопасности дать уголок бедному человеку; но мысль о холках, коровах, о том, что «а ну-ко это что-нибудь?» — вдруг осенила его, и он торопливо и решительно произнес:

— Нет, Микитич, не сойдемся!

— Отчего так?

— Это — мое дело! Счастливо!

— Будь ты проклят, собака жадная, — проревел ему вслед Петр, ожесточенный этим бессовестным поступком, в объяснение которого Кузьмич не дал Петру ничего, кроме в высшей степени холодного, подозрительного, даже враждебного взгляда.

Очень может быть, что со временем Петр и будет доведен до желания отблагодарить своих односельчан чем-нибудь безумным и диким, чем-нибудь бедовым.

III

Осенние ночи. — Скука. — Кузнец. — Плут, а умен. — Разночинная голытьба. — Горькая участь. — Просвещенный мужик и его «ловкая» баба. — Опять мужик Иван Афанасьев пробует «выбраться».

1

Было часов восемь темного августовского вечера. Деревня затихала, гасили огни и собирались спать. С каждой минутой становилось все тише и тише: царство непробудного сна приближалось быстрыми шагами;

еще час — и тогда «не добудишься», «не достучишься», «не докричишься». В такие мертвые часы волки утаскивают и режут овец и коров — и никто не слышит рева и блеянья, узнавая о несчастии только на другой день. В такие часы никто не слышит, как кричит и мучается неожиданно начавшимися родами женщина; не видит, как она в горячечном состоянии слезла с печки, с лавки, пошла сама не зная куда. Никто не поможет ей, не образумит ее, и она, полупомешанная, стеная и вскрикивая, шатается где-нибудь по грязному двору, неведомо как попадает в хлев, не помня себя родит ребенка, который иной раз задыхается тут же в грязи, иной раз расшибает голову о какое-нибудь бревно, иной раз обращает на себя внимание и аппетит какого-нибудь животного... Наутро, разумеется, ужас, зарывание мертвого в песочек; ряд мучительных дней, оканчивающихся уголовным делом и тюрьмой, большею частью благодаря собаке или свинье, которые обыкновенно и делают открытия в темную ночь зарытых детей... «Ничего не слыхали! Нет, крику не было, не слыхали что-то!» — показывают потом на суде крепко спавшие сожители или родственники подсудимой. И в самом деле, день-деньской намаявшись, умеют крепко спать деревенские жители; одни спят «как убитые», другие «как мертвые», третьи говорят: «заснул, братец ты мой, как ко дну пошел»; а есть и такие, что спят «как зарезанные».

Огни погасли. Вон побродил зачем-то по комнатам со свечкой в руках лавочник и задул огонь. Теперь чуть теплится светлая точка в господском доме, да в волостном правлении догорает огарок... Писарь с помощником, во всю мочь выспавшиеся после обеда, сидели на сырых ступенях крыльца, вспыхивая папиросами... Кто может представить себе подавляющую силу этой «мертвой» тиши, этой «мертвой» тьмы, за которыми должен следовать «мертвый» сон, тот поймет, что мысли человеческой, имевшей к тому же полное удовольствие вовсе не действовать в течение целого дня, в такие мертвые минуты нет никакой возможности воображать что-нибудь кроме представления смертного часа. Человек, который не может в такие минуты спать (он уж после обеда выспался), должен чувствовать, как эта тьма, этот надвигающийся со всех сторон сон, горы сна, зарывают его,

живого человека, в могилу, а если не в могилу, то в какое-то такое место, где ничего не видать, ничего не слыхать и где надобно перестать думать, где даже нельзя думать, если бы и хотел.

— Нет! — после упорного молчания и курения произнес довольно решительно один из собеседников: — переведусь я отсюда, непременно переведусь!

— Я сам тоже уйду!..

— Чорт с ними!..

— Я сам тоже не останусь... Чего тут?.. — прибавил и молодой писарь.

— Какого чорта? — вызывающим голосом продолжал помощник, очевидно придавленный пустыми днями и мертвыми ночами; но, как человек солидный, практический, не мог ограничиться в доводах своему бегству отсюда одним только сознанием пустоты и гнетущей тоски, не мог удовольствоваться ощущением могилы, навеваемым сном и тьмой, а должен был искать, сам для себя, какого-нибудь более существенного, практического довода к бегству...

— Что мне тут? — говорил он, разыскивая этот довод и оглядываясь в непроницаемой темноте: — что я здесь? за каким чортом?..

Но темнота до такой степени осадила собеседников, что как бы даже касалась щек, рук, точно это была какая-то особенная, черная, как уголь, и тяжелая масса. Вот почему помощник долгое время не мог прибрать ничего путного в объяснение своего желания и повторял:

— Чего я тут не видал? Слава богу!.. точно свет клином сошелся! авось...

— В самом деле!.. — поддакивал писарь.

— Что я тут? семь-то рублей, что ли? Так я в Ендове добуду восемь... коего дьявола?

Довод был найден: мало жалованья — вот главное, а вовсе не эта тьма и сон, похожий на смерть.

— Семь-то рублей! — продолжал философствовать помощник: — разве это деньги? Там, в Ендове-то, по крайней мере все-таки большая дорога.

— Да ведь и здесь большая.

— Здесь! — здесь не дорога, а свинство одно. Разве такая дорога-то большая? Ты спроси сначала, а потом

и говори. Настоящая дорога-то идет, как война воюет, — вот какая дорога; а это что? Почта только... Это чертовщина, а не дорога... Я там одних писем на пятнадцать целковых накатаю — в месяц-то, потому народ, суета; а здесь что?

Долго разрисовывал помощник свои будущие благополучия, зная в то же время, что все это только так и никуда он не перейдет, покуда в самом деле не засохнет и не задохнется от тоски и однообразия или не подвернется случай жениться, не подойдет какая-нибудь неведомая теперь, но хорошая «линия». И писарь знал, что все это вздор; но «доход», но «деньги» были столь уважительными у всей этой тьмы предметами, что никто не чувствовал себя глупым, позволяя себе фантазировать на этот счет. О деньгах, о доходах можно размечтаться, можно дозволить себе безнаказанно поврать даже — это ничего. А вот раздумывать о том, почему скука, почему «дело — не дело», раздумывать о том, как бы получше было жить на свете, словом — размышлять и фантазировать, основываясь на своей внутренней, сердечной тоске и заботе, вот это уж глупость и вздор, потому что тогда «всякий» также начнет фантазировать, всякий полезет с своими сердцами, а уж это бог весть что.

2

Торопливое чавканье чьих-то лаптей, послышавшееся в темноте, прервало фантазии и разговоры двух хорошо выспавшихся людей.

— Кто тут? — радуясь живому существу, спросил темноту писарь.

— Бертище!.. — весело и резко отвечал голос из тьмы.

— А!.. — обрадовались собеседники.

— Бертище, — продолжал голос, быстро приближаясь: — захотел винища, бежит в кабачище, во второй, братцы писари, рразище. Как это вам покажется?

Тьма, и сон, и смерть огласились вдруг радостнейшим смехом. В голосе «Бертища» было нечто до того смешное, комическое, что, кажется, самые обыкновенные слова, сказанные им, непременно бы возбудили веселое распо-

ложение духа и улыбку в самом скучном человеке. Слышались в нем и беззаботность, и веселье, и насмешка, и симпатия, и почти юношеская веселость, хоть «Бертище» был старик пятидесяти лет. Это был маленький, жилистый, проворный и нервный до последней степени человек, с широким, смешным утиным носом и проворными, крошечными, бесцветными глазами; человек, занимающийся кузнечным мастерством поденно — день тут, неделю там, словом — сколько ему понравится и где понравится. Но где бы он ни пристроился, тотчас начинался смех и живой, остроумный крестьянский разговор. Остроты, песенки, анекдоты у него были «всё свои», особенные, никем, нигде, никогда не слыханные. И эти остроты и прибаутки сыпались градом в то время, когда маленькие жилистые руки Бертища проворно работали молотком. И работал-то он, точно комедию представлял. Раскалив конец железной полосы и выхватив его из горна, он, по дороге к наковальне, непременно испугает бабу, ткнув огнем по направлению к ней и прибавив, конечно, смешное, хотя и сальное словцо. Ожидая, пока разгораются в горне уголья, он попляшет и опять расскажет историю или подсмеется над кем-нибудь. Выдалась среди жаркой работы коротенькая минутка передышки, Бертище не упустит ее, чтобы не хлопнуть водки второпях, впопыхах, и все с разными гримасами, прибаутками, позами. Неистощимый родник юмора, веселости и наблюдательности таится в этом человеке; но случайность среды не дала ничему развиться как следует, и талантливый человек этот осужден на то, чтобы выделывать «колена», пить и, разумеется, спиться с кругу.

— Тебе не дадут теперь водки: запрещено, — сказал писарь.

— Мне-то? Да ты знаешь, кто я такой?

— Кто?

— Я — Берт! Понимаешь это? Знаешь, в Петербурге заводчик Берт, миллионер?

— Ну?

— Ну, это я и есть! Это вы только, глупые, необразованные люди, собачьи клички носите: Свиньин, да Балванский, да Зайцев... Я, брат, этого с собой не позволю делать... Я себя сам произвел в иностранцы.

— А твоя как фамилия-то настоящая?

— Кукушка! Ну что это за название? Какая я кукушка? Я — человек: ведь это срам с этаким именем... Нет, брат, думаю, шалишь, не проведешь! Я те дам кукушка... Берт! объявил — и шабаш... И в думе так сказал: «никакого, говорю, Кукушки нет, и билета с кукушкой не возьму!» Три целковых дал; теперь пишут «Берт». Да какого чорта? Я по кузнечному, а он, петербургский то Берт — тоже по кузнечному. Вот и произвел! А то Кукушка! Я тебя за эти слова... Ты что ж меня садиться не приглашаешь? Что ты за дубина такая, что я должен стоять перед тобой?

Что ты, Аннушка, фарсишь
Да к себе не пригла-с-сишь?
А чего ты косишься...
Сам ко мне не просишься?.. —

пропел Бертище, подплясывая в грязи, и вскочил на крыльцо.

— Что орете тут? — среди смеха писарей послышался голос выступившей на крыльцо жены учителя. — Детей перебудите...

— Милая моя мамочка!.. — не давая сказать ей слова, заговорил Берт и в римфу сказал такое словцо, от которого все — и писаря и жена учителя — как говорится, *«сгорели со стыда»*.

— Тьфу ты, пьяница! — почти убегая, произнесла жена учителя.

— Ай не любишь? — сказал ей вслед кузнец. — Поди, я еще тебя попотчую.

Смех, охвативший писарей, был поистине невообразимый. Они то закатывались до перхоты, до удушья, то, не выдержав и чуть не задохнувшись, оглашали тишину и тьму громовыми раскатами хохота. Берт также смеялся и все прибавлял по словечку, благодаря чему по крайней мере четверть часа никто из смеявшихся не мог прийти в себя. «О-ох! о-ох!» — стонали они, хватаясь за грудь, и вдруг опять пускались хохотать, как помешанные.

— Уйди ты отсюда, балалайка бесструнная! — коекак опомнившись, сказал писарь: — измучил совсем.

— Я, брат, и так скоро уйду! Оставайтесь одни, без меня, пьянствовать. Чорт с вами!

— Ты уж никак второй месяц идешь, все ни с места.

— А ты вели стаканчики в кабаках побольше давать!.. да! Как же я уйду-то? Меня, вон, на станцию приглашают, мне надо двугривенный, а вы тут избаловали кабак, — мне и не справиться... Наливай он стакан форменный, мне бы четырех-то стаканов за глаза хватило.

— Ну!

— Ну, конечно, с посторонними... Ты поднесешь, Евсей поднесет, тот, другой, третий... само собой. А то он наливает — наперсток: вместо четырех и пьешь шесть... Остается из сорока копеек поденных всего гривенник: разве на это уедешь? Мне нужен двугривенный... а гривенник куда я дену? Хочешь не хочешь, надо пропить. Стало быть, седьмой и восьмой. Вот и не на что идти... А то бы я от вас давно ушел...

— Все не протрезвишься никак?

— Говорю, заведи законный стакан...

— Ну, будет врать-то. Какой стакан ни дай, все восемь выпьешь, покуда всего не пропьешь, — уж больно любишь, охотник...

— Ох, братец ты мой! — вздохнув, сказал кузнец. — И то! люблю его, анафему, винище это! Люблю!

— Очень нравится?

— Ох, как нравится, братцы, вино-то! Так нравится, так...

Кузнец что-то чмокнул губами.

— Что это ты?

— Бутылку, братцы мои, поцеловал. Я завсегда сначала бутылку поцелую, а потом налью.... А пустую, когда окончу, то к сердцу прижимаю: милая моя мамочка! Ах, и люблю же я ее!.. водочку, матушку!... страсть господняя!.. Чистая страсть!..

— А запоем пьешь?

— Нет, запою нет у меня. Я ее постоянно обожаю... Не будь водки — да я сейчас утоплюсь... Перед богом. Она моя отрада, за подвиги награда.

— Давно ли пьешь-то?

— Я пью, кумовья, лет десять. Прежде я не пил. О, поглядел бы ты на меня прежде-то! У меня в городе восемь кузниц было; часы, цепочка... полное почтение... А там вдруг и одолела меня... Непременно меня

испортили — уж это верно. Уж тут кто-нибудь подмешал мне, потому вдруг началось. Не пил, не пил, все честно, благородно жил, поживал; вдруг все мне опротивело. Все не по мне стало; думаю: за каким шутом я женился? Зачем цепочки, часы — что такое? Захотелось мне все раскассировать, и тут я пошел; все решительно, вот все, что под руку подвернется, все стал пропивать; что было дома — пропил, чужое — экипажи, коляски там — всё продал, пропил, и что дальше пью, все того интересней... Жена — боже мой! боже милостивый! — и дерется и жалуется, и сын бьет и орет, смех мне — больше ничего... Доберусь до дому, как пес, в грязи, пьяный; заберусь на печку — ха-ха-ха!.. а они-то зудят, орут, боже мой!.. Вот любопытно мне да и только, а зла нету... Потом они меня вон выгнали. Жена с любовником...

— Эге, брат, вот в чем дело-то! — обрадовавшись скандальной тайне, раскрывавшей причину безобразной жизни Бертища, оживленно воскликнул один из писарей. — Вот отчего ты задурил-то... Любовник-то, видно, у нее раньше был?

— Чего ты меня перебиваешь? — осердился Бертище. — Чего тебе надо о любовнике знать? — тебе какое дело?

— Да ведь у жены были любовники, говори прямо?

— Зачем ты меня беспокоишь такими разговорами?

— Говори: были?

— Тьфу ты, невежа какой! Конечно, были, глупый ты человек. Чего же ты спрашиваешь? Было их у нее в высшей степени... Чего тебе еще?

— Ну вот, от этого-то и стал, должно быть, ты пьянствовать!

— Конечно, глупая твоя голова, от этого! Чего же ты надоедаешь мне?

— А говоришь «подмешали»!

— Да мало ли я чего говорю, истукан ты необразованный! Должен ты молчать по крайней мере.

— Ну ладно; рассказывай!

— «Рассказывай»! Только сбил с разговору... Конечно, от огорчения, а потом, как вошел во вкус, все стало мне нипочем... Вдруг впал в насмешку, стал издеваться... Вижу жену с любовником, с купцом, — только смех меня разбирает, как это глупо! И нисколько не оби-

жаюсь! Веселье меня обуяло, как птицу небесную. Из хозяев пришлось в работники — еще того веселей стало. Полтинник выковал — пропил, повалился под забор — сплю. Надоело мне в городе, ушел без шапки и без всего в другое место. Везде смеются надо мной, и я смеюсь и только думаю одно — как бы мне без водки не остаться. Это для меня ад, смерть... Чего ж это я тут с вами время теряю? — вдруг как будто опомнившись и вскочив, сказал Берт.

— Куда ты?

— А в кабак-то! Пожалуй, в самом деле заснут... А мне это нельзя. Я им тогда стекла переколочу. Мне давай вина...

— Ты воротись, приди.

— Ну уж нет. Я там под кусточком лягу с моей милой, с бутылочкой, там и засну.

— А сопьется? — вопросительно произнес писарь, когда кузнец ушел.

— Конечно, сопьется. Еще бы ему не спиться. Пьет без отдыху.

— А ведь не дурак?

— Ну уж умен!.. Имел заведение, а теперь сам поденщиком... Какой же тут ум? Умный человек так не сделает. Просто пьяница и балалайка. Ишь, вон, жена и сын прогнали его. Умный человек до этого не допустит.

Писарь молчал и внимал, а помощник продолжал философствовать.

— Ты из ничего выйди в люди, приобрети, ухитрись: вот тут ты покажешь свой ум... А готовое прожить всякий умеет. Это что! Вот, например, Иван Иванович (учитель местной школы): вот это умный человек, прямо можно сказать, что шельма. Он, положим, подлец-то подлец, а нельзя отнять, умен! Что правда, то правда. Что он такое? нигде не кончил; ни родни, ни руки нигде не было, а вылез же в люди. Теперь вон учитель, жалованье получает, и деньжонки...

— Эка важность: на старухе жениться!

— Тебе не важность, потому что ты ничего не понимаешь. У старухи-то два дома, видишь ты это, да деньги; да детские деньги также на его руках, потому он же — и опекун, видишь ты это али нет? Ты думаешь, он не

сумеет как следует этими деньгами-то орудовать — сделай милость! Старуха-то, может, и году не проживет, ан у него и дома̀ и деньги; а с деньгами все, брат, можно...

— А ежели она пятьдесят лет проживет?

— Да хоть двести живи. Раз он за̀брал ее в руки, ему-то что? Он и теперь вон преспокойно живет с поповской кухаркой и внимания не обращает — живи, сделай милость, хоть тыщу лет; он, брат, заручился; теперь его не сшибешь...

— А как узнает старуха-то да прогонит?

— Да гони, сделай милость! Это ему еще лучше: положил деньги в карман — и пошел... Она же останется без копейки... Нет, брат, его теперь не ссадишь с позиции — уж он, брат, запустил корни ловко.

— А плут!..

— Ну!.. Плут!.. Мало чего нет! Ты уж чорт знает чего хочешь... Так нельзя... А еще вот Михайло Петров? Это разве не умный человек? От отца отошел с пятиалтынным, а теперь вот через шесть лет дом двухэтажный, пять лошадей; поди, не одна сотня...

— Все через жену.

— Через кого бы ни было, а добился.

— Жену продал барину...

— Продал ли там, нет ли, а дом вот, и деньги, и скот... Да хоть и продал, что ж такое? Может, она ему не мила была? Отчего ж, ежели, например, на время, и через это можно на ноги стать? Ведь так нельзя судить: продал. Что у кого есть под руками. Уж лучше с выгодой, чем без выгоды; таким дурам вон, как Акулька, без всякого расчету... Ежели идет линия, так, напротив того, умная женщина должна способствовать, потому что вот, например, Михайло Петров этот. Ведь уж он непременно в купцы выйдет, уж это как бог свят. А вышел в купцы, никто там этого знать не будет; а будет эта тайна промежду мужем и женой... Ежели б она наживала таким манером деньги да в дом бы не несла, ну, тогда муж может претендовать... А уж ежели между ними согласие, тогда чего же? Только промежду них и будет...

— А грех-то?

— Ну, брат, все грешны. Я думаю, и у тебя не сочтешь грехов-то, а тебе вон и двадцати лет нету. Все грешны. Всякий даст ответ богу сам. Это не наше дело

судить. Не осуждай! А про то я говорю, что умный человек сумеет извлечь, а дурак — нет.

— Подлостью.

— Чем пришлось. Чем господь привел, а уж достигнет, а дурак никогда, и даже, вот как Берт, потеряет состояние...

В это время почти неслышными шагами — чему способствовали резиновые калоши, выделилась из тьмы и вступила на крыльцо какая-то фигура.

— Кто это? — спросила она шопотом.

— Это мы, — громко отвечали писаря. — Это вы, Иван Иванович?

— Я, я! — точно задыхаясь, шептал учитель.

— Где вы до сих пор?..

— Тут... у батюшки... предписание... Который-то час?

— Не знаем. Ваши уж легли.

— Ну, и слава богу. Пусть... опоздал...

Манера говорить и интонации голоса учителя были кротки, монашески-умилительны.

— Ты? Иваныч! — появилась на крыльце жена учителя.

— Я-я-я... Запоздал... У батюшки... бумага...

— Иди ужинать... Десятый час.

— Иду, иду, иду!

И супруги ушли.

— Вот плут-то! У батюшки!.. Этакая шельма! — восторженно произнес помощник.

— А где ж, по-твоему?

— Да все время, с семи часов, с ней, с кухаркой, я сам видел!.. Вот поди узнай, где был! Предписание! Разве она что понимает? А ты говоришь — дурак!

— Когда говорил? Я говорю, что плут!

— Да! Плут — это так!.. А я думал, ты дураком его назвал... Так вон он какой дурак-то!.. Предписание да предписание — поди-ко ухвати его!.. Нет, не дурак, далеко не дурак!..

— А взять да рассказать ей все?

— Ну и втешешься. Против тебя ж дело. Ты какое имеешь право нарушать союз? Где у тебя документы? Нет, брат, тут со всех сторон законопачено... Тут не с твоим умом соваться. Уж ты лучше помалчивай да присматривайся, как люди живут... Посильней нас — и то молчат!..

3

Долго разговаривали и потом фантазировали, ложась спать, даже грезили во сне наши собеседники на тему о выгоднейшем приобретении наилучших средств к жизни, то есть в сущности на тему приобретения денег. Но я уж не буду изображать ни этих фантазий, ни грез: утомительны они, а главное — обидны. Неопределенно, хотя и довольно осязательно тоскующий необеспеченный русский человек не может не видеть своего спасения только в одном — в возможности иметь в кармане куш денег. Вот тогда, думает он, когда у него будет этот куш в руках, тогда, кажется, он разберет и поймет все, что теперь его только томит и чего он теперь иначе и не объясняет, как тем, что жалованья ему — семь рублей, а не десять. Правда, разговор, приведенный выше, происходит между людьми, не принадлежащими собственно к простому народу: и писарь и помощник происходит из той бесчисленной на Руси массы людей, которая растет в убеждении, что она почему-то может рассчитывать на вознаграждение и средства к жизни, без знания и без труда, в уверенности, что ей должно «получать», должно жить, пить, есть и наполнять землю, не становясь в ряды народа, не зарабатывая хлеба на фабрике, на пристани с кулем на плечах или на железной дороге с лопатой в руках.

Такого народа, воспитанного на жирных крохах, падавших с жирного стола крепостного права, на Руси великое множество: в чиновничестве, в мещанстве, в духовенстве — везде нарождено много безземельного народа, громадному большинству которого нет уж средств получить ни знаний, ни уменья, дающих право требовать свою порцию хлеба, и не убежденного еще в том, что не сегодня, так завтра — «труд», и только один он и будет раздавать большие и малые порции. У бабушек, у деверьев, у бесчисленных родственников этих невинно привилегированных бедняков еще есть кое-какие средства прокормить какого-нибудь малого, не окончившего нигде курса, лет до двадцати, есть еще кое-какие связи, позволяющие всунуть его в учителя, в писаря, в писцы на железную дорогу, в певчие. Но все это не может удовлетворить большинство, по незначительности своей и скудости и при

изобилии, так сказать, исключительно «съестных» идеалов, так как никаких других не полагалось во многих поколениях предков. Но, кроме съестных идеалов, нынешнее время несет на всякого человека, даже на всякую дубину в человеческом образе, если не новые, не съестные идеалы, то, наверное, не бывшие прежде в ходу, не съестные исключительно мысли. Двадцатилетний человек *не может* не думать о том, например, что ему трудно когда-нибудь законным и надежным путем удовлетворить свой аппетит, ему не может не приходить в голову, что у него ведь нет ничего, кроме почерка; что этого товара везде много и он уж не в цене. Не может он не видеть, что, кроме почерка, у него нет никакой другой заручки; что волей-неволей он должен терпеть, нести свой крест, зависеть от всякого, кто может ему приказывать, словом — не может не чувствовать себя скверно. С другой стороны, он не может не видеть, что этот *всякий*, которому он «подвержен» в волостном правлении, в железнодорожной конторе, словом — на всех поприщах своего заработка, также большею частию человек случайный, также попал на место и цапает куш не по праву знания, не по праву труда, а в большинстве случаев также только потому, что его бабушки, его тетки и деверья вращаются в более высших сферах, что они могут «кому угодно» доставить место посредника, директора дороги и т. д.

Глядя на все это и меряя свое незнание с незнанием имеющих власть, свое невежество с таковым же тех, кто может приказывать, свои аппетиты с аппетитами людей привилегированных, он не находит между собой и человеком, поставленным выше, получающим больше, никакой разницы и невольно должен упразднить в себе зародившуюся мысль о цене знания и умения и о необходимости их в человеке, не желающем быть паразитом, а во-вторых, объяснять все дело, как оно и есть на самом деле, — только тем, что вся суть в средствах, что при средствах и низший невежда может сделаться высшим невеждой, ничего от своего невежества не теряя. Вся разгадка успеха: «рука», «случай», «то, что хорошо подвернулось под руку»... И как ни грустно это вымолвить, а еще не один десяток лет предстоит нам присутствовать при все более и более имеющем возрастать стремлении к наживе «во что бы то ни стало» — стремлении, которому едва ли

не придется на некоторое время дать дорогу, перед которым надобно будет посторониться другим, не менее основательно вытекающим из условий русской жизни стремлениям. «Сначала деньги, а потом уж разберем, в чем дело, в чем вся суть!» Вот что принесено, между прочим, в современную русскую жизнь человекообразными остатками крепостного права и нравственности и что принесут, с еще большею, чем теперь, настойчивостью, целые массы этих остатков, в бесчисленном множестве залегающих в разных углах русской жизни...

Фраза — «во что бы то ни стало» будет иметь для читателя надлежащий смысл только тогда, когда он даст себе труд подумать: какая такая сила, кроме разве квартального надзирателя, прокурорского надзора и суда, может стать на пути человеку, раз уверовавшему, что «сначала нужно добыть, а потом уж разбирать»?

Долго, очень долго разговаривали, мечтали, даже грезили наши приятели всё на тему о том, что вся задача жизни человека умного должна состоять в стремлении «зацепить» где-нибудь, откуда-нибудь «выхватить» куш или, проще, толстую пачку денег и положить ее себе в карман — вот сюда, в боковой, чтобы он вздувался от толстоты. На что им нужна была такая пропасть денег, куда и как намеревались они употребить ее — об этом разговора не было, и я вполне уверен, что они не знали и сами.

— Только бы сюда бы залучить, а там уж оно само собой разберется! — говорил главный оратор, помощник волостного писаря, похлопывая себя по карману, и при слове «разберется» махнул рукой в неведомую даль. Жажда именно только одного — иметь в кармане пачку — была так велика, что, даже совсем заснув, наши приятели продолжали грезить исключительно о каких-то бумажках, пачках билетов, причем помощник неоднократно даже хватался за бок.

Как ни грустно признаться, а признаться надо: такое настоятельное стремление к кушу, такое поклонение пачке денег, без разбора средств, какими дается она (на том свете всяк даст ответ за себя!) и куда она уйдет (потом само собой разберется!..), обуревает в Слепом-Лит-

вине не одних наших приятелей, писарей. Увы! не одна крестьянская голова, большею частью самая талантливая, самая умная, точно так же работает всеми силами ума над мыслью об этом же куше, об этой же пачке. «Только бы ее-то заполучить, а там...» А о том, что *там*,— никто даже *не может* еще думать. Не только от крайней нужды, от недостатка в самом необходимом развивается такая жажда к деньгам: серый слепинский мужик, как увидим ниже, добивается денег только на то, чтобы перебиться, и хотя чтит рублевую бумажку, но еще не выучился забывать все на свете для того, чтобы во что бы то ни стало получить ее. Он еще, к счастию, не сообразил своего положения и все думает, что поправится то осенью после уборки, то зимой на свободе, то по весне, ежели бог даст. Но на то он и «сер», чтобы не иметь возможности прийти в себя. Тот же, кто не сер, у кого нужда не съела ума, кого случай или что другое заставило подумать о своем положении, кто чуть-чуть понял трагикомические стороны крестьянского житья, тот «не может» не видеть своего избавления исключительно только в толстой пачке денег — только в пачке, и не задумывается ни перед чем, лишь бы добыть ее.

В прошлом отрывке из деревенского дневника было представлено, хотя, говоря по правде, и довольно поверхностно, кое-что из той путаницы, среди которой живет крестьянин. Если читатель припомнит все, что записано там насчет докторов, учителей, насчет всяких местных имущих власть лиц, то он, надо думать, согласится, что только забитый, серый мужицкий ум может не видеть полной беззащитности своего положения. Во всем, что окружает его, не видно ни тени внимания, ни доброго слова. Жизнь его с самого детства переполнена угрожающими случайностями: переедет лошадь, потому что «вино попалось дюже хорошо»; съест свинья, потому что родильница лежит в обмороке, а домашние так крепко спят, что ничего не слышат, «хоть в барабан колоти»; задохнется от угара, который каждую зиму наполняет на пять, на шесть часов в день аккуратно всякую избу, потому что ни в одной избе нет двойных рам и потому что тепло надо беречь.

Не говоря об этих, ежедневно и ежеминутно висящих над крестьянским ребенком опасностях, поможет ли ему

доктор, если захватит его болезнь, эпидемия? Может ли он рассчитывать на помощь родного отца, который, ничего не зная ни в каких болестях, не имеет к тому же иной раз пятака серебром, чтоб купить деревянного масла, уксусу? Выведет ли его на свет божий грамота, если, преодолев все смертоносные случайности детских годов, из ребенка выйдет парнишка, имеющий еще вырасти в человека? Даст ли что-нибудь хоть капельку стоящего школьная наука, за которою приходится бегать четыре-пять зим, иной раз чуть не босиком, иной раз за пять, за шесть верст? А когда он вырастет, сделается сам большой — не вечный ли он борец с недоимкой? — словом, может ли он существовать на свете иначе, как вполне отдавшись на волю божию?

Все, от кого зависит *попечение* (!) об участи крестьянской души, крестьянского существования, делают свое дело, пожалуй, и добросовестно: учитель учит так, что на экзамене ребята отвечают на разные хитрые вопросы; он в поте лица «обламывает» эти, по его словам, поленья так, что в конце концов они умеют спеть гимн и «Царю небесный»: — он не даром получает деньги. Не даром получает деньги и лекарь, который даже охрип от хлопот и не знает покою ни днем, ни ночью. Не даром получают деньги все прочие печальники, строящие мосты и проч. Но весь этот пришлый народ исполняет обязанности свои как нанятой человек, как человек, которому нужен кусок хлеба для *своей* семьи, для *себя;* человек, которому впору исполнить форму, обличье дела. Словом, все это такие люди, на которых деревня не может смотреть как на своих, как на людей, которые бы понимали, «как свои», все деревенские нужды.

Когда придет в деревню учитель — не отставной солдат и не полуграмотный дешевый педагог, оболванивающий деревенские поленья, а умный, вполне образованный человек, проникнувшийся важностью дела: — только тогда деревня может рассчитывать на то, что ребятишки ее узнают в самом деле что-нибудь путное. Когда, вместо тысячи рублей жалованья за удовольствие вечных разъездов по громадной территории целого уезда и за глубокое неудовольствие беспрестанного сознания своей полной бесполезности, образованный доктор решится делать подлинное добро в маленьком уголке одной-двух дере-

вень, не рассчитывая ни на какие определенные вознаграждения, кроме добровольных даяний (ведь в городе он получает именно добровольные даяния): — тогда только деревенский ребенок может рассчитывать на существенную помощь.

Но будет ли это когда-нибудь? Придет ли когда-нибудь в русскую глухую деревню такой человек, который решился бы отдать ей свои знания, стать, несмотря на эти знания, в общие условия бедности крестьянской жизни, решился бы не «благодетельствовать», а существовать только на те средства, которые, без принуждений волостного начальства, а по силе по мочи, дадут ему «за его труд» сами крестьяне, и только те крестьяне, которым он помог, пособил, научил?

Когда-нибудь такой человек непременно придет в деревню; теперь же покуда его что-то не видно. Место его занимает человек служащий, чужой, нанятой, какой случится, какой попался, и деревня живет без всякого призора и без единого доброго слова, если не считать священника, каждый грош дохода которого виден крестьянину (а это много значит!), который, будучи понятен крестьянину как человек, зарабатывающий свое пропитание (не больше), хорош для него и тем трудом, который дает ему пропитание. Труд этот облегчающий — так думает крестьянин — положение крещеного человека: он отпускает его прегрешения, лечит молебнами и акафистами; масло из лампады помогает от тысячи недугов; крестный ход годится для урожая, от засухи, для дождя. Даже скот — и тот может рассчитывать на помощь во время эпидемии только от молебна: недаром же, как писали недавно в газетах, крестьяне одной деревни Тульской губернии просили отца своего духовного отслужить молебен «всему православному скоту» и «помянуть» каждую скотину, то есть мою телушку-белушку, Егорову вороную кобылку.

Теперь же, когда в деревне нет человека, который бы, будучи выше по развитию, умней, знающей всего мира деревенского, решился бы зарабатывать себе скудный хлеб своими знаниями, как зарабатывает его священник молитвами,— теперь всякому, мало-мальски очувствовавшемуся деревенскому жителю не может представиться ни в чем спасения, кроме пачки денег за пазухой. Она может вывести его из этой курной ужасной избы, из-под

этого беспрестанного гнета ничегонезнания; за деньги он достанет и доктора и учителя и откупится от солдатчины. Он так мало знает, мало понимает, что́ кругом его делается, что только деньги и могут помочь ему выбраться на божий свет. А раз он убедится, что дело его плохо и что ему трудно, неловко и глупо живется, что ему надо и следует выбраться, раз он понял, что выбраться можно только деньгами: — ни перед чем, ни перед каким средством задумываться он не может. Мгновенно начинает вырабатываться не философ, не «буржуй» (выражение И. С. Тургенева), а просто страстно влюбленный в деньги, в бумажки, «в пачки» человек.

Таких влюбленных в деньги людей, в настоящие дни, полны все углы и закоулки земли русской, благодаря только неожиданности, внезапности всевозможных перемен в условиях русской жизни. Никакие службы на вновь открытых дорогах, никакие воинские повинности, никакие училища, все вместе взятые, не в силах поглотить и дать хлеб народу, который никогда не рассчитывал на то, что ему придется остаться без хлеба. Этого народа в мелкопоместном дворянстве, в чиновничестве, в поповстве, в городском полумещанстве, полукупечестве — непочатые углы, и все они понимают, что положение плохо. Все они ужасно мало могут и ужасно много жаждут, и вот по всем углам земли русской, на крылечках волостных правлений, в дьячковских, дьяконских и священнических домах, в этих бесчисленных домишках уездных и губернских переулков, домишках «вдовы надворного советника», «потомственного гражданина» — везде и всюду тысячи людей, решительно обиженных своим положением, неуменьем взяться, невозможностью рассчитывать на помощь, видящих спасение в случайном заполучении куша, который один только и может их выручить из беды.

4

В Слепом-Литвине есть уже немало мужичков, сообразивших, что дело в куше, в пачке. Упомяну в особенности об одном, о котором читатель имеет уже понятие. Это староста — Михайло Петров. Человек он еще молодой: в последние дни крепостного права он был еще

мальчиком лет восьми. Отец его — тот самый мужик, у которого старый барин четыре раза сломал конюшню. Характер этого мужика, позволявшего себе воевать с господскими управляющими и даже с самим барином, человека, который, несмотря на все невзгоды, сумел иной раз настоять на своем, был характер крутой, деспотический. Когда молодой Михайло Петров, по освобождении крестьян, задумал ехать в Питер, против чего отец восстал, ему пришлось изведать на себе всю силу этой крутости и дикость необузданного ее проявления. Терпеливо ждал он отцовской смерти. Ждал два года и, только дождавшись ее, мог добиться права уйти в Питер на заработки. Крутой отец, видя непокорность сына, которую тот не мог утаивать в течение двух лет жданья, сохранил свой отцовский норов до конца дней и, умирая, оставил Михайле всего пятнадцать копеек «за непочтение», тогда как старшие братья получили всё.

Должно быть, отцовский норов не миновал и сына, и Михайло Петров не задумался пуститься в дальнюю дорогу почти без гроша. В Питере он сразу попал на отличное место, к «хорошим господам», из числа тех быстро народившихся, которые, наживаясь из чужого кармана, не считали ни того, что им самим попадется под руку, ни того, что уйдет у них из-под рук. [1] Михайлу Петрову жилось хорошо; но он был еще мужик и «глуп» и, накопив сотню-другую рублей, по глупости воротился в деревню. Думал, что для него, как для мужика, этих денег видимо-невидимо. Тотчас по возвращении он женился, и «подхватил» истинную красавицу, как сам он говорил, первую умницу. Но после Питера «крестьянство» показалось ему трудным и глупым делом. «Из чего биться?» — этот вопрос стал возникать у него в голове поминутно, при каждом шаге в крестьянском деле. Отведав легкого столичного труда, хорошей еды, спокойного сна вволю, тепла, теплой одежды, цельных сапогов, он уже не мог понять удовольствия биться как рыба об лед для того, чтобы ничего подобного не иметь...

У Михайла Петрова родился первый ребенок и помер — «незнамо отчего». Михайло Петров с женой стояли над ним дни и ночи почти целый месяц, не зная, что̀

[1] Постройки и проч.

с ним делается и чем помочь. Он орал без умолку от какой-то страшной боли, против которой нигде, на сто верст кругом, не было помощи. Барыня-помещица знала в медицине только две вещи — деревянное масло и спуск. Батюшка знал — масло из лампады, спуск, просвиру за здравие и молебен о здравии. Деревня знала много других средств, вроде того, что кричащего ребенка надо вынести на мороз и держать его на холоду до тех пор, пока он не начнет затихать, и потом нести в горницу, где он непременно заснет от такой внезапной встрепки. Ему вправляли живот, трясли за ноги книзу головой, поили оттопленным в печке чернобыльником, поили лампадным маслом: — он все орал и вопил без всякого милосердия и, наконец, умер.

Жаль было ребенка, первого ребенка, Михайлу Петрову, и эта смерть разъяснила глупость его положения едва ли не сильнее отцовского самодурства и петербургской привольной жизни. Мужики, у которых мрут дети точно так же чуть не каждый год и которые все-таки продолжают пользовать их средствами, ведущими ко гробу, стали представляться ему чистыми глупцами, и ему было обидно, до крови больно, что и он — такой же глупец, как и они. Надо к этому прибавить, что, воротясь из столицы, он вынес некоторое понятие вообще о порядке, необходимом в делах, для того чтобы дела шли успешно: взял — отдай, нанялся — работай, подрядился— исполни, что следует — получи. Деревня же, в которой ему пришлось жить своим хозяйством после таких питерских порядков, ничего подобного знать не могла; время после крепостного права стояло запутанное, положение дня не выяснилось для крестьян, и эта путаница была Михайлу Петрову невыносима.

У него, например, подряжаются строить избу за тридцать рублей, подряжаются без бумаги, на совесть, и уходят, получив задатки, потому что вдруг на них нахлынула откуда-то практическая струя нового времени, гласящая, что «без росписки ноне ничего не поделаешь», а между тем «по той же самой совести» — они же, за одну только водку, делают в пять раз труднейшую работу дьячку, потому, мол, что добрый человек. То в ножки кланяются по старой памяти, то сами же высекут себя в волости. Все это Михайлу Петрову было не по нутру.

Смерть первого ребенка еще более ожесточила его на бестолочь, окружающую его, и на его собственную бестолочь, от которой он не мог выбиться, как мужик. Он, как умный человек, сразу понял, что ему нужны деньги — и пока больше ничего, чтобы не тянуть этой лямки, чтобы не покоряться случайностям от забитых, запутанных людей и случайных порядков, чтобы не вредить себе своим собственным невежеством. «Выбираться» — вот что сделалось его задачей, а умная жена тотчас сполна поняла и прониклась этой задачей. Как хорошая, умная подруга, она знала одно — что ей изо всех сил надо подсоблять мужу.

Они опять хотели было в Петербург ехать, но, *на счастье,* в деревню назначено было человек двадцать молодых людей какой-то специальной школы: они должны были в течение лета производить съемки, нивелировать и т. д. Народ навалил веселый, большею частью состоятельный, и, на счастие Михайла Петровича, именно в его доме поместилось пятеро самых богатеньких.

С двух часов их пребывания Михайло Петрович заметил, что жена его произвела впечатление. «Лучше этой нет!» — говорили молодые люди, в самое короткое время успевшие произвести съемку всем деревенским дамам. И Михайло Петров понял это, да и Аграфена только взглянула ему в глаза — тоже поняла, в чем теперь дело.

И «не как-нибудь, не зря» стала Аграфена заниматься этим делом, а так, что самый расчетливый, самый основательный человек, осуждая ее поведение, мог в конце концов только похвалить ее, признать в ней необыкновенный ум, направленный, без всяких послаблений и увлечений, только к одной цели, которую она и достигла не как-нибудь, а с толком, умно, расчетливо. Она сумела вытянуть из всех пятерых все, что у них было; вытягивала все лето всеми возможными ценностями, причем вниманием удостоивала далеко не всех, довела их до ссоры, чуть не до дуэли, и в то же время не только не изменила своего обличья крестьянской жены, работящей, молчаливой, но даже и тени гордости не выказывала перед завидовавшими ей приятельницами. Вставала она попрежнему в три часа утра, гнала коров, шла на речку с тяжелыми ведрами, жала в поле, ходила босиком

по грязи, словом — ни на волос не давала заметить ни господам, что они ей нужны, ни своим деревенским соперницам, что дела ее блистательны. Напротив, раз поняв, в чем дело, инстинктивно угадав тот образ действий, который как нельзя лучше привязывает к ней мужа, она при каждом успехе стала чувствовать только одно, что — «мало», надо больше, надо поступать настойчивей, добиваться энергичней.

— К нам опять, баринушки, милости просим! Не оставьте уж нас опять-то, оченно мы вами благодарны! — как «простая» деревенская баба, говорила она, кланяясь и держа конец фартука у губ, когда баринушки осенью разъезжались по домам, унося, быть может, истинную любовь в сердце.

— Непременно! непременно! — кричали ей самым искреннейшим образом баринушки и махали шапками...

— Присылайте других побогаче! — прибавила она грубо и искренне-бессердечно, когда баринушки умчались и Аграфена осталась с муженьком с глазу на глаз. Она еще с секунду подержала на своем лице это грубое выражение, но вдруг взглянула на улыбавшегося Михайла Петрова и так сама улыбнулась, такими громадными и громадно-веселыми глазами мелькнула на мужа, что у того только дыханье захватило от удовольствия. Никаких больше разговоров, ни воспоминаний, ни даже имен этих баринушек не повторялось. Точно ничего не было такого, о чем можно бы шепнуть друг другу пару слов. Веселая и радостная после отъезда постояльцев, Аграфена тотчас поставила самовар и сама начала такую речь:

— А ты вот что, Михайла, ты вот лошаденок парочку беспременно у Барсукова купи. — Лошади первый сорт...

— За лошадьми надоть в Почивалово... У Барсукова что?

И пошел деловитейший из деловых разговоров.

Михайло Петров тоже не зевал с господами. Пользуясь влиянием жены, о котором господа и понятия не имели, полагая, что Михайло Петров не более как ловко обманываемый муж, он брал с господ и за провоз, и за отвоз, и за рыбку, и за пивцо — «наше деревенское, уж какое есть» — и гривеннички и рублевики, и так попрашивал на лаптишки, что в конце концов в ту же осень он

принялся строить большущий дом, купил скотины и единогласно был выбран в сельские старосты.

Вся деревня знала, что они с женой пошли в ход с нехорошего; но это самое уменье, это знание «как пойти», как повернуть делами, — это-то и побеждало всех. Все сознавали, что хоть и худо, а умно, ловко, не как-нибудь, не зря, не дуром... Так-то, дуром-то, мало ли поступает и поступала на своем веку не одна крестьянская жена, особливо мастерицы они поступать дуром «не в дом, а из дому», а эта, Аграфена — нет! — Так думали критики, мужчины и женщины, глядя на степенную без гордости Аграфену, истово кладущую в церкви поклоны... Грех! — это так! Да кто не грешен-то? Аграфена небось говеет и кается, да к тому же у ней есть чем хорошо заплатить за грехи-то... И будет такая же, как все православные христиане, а у Михайлы-то, между прочим, дом вон растет не по дням, а по часам, скота прибавляется, да на мирские деньги, которые у него иной раз по месяцам лежат на руках без движения, обороты делает.

К весне следующего года у Михайлы Петрова был в самом деле готов отличнейший дом. Он разделялся на две половины: внизу — кладовые, вверху — две половины горниц.

А в самом начале лета господь послал и новую практику. К помещице приехал гостить брат, старый, лет под пятьдесят, холостяк, отставной военный. Он приехал подышать сельским воздухом и тотчас же, конечно, стал заговаривать с бабами...

— А матка где? — спрашивал он отечески у малых ребят.

— У поле...

— А молодая у тебя мамка-то или старая?

— Старая...

— Э... какой же ты бутуз!

И так, по-отечески разговаривая, любитель природы направлялся в поле. Здесь он останавливался перед каждой согнутой в три погибели женской фигурой, снисходительно отвечал на земные (по старой памяти) поклоны, но долго не находил того, что именно и было любезно ему на лоне неискусственной природы. Наконец он встретил Аграфену. Она работала вместе с мужем. Поклона земного он не получил от нее, а тотчас остановился как

вкопанный, держа руки с палкой за спиной. Он даже сел отдохнуть на первый камень и заговорил. Ошибался он, надеясь на легкую победу и на свою боевую опытность. Интерес в нем Аграфена возбудила сразу и сразу же поняла, как надо поступать. Они оба, и муж и жена, привели ветерана почти в исступление; понемногу, по вершочку, они завладели им, его волей, его мыслями. И, прежде нежели ветеран мог одобрительно отозваться о проведенном лете, он должен был переплатить Михайле Петрову и Аграфене кучу денег: то вперед давал под езду рублей двести, а Михайло обязывался отработать; то Михайло подбивал его купить лошадь, говоря, что она будет, мол, ваша, а только что «покедова» поработает; то Аграфена просила эту лошадь подарить. На этот раз из ветерана была сделана продолжительная доходная статья. Он совершенно влюбился и в Аграфену и в Михайла Петрова, в его порядочность, понимание, в его отсутствие мужичьего разгильдяйства, пьянства. Он помогал достраивать ему дом с таким усердием и интересом, как будто это был его собственный дом.

— Да сделай ты, глупец этакой, каменный фундамент! — говорил он Михайле Петрову. — Ну как же можно строить на грязи?

— Ваше превосходительство, откуда ж нам камню-то взять? я бы рад.

— Да я тебе дам, возьми... Чорт знает что такое, строит дом в луже!

Никаким слухам, никаким наговорам, касавшимся Михайла Петрова, ветеран не верил; он нашел в Аграфене и даже в Михайле семью, заботу, дело, внимание и деревенскую простоту, охоту выслушать совет, благодарность — все, что с избытком наполняло его холостые старые дни.

Михайло Петров не прерывал сношений с ветераном и по отъезде его осенью в столицу, да и сам ветеран не желал этого. Он сам скучал о них, больше всего, конечно, об Аграфене, и все справлялся, не позовут ли его крестить. Его позвали действительно, и он нарочно приехал зимой, чем несказанно обидел сестру. Но Михайло Петров дал ему понять кое-что насчет ребенка, упомянул мельком, что за этим «малютком» (прост он, не умеет по-умному говорить) надо ходить по-божески, не так

чтобы как-нибудь. И ветеран понял, что этот ребенок — его, хотя все это был вздор. Он дал слово вывести мальчишку в люди и наверное сделает это.

Но, несмотря на успех, и Аграфена и Михайло Петров с каждым днем всё делаются ненасытнее в достижении, а главное — в желании еще бóльших успехов. «Мало», «мало» — все сильнее давит на их общий ум (они действительно — одно тело и один дух), и они рвутся, как горячие лошади, все дальше и дальше, не зная, куда примчат их резвые и вовсе не усталые еще ноги. Очень может быть, что эта жажда денег и приведет их обоих к чему-нибудь недоброму: и Аграфена и Михайло все-таки *темные люди,* зарвутся, не сумеют остановиться — и погибнут. Все это случится; но теперь они, по уму, по определенности задачи и по энергии, с которою стремятся достигнуть ее, — первые люди деревни; им завидуют все, мало-мальски вышедшие из туманного существования серого мужика; все такие слепинцы стремятся им подражать, то есть идут тою же дорогой; но, увы! успеха того не имеют. Правда, они не церемонятся ни перед чем и поставляют всякий «товар», лишь бы за него шли в руки деньги, только товар их, забитый, и оборванный, и неумелый, не одерживает таких побед, как умная и хитрая Аграфена.

5

«Шибко» нуждается в деньгах и простой серый мужик и также желал бы заполучить в свои корявые руки какие-нибудь кредитные знаки; но, глядя на его старания в этом отношении, ясно видишь, что успеха они иметь не могут. Тайна этого неуспеха именно в том и состоит, что мужик — человек серый, что он еще не отвык от «крестьянства», не умеет жить иначе, как своим домом, своей семьей, и главное в том, что плохо понимает все происходящее за пределами его домишки. Он не может обобщить и привести в систему осаждающие его явления жизни, иначе он бы давно думал точь-в-точь так, как думает Михайло Петров. Теперь же, не приведя ничего в ясность, он чувствует только, что ему *нужны* деньги, иной раз «дозарезу», но не как спасение от тьмы, не как средство вообще выйти из ничтожества, а только

как средство удовлетворить кое-каким нуждишкам; о большем он не хлопочет и отвык думать. Ему грезятся не куши, не капиталы, а деньжонки, рублишки, необходимые только для того, чтобы покрыть крышу, починить сапоги, отдать два рубля лавочнику. Он хватается за всякое средство, лишь бы только добыть рублик, и за этот рублик платит трудом своим в десять раз больше, — и это всегда, за каждый рублик. Если же он, то есть настоящий *серый* мужик, и сообразит, что хорошо бы было ему получить поболе, справиться сразу, и если к этому представится даже случай, то и тут не всегда он сумеет воспользоваться им, потому что сер, потому что еще не «насобачился», как говорят в деревне в похвалу развитым и умным людям.

Во время житья моего в Слепом-Литвине познакомился я с одним из таких серых мужиков. Он постоянно нуждался в самом необходимом, постоянно просил хлебушка, продавал теленка, не дав ему, после появления на свет, поотходиться и двух недель; тащил цыплят в продажу, когда они были еще желты. У него во всем был недохват: о покупке новых сапог он думал года по два; крышу собирался крыть лет пять, и все-таки не мог этого сделать. Какая-то непоколебимая надежда на то, что он «вот, погоди, поправится», особенно поражала в нем, так как только она одна, как мне кажется, и поддерживала его среди явного и полного расстройства всех его дел. Поддерживала она его до такой степени, что у Ивана Афанасьева (о нем писано раньше) было больше веселых минут в жизни, чем у самого исправного из мужиков. Лицо его было чаще других запечатлено добродушнейшей усмешкой, шуткой; чаще других он думал о том, что вот придет праздник, наварим пива, словом — погуляем. Никогда на свою горькую участь он не озлоблялся и не срывал зла ни над кем из домашних, как это частехонько водится и не в одном крестьянском быту; напротив, что весьма удивительно, дети, даже приемыш, взятый из воспитательного дома, составляли предмет его особенной внимательности. Как самый тонкий наблюдатель, он день за днем мог рассказать, как начала говорить и ходить Машутка, как называла на своем детском наречии курицу, телегу, хлеб; знал с точностью повадку

и натуру каждого ребенка и даже весьма искусно вел нравственное воспитание своих ребятишек.

— Меня Васька оби-жа-а-ет! — ревет во всю мочь крошечная девчонка, бросаясь головой между коленями Ивана Афанасьева: — прибей его, тя-а-атька...

— Она щепку в рот взяла, а я ее отнял... она и заревела...

— А-а! — серьезно говорит Иван Афанасьев. — Как же он это Васька Машутку смеет обижать? Да мы его вот сейчас высеким, погляди-ка как. Высечь его, Машутка?

— Выс-ечь...

— Ну, давай мы его высеким... Поди волоки хворостину... Хорошую принеси, смотри. Мы его высеким с тобой — небу будет жарко! Ах он такой-сякой! волоки, Машутка, скорей...

Вся в слезах и во всякой грязи на лице тащит Машутка со двора громадную хворостину. Но покуда она дотащила, обида ее прошла.

— Нина-а-а-да! — ревет Машутка — и вся история оканчивается самой задушевной мировой.

Не раз приходила мне в голову мысль, что такому человеку, как Иван Афанасьев, во что бы то ни стало необходимо помочь. У него, в самом деле, недоставало только денег, чтобы поправиться, пообзавестись, и тогда решительно не было никаких оснований сомневаться, что он встанет на ноги. Он хороший, даже образцовый семьянин, человек, который пьет, когда случится, когда поднесут, и вовсе не завзятый любитель вина. Сам Иван Афанасьев двадцать раз заводил речь о том, что хорошо бы добыть местечко где-нибудь на стороне, поработать годик, накопить рублей сто и потом взяться за крестьянство как следует, то есть все починить, подпереть, покрыть.

Случайно мне пришлось встретить одного моего хорошего приятеля, который нуждался для своего имения в человеке хорошего поведения, непьющем и работящем. Имение это находилось верстах в полутораста от Слепого-Литвина и в семи или десяти верстах от железной дороги. Состояло оно из построек: господского дома, служб, бани и необходимых хозяйственных строений, и лежало одиноко в лесу, в трех верстах от ближайшей деревни. Ввиду того, что зимой (а человека владелец нанимал

на зиму) место может показаться глухим, владелец назначал желающему хорошее жалованье.

Местные крестьяне, наперерыв старавшиеся занять это место, не удовлетворяли владельца, как народ придорожный, «шоссейный», снисходительные взгляды которого на исполнение своих обязанностей — взятых, разумеется, при всевозможных клятвах и тысячах «будьте покойны», «если мы», «господи сохрани, да мы уж», — были уже ему знакомы. Работа нанимаемого должна была состоять в надзоре за аккуратностью отправки из имения сена на железную дорогу, в записывании рабочих часов и в надзоре за домом и скотом. Кроме того, нанимавшийся мог нанять плотника на хозяйский счет; конечно, и этот плотник должен был жить всю зиму, исполняя те мелкие работы, которые укажет хозяин и заметит сам управитель.

Я предложил Ивану Афанасьеву, не хочет ли он занять такое место. Жить ему будет скучно, но зато к весне и рабочей поре он может вернуться домой с порядочными деньгами. Я подробно рассказал ему его обязанности, положение имения, рисовал дорогу, и лес, и дом — и Иван был рад-радехонек.

— Лучше не надо! — твердил он.

— А лес?

— Господи помилуй! лес? Али лесов-то не видали! Я пяти годов заблудился в лесу-то, двое суток не ел... Авось теперь не махонькой...

Я просил его подумать, сообразить; но он повторял только одно: «лучше не надо!», «по гроб буду помнить!» Владельцу я расписал Ивана самыми превосходными красками. В честности его я не сомневался ни капли. Владелец внимательно слушал меня, верил мне; но, наученный, должно быть, опытом, почему-то сказал в конце концов:

— О-ох, смотрите!.. Впрочем, если все так, так я лучшего не желаю.

Наконец Иван получил — в чем я убедил владельца самыми непреложными доводами — несколько денег на поправку, еще несколько денег для дому, десять рублей на подати (и действительно внес их) и несколько денег на дорогу. Все это было послано в письме после моего отъезда из Слепого-Литвина. На мызу было послано уве-

домление оставлявшему ее приказчику, чтобы он к такому-то дню (по приблизительному расчету) ожидал прибытия нового приказчика и потом уже, сдав ему все, оставил место.

Чрез две недели после рассчитанного срока получилось из деревни письмо, в котором старый приказчик писал, что никто до сих пор в деревню не приходил; просил подыскать кого-нибудь другого, говоря, что больше ждать не может.

— Вот видите! — с легким оттенком насмешки сказал мой владелец: — говорил я!..

Признаюсь, изумился я такой неаккуратности Ивана, да мало того изумился: — в маловерную душу мою закралось сомнение даже насчет бескорыстия Ивана. Я столько навидался и наслышался насчет сомнительности этого бескорыстия, что невольно подумалось: «А ну-ко Иван, уплатив подати и забрав кой-какие деньжонки, вдруг раздумал их отрабатывать, поверив какому-нибудь деревенскому опытному, умному человеку, что «бумаг никаких не было, а ноне без бумаг ничего не возьмешь»...

Уже с слабою или по крайней мере с поколебленною верою в правоту моих слов я старался вновь уверить владельца, что это какое-то недоразумение, что быть не может, чтобы Иван надул, что не такой он человек!

— Хорошо, хорошо... Подождем немного...

А покуда было послано письмо к одному лучшему из местных мужиков — пожить в мызе до прихода нового приказчика. К неописанной моей радости — однако не раньше, как через неделю, — пришло другое письмо, но на этот раз прямо от Ивана.

Оказывалось, что не ехал он по случаю того, что у него родила жена, а главное — потому, что *справлял* крестины; а крестины справлял потому, что соседей не звал на прошлый праздник: стыдно, а еще главнее потому, что исхарчился на угощение «до последнего», прибавляя при этом весьма категорически — «потому нельзя, никак невозможно — продавал овец, но давали нестоящую цену, и теперь вот пришел потому, что, наконец, продажа состоялась удачная», и в заключение просил прощения, говоря, что «уж теперь он всей душой расстарается...»

Очень я был рад этому письму. Все нечистые подозрения разлетались сами собою как дым, и Иван выходил

совершенно чистым. Меня только удивляло немного то обстоятельство, что он, бьющийся как рыба об лед бедняк, тратит последнее на угощение и, прежде чем выработать что-нибудь, то есть прибавить к своему имуществу, начинает с продажи овец, то есть с прямой отбавки, с прямого убытка. Михайло Петров не задумываясь взялся бы за дело, а угощать начал бы после, по окончании и получении чистых барышей. Ивану же, то есть серому русскому мужику, не отвыкшему ставить на первом плане интерес своей семьи, надо сначала «до последнего» убить свои ничтожные средства на какие-то формальности, которые легко могут быть соблюдены и после. Немного, чуть-чуть, я сердился на Ивана: тут надо ковать железо, пока горячо, а он две недели возится с угощением, добивает «до последнего» и даже продает овцу, чтобы тронуться в путь, когда все это и без того было уже устроено.

Но все-таки я был рад, что он не обманщик.

С неделю с дачи не было никаких известий, как вдруг неожиданно, когда я случайно находился в кабинете владельца в Петербурге (в начале второй недели пребывания Ивана на новом месте), вошла горничная и сказала: «из деревни вот мужик принес».

На этот раз письмо было от Ивана. К неописанному нашему удивлению, Иван отказывался от места, говорил, что ему надо «беспременно идти домой, так как у него сгорел сарай, развалился овин и так как...» Далее он так нагло лгал, выставлял такие невероятные причины к своему удалению, что мы уж более не могли сомневаться в способности Ивана к надуванию: он сломал ногу, вывихнул бок, ему ударило «сверху» по голове балкой, и словом — бог знает что!

— Вот! — сказал мой собеседник, кладя письмо на стол: — как это вам покажется?

Я не знал, что и думать.

— Позвольте-ка мне письмо, — сказал я, не зная, что сказать. Я еще раз перечитал это истинно наглое вранье, еще раз не мог понять, что такое делается с Иваном, и, раздумывая об этом, машинально перевернул письмо другой страницей (оно было на четвертке серой писчей бумаги). Эта другая страница также оказалась исписанной, и, к удивлению, письмо было адресовано прямо ко мне. «Простите моей подлой глупости, что с господином дол-

жен поступать обманом: ничего больше нету, как без своих жить не могу — все думается». И затем шло полное признание в том, что вся предшествовавшая страница наврана.

Я указал на это моему собеседнику, и мы оба искренно расхохотались.

«Даже надуть-то как следует не умеет!» — пришло нам в голову.

На одной и той же бумаге, в одном и том же письме, этот хитрец разоблачает все свои тайны.

— У него бумаги не было больше-то! — объяснил нам мужик, принесший письмо. Мужик был прислан местным крестьянином, жившим на даче до прихода Ивана, и удивительные дела порассказал про этого серого мужика. Оказалось, что жить не в своей семье, не в своем дворе для Ивана — просто невозможно. Никакие деньги не в силах удержать его вдали от «своего». Он делается пуглив, как ребенок, боится темной комнаты, «за тыщу» рублей не решается выйти на крыльцо ночью. Все ему — чужое, всего ему боязно, страшно, дико...

«Нет, — подумал я, слушая эти рассказы: — долго еще серому мужику нашему не нажить «больших» капиталов!..»

IV

Деревенский сторож. — Благословенные места и та же неурядица. — Душевное одиночество крестьянина. — Отсутствие новых деревенских деятелей, понимающих новые осложнения народной жизни. — Взаимная рознь.

1

Эта глава деревенских заметок, более чем чрез год после истории с Иваном Афанасьевым, мужиком новогородским, пишется за тридевять земель от новогородских лесов и болот, в степной полосе самарского края, а, право, не видишь никакой разницы между болотными и степными деревенскими порядками.

Вышел я в летний жаркий праздничный день на воздух и гляжу на дорогу, облокотившись на плетень. Мимо меня проходил крестьянин с двумя детьми, девочками,

из которых одну, полуторагодовую, он держал на руках; а другую, двенадцатилетнюю, вел за руку. Шли они медленно, так, как ходят нищие, обремененные заботою высматривать человека, готового «подать», обязанные поэтому останавливать свое внимание на каждом окне, на каждой двери, поглядывать и через забор и в полуотворенные ворота. Сходство с нищими, кроме медленной походки, дополнялось еще и внешним видом приближавшейся ко мне группы: даже и по-деревенски она была плохо одета, выглядела бедно. У мужика были штаны в лохмотьях и дырьях, обнаруживающих голое тело; ноги у него были босиком. Девочка, которая была у него на руках, была так худа, желта, что показалась мне больною; белые волоса на ее головке были всклокочены, росли неровными прядями и носили следы весьма-таки заметной грязи: «лепешками» виднелась она между этими белыми детскими волосами. Та же бедность и неразлучная с нею неряшливость заметны были и в той девочке, которую мужик вел за руку. Сам он шел с открытой головой, что тоже признак «нищего», которому шапка только помеха, потому что снимать ее приходится каждую минуту. Когда эта группа поровнялась со мной, я ожидал, что мужик попросит «милостыньки»; но он не просил, а остановился и поклонился.

— Ты... «просишь?» — нерешительно спросил я.

— Что ты! — с некоторым удивлением взглянув на меня, произнес крестьянин: — я — сторож здешний... Господь милостив еще!..

— Ну извини!..

— Сторож, сторож, братец ты мой... Господь еще миловал от этого... Это вот внучки ко мне пришли в гости.. Погулять вот пошли... Нет! Храни бог от этого.

Я еще раз извинился пред ним и сказал:

— Это вот я на детей поглядел, мне и пришло в голову...

— Ничего, что ж!.. Сторож, брат, сторож!

— Худы они у тебя, девочки-то.

— Как не быть худым... Главная причина, друг ты мой, пищи нету!

— Как пищи нет?

— Больше ничего, что нету! Была у нас коровка — господь ее у нас взял, пала... Ну, молочка-то и нету...

— Чем же ты кормишь вот эту маленькую-то?

— Чем? а что сами, то и ей... Кваску, хлебца...

— Эдакой-то маленькой?

— Что же ты будешь делать!.. Вот, бог даст, осенью телочка подрастет, продадим, да своих за лето мне придется за караул с барина... Вот из этих придам, вот, бог даст, и купим корову-то; ну а покуда что — уж надо терпеть... Ничего не поделаешь!..

— Ты ночью караулишь-то?

— То-то только ночью! кабы мне лошадку, у меня бы и день не пропадал бы даром...

Надо сказать, что в деревне, где происходит настоящий разговор и где я живу, идут большие постройки, и свободное время крестьян, то есть конец мая и июнь, может быть хорошо оплачено поденной работой.

— Тут с лошадью-то, — продолжал крестьянин, — по семи гривен в день дают; так я бы за лето-то и совсем стал на ноги: вот что, друг ты мой, огорчает-то! У меня жены нету, второй год померла, ихнего (он указал на девочек) отца, моей дочки, стало быть, мужа, в солдаты взяли: вот я и ослаб, а справиться — способов нет... А кабы ежели бы хоть какая-нибудь лошаденка, — вон в пятнадцать рублей на ярмарке были, — я бы все к осени-то уж как бы ни как, а приспособствовал к поправке!

— Да ты — здешний крестьянин-то?

— Знамо здешний.

— Так ведь тут у вас товарищество, банк. В банке возьми пятнадцать-то рублей.

— То-то нашему-то брату не дают из банки-то!

— Как не дают, отчего же?

— Оттого, что не дадут, — вот и все тут. Ведь там, братец ты мой, ручателя надо представить; а где мне его найти? Другому, кто посильнее, можно сколько хошь; а кто ежели вот примером, как я теперечи, ослаб — кто за него пойдет? Случись неуправка — никому, братец ты мой, отвечать за тебя неохота, это тоже надо понимать...

Крестьянин помолчал и прибавил:

— Ослаб оченно! Вот какое дело... Жена померла, осталась из всего роду дочка, да вот две внучки, да и дочке-то тоже не сладко: мужа в солдаты взяли, сама в работницах. Говорит, будто из губернии пособие выйдет, — ну только не слыхать что-то... Вот какое дело, братец ты мой.

Тут крестьянин прибавил с улыбкой:

— И то, пожалуй, с твоей легкой руки собирать пойдешь... Прав!.. Тьфу! Храни бог!

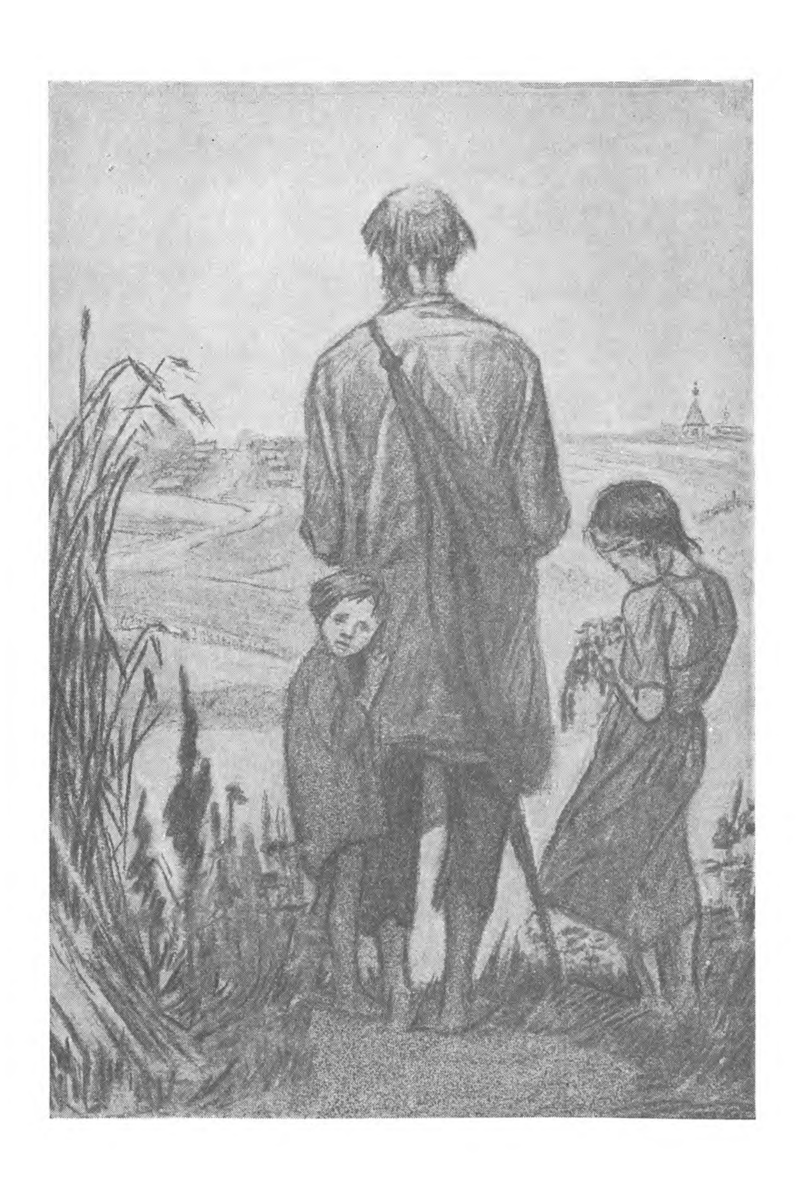
Плюнул и я на это нехорошее предчувствие.

— А уж кабы лошаденку!.. — выказывая намерение уйти, сказал крестьянин: — я б пятнадцать — двадцать рублишек к осени легким духом сбил. К осени уж непременно и банку бы очистил, да и лошаденка была б в дому... оно бы все полегче... Ну, ничего не поделаешь. Надоть терпеть — одно!

Покачав еще раз головою и пересадив девочку с одной руки на другую, что дало мне возможность увидеть ее, поистине как спички, худенькие ноги, крестьянин попрежнему медленно, потихоньку отошел прочь, продолжая свою «прогулку с детьми», а я остался один. Впечатление этого разговора было весьма тяжелое, потому что разговор наводил на ряд вопросов, при малом знакомстве с деревенскими порядками почти неразрешимых. Судите сами.

Деревня, где живет горемыка-сторож, не считающий себя нищим, деревня бесспорно самая богатая, какую только я когда-нибудь и где-нибудь видел. Да и не одна только эта деревня богата, то есть щедро наделена естественными богатствами, богат весь край; край этот Приволжье — степная Самарская губерния, истинная «житница русской земли». Помимо удивительной земли, какие здесь роскошные (в буквальном смысле) луга, какой обильный корм скоту, не говоря уж просто о красоте. Широкая Волга-матушка благодетельствует местность хотя уж одним тем, что дает возможность иметь рыбу весом в фунт за одну полкопейку, да и без этого благодеяния реки, протекающие край и впадающие в Волгу, дают столько съедобного живья, что его, как говорится, «ловить не переловить, есть не переесть». А сколько всякой птицы, всякой дичи гуляет по луговым «мокринам», по этим многочисленным степным озеркам, прячущимся в высокой душистой, изумляющей разнообразием пород траве! «Благодать!» — вот что можно сказать, глядя на всю эту естественную красоту, на все это природное богатство местности...

Деревня, о которой идет речь, наделена всеми этими благами природы ничуть не меньше других здешних мест;



стоит она при речке, а другая, еще более широкая, глубокая и богатая, течет не более как в полуверсте. Земли и луга, которыми владеют крестьяне, удивительно тучные, богатые. Кроме того, в самой деревне, как подспорье этому природному богатству, уж есть подспорье денежное — ссудо-сберегательное товарищество, в котором членами состоят хозяева решительно всех семидесяти дворов деревни. Наконец, чтобы читатель мог окончательно убедиться в благосостоянии этой деревни, я должен сказать, что хотя здесь еще и нет кой-чего, например школы, фельдшера, но зато с самого основания новых условий крестьянского быта, то есть с 19 февраля 1861 года, нет и не было, а надо думать, и не будет, *ни единой копейки недоимки*. Этот аргумент в пользу благосостояния я могу подтвердить официальною справкою; а личные мои наблюдения привели меня к убеждению, что такая аккуратность в отбывании повинностей, везде крайне для крестьянина обременительная, здесь исполняется без особенного труда, так как оброчные статьи — мельница, река, кабак — дают крестьянам сумму, покрывающую все налоги: так, например, один кабатчик платит обществу шестьсот рублей серебром за право торговли.

Чего еще нужно для того, чтобы человек, живущий здесь, был сытым, одетым, обутым и уж во всяком случае не нищим? Так непременно должен думать всякий, кто знает, что общинное, дружное хозяйство — не только спасенье от нищеты, а есть единственная общественная форма, могущая обеспечить *всеобщее* благосостояние. Так должен думать всякий, кто знает, что лучшей земли нет в свете, что из таких природных богатств, в соединении с общинным дружным владением ими, может выходить только добро и что наделенная ими община может только «улучшать» свое благосостояние.

И, представьте себе, среди такой-то благодати не проходит дня, чтобы вы не натолкнулись на какое-нибудь явление, сцену или разговор, который бы мгновенно не разрушил все ваши фантазии, не изломал все вычитанные вами соображения и взгляды на деревенскую жизнь, словом — становят вас в полную невозможность постичь, как, при таких-то и таких условиях, могло произойти то, что вы видите воочию.

Вот рядом с домом крестьянина, у которого накоплено двадцать тысяч рублей денег, живет старуха с внучками, и у нее нечем топить, не на чем состряпать обеда, если она не подберет где-нибудь «уворуючи» щепочек, не говоря о зиме, когда она мерзнет от холода.

— Но ведь у вас есть общинные леса? — с изумлением восклицаете вы — дилетант деревенских порядков.

— Нашей сестре не дают оттедова.

— Почему же так?

— Ну стало, выходит — нет этого, чтобы, тоесь, всем выдавать...

Или:

— Подайте христа ради!

— Ты здешняя?

— Здешняя.

— Как же это так пришло на тебя?

— Да как пришло-то! Мы, друг ты мой, хорошо жили, да муж у меня работал барский сарай и свалился с крыши, да вот и мается больше полгода!.. Говорят, в город надоть везти; да как его повезешь-то?.. Я одна с ребятами... Землю мир взял...

— Как взял? Зачем?

— Кто ж за нее души-то платить будет? Еще, слава богу, души сняли: видят — силы в нас нету.

— А работника нанять?

— На что его наймешь-то? Откуда взять?

— Как откуда? У вас есть своя касса, из ваших же собственных денег: там, наверное, и твоего мужа деньги. У вас касса есть общественная!.. Я знаю, там несколько сот рублей... Ты можешь заплатить за работу, и у тебя будет свой хлеб... Зачем тебе побираться? Проси там денег: там деньги ваши, собственные.

— Ну как же! Дадут *«они»* «нам»... Подайте христа ради, что вашей милости будет!..

Что ж это за волшебство? Что это за порядки, при которых в такой благодатной стране, при таком обилии природных богатств можно поставить работящего, здорового человека в положение совершенно беспомощное, довести до того, что он среди этого эльдорадо ходит голодный с голодными детьми и говорит:

— Главная причина, братец ты мой, — пищи нету у нас — вот!

В этакой-то роскошной стране, при общинном-то хозяйстве, в местности с кассами, банками, в местности, где нет недоимок, работящему, обремененному семьей человеку — нет пищи?!.

Ведь это уж что-то очень мудреное, именно как будто волшебное!.. Согласитесь, что если бы в этой деревне на семьдесят дворов вы встретили только этого сторожа, только старуху и бабу, о которых было сказано выше, то и тогда они должны бы поставить вас в тупик. Но что скажете вы, когда такие непостижимые явления станут попадаться вам на каждом шагу; когда вы ежеминутно убеждаетесь, что здесь, в богатой деревне, ничего не стоит «пропасть» человеку та̀к, даром, за ничто, пропасть тогда, когда все благоприятствует противному? Очевидно, что в глубине деревенских порядков есть какие-то несовершенства интеллектуальные, достойные того, чтобы обратить на них внимание.

2

В прошедшем году летом, живя в деревне в Новгородской губернии — местности бедной удобными землями, я мог заметить, что трудные материальные обстоятельства побуждают деревенского человека тех мест «уходить» из деревни и сосредоточивают все его внимание на добывании денег, так как денег требует начальство, а земля — самый главный источник доходов — до крайности плоха, и, кроме того, количество ее мало. Всякий случайный заработок встречается здесь с восторгом; всякий рубль, за что бы он ни попадал на руки, считается добром. Несомненно, что бедность объясняет в этой стороне многие непривлекательные явления деревенской жизни.

Но и тогда я не мог не заметить, что бедность — еще не все, что стремление во что бы то ни стало добиться денег и потом уйти из деревни имеет основание, кроме бедности, еще и в том нравственном одиночестве, которое тяготеет над каждым крестьянским домом, над каждым человеком, живущим в деревне. Фиктивно соединенные в общество круговою порукою при исполнении многочисленных общественных обязанностей, большею частью к тому же навязываемых извне, они, не как общинники

и государственные работники, а просто как люди, — предоставлены каждый сам себе, каждый отвечай сам за себя, каждый сам за себя страдай, справляйся — если можешь, если не можешь — пропадай!

И вот тут-то, в этом-то множестве личных забот, огорчений, страданий, никем не облегчаемых, не освещаемых ни одним добрым словом, переносимых каждою семьею в полном молчании или неумении других помочь в горе, — я видел главную причину того, что у человека, который понял свое одинокое, беспомощное положение, должно явиться желание уйти отсюда не только для того, чтобы наживать деньги, но для того, чтобы выйти к свету, к людям, к какому-нибудь знанию света, людей, порядков. Эти деньги нужны: для того, чтобы купить это знакомство с жизнью «по-людски»; чтобы лечить своих больных детей, как лечат люди; чтобы учить их не одной палкой, а настоящей наукой, то есть вообще удовлетворить таким потребностям ума, таким движениям человеческого сердца, которым, при современных деревенских порядках, где все сосредоточено на мысли о недоимке и податях, нет места, нет удовлетворения и надежды на него нет.

Я говорил тогда, что если в деревенскую среду не войдут посторонние, более знающие люди, которые сделали бы «общинными» интересами не одну только землю и раскладку подушных, а все загнанные, забитые, неудовлетворенные потребности крестьянской души, — люди, которые делали бы это не из-за жалованья, как делают нанятые за десять целковых горемыки-учителя, горемыки-священники, не посещающие деревень доктора, а как люди, *убежденные в том, что им нет другого места* для применения своих знаний, своего развития, кроме деревни, нет другого заработка более безгрешного, как тот, который может дать деревня яйцом, подарком курицы и т. д., — то без этого притока в деревню «света божьего» деревня, то есть все, что есть в ней хорошего, стоскуется, разбредется, а что и останется в ней, потеряв аппетит к крестьянскому труду, будет только бессильным рабочим материалом в руках тех, кто даст хоть какой-нибудь заработок.

Такие соображения, быть может вполне дилетантские, но решительно не выдуманные, а родившиеся «сами собою» при малейшем внимании к современным деревен-

ским порядкам, приходили мне в голову в то время, когда перед моими глазами стояла бедность северной природы. Теперь же, когда я вижу кругом себя «благодать» — обилие и богатство, — я волей-неволей еще прочней убеждаюсь в своих легкомысленных фантазиях, то есть что деревне необходимы новые взгляды на вещи, необходимы новые, развитые, образованные деятели, для того чтобы среди этого простора не было лондонской тесноты, а среди возможного, находящегося под рукой довольства — самой поразительной нищеты, не знающей, где приклонить голову.

3

Первое, что бросается в глаза при наблюдении над современными деревенскими порядками,[1] это почти полное *отсутствие нравственной связи* между членами деревенской общины. При крепостном праве фантазии господина-владельца, одинаково обязательные для всех, сплачивали деревенский народ взаимным сознанием нравственных несчастий. Господская фантазия имела право вломиться в деревенскую семью и по произволу распорядиться личностью человека; могла «взять» человека и отдать в науку, в музыканты, в повара, в портные; могла «взять» и женить или выдать замуж, не обращая внимания на «человека». Ежеминутная возможность таких фантазий связывала мир одинаковым *приниженнием* человеческой личности; как «у людей», а не у государственных работников, у них была общая мысль, общая нравственная забота... Теперь уж никто не вломится в семью, кроме начальства, которое приходит с солдатами; теперь всякий отвечай за себя, распоряжайся сам как знаешь; но связь «нравственного гнета» не заменилась сознанием необходимости «общего благополучия», общего облегчения жизни, так как на место произвола не пришло ни знание, ни развитие, ни даже доброе слово. Привычка трепетать, видеть в себе вековечного работника, привычка, ничем и никем не разрушаемая, держит крестьянина и до сих пор в своей власти.

[1] Прошу читателя иметь в виду, что заметки эти относятся к *известному* только времени, именно 77—78 годам, и к известным только местностям — северной, новогородской, и степной, самарской.

Произвол не войдет уж в нравственные интересы крестьянской семьи в тех широких и даже фантастических размерах, как при крепостном праве, но и сочувствие к ним, внимание к ним также сюда не войдет. Кричи больной ребенок сколько хочешь, всю ночь, весь день, неделю; охай и мучайся над ним мать, отец, бабка — вся малосведущая в медицине семья: никто не войдет с помощью, с уменьем, точь-в-точь как при крепостном праве. Доктор, получающий тысячу двести рублей на население в триста тысяч человек, говорит: «мне не разорваться!» Фельдшер также разорваться не в состоянии... И вот умирает ребенок, оставляя в сознании тех, кто любил его, впечатление непроходимой темноты и тяжести...

Ввиду отсутствия какого-нибудь света, который бы проникал со стороны в крестьянскую семью и дал бы возможность видеть хотя уголок той сложности новых условий жизни, в которой стало крестьянство после освобождения, дал бы вообще возможность вздохнуть, оглядеться, «сообразиться», — ввиду отсутствия всего этого каждый крестьянский дом, обремененный массой таких нравственных забот, которые бы легко уничтожились, если бы были предметом *общественного* деревенского внимания, каждый такой дом представляет необитаемый остров, на котором изо дня в день идет упорная борьба с жизнью, при неистовом терпении и неистовом труде. Тяжесть этого бремени такова, что существовать во имя его на белом свете кажется невозможным, и если именно это-то бремя нравственных забот и заставляет «биться» крестьянскую семью, то это происходит, кажется, только вследствие глубокой веры в предопределение свыше.

Примеров, доказывающих полное одиночество крестьянской семьи и полное отсутствие в современных новых *общественных* крестьянских нуждах нового *типа* общественного деятеля, нового, более широкого типа мирского внимания, — таких примеров на каждом шагу великое множество. Вот приезжают люди торговые и начинают при помощи сельской власти склонять общество на отдачу в аренду рыбных статей или права на торговлю вином. Общество берет тем меньшую цену, чем более роскошное угощение представит склоняющий, то есть чем более выставит вина. На сходках, собираемых по подоб-

ного рода общественным делам, обыкновенно бывает весь мир в полном комплекте, но едва ли только не потому, что здесь каждый получает свой стакан, или два, или пять, смотря по щедрости предпринимателя. Все пьющие знают, что из шестисот рублей, взятых за кабак, никому не придется получить на свою долю ни копейки, и предоставляют их, как это почти постоянно бывает, на расхищение людей, стоящих у деревенского сундука, предоставляют именно потому, что некому вступиться, возопиять о неправде и зле такого дела.

Это отсутствие в деревне *новых* элементов, расширяющих размеры «общественного внимания», делает то, что самое общинное пользование землею в настоящих условиях деревенской жизни вовсе не избавляет члена общины от голодной смерти. Удивительные явления подобного рода происходят очень просто: вот крестьянский дом, платящий, положим, за две души и владеющий двухдушевым наделом. Работников в семье один человек, что зачастую бывает даже на пять и на шесть ртов или едоков. Этот работник свалился с крыши, сломал ногу и лежит больной. Деньги, имеющиеся у него на фельдшера, на больницу в общественной кассе, растрачиваются волостным писарем, сельским старостой или волостным старшиной, да он и не полагает, что ему там их дадут на *такое* дело. Больной работник лежит и мучается, работа стоит, и семью гнетет бедность; платить за две души нет возможности, надо просить мир, чтобы он *снял* хоть одну душу. Мир снимает душу, но *и землю,* на эту душу полагающуюся, берет. Лишившись земли и лишившись своего хлеба, семья *слабеет,* и очень может быть, что на следующий год придется снять и вторую душу, остаться совсем без земли, пойти по миру, будучи хозяином общественных лесов, угодий, общественных сумм, живя в благодатной, плодородной местности. Кто же спасет, поможет мне в такой беде, в которой не помогают теперешние деревенские порядки, не помогают потому, что не понимают, чтобы такого рода частное несчастие могло быть достойно общественного внимания? Меня может спасти *родство,* родственные связи, личные мои отношения к частным людям, но *общественного* внимания мне не дождаться. Эти порядки отдают взятую у меня землю другому лицу,

которого еще не постигло несчастие, заставившее опустить руки... А я, больной и разоренный, должен ходить по миру, служить работником у соседа, такого же равноправного члена общества, как и я сам. Где же тут «дружная общественная работа»?

4

В руках моих в настоящее время находится копия с учета одного волостного старшины (той волости, в которой находится обитаемая мною деревня) и служившего в волостном правлении писаря. Мне могут сказать, что уж то обстоятельство, что растратам старшины и писаря сделан мирской учет, свидетельствует об общественном внимании к своим собственным интересам. Однако, зная дело это подробно, я должен сказать, что, к сожалению, мысль об учете возникла не в обществе, не в среде крестьян, а почти на стороне и принадлежит человеку, почти постороннему обществу. Будучи крестьянином той самой волости, о которой идет речь, человек этот лет двадцати оставил ее, жил в городе в лавке, в мальчиках, потом в приказчиках, ездил не раз с хозяевами в Москву и, воротившись после пяти-шести лет отсутствия, открыл в деревне собственную лавку, в которой есть, что нужно главным образом окрестным помещикам. Человек этот — грамотный, выписывающий газету и если не блистающий особливым бескорыстием, то есть берущий и наживающий известный процентик, и процентик неубыточный, то уже понимающий, что воровать прямо, без всяких предлогов, нехорошо, понимающий, что воровать общественные деньги — еще того хуже.

Имея, благодаря успешному ходу собственных дел, порядочный досуг и, стало быть, время подумать и о постороннем, этот человек, быть может даже под влиянием газетных критиков о всеобщем воровстве (а бог его знает, может также и из корыстолюбия, из желания самому попасть в старшины; трудно говорить о малознакомых деревенских людях, не съев с ними предварительно пуд соли), заинтересовался общественными делами деревни, а заинтересовавшись, открыл такие вещи, которые уже не позволяли ему остановиться, знать про них и молчать.

Как бы то ни было, по мягкосердию или по своекорыстию, — раз в деревне появился такой человек, который *взялся* на свою ответственность вести войну «за правду», — такой человек всегда может рассчитывать на полное сочувствие деревни. Результатом вмешательства в крестьянские дела этого сельского торговца была подача в уездное по крестьянским делам присутствие следующего *«от всего общества с. Б. прошения»* (привожу его в подлиннике, сохраняя изложение без изменения):

«1876 года декабря 30-го дня в Б—м волостном правлении были назначены торги на волостную ямщину, и в то же время были собраны, из каждого селения здешней волости, выбранные из среды общества судьи, которые могут присутствовать на волостном сходе, и что, прежде чем была заторгована волостная ямщина, старшина К—в и писарь *его* Ф—в закупили водки не менее пяти ведр. А перепоили народ (теперь этот же самый народ подает прошение) до безумия в самом присутствии волостного правления, где были произносимы скверно...ные слова, песни и неподобные действия. Одни сидели в шапках, иные валялись по полу, чего нравственный сиделец в питейном заведении даже того не допустит, что допустил волостной старшина и писарь Ф—в, как видно, переносили такие поступки довольно хладнокровно. Между прочим, у нас был старшина Моисеев, служил восемь лет, не допускал такого неприличия в волостном правлении, и, кроме того, честь имеем донести, как бывший старшина Моисеев покупал лесу для отопления волостного правления и из этого лесу рубил срубы, драл лубки и затем мочало, потом делал продажу и теми деньгами покрывал расходы волостных сумм, а отопление производил почти совершенно безденежное; напротив же, настоящий старшина, К—в, купил, конечно на общественные деньги, в даче господ NN две десятины и 12 сажен лесу на сумму 380 рублей, какого еще Моисеев не покупал (?) что же? из такого лесу нет совершенно ни срубов, ни лубков, ни мочал, ни столбов, совершенно не видим ничего, а слышим от постороннего народа, что старшина К—в распродал лесу очень много, кроме того, что перевез в свой собственный дом. А кроме того, еще как старшина К—в, так и писарь *его* поделали себе посуды, кадушек, бочонков, ларей, сундуков, и все это из волостного лесу,

писарь же Ф—в отправил в соседний уезд в село М. два дубовых воротных столба и воз липового тесу, что, по нашему крестьянскому обсуждению, стоит не меньше тридцати рублей серебром. Но как всего этого расхода в продаже леса положительно не видно нам и для нас это кажется обременительным, ежели он, старшина К—в, будет покупать каждый год такое количество и продавать на стороны, то мы придем в совершенный упадок, и, кроме того, в прошлом 1876 г. волостную ямщину гоняли только за 300 руб., но в настоящем 1877 г. уже за 618 (вот где пять ведер вина!). Поэтому покорнейше просим уездное присутствие войти в защиту крестьян...» и т. д.

Следствием этого прошения было расследование дела на месте уездным исправником, который хотя и пишет, что относительно лесу не мог получить сведений, так как лес занесен снегом, но относительно ямщины подтвердил все сказанное в прошении, прибавив еще следующие подробности:

«Бывшие хозяйственные ямщики, крестьяне села Б., Евграф Ильин и Петр Тряскин, объяснили мне, что за несколько дней до торгов на наем хозяйственных лошадей волостной старшина К—в объявил им, что он наем лошадей желает предоставить земскому ямщику, крестьянину с. Кривой Луки Стожарову, и поэтому уговаривал их на торгах не сбивать цену, за что и дал им по 10 рублей, предупредив, что если они вздумают гоньбу лошадей оставить за собой, то он, старшина, частым разгоном по волости заморит их лошадей. Такое же предупреждение объявил и еще другим двум крестьянам того же села, Сучкову и Карташову. Во время торгов волостной старшина дозволил крестьянину Стожарову поить в волостном правлении вином всех, являвшихся торговаться, с целью не понижать торговых цен, и чрез это содержание лошадей при волостном правлении оставлено за Стожаровым за 618 р. 90 копеек...»

Вы видите, что пять ведер вина и двадцать рублей денег, данных за молчание людям, прямо заинтересованным в деле, заставляют общество дать свое согласие на прямое разграбление общих денег. Кроме того, люди, взявшие взятку и продавшие даже собственно свои интересы и выгоды, молчат до тех пор, пока не вмешиваются в дело посторонние люди.

Ввиду подтвердившихся дознанием исправника фактов расхищения мирских сумм, изложенных в прошении, присутствием было предписано о том, чтобы над действиями старшины был произведен учет. Волостной сход выбрал учетчиков и уполномочил их учесть старшину за все три года его властвования. Но волостной писарь сумел составить протокол о разрешении учета обществом только за один год. Несмотря на то, что учетчики докладывали об этом подлоге присутствию, последнее осталось на стороне писаря и возвратило (продержав у себя учет больше году) назад в волостное правление, при бумаге, в которой сказано следующее:

«Присутствие нашло, что (приводим также в подлинном изложении) как по дознании оказалось, что избранные волостным сходом учетчики, уполномоченные для учета сумм только за 1876 год, произвели учет, кроме того, еще за 1875 и 1877 г., т. е. вышли из пределов данного им вышеобъясненным сходом уполномочия, и потому, не признавая возможным признать (бумага подписана самым цветом местного просвещения) эти учеты правильными, *постановило:* возвратить эти учеты учетчикам чрез волостное правление, предписав объявить им, чтобы они предъявили волостному сходу учет за 1876 год, а волостному сходу объявить, что если он (сход) найдет нужным сделать учет за 75 и 77 годы, то постановил бы об этом приговор...»

Между тем старшину уволили, писарь перешел в другую волость, и я сомневаюсь, чтобы без особенного старания человека, начавшего дело, можно было вновь возбудить к нему внимание, так как времени прошло много попусту, и всякий убежден, что все одно — ничего не возьмешь, особливо после бумаги, чересчур внимательно и заботливо пекущейся об общественной воле, и после того, что писарь, которого по закону нельзя уж принимать на службу, преспокойно проделывает те же операции над общественными суммами в другом месте.

Было бы долго входить во все подробности расхищений. Я укажу только на приход и расход волостных сумм одного года, который даже писарь не пропустил в протоколе и который поэтому можно считать не из особенно удачных для него и для его сотрудника, именно на приход и расход волостных сумм в 1876 году.

В этом году из сумм, собираемых по деревням на волостные расходы, из штрафов, налагаемых волостным судом, и из денег, выручаемых с продажи общественного имущества, например тех же самых лык, мочал и т. д., в приходе и распоряжении волости образовалась значительная для деревни сумма в 1635 руб. 74 коп. Это — приход.

А вот расход — выписываю его вполне, чтобы было видно, какие из *общественных* нужд удовлетворяются этими общими деньгами, не возбуждая никакого протеста ни с чьей стороны до тех пор, покуда за дело не возьмется кто-нибудь один, на свою ответственность:

«1) Выдано жалованья должностным лицам и произведено платы служащим по найму и на другие предметы: волостному старшине — 233 р. 90 к., волостным писарям: первому — 48 р. 91 к., второму — 64 р. 74 к. и третьему, Ф—ву, — 168 р. 53 к. Помощнику волостного писаря — 132 р. сер. Двум сторожам — 113 р. 87 к. Кандидату волостного старшины — 6 р. 50 к.».

Итак, один персонал волостного правления получает из мирских сумм 785 руб.

К этому же следует прибавить:

«2) Израсходовано на покупку канцелярских припасов — 112 р. 40 к.

«3) Употреблено на проезд волостного старшины с писарями в губ. город по делам службы 35 р. 89 к.

«4) На освещение волостного правления — 59 р. 48 коп.

«5) Издержано на ремонт дома волостного правления, старшинского и писарского помещений — 73 р. 12 к.».

Все это — расходы управления. Достаточно прожить в деревне месяц, чтобы убедиться, что такие расходы не что иное, как денной грабеж. Представьте себе только, что одной бумаги будто бы можно исписать на 112 руб.! сжечь на 60 руб. свечей!

А исполнение размера жалованья властям выборным и нанятым?

Пойдем, однако, дальше:

«6) Уплачено волостным старшиной К—вым за покупку леса для отопления волостного правления — 222 р.

«7) Снесено в расход недочета за волостным старшиной, согласно постановлению общего присутствия волостного правления, — 30 р.

«8) Перечислено на содержание училища *излиише* против раскладки мирского сбора *принятых* за 1-ю половину года — 11 р. 98 к.

«9) Возвращено С-скому сельскому старосте неправильно начтенных — 10 р.

«10) На содержание арестантов — 30 р. 30 к.

«11) Священнику за молебны — 4 р. 62 к.

«12) Ямщикам Стожарову и Тряскину (тому самому, который потом за 10 р. позволил Стожарову, своему компаньону, утащить 300 р. мирских денег) — 249 р. 30 коп.».

Всего расходу — 1635 руб., и в остатке — 8 руб. 26 коп.

Вы видите, что деньги есть и что расходуются они довольно щедро; но судите сами, возможны ли такие расходы при маломальском внимании к общественным интересам, при самой маленькой надежде на возможность общественной помощи? Возможно ли, чтобы три четверти всех мирских сумм съедалось совершенно непроизводительно волостным персоналом и чтобы на школу отчислялись какие-то *излишние* 11 руб., тогда как она может иметь хорошие средства и без этих «счастливых» случаев? Представьте себе, кроме всего этого, что, если не в таких больших размерах, ежегодно скопляются мирские суммы не только в волости, но решительно в каждом сельском обществе, в каждой деревне, — сочтите все это и подумайте, как возможно, чтобы при этом в деревне могли быть нищие, беспомощные, больные, воры, люди, не умеющие ни читать, ни писать, ни считать?

И в то время, когда каждый крестьянский дом — целый ад забот, мучений, трудов, беспомощности, посмотрите, как растрачиваются его же представителями, людьми, вышедшими из его среды, средства, которые при мало-мальски добром участии развитого человека сделали бы бездну добра.

Учетчики, из всей массы бесстыдных расходов, за 1876 год неправильных насчитали только около 400 руб.

Чего-чего тут нет! На мирские деньги оклеивают обоями свои квартиры старшина и писаря, покупаются самовары, металлические чайники, стаканы, рюмки, выписывается газета «Всемирная иллюстрация». Старшине надо наточить пилу — и за точку ее он платит мирской полтинник, потому что он служит миру. Писарь делает для себя «этажерки» — и за распилку леса платит три рубля

мирских денег, тогда как надо было заплатить всего двадцать копеек, утверждают учетчики. Но всего не перечтешь.

Довольно веским доказательством того, что члены деревенской общины все более и более укрепляются в необходимости знать *только себя*, только свое горе, свою нужду, может служить и то, что вот, например, такое новое общественное деревенское учреждение, как сельское ссудо-сберегательное товарищество, ничуть не изменяет своего банкового духа, духа учреждения, не претендующего на более или менее общинное распределение банковых благ. Давая тому больше, у кого много, мало — тому, у кого мало, и вовсе не доверяя тому, у кого ничего нет, сельский банк производит в деревне свои операции с тою неизменностью, как и в городе, где, как известно, никакой общины не существует и всякий живет сам по себе... Банк, как и везде, дает много богатым и ничего не дает нищим, тогда как, если бы в деревенских порядках внимание к общественным нуждам играло хоть какую-нибудь роль, физиономия деревенского банка должна существенно измениться, мимо него не ходил бы сторож с ребятами и не тосковал бы о том, что нет нигде поручителя на пятнадцать рублей. Мысль об общественной связи непременно бы изменила порядок сельского банкового дела и могла бы, пользуясь кредитом в пятнадцать тысяч рублей серебром по шесть процентов в год, *сразу* наделать в самом деле общественных, всем необходимых дел, столько доступного добра, что деревня стала бы походить на жилое место. А между тем в четыре года существования члены товарищества позаимствовали в банке не более четырех тысяч, да и те, при ответственности и заботе каждого о себе, пали едва ли не новым бременем только на несостоятельных, плохоньких мужиков.

5

Приведу в заключение еще один факт, совершающийся перед моими глазами, доказывающий, что современные деревенские порядки далеко не отличаются прочностью и стройностью.

Владелец большого имения, прилегающего к крестьянским землям, предлагает сельскому обществу купить

у него шестьсот десятин земли, из которых сто десятин лесу (а в этой местности лес дорог). Сам же владелец не занимается хозяйством и приезжает в деревню только на лето. При прежнем владельце земля эта охотно разбиралась как местными, так и соседними крестьянами; но владелец пожелал, чтобы всю землю приобрели его соседи, крестьяне смежной деревни, и не в розницу, а всем миром. Чтобы облегчить эту покупку и сделать участниками в ней всех, он предложил уплачивать ему не деньгами, а тем же самым лесом, который находится в уступаемом имении; каждый год крестьяне *всем миром* вырубают четыре десятины леса и, по известным существующим ценам, доставляют его владельцу, причем за возку полагается также особая, существующая плата. Вся операция должна совершиться в двадцать пять лет, причем к концу последнего года крестьяне вновь имеют часть уже двадцатипятилетнего леса. В то же время они со дня составления мирского приговора начинают пользоваться остальными пятьюстами десятин земли. Все дело в мирском приговоре, в ручательстве всей деревни; и вот уже идет второй год со дня предложения, а ручательства этого все нет. Крестьяне продолжают нанимать землю на чистые деньги, кому сколько понадобится, или у соседних помещиков, или у своего ближнего, которому пришло трудно, в последнем случае всегда подешевле, чем у помещика. Помещику платят рублей семь-восемь, ну а уж своему брату и пять и три: потому своему-то брату труднее, чем помещику.

Вместе с тем владельца имением одолевают просьбами некоторые из крестьян уступить им в имении участки, а бывали и такие случаи, что один какой-нибудь крестьянин изъявляет желание купить, на предлагаемых условиях, все имение — один.

Владелец, однако, не желает отдавать земли иначе, как всему обществу. *Все* общество не соглашается, молчит — и отличная, нужная, дешевая земля под боком у него лежит без дела и без пользы.

Что за причина такого непостижимого явления?

Из расспросов и разговоров с крестьянами, которые касались этого предмета, я мог убедиться только в том, что взаимная рознь членов деревенского общества достигла почти опасных размеров.

Покупая имение всем обществом (объясняли мне некоторые из крестьян), все-таки необходимо «выбрать» одного человека, который бы имел дело с конторой владельца, вел счет подводам при возке дров, записывал рабочие дни при рубке и т. д., словом, — необходим человек, которому могло бы доверять все общество, и вот такого-то человека и нет между семьюдесятью дворами! Из семидесяти домохозяев выбирают сельского старосту, сборщика; но это лица официальные, имеющие дело с начальством, да и выбираются-то они для начальства больше. Выбрать же *своего* человека, который бы блюл общие интересы так же точно, как и свои собственные, оказывается невозможным. Всякий привык думать, что человеку нельзя не соблюдать своей собственной выгоды, пользы, и что он, особливо поставленный в несколько иное положение, чем другие покупщики имения, сумеет повернуть дело так, что только одному ему и будет лучше, а всем другим хуже. Кого из крестьян, знакомых мне, ни называл я, — все, по мнению разных деревенских людей, оказывались ненадежными...

— Ничего человек, что говорить, а дай-ка ему... — Вот как характеризовали деревенские люди друг друга...

Кроме этого, недоверие к еще не избранному никем распорядителю, недоверие к возможности существования личности, которая бы не пользовалась на счет других, если к этому подвернется случай, одинаково господствует как в кругу состоятельных крестьян, так и в кругу крестьян послабей. Состоятельные и слабые — две довольно ясно обозначенные деревенские группы, также *не позволяют* осуществиться выгодному *для всех* делу. Для слабых не дать сильным стать еще сильнее — прямое удовольствие, а уверенность их в том, что при равном участии в покупке сильным достанется больше, чем слабым, что слабый-то собственно окажется только работающим для сильного, — так велика, непоколебима, основана на таких неопровержимых для всякого фактах, что желание владельца, вероятно, и не будет осуществлено.

Итак, необходимая для крестьян земля, предлагающаяся на самых выгодных условиях, лежит впусте. Богатые мужики винят бедных в том, что они *не дают* им и себе устроиться лучше, «точно собака на сене лежит, ни себе, ни другим». Бедные сердятся на сильных, видя их наме-

рение пользоваться чужими трудами, закабалить их приговором владельцу на двадцать пять лет, чуют. в этой операции «новую барщину». Все вместе — никто не верит друг другу, и каждый изо всех сил старается как-нибудь захватить себе клочок землицы на стороне, должает в банке, у частных лиц, платит проценты и деньгами и натурой, словом — бьется как рыба об лед.

V

«Темный» деревенский «случай»

1

В погожий летний день, часов в шесть вечера, когда раскаленный воздух понемногу начинает простывать, на пчельнике у сельского писаря за самоваром сидели деревенские гости. Гости сидели и лежали на земле вокруг самовара и вели разговоры с хозяином пчельника, старым отставным солдатом с простреленным и несгибавшимся коленом. Был тут в числе гостей «банковый писец» — молодой человек из семинаристов, заведующий счетной частью в местном ссудном товариществе; был тут сельский староста, был еще один крестьянин из тех, которые «почище», был и пишущий эти строки. Да больше-то, кажется, никого и не было...

Все мы испытывали приятные ощущения вечерней прохлады и крепкого лесного воздуха. Пчельник стоял на широкой луговине среди леса, был обнесен кругом загородкою, которую со всех сторон густо обступил мелкий кустарник. Тишина, благодаря этому кустарнику, стояла на пчельнике поразительная. Всякий малейший шорох, звук в лесу или скрип телеги на пролегавшем невдалеке от лесу проселке — слышались здесь среди тишины необыкновенно отчетливо.

Наслаждаясь окружавшею нас «благодатью», мы попивали с удовольствием довольно безвкусный, если не сказать прямо — скверный, чаек и вели *непринужденный* разговор: то о пчелах, то о деревенских делах, то о покосе, то о наших общих деревенских знакомых. В разговоре именно об этих наших общих знакомых и отразилось то чувство удовольствия, непринужденности,

которое навевала природа, вечерняя прохлада, звуки *собиравшегося спать* леса...

Как-то вышло так, что, только уходя с пчельника, я сообразил, что мы почти только и делали во время разговоров, что непременно кого-нибудь ругали или мошенником, или дураком, или подлецом. Уж после я вспомнил, что мы «на прохладе-то» перебрали всех наших общих деревенских знакомых, и всех почти кто-нибудь из нас «распечатал», как говорится, в самом лучшем виде. Но такова была сила прелести вечера, простора и уюта пчельника, что, и распечатывая ближних, мы не чувствовали ничего, кроме самого лучшего, самого благорастворенного состояния духа. Легко было на душе, хорошо. Тело покойно нежилось в мягкой траве, и чистый лесной воздух свежо чувствовался в груди.

Когда мы таким образом перемыли всем нашим знакомым косточки, когда переговорили обо всех деревенских делах и безделицах, разговор на минуту было замолк. Кто-то выразил желание даже отправиться по домам; но нелепый вопрос, неожиданно сделанный одним из гостей, именно банковским писарем, направил разговор на совершенно неожиданную тему.

— А лешие попадаются тут у вас в лесу-то? — произнес писарь, лежа на спине, — произнес вяло и, повидимому, просто так, неизвестно зачем и почему.

— Ну, уж не могу тебе сказать, — почему-то многозначительно мотнув головой, отвечал ему хозяин-пчеляк. — Лешие, нет ли, а что-то... есть!..

— Есть?

— Есть что-то!..

Эти слова пчеляк произнес еще многозначительнее и принялся пить чай, не отрывая губ от блюдечка и поглядывая на публику уже совсем загадочно.

— Что же такое? Черти, что ли?..

Но пчеляк молчал и пил.

— Ну вот — черти! — сказал староста: — у нас тут с образами весь лес обойден... Тут этой дряни не должно быть. Тьфу!

— Так что же такое тут?

— А вот что тут, братец ты мой, — торопливо схлебнув последний глоток, сказал оживленно пчеляк: — женщина тут плачет... Вот уже тринадцать лет... И так рыдает,

боже милостивый, и всякий раз вот об эту пору, как солнце начнет садиться...

Все затихли и, надо сказать правду, прислушались к лесу...

— Это точно! — сказал один из гостей: — я сам слышал.

— Тут много кто слыхал, — прибавил староста. — Ну только, надо быть, нечистого тут нет...

— Это птица у вас тут какая-нибудь кричит, а вам кажется плачет...

— Ну — птица!.. Какая птица, когда я ее вот так, как тебя, вижу...

— Ты видел ее?

— Говорю, видел, вот как тебя.

— Ну что ж она? Молодая?

— Ну уж этого я, братец, не распознал... Не до того тут было... А подлинно тебе говорю, высокая, худая, вся в белом и платок и сарафан... а руки — белей снегу... И не своим-то голосом рыдает... Вот эдак-то руками схватится за голову — и зальется...

Старик представил, как она плачет, и сам прорыдал таким старческим хриплым рыданьем, что всех невольно проняла дрожь...

— Как же ты ее встретил-то? — преодолев впечатление страха, спросил писарь.

— А так: пошел я, братец ты мой, по лесу, как раз вот об эту пору, и норовил я от Никольского добраться до дому прямиком, стало быть как есть насквозь весь лес мне пройти надо было... Иду я — палка у меня... Палку я всегда держу; — иду... Пошла чаща, иду, разгребаю ветки-то; вдруг раздвинул в одном месте, а она прямо передо мной... Так я и обмер. Думаю: «Н-ну!» Только тою ж минутою глянула она, да как птица по лесу — эво кругом каким, и вон где позади меня как зальется... Ну, я — давай бог ноги...

Все молчали.

— Истинная правда! — прибавил пчеляк: — хочешь верь, хошь нет, — что мне врать... А есть это! Вот сейчас побожиться. У меня сын Егор, так тот в полдень, в самый жар на нее наткнулся...

— А чай и жутко было, Иваныч? — проговорил староста.

— Да уж не без того. Не хвастаясь скажу — не робок

я, видал на своем веку много делов пострашней, а не утаю — зачал щелкать по лесу-то, забыл, что нога прострелена... Добрался до дому-то — слава тебе господи!

Всем стало легко, когда пчеляк произнес последнюю фразу, и всякий, под влиянием этого впечатления, облегчившего душу, поспешил рассказать какой-нибудь случай из своей жизни, в котором страх играл также немалую роль, но в котором в конце концов все оказывалось вздором и смехом. Со всяким случалось что-нибудь подобное, и всякий рассказал, что знал или слышал, и, наконец, опять настало молчание. И «о страшном» не было уже материала для разговора. Но старик-пчеляк, любивший поговорить, казалось не желал давать разговору какого-нибудь другого направления и продолжал сохранять на своем лице то же несколько таинственное выражение.

2

— Нет, — наконец сказал он: — вот с Кузнецовой женой, вот так уж напримался я страху.

Кузнецов был молодой сельский торговец: в соседнем большом селении у него был магазин. Я знал его лично и крайне удивился, узнав, что он — семейный человек, так как постоянно видел его и в квартире и в лавке одного.

— Разве Кузнецов женат? — спросил я.

— Как же! Да-авно!

— Где же его жена?

— Она уже второй год как в больнице, в Москве, лечится... Теперича-то, пишет, будто поправляется, а уж что тогда было, не приведи царица небесная!.. Я один, братец ты мой, бился с нею целую неделю, день и ночь, так уж знаю, что такое это... Давай мне тысячу рублей теперича — нет!.. Не заманишь!..

— Какая же это у нее была болезнь? — спросил писарь.

— С ума сошла. Только с ума-то сошла на худом... — И старик-пчеляк шопотом рассказал о ее недуге... Недуг действительно был ужасный...

Стали толковать о причине такого недуга...

— И что за чудо! — сказал пчеляк. — Ведь как, братец ты мой, чудесно жили-то в первом году — ангелы

преподобные! Торговлю начали чисто, на готовые денежки, всего много, дом — с иголочки, оба — любо глянуть, уж об ней и говорить нечего: королева — одно слово!.. Да и он парень складный... Бывало, взойдешь в лавку-то к ним, соли там или что-нибудь взять, — сидят оба, как птички, и ласковы и веселы... И самому-то, ей-богу право, весело станет... Вдруг, как нечистый попутал, сразу, братец ты мой, оба как оглашенные стали... На второй год пошло это у них.

— А дети есть у него? — спросил я.

— Была одна девочка, в самый первый год была, ну только померши... Двух либо трех месяцев померла-то... Ту-ужили оба... стра-асть... А потом вдруг и началось промежду них... Слышим — «бьет»! По вечерам крик из дому-то несется... Что такое?.. Потом — того: принялся, братец ты мой, за бабами, значит, за женским полом — проходу нет!.. Пьет, беспутничает, жену бьет, бросает ее совсем, прочь гонит. Отец ейный тут с родней прибыл... Помню, всю морду этому самому Кузнецову изуродовал. Однова они всей родней его били, да как били-то!.. Сам своими глазами видел, как один дьякон прямо ему в лицо старым-престарым веником тыкал, окомёлком... Тут было, боже мой, что такое! Нет ему уйму — да и шабаш! В течение того времени ейный родитель взял да в суд его и предоставил... значит, за истязание и самоуправление... Присудили его, друг ты мой, на полгода в тюрьму... Вот тут-то с ней случилось... Перво-наперво все тосковала, скучала... Исхудала вся — «не знаю, говорит, что со мной делается..» Бывало, зайдешь в лавку-то: сидит и смотрит, а приметить тебя — не примечает... И раз окликнешь и два — все молчит... Уж когда-когда опомнится! «Ах, скажет, Иваныч, я и не вижу!» Я, мол, тут давно стою. «Ужли давно?» — «Именно правда». И опять на нее этот истукан найдет, опять говори, не говори — все одно... А однова пришел, глядь — лавка заперта... Что такое? Пошел было на кухню; идет навстречу кухарка. «Взбесилась, говорит, наша хозяйка... Что делает — так ах... Лучше и не ходи...» Я было и не пошел, да за мной сам отец ейный прислал, подсобить... Потому сладу нет... Даже отец-то родной, и тот ушел, залился слезами, ушел из дому. Оставили меня одного... Ну уж и принял я мученьев, век не забуду.

Пчеляк рассказал мучения; публика посмеялась...

— Как же ты с ней справлялся-то? — спросил староста.

— Как? — известно палкой!

— Бил?

— Известно бил, коли резонов не слушает. Ей представляешь резоны, а между прочим она пуще того безобразничает... Что будешь делать: и жаль, а нельзя — других способов нет... Огреешь кнутом раза три-четыре — забьется за печку, сидит недвижимо и, пожалуй, с час просидит, не шелохнется... Ну только ты чуть задремал — хвать, вот она!.. Думаю, нет, брат, шалишь!.. Одну ночь я так-то пробился, на другую потребовал цепь, приковал ее за печкой-то, принес вожжи, говорю: «вот, матушка!» — показал ей... Ну с цепи ей сорваться трудно... Погремит, погремит — ляжет... Только уж что̀ говорила, слова какие, и не дай бог! Разов с пяток я ее вожжами-то урезонивал за эти самые ее слова... И ругаться тоже — ругалась, словно пьяный солдат... Откуда только набралась этого... И бился я таким манером с ней целую неделю.

— Все вожжами?

— Вожжами все и кнутом... Однова так подсвечником успокоил ее, потому чуть было из цепи не вылезла!.. Целую, братцы мои, неделю я так-то бился — один! Отец-то ее перво-наперво совсем рассудка лишился, муж — в остроге, один я. Потом принялись таскать знахарей и знахарок, поили ее и отчитывали, все одно — никакие средствия... Наконец, того, надумали в больницу везти в Москву. Веришь ли, индо слеза меня самого прошибла, как стали ее из-за печки-то вытаскивать: вся как есть синяя от побой...

— Ты ее, должно быть, знатно охоливал-то...

— Уж чего тут!.. Бывало, за ночь-то у самого ладони напухнут...

— И отчего же это с нею приключилось? — спросил банковский писарь.

— Поди вот! разбери!.. — сказал пчеляк.

— Уж знамо — дело темное! — прибавил один из гостей.

— Господь ее знает!.. — заключил третий.

Скоро мы разошлись по домам, под тяжелым впечатлением рассказа.

3

Всякий деревенский житель в своем домашнем быту непременно испытал и постоянно испытывал какой-нибудь необъяснимый, непонятный удар; какие-нибудь страшные психологические страдания, незабываемые, гнетущие, уродующие человека навеки, но ничем не облегчаемые, неразъяснимые страдания, которые даже и выплакать-то нет возможности.

Правда, Кузнецов, о котором рассказывал пчеляк, не был крестьянин; это был сельский купец, торговец; но история его носила все признаки подлинной крестьянской семейной беды, в которой есть все: и побои, и слезы, и кнуты, и избитые досиня спины, и, очевидно, страшные нравственные страдания, и в конце концов — ничего, кроме каменной тяжести на сердце, кроме угнетающей уверенности, что так угодно богу, да воспоминания какого-нибудь «очевидца» о том например, что вот у него у самого в ту пору руки напухли от битья...

Такие семейные беды, если вы только приглядитесь к деревенской жизни, тяжелыми думами, темнотою без просвету давят крестьянскую душу, пришибают человека к земле, словно тяжелым неожиданным ударом с неба свалившегося камня, и вы встречаете их на каждом шагу.

Еще недавно, возвращаясь со станции железной дороги, я встретил старика крестьянина, который вез из города племянницу — сумасшедшую девушку. Она глядела, но ничего не говорила и ничего не понимала, даже не делала сама ни одного движения: старик дядя должен был сам утирать ей нос, сам усаживать ее так, чтобы не свалилась, сам застегивал ей армяк...

— Что такое? Отчего?

— Господь ее знает! Сразу приключилось... — Ночью!

Старик вез ее домой из сумасшедшего дома, где ее тоже шибко били — «вся спина в синяках»... А сам он как будет лечить ее? Кто, кроме отставного солдата, предложит ему свои услуги насчет кнутья и вожжей?

Именно с этой стороны меня и интересовала история Кузнецова. Немало удивило меня и то обстоятельство, что Кузнецов, которого я знал, вовсе не походил на того, о котором рассказывал пчеляк. Это был, как мне

казалось, человек добрый, даже как бы старавшийся быть добрым.

И этот-то добрый человек мог довести до сумасшествия близкого, мало того — любимого человека, мог драться, пьянствовать, безобразничать, даже попасть в острог. Тут была тайна, и тайна деревенская. Я решился добиться и толком разузнать, в чем тут дело.

Не буду рассказывать, какие усилия были сделаны мною для того, чтобы вынудить Кузнецова рассказать его семейную драму; только драму эту он мне все-таки рассказал. Передаю ее читателю только в существенных чертах, так как во всей подробности рассказывать ее невозможно.

4

— Помилуйте!.. Любил ли?.. И посейчас я без нее сохну, а уж что было с первого началу, того и не рассказать словами. Да и как не любить-то? Ведь это одно — ангел превосходный, других слов для этого нет... Красавица первая! Развязность, например, резвость... Или опять взять в работе — огонь, проворна, аккуратна... В коротких словах сказать, по моему понятию, миловидней не сыщешь... Сколько их я на своем веку, например, будем так говорить, ни обсуждал — тряпки и мочалки, больше ничего... Да что еще: ведь мы уж с ней десятидевяти лет целовались... Сам господь определил нам быть в браке: мой родитель испокон веку жил здесь и ейный, Милочкин, — и имя-то, позвольте сказать, сколько миловидно — Эмилия! Батюшка, отец Иоанн, священник (теперича он уж оставил должность), также здесь с искони бе... И оба с молодых лет вдовые, и Милочкин и мой... Родители наши души в нас не чаяли. Скажу одно: даже секли нас, ежели случалось, за шалости, и то с большим вниманием и более для угрозы, но нежели чтобы обидеть. Милочку всего один раз и подвергли — крыжовнику, с позволения сказать, объелась... Резвая была... У — боже мой!.. Отец-то Иоанн, бывало, не налюбуется ей... И был он большой приятель с моим родителем. Мой родитель, доложу вам, покойник, царство ему небесное, был старинный сельский купец — теперь таких нету. Теперь все такой народ пошел: налетит, одурманит, насулит, обде-

лает — и в другое место... Теперь пошел в ход жадный человек, а таких, как родитель-покойник, и в помине нету! Родитель был человек тихий, жил на одном месте, дела вел постоянные, и всё только хлебом, больше ничем, никакими делами не занимался... Были у него в разных деревнях тоже постоянные знакомые по хлебной части, серьезные мужички, а в городе он тоже доверителей не менял, все больше с одним кем-нибудь дела делал. Знаете, чай, Пастуховых? Ну вот с ними с одними он более двадцати годов, окроме ни с кем никаких делов не делал. И никогда в покойнике родителе жадности не было: есть у него в десятке деревень знакомство, есть один хороший человек в городе — и будет! Не так, как теперь: всякий норовит целую губернию один захватить в свои лапы, да и орудовать... Нет! Родитель не жадничал... Сам брал пользу и другим давал... Одно слово — вел дело по чести и совести, тихо и без всякого азарта... И бедному человеку у него тоже отказу не было; и пропадало тоже немало; но родитель никогда не дозволял себе, чтобы там по судам или что... «Бог с ним!» — больше ничего!.. Бога он помнил, помнил крепко. Как, бывало, покончим дела или в промежутке, среди лета, ежели знаем, например, что все дело поставлено верно, — сейчас, господи благослови, куда-нибудь на богомолье, по монастырям, в Москву, в Сергиевскую лавру, в Оптину пустынь, к разным угодникам... Ездили не спеша, полегонечку... Наглядимся, наслушаемся всяких делов — домой! Зиму уж беспременно дома, и уж тут каждый день: либо отец Иоанн у нас чай с ромом пьет и газеты обсуждает, либо мой родитель у отца Иоанна разговор ведет о пустыне об какой-нибудь, или так разговор слушали... Ну и мы тут... То Милочка у нас, то я у них...

«С самых ранних лет стали мы слышать от наших родителей, что когда подрастем, так они нас непременно женят... потому лучше пары нет. Я тоже был не плох: один сын, и притом не нищий какой-нибудь; все знали, да и сам родитель мой не скрывал, что у него есть достаток, и он не раз поговаривал, что в случае брака все дела сдаст мне, а сам уж так будет век доживать, на спокое. И у отца Иоанна тоже было не без достатку. Окроме того, мы издетства друг дружкой любовались. Так что, можно прямо сказать, с детства были влюблены друг

в дружку... И даже так влюблены, что вполне наверно знали о своем браке, оба дожидались... Бывало, ездим мы с отцом в отлучке, по святым ли местам, по делам ли в деревнях, только и жду, как бы домой, к Милочке... Но был я робок; она, правду сказать, посмелей была... побойчей, первая, бывало, за щеки обхватит и того... да!.. Раз даже... Да что уж, одно слово — смелая!.. Тормошит тебя, бывало, страсть! «Все равно, говорит, нас с тобой повенчают». Ну, однакож ждали мы порядочно...

«Повенчали нас, сударь мой, в самое прекрасное время: пошел ей восемнадцатый год, а мне ударил двадцать первый... Хотел было родитель мой еще повременить, ну только что согласия нашего на это не было. На что я в ту пору был робок и родителя почитал, а тоже однажды не вытерпел и поднял щетину: «как же это мне так можно... да!..» Правду надо сказать, что и Милочка тут меня много подгвазживала на упорство... Сама-то она уж вошла в возраст, потишела, а начала меня все на родителей натравливать.. Бывало так, что и на своего отца напустит меня... налетишь таким ястребом, смешно вспомнить... А главная причина — стал мой родитель похварывать, стали в нем старые разные простуды открываться, вот по этому случаю и порешили нас повенчать... А как нас повенчали, тут родитель мой и порешил дела прекратить. «Живите, говорит, как хочется... Заводите свое дело, какое по вкусу...»

«И какое, милостивый государь, после того для нас настало удовольствие, то даже, извините, этого невозможно представить... Поехали мы вдвоем, я да она, в город повидаться с отцовскими знакомыми, посоветоваться, что̀ они присоветуют насчет делов. Из города вздумалось нам махнуть в Москву, так как порешили мы завести вот эту самую лавку, в которой теперича разговор у нас идет, а порешивши это дело, задумали закупать товар в Москве, из первых рук. Делать — так уж делать. И что ж? Мы в Москве с Милочкой ни единого часу не разлучались: всё вместе — и по лавкам и по конторам, и везде нас московские купцы всё вместе видели и приглашают на вечера, в театр... Были мы тут, прямо сказать, во всех местах, и в церквах, и во дворцах, и в театрах, всего насмотрелись, все, например, древности, редкости, мощи там или, опять взять, картины разные, статуи — всё ви-

дели. И любопытно, и хорошо, и легко нам было, и уж так радостно, весело — слеза пронимает, как вспомнишь. В гостинице-то, в Чижовском подворье, где мы стояли, и то как есть все соседи нами двумя любовались. Какой-то старичок все глядел на нас (тоже сосед), да однова прямо со слезами расцеловал нас обоих и перекрестил: «дай вам, говорит, бог...» Право слово. Такое у нас шло удовольствие месяца полтора, покудова не обозначилось у Милочки положение. Затихла, идти никуда не хочет, и ко сну ее стало клонить...

«— Собирайся, говорит, домой пора... — Ну, я вижу, дело началось сурьезное... Сразу мы оба точно все московское перезабыли, точно даже не видали, только и думаем — домой добраться... «Строиться надо! — говорит Милочка: — пора ехать...» Скорехонько мы собрались и уехали строиться, лавку заводить, гнездо вить — для себя, для детей... Жить-поживать».

5

— Все так и вышло, как по-писаному: и дом с лавкой готовы, и торговля пошла, и дочь родилась... Дом, изволите сами теперь видеть, строен не кое-как; опричь лавки, для собственного семейства целых три покоя, пять окон на улицу; для родителя мезонин, с теплым ходом из кухни. Все хорошо, одним словом. Но лучше всего — дочка-девочка... И что это был за ребенок!..

Рассказчик хотел говорить, но вдруг горько заплакал...

— Нельзя этого описать... То есть души мы не чаяли все, и я, и Милочка, и старик-родитель, только тем и дышали, Ольгунькой любовались... Здоровый был ребенок, веселый, занятливый, словом сказать — отрада... И жили мы таким родом в полном удовольствии, и весело нам всем и мило, и дело пущено чисто, благородно; все шло так, лучше требовать невозможно...

«И вдруг пошли со мной несчастия!.. Однова сидел старичок-родитель с Ольгунькой на крылечке, нянчился; смотрим, защатался и словно будто падает... Подбежали, подхватили Ольгуньку — так он и грохнулся... Что такое? Лежит человек без памяти, а с чего взялось — неизвестно.

Перенесли его в покой, за фельдшером съездили, привезли его уж на другой день. Поглядел он: «банки!» говорит. И закати он ему тридцать пять штук... всю спину изрезал. А поутру родитель богу душу отдал... Вы извольте только подумать, каково это было нам с Милочкой! Мы родителя всем сердцем почитали, потому он был для нас чистый ангел-хранитель, самая кротость во плоти... И вот — помер... Вчерась был жив, шутил с Ольгунькой, ноне лежит и не дышит... Призадумался я, точно меня что пришибло...

«Опустело кругом нас с Милочкой, только всего и осталось отрады — Ольгунька. И вдруг и Ольгунька помирает... Помирает в одни сутки. Что же это такое? Целый день ребенок неизвестно от чего кричит, кричит не своим голосом; целый день мы все, и я и Милочка, разные женщины-родственницы, мечемся как угорелые, ничего не понимаем, не знаем, что̀ это, отчего, как помочь. Даже фельдшера не могли привезти, потому что на дворе стояла невылазная грязь. То есть привезти-то его привезли, но уж девочка на столе лежала...

«Но уж тут, доложу вам, опостылел мне белый свет. Даже так, что показалось мне приятнее вместе с Милочкой умереть, чем жить на свете! Зачем дом, зачем торговля, зачем мы с Милочкой — все одна мечта, тоска, беспокойство, скука... Из-за чего жить на свете?

«Которые из знакомых видали меня в ту пору — «лица, говорят, на тебе, Кузнецов, нету... Как бы с тобой чего худого не было!» И вправду, я и сам, признаться, опасался.. Да как же: все было хорошо, любезно, и вдруг — пустыня, холод и тоска, и за что? Отчего?.. Решительно скажу вам, даже и совершенно никакой не было охоты жить... Даже с Милочкой говорить не хочется... Об чем говорить? Да и она сама не льнула ко мне, все больше лежит к стене лицом и плачет... Вот в такое-то время и приди ко мне в лавку один человек... Даже прямо есть за что спасибо сказать, по крайности сам я много благодарен. Теперича, ежели бог даст, воротится Милочка благополучно — совсем у меня другая будет политика... Аптекарю спасибо. Он всему тут делу корень...

«Приходит, стало быть, этот самый аптекарь ко мне в лавку; отпустил я ему, что требуется, и сел в свой угол

за прилавок — молчать и горем своим мучиться... Только аптекарь-то и говорит:

«— Что это, хозяин, пригорюнился?

«— Что ж, — говорю, — будешь делать... видно, уж так богу угодно... — и рассказал ему, как девочка умерла и как помер родитель...

«— Ну, — говорит аптекарь: — насчет родителя — дело уж совсем плевое, не воротишь, а насчет девочки печалиться тебе нечего, другие будут...

«— Охоты, — говорю, — у меня уж нету...

«— Будто!.. Как же это так? К этому-то, — говорит, — нет охоты?.. Какой же ты после этого, — говорит, — купец? — И стал он тут меня язвить.

«— Ведь у вас, — говорит, — только и дела, что за прилавочком сидеть, денежки получать да с женой спать... Ну какие же у тебя больше дела-то? Едите да спите с женами! Больше ничего... И детей народите, тоже будут за прилавком сидеть, денежки считать...

«— Помирают вот наши дети-то...

«— Да ты разве думал когда, отчего они помирают и нельзя ли как-нибудь так сделать, чтобы не помирали? Ну, знаешь ли ты, отчего твоя девочка кричала?.. Ведь кричала?

«— Кричала целый день...

«— А вы с женой только смотрели и ахали?..

«Что ж я буду отвечать? «Так точно», говорю.

«— Ну, вот видишь, — говорит: — рожать умеете, а даже ходить не умеете, не знаете, что̀ вредно, что́ полезно... Это и свиньи так-то за поросятами ходят.

«— Потом, — говорит: — ежели ты сам ничего не знаешь, как же ты детей-то своих воспитывать будешь? А ведь, чай поди, тоже учить начнете, за вихор, розги, палкой... «Добру!..» называется. Сами — невежи круглые, а берутся учить, точно в самом деле знатоки... Куда вам! уж вы рожайте только, это — вот ваше дело.

«Делал я ему разные представления в свою пользу, однакож он меня опроверг:

«— Ты, — говорит, — скажи одно: кричала девочка?

«— Кричала!

«— Целый божий день кричала не своим голосом?

«— Точно так, — говорю.

«— И оба вы с своей женой — «родители», «воспитатели», ничего не знали: что? как? отчего? Не знали?..

«— Точно что не знали...

«— Где болит? в голове ли, в животе ли, в спине ли?.. Ничего не знали?

«— Ничего! Кричит!..

«— Ну так сами вы ее и уморили... И другая будет — и другую уморите...

«Так меня и обожгло от этих слов...

«— Что ты, — говорю, — друг любезный, прикуси язык-то.

«— Прощай, — говорит. — Тоже «родители» называются... почитай их!.. — И ушел».

6

— Кажется, уж довольно дерзко обошелся, а что ж бы вы думали? Задумался я над этими словами... И даже так задумался, что в город к аптекарю поехал и книжки даже брал читать. Судите сами: был ли счастливей меня человек? Чего мне недоставало? Все у меня было, и все я получил, так по крайности мне представлялось. Лет пятнадцать кряду только и дышал Милочкиной любовью; пережил с нею год такого счастия, какого иному и во сне не приснится; знал, что такое радости семейной жизни, что за счастье быть отцом, и вдруг, одно за другим, два несчастия, потом пустота голая и сознание собственного невежества... А насчет невежества я понял сразу, после одного только разговору, и тут же, как только аптекарь из лавки вышел, почувствовал я, что во второй раз я уж не буду с Милочкой счастлив так, как до несчастий... До несчастий я жил, точно птица порхал, теперь мне стало представляться, что порхать уж я не буду, узнал о своем невежестве... А что всего обидней: в Милочке-то, кроме жены, кроме хорошенькой, милой женщины... я уж тоже — истинно против воли — также невежу увидал... Коль представлю, коль вспомню, как это мы оба глупые, тупоумные бились ночью с девочкой, ничего-то не понимая, так и почувствую к Милочке что-то нехорошее, то есть что-то как будто злит... Думаешь иной раз — хоть

бы подумала, отчего это и как... А то смотрит, как человек мучается, и не думает — тошно... верное слово...

«Скучно мне, пусто на душе было; надобен мне был, как всякому человеку, интерес... А опять с Милочкой ту же любовь продолжать не было уж интересно, потому что первое время самой задушевной любви окончилось вздором, мученьем душевным, обозначило в нас обоих, прямо сказать, меднолобие... Поднялась моя любовь по этому случаю градусом повыше, стал я любить другое. Стал я влюбляться в размышления, в рассуждения... И поверите ли, в слова, в мысли, которые пошли у меня ходить в голове, я так же точно стал влюбляться, как в Милочку... Однова аптекарь (это уж в городе как-то случилось) показал мне такую штуку: чашка с водой; вода как есть чистая, комнатная, и вдруг подсыпали чего-то... что же? — в одну минуту замерзла, а было лето... Так что́ со мной было, если бы вы только знали!.. Такое охватило меня неведомое блаженство, такая радость какая-то (и истинно сам не знаю отчего), ну ни с чем сравнить невозможно... Точь-в-точь так же у меня забилось сердце, заныло, таково весело, и в голову точь-в-точь так ударило, как, бывало, с Милочкой до свадьбы еще случалось, если иной раз долго не видимся, да вдруг где-нибудь в темном месте и... вот! Прямо вам сказать, началась у меня другая любовь, выше и много любопытней, так по крайности в ту пору мне представлялось...»

— А с Милочкой, — спросил я, — разговаривали вы о ваших мыслях?

— Нет! — в том-то и беда вся, что не разговаривал... А почему не разговаривал? — потому что в голове-то у меня стояло *все вместе,* а по отдельности — ничего не было... Все, о чем я отроду не думал, все у меня стало подниматься в голове сразу, целыми ящиками, оптом, если сравнить по-торговому... Я бы и рад говорить с ней, но ничего бы путного не сказал... Я чуял, что не сумею заставить ее заинтересоваться тем же самым, что меня захватило... Слов у меня не было, не знал, с какого конца взяться, откуда захватить, а главное — не утаю, не в обиду Милочке будь сказано — казалось мне, что плюнет она на все мои разговоры — и больше ничего. Не поймет-с. Неинтересно ей это... Сердило меня и то, что я сам с мыслями не разобрался; сердило и то, что и Милочка

их не поймет... а главное, вот что меня не то что сердило, а прямо вводило даже в гнев: сказывал я вам, что после несчастий мне так было тоскливо и тяжело, что я даже и от Милочки как-то стал поотставать, да и она тосковала и молча мучилась... С тех пор как произошло во мне это самое превращение, самому мне стало легче; я тосковал по девочке — точно, и иной раз просто даже до слез тосковал, но уж у меня было лекарство, занятие... Иной раз раздобудешь книгу, какого-нибудь, например, Жуля Верна, — напролет всю ночь... Помните, как один англичанин выстрелил в месяц!.. То есть всю ночь напролет... И рвусь я что дальше, то больше. И все мне приятней, хитрей, мудреней, прямо сказать, забористей. А между прочим слышу, что Милочка не тем норовит вылечиться... Жаль мне ее, вот как, до слез, то есть до кровавых слез жаль... Теперь, бог даст, воротится, я все ей сделаю, все предоставлю, словом — теперича у нас с ней совсем другой разговор пойдет...

«Но тогда, когда я влюблялся с каждым днем все сильней и сильней в другое дело, в новое, любопытное, умное, и каково это мне было слышать тот, например, разговор: «вот погоди, опять ребенок будет, опять поправишься, все как рукой снимет!» Это говорили Милочке все ее родственницы, все бабы, какие только в доме ни были... Все одинаково полагали, что необходим опять ребенок, чтобы вновь жизнь получила смысл... Каково мне это было слышать каждую минуту, когда уж сам-то я на другой смысл наскочил: сидят ли за самоваром, отдыхают ли на крылечке, в кухне ли соберутся, все один разговор: «Вот ребенок будет! Вы с мужем люди молодые — чего там! Вот хитрое дело, подумаешь!..» И что ж вы думаете? Однажды слышу, Милочка разговаривает с одной бабой и говорит ей: «вот, когда у меня ребенок будет, я тебя в кормилицы». То есть и звания никакого нет насчет чтобы ребенка, а уж кормилицу приторговывают... Что ж я-то такое? Да как это не стыдно, думаю, не подумать хоть бы о том, что ведь и второго уморим ни за что ни про что!.. Верите ли, даже упорство какое-то во мне стало действовать. Точно вот враг какой между мной и Милочкой появился... Уклоняюсь я от нее.. И намерения-то ее мне куда не по душе... Забьюсь в лавку с каким-нибудь сочинением, с места, кажется, шестеркой

лошадей не своротить... «Иди чай пить!» Нет, думаю, знаю я ваши намерения — не хочу. «Иди ужинать!» Опять я не хочу... А там всё разговаривают про то же самое... И стали даже так поговаривать: «что же это за муж? Этого в хороших семействах не допускается...» Эдаким вот манером...

«И стал я, прямо скажу, даже ожесточаться... И что же? Однажды ночью, не помню уж, что́ у меня в голове было, только уж совсем, совсем не то... Гляжу, Милочка сама подошла ко мне из спальни... взяла так-то за плечо и смотрит... Как понял я этот взгляд, сразу рвануло меня по всей внутренности — «убирайся ты прочь от меня!..» То есть не своим голосом гаркнул.

«С этой самой минуты все и помутилось в дому...»

7

— Поглядел бы кто на нас в ту пору: злей нас, кажется, на свете не было. И с Милочкой-то что сталось — уму непостижимо. «Так так-то! хорошо же!» К отцу — отец ко мне с увещанием; за родней — за старичками, за старушками — настоящий съезд, земское собрание... Милочка плачет и жалуется, а мне ни капельки не жалко, то есть вот хоть бы капелька... Теперича я знаю: она тоже не знала, что делала, ей также бог весть что мерещилось... Ну только я уж тут совсем ожесточился... Помилуйте, скажите: хотят меня, например, силком к этому самому порядку привести. «Как не стыдно! Ни бога в тебе нет, ни совести!.. И что это такое!» Это я с утра до ночи слышу суток двое кряду. А то так просто стали обзывать меня «подлецом». «Какой это муж? это, говорят, подлец из подлецов!»

«Дальше да больше; вдруг отец Иван подступил ко мне с кулачьем: «Ты что ж это, такой-сякой? а?..» — да, не говоря худого слова, бац меня по уху, бац по другому... Племянник дьякон услыхал, подлетел, развернулся — хлоп! хлоп!.. Ну уж тут и я из всяких границ вышел.. Милочка было за меня заступаться стала: «не троньте, не троньте его»; но уж у меня не оставалось снисхождения. «Сама, говорю, заварила этот срам да заступаться! — Вон!» И принялся содействовать! Что тут

такое было — уму непостижимо! Тут были в ходу и кнутья и метла, и самоваром кто-то сколотил меня по голове, и Жуль Верна я расшиб (как есть всю книгу с рисунками) об чью-то морду — уж не помню — и все в крови, с синяками, с раздутыми щеками — то есть бог знает что!.. И все это — на народе; собралась вся деревня, рев, плач. «Исполняй закон!» — вопиют. Хохот, срам!..

«В тот же час, после этого боя, я ударился прямо в кабак и с этого сраму стал пьянствовать... Слышу, вдобавок ко всему, распознали, что к аптекарю хожу, присодействовали обо всем к исправнику, всё перерыли и всех моих знакомых вскорости предоставили к благоусмотрению; ну, словом, осрамили меня в самом полном размере... Тут-то вот и стал я безобразничать, и в свою голову добезобразничался до суда, да и Милочку с ума свел».

Оставляю нерассказанными много неудобных для печати подробностей, касающихся болезни бедной деревенской женщины. Сколько перестрадала эта жертва неожиданного деревенского «случая»!.. Припоминая всю эту историю, с ужасом вспоминаешь рассказ пчеляка и разговор о лечении больной.

— Ты как же с ней справлялся-то?

— Как? — Известно, палкой... коли не слушает резонов... У меня даже у самого руки опухли... Синяя вся от побоев, даже слеза прошибла... Потому вожжами орудовал...

VI

Опять темные ночи, осенние. — Волки и конокрады. — Убийство и оправдание. — Биография сироты Федюшки. — Мирской хороший человек Иван Васильев.

1

Август месяц шел к концу. Утром и вечером в воздухе стала чувствоваться сильная свежесть, переходившая ночью в крепкий осенний холод. Смеркаться стало рано, и темь по ночам сделалась непроглядною. Привычный деревенский житель, знающий в своей деревне каждый камушек на улице, каждую ямку, лужу, каждое дерево, иной раз, очутившись в такие темные, «черные» ночи на

улице, не узнавал своего дома, да и добравшись до своего двора, долго искал ногою лежащий у крыльца камень. Тьма убивала в человеке способность видеть, лишала возможности свободного движения, даже притупляла чуткость уха. Два человека, столкнувшись случайно в этой темноте, долгое время даже по голосу не могли узнать друг друга и непременно с некоторою оторопью вели такие разговоры:

— Кто тут?

— Я!

— Кто таков — я?

— Да Иван!

— Какой Иван?

— Да Иван, стало быть, Петров!

— Ах, шут тебя возьми!.. Эка темень-то!..

— Тюрьма чистая! Это ты, что ли, Сафроныч?

— Что ты? перекрестись!..

— Ай Кузьма?

— Какой там Кузьма? Эко ты... Егора-то Перепелкина забыл.

— Ишь ты ведь, братец ты мой!.. Ну и темень только — чистая преисподняя!

В такие ночи ничего не стоит заблудиться в двух саженях от деревни или заехать невесть куда.

Но не этим страшны темные августовские ночи деревенскому жителю: страшны они главным образом волками и конокрадами. Те и другие начинают действовать с изумительною смелостью; волки — с голоду, а конокрады — и с голоду и по расчету: настает время осенних ярмарок, хорошего сбыта скотины; настает осень, время холодное, когда бесприютному человеку западает мысль о тепле, о теплом кафтанишке... Тьма покровительствует и волкам и конокрадам. Испугавшись шума осеннего ветра, который в эти дни уже начинает знакомить деревенскую публику с своими аккордами грядущих осенних завываний, овцы, благодаря непроглядной темноте ночи, разбегаются по оврагам, лесам, сваливаются с кручи в реку, и повсюду настигает их неистовый волчий аппетит. Волк режет овец и в оврагах и в лесах; забирается даже в овчарню, прямо на двор к крестьянину, и тут, с не меньшим успехом, чем в поле, совершает свои операции. Тьма и ветер, пугающий скотину, помогает и конокрадам

все потому же, что заставляет скотину разбредаться, терять дорогу, блудить. Тут-то и караулит крестьянскую скотину конокрадная голытьба.

Да! И в этом деле есть главные и второстепенные деятели. Главный конокрад носит в народе название «воровской матки». Эта воровская матка сумеет приютить и спрятать целый табун и действует главным образом при помощи пастухов. Наворованных лошадей, отогнав их предварительно на значительное расстояние от места кражи, главный вор поручает на сохранение первому деревенскому пастуху. «Побереги», говорит, и пастух бережет краденых лошадей где-нибудь в ближнем леску, где они ходят со спутанными ногами. Бережет он краденых лошадей потому, что «воровская матка» грозит ему: «не то, говорит, из твоего табуна угоню». И угонит, наверное угонит чужими руками, руками голытьбы, оставаясь сам здрав и невредим. Сбывают краденых лошадей за бесценок первым встречным обозчикам, пришлым издалека рабочим, которых в это время (молотьбы) бывает много в поле. Не безупречны в отношении конокрадства и сами господа пастухи. Знатоки утверждают, что большинство воровских маток выходит именно из пастухов. Люди эти умеют обращаться со скотиной, умеют повелевать ею, знают места, где ее спрятать. А подручной голытьбы, которая своими руками будет обделывать темное дело кражи, всегда много, и отвечать-то, в случае чего, придется этой же самой голытьбе. И жестоко же расправляются деревенские люди с этими разорителями крестьянского хозяйства! Беда только, что главные-то, «коренные»-то воры почти не попадаются под карающую крестьянскую руку, а весь ужас мести выпадает на долю голытьбы.

Вот что рассказывали мне о такой мести очевидцы ее и участники, крестьяне сельца Сычова.

2

— Ночевало нас в ту ночь на поле со скотиной человек пятнадцать... В такие ночи одному пастуху не справиться; для осторожности наряжаем караул по очереди из своих... Тут в этакую темень да в ветер, тут уж

сохрани бог зевать, то есть заснуть, стало быть, или задремать... Тут уж сиди, гляди в оба... Огонь у нас не переводится, и всю ночь мы вокруг табуна похаживали да посвистывали... А ночь темная-растемная, и сыро, и ветер... И валит с ног-то, а все крепишься, держишься, потому напуганы были мы в ту пору очень шибко. Что ни день, то откуда-нибудь и идет слух: там вчера тройку угнали, а там пару. Стало, как-никак надоть крепиться. С вечеру до полуночи, да и за полночь-то, так часу до второго, кой-как справлялись... Морит-морит тебя, клонит сон-то — встряхнешься и опять в ход пошел... А ведь устанешь за день-то в эту пору, не приведи бог; с трех часов утра на работе, да целый день до сумерек: в эту пору и хлеб убираем на поле, и с поля возим, и молотим — самое это бедовое время... Бился, бился я так-то сам с собой, глаза эдак-то растопыривал-растопыривал всеми способами — хвать и свалился, как сноп.

«Толкает кто-то меня, слышу, под бок, изо всей, тоись, мочи, кулак мне под ребро посылает... Я было крикнул, да рот мне зажали: «воры!» — шепчут... Очнулся я — догадался, что наши ребята ползком подползли, притаились... «Где, мол, воров видишь?» — «А вон, бают, двое ползут... Не замай, доберутся до лошадей, тогда сразу всем единым духом броситься и шум поднять...» И точно, пригляделся я к темени-то: вижу, действительно шевелятся в двух местах... Ну, прямо сказать, на зверя так душа не замирает... Кажется, целый год прошел, покудова дождались мы конца. И просто, по совести сказать, без памяти бросились все, как один человек, только было один из воров за гриву лошадь поймал... А уж заорали, гаркнули, так и сейчас мне удивительно, как у меня нутро цело осталось... Налетели мы на них — ястребами... Так налетели, что у одного ногу, у другого руку переломили; секунда, кажется, одна, а глядим, уж они как куренки валяются ничком и только охают... Единым духом — руки назад, морду в землю, лежи, дожидайся свету... Порешили было не бить, а полностью предоставить в волость; да ведь что будешь делать-то, больно уж мучители-то большие: караулим — сидим, уж конечно, не молчим, да нет-нет кто-нибудь и тронет — то сапогом этак в бок, то вожжой,

то за волосы... Верите ли, теперь вспомнить оторопь берет, а в ту пору не то что жалеть, а прямо сказать сластит, коли ежели вцепишься... Не утаю, было и моего греха в этом деле, но в меру... Прочие же, например, ребята так разыгрались, в такую охоту, что, коротко вам сказать, приспособствовали мы их к свету до бесчувствия... Пришлось вести на деревню под руки...

«Один-то, постарше, все молчал, ни словечушка не сказал, а другой-то, помоложе, взмолился: «Не ведите, мол, нас по деревне, други милые! Убьют нас... Ох, отцы мои родимые... Ведь я, говорит, ваш земляк, сычовский!.. Пожалейте своего-то! Я, говорит, Федор!» В ту пору невдомек нам было, каков таков Федор (а ведь точно наш, сычовский, оказался), а, признаться, жалковато будто становилось; потому сами-то мы натешились, зло сорвали, а уж в деревне, мы это верно знали, им, ребятам, своей препорции не миновать... И сказал было я: «а что, ребята, не отвесть ли, в самом деле, в волость задами?» Да дерни дурака Федьку сказать эти слова, что, мол, «ваш я земляк, сычовский...» — «А, мол, такой-сякой, так ты еще своим-то землякам вред, например?..» И опять замутило на сердце.

«— Веди, ребята, деревней! — гаркнули товарищи, и поволокли мы их улицей...

«Солнышко еще и не думало показываться, чуть светало, и народ еще спал... Думали-думали — куда идти? пошли к Ивану Васильеву... Первеющий был у нас голова! Староста был, копейки мирской не утаил, за мирское дело горой стоял, правду блюл пуще глазу, зеницы ока... И откуда такой уродился человек, дивное дело! С год назад его лошадь зашибла, всей деревней хоронили — потому заслужил!.. Таких еще мы людей и не видывали потом... Первый наш судья, хранитель мирской, божий человек... Заберет его за сердце каким делом — жив не расстанется, последнюю овцу продаст, а уж добьется своего. Вот к этому-то человеку и повели воров-то... Подвели к дому, разбудили; вышел Иван Васильев: «что, мол, такое?» — «Так и так, говорим, воры...» Поглядел он как-то на них, поглядел сыскосу, скрипнул зубами: «караульте, говорит, а я народ подыму!..» Больше ничего не сказал, только пошел отмеривать вдоль порядку саженными шагами да по окнам

бухать: «вставай! воры! выходи!..» Всполошилась наша Сычовка. Поднялся народ в чем был, валит со всех сторон — а у нас полтораста дворов... Окружили нас со всех сторон, даже самим не повернуться; и ругали и плевали на воров — в полную волю... Но настоящего чтобы — ничего никто не знал, как быть и что делать. Только идет назад Иван Васильев, и лица на нем человеческого нету. Рукава засучил, побелел, ровно полотно. «Ребята, говорит, своим судом грабителей!» И что есть силы-мочи дал... значит, по скуле одному и другому. «Бей!» — гаркнул. Ну тут уж... Уж тут мы и свету не взвидели... Что было! Пресвятая владычица! матерь божия! Били камнями, палками, вожжами, оглоблями, один даже осью тележною... Всякий норовил дать удар, без всякого милосердия, чем попало!.. Тут уж мы, караульщики, — кто куда!.. Тащит их толпа своей силой, а упадут — поднимут, гонят вперед и всё бьют, всё бьют: один сзади норовит, другой спереди, третий сбоку целится чем попало... Жестокая была битва, истинно кровопролитная!.. Побежал я за писарем (пришло мне в голову, что не надо ли, мол, чего-нибудь по закону сделать); прибег с писарем-то назад, вижу, столпился народ около амбара посреди улицы, и слышу, разговаривают: «глянь-ко, малый глаза-то выпучил!» Пробрался я сквозь народ — вижу — точно, сидит бедняга на земле: один, постарше-то, этак вот спиной к амбару привалился, и глаза, точно, стали, недвижимо стоят, только грудь ходит, как жернов... А другой, Федюшка-то, стонет, за сердце хватается... Писарь с допросом к старшему: «Кто такой? Откуда?» Смотрит тот, глаза выпучил, а говорить не говорит... Откуда ни возьмись Иван Васильев. «Запираться, говорит, дьявол этакой?» Да в волосы ему... Уж, боже мой, как жестоко! И сказать нельзя. Упал тот ничком и лежит, не дышит. «Помер!» говорят. «Как же, помирают этакие черти! — какой-то старичок объявил. — Он, такой-сякой, слово знает!» Да мертвого-то (точно ведь помер старший-то) по спине-то да по чем попало... «Отходит! отходит! и другой-то отходит!» — закричали... И точно... помутились глаза и у Федюшки... Забрало меня за ретивое! «Федя! говорю, тебе бы молочка испить?..» Шевелит губами, а сказать не может... «Испей, Федюнька, молочка-то...

может, отойдешь...» И что же он мне ответил на эти слова? «М-медку бы...» — чуть слышно прошептал так-то, и дух вон...

«И напал на всех нас страх. Никто не думал, что убьет до смерти, всякий бил *за себя*, за свое огорчение, не считал, что и другие бьют. А как увидели два покойника — оторопь и обуяла всех... Все врассыпную. «Не я... не я... не я...» Каждому страшно сделалось. «Ничего не будет!» — сказал Иван Васильев и приказал яму рыть, травы и льду в яму класть, а на лед покойников положили и опять свежей травой завалили.

«Суд был. И точно — ничего не было. Всех оправдали.

«С тех пор потише стало».

3

«Всех оправдали!» — сказал мне рассказчик. Что же это за люди, что это вообще за существа, которых можно истязать, убивать и за все это получать только одобрение? «Так! так и надо!» — говорит совершенно по совести всякий обыватель. «Нет, не виновны!» — говорит совершенно по совести суд присяжных... Злодейство, беспощадность злодейства, выразителями которого являются два убитых человека, не подлежит сомнению; но, по всеобщему «совестливому» мнению, никаких иных средств для острастки злодеев, кроме истязания, нет. Спрашивается: из каких таких источников выходят люди, способные заниматься такими злодейскими делами; откуда родятся эти разорители, эти грабители крестьянского хозяйства? Ведь не валятся же они с неба, ведь не родятся же они исключительно с злодейскими помыслами? Ведь хотя убийство двух злодеев и санкционировано совестью господ убийц и господ судей, но ведь и господа конокрады также могли бы представить кое-какие соображения в объяснение своей злодейской совести, и, вероятно, представили бы, если бы их заблаговременно не ухлопали.

Размышляя таким образом, я невольно пришел к вопросу: откуда берется и как делается такой удивительный, ожесточенный, бесстыдный сорт людей, которых

можно раздавить, как клопов, и чувствовать себя при этом совершенно невиновным?

При первом же свидании с рассказчиком истории убиения я спросил его:

— А кто такой этот Федюшка?

— Который-с?

— А вот которого убили-то, конокрад?

— О-о, этот? Этот наш, сычовский, наш, наш... Этот-то наш. А вот другой-то, так и не вызнали, чей... Больше ничего, знаем — черномазый... Ну, а Федюшка — точно наш!

— Кто ж он такой? Есть у него отец, мать?

— А вот как надобно на это вам ответить. Есть, следовательно, Федюшка сирота... Принесла его одна, стало быть, девица... И выйди потом эта самая девица замуж. Попался человек, не посмотрел на грех, согласен был взять и с ребенком; ну только узнал об этом старик-родитель, от ребенка отказался. «Отдай, говорит, ребенка в люди, тогда приму в дом, не отдашь — не надо мне тебя». Ну, сами знаете, дело родительское, сурьезное... Хорошо, как переговоришь родителя, — твое счастье; ну, а как попадется родитель-то из крепких, тут уж из его слова не выбьешься... Вы не знаете ли, тут у нас на деревне мужик, Емельяном звать?

— Нет, не знаю...

— Так вот что я об нем скажу: мужик этот человек работящий, одно слово — человек правильный, ну только что больно тих, значит, попорчен... И что ж с ним отец родной делает? Посылает его милостыню собирать по праздникам... Этого-то человека! Да он и без чужого хлеба своего бы добывал в полных размерах, ежели бы был посурьезнее, а то ну-ко — с сумкой по деревне шатается... Смотреть-то, я вам доложу, стыд чистый... А почему? Главная причина — нельзя родительского благословения забывать; надобно родителей почитать... Положим, так сказать, каков родитель. Иного родителя, надо прямо говорить, и слушать бы незачем; вот хоть бы Емелькина отца, судите сами: разленился старикашка, ни на что не похоже... Вдовый он, и один у него сын Емелька. Покуда сын-то подрастал, ничего был человек, бился по-христиански, один сам собой все хозяйство правил; а как вырос Емелька, как женил

его — лег на печь, «не мое, мол, дело», и зачал канальский старик сластить...

— То есть как же так?

— Следовательно, то есть, вот каким манером. Примерно надо бы ему на работу идти, в поле, а он, старый хрыч, с удочками на речку, да целый день и сидит на речке... Наловит рыбы — этого у него, у старого хрыча, и звания нет, чтобы продать или что-нибудь для дому, — куда! все сам съест! Вот это самое и есть, что я вам сказал: — себе сластит... Ну а где уж одному женатому с семьей справиться?.. Чем бы с печки-то слезть да помочь сыну, а он ему — «иди, говорит, по миру, собирай!..» Ну и идет... потому родительское слово свято... Не послухай его, «прокляну», скажет; ну а ведь это, уж сами судите, довольно будет вредно нашему брату... Так-то вот.

«Это я к тому говорю, — продолжал рассказчик, — что вот и Федюшкин-то вотчим из послушных был... Против родителя не осмеливался... Да и мать-то Федюшкина тоже... то есть куда ж, позвольте спросить, деться ей с этакой, например, прикупкой? Хорошо еще самоё-то берут, не бросают, и то еще надо дорожить, что нашелся добрый человек... Вот мать-то и отдала Федюшку к тетке: была у ней старушка-тетка... бездетная... Отдать-то отдала, да не дал ей господь веку — через два года и померла. Остался Федюшка сиротой. Покуда жива была тетка, ну кое-как да кое-как перебивался, рос... а эдак с седьмого или восьмого года и побираться стал... Ну уж тут, конечно, житье не легкое: дадут шапку — в шапке пойдешь, не дадут — гуляй без шапки... Хорошо, коли ночевать пустят, — ну ночуешь, а как не случится где приткнуться — и так где-нибудь, на вольном воздухе ночь скоротаешь... Ну, однакож надо сказать прямо, у нас этого нет, чтобы прочь гнать, и пожалуй что без ночлегу Федюшке жить не приходилось. Вот через это самое, как я полагаю, он и избаловался: сегодня здесь ночует, завтра там, поутру проснулся, ушел, никто не смотрит, не видит, всякий идет по своему делу... вот от этого-то самого и повадился наш молодец побаловываться... Там, изволите видеть, чулки, например, сухонькие наденет, там рукавички оставит, которые похуже, а которые потеплее — себе возьмет. Таким манером постепенно... Стали замечать. Допрашивать иной раз при-

нимались, да на беду мальчонка-то был боек, востер — всё ему спускали...

«— Ты, мол, Федька, рукавицы мои обменил?

«— Я, — говорит.

«— Как же так, шельмецкий ты сын? Это не порядок... За это, знаешь?

«— А холодно, — говорит, — дяденька!..

«Потреплешь его за вихор, и будет: что с него возьмешь? — сирота!

«Таким манером и приучился мальчонка побаловываться... Пробовал было он в подпаски наниматься, да недолго нажил... Не понравилось, видно, по ночам не спать, сбежал...

«На моей памяти и дело-то это было. Ехал я в город за кладью — кладь мы возили к одному барину в имение... — Еду так-то, гляжу — Федор. Армячишко на нем длинный-предлинный, босиком, шапка эва — какая, гора Голгофа настоящая, с перьями, генеральская, и палка. Дует парень по грязи, ножонками-то своими молотит во всю, то есть, мочь.

«— Куда, мол?

«— В город, — говорит, — подвези, мол, меня, дяденька...

«— Ай ты от пастуха-то сбег?

«Посадил его.

«— Сбег, — говорит.

«— Что так?

«— Больно худая жизнь, — говорит. — Бьет пастух-то. Лют.

«— Куда ж ты это в город бежишь?

«— А в сиротское, — говорит, — призрение.

«— Это что ж такое сиротское призрение? Что-то, — говорю, — будто не слыхал я этакого призрения-то... Что ж оно такое?

«— А это, — говорит, — здание... большое-пребольшое, и всё сироты в нем... двадцать тысяч сирот, безродных, без отца, без матери. Царь сделал. И всех кормят на царский счет, и у каждого свой сундук, и одежда каждому идет от царя. А по двадцатому году всех сирот женят, и идут они в царские крестьяне... И земли дают тем крестьянам, и дома, и скотину; одно слово — живи не тужи.

«— Это, — говорю, — хорошо, ежели правда.

«— Это, — говорит, — верно: мне верные люди сказывали...

«— Ну коли верно, дай, мол, бог тебе счастья... Только что, — говорю, — навряд, например...

«— Нет, — говорит, — это верно...

«— Может, — говорю, — местов нет?..

«— Ну вот — нет! Это вот какой доми́но — с версту. — И почал он мне опять расписывать, расхваливать.

«— Ладно, ладно, — говорю, — ступай с богом.

«Привез я его в город; мне, стало быть, на станции оставаться, а ему в это самое здание бежать. Побег. Хватился я после — одного мешка нету! «Ах, думаю, шельмец этакой, как ловко стянул, и не в примету даже». Ну, думаю, господь с ним...

«Так он и пропал невесть куда. И забыли было о нем. Только через полгода этак места приходит ко мне наш писарь:

«— Запрягай, — говорит, — Родион, лошадь: в волость требуют по делу. — А в то время, надо сказать, состоял я в правленских ямщиках.

«— Какие, — говорю, — дела там у вас?

«— Требуют, — бает, — личность удостоверять... Обозначилось, например, лицо, и что оно есть за лицо такое — никому неизвестно.

«— Ладно!

«Поехали. Приезжаем, глядь, на крыльце Федька трется.

«— Уж не ты ли, — говорю, — Федор, личность-то самая есть?

«— Я, — говорит...

«— Ах ты, — говорю, — шут гороховый.

«И писарь-то тоже смеялся: все был мальчонка, а тут эва что — личность!

«— Ты, — говорю, — как же это, личность ты этакая, мешок-то у меня украл?

«— Есть, — говорит, — нечего было. Продал за пятнадцать копеек.

«— Ну а здание-то, — спрашиваю, — разыскал ли?

«— Обман! — говорит.

«— Что ты?

«— Право слово. Я, — бает, — в острог попал: думал,

пойду в самый большой дом, а это острог... Как узнал я, — говорит, — что это острог, — бегом. Суток трое побирался, потом в часть взяли, а из части в острог, а из острога сюда, домой.

«— Зачем, мол, тебя домой-то?

«— А я, — бает, — почем знаю, по этапу!

«А между прочим надет на нем новый армяк... Поглядел я, думаю: «Недаром, поди, в остроге сидел», потому откуда у него армяку взяться? да еще новый армяк-то, целковых, поди, под десяток...

«— Чей, мол, армяк-то?

«— Известно, мой!

«И смеется...

«Н-ну, прочитал нам в волости писарь бумагу, спросил про Федюшку. «Ваш ли, мол?» — «Наш!» говорим. «А коли ваш — везите его домой...» Например, на место жительства водворить. Расписались, повезли. Едем мы дорогою-то, и думается мне: «Ведь пропадает парень-то, право, пропадает... Полгода в остроге просидеть — не шутка; чему не научат!» И жалковато мне его стало. Чуяло мое сердце, не по хорошей дороге пошел мальчонка. А он и в ус не дует, и горя мало. Прибауток нахватался, сквернословит, например, потешает нас с писарем... Да что еще, какую удрал, анафема, штуку!.. Пошел, изволишь видеть, дождичек, и довольно даже порядочный... Вот писарь-то и говорит: «Дай, говорит, Федюнька, мне твоим армячком накрыться...» Дал: «накройся, говорит, старичок, ничего, накрывайся». Накрыл тот голову — едем... Много ли, мало ли проехали, уж это у меня из памяти вышло, только Федюнька и говорит: «А что, говорит, писарь, я тебе скажу — ведь в армяке-то у меня что зверья этого самого... Заедят они тебя...» Услыхал писарь — долой армяк, ну рукой-то чистить и спину и воротник: «ах ты, пострел! что не сказал?..» А Федюнька взял армяк, закутался и поехал. Всю дорогу писарь мокнул на дожде. До костей его пробрало. Только уж потом, как до дому добрались, Федька-то и загоготал: «Это я, говорит, шутку с писарем-то сшутил»... Ну, каково это покажется? Этакая шельма стал!.. Ну привезли мы его. Водворили...»

— Куда ж вы его водворили-то?

— Да куда ж его водворить? Приехали — ну и слезай с телеги, вот те и весь сказ...

— То есть как же это: — привезли в деревню и оставили на улице?

— Зачем на улице? Привезли, значит, ну и ступай с богом!

— То есть куда же — «ступай»?

— Да куда ему идтить-то? Ему идти некуда. Кабы родня у него была. А то родни у него нет... Ну и добрые-то люди тоже, после острога-то, не очень чтобы... Милостыньку-то подать — подадим, а уж насчет ночлега — не всякий-то с охотой... «Тесно, мол, поди к соседу...» А у соседа — тоже не просторно... Уж тут пошел другой разговор. Повертелся он у нас на деревне-то так с неделю, да и слимонил у кабатчика полтину меди да ковшик железный и опять убежал... С тех пор только уж годов через шесть я его увидал, как в конокрадах его изловили... И правду сказать, не узнал: и вырос, и бороденка обозначилась... Так он и жизнь кончил...

— «Медку бы»! — напомнил я.

— Дд-а! вот поди ты... Меду захотел!.. И с чего это?.. видно, пожилось не больно сладко...

4

«Нет, не виновен!» — мысленно произнес я, прослушав рассказ словоохотливого обывателя и представляя себе Федюшку живым, сидящим на скамье подсудимых. Но точно ли, стало приходить мне в голову, Федюшка мог быть оправдан? Я ни капли не сомневался в том, что биография Федюшки непременно бы тронула господ судей совести, но в то же время я не мог не видеть, что главное действующее лицо всей этой истории — не Федюшка и не убийцы-миряне, а нечто иное, нечто такое, что заглушает голос совести, заставляет его молчать, именно... лошадь! «Конечно,— думал бы судья,— биография Федюшки печальна: сиротство, нищета, голоданье и холоданье, все так, все это извинительно, но... лошадь! Как бы то ни было, ведь все-таки лошадь — скотина хозяйственная; украсть лошадь — значит разрушить или по крайней мере ослабить платежную силу крестьянского двора... Конечно, — подумал бы судья, — так зверски истязать человека, так безжалостно и беспощадно посту-

пать с разумным существом — вещь возмутительная, в высшей степени дикая, омерзительная, даже, прямо сказать, ужасная; но, с другой стороны, нельзя же и не извинить неразвитого человека, потому что ведь тут замешано довольно важное обстоятельство... лошадь! Как бы то ни было, но лошадь — это вещь весьма значительная, и для *бедного* крестьянина...» и т. д.

Правильно ли я представил себе суждения судей совести по настоящему делу — предоставляю судить читателю; но по моим соображениям выходило как-то так, что именно, даже во имя гуманных идей, Федюшке не было бы никакой возможности уйти от арестантских рот или от острога. Хозяйственный ореол лошади помрачал всякие соображения о страданиях человека, помрачал до того, что, во имя этого лошадиного ореола, оказывалось позволительным ухлопать человека, как собаку, и не чувствовать при этом ничего, кроме сознания, что вот, мол, «теперь стало на этот счет потише»...

Понимаю я также и то, что лошадь — подруга и подпора в великой крестьянской нужде; что посягать на эту подругу и подпору худо, даже подло и мерзко; что вполне достойна уважения та энергия, с которою человек, не задумываясь ни на одну минуту, карал другого человека, желавшего сделать ближнему худо. Все это я чудесно понимаю, и все-таки мне обидно и нехорошо на душе за этих милых, добродушных людей, «до конца постоявших за правое дело»... В глубокой наивности сознания правоты дела — сомневаться нет никакой возможности. Все сделано «как следствует», «по-божьи»: во-первых, убить его не хотели, каждый ударил по разу, по два, а во-вторых, не убить, то есть «не учить» разорителей — тоже нет никакой возможности. Посудите сами, когда же будет конец мужицкому разорению, ежели всем разбойникам потакать? Все это сделано чистосердечно, без задней дурной или злой мысли, — и все-таки обидно, все-таки эти добродушные, не повинные ни в чем худом физиономии как будто бы не совсем чисты.

— А после этого, господь дал, потише стало! — поглаживая причесанную ветром бороду, говорит почтенный, и умный, и добрый сычовский крестьянин... И, право, нехорошо чувствуешь на душе...

3

Покуда я предавался этим размышлениям, словоохотливый сычовский обыватель продолжал свою речь, начав ее словами:

— Нет, вот человек-то был так уж человек!.. Уж одно слово!

И он рассказал мне про Ивана Васильева, другое действующее лицо в деревенской драме, и рассказ этот немного поосвежил мою голову, потому что лицо, о котором шла речь, было в самом деле лицо замечательное, и уж совершенно в другом роде, чем убитый Федюшка. Жаль было, конечно, убитого мальчишку; но так как сожалениями сделанного не воротишь, то я предпочел отдохнуть душою на светлом образе даровитого, честного и деятельного деревенского человека.

Именно служение общему, для всей деревни нужному делу было основной чертой характера Ивана Васильева. Если читатель помнит, этот Иван Васильев *первый* подал знак к бою в деле с конокрадами и тем самым *первый* брал на себя ответственность за все последствия; а это куда как много значит, куда как редко встречается на белом свете. И вот эта-то решимость взять добровольно на себя ответственность за то или другое общественное дело, взять ответственность пред миром и пред начальством, словом — «не жалеть» себя, это-то дорогое качество и ценил в Иване Васильеве мир. Много я слышал рассказов об этом человеке, и всегда рассказывались факты, рисующие его как общественного деятеля, тогда как про других только и слышишь, какой был хозяин, как наживал да как проживал; про Ивана же Васильева рассказ идет всегда в связи с мирскими делами. Как и откуда выходят такие личности, какими судьбами, при настоящих обстоятельствах, могут они развиваться до заботы об общем благе — я понять не мог, сколько ни расспрашивал родственников покойного. Посторонних влияний, посторонних людей, постороннего доброго слова тут не было. Так просто уродился человек с отзывчивым, горячим сердцем, светлым умом, родился во тьме и в глуши, и пошел, руководимый искрою божьей... Куда пришел бы он, если бы потребность общественной работы увлекла его из глухой деревни, что бы он сказал и сделал на бе-

лом свете, ожидающем таких с отзывчивым сердцем людей, — мудрено сказать. Можно только жаловаться на всесокрушающий русский «случай», который обыкновенно уносит таких людей неведомо куда, большею частью в могилу. «Хорошие — богу нужны!» — говорит народ, и эта участь хороших людей постигла Ивана Васильева: совершенно здоровый, сильный, он был убит лошадью (она лягнула его в грудь) и умер мгновенно.

Умер он молодым, двадцати четырех лет, в самом начале своего душевного и умственного расцвета, и, несмотря на то, память о нем в деревне останется надолго. Если верить сычовскому рассказчику, то деятельность Ивана Васильева была поистине неутомима и вспоминается теперь на каждом шагу. Идем мимо кабака, вспоминаем Ивана Васильева. Рассказчик говорит, что Иван Васильев ни за что не пускал в деревню кабака; а когда мир все-таки отдал было право на торговлю какому-то солдату, взяв с него за это пятьдесят рублей, то Иван Васильев сам отдал эти деньги назад, из своего кармана, и устыдил этим мир. Кабак открыли после его смерти.

А вот ряд изб новеньких, то есть сравнительно с другими, почерневшими, — и опять речь об Иване Васильеве: это он надоумил купить сообща целый плот лесу на Волге, и вышло дешевле, лучше и прочнее... А вон на горе лесок: — тоже Иван Васильев постарался... Кабы не он, теперь бы пришлось миру за него втридорога отдать. Отдавал барин этот лесок мужикам за девятьсот рублей — не брали; за тысячу потом отдавал, уже вырубивши что получше, — не брали; наконец, когда еще кое-что было повырублено, взяли-таки за тысячу триста рублей, и то только благодаря Ивану Васильеву, который пристал к миру, как с ножом к горлу... И, боже мой, каких трудов, каких усилий стоило улаживание всех этих, на вид так незначительных, деревенских дел! Сколько нужно сдержанности при таком горячем характере, какой был у Ивана Васильева, чтобы не испугать мирян новизной идеи, чтобы не возбудить подозрительности слишком жаркой защитой ее у столпов сельской сходки, ветхих деньми и напуганных крепостными порядками старичков! Сколько нужно сдержанности, чтобы не вспылить, не взбеситься от негодования на упорство, твердое

и непослушное, как камень, которое ничего не знает кроме того, что надобно во всем «иметь опаску», и которое в большей или меньшей степени проникает всегда всю сходку, сплошь, без изъятия. Каждый довод в пользу того или другого плана надобно было повторять не сотни, а тысячи раз при всяком удобном случае, на всяком месте, во всяк час. Надо было уметь удержаться на ногах, не устать от ежеминутного однообразного повторения одного и того же, от этого упорного, утомительного долбления в одну точку, чтобы в конце концов то шуткой, то смешком, то всерьез продолбить-таки толстый и крепкий слой общественной трусости, равнодушия и ничего не желающего слышать и знать упорства!

Сычовский обыватель не ограничился рассказанными примерами общественной деятельности Ивана Васильева, продолжая рассказывать мне факт за фактом. Но, признаюсь, я слушал его не с особенным вниманием: я вспомнил биографию Федюшки. Федюшка, шатающийся за подаянием; Федюшка, научающийся быть вором, надевая чужие чулки; Федюшка, шествующий разыскивать какое-то сиротское призрение, вспомнился мне в ту самую минуту, когда рассказчик рисовал мне картину не то чтобы дележа, а прямо сказать — ощупывания каждого куста, каждого сучка, и я невольно изумился перед тем полнейшим отсутствием всякого внимания к участи человека, которая выпала на долю Федюшки. Почему на его долю не приходилось ни сучьев, ни поленьев, ни геометрических фигур? Почему, ощупывая каждое дерево, миряне не нащупали промежду себя брошенного на произвол судьбы сироты? И почему, наконец, эти самые миряне оказываются невиновными, убив сироту, для которого они не сделали ровно ничего, кроме карьеры вора и острожного жителя?

И отчего, думалось мне, столь внимательная к «твоему» и «моему» деревенская мысль не уделила самой крошечной дозы этой внимательности на долю Федюшки? Кому от этого был бы убыток?.. Отчего бы, например, тому же самому Ивану Васильеву или кому-либо из деревенских жителей не выйти на сходке, по случаю отдачи права на кабак, и не заявить примерно такого прожекта:

— Вот, ребята, что я мекал, стало быть, насчет кабашных денег... Есть тут у нас на деревне мальчонка, си-

рота, ни отца нету, ни матери... Сем бы мы на кабашные те деньги корову купили, у меня у самого коровенка продажная есть...

— Куда ж ты с коровой-то с эстой воткнешься?

— Да мекал так: отдать бы ребенка и с коровой — где победнее... Вот у нас старуха с дочерью без мужика бьются, вон опять девица одинокая кое-как перебивается, тоже без всяких способов... Мало ли... Дать бы им корову; они и сами вокруг мальчонки-то отдохнут. А деньги мирские, все одно, пожалуй что изведутся зря. Велико ли тут, из двух-то сот кабашных пятнадцать целковых отдать... По крайности человек не пропадет; станет подрастать, можно опять же и учителю за него заплатить; вырастет, обучится письму — нам будет благодарен, а пожалуй, ежели господь ему даст понятия, и писарем нам послужит... Так как же, православные?..

Я ничуть не сомневаюсь, что если бы было произнесено кем-либо что-нибудь подобное, то, по некотором размышлении, наверное начались бы сначала одиночные, а потом и гуртовые заявления сочувствия означенному проекту. Особливо было бы хорошо, если бы нашелся такой человек, который бы сумел, на примерах прошлого, показать миру предстоящую Федюшке карьеру, который бы убедил мир в том, что пятнадцать рублей, уделенные в пользу сироты, убытку мирянам не сделают, упомянул бы при этом, что, мол, все равно, отдадите же эти деньги, например, какому-нибудь Ивану Фадееву, который нуждается в деньгах, потому что завел очень большую коммерцию и обещает платить миру за эти деньги хороший рост, примерно по копейке с рубля в месяц, и ставит ведро вина... Хорошо было бы также пристыдить мирян и этим ведром, сказав такое наречие: «Али мы, ребята, своего-то вина не видали? Покорыстоваемся этим поганым вином, а оставим без призора и помощи сироту!..» Но лучше всего бы, если бы, повторяю, кто-нибудь нашелся и начертил будущую жизнь сироты, если ему не будет оказано мирского внимания. «Кто его возьмет даром? У всякого своей заботы много. А за деньги сыщется человек, возьмет и взрастит. Деньги у нас есть — стало, надо дать; потому, ежели мы не дадим, измотается мальчонка, избродяжничается, а невдолге и в острог угодит. А уж из острога — сами знаете, какой народ выходит.

На нас же всердцах, что мы пятнадцать рублей на него пожалели, что мы душу его погубили, вором сделали, пожалуй еще какую-нибудь вреду сделает, петуха пустит, лошадей начнет воровать...»

Если бы все это происходило, то нет сомнения, что Федюшка был бы жив, не был бы вором, не имел бы нужды существовать, разоряя своего же брата крестьянина. Но так как в действительности Федюшка оказывается вором, разорителем, так как Федюшка убит, а убийцы оказались невиновными, то волей-неволей приходится заключить, что вышеописанной сцены почему-то произойти не могло. До такой степени не могло, что вся вышеприведенная сцена и теперь кажется читателю фальшивой.

Не правда ли, какая кисло-сладкая сентиментальность? Такие сцены возможны были разве в сентиментальных романах карамзинского направления; а теперь, если бы я вывел в какой-нибудь повести такого крестьянина, который бы *на сходке* завел речь о призрении сироты, мне бы каждый сказал, что это фальшь, вздор, что этого не бывает. «Пейзана представил, а не крестьянина!»

И это верно, потому что *этого,* в самом деле, не бывает.

А отчего бы? Чего бы стоило ему быть? Чего бы стоило спасти человека?

Однако нет. «Сентиментальность! Этого не бывает! — вранье!»

И точно, на моих глазах, месяца за полтора до того времени, когда пишутся эти строки, происходила точь-в-точь такая история. Отдавали кабак, и отдали за двести рублей в год и десять ведер вина угощения. Пьянство и оранье шло далеко за полночь, и, увы! никто не вышел, не произнес вышеозначенной речи, хотя и Федюшки и сироты всех возможных видов существуют в селении, собирая кусочки, перебиваясь со дня на день. Да мало того, что никто не вышел, — как, думаете вы, поступили миряне с двумя стами рублей, которые им оказались ненужными, так как недоимок у них нет? — Они решили разделить деньги по рукам, причем на душу досталось по два с чем-то рубля. Такое мудрое решение я могу подтвердить копией с мирского приговора, из которого,

кроме того, узнал, что крестьяне, взяв с целовальника такую высокую для него, хотя и не нужную для них плату, уступили ему, вместе с правом на кабак, и место сельского писаря, то есть предали себя за эти десять ведер вина и за два целковых, ощущаемых в руке, на полное съедение целовальника-писаря. Контракт этот они заключили на два года. Теперь, очевидно, всякое частное деревенское недоразумение, доходящее до волостного суда или по крайней мере составляющее предмет деревенских толков, будет прекращаться вином, разрешаться пьяным сном под забором, в грязи...

Что же это такое? Самоубийство ли это или помешательство? Ни то ни другое. Все дело в том, что в деревне нет, и при настоящих условиях нет возможности быть такому человеку, который бы внес в общинную жизнь деревни новую мысль; который бы новыми взглядами осветил (прежде деревня освещалась взглядом помещика) положение незнающего, неумелого и неразвитого крестьянина. Не смешно, когда, изучая историю умственной жизни высших классов, указывают на личности, внесшие в высшее общество *новые* взгляды: когда говорят, что тогда-то в общество «проникли» такие-то идеи и преобразили его в таком-то благотворном направлении... Почему же смешно, и странно, и глупо желать того же для деревни? Почему же для деревни нужна только земля, частые или редкие переделы; почему нужно увеличение только наделов, выгонов и вовсе не нужно идей, которые бы освежили этот ссыхающийся деревенский ум? Почему так много забот и внимания сочувствующая народу пресса уделяет недоимке? Почему такие энергические усилия энергических умов направляются на изобретение способов, которые бы уничтожили это народное бедствие? Вообще, почему бедствие — только налоги и недоимки?.. И почему не бедствие и не предмет внимания — то удивительное обстоятельство, что «не внемлющая и не дающая ответа» народная масса поминутно выделяет из себя такую массу хищников, кулаков, мироедов, возводящих (как, например, конокрады) разграбление своего брата крестьянина до степени промышленности, торгового предприятия, вроде, например, торговли шерстью, оптовой торговли льном, тогда как действительная торговля

льном, шерстью, которую именно в деревне-то и можно бы и должно довести до степени доходной статьи, не находит почему-то в крестьянской среде хорошего организатора? Почему все это должно быть так, как есть, а не иначе?

VII

Буран. — «Дельный» разговор. — Совращенный старик. — Адское душевное состояние. — Три деревни. — Трудно изгладимые следы крепостного права. — Подробности питейных порядков.

1

...Никогда в жизни, сколько могу припомнить, не испытывал я такого радостного состояния духа и даже тела, как это случилось на днях, когда я, проплутав не менее шести часов подряд в поле, в страшный буран, изъездив бог знает сколько верст по неведомым путям, по горам и холмам скрипучего снега, угнетаемый в течение всех этих шести часов мыслью о возможности смерти и самою беспомощною неизвестностью относительно того, где я? куда еду? — когда я, наконец, добрался до теплой, чистой пассажирской залы небольшой, одиноко стоящей в степи станции и прилег на мягкий и теплый диван.

С какой необычайной радостью завидел я, после бесконечных блужданий, два-три фонаря, зажженные для встречи ночного товарного поезда, и каким благоговением проникся я к начальнику станции, к акционерному обществу, которое выстроило дорогу, наконец к цивилизации, которая эту дорогу выдумала! Работа человеческой мысли, в течение тысячелетий упорно стремившаяся ко благу человечества и сумевшая, не щадя усилий, достигнуть того, что вот, наконец, на столбе в степи горит фонарь, — показалась мне в эту минуту (особливо после того, как я чуть-чуть не замерз) поистине великою.

Сколько же тысячелетий, спрашивал я невольно самого себя, должно пройти до тех пор, покуда мысль человеческая, неустанно стремящаяся вперед и вперед, додумается до того, чтобы зажигать в буран фонарь на сельской колокольне, которая в степи видна на тридцать верст кругом? Необозримый мрак грядущих времен, пред-

ставившийся мне при решении этого вопроса, вновь сосредоточил мое благоговение на акционерном обществе, которое сумело на деле осуществить то, что на колокольне будет осуществлено только чрез несколько тысячелетий, что будет достигнуто, как учит предшествовавшая история цивилизации, только после страшных бедствий и будет стоить страшных жертв. Всем директорам акционерного общества, которые, не дожидаясь этих жертвоприношений, распорядились о том, чтобы по ночам, хотя и не для людей, а для товарных поездов, зажигались огни, я от всего сердца желаю тройного оклада жалованья. В буран, в степи, зажечь фонарь — за такое дело надо ставить монументы, с чем, я думаю, согласится всякий, кто знает, что такое буран, и верит, благодаря этому, в возможность смерти в двух шагах от собственного дома, даже на собственном своем дворе, и притом после целой ночи разъездов около того же собственного дома.

Сознание счастливо избегнутой опасности сделало то, что, добравшись до станционного дивана и тепла, я некоторое время не испытывал ничего другого, кроме самого искреннего удовольствия, и почти было освободился от той гнетущей тоски, которая поедала меня уже долгие дни и, наконец, привела к решению уехать из деревни если не навсегда, то на возможно продолжительное время. В последний день эта жажда «не думать» о деревне, освободиться хотя на время от этой «бесплодной муки» достигла такой степени, что я вместо трех часов ночи, как бы следовало, уехал на станцию в одиннадцать часов вечера, решаясь сидеть более шести часов без всякого дела в ожидании поезда. Не скука и однообразие деревенского дня прогнали меня, а тоска, тоска, доходившая до физической боли, заставила меня выехать отсюда «куда-нибудь». И вот, только что тепло станционной комнаты стало отогревать мои иззябшие ноги и беспрестанно вздрагивавшее от ледяных мурашек тело, как эта «деревенская мука» стала оттаивать во мне, и благоговение пред тысячелетними усилиями человеческой мысли и директорами акционерной компании стало вновь заменяться какими-то тяжелыми, темными, гнетущими впечатлениями, понемногу воскресавшими среди ненарушимой тишины безлюдной комнаты. Поднялись эти воспоминания деревенских впечатлений беспорядочной массой,

которая, несмотря на отрывочность и бессвязность проносившихся передо мною образов, картин, сцен, успевала, однако, в короткий момент появления оставить на душе непременно что-нибудь холодное и тяжелое и в конце концов сумела-таки возвратить меня в то душевное состояние, в котором я выехал из деревни.

2

Прежде всего особенно подробно припомнилась мне, не знаю почему, одна, повидимому вовсе не относящаяся к делу, сцена.

Сегодня утром, окончательно порешив уехать, я в ожидании минуты отъезда бесцельно бродил по деревне, заходил к знакомым и, наконец, заглянул в помещение местного товарищества, в «банку», как говорят крестьяне. В просторной комнате товарищества за столом сидел письмоводитель, что-то писал и щелкал на счетах; в сторонке, около небольшого простого белого стола, на котором кипел самовар, сидели два посетителя и вели разговор.

Один был знакомый мне раскольник, промышляющий откармливанием и продажею разной живности. Это был человек громадного роста, с широчайшими плечами, с талией в два обхвата, но с совершенно детским выражением крошечных глаз. Крошечный лоб, огромный сомовий рот и отвислые толстые щеки — вот возможно точный облик этой допотопной фигуры. Другой собеседник, по профессии мелкий подрядчик, был человек совершенно другого вида: раскольник был одет по-русски, собеседник — по-немецки; последний был в пальто с бобровым воротником, в пестрых панталонах, новых сапогах и калошах, которых он не снимал. Волоса, обстриженные «полькой», были тщательно припомажены, тогда как у раскольника они частой и жесткой щетиной беспорядочно надвигались чуть не на самые брови. Словом, в этом втором собеседнике все было лоск, «благородство», тонкое обращение, хотя рыжая, как медная проволока, жесткая, подстриженная борода, волчьи бакенбарды и красные вязаные перчатки значительно разрушали этот вид благородства, невольно почему-то напоминая толкучку.

— Я твою манеру знаю! — сиплым, беззвучным голосом говорил раскольник собеседнику. — Суета! — больше ничего. Сегодня ты кирпич представляешь... так али нет?

— Ну, предположим, кирпич? — мотнув ногой в новой калоше, вопросительно произнес собеседник.

— А завтрашнего числа тебя на муку перешвырнет. Набросился ты на муку, хвать — крупа пошла ходуном: ты — на крупу!

— Само собой: не на муку же я буду обращать внимание... В этом случае была бы одна нелепость...

— Погоди!

Допотопных размеров человек поднял допотопных размеров палец.

— А завтрашнего числа, — сказал он, грозя пальцем и как бы давая противнику время приготовиться для удара: — ты на курицу!

Противник только было хотел что-то сказать, но допотопный человек перебил его, заговорив так, как говорят при желании рядом неопровержимых фактов добить врага:

— Судак тебе попался малосольный — ты с судаком связался... Утка ли, цыпленок, заяц или так что — баранина, козлятина, всякая, например, падаль: — в тебе и на это со-ве-сти нет, ты за все «обеим рукам»!

— Хотя бы и так! Польза есть — больше ничего. Судак ли, заяц ли: есть барыш — давай сюда!

— Коли ты ежели с судака на зайца... — желая перебить речь, наставительно начал было раскольник, но подрядчик оживленно перебил его:

— Ты суди дело по человечеству, а не по судаку! Ты возьми в расчет: я женился на вдове; у ней сын мальчик; отец у него офицер был... Судак! Я, по совести, должен его вывести в люди, воспитать, научить, чтобы он соответствовал званию, а не мужицкому положению... Ты рассуди это! В таком случае судак ли, заяц ли, хоть дятел — мне все одно. Я должен за все взяться! По крайности, господь даст, из мужицкой компании выдеремся... А то судак!

Великан, поминутно порывавшийся возражать и, очевидно, не слыхавший и не понимавший ничего из речи своего собеседника, едва только подрядчик произнес последнее сло́во, немедленно заговорил:

— Я тебе говорю не про вдову; мне твоя вдова — господь с ней, у меня самого есть их, вдов-то, не одна в знакомстве; а говорю я тебе: это не дело, ежели ты живешь разбросом... Ведь ты должен вертеться, как бес перед заутреней, потому твой товар неосновательный... Хорошо — ты выехал на базар раньше других, предположим, хоть с курицей, с гусем; да и тут ты изловчайся: ты привез пять возов, рассовал их на пяти постоялых дворах, чтоб глаза отвесть, и вывозишь по возику — последние, мол... Да хорошо бог даст погоду, мороз... Ну, а ежели да тепло, куда годится твоя курица либо гусь? У тебя ведь их ни один нищий не возьмет, потому они на морозе только и форсят... на тепле они, видишь вон, тряпка валяется — вот! Это не дело! А вот что я хотел тебе сказать, так это ты должен вникать... Я твоей вдовы не знаю; бог с ней. Я тебе говорю (раскольник опять поднял указательный палец и, медленно рассекая им воздух, стал говорить каким-то торжественным тоном): из древних времен, с самых неприступных веков от наших прародителей, искони бе, в нашем роду идет одно: свинина, утятина, гусятина. Больше ничего! Ни зайцы, ни судаки, ни всякая прочая провизия — это для нас ничего не составляет! От родителей к детям, как было, так и будет у нас все одно. Заяц — мне его не надо! Тетерев — проходи своей дорогой! Лисица, или там крупа, или мука, что ли, — господь с вами, оставьте меня в покое! Но коль скоро касаемое, например, свинины, или гуся, или утки — давай! Чего другого — мне не надо; но коль скоро гусь — это мое дело. Свинья! — это уж позвольте, с моим удовольствием. Утка — очень приятно. Потому у нас — все одно, из самых бесконечных пределов до сегодня; и как родители наши, древнейшие патриархи, так и деды, и мы, и дети наши будем стоять на одном! Это, по-моему, называется дело делать... Зато уж вашему брату, в мороз ли, в оттепель ли, за нами не угнаться — нет! Я кормлю свинью ли, гуся ли, утку ли, я не жалею: я знаю. Я знаю, что в каждой птице чего стоит; сыздали вижу, на много ли в ней потрохов, пера. Ты мне дай взглянуть на свинью — я тебе скажу, сколько в ней весу и что и чего: что сала, что мяса, во сколько станут потроха... Я только взгляну — у меня цена готова! Так моему товару, хоть бы вас целое ополчение собралось, —

ни во веки веков препятствия нет; мой товар въезжает на базар беспрекословно! Мороз не мороз, или гром, буря, буран — товар мой идет. Хоть бы публика до моего въезда у вашего брата нахватала: это для меня наплевать, потому товар виден, его не взять нельзя. Только слепой не возьмет, зрячий не может себя воздержать... Я вот про что говорю. А ты толкуешь: «вдова»!

Подрядчик помотал новым сапогом в новой калоше и, вздохнув, произнес:

— Очень может быть.

— Вдова! У меня у самого есть вдова; да шут с ней... А ты гляди, вот что я тебе разъясню, что такое утка...

Раскольник взял счеты и, как истинный знаток дела, начал разъяснять подрядчику, который слушал с глубоким вниманием, что именно заключает в себе для всех, кажется, вполне ясно представляемая утка.

— Вот что такое утка, — начал он и, откидывая на счетах по одной косточке, произносил с расстановкою: — первое — потроха, второе — головка и лапки, третье — перо, четвертое — пух, пятое — утка! Следовательно, четыре предмета, окроме самой утки!.. Видишь? Теперь (пять костей на счетах были сброшены, и счеты приведены в порядок, очевидно для новых вычислений), теперь обсудим каждый предмет в полном виде. Предположим на первый взгляд хоть лапки.

И затем началось самое точное определение цен на лапки, потроха и т. д. Утка была разделена и оценена по частям и вместе. Был брошен взгляд на всевозможные случайности, могущие вдруг поднять потроха и уронить перо или поднять цену на пух и уронить цену на самую утку. Словом — утиный вопрос был обследован со всех сторон, и, надо отдать справедливость исследователю, обследован превосходно. Тут же, как бы мимоходом, исследовав утку, раскольник, желавший показать подрядчику, что всякое дело требует обстоятельного знания, остановил его внимание на пшеничном зерне.

— Кажется, — сказал он, — что такое пшеничное зерно? Купил мешок пшеницы, свез на базар, получил рубль — и все!..

Однако оказалось, что пшеничное зерно в руках знающего человека дает целых восемь отдельных торговых

«*предметов*», именно пять сортов муки — в разные цены и разного вкуса и цвета, два сорта отрубей и один сорт крупы манной. Это все из одного зерна.

Подрядчик заслушался своего лектора. Да и было что послушать, чему поучиться. Я с величайшим вниманием приготовился было слушать исследование о свинье, к которому лектор готовился приступить, так как не было никакого сомнения, что свинья разработана им в совершенстве, но внимание мое было отвлечено новым лицом.

3

По улице медленно ехал на тощей, маленькой, как двухгодовалый жеребенок, лошадке, в маленьких старых, почерневших от времени саночках крошечный, несомненно старый-престарый человек. Ехали они до того медленно, что казались словно спящими. Старик точно заснул, да и лошадка точно во сне переступала своими тоненькими, бессильными ногами с маленькими копытцами; словно неживое было все это, а какая-то тень — так все и в лошади, и в мужике, и в экипаже было легко, бессильно, еле живо. Сколько времени понадобилось старичку на то, чтобы подъехать к банковому крыльцу и, постояв здесь у дерева в каком-то заколдованном сне минуты две, не двигаясь, не шевеля ни одним членом, наконец, собраться с силами и начать вылезать из санишек; сколько затем потребовалось времени, чтобы подняться по ступеням крыльца и потом, долго-долго подождавши в сенях, появиться, наконец, в самом банке — этого я определять не стану. Только все это потребовало необычайно много времени. Раскольник и подрядчик, исследовав свиной студень, уже завели речь не то о третьем, не то о четвертом предмете свиного дела, а старичок еще только добрался до второй ступени крыльца.

Наконец он появился в банке, отыскал «бога», помолился, разглядел поочередно всех присутствующих, самым внимательным образом всматриваясь в лицо каждого и, очевидно, отыскивая человека, с которым бы надо было поговорить. Общими усилиями старичка и всех находившихся наконец-таки был разыскан сам по-

могавший розыскам письмоводитель — и старичок жалобным, слабеньким голосом наконец заговорил:

— Благородный господин!.. А что я хотел тебя просить, помоги ты мне, сироте...

— Разве сирота, дедушка? — спросил раскольник.

— Самая одинокая сирота! Нет у меня ни жены, ни детей, ни снохи; есть внук, осьмой год, живет у матерней сестры; больше никем-никого нету! Один я, братцы мои, один!

Тяжко сказалось это слово. В старике было жизни, как говорится, на волосок, но для этого слова «один» он как будто бы собрал все свои силы и так произнес его, что холод одиночества, испытываемого старым человеком при конце жизни, был понят и прочувствован всеми окружающими.

— Одинок я, господа вы мои приятные, как перст; то есть как былинка в поле, так и я... И все по господнему попущению. Был я смолоду и лют, и крут, и непокладист — одно сказать, железный был у меня дух, непреклонный. Много был сечен на барщине за непокорство. Наказания принял довольное число. Довела меня эта самая лютость до того, что вот не с кем мне на старости и слова молвить... В семье был я человек жесткий, отец сердитый, твердый, жене муж грозный... Сын у меня был один, женил я его силой; пожил он с женой три года, на четвертый год убил ее, сам в Сибирь пошел; мать слезами изрыдалась, умерла через полгода; остался я один, в един час — я да внук трех годов!.. Разразил меня небесный господь сразу, как молнией ударил!.. Отдал я внука сноховой родне, помогаю, а сам, господа милостивые, весь слезами истаян... Прошло четыре года, а во мне капельки дыхания не осталось. Ведь подумай — о-оди-ин!

И опять это слово было сказано с необыкновенным выражением. Едва старик произнес его, как у него градом посыпались слезы.

Да и у посторонних зрителей слёзы навернулись на глазах. Когда старик успокоился, письмоводитель сказал ему:

— Ну так что же ты хочешь?

— А хочу я капиталы мои поберечь у вас... внуку...

— Много ли капиталов-то?

— Капиталов у меня сорок два рубли бумажками... Вот они самые деньги при мне... Так как ты мне присоветуешь?..

Старичку было растолковано, каким образом может он сберечь свои капиталы. Ему сказали, что он может поместить их вкладом и получать такой-то процент или же может поступить в члены, если его примет товарищество, и тогда, наверное, будет получать барышу больше.

— Росту мне не надо! — сердито сказал старик. — Ни-ни-ни! Этого — сохрани бог! Отсохни моя рука. Что положу, то и отдайте, кому назначу, а этого греха не возьму!..

— Куда ж их девать-то?

— Не знаю я: это не мое дело. Не надо мне!

— Как не знаешь? — сказал раскольник шутя. — Да ты мне отдай! вот дело-то мы и пошабашим!

— Бери, сделай твою милость!

— Ну вот и прекрасное дело!

— Чего лучше! — прибавил с своей стороны и подрядчик, немного развеселившись наивностью старичка.

— Самое любезное дело! — продолжал раскольник. — Много ль, говоришь, капиталу-то?

— Капиталу моего ровно сорок два рубли бумажками.

— Сорок два — ладно! Вот я кажинный год и буду за твое здоровье из банку потаскивать и пять, и шесть, и поболе... Как год прошел, уж я и знаю — набежало мне барышу шесть рубликов, пойтить старичка помянуть... Так?

— И сделай твое такое одолжение! — опять сказал старик, искренно отрекаясь от грешных барышей.

— Ах ты чудак, чудак! — переменив тон, заговорил раскольник. — Жил ты век, наконец того нажил, чтобы деньги бросать зря! Ну не чудак ты после этих твоих слов? Ну можно ли, посуди ты сам, бросать зря деньги? Много ли твоему внуку годов-то?

— Седьмой год!

— До возрасту осталось ему десять лет; следовательно, ты бросаешь зря мало-мало пятьдесят целковых. Да что это ты делаешь-то?

— Дай ты мне с чистою совестью умереть! — с некоторой жестокостью в голосе произнес старик. — Не хочу я этих нечистых денег, хоть бы там их тысячи выросли. Не возьму! Не знаю я, откуда они идут, и не надо мне их... Мое кровное отдаю: тут уж каждая копейка из самых моих кровей! Пойми это!

— Стало быть, не возьмешь?

— Не возьму!

— Н-ну, твое дело! Ну только помни, старичок, внук твой теперь маленький, а вырастет большой, придется ему жить, о-о-ох, в какое время!

— Господь батюшка не оставит!

— Ну-ну, как знаешь! Помни, в книгах сказано: «и будут гонимые времена». Вот ты об этом подумай. А гонимые времена — это самое и будет...

— Господь не велит брать чужого, — я и не возьму!

— Помни! Не тебе достанется, внуку! Ты обдумай... Идут гонимые времена, верно тебе говорю!

Никакие, однако, доводы в пользу получения дивиденда не убедили старика. Он пожелал написать завещание, которым капиталы свои, сорок два рубля бумажками, завещал внуку, по достижении им «солдатского своего возраста»; а если внук умрет ранее, то деньги должны поступить в церковь того села, где старик жил всю жизнь, и в конце прибавил:

— А росту мне не желательно!.. Сколько кладу, столько и отдайте.

— Куда же девать-то его?

— А куда хотите!

Начался тот же самый разговор, и точно так же, несмотря на все доводы, старик остался при своем мнении.

— Не надо мне этого, не мое! Бог с ними со всеми, девайте, куда знаете.

Завещание было записано в книгу, причем проценты определено было отчислять в местную школу на покупку бумаги, чернил, грифелей и книг для бедных учеников.

Под завещанием этим подписались все присутствующие. Послали за казначеем, чтобы он принял деньги. Старичок замолк совершенно, точно заснул, усевшись в уголок на деревянном диване.

— Ну прощай, старичок, — сказал ему раскольник на прощанье: — дай бог тебе сто лет прожить, а уж прямо тебе скажу — чудак! Именно чудак!

— И, батюшка! — засмеявшись, прошептал старичок: — мне и то любо, что хоть тебя-то посмешил.

— Уж впрямь насмешил. Ну прощай, расти внука-то.

— Спасибо, родной! Захочет господь — вырастит, а не захочет — его святая воля во всем...

— Это уж само собой.

Раскольник и подрядчик ушли. Старичок молчал; я читал старую газету; письмоводитель щелкал на счетах. Приходили и уходили заемщики, являвшиеся за отсрочкой своих долгов и для взноса процентов. Старичок с большим «сурьезом» и видимым любопытством вглядывался в каждого из них и, явно ничего не понимая, слушал их расчеты с «банкой». Так прошло с полчаса. Казначея все не было. Старичок, кряхтя, поднялся с дивана и, так же медленно, как пришел, поплелся на улицу посмотреть лошадь.

Добравшись до саней, он сел на край и задумался. Кисти рук свесил между колен, а голову опустил, точно сонный, и сидел он в таком положении еще не менее получаса. Наконец явился казначей, а вслед за ним приплелся и старичок.

Не похож был он на того, который приходил раньше; не кротость, не бессилие виделись в нем, в его лице; напротив, он был оживлен, держался крепче, как будто воскрес из мертвых, но при этом нельзя было не видеть, что сила, оживившая его, — страх. Страх, близкий к ужасу, был напечатлен на его лице; он держался прямее, как будто крепче стоял на ногах; но руки, и голова, и все лицо видимо вздрагивали поминутно от сильного внутреннего волнения. Торопливо, насколько возможно было для него это сделать, подошел он к банковой загородке и проговорил беззвучным голосом:

— Соглашаюсь! Пущай мой внук получает и с ростом. Принимаю грех на себя. Потому... господь видит, времена подходят точно... гонимые... лютые... Пиши отказ!..

Завещание пришлось переделывать сызнова.

Не могу выразить, как глубоко, искренно виделось в старичке сознание тяжести принимаемого им на душу

греха и с какой решимостью он брал этот грех на свою душу!

Его ужас пред грядущими временами, во имя которых он делал грех, невольно сообщился и мне, и я вновь был поглощен знакомой мне, но неразгаданной загадкой: почему именно деревенские грядущие годы несут в себе необходимость примирения с тем, что даже сейчас еще считается грехом?

4

Вот именно эта сценка почти сразу восстановила во мне то адское душевное состояние, которое выгнало меня из деревни и на некоторое время было заглушено счастливым спасением от явной гибели.

«Адское душевное состояние» это должен пережить всякий, кто только, повинуясь даже инстинктивному влечению к деревне, только чувствуя, что между ним и ею существует какая-то трудно определимая, но, несомненно, кровная связь, — попробует... ну просто хоть только «*пожить в деревне*». О том, что должен испытывать человек, для которого связь эта вполне выяснена, определена, человек, который сказал себе: «поеду в деревню и буду делать то-то и то-то», я даже и представить здесь не в состоянии. Лично себя я не могу причислить ни к первой категории людей, ни ко второй. Хотя я и знал, почему мне следует ехать и жить в деревне, но чтó я обязан в ней делать — этого я еще не знал. Тем не менее «адское душевное состояние» я пережил, то есть, кажется, пережил, и, кажется, знаю, из чего оно слагается.

Слагается оно, во-первых, из такого рода ежедневно предъявляемых деревнею фактов, в которых, по вашему мнению (мнению человека, выросшего в другой среде), непостижимым для вас образом оказываются нарушенными самые непоколебимые, самые истинные истины. Что может быть неизбежней тех цифирных истин, каким учит вас таблица умножения? Два, умноженное на два, разве может дать в результате что-нибудь кроме четырех? Ежедневный деревенский опыт доказывает вам, что не только может, но постоянно, аккуратно изо дня

в день дает — не четыре, даже не стеариновую свечку, а бог знает что, дает нечто такое, чего нет возможности ни понять, ни объяснить, к объяснению чего нет ни дороги, ни пути, ни самомалейшей нити.

Ниже читатель на примерах увидит эти изумительные результаты деревенской таблицы умножения, теперь же я только прошу его представить себе положение человека, который по сту раз в день принимается умножать два на два, по сту раз в день надеется, что вот-вот получится четыре, и по сту раз в день видит воочию, что получается нечто совершенно неожиданное и невозможное. Представив себе все это, он только до некоторой степени поймет, что за безнадежно-отупляющее состояние должен переживать всякий, кто смотрит на деревню так, «как должно», по его мнению, смотреть на нее.

Второй элемент, входящий в состав адского душевного состояния, заключается в том, что, не имея решительно никакой возможности отказаться от убеждения, что два, умноженное на два, должно давать в результате четыре, и видя, что бывают, однакож, невероятные случаи, когда получаются в результате стеариновые свечи и сапоги всмятку, вы начинаете ставить между правильным и неправильным выводом вашей и деревенской таблицы умножения — себя, свою личность. И тут происходит до крайности странное явление: всякий раз, когда, вместо ожидаемого вами вывода, получаются в результате сапоги всмятку, неведомо почему вы чувствуете, что именно вы-то и виноваты в этом поразительном результате. Кажется, что ведь не я, а деревня производит, помимо всякого моего участия и желания, эти сапоги всмятку, а тайный голос шепчет: «на-ка вот! хорошо ли тебе это покажется?..»

Непрерывный, хотя сначала и не довольно ясный укор начинает сказываться определеннее с каждым новым опытом вашим над деревенской таблицей умножения. Это мучительное дело идет таким образом. Вы умножаете два на два, получаете стеариновую свечку — и просто недоумеваете. После ста раз подобного опыта вы сердитесь, беснуетесь. Но уж одно то, что вы начали бесноваться, таит в себе новый недуг, как бы смутное ощущение вашей собственной вины. После двухсот, трехсот опытов вы, ощущая с каждым разом укоры со-

вести все явственнее и явственнее, ни с того ни с другого начинаете думать уж о себе, о своем прошлом. И всякий факт деревенской жизни, вам, вашей личной жизни, вашим личным интересам, повидимому, совершенно посторонний, вдруг с удивительной ясностью начинает освещать вашу собственную жизнь. А раз с вами началось это странное явление, продолжается оно (и должно именно так продолжаться) таким образом: нелепый факт деревни освещает в вас самих еще более нелепую черту, нелепую мысль, нелепый поступок. И такое, прямо сказать, безобразие начинает терзать ваши нервы с каждым днем беспощаднее. Линии, по которым идут в вашем мучительном сознании нелепые впечатления деревни и впечатления от собственной вашей личности, идут рядом. Вы невольно соединяете в себе эти два потока мучающих вас впечатлений, но не знаете еще, как облегчить себе путь перехода от одних к другим, как их связать, и тут, наконец, наступает такая минута... такая минута!

Ехать «куда-нибудь» в такие минуты — большое спасение. Какой-нибудь легонький степной буранчик, во время которого в районе волости заблудится человек с двести и человек с пяток отдаст богу душу, или волк, вышедший из лесочку и посмотревший на мужицкую лошаденку да и на вас с самым нескрываемым аппетитом, — все это возвращает к жизни, напоминает, что надо подобру-поздорову удирать и от волчьего аппетита и от бурана. Такое временное удаление от «места» ваших собственных волнений дает вам возможность спокойнее обсудить ваше трудное положение. Именно благодаря этим непродолжительным отлучкам куда-нибудь, в «чужое» место (например, в город), является возможность прийти к положительным выводам, которые, оказывается, находились у вас в деревне, что называется, «под носом»; но в деревне вы не могли думать о том, чтобы прийти к каким-нибудь выводам, потому что были поглощены исключительно восприятием своих и чужих «сапогов всмятку»...

Выводы эти, как я уж сказал, оказываются совершенно азбучными. Именно: деревня действительно не знает вашей таблицы умножения и умножает по-своему потому-то и потому-то, вследствие чего и получаются

сапоги всмятку. Ваша обязанность — по крайней мере так говорит вам ваша совесть — требует, чтобы вы сделали известною здесь в деревне не фантастическую, а *настоящую* таблицу умножения. Сделать это необходимо, не сделать — бесстыдно. Разобравшись в путанице своих и чужих «сапогов всмятку», остается только решить вопрос, как это сделать? Задавая себе этот вопрос, вы чувствуете, что бесплодные мучения и ужасы миновали, и возвращаетесь в деревню в состоянии человека, который был болен чуть не при смерти, но поправился, очувствовался. И вслед за тем начинается второй период, также неизбежный для человека, так или иначе приткнувшегося к интересам деревни, период работы над практическим решением вопроса — как? Слабый, но искренний человек на первых же порах не может решить этого вопроса иначе, как в смысле собственного своего бессилия, неумелости, испорченности и необходимости влачить жизнь в той среде, которая сделала его неспособным. Тот же, кто почувствует себя неспособным уйти, тот, кто, хотя бы и колеблясь на первых порах, будет в решении трудного вопроса присматриваться к тому, как решает его действительное положение современной деревни и его собственная совесть, — тот будет крепнуть, закаляться, душевно расти, светлеть, так как решение вопроса, даваемое деревней, в высшей степени многосложно.

5

Припомнив слышанные мною в банке слова старика насчет предбудущих времен и невольно соглашаясь с ним, что нарождающемуся деревенскому поколению, пожалуй, и действительно не придется жертвовать «причитающимся дивидендом», я не мог вновь в сотый раз не остановиться на вопросах: да почему же это должно случиться? Какие для этого есть резоны, и вообще почему деревенские дела принимают такое течение, что впереди всякому, мало-мальски всматривающемуся в них, рисуется нечто суровое, трудное, даже жестокое? И как только эти вопросы пришли мне в голову, так и поднялись всевозможные, отрывочные воспоминания и факты, которые

заставили меня не то чтобы вновь пережить, а вновь пересмотреть те явления деревенской жизни, которые привели к выводам предыдущей главы.

Мне пришлось более или менее близко видеть (не скажу — знать) дела и порядки трех деревень, лежащих почти рядом, в местности, которая считается житницею русской земли. Эти три деревни, почти уже сливающиеся друг с другом — так близко подходят крайние дворы одной к крайним дворам соседней деревни, — в земельных отношениях, в размерах расходов, мирских и казенных, разнятся друг от друга самым существенным образом. Да и народ в одной не таков, как в другой, а в другой не таков, как в третьей: в одной народ — разиня, в другой — первый работник, в третьей — и разиня, и ленивый, да еще и плутоватый. Такую разницу объясняют весьма существенные причины. Так, например, село Солдатское, самое большое из всех трех деревень, образовалось из поселенных в этой местности солдат какого-то из гвардейских полков.

При императрице Екатерине II (так здесь рассказывают старожилы) один из солдат этого какого-то гвардейского полка, находясь на карауле во дворце, услыхал или каким-то образом узнал, что существует заговор, донес об этом, и в награду за такой поступок вся рота или полк были пожалованы землями и угодьями в наилучшей местности России. Земли и угодий было так много и они приносили жителям села Солдатского так много доходу, что жили они — «лучше не надо» — катались как сыр в масле... Деревенское предание, касаясь этих блаженных времен, рисует их, к сожалению, только в виде пьянства: «иной, рассказывают, уж совсем готов, лежит на земле, подняться не может... ну таким, братец ты мой, прямо в рот лили».

Рассказывают еще об одной «питерке», женщине, которая пришла из Питера вместе с переселенными солдатами, рассказывают для того, чтобы показать, какой это был народ холеный, белоручка. Пошла было однажды эта «питерка» в поле от скуки. «Дай, говорит, пойду, попробую от нечего делать, как это деревенские бабы жнут...» Взяла серп и пошла. Вот простой деревенский мужик и видит: пришла «питерка» на берег озера; на берегу пшеница растет, а у берега в траве — камыш.

Пришла она и стала: поглядит на пшеницу, потом на камыш поглядит, думала-думала и стала камыш серпом жать. «Ты что это, — говорит ей «простой» мужик, — делаешь тут?» — «Жну!» — «Что жнешь-то?» — «Надо быть хлеб!..» Засмеялся мужик, говорит: «Эх ты, дура петербургская, хлеб-то вон он, а это — камыш!» Удивилась питерка и говорит: «А я, говорит, думала — это хлеб; больно он на вид красив!» Так рассказывают про питерских пришельцев «простые» деревенские мужики, рисуя их полную неумелость в хозяйстве и вместе с тем доказывая, что и при такой-то неумелости люди села Солдатского могли жить припеваючи.

С тех пор, в течение ста с лишком лет, село, наделенное вначале всевозможными льготами, понемногу теряло их: так, часть земли, очень значительную, они сами продали, а деньги пропили; да и казна поурезала их, но все-таки угодьев осталось такое количество, что село Солдатское решительно богаче остальных двух деревень и может продолжать пьянство предков без посрамления. У него три мельницы, дающие до двух тысяч рублей в год чистого дохода; рыбные ловли, дающие пятьсот рублей дохода, и два кабака, приносящие миру полторы тысячи рублей чистыми деньгами.

Соседняя с ним деревня также значительно отличается от обыкновенной, перенесшей барщину и несущей на своих плечах новые порядки деревни. Как могло случиться, что крестьяне этой деревни, считаясь постоянно в удельном ведомстве, попали-таки лет с шестьдесят — семьдесят тому назад в крепостную зависимость, я не знаю; знаю только, что и в крепостной зависимости они все-таки избегли всех суровостей барщины. Старики — люди, которым лет под шестьдесят, — рассказывают про свою последнюю госпожу как про женщину крайне добрую: конечно, секала и она — без этого уж никак невозможно; *но*, бывало, рассказывают, смотрит она, матушка, как секут, а сама плачет; как чуть мало-мало — сейчас: «дурнота со мной! перестаньте, будет!» Да и такие жертвы барыня приносила не из-за того, чтобы выбить из человека какие-нибудь материальные выгоды, а по справедливости, сущей правде, как утверждают старожилы, секла для собственной их, старожилов, пользы. Почтенные историки деревни утверждают даже, что

мероприятия происходили почти только великим постом, на первой неделе, после масленицы: на масленице в деревне, в старые времена, катались с горы; катались на длинных обмороженных колодах; садилось мужчин и баб на каждую колоду человек по шести. На это катанье любила смотреть барыня. Для нее выносили кресло и становили его на такое место, с которого ей было все видно. Сидит барыня в кресле и примечает, какой мужик с какой бабой едет; ежели мужик противу себя посадил свою жену — хорошо. Ежели же чужую жену или, чего боже сохрани, девицу,— это барыне неприятно. Однакож всю масленицу, аккуратно каждый день являясь в кресле смотреть на катанье, она все примечала да примечала, а в чистый понедельник приказывала позвать мужиков, виновных в безнравственности. Баб за безнравственность также она секла, но у себя на дому, и притом баб секли бабы, а не мужики: «ну, а уж сами знаете, какое может быть бабье сеченье!..» От этого разладинские бабы и не знают страху.

Был, однакож, в истории разладинского крепостного периода один эпизод, который грозил закрепостить и этих баловней судьбы в самом деле, по-настоящему. Один соседний помещик, прельстившись состоянием разладинской помещицы, задумал на ней жениться. Помещица была старая девица и боялась замужества, вверив охрану своих дней надежному человеку из дворовых. Говорят, это был верзила вершков пятнадцати, силач и скромен, как красная девица. Помещик, сделавший девице-помещице предложение, получил отказ. Но так как человек этот был истинный сын своего времени, то и не задумался над средством к достижению цели иным путем, очень обыкновенным по-тогдашнему. Он пригласил барышню покататься, по дороге завернул вместе с нею в церковь отслужить молебен «своему ангелу», и здесь, неожиданно для барышни, вместо молебна началось венчание с помещиком: все было заранее подлажено, закуплено и т. д. На крик барыни явился тот же ее хранитель дворовый, не попавший в церковь, и, разломав церковные, уже запертые двери, выручил свою госпожу. После смерти она отказала ему Дыбки, а разладинским мужикам даром отдала всю землю, так как умерла бездетною и без наследников. Благодаря этому подарку налоги, платимые разладинскими мужиками, никогда в общей слож-

ности не превышали двух рублей. Даже и теперь они платят всего-на-все только рубль девять гривен.

Третья деревня, разделенная от Разладина только помещичьей усадьбой, обыкновенная русская, бывшая крепостная деревня. У нее мало земли, она платит большие налоги — больше Разладина и Солдатского — и не имеет почти никаких посторонних доходов, кроме двухсот рублей с кабака, и работает в поте лица. Она знала крепостные порядки доподлинно; знала барщину, барина, дворню, претерпела все крепостные тяготы и теперь несет на плечах своих новые порядки. Больше о ней покуда сказать нечего.

Надеюсь, что читатель из вышеприведенного очерка видит, какая существенная разница в материальном обеспечении отличает все три деревни одну от другой. На основании этой разницы, зная не деревенскую, а обыкновенную таблицу умножения, можно вывести такие заключения: село Солдатское, пользующееся угодьями и достатком, живет лучше Разладина, у которого нет угодьев, доходных статей. Но Разладино, не платящее почти никаких податей, все-таки *должно* пользоваться бо́льшим достатком, жить вольней, вольготней, чем третья деревня, которая и платит много, и земли имеет мало, да и земля отрезана далеко от деревни. Последняя деревня, несомненно, должна жить хуже других, потому что лежит она на неудобном месте, воды у нее мало, крошечный ручеек в аршин ширины, и никаких доходных статей нет. Так гласит обыкновенная таблица умножения. Деревенская же гласит вот как:

Хуже и глупей из всех трех деревень живет самая богатая, именно село Солдатское. Несмотря на то, что доходом с оброчных статей, с мельницы, с рыбной ловли и т. д., которые *в буквальном смысле с значительным излишком покрывают решительно все мирские, волостные, земские, казенные и всякие иные платежи,* так что должны ежегодно оставаться лишние на общественные нужды деньги и уж ни в каком случае ни одному из жителей нет надобности вынимать деньги на уплату повинностей из своего кармана, — несмотря на все это, жители села Солдатского умеют устроить так, что каждый год им недостает денег, и, потратив все мирские доходы, они всегда ухитряются делать налоги рубля по три с души, несмотря

на то, что мирские доходы постоянно увеличиваются. Теперь я прошу читателя, знающего обыкновенную таблицу умножения, представить себе всю непостижимость результата, который является при применении ее к распорядкам, господствующим в селе Солдатском. Я беру окладной лист, считаю количество душ (конечно, платежных, а не человечьих), считаю количество требуемых казной, земством, волостью и самим селом платежей, прибавляю даже целые две сотни рублей на непредвиденные расходы, хорошенько не имея даже возможности определить их, потому что что́ же когда-нибудь затевала какая-либо деревня сама для себя. Все ее доходы идут только на то, что известно под словом *«подати»*. Больных своих на общественный счет она в больницу не возит; сирот, нищих на общественные суммы не питает; вот разве одно: село Солдатское очень часто ссылает по мирским приговорам своих односельцев в Сибирь. Вот на такие-то расходы и на другие, ни мной, ни селом совершенно не предвидимые, я и кладу две сотни. Получается у меня сумма, причем оказывается, что сумма эта с значительным избытком покрывается суммою получаемых селом доходов, которые я также прошу читателя класть на счеты по порядку, за то-то столько-то, и т. д.

У меня получается остаток, а на деле у деревни недостает целой тысячи рублей!.. Впоследствии я узна̀ю причину; но теперь, на первых порах, я в недоумении. Каким образом выходит эта «недостача»?

Затем, отчего село Солдатское до сих пор, с самого основания, не подумало завести хоть какую-нибудь школу, хотя в виду воинской повинности, а в Сибирь ссылать своих сыновей выучилось? Отчего народ села Солдатского неряшлив, распущен, нагл, жаден и глупофорсист? Отчего именно в селе, где есть все условия для мирского довольства и для известной порядочности ежедневного обихода, — такое неряшливое разгильдяйство, общественная бессвязица и бестолковщина: куча нищих, есть воры, куча мирских грабителей?

Не менее странным покажется вам и положение соседнего разладинского мужика. Земля у него есть, и родит она хорошо, налога он почти не платит, а посмотрите на разладинского мужика: изба гнилая, солома гнилая, сам мужик вял, туп и понятием не тверд — все

поддакивает, а оказывается, и не понимает, о чем речь; постоянно жалуется на баб — бабы, вишь, ему досаждают; жену бьет, а сам трус первой руки; «пужлив» перед барином, перед подрядчиком, вообще перед человеком; затеет какое-нибудь дело, не умеет себя держать совершенно. Барин, как существо высшее, подавляет его одним своим видом. Разладинец, разговаривая с барином, теряется, бормочет невесть что, ухмыляется во весь рот, даже фигурой показывает, что «мы вашей милости» что угодно, а дела сделать ни с барином, ни с подрядчиком не умеет. Наймется отвезти, положим, ночью на станцию, сам ходит, просит — «нужда»; а глядишь — и не приедет: лень встать от бабы, на печи тепло, а на дворе холодно; потом на бабу сердится. Никакой «ряды» правильно с ним делать нельзя или очень трудно; ничему он не знает настоящей цены, а по нужде соглашается на всякую цену, «сбивает цену дуром», потому что чувствует, что работа его будет плоха, чувствует, что мало-мальски из порядочной деревни мужик всегда перебьет у него и сделает лучше. А взявшись за дело, только клянчит, удивляется, как это все трудно, и беспрестанно ропщет на цену. Словом, разладинский мужик — мужик «брюзга».

— У вас кто теперича служит-то? — спрашивает мужик третьей деревни (будем называть Барской).

— Такой-то.

— Разладинский?

— Разладинский.

Барский мужик подумал и говорит:

— Ничего человек-то... а только что «набрюзжит» он вам!

И действительно «набрюзжал». Ничего худого не сделал, а именно только набрюзжал; больше и лучше этого нельзя о нем ничего сказать.

Так разладинцы «брюзжат» во всех своих делах. Бабы, которых разладинские мужики бранят, немного лучше, потому что большею частью берутся из чужих, работящих деревень; но и те скоро раскисают с этими брюзжащими мужиками. Брюзжат они без толку и в мирских делах: начнут сдавать кабак — сдадут одному, а завтра другому, и с обоих возьмут медный грош, а потом опомнятся и сообразят, что лучше взять с одного да побольше. Был у них под горой отличный и единственный

родник, из которого вся деревня испокон веку пользовалась водой; родник был у речки, выше уровня ее на аршин. Ни с того ни с сего миряне взяли и отдали на речке место под мельницу, отдали так — зря, за десять целковых в год. Мельник сделал плотину, перегородил речку — и она залила грязной, дрянной водой отличный родник, оставив всю деревню без воды. «И какой дурак это выдумал?» — сердятся они друг на друга, старые на молодых, молодые на старых, и пьют гнилую воду.

Вообще разладинцы, стоя в промежутке между мужиками села Солдатского и деревни Барской, как будто находятся под влиянием и тех и других. Не платя податей, они чувствуют себя как бы в некотором родстве с привилегированными обывателями села Солдатского и перенимают у них разные вздоры. Солдатские пьянствуют на сходках то и дело: то у них мельницу снимают, то они луга сдают, то «отвальные», то «привальные». И эти тоже пялятся в пьяницы, хотят быть пьяны от мирских доходов. Взяли вот отдали мельницу — и пили два дня; кабак отдали двум: — с одного пили и с другого, и распились бы бог знает как, если бы оба кабатчика не отказали им в вине.

Ничего хорошего, впрочем, и в этом деле разладинцы не изобрели. Недавно их навострили солдатские на такую штуку: солдатские взяли у разладинских какие-то кустики, всего целковых на двадцать, а разладинские взяли у солдатских кусок выгона. Солдатские, как люди, знающие до тонкости питейное дело, выдумали пить так: сегодня ставят вино они за кустики, а завтра разладинцы за выгон. Пропили с обеих сторон рублей по двадцати. Староста было поудержал их, сказав: «Миряне честные, ведь вон за новым кабашником еще два ведра не допито — берите с него, чем покупать-то!..»

Миряне отвечали:

— То два ведра особенные, кабашные, мы с кабака их и выпьем; а это дело тоже особенное — особенно и пить будем. Ты не разговаривай, а собирай, почем с души придется!

В другой раз староста тоже повоздержал их.

— Миряне честные! — сказал он, — пейте вы кабашное вино вместо пастушьего (пастуха нанимали)!

Но миряне сказали:

— Ты зубы не заговаривай! Кабашное вино мы с кабака сопьем, а пастушье вино пить надо особливо. Ты вот разочти, почем с души приходится, ежели, примером сказать, на четыре ведра? А кабацкие два ведра мы в сухое время допьем, когда ни мельничных, ни пастушьих пóев не будет.

Уж нечего сказать, куда охотники выпить; но даже и этого сделать как следует, с соображением, также не умеют.

С другой стороны, не имея даровых доходов, разладинцы должны работать, нести на плечах трудную обузу земледельческого труда. В этом отношении жители деревни Барской также подавляют их. Барские — мастера работать, привычны к работе, у них работа «горит огнем». Разладинцы завидуют им, но угнаться не могут. Они норовят собезьянить с барского мужика, гоняют своих жен на работу, говоря:

— Ишь вон барские бабы-то как работают! она кажная с мужем по эвтих пор в грязи пачкается на работе, не то что ты, идол эдакой преображенный!

И вот, по примеру барского мужика, пачкается и он с своей бабой, и действительно в самой что ни на есть грязи пачкается, а настоящей работы нету. И хозяйский снаряд и сам он — все это плоховато: сбруя рвется, запряжка кой-какая, руки не развязны, силишки мало, лень.

— Ка-кая у нас работа! Разве это возможно сказать настоящая, например, работа? — в припадке самоуничижения говорит разладинец... — Кабы мы барские были... ну так: там работа! А то что это? У нас едут на работу эво когда — солнце-то эво уж где!.. А барский небось темно еще — а уж он в поле. И дни у нас всё зря... Да и бабы ихние...

И тут разладинец начинает бранить сначала вообще разладинских баб, потом свою жену в частности и, наконец, всех своих сельчан, разбирает каждого порознь, и каждый порознь оказывается, по его разговору, — и дурак, и подлец, и вор, и человек, которого хуже нет. Так они все разбирают друг друга, а на вид они все люди мягкие, льстивые, с масляными глазами; придешь — не знают, где посадить, а за глаза — первые ругатели и сплетники.

Как ни покажется странным, а лучше всех живет и умней всех крестьянин деревни Барской. Он есть истинный современный крестьянин, несущий всю массу крестьянской тяготы без всякого послабления испокон веку. Он платит большие подати и бьется круглый год исключительно над земледельческой работой, и покрывает подати, да мало того: живет несравненно аккуратней, чище и разладинских и солдатских. В Барском не редкость встретить умницу, человека твердого, железного характера, изучившего до тонкости свои отношения к людям, с которыми ему приходится делать дело. А делает он и берется делать дела только такие, какие доподлинно знает. Предлагали им возить навоз в селитряные бурты и деньги давали хорошие — не поехали и угощением не соблазнились, отказались, «потому дело это не наше!» До последнего времени они не заводили кабака: находились между ними люди, которые умели оберегать мир от этой беды. Разделов семейных у них мало, так как в этом — бессилье, а им нужна сила для работы; работа у них на первом плане и действительно кипит в руках. Работают все отлично. Мальчик плачет: «тятька, *жалеючи его, на работу не взял*».

Словом — крестьянин, более других претерпевший на своем веку, следовательно, как нам думается, более угнетенный (он пережил крепостное право), наделенный плохой землей, обремененный налогами, вопреки всем смыслам, вопреки всем таблицам умножения всех частей света, оказывается порядочнее, положительно умнее, даровитее, зажиточнее и честнее того крестьянина, который, имея доходы, покрывающие все посторонние платежи, или платя сущую безделицу и, следовательно, имея все условия для того, чтобы собственная его домашняя, личная жизнь была лучше, достаточней, вольней, чтобы забота его о мирском деле была шире, — оказывается, что такой крестьянин ничего не выдумал, кроме кабака, живет бедно, пьяно, фальшиво, к ближнему равнодушен, равнодушен к миру, к себе, к семье!.. Мало того: вы видите, что отлично обставленная в материальном отношении деревня как бы лишена даровитых людей. Есть мироеды и мироопивалы, а умного, характерного мужика нет; взамен того имеется обилие фальшивых мужичонков, которые за рубль продадут отца родного, наобещают с три

короба, а ничего не сделают, недорого возьмут соврать и надуть.

Что же означает эта непонятная тайна непонятной деревенской таблицы умножения?

6

После долгого и мучительного опыта мысль ваша как будто начинает докапываться до некоторых действительных оснований этой удивительной тайны. Главную нить к познанию, как мне кажется, существа деревенского житья-бытья дает вам одно, повидимому весьма незначительное обстоятельство. Разговаривая до сего времени, вы очень часто слышите в разговоре слово «барщина», но не придаете этому никакого значения, как делу прошлому. Мало-помалу, однако, оказывается, что хотя все, что заключается в многозначительном слове «барщина», и действительно дело прошлое, но что и теперь следы этого прошлого далеко не изглажены. Впоследствии вы убеждаетесь в значении барщины для понимания современной деревни, и притом в такой степени, что уже не довольствуетесь простым признанием за ней известных результатов, но невольно должны признать, что в современной деревне нет такого явления, нет в характере деревенских людей ни одной существенной черты, нет даже ни одного обычая, которые бы вполне не объяснились барщиной, а главное, *только* барщиной. [1]

В самом деле, что такое была эта крепостная барщина? В общих чертах — это была никогда, никем и никому не объяснимая работа целой деревни на один господский дом. Без отговорок, без возражений деревня должна была работать изо дня в день, из года в год. Барин, которому принадлежала деревня, мог меняться, быть то злым, то добрым, но для деревни все эти перемены ничего не значили: работы одинаково требовали все — и консерваторы, и либералы, и даже радикалы, словом — всевозможные сорта людей, поселявшихся в господском доме. Кто бы там ни жил, от деревни требовалось одно —

---

[1] В настоящем очерке мы не касаемся тех хорошо живущих деревень, которые держатся не традициями барщины, а религиозной дисциплиной, то есть деревень сектантских.

«работа», заполонявшая большую часть дня, года, всей жизни, — работа *не на себя.* Этот коренной принцип барщины укреплялся в народе всевозможными способами, и в конце концов все это вместе взятое выработало совершенно определенный идеал для существа, носящего название *мужика.* Идеал требовал, во-первых, беспрекословного исполнения чужих требований; во-вторых, требовал, чтобы у исполнителя было глубоко вкоренено убеждение в том, что все остальное, все его житьишко со всеми животишками составляют дела, не стоящие внимания.

Так как такой идеал тяготел над всем почти русским крестьянским людом, тяготел неумолимо сотни лет, то сообразно с ним и выработался тип крестьянина, населяющего громадное большинство русских деревень. Такой, оставленный нам барщиной в наследство, крестьянин — во-первых, неустанный работник: в поте лица изо дня в день он бьется над работой; во-вторых, аккуратная уплата податей — для него первая забота, перед которой меркнут все личные заботы; в-третьих, это человек, который отвык рассуждать об чем бы то ни было; он только спрашивает: «сколько требуется», «почем сойдет с души»? Раскладка всех этих душевых рублей и копеек составляет почти единственный предмет сходок: «своих», деревенских предметов для разговоров на сходках нет — отучены. И в-четвертых, наконец, он — неусыпный работник: работать, «биться на работе» — вот цель жизни, нить, связующая дни и годы в целую жизнь человеческую. Он покоен, устав и измучившись на работе, потому что сделано то, что именно требовалось. Он сына женит насильно, потому что «берет работницу хорошую», а остальное — ничего не стоит. Мало устать на работе, мало просто измаяться: тот хороший работник, кто не знает «устали» в работе, у кого она «горит огнем», кто «лют», или, еще лучше, кто «зол» на работу.

Вот во имя этого-то идеала и продолжает жить крестьянин, как жил при барщине. Там, где барщина царила вполне, там мужик в буквальном смысле остался таким же, каким был и при крепостном праве. Так же до свету выезжает он в поле, так же бьется из-за податей, так же молча, с незадумывающимся равнодушием исполняет все, что ему прочитает староста, и, исполнив, вновь продолжает маяться над работой, сам перебиваясь кое-как или

припрятывая достаток. В таких деревнях у крестьян есть совершенно определенный взгляд на себя и на божий свет, и благодаря этому они знают, что делают, из-за чего бьются. Вот почему оказывается, что бедная, заваленная работой и налогами деревня, не имеющая никаких посторонних доходов, наделенная сравнительно худшей, чем у соседей, землей, и притом в малом количестве, живет лучше той деревни, где болячки барщины почему-нибудь не так живо чувствуются.

А кажется, как бы тут-то, при достатке, не подумать о себе? Разве мало действительно своих нужд? Сколько в селе одних ребят, которые растут неграмотными, не умеют ни сосчитать, ни прочесть или написать письма, словом — ровно ничего? Сколько в деревне нищих, убогих, калек, сирот, бездомных, случайно несчастных и оставленных на произвол судьбы?.. Обо всем этом должна бы заботиться не угнетенная чужой заботой мысль; но она не заботится, потому что не знает, что об этом надо заботиться... Мирские дела почти исключительно состоят в раскладке и питиях водки по разным случаям.

Как справедливо и тщательно разработан процесс всевозможных дележей и раскладок — об этом было уже говорено. Теперь следует упомянуть о том, как разработан процесс мирского пития; потому именно следует, что в разработке этого процесса потрачена масса крестьянского ума, такая масса, какой, за исключением процесса дележа, не потрачено решительно ни на одну из общественных деревенских нужд. Каждая деревня пьет на свой образец, на свой манер, по определенному ритуалу: так, барские пьют редко, и к питию приглашаются только старики-власти, потому что нет таких случаев, которые дали бы возможность заполучить с кого-нибудь много вина. Но и тут уже определено — с кого первого начинать, кому второй стакан и каким путем стакан должен следовать от одного края заседающих до другого и обратно. Впрочем, сравнительно здесь пьют главным образом в свои престольные праздники: на Ивана Постителя, на Ивана Богослова. Варят пиво, подливают в пиво водки и пьют так, зря, сколько влезет, три дня, три ночи, без просыпу.

Но до полного совершенства питейный ритуал доведен в Солдатском. Здесь выработано множество про-

грамм мирских питий на всевозможные случаи и на всевозможные количества ведер водки. Кажется, если бы случилось, что «всему» солдатскому миру была поставлена только одна косушка — и тут ее распили бы по правилам, и тут нашлись бы для распития ее известные, выработанные опытом порядки. В самом деле, разве не серьезный вопрос — как распить, положим, ведро вина, поставленное целому миру, человекам эдак трем стам, и притом распить так, чтобы выпито было по совести и без обиды?

Ввиду ясной для всякого серьезности этого дела мирская мысль в совершенстве разработала ритуалы распития одного ведра, двух, трех и т. д., вплоть до такого количества ведер, более которого не запомнят столетние старожилы. Одно ведро пьют вовсе не так, как пьют два; смотря по количеству ведер, к питию привлекаются — то исключительно власти, считая в том числе и стариков, так как «старики» — действительная власть. При известном количестве привлекают к питию, кроме властей, некоторых из жителей, имеющих все права занять в недалеком будущем места стариков. Затем есть случаи, когда право на часть мирского вина присвояется и обыкновенным обывателям, но тоже в известном порядке, с известным выбором, по указанию стариков или по дворам; а, наконец, были и такие случаи, когда вина хватает на весь мир. Это, впрочем, редко. «По дворам» пьют тоже разно: по одному стакану получает всякий глава дома; если же придется по второму, то этот второй стакан глава дома может, по усмотрению своему, уступить брату, живущему с ним, или сыну, но имеет полное право выпить и сам. Необходимо, следовательно, в видах абсолютной справедливости, до тонкости изучить ведро и стакан — его объем и меру, уметь взглянуть на стакан, определить количество *таких* стаканов в ведре и, сообразно полученному цифровому результату, назначить тот или другой питейный ритуал. И на деле существуют знатоки, которые, даже «поболтав» ведро, из которого уже пито, по звуку знают, сколько там осталось «вот этаких» стаканов и сколько таких, так что старикам и властям остается только определить: какой именно стакан пускать в ход, чтобы дело было сделано честно, благородно, побожески.

Но знать стакан и ведро далеко еще не все; такое знание есть еще только часть полного знания дела: необходимо еще знать восприимчивость каждого мирского желудка к питиям. Не думайте, что это дело шуточное, а главное — не думайте, что оно не играет никакой роли вообще во взглядах деревни на справедливость людских отношений. В самом деле, мир очень хорошо знает, что вот этот человек валится с пятого стакана, этого не свалишь десятью, а вот этот и со второго теряет ноги, руки и голову... Спрашивается: если, положим, на душу, входящую, на основании количества ведер, в число допущенных к питию, приходится по шести стаканов и если один из допущенных валится с третьего, а другой со второго, то не следует ли позаботиться об остающихся им стаканах и подумать о том, чтобы они получили правильное, справедливое назначение, а не были бы выпиты — так, «зря» — какой-нибудь первой попавшейся глоткой? При пьянстве ста, полутораста человек, имеющих право на участие в питии, постоянно случаются, во-первых — совершенно не пьющие, во-вторых — валящиеся под лавку со второго стакана, с третьего, с пятого и т. д., вследствие чего получается известное количество питий, требующих нового порядка, нового церемониала, которых нельзя игнорировать. Вот почему всякое — главным образом большое — питие, начавшись по одному плану, может перейти множество разных степеней и закончиться питием по плану совершенно другому, чем началось. Вот почему при питиях людей, глазеющих на питье, гораздо более, чем пьющих; и глазеют они недаром; порядок питья легко может измениться почему-нибудь, и те, кому в данную минуту приходится только глазеть, чрез какое-нибудь мгновение могут быть призваны к участию. Почем знать, что кто-нибудь не свалится со второго стакана, хотя до сих пор валился только с третьего?

Само собою разумеется, что если до такой совершеннейшей степени разработан вопрос о том, как пить вино, то не менее совершенно разработаны и исследованы вопросы, касающиеся поводов, по которым и следует и можно пить. И точно, мирское внимание не упустило из виду самых ничтожнейших, самых крошечных поводов для того, чтобы мир мог иметь даровое вино, или для

того, чтобы ставить вино на свой счет. Я не говорю уж о таких вещах, как сдача мирского имущества в аренду: тут пьют долго и много и берут вино со многих; не говорю также о таких поводах, которые не требуют никакой выдумки и узаконены повсюду: наем пастуха, выбор старосты, разбор мелких сельских ссор, обид и т. д. Всякому известно, что без вина в подобных случаях никоим образом обойтись нельзя. Нет, я говорю о таких выдумках, которые не могут прийти в голову никому, кроме людей, не один год изучавших — и изучавших вполне, специально — данный предмет.

Человек, который в крайнюю минуту (когда вино выпито, мир желает еще по стаканчику, но не может выдумать — за что пить) сумеет указать на подлежащий опиванию предмет, если не уважается миром, то ценится им, как человек умный и знающий. Так называемые в здешних местах «коштаны» — особый вид из рода мироедов, про которых сами миряне говорят, что «он на десять рублей пользы миру сделает, а на тридцать убытку», — тем не менее не только терпятся миром, но частию даже и уважаются, во-первых, потому, что никто лучше коштана не знает мирских дел, а во-вторых, потому, что все это знание почти только тем и хорошо, почти потому только и нужно мирянам, что оно выручает их в трудные минуты недостатка вина, давая возможность отыскивать к продолжению прерванного пьянства предлоги. Спрашивается: кто из сотни человек мирян, недоумевающих над вопросом о том — кого и по какому случаю опивать, вспомнит, что вот такой-то Иван Миронов по весне брал из мирского лесу не в черед сорок кольев для плетня и что, следовательно, должен поклониться за это миру? А коштан знает, ибо он, как паразит, только и живет тем, что цепляется за других. И вот к Ивану Миронову посылают депутацию «взять хомуты» или «снять» телегу с передков и передки доставить на сходку. Иван Миронов, большею частию и не приглашаемый лично на сходку, должен явиться сюда за хомутами и за передками и «должен» поставить миру вина, так как ни без хомута, ни без передка ему невозможно существовать.

Чтобы не утомлять читателя перечислением всевозможных мелочных придирок, которые мир пускает в ход, когда дело касается такого вполне самостоятельного,

вполне принадлежащего мирскому благоусмотрению дела, как мирское питье водки, я расскажу только следующий случай. Выше я говорил, что разладинские мужики за десять рублей уступили какому-то крестьянину право на устройство мельницы. Крестьянин сделал мельницу и плотину. Мельница самая первобытная, бедная, деревенская; плотина узенькая — с небольшим в аршин ширины и не более как сажени в три длины. Но дело в том, что один берег речонки принадлежит разладинцам, а другой — обывателям села Солдатского, то есть плотина «примыкает» к разным берегам. Вот эту-то «*примычку*» и явились пропивать сначала солдатские мужики, а потом, по обезьянному своему нраву, и разладинцы.

— Станови четыре ведра! — категорически объявили мельнику солдатские депутаты.

— За что это?

— Как за что? — за примычку!.. Видишь, чай, примыкает...

— Да что вы, лешие эдакие, с ума вы спятили?..

— Ну так загород постановим, пропущать народу не будем с нашего берега!..

Что тут делать? Разумеется, поставил.

Только что было отделался от одних, ползут другие, разладинцы.

— Вы чего, дьяволы безголовые?

— Примыкаешь! — бормочут: — четыре ведра, а то загород постановим.

Мельник не мог не поставить вина разладинцам: нужда научит кирпичи есть; но зато все время, когда мир пьянствовал, мельник, бледный от гнева, дрожащий всем телом от волнения, на чем свет пушил стариков... Ничего, пили!

Разладинцы пьют глупо, без толку; вообще это не настоящие крестьяне. При всяком питье у них старики отделяют себе известную часть и остальное отдают миру. «Старичишки», как их здесь величают, обыкновенно, по жадности своей, всегда захватят столько, что, при всем старании, не успевают выпить в один сход и допивают на другой день. Миряне пьют тоже без всякого рассудка: один еле жив плетется домой, а другому капли не досталось. Но, несмотря на эту во всем разладинском ощу-

щающуюся распущенность и бестолочь, и здесь был на моих глазах случай, доказавший мне, что если бы да разладинцам хорошая мирская школа, вроде той, какую выработали солдатские мужики, то и они не плошали бы в мирских делах. Один «подносчик» (такой чин на питейных сходах — конечно, чин выборный) отлил по дороге из кабака, куда ходил за мирским вином, бутылку мирского вина. Ведро он отправил на сход с первым встреченным односельцем, а сам с бутылкой пошел домой, где его ждал приятель. Они не успели выпить с ним по одному стакану, как обиженный мир нагрянул на преступника. На миру, даже таком разгильдяйном, нашлись уже настолько опытные люди, что «по хлюпанью» водки в ведре догадались о краже, о том, что подносчик отлил... Мир оцепил дом подносчика со всех сторон. Подносчик, его приятель и вся семья подносчика стали защищаться. Конечно, прежде всего были заперты ворота, благодаря чему произошла в буквальном смысле осада: в деле были и колья, и камни, и вожжи...

Крестьянский ум, талант, мысль, вообще вся сила его природной даровитости, как видите, действует и тут — отрицать ее нет никакой возможности; но все это, как на зло, загнано и действует в таком замкнутом кругу, практикуется над такими явлениями деревенской жизни, которые не имеют для насущных человеческих интересов деревни либо совершенно никакого значения, либо имеют значение весьма отдаленное. Тем не менее в этих случаях крестьянский ум работает, работает сильно и много, наблюдает всевозможные мелочи, знает и видит человека насквозь, не жалеет своей спины, рук, сил, стремится не обидеть, не обчесть человека. Но как только дело коснется действительно общественного дела, такого дела, которое бы принесло миру существеннейшую пользу, облегчило бы положение его, которое бы помогло поступить мирскому человеку действительно по-божески, — в таких-то именно делах, как на грех, в мирском деревенском жителе исчезает все: внимательность, наблюдательность, даже исчезает самая тень справедливости. Для таких дел не выработано ни ритуалов, ни порядков, ни обычаев — нет ничего. Между тем в делах, не имеющих для деревни никакого значения, кроме вреда (как, например, пьянство),

или в делах, которые имеют значение только для посторонних деревне ведомств, все выяснено, определено — лучше не надо. Нельзя не заплатить в срок оброка, аренды; но молча смотреть, как мрут «горлушком» дети,— можно. Нельзя Ивану Миронову простить сорока кольев, нельзя оставить не пропитую перемычку, и можно за вино на волостном суде сделать всякую несправедливость, можно растратить крестьянскую казну в сотни, тысячи рублей...

Чем иным, как не тем, что современный крестьянин *еще и не пробовал жить в своих собственных интересах,* что он даже отвык примечать их в обиходах собственного своего житьишка, — объясните вы себе, например, такую сцену.

Мельница. У мельницы и на плотинах — несколько телег с зерном, ожидающих своей очереди; на телегах и около телег и на земле — крестьяне — и старые и молодые. На горе стоит новенький домик арендатора мельницы, купца. Купец сидит у отворенного окна, в ситцевой рубахе, пьет чай и отирает потную шею и красное лицо полотенцем.

— Глянь! — говорит один из ожидающих: — ишь, красномордый чорт, чай пьет.

— И то пьет!..

— Я, братцы, считал, считал, которую это он лакает, так и бросил — всё ему хозяйка подает да подает...

— Как не лопнет!

— Ну нет, брат! Его не разопрет! Уж он на этом деле, чай, наладился...

— Да ему только и дела, что чай пить!

— А то что же? сиди да пей. — Больше ничего!

— Только и делов!..

— Сиди да попивай чаек-то!..

— Наш брат, дурак, бьётся-бьется иной раз из-за копейки до поту, а тут вон ничего не делает, белых рук не марает, а деньгу гребет да чаек распивает... Ишь вон, как клещ налился!..

Многие из лежащих на телегах и на земле около телег мужиков вздыхают...

— А какая хитрость-то! Выстроил вон анбар, больше ничего, а он, анбар-то, тысячи две аккуратно кажинный

год ему в карман кладет... А наш брат кряхти из-за каждой малости.

На эту тему отовсюду слышатся комментарии и дополнения; да и трудно, говоря о крестьянском житье-бытье, чувствовать недостаток в материале.

Но подойдем к разговаривающим и спросим:

— Чья это мельница?

— Наша!

— Вы какие сами-то?

— Солдатские.

— Общественная мельница?

— Общественная; вон, энтому вон (указание на гору), чай-то пьет... ему отдаем.

И затем следует рассказ, как бы желающий доказать бессовестность вот этого человека, который сидит и чай пьет. Судите сами, что он сделал. Испокон веку близ мельницы стоял небольшой сарай, который нанимали у крестьян скупщики хлеба. Скупая его по деревням, в разных местах, мелкими партиями, они и свозили его в одно место, к мельнице, потому что весной вода в реке, на которой стоит мельница, поднимается на две сажени — на сажень идет выше плотины. С Волги приходят сюда баржи (в последнее время даже пароход стал приходить каждую весну), забирают хлебный груз и вывозят его на Волгу. «Вон этот, что чай-то пьет», злодей этот, арендовал у крестьян мельницу, вместе с мельницей арендовал и амбар; но вместо дрянного выстроил большой, хороший сарай и каждую зиму, за пять месяцев, никак не больше, получал с этого амбара, не шевеля пальцем в буквальном смысле, не менее двух тысяч рублей.

Тон, которым рассказывают про это злодейство, какой-то погребальный; обида слышится в нем явная. И действительно обидно смотреть, как это человек сидит, пьет чай и получает деньги... Но о том, чтобы кому-нибудь из мирян пришла мысль самим взять да выстроить амбар, самим назначить человека мирского, который бы смотрел за мельницей, представляя миру отчет, — об этом никто не заикнется; нет «на такие» действительно общественные дела ни выработанных порядков, ни ритуалов. И, поверьте, это тоже барщинный результат. Крестьянин может только копошиться в своей нуждишке или

проявлять свои дарования у кабака, настоящие же доходные дела делает другой; мужику хорошо, если достанется при этом «положенный» по питейному регламенту стаканчик вина, а уж подлинный доход — это дело не мужицкое. Это как бы свыше предназначено для лиц, совершенно деревне посторонних...

Другим резким примером, до какой степени крестьянин в самом деле отвык от действительно нужных мирских дел, может служить то, что казенные и удельные земли, отдающиеся в аренду по весьма незначительной цене и в большом количестве повсюду, попадают в руки крестьян *всегда* только из вторых рук, то есть сначала они попадут в руки купца, человека, арендующего целый участок, а потом разберутся по клочкам и за тройную цену крестьянами. Объявления о продаже и отдаче в арендное содержание земельных и лесных угодий постоянно рассылаются по волостным правлениям, даже и сельским старостам; но на моих глазах не было случая, чтобы само общество решило бы не дать себя в обиду: напротив, знают, но как будто ждут — когда и кто возьмет землю. «Кто взял луга-то?» — «Городской какой-то!» — «Где его приказчик-то?» — «Там-то». И идут к приказчику, который, отдав вчера по одному рублю за десятину, берет сегодня по три, по четыре и по шести. Берет деньги и пьет чай, а народ глядит на него (издали, не близко) и негодует:

— Ишь, красномордый! знай брюхо парит да денежки собирает.

7

Надеюсь, что читатель поймет, почему в предшествовавших очерках я не коснулся той «крепкой думы», которая гнетет каждую крестьянскую голову «дома», у его домашнего очага, не на сходке, не у кабака, а под соломенной крышей своего дома. Браться за эту тему в беглом очерке — мне не под силу: так эта «крепкая дума» многостороння и мучительна и потому требует разработки обстоятельной. Имея возможность только поверхностно остановиться на этой стороне многочисленных крестьянских забот, мы можем указать лишь на то, что *крестьян-*

ская дума одинока. В этом-то именно и заключается *горе деревни:* общественная мысль хлопочет о податях, о расходах на земство, на волость, на множество разновидностей всевозможных сборов или разрабатывает кабачный ритуал, и вот почему драма деревенской избы, тягота крепкой думы под соломенной крышей не выбралась из-под крыши на сходку. А в этой-то драме и есть настоящее *дело:* только бы она-то выбралась из-под низенькой соломенной крыши, только бы она-то сделалась достойною хотя такого же внимания, каким, например, пользуется «еще не пропитая» примычка, и в деревне *в самом деле* станет тесно, в самом деле станет душно в крестьянской избе. Как только это случится — конец кабаку, конец деревенскому навозу, деревенской пьяной драке, деревенской беспомощной болезни, бесследной смерти и всякому грабежу. Деревня немедленно «укупит» столько земли, сколько хватит глаз, и не будет ждать ни «черного передела», ни «генеральной межи». Деньги найдутся немедленно. Амбар будет выстроен гораздо лучше, чем выстроил его «красномордый»; мельница будет в исправности, учитель будет не такой, который сам ничего не знает, или не такой, который бьется из-за куска хлеба и которого гнетет презрением всякая деревенская шваль из породы Тит Титычей, а настоящий, знающий дело человек.

Как же вывести на дневной свет «крепкую» деревенскую думу?

Всякий раз, когда задаешь себе этот вопрос, утомленная обыденными порядками мысль непременно, неведомо почему — просто, кажется, ни с того ни с другого — вдруг выдвигает такой вопрос: «А откуда возьмут жалованье *«им»*?..» Это уж так как-то само собой является: до такой степени повсюду много всевозможных жалований и до такой степени не делается кругом даже ничтожнейших вещей без того, чтобы делающий не соприкасался с каким-нибудь сундуком. Какое обилие людей, примыкающих к сундукам, и как длинен самый ряд сундуков — судить не нам: пусть читатель представит себе это дело сам, и ему будет понятно, почему при решении такого трудного вопроса, каков деревенский, как будто ни с того ни с сего возникает мысль о каком-то жалованье.

VIII

Как дорог для деревни «разговорчивый человек». — Рассказ об одном добром человеке. — Коштаны и мироеды.

1

...Вспомнился мне еще разговор с одним крестьянином. Крестьянин — человек молодой. Очень часто он заходит ко мне, сидит, молчит и смотрит, что я делаю. Сидит молча часа два-три, потом уйдет. Иной раз разговорится. Впрочем, о современной крестьянской молодежи мы имеем намерение говорить особо, по возможности подробно, поэтому и полная характеристика молодого парня будет подробно изложена впоследствии. Теперь же скажу, что парень кой о чем крепко думает, хотел бы кое-что знать, видеть; но покуда ни до чего определенного не додумался: думает часа четыре подряд, вздохнет, а не то плюнет и вздохнет, и в конце концов уйдет.

Разговор зашел о новом волостном писаре, определенном на место того, который, как известно читателю моих деревенских заметок, уволен по случаю расхищений волостных сумм вместе со старшиною.

— Ну что ж, хорош новый-то писарь?

— Ничего, пущай...

— Не мотает мирских денег?

— Нету, покуда что не слышно.

— Аккуратен?

— Знамо что... А хуже прежнего-то!

— Как хуже? Ведь дело свое он справляет?

— Как не справлять, справляет — ничего...

— Деньги не ворует, не тратит?

— Это что говорить...

— А ведь тот дела запустил и деньги мирские брал.

— Да об этом и речи нет. Размотали деньги до последней полушки. Что худо — того уж хвалить нельзя, а уж что хорошо — тоже объяснить следует.

— Что ж в нем было хорошего?

— А вот что: *разговорчив* был. Только вот это самое. Больше ничего в нем и не было стоящего. Ну, а разговор-

чив — так уж насчет этого цены нету! К нему, бывало, зайдешь по своему делу: дела не сделаешь, а не отвертишься, сидел бы да слушал. А этот что! От этого слова путного не дождешься. Такая *необоюдная* дубина!

— Да ведь дело-то делает?

— Да, он делает; пес с ним и с делом, делай его. Про то говорю: старый писарь и дела не делал, да был обоюдный человек: разговором был хорош. Обо всяких, например, делах, обо всех предметах, или там война например, или же там про разные статьи, как печатают, — до всего доходил, все знал; говорит — не наслушаешься. Вот чем был хорош, а насчет делов, так это для нашего брата все одно: хорош ли он, худ ли — нашему брату не велика прибыль.

И так хвалят того самого писаря, который на мирские деньги, как известно из учета, выписывал газеты. Поверьте, что даже простой разговор, не о том, о чем «калякают» миряне, и тот — в деревенской жизни новость, и притом очень большая.

Между тем, как известно, в деревне не видать «разговорчивого человека», хотя ему и было бы о чем поговорить здесь, и говорил бы он всегда от сердца, хотя и о самых обыкновенных вещах, потому что всегда его речи возбуждаются фактами окружающей действительности, а частица его речей — нет-нет да и перейдет прямо в жизнь, на глазах «разговорчивого человека». А ведь «разговорчивых людей» у нас немало, да разговаривают-то они всё в пустых местах, там, где вовсе в них и не нуждаются. Не только «разговаривают», а даже прямо поедают сами себя, истощаясь, изнывая в чисто теоретических разглагольствиях.

2

Некоторое время знал я здесь одного молодого человека. Андрей Васильич Соловецкий был сын причетника, человека, обремененного семьей, нуждой во всех возможных видах, в таком удивительном совершенстве разработанных на русской земле. Неволя заставила его жениться, неволя заставила гнуть шею перед батюшкой, перед всем приходом, перед каждым мироедом, и притом перед

каждым отдельно, на свой образец, гнуть из-за того, что у него семья, которую человек *не желал иметь* (вот какие бывают на Руси положения!), но которую нельзя бросать. Можете представить весь холод такого существования, весь гнет унижения, всю громадность размеров поругания над человеческим достоинством! Андрей Васильич с детства не слыхал ничего, кроме горького, слезного ропота отца, матери, детей на свое существование, на безвыходность и ужас этого существования.

Всякому известно, что причетник, с семьей человек в шесть, всегда бедней бедного мужика; что для его детей крестьянский двор, где все свое, где никто его не сгонит с насиженного места, — предмет зависти. Андрей Васильич до четырнадцати лет оставался неграмотным; все эти годы работал около дома, как работает простой мужик; он знал, как ходить за скотиной, как ее убирать, пасти, знал, как пахать, боронить; радовался при урожае, горевал — и горько — в засуху; словом, вся крестьянская забота была ему так же близка, как и всякому крестьянину. Но, кроме этой заботы, он, как человек, поставленный в худшие условия, чем любой крестьянский мальчик, завидуя, изучил, приметил все хорошее в крестьянском житье-бытье, приметил потому, что в его жизни этого не было. Мало того: как член семьи, которая то ожесточается на судьбу, то, измученная, покорно возлагает надежды на бога, он не раз в жизни, вместе с семьей, имел случай быть действительно спасаемым — и именно крестьянином.

В глухую зимнюю ночь, во время отсутствия отца, который ушел в город хлопотать о переводе в другое место и не возвращался и не шел домой целый год, когда семья съела все, что было в доме, когда ребята буквально «кричали» от голода, мать сказала маленькому Андрею: «пойдем!» И пошли они за господские амбары воровать... Андрей Васильич и до сей поры не забыл этой ночи, этого ужаса, который охватил его душу от воя ветра, от страха быть пойманным и от жгучего стыда...

И вдруг — господь спас их: «откуда ни возьмись» — крестьянин. Кажется, он темною ночью пробирался из лесу с мирскими дровами... Он сам знал нужду и сразу понял, зачем пономариха с сыном толкутся за амбарами...

— Власьевна! — сказал он тихо. — Что ты это?.. Парнишку заморозишь!.. Сажай его — довезу до дому.

Довез, дал и дров и хлеба. Буквально спас.

Через год от отца пришло письмо: оказалось, что он получил место уже в другой губернии, куда пошел пешком, а не писал потому, что писать было нечего — не поможешь. Целый год он по грошам собирал деньги на переёзд семьи и теперь вот посылает десять рублей. Он знает, что за эти деньги нельзя доехать: так далеко он забрался; но пишет, что больше нет, достать негде, «как знаете, больше моих сил нет!» На переезд за одних только лошадей требовалась сумма по крайней мере раз в семь более присланной; и что же? — опять бог спас, и опять в лице крестьянина: нашелся человек, «пришел сам», который взялся отвезти и за десять рублей — ради христа потрудиться... Отвез, да еще всю дорогу, около месяца, бог его ведает как, кормил семь человек...

Немного, правда, было таких случаев в жизни Андрея Васильича; но то, что было, оставляло след неизгладимый, вековечный, навеки посевало в сердце впечатление красоты души этого заскорузлого, грубого, безжалостного крестьянина... Таким образом, Андрей Васильич знал крестьянина, как человек подневольный, *больше,* чем крестьянин знал сам себя; он знал его и грубость, и беспечальность, и желание гнуть в дугу; но знал и силу крестьянского великодушия, и доброту, и понимание чужой нужды, беды...

На четырнадцатом году отец хотел отдать его к мужику в кузню, в ученики. Мать заступилась и, после целого месяца жестоких ссор с отцом, настояла на том, чтобы везти неграмотного уже четырнадцатилетнего мальчика в духовное училище. В городе, в семинарии, у Андрея Васильича был брат, тоже с детства измученный нуждой и уже знавший, что будущая жизнь его — та же нужда, так как сердце говорило ему, что отец недолго наживет, что семья только и надеется на него. И вот ему предстоит уже помочь семье: поместить в училище неграмотного парня... Какие всё задачи достаются на долю этих тружеников! Как, в самом деле, поместить неграмотного в училище, где требуется экзамен? Но находятся добрые люди, советуют, «выбирают время», и Андрей Васильич попадает в училище...

Выбран был какой-то особенный момент, когда могло совершиться такое дело. Жена смотрителя — женщина горячая, всегда суетится, спешит; задумает что — все вдруг; в субботу смотритель и смотрительша ездили ко всенощной, в седьмом часу: тут обыкновенно в доме идет содом — смотрительша в суетах, шумит, торопится... Смотритель *обыкновенно* сам не свой, тоже как оглашенный... Все это было исследовано, и устроено так, что неграмотного малого всунули к смотрителю в самый разгар сборов ко всенощной... Как и следовало ожидать, смотритель, «обыкновенно в это время как оглашенный», бормотал впопыхах: «не время», «не время»; его просили проэкзаменовать, потому что мальчику негде жить и надо либо поступить сейчас на казенный счет, либо уехать назад. Смотритель, задавая какой-нибудь вопрос, конечно впопыхах, спрашивал: «Кто сотворил мир?» Но жена не давала покою, и экзамен прерывался... Впопыхах, наконец, смотритель, как бы выбившись из сил, сказал «Ну, пусть остается...» И оба с женой, еле переводя дух от усталости, уехали ко всенощной, а неграмотный был принят.

Семинарского житья-бытья Андрея Васильича я описывать не буду. Труженик-брат на своих плечах вынес его из беды, которая ежеминутно могла разразиться, ежели бы открылся обман. Работая до упáду днем над своими уроками, он по ночам работал с братом: одновременно он учился читать и писать и наизусть, со слов брата, выучивал все заданные уроки. Через год такой муки Андрей Васильич, наконец, справился, стал настоящим, не поддельным учеником, пошел по обыкновенной семинарской дороге, и пошел хорошо.

3

Я познакомился с ним в то время, когда он проживал у дальнего родственника из духовных, верстах в десяти от той деревни, где пришлось жить и мне. Кто-то из заезжих крестьян, услыхав, что в контору требуется грамотный человек для переписки прошлогодних счетов и отчетов, указал на Андрея Васильича, присовокупив, что

парень этот больно добер, только бы ему маленько с делами справиться...

Написали Андрею Васильичу записку с предложением работы, предложили рубль серебром в сутки и сказали, что работы хватит на месяц, а то и на два. Приехал он немедленно, в восторженном состоянии, с множеством планов: главное — ехать учиться. По приезде Андрей Васильич сейчас же сел за работу и недели две подряд корпел над всевозможными счетами. Казалось, он ни о чем другом и не думает, как только об этих счетах, о том, чтобы рублей не записать в копейках; а если придется сходить куда-нибудь, так только по делам, все насчет тех же цифр, рублей и копеек, а между тем его деревенское происхождение, его знание деревенской жизни, деревенских речей, манер, лиц — все-таки сделали то, что он в эти две недели не только знал деревню, но уже вошел и в ее интересы. Припомните, какое значение в жизни его имела деревня, и вы поймете, что не войти в деревенские интересы для Андрея Васильича не было возможности. Прошло два месяца; счеты были окончены, а Андрей Васильич *не мог* ехать, всё дела, то то, то другое. Он продолжал *проживать*, то есть спать и обедать койгде, где застигнут обстоятельства; в то же время деревенская печаль, постоянно трогая его за сердце, понемногу втягивала да втягивала его в самую ее глубину.

Свалился с крыши человек, плотник, лежит и не дышит. Разумеется, никто не знает, как и чем помочь.

— Позови-ко Андрей-то Васильича!.. — говорит народ.

Андрей Васильич приходил. Оказывается необходимым спирт, нужна перевязка.

Сторож-солдат, находящийся среди зрителей, объявляет, что у него есть, например, одна штука, и бежит за ней. Скоро он возвращается с бутылкой, в которой какая-то жидкость.

— На-ка, погляди, что такое? Стоит в чулане уж второй год: не то лекарство, не то что; пес ее знает, что такое. Пробку объедает, и дым валит... А штука крепкая — одно слово!

— Чего лучше! — говорят в толпе, — обдай ему спину-то, оно жаром его очувствует.

Бутылка дымится и, точно, объела пробку, но что такое в ней — никому не известно.

— Ишь пес какой, лютая, шельма!.. — толкуют в толпе.

А Андрей Васильич сгорает со стыда: он также не знает, что за пес в бутылке, и хоть настоял на том, чтоб не поливали этой жидкостью спины плотника, но горько пожалел о своем невежестве. Плотник очнулся, а Андрей Васильич, разыскав какой-то старый лечебник, всецело отдался изучению его. Стыд незнания, так осязательно доказанный ему жизнью, мучит его. Куда ни пойдет — лечебник у него в руках.

— Что, Андрей Васильич, жена моя помирает быдто, — говорит мужик.

— Чем она больна? давай я по лечебнику...

— Да пущай ее помирает... Право!

— Как так, зачем?

— Не по душе мне она... Пущай, не трожь ее, помирает! а то ей хуже будет... Из всех сердцов она меня выводит... потому — хитрая, язвенная женщина. Меня на ней насильно женили.

Идет рассказ о насильственной женитьбе, о злом характере жены, которая виновата тем, что не спросила у жениха до свадьбы — хочет ли он взять ее, а пошла с первого слова. Андрей Васильичу есть что сказать, хоть все, что он говорит, — всё вещи старые, всем известные. Но тут в деревне они нужны.

— А лечить все-таки лечи. Это нельзя. Поезжай к фельдшерице, привези!

— Куда я в евтакую погоду? Это и сам замерзнешь.

— Поезжай непременно!

— Да у меня лошадь споролась; играла да на кол грудью наткнулась, на левую переднюю не ступит.

— Да что же ты за чорт после этого! Бессовестный ты человек! Мало колотил ты ее, теперь бросил умирать как собаку! Найми у мужика, ежели своей лошади нет.

— На что я найму? У меня и гроша за душой нету.

— Ну так я тебе найму. Пойдем со мной!

— Да по мне — нанимай...

Андрей Васильич занимает рубль серебром у мужика, члена банка. Мужик дает ему деньги и говорит:

— Ты вот что, Андрей Васильич, ты хошь и три возьми, да распутай ты меня с банкой с эстой! Ведь

ночей не сплю. Народ говорит: «нажился»... Черти эдакие! А я тебе, по чистой вот по совести, какая бывает у человека совесть, например, чистая!..

— Ладно, ладно...

И еще раз жизнь втянула Андрея Васильича в маленькое, но серьезное дело — в семейную драму... Поправившись, больная идет к нему благодарить и рассказывает, что во время болезни родные, мать родная и сестры, выбрали у нее из сундука всё до нитки: «думали, умру!» «Муж в ту пору тоже моей смерти дожидался, а теперь вот, когда бог помог встать, заступаться стал». Муж, точно, стал совсем другой: горой стоит за жену или за имущество — неизвестно. И опять Андрей Васильичу, как человеку деревенских интересов, нельзя не вступиться в дело.

4

Покуда он участвует во всех семейных сходках, покуда он с величайшими усилиями добивается «уступок», то есть покуда, благодаря ему, родители возвращают взятые вещи, возвращают медленно, с промежутками, по полотенцу, по паре чулок, народный говор тянет его в банк: «разбери!» Но, прежде нежели взяться за дело и разобрать как следует, надо отдать рубль серебром члену, которого обвиняют в растрате. Андрей Васильич решается наняться на эту работу у товарищества. Происходит самый обыкновенный наем.

— Много ль тебе надо-то?

— Да вы дайте мне, чтоб хватило и на еду и на табак.

— Много ль?

— Да рублей восемь.

— Это в год, что ли?

— Как в год, в месяц!

— У-у-у ты, боже мой! Куды этакую прорву... Это и совсем банку пристановить надо... Табаку на столько рублев!..

— Дураки вы этакие! — кричит кто-нибудь из тех, кто расслышал, в чем дело. — И на пищу и на табак.

— Больно жирно восемь-то рублев... Этак по вось-

ми-то рублев будем проедать, так нам и с банкой надо по миру пойти.

— Да вы сосчитайте, много ли я прошу-то.

— Клади на счетах!.. Давай счеты! Это лучше всего!

— Он тебе на сорок насчитает! Счеты-то велики!

— Клади, клади!.. Будет галдеть, дьяволы!

Раздается стук счет.

— Клади, — говорит Андрей Васильич: — на харчи хоть по пятнадцати копеек в сутки...

— Куды — столько! Это разор...

— Да ты скажи, — горячась, вопиет Андрей Васильич: — почем говядина? Ну почем фунт мяса?.. Ну?

— Теперь, поди, пост!

— Я говорю: ты скажи цену? Какая цена?

— Ну три копейки...

— Ну три фунта — девять...

— Да это лопнешь с трех-то фунтов...

— Лопну или не лопну—это дело мое! А меньше трех фунтов мне в день нельзя. Попадается кость — в ней тоже фунт целый пропадает весу-то.

— Верно! — раздается голос.

— За три заплати, а уж трех фунтов никогда не принесешь.

— Вер-р-рн-а! — утверждают несколько голосов.

— Так как же ты хочешь, чтобы на обед и на ужин хватило меньше трех фунтов! — с горьким упреком говорит Андрей Васильич.

— Что ты его слушаешь, — раздаются сочувственные голоса. — Он сам не знает, что у него язык болтает... Ладно! Бери на три фунта — чего там, авось не проешь.

Едва улаживается дело с мясом, как вопрос о курительном табаке вновь поднимает целую бурю, и только после весьма продолжительных прений, оранья, брани, перекоров дело решается в пользу Андрея Васильича.

— Ладно! Пущай! — говорят одни.

— Шут с ним! — заканчивают дело другие.

И Андрей Васильич принимается за работу. Оказывается необходимым разобрать не только книги последнего года, но все банковые дела с основания, причем в течение последних двух-трех лет оказывается такая

путаница, которую, кажется, нет никакой возможности разобрать, если основывать все дело на писаных документах и записях. Записи, вроде, например: «дано в кабак 10 р.», или: «Миридоновы за 22 фун. по 13 к. за вичину брата опсвятках повернуть в оборотные» и т. д., без означения года, месяца и числа, — записи, однако, свидетельствующие о том, что в кабак действительно дано, а Миридонова ветчина тоже действительно зачислена в оборотные, — все это требовало других, не писаных документов и разъяснений. Необходимы были словесные объяснения, расспросы и о ветчине, и о Миридоне, и о кабаке. Необходимо было поэтому перезнакомиться не с одной, а с двадцатью деревнями, необходимо было разъезжать по этим деревням, ночевать в избах, расспрашивать и Миридона и Миридоновых односельчан. При этом обнаруживается такая масса приятных и отталкивающих вещей, что знание народной среды, приобретенное в детстве и отрочестве, делается у Андрея Васильича еще шире. «Нет, — решает он: — сюда надо являться во всеоружии знания и опыта, а дела здесь — несть числа!» И мысль о знании мучит его. Дорабатывая банковое дело, он только и думает о том, хватит ли у него денег на пароход...

Наконец дело окончено: выяснены все темные места, все пропуски; все записано вполне, на основании всевозможных справок; с громадными усилиями достигнуто то, что из кармана лиц, заведывавших банком, были возвращены и десять рублей, данные в кабак, и деньги за Миридонову ветчину, словом — выяснена вся сумма недочета и по возможности, с ругательствами, бранью, проклятиями, возвращена в банковую кассу... Дело сделано старательно, справедливо, ничего не утаено. Лучше всех об этом знают виновные, и, по окончании Андреем Васильичем работы, чувствуя, что худое дело как-никак, а снято с их плеч, виновные в банковых беспорядках начинают относиться к нему с искреннейшей благодарностью. Они знают, что могло быть и хуже, что, несмотря на то что Андрей Васильич, кажется, уже до всего доходил, а в самом деле-то до корня не добрался, а без него — кто станет добираться? Такого другого человека не найти. Стало быть, самый корень-то так и останется в забвении.

— Спасибо тебе, вот какое спасибо! — искреннейшим образом говорит один из виновных. — Оправил ты меня!.. Я уж думал — Сибирь мне... Пойдем чай пить!..

— Нет, не хочу!

— С медом! Ну сделай милость, пойдем!

Другой, тоже из числа оправленных, зовет к себе:

— А оттедова ко мне, бражкой угощу!.. уж как мы тобой довольны, вот тебе перед богом...

Нехорошо на душе у Андрея Васильича. Знает он, что люди эти не раз, во время банковой работы, оставляли у него на душе тяжелое, обидное впечатление.

— Обругать бы тебя надо, Игнатий Петрович! — говорит он одному из «оправленных»: — а не чай пить.

— Ну будет! Знаю я! Оставь это, сделай милость, пойдем!

— Да и тебя, Капитон Васильич! И у тебя рыльце в пушку! Уж извини...

— Мы что знаем? — наивничает Капитон Васильич: — мы нешто грамотные? Там писаря напишут бог весть что, а мы отвечай... Нашего брата и так уж пилили-пилили... Я с эвтой банки — ночей не спал... Бог с ней и с банкой! А доволен я, что по крайности ты меня выправил! Кабы помене ты с меня начету взял, я б тебя, вот перед богом тебе говорю, не то чтобы бражкой, а самым что ни на есть... да уж больно ты меня деньгами-то наказал...

— Мало, мало, Капитон Васильич!

— Да бббу-дет вам, христа ради! — умоляет первый из виноватых. — Пойдем чай-то пить, шут с ней и с банкой!

— Нет, погоди... Вот он жалуется, что с него много взято.

— Да пущай его жалуется! Перестанет...

— Да я и не жалуюсь. Благодарим, мол, покорно... Оправили... Ну маленечко многовато бытто.

— Нет, маловато, Капитон Васильич! Давай я тебе на счетах докажу.

— Нешто мы что знаем? На счетах все можно...

— Н-ну нет, брат! — сердясь уже, произносит Андрей Васильич.

— То-то мы не понимаем эфтого. А представляется нашему уму глупому — бытто лишки. Да это что уж! Бог

с ними, не про это!... А что благодарим — больше ничего.

Андрей Васильич не может не волноваться. Капитон хоть и говорит свои речи улыбаясь, но, очевидно, имеет против него зуб, неудовольствие и будет питать его непрестанно, сколько ему ни разъясняй, ни растолковывай. Это один из упорных деревенских земцев, смиренный, подхалимоватый, но злопамятный человек. У Андрея Васильича, знающего все это и не раз выводимого из всякого терпения людьми этого сорта, закипает желание во что бы то ни стало убедить этого земца, сломить его упорное отстаивание явной неправды, про которую знает сам Капитон, да не хочет сознаться.

— Нет, — говорит Андрей Васильич: — ты меня, Капитон Васильич, уж пожалуйста, не благодари, сделай милость. А вот что я тебе скажу. Я было собрался уезжать, думал, что дело это кончено; ну а теперь останусь... Давай опять всем миром проверять книги!

— Что ты!. Что ты! вот еще затеваешь! — вопиют оба оправленные в один голос. — Ну ее к богу!

— Нет! — задетый за живое, говорит Андрей Васильич, — давай сызнова. Говори, на чем тебя обсчитали?

— Да будет тебе! Брось ты его, лысого дурака!

— Ну — в чем? — пристает Андрей Васильич.

— Али захотел, чтоб хуже было? А как накатают на твою лысину еще с полсотни — лучше будет?

— Да господи помилуй! Нешто я жалуюсь! — уж вполне виноватым тоном произносит Капитон. — Что вы это! Я только так, мол... Что вы нас, дураков, слушаете? Я нешто — что?.. Опять считать! Нет, уж увольте, и так она вон где, банка-то...

— А надо бы тебя, Капитон Васильич, поприжать! Погоди! Ей-богу, я опять засяду. Я сорок рублей записал на жалованье письмоводителю, то есть будто бы себе, а ведь эти деньги прямо надо с тебя взять.

— Помилуй, что ты! Господи боже мой! Чай, и этого будет! Еще сорок! Нет уж, сделай милость, ты это оставь...

Капитон начинает уж умолять. Андрей Васильич доказывает ему, что он не будет вновь поднимать этого

дела потому только, что ему надо ехать, а то бы следовало пробрать Капитона Васильича и не так... Дело кое-как улаживается. Андрей Васильич чувствует, что он делал дело правильно, как мог, никому не помирволил и что протест Капитона он, по совести, имеет право оставить без внимания, хотя знает, что Капитон, испуганный перспективою переучета, только притворился вполне удовлетворенным и что ушел он домой все-таки со злобой в сердце.

5

Надо, надо ехать... На будущее же лето Андрей Васильич воротится сюда же, здесь много у него образовалось связей, знакомства: — куда ж ему возвращаться-то, как не сюда? И где он так много работал, где в нем так нуждались, как здесь?

Он совсем собрался; только денег нехватает... Вопрос о деньгах только что было начал возникать в ряду его размышлений, как случилось новое, совершенно деревенское обыкновеннейшее обстоятельство, которое, однако, заставило сразу забыть и поездку и вопрос о деньгах и опять потянуло в глубь, в темь деревенской жизни.

Явилась сплетня и неправда.

— Скоро ль едешь-то? — спрашивают его дня через два после окончания банковских дел одни из мужиков-приятелей.

— Да вот не знаю... Скоро, я думаю...

— А там про тебя и невесть что болтают! — Мужик-приятель махает рукой...

— Что такое?

— Галдят не приведи бог что!

— Что же именно галдят-то?

— Сказывают так, бытто поделили вы с оправленными-то немалые барыши... Он бытто тебе денег отвалил... Был ты у него опосля банки?

— Был.

— Пил чай?

— Пил.

— А после на пчельник поехали?

— Да, ездили на пчельник.

— Давал он тебе там деньги?

— Давал.

— Ну вот!..

Андрея Васильича сразу хватает за сердце после этого «ну вот!», сказанного его хорошим приятелем таким тоном, который давал этой фразе необычайно оскорбительный смысл: «ну, так, стало быть, недаром они галдят-то...» Вот какой смысл таился в этом кратком — «ну вот».

— Да ведь это я с него восемь рублей за последний месяц получил.

— Поди толкуй с ними!

— Да ведь я нанимался к ним за восемь рублей! Ведь они же должны помнить это?

— Да, так они и станут разбирать!.. Много они понимают... Им нешто что... Получал деньги — вот те и все... Нешто ты их урезонишь? Вон, еще говорят, на Миридоновой вичине Капитона обсчитали... Насчитали по тринадцати копеек, а она по одиннадцати с половиною. Свидетель показывает на тебя, как деньги-то брал... А два ли, три ли рубля Капитоновых не приписано, а он из своих проездил на извозчике в городу... значит, по банкским делам... А с того, что вы поделились-то вместе, не взял лишков-то, потому заодно... Ты брал у него лошадь?

— Когда?

— А онамедни, месяца с четыре назад?

— Это за фельдшерицей-то ездили?

— Да уж зачем там ни ездили... Брал? — говорю.

— Брал.

— Ну вот!..

И опять это «ну вот!» бьет прямо в сердце. На этот раз в нем слышится нечто другое: «Вот ведь все так выходит!..» — как будто бы начиная подозревать, думает мужик-приятель, говоря свое «ну вот»...

— Ну вот, — продолжает он: — они и болтают, бытто у вас с ним давным-давно шуры-муры!.. Да про бабу про эту...

— Про какую бабу?

— Ну вот, что больна-то была... Еще лечил-то, а опосля того имущество ейное выхлопатывал... И про

бабу тоже болтают, что, мол, отец ее тоже в банке, а с него нету начету... Да мало ли там! — закончил приятель свою беседу, вновь махая рукой. — Их, чертей, нешто переслушаешь! У них — поди-ко!

Андрей Васильич очень хорошо уже знал, что обнаружить свое негодование — значит усилить даже в приятеле-мужике всевозможные подозрения; знал он также, что разъяснять дело тихим манером — тоже вещь бесполезная, ибо ровно ничего и никому не разъяснишь, да и никто не нуждается в разъяснении, так как галдение это имеет совершенно определенную цель, именно: мироеды и коштаны желают сорвать с одного из «оправленных» по банковому делу магарычи (по-степному «давасы»), и тем более надеются их сорвать, чем срамота, пущенная про него, будет больше по размерам, чем больше будет осрамлено людей, которые за свой срам, благодаря все тому же одному лицу, конечно навалятся на это лицо с гневом, бранью, так что в конце концов, как ни крепись, а опозориваемый и ругаемый человек должен-таки будет согласиться на такую питейную жертву, размер которой пожелают господа посрамители.

Все это Андрей Васильич знал; знал он, что его срамят, так сказать, по пути, чтобы, осрамленный, он сам сорвал зло на виновнике всей путаницы; знал, что и бабу приплетают сюда и позорят ее — все для того же, чтобы отец бабы, вступившись и за свою и за дочерину обиду, также бы не обошел без ненависти все того же единственного виновника. Знал Андрей Васильич, что все это дело, несмотря ни на что, непременно *должно* кончиться магарычами, так как виновника, окружа со всех сторон, «припрут» всевозможными способами и т. д., и вместе с тем он также знал, что всю эту историю можно прекратить мгновенно — стоит только дать свои восемь рублей виновнику (который будет упираться до тех пор, пока хватит сил), и пусть он удовлетворит господ мироедов... Но справедливо ли это? Честно ли? И кроме того, разве это не явное подтверждение всех сплетен?

«Нет, — подумал Андрей Васильич: — так оставить этого нельзя». Он знал, что нет никакой возможности ни разъяснить, ни опровергнуть распускаемых сплетен;

поэтому, говоря себе: «нельзя», он имел в виду не разрушение этих сплетен и не опровержение их, а ненависть, уже успевшую в нем воспитаться, ко владычеству мироедов и кулаков, к выработанным ими приемам, помощью которых они гнетут и обирают мир. Им, то есть главным действующим лицам этой механики, нужно только сорвать с человека водку — ничего больше. Сколько они пускали и пускают в ход для этого всякой гадости, клеветы, лжи и обмана! Сколько напускают они в сознание народа всякого тумана, к каким подлым взглядам приучают его! Все это сразу охватило Андрея Васильича, и он решился обнаружить, вывести на свежую воду если не все — на это нехватит сил, — то хоть что-нибудь из этих проделок, показать добродушным мирянам, в чем сила этих деревенских умников и авторитетов, осрамить их так, чтобы самому малому ребенку стала ясна их гнусная суть.

Какая же тут поездка?.. Нет! тут есть над чем поработать!

Андрея Васильича «взяло за живое». Предстоявшая работа ничем не напоминала той, которая занимала его до сих пор; это — не утомительное банковое подсчитывание, не бесстрастное расспрашивание о разных разностях, касавшихся банка, не лечение наконец. Нет: в предстоявшем деле следовало быть мудрым, яко змий, и кротким, как голубь. Это было дело высшей политики. Необходим был тончайший расчет, чтобы не обнаружить плана, чтобы напасть врасплох, необходимы были факты и люди, готовые своим словом поддержать их на миру. Предстояла настоящая парламентская борьба. Говорим это совершенно серьезно, так как парламентские приемы, подвохи, подходы отлично разработаны деревней; разработаны особенно потому, что в большинстве случаев результат их — выпивка.

6

Здесь кстати сказать два слова о коштанах и мироедах, властвующих над современной деревней. Коштан — человек, который живет на мирской «кошт»: мир его «коштует», кормит... Между мироедом и коштаном существует значительная разница. Мироед ест мир тем, что норовит его нравственно напугать, придавить. Ему мало,

чтобы на него работали за долг, мало запутать человека из-за нужды и нажиться его трудами: он еще желает держать в руках совесть деревенского человека. На сходках он норовит осрамить провинившегося человека так, чтобы тот не знал, куда деться, и потом, за вино конечно, помилует, но так помилует, что помилованный будет «чувствовать» свою зависимость от помиловавшего. Мироед — это самозванный судья, грозный отец деревни (такова его цель), беспощадный каратель всякого *дурного* поступка... От него, от его слова зависит, чтобы человека навек осрамили, например выпоров его на сходке. Мироед — мастер стыдить, усовещивать, обличать; он постоянно стоит горой за мир, за мирской интерес, за божескую правду и этим приемом затыкает миру рот. Всякий, на кого обрушился его гнев, нарушил именно мирской интерес и божескую правду; он не церемонится в выражениях — ругательски ругает виновного; он так возмущен его поступком, что не приберет ему наказания. «Драть тебя мало, такой-сякой, рrразоритель, вор ты бессовестный!» И, помиловав его, он опять ругается: «Вот только срамить тебя не хочется, мошенника, ради твоего сиротства, каналья этакая, безумная... А т-то бы тебя, шельму этакую...» и т. д. Помилование последовало вследствие обещания вина. Как это делается — читатель увидит ниже. На такого человека работают даром, без всякого долга, потому строг и зол, как чорт; мироеда ненавидят все; но все боятся как огня, потому что это такой человек, который не побоится и не задумается погубить ближнего — только попробуй ему поперечить. Он силен, необыкновенно силен тем, что подрывает у человека, попавшегося ему в лапы, веру в самого себя, ослабляет его духовную деятельность, потому что осуждает его во имя высочайшей справедливости (он знать не хочет никаких смягчающих обстоятельств), а оправдывает также во имя беспредельного милосердия. Человек уходит, чувствуя себя подавленным нравственно, несмотря на оправдание.

Нет никакого сомнения, что больше всего от этого грома небесного терпит простой, простодушный человек, не знающий, по неопытности, всех парламентских махинаций во имя «срыва» и кабака. Таких людей в деревне много, громадное большинство. Подавленный своим до-

машним хозяйством, своей домашней работой, такой человек не входит во все подробности парламентских затей: он знает, что там есть старики, которые решают дела. Вино мирское он ходит пить — это правда, потому вино вещь хорошая, а во всех прочих делах слушает стариков: «пускай они решают их как знают, — у меня и своего дела не переделаешь». Вот таких-то простаков, составляющих в деревне почти всю рабочую силу (они на своих плечах выносят желающих отдохнуть под старость родителей, стариков и старух, выносят почти все платежи), таких не знающих порядка работников мир и *учит* в лице мироедов.

Вот украл такой простак мирского лесу, и украл он также по наивности и даже из явной жалости к мирскому добру.

— Я бы попросил у мира, — говорит такой вор, — да ведь вместе со мной двадцать человек, кому и не нужно, выпросят...

Как-то невольно верится этому объяснению. Но если бы даже он украл и потому, что не надеялся на мирское разрешение, а нужда была ему крайняя, то все-таки такой простак никоим образом не мог ожидать того сраму, той всеобщей жажды (возбуждаемой мироедом) осрамить его, стереть с лица земли, какая обрушивается на его голову.

«Поймали, поймали!» — вопиет вся деревня и с позором тащит «вора» на сход.

Здесь мироеды делают свое дело. Страшно смотреть на бедного простака, в буквальном смысле «потрясаемого» необычайно выработанным ораторским искусством иного мироеда. Разбитый вдребезги во имя высочайшей справедливости, опозоренный перед всем обществом, устыженный этою высшею справедливостью в самой глубине своей совести, он в буквальном смысле не знает — что ему делать... Вот-вот его начнут сечь. Розги лежат на печке в сборной избе.

В эту ужасную минуту его вызывают зачем-то в сени.

— Да заткни ты ему, громителю-мироеду, глотку-то! Залей ему, подлецу! — советует здесь в сенях какой-то добрый человек шопотом.

— Отец родной! всё возьмите, только освободите!

Ведь драть хотят! Я и не знаю, как быть-то... Отец родной, выручи, помоги! — все отдам до нитки...

— Ну ведерку поставь да наливочки штофа два...

— Хоть три ведра бери... Пятерых овец отдам — всё возьмите, только отпустите...

— Почем овцы-то?

— Да хоть по рублю давай — отдам с радостью.

— Ну по рублю-то я возьму, иди, молчи... Я уж как-никак расстараюсь. Жаль мне тебя стало — вот в чем! Истинно жаль. Глядел, глядел я, думаю: господи, да ведь и на мне, чай, крест-то есть! Что ж это такое? Ведь надо пособить парню-то... Ну как-нибудь...

— Дай тебе владыко небесный...

Этот благодетель и есть коштан.

Коштан — другой тип из числа людей, держащих в своих руках судьбы современной деревни, далеко не идет в сравнение с мироедом: у того задача громадная — перепугать ближнего нравственно, забрать его в руки голой рукой. У коштана — цель мелкая, практическая: поживиться, нажить рублишко, на даровщину выпить и в то же время оставить о себе впечатление человека, заботящегося о твоей пользе. Коштан находится в союзе с мироедом, но исполняет черную работу; мироед никогда не скажет виновному: «ну мирись, что ль, на ведре!» Это — дело коштана. Дело коштана также придумать предлог, который бы дал возможность накинуться мироедам на какого-нибудь простофилю. Со временем коштан также будет мироедом; но покуда ему надо разжиться, и вот он набивает карман понемногу «не плечами, а речами»...

Вот пример коштановой работы:

У мира снимают в аренду небольшой участок земли или луга, положим, за сто рублей. На сходке является коштан и начинает хлопотать, чтобы мир не отдавал чужому, а отдал бы своему, хоть свой и дает девяносто.

— Что мы будем давать чужим наживаться? Пущай же, господь с ним, лучше наш, свой владеет, все нашему миру правильный человек будет и авось поблагодарит... Вот ведь рано ли, поздно ли, а придется нового сборщика или сотского выбирать, ан мир-то тогда уж и волен сказать ему: «мы, друг любезный, тебе сделали уступку — теперь ты нам послужи...» Миру нужны люди бла-

годарные... Вот я что говорю... А десять целковых — велик ли это миру убыток? Да и барыш-то велик ли будет? А как своему отдадим, хоть и дешевле — всегда барыш: благодарный человек отслужит всем на пользу.

Кажется, все верно и справедливо до последнего слова. И точно: мир решает отдать землю дешевле тому из своих односельчан, которого рекомендует коштан. Этого человека, большею частью бедного, кроткого, коштан рекомендует миру тоже с самой хорошей стороны.

— Уж работяга... уж сами, чай, видите... Семья большая... сын в солдатах, и старость идет.. Нет, миряне, надо человеку дать поправиться!

Хорошо, отлично, убедительно говорит коштан. И мир все решает по его слову. Но прошла неделя, и что же оказывается? Оказывается, что мужик, которого мир пожалел, совсем не пожалел мира: взял да отдал участок тому же самому мещанину, который снимал его сначала, да отдал не за сто, а за сто двадцать пять рублей.

— Ты что ж это, бесстыдная твоя душа?.. — нападает мир на изменника.

— Простите, православные! Нужда!

Говорит это изменник самым искренним образом — и больше ничего не говорит.

А мог бы сказать многое; нужда загнала его в лапы к коштану, коштан подбил его снять участок, расписал ему все выгоды, обещая помочь «все для твоей же пользы» — и даже денег дал на срок. Мужик согласился; а как только земля досталась по цене низшей, и досталась человеку, находящемуся в руках у коштана, — последний тотчас же затеял переговоры с мещанином, обделал дело за сто двадцать пять рублей, тотчас потребовал с мужика, который ему «подвержен», свой долг (деньги, данные на уплату миру за аренду участка), и когда мужик, разумеется, оказался несостоятельным, то коштан и предложил ему перепродать.

— Пять целковых еще лишку дает мещанин-то, да и меня развяжешь!..

Что тут делать? Теперь представьте себе, каким человеком является коштан перед миром? Кто хлопотал о своем мирском человеке? — он. Кто давал свои собственные деньги этому человеку, чтобы он поправился? — он же. Кроме того, он давал без процентов, так — от сердца...

— Что ж поделаешь, братцы! вижу, пропадают мои денежки, да и миру-то не все отданы! Ну, думаю, как и мирские-то пропадут? Не такой человек! Иной бы с этакой подмогой как взялся-то! Ну а этот, нечего греха таить, не обоюден! Куда не развязен... Н-ну, думаю, грех-грех, а и мои денежки — кровные, да и мирским, боже сохрани, пропадать нельзя — как-никак, а воротить надо... Ему же пять рублей лишков дал: — на, возьми мое! Бог с тобой... Да и миру винца уже поставлю за свою за провинность — вот два рублика!.. Главная причина, Митрофан меня сконфузил! Неповоротлив, неукладист, ленив... А ежели бы на другого...

Пять рублей зажимают рот Митрофану. Водка зажмет рот миру. Коштан сделал «оборот» — и все видят, что хоть и плутовато, но умно. Все обделано на законной почве мирского интереса.

— Насилу, насилу свои-то выручил! — долго твердит он впоследствии, когда речь касается этого дела. — Своих пять целковых, как одну копейку, посадил, да шут с ними! Пуще всего — перед миром не сфальшивить! Не будь меня — вовеки бы Митрофанка не справился отдать. Так бы и пропали мирские денежки!

Коштан наживается, выручая то мир, то мирянина. Он все делает «для твоей же пользы», «главная причина», чтобы была миру польза. Это плутоватый адвокат гамбеттовой породы, набивающий свой карман. Коштаны выходят в мироеды — это бывает часто; по большей частью их участь — выходить в мещанство, в подрядчики, в торговцы, словом — в люди ловкой, скорой и плутовской наживы чужими руками. Мироед настоящий, коренной — непременно оратор с несомненным литературным дарованием, психолог... Коштаны — делаются, мироеды — родятся.

В том случае, о котором я рассказал, коштан, успевши уж купить пятерых овец за полцены, поступает таким образом: приказав обвиняемому опять идти в сборную избу, он, спустя немного времени, и сам является туда. Мироед-громовержец отлично знает, что́ такое происходило в сенях, но он не подает ни малейшим образом вида, что ему что-нибудь известно, и продолжает громить. Коштан обходится с своим носом посредством пальцев.

«Согласился!» — решает про себя мироед, так как

в противном случае коштан сделал бы что-нибудь другое — кашлянул, или плюнул бы, или вздохнул, или подергал бороду... Относительно этих знаков мироед и коштан уславливаются заранее.

Благодаря этим уловкам, которых мир не знает, оратор-мироед всегда остается логически правым, так как переход от гнева к милости умеет сделать незаметным и обставить тоже вескими доводами.

— Подумай, безумная твоя голова, у кого это ты воровал? Ведь ты воровал у мира! Шельма ты этакая! Твоим щенкам холодно в избе, так ты у целого мира вздумал отнимать? А другим нешто не холодно? А сиротам бездомным не холодно? (Коштан обходится посредством пальцев и, потолкавшись, уходит.) Есть ли в тебе совесть-то, в бесстыднике? Бога-то ты помнишь ли?.. Ведь за этакое дело не розгами, а прутьями железными надо драть! Да мало! мало этого!.. (Со страшным негодованием): Прощенья проси, бесстыжие твои глаза! Кланяйся... в ноги миру, чтобы простил тебя! Ниже! ниже кланяйся... Проси, чтоб, ради глупости твоей, простил тебя, дурака. Ну, миряне (усталым голосом): господь наш царь небесный велел прощать. И разбойника простили. Простите его, дурака!.. Пусть помнит вашу доброту. Жаль только, а то бы надо выпороть! Кланяйся старикам в ноги, проси... столб бесчувственный!..

И в этом деле коштан хотя и оборудовал попользоваться на чужой счет, нажил рублей пять, а все-таки выручил: — что́ бы без него стал делать обвиняемый? Как бы он справился? Плут, плут — это верно, а выручил — это тоже верно. Мироед же, приняв угощение, ничуть не поколебал этим своего авторитета грозного судии. Оправленный чувствует, что он мог его сокрушить и может сокрушить во всякое время, несмотря на угощение.

7

Возвратимся, однако, к истории Андрея Васильича. Вот именно всю фальшь и ложь вышеописанной махинации и нужно было разоблачить сразу, внезапно, так, чтобы своекорыстное фарисейство мирских воротил было выведено наружу и наказано примерно. С напряженным

вниманием и крайнею осторожностью собирал он факты, изучал действующих лиц и был поглощен этой работой два или три осенние месяца. Наконец и факты и люди, сочувствующие делу, были подобраны. Оставалось найти предлог, из-за которого можно было бы начать дело. Нашелся и предлог. Весною крестьяне делали миром загородь от господской усадьбы; загородь надо было сделать потому, что крестьянский скот забредал в господский сад и за это брали штрафы. Скрепя сердце, вся деревня принялась за работу, и загородь была готова в один день; начали они работу утром и кончили вечером. Захотелось выпить. Послали депутата в господскую контору просить выпивки: «мы *вам* загородь сделали». В конторе отказали. Мирского вина не было; необходимо было во что бы то ни стало отыскать предлог. Коштаны отыскали: при весеннем переделе полей к одному из крестьян отошел, кроме надела, клинушек, вдавшийся в чужую землю не более как в три квадратные сажени. Коштаны заприметили это с весны, но держали при себе до случая. Клинушка этого нельзя было никоим образом разделить: он должен был оставаться никому не принадлежащим; но никто не сомневался, что мужик, которому клинушек достанется, запашет его. Так и вышло. В упомянутый вечер коштаны обратили на эту *несправедливость* внимание общества. Общество было радо открытию, как манне небесной. Несколько молодцов было отряжено на двор к мужику, с тем чтобы, не говоря ни слова, захватить у него на дворе хомуты и передки телег и все это доставить к кабаку. Как и водится, хозяин хомутов и передков тотчас же явился на судбище. Ему объявили, что за запашку лишков с него следует получить в пользу мира штраф. Свидетели, люди, особенно жаждавшие выпивки, показали, что клинушек они вымеривали сами, и что в нем оказалось шесть с лишком сажен, и что мир мирится на трех ведрах. Такую громадную цену заломили потому, что мужик был из порядочных. Несмотря на всевозможные сопротивления со стороны обвиняемого, вино было поставлено и выпито, и клинушек таким манером обошелся мирянину рублей не менее двенадцати.

Вот за это-то дело и взялся Андрей Васильич. Он вымерил с людьми, которые сочувствовали ему, этот зло-

счастный клин, и оказалось в нем не шесть, а две с половиной сажени. Мужик был рад дать острастку мироедам и опивалам и, поддерживаемый Андреем Васильичем, порешил еще десять рублей пропоить на судей, лишь бы только вывести дело на свежую воду. Подана была жалоба — над которой Андрей Васильич сидел не одни сутки — в волостной суд. Судьи были угощены, словом — поставлены в невозможность вилять, в виду участия постороннего человека, который, по всему видно, спуску не даст.

Это собрание волостного суда, неожиданно потребовавшего на судилище всех ораторов и благодетелей деревни, всех стариков, было торжеством для всякого простого, работящего человека, натерпевшегося на своем веку от этих фарисеев и лицемеров. Вот этим-то случаем и воспользовался Андрей Васильич для того, чтобы, придравшись к нему, показать крещеному миру, в какой безобразной нравственной кабале держат его мироеды и как вообще обирают и наживаются на его счет, действуя как будто только во имя мирских интересов. С громадными усилиями дело это было доведено до волостного суда и, благодаря стараниям Андрея Васильича и его единомышленников, поддержавших его на суде в качестве свидетелей, дело было решено справедливо: коштаны и мироеды поплатились хорошим штрафом в пользу мирских сумм, да и все их соучастники, подручные их, также поплатились, хоть и поменьше.

Справедливостью решения дело было обязано главным образом неожиданной настойчивости, с которою оно было начато, и явной подготовке его, которой судьи, большею частью те же коштаны и мироеды, не могли не видеть в подборе свидетелей. Они обвинили виновных, потому что сразу не могли разобрать, в чем тут штука... Но чью-то руку подозревали: знали, что дело подстроено.

Андрей Васильич также знал, что успех этого дела прямо обязывает его готовиться на тонкий, систематический отпор. И вот, вместо того чтобы пожинать победные лавры, чтобы похвалить себя за то, что «добился своего», необходимо было вновь напрячь все внимание, сосредоточить всю энергию на том, чтобы не дать обойти себя, не дать начатому делу исчезнуть без следа.

Пусть читатель, если может, представит себе ту бездну мелочей, мельчайших деревенских слухов, сплетен, которыми приходилось в это время интересоваться Андрею Васильичу, на которых надо было исключительно сосредоточивать свое внимание, — и он поймет, что в жизни Андрея Васильича могли и должны были быть минуты глубокого отчаяния, томительной тоски.

— Куда уж теперь тебе ехать? — говорили ему мужики-приятели после суда. — Теперь уж надо остаться. Нельзя бросить зря...

«Да, уж теперь надо погодить!» — раздумывал Андрей Васильич.

— Живи в банке-то... чего? мы тебе десятку положим... живи пока что...

И стал Андрей Васильич жить «пока что», чувствуя по временам, что какая-то сила тянет его как будто ко дну, теряя связь с «тем миром», куда он все старался уехать, где легче, лучше, светлей, умней, и все-таки не имел возможности исполнить этого; не имел возможности «бросить» «их», оставить на произвол судьбы... Иногда он чувствовал даже, что погибнет здесь, пропадет, но не мог: это было бессовестно.

Так он жил «пока что» и таял... Деревня, нужды которой опутали его ум и сердце, прямо сказать, *съедала* его. И, вероятно, в конце концов съест, съест без остатка и, пожалуй, даже «не попомнит». Ведь никто не поминает добром тот кусок мяса, который съеден вчера и который дает возможность быть живым сегодня. Такова участь и Андрея Васильича, и он знает это; но знает он также, что если, после того как он будет съеден без остатка деревней, она и «не попомнит» его, даже забудет совершенно, он — съеденный — будет жить в ее крови, дело его будет, незаметно для беспамятных деревенских жителей, светить им же, как и забытый съеденный кусок — незаметно для человека — живет в нем и помогает ему жить.

Да, мучительна участь таких людей, как Андрей Васильич! Но то, что они делают, до такой степени важно и нужно для народа, что пора, пора, бесконечно давно пора оградить такую деятельность от малейших посягательств на то, чтобы превратить ее в мученичество. Ей надо давать полный ход, всякую поддержку, защиту, а не венчать терновым венцом.

IX

Лечебник от всех болезней, помощник и указатель во всех житейских бедах, несчастиях и затруднениях.

1

А покуда деятельность Андрей Васильевичей не только не признана вполне законной, вполне необходимой, не только не поддержана, а напротив — даже и в деревне, известной частью деревенского населения, считается вредною, так как мешает свободному проявлению звериных наклонностей, — до тех пор народ наш должен обходиться «своими средствами», облегчать затруднения жизни собственными силами, своею выдумкой, пользуясь тем материалом, который под руками, тут рядом, «округ дому». Плох и мал этот материал, а забот, печалей, затруднений — выше головы!..

Позволим себе познакомить читателя с одним, чисто народным литературным произведением, которое, как нам кажется, лучше всяких сочувственных народу монологов даст нам возможность видеть как ту необъятную массу неудовлетворенных, гнетущих народную жизнь печалей и забот, так и те ничтожные «средствия», с помощью которых он должен от этих нужд обороняться.

В наших руках находится большой рукописный «Лечебник», содержащий в себе описание восьмидесяти двух трав, с указанием болезней, в которых они употребляются, способа приготовления и употребления. Книга эта есть, несомненно, произведение народного ума, ибо ученые доктора явились в народной среде весьма недавно, и народ должен был сам лечить себя, сам создавать свою медицину. Нет ни малейшего сомнения в том, что и теперь, сию минуту, такого рода рукописные лечебники пользуются большим значением и в немалом кругу народной массы, так как и до сих пор еще в очень многих местностях слова: «доктор» и в особенности «лазарет» пользуются не весьма большими симпатиями народа.

Про «лазаретные» порядки, например, в народе рассказывается даже сию минуту множество легенд самого нерасполагающего свойства. То будто бы отпилят ногу

не тому, кому следует, то будто бы живых хоронят. Рассказ о покойнике, очнувшемся в гробу, после того как из лазарета перенесли его в церковь, почти повсеместен. Громадная масса народа и до сих пор лечится собственными средствами. Но, кроме предрассудков к докторам, результата старых порядков, когда и с больницей-то приходилось знакомиться чуть ли только не в остроге, — предрассудков, правда немедленно же рассеивающихся при мало-мальски добросовестном и внимательном отношении врача к больному, — народные лекарства и народные средства продолжают пользоваться в народе авторитетом еще и потому, что особенные условия жизни народа и главным образом земледельческого труда вырабатывают недуги, иной раз гораздо лучше излечиваемые местными средствами, чем средствами, указываемыми медицинской наукой. Укажем хоть на весьма распространенную в земледельческих массах болезнь глаз. Трепание льна, засоряющего поминутно глаза работникам, или жнитво, когда тонкие усы колоса очень часто попадают в глаз, — все это гораздо лучше вылечивается в деревне, чем в лазарете. Поди в лазарет, доктор начнет *«пущать капли»*, а деревенская баба-знахарка возьмет толстую иглу, завернет на нее веку глаза и языком снимет соринку. Словом, при земледельческом труде есть такого рода недуги, которые понятны врачу только тогда, когда он хорошо знаком с этим трудом и знает сопровождающие его случайности. В видах всего этого такая книга, как народный лечебник, не может не иметь значения для всех интересующихся народом, потому что это — коллективное создание народного ума, многие годы работавшего самостоятельно над известной областью знания.

А что лечебник, находящийся в наших руках, именно такое народное произведение — это доказывает, положим, хоть следующее чисто национальное *средствие*. Под № 44 значится описание растения под названием «петров крест», причем оказывается, что травой этой «хорошо» присыпать *«сечоное место»*, причем «это место» боли никакой не будет чувствовать, «и еще того лучше», если иметь эту траву при себе (должно думать, во время экзекуций), то, по буквальному выражению лечебника, *«как*

хочешь секи по этому месту, то ничего не будет»! Этого, кажется, весьма достаточно, чтобы не иметь ни малейшего сомнения в чисто народном и национальном происхождении лечебника, ибо, сколько мне кажется, ни один из знаменитейших современных светил науки не в состоянии указать какого-либо средства против «секи, как хочешь!» именно потому, что уже ни у кого в свете, кроме русского человека, не может быть такой странной болезни, как «сечоное место». Положим, что размеры этой недавней эпидемии в настоящее время значительно сократились; но практика волостных судов все-таки поддерживает ее в таких размерах, которые не позволяют считать вышеописанного «средствия» анахронизмом. Напротив, всякому крещеному человеку недурно про всяк час запастись чудодейственной травой. Это обстоятельство, между прочим, доказывает, что лечебник не утратил значения и в настоящие дни; кроме того, то же самое подтверждает и то, что некоторые из лекарств, поименованных в лечебнике, даются *в кофее*, что уже прямо указывает на то, что к содействию его прибегают люди наисовременнейшие. Итак, книга, про которую мы говорим, есть чисто народное произведение, и притом такое, которое имеет значение в народе в самое последнее время.

2

Книга эта, состоящая более чем из двухсот страниц, переписана самым тщательным писарским почерком и разделена на две части. Первая часть начинается таким предисловием: «Благослови, матушка сырая земля, меня, раба божия, своего плода уродиться и прокормиться, трав употребить, корения укопать, к чему которая трава угодна, на то употребить». И затем следует описание восьмидесяти двух трав и цветов. Во второй части помещены «приговоры», с которыми следует употреблять травы, чтобы они действовали, и указаны способы приготовления.

На первый взгляд как описания трав, так и приговоры к ним ничего, кроме глубочайшей скуки, не представляют. Вот, например, трава *муравей*: «растет в дятловине; *сама мала*; едва может мудрый человек найти. Листочки

на ней четыре, крестиком; посреди листочков — что иголочка красновата». Или вот трава *матица:* «растет на раменских (высоких) местах; ростом мала; листочки кругленькие, что капуста, с одной стороны гладка, с другой — мохната» и т. д. Мы давали этот лечебник в аптеку, и там в течение месяца по этим описаниям могли разыскать латинские названия только пяти средств, да и то не по описаниям лечебника, а по тем болезням, от которых средство дается. Точно так же и приговоры: решительно неизвестно, почему при употреблении одной травы читается *«Отче наш»*, а при употреблении другой — *псалом 102, Символ веры* или *молитва богородице;* почему в одном случае молитвы читаются по разу, а в других по три и, наконец, по двенадцати. Все это прописано без всяких объяснений и в общей сложности производит глубочайшую зевоту с двух-трех описаний.

Но, преодолев неинтересность этого чтения и дочитав книгу до конца, вы будете неожиданно глубочайшим образом заинтересованы. Исчезают из вашей памяти описания трав, приговоры, молитвы, а вместо этого пред вами неожиданно возникает полнейшая до мельчайших подробностей картина беспомощности, в которой живет простой русский человек. Вместо непонятно описанных трав и молитв перед вами раскрывается весь обиход жизни темного человека, с такою массою нужд буквально на каждом шагу, нужд, требующих именно самого широкого знания, заменяемого теперь корнями, приговорами, травами...

Собственно *физических* болезней в лечебнике поименовано весьма мало. Корень, ядро физических недугов, сосредоточивается главным образом в «порче», и этот необъяснимый и непонятный недуг встречается под множеством также непонятных наименований: *«порчи смертной», «смертной скорби», «черной порчи», «злой смертной порчи», «нечистой порчи», «черной немочи»*. Очевидно, что под этими непонятными определениями должна заключаться целая масса недугов, которые крестьянским умом не определены в точности и которым поэтому помогают почти все травы. Затем болезни, более или менее известные и в медицине под тем же названием, как и в народном лечебнике, весьма немногочисленны;

например: грыжа, сумасшествие (ум рушится), пьянство, глисты, удушье, болезнь глаз («прель глазам») — вот почти все, и количество лекарств против этих весьма распространенных болезней крайне незначительно — по одному, много по два средства указано в лечебнике. Многочисленные болезни детей также почти не подразделены; там, где дело касается детей, лечебник, не обозначая определенного недуга, просто говорит — что́ именно *«хорошо»* давать детям, когда плачут, *«жалуются»*. Впрочем, к числу детских болезней отнесен *«бред по ночам»*, который лечится теми же средствами, что и сумасшествие у взрослых, и отмечен какой-то странный детский недуг — *«бессонница от страха»*. Вот в общих чертах физические страдания, излечиваемые по указанию лечебника.[1] За исключением лихорадки, которая имеет три подразделения и наименования, все обуревающие народ физические недуги, во-первых, весьма немногочисленны, а во-вторых, крайне поверхностно определены.

Совсем не то с другого рода недугами, теми недугами, которыми страдает не больной, а здоровый простой человек. Можете себе представить, что эти же самые *восемьдесят две* травы, излечивающие все поименованные недуги физические, что они же помогают простому человеку решительно *на всех* путях его жизни, при всевозможных житейских затруднениях, во всевозможных жизненных столкновениях, словом — во всех отношениях человеческих, семейных, общественных; облегчают ему бесчисленные затруднения — и это всё те же самые восемьдесят две травы!

Есть травы, положительно обремененные всевозможными народными нуждами, которым они должны удовлетворять, бедами, в которых должны помогать. Вот, например, трава *царевы очи* (растет на болотинах, ростом с иглу, собою красненька, цветок имеет наверху, тоненькая и маленькая). Эта трава помогает, *во-первых* — в доме чтобы все было благополучно; *во-вторых* — скотина не хворает, ежели держать ее в хлеву в сухой

---

[1] Кстати сказать, лекарства принимаются не на тощий желудок, а на тощее сердце, и болезнь не *«проходит»* от лекарства, а лекарство *«выгоняет* ее вон».

чистой тряпке; *в-третьих* — хороша, когда идешь на суд, «то все будет хорошо», и начальники будут добры; *в-четвертых* — от этой травы, если ее держать на пчельнике в чистой тряпке, водятся пчелы; *в-пятых* — хороша тому человеку, который верхом ездит; *в-шестых* — отправляясь в путь-дорогу, эту траву хорошо иметь при себе: никто не ограбит, не убьет; *в-седьмых* — отличное средство эта же трава и при женитьбе: «возьми эту траву, когда пойдешь в церковь под венец, и держи ее, когда будут венчать, а после этого держи близко около себя — тогда будешь жить с женою хорошо, и она будет тебя слушаться, во всем *уважать и бояться»*; *в-восьмых* — эта же трава «пользует», ежели хочешь быть «славен пред вельможами».

Или еще лучше: трава *адамова голова* (растет кустиками при болотах и раменских местах, цвет рудожелт, кувшинцами, а листов на ней девять, или двенадцать, или девятнадцать, а принимать ее через серебро и золото,[1] на Аграфену купальницу); эта трава, во-первых, помогает против «порчи смертныя»; во-вторых, хороша для бездетных: если ее пить, как указано, то будут дети, сначала мальчик, потом девочка, а больше двух не будет; в-третьих, пользует перед начальниками.

Точно так же удивительно во многих случаях помогает трава *синь*. Она лечит от «болезни черныя» и «смертныя болезни». Иметь ее при себе — вода не принимает, не утонешь. Мельникам хорошо ее иметь, когда устраивают плотины, — не прорывает; хорошо ее иметь человеку, которому надо высоко подниматься (каменщики, штукатуры): «не страшно, оказывает тогда, как на земле, и страха никакого нет». От сумасшествия, от искалечения ног, от злой смерти и при постройке дома помогает одна и та же трава — плакун; она же хороша и для скота, когда он заболевает известною болезнью — «головокружением» (скот вертится).

Таким образом, оказывается, что, рассматривая этот лечебник, как собрание народных сведений о медицине, мы ничего не найдем в нем, кроме скуки. Любой совре-

---

[1] Через серебро и золото — значит, что на руках должны быть золотые или серебряные кольца.

менный фельдшер превосходит в этом отношении народную мудрость неизмеримо. Очевидно, что народное выражение «либо пахать, либо книги писать» — оказывается как нельзя более справедливым, и книги хорошие пишутся не теми, кто всю жизнь бьется в поте лица из-за куска хлеба; но, с другой стороны, этот же лечебник достоин величайшего внимания, как собрание великого множества таких затруднений, страхов, мук и желаний, которые могут быть рассеяны или удовлетворены только самыми многосторонними знаниями. При настоящих же условиях, как видим, народ справляется с помощью восьмидесяти двух трав.

А знать он хочет ужасно много, даже более: он желает знать *решительно все*. Свидетельствует об этом тот же лечебник и немедленно предлагает средство. Средство это, конечно, — трава, и называется она *бесовец*. «Трава эта растет в воде, а корень ее — в земле. Сама противу воды стоит; перо — что сабля, корень внутри пустой и цвет у корня желт». «Траву эту, — сказано в лечебнике,— доставать умеючи, с приговором; если знаешь приговор — тогда достанешь, если нет — то погибнешь!» Приговор же к этой траве в высшей степени любопытен. Прежде, нежели произносить его, надобно снять с себя крест и положить его под левую пятку. Это надобно делать в ночное время, чтобы никого кругом тебя и близко не было, и только после этих предосторожностей надобно говорить (держа корень травы в руке) следующее: «встану я, раб, *не* благословясь, пойду, *не* перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, в чистое поле, под частые звезды, под светлый месяц, на окиан-море, на Сионские горы; на тех на Сионских горах стоит дубище, на том дубище сидит *сам сатана-сатанище*. Помоги мне (имя), сатана-сатанище, узнать, разузнать, что́ я хочу, что́ у тебя прошу. И с этой бы травой ходить мне и гулять и чтобы *все знать* от крещеных людей, от бояр и купцов». «И тогда,— говорит лечебник: — *все* узнаешь, будешь все знать, что́ где делается...»

Но, как видно уж из самого существования лечебника, корень этот редко попадает в народные руки. Тот же лечебник говорит, что едва простой человек задумал обзавестись своим домом, жить своим хозяйством,

словом — едва началась постройка жилья, как уж является враг, с которым надобно бороться. Нечистая сила подкапывается под дом, лезет в хлев, сверлит в плотине дыру; словом — беды возникают со всех сторон, и лечебник немедленно предлагает средствия: «траву — *царь Сирхамит*, траву — *веревку*, траву — *муравей*».

Кой-как, набив травами весь передний угол под образами, заткнув ее в чистой тряпке и «темном месте», на плотине, в хлеву и т. д., человек начинает жить. Но мало ли что в жизни человеческой бывает: оказывается, положим, что в новом доме и новой семье неблагополучно по части семейных отношений... Как узнать, что́ жена думает о муже, какие у нее на уме мысли? Муж — человек недосужный; он то работает с утра до вечера, то в отъезде, то на мельнице; ему, придя домой с работы, в пору поесть да лечь спать; ему некогда наблюдать за каждым шагом своей жены, за выражением ее лица. Опять есть средствие — трава *белец*: если эту траву положить жене в головы к левому боку, то она все скажет, и что думает — и то даже выскажет все, до последнего слова.

Внешнее благоприличие дома, домашних порядков также немало доставляет затруднения. Лечебник предлагает средства, всё в виде трав, чтобы приглашенные, положим хоть на крестины, гости не кончили пира дракой и безобразием: надо подсыпать в вино хмелю с приговором — и тогда никакого шума и драки не будет. Есть средства также для того, чтобы самому, идя в гости, не набуянить и не натворить невесть чего в пьяном виде. Корень с приговором помогает и этому.

Но, чтобы жить домом, содержать семью, водить компанию, нужно вырабатывать деньги — и тут есть средства, облегчающие добычу, и притом по профессиям: так, мельникам помогает трава *палочник,* от которой «на мельнице будет *много* помолу и работы будет много»; пивоварам подсобляет «пасочник»; он же хорош для прибытка и винокурам: все дело — держать при себе, а брать — с приговором. Есть указания для мореходов, для охотников, даже для воров... Против воров также есть средство: есть такая трава (иова дружба), наступив на которую вор не двинется с места; но есть и для этих

несчастных поддержка и указание (также есть указания и о том, как «портить» человека). Указание и помощь дает трава *муравей,* про которую сказано: «эта трава *хороша для злых дел*, но не добрых»; «сыскать эту траву очень мудрено, потому что очень мала, едва рассмотреть можно, и надобно иметь большое старание». Затем с истинно детскою наивностью говорится так: «эта трава *хороша* тому, кто хочет что украсть из-под замка... *то никто не увидит»*. Ворам даже особенно посчастливилось насчет указаний. Собаки, как известно, весьма вредят ворам, но и против них есть трава *гнида,* которая заставляет молчать самых злых собак. Словом — всевозможные трудности промысла облегчены помощью приговоров и трав.

Но мало жить только затем, чтобы наживать деньги. Жить приходится в людском обществе, причем простой человек, желающий устроить жизнь «по-хорошему», страшно нуждается в том, чтобы его любили, уважали, чтобы не были злы на него, чтобы враги превратились в друзей. И замечательно, что, в то время когда для исцеления серьезных физических недугов народный лечебник предлагает одно, много два средства, — потребность «чести», уважения, любви, внимания, снисходительности, должно быть, так велика в простом человеке, живущем среди «чужих людей», что лечебник для облегчения предлагает множество средств.

Чтобы любили, почитали, были внимательны — помогают пять разных трав: «любишь», «царь Сирхамит», «царевы очи», «адамова голова», «солнечник». Про траву *любишь* сказано, что «носить ее с собою — то люди будут любить и не будут зла помнить»; а в приговорах к ней добавлено, что «эта трава хороша, когда пойдешь к каким людям, или где живешь — то имей ее при себе, и когда пойдешь (к людям), то возьми ее и проговори три раза: «как сия трава *любишь* по имени хороша и знатна, так бы и я, раб божий, между боярами и купцами и всеми добрыми людьми был хорош, знатен, и ныне и присно» и т. д. Приговоры в том же роде, но местами — более сильно выраженные, местами — менее, присоединены ко всем вышеуказанным травам, которые употребляются в самых разнообразных видах: то подклады-

ваются в питье, то держатся в руке, под рубахой. И все это делается не потому, чтобы человеку нужна была любовь и внимательность того или другого лица, но потому, что ему *вообще* нужны мягкие, добрые людские отношения, чтобы его не слишком уж донимали «чужие люди»...

3

Но, кроме страха пред чужими людьми, у простого человека есть еще нечто такое, что страшит его без всякого сравнения более этих чужих людей. Это — начальство и начальники. В этом трудном деле лечебник предлагает множество средств. Не говоря о пяти перечисленных, касающихся также и начальства и действующих и на него мягчительным образом, есть в лечебнике много, чисто специально назначенных для смягчения начальства, трав и приговоров. Едва ли во всем лечебнике, среди всех нравственных и физических недугов, от которых он думает исцелить, есть такой, который бы поровнялся со страхом и трепетом, охватывающим простого человека пред начальником.

До какой степени грозен и ужасен для простого человека образ начальника — это можно видеть из тех мест приговоров к травам, которые характеризуют средства, необходимые для обороны. Чтобы начальники были добры, «хороши», кроме множества других, не столь замечательных трав, рекомендуется трава *одолен*. Растет она в стрелу и больше, цвет красен или желт, а корень — что *бумага* (заметьте, что цвет травы *охля*, помогающей быть богатым, похож на *денежку*, а вот корень травы, касающейся начальства, походит цветом на *бумагу*). Ее надо носить на себе, закатав в воску, — и тогда одолеешь врагов, а власти тебя не одолеют. Воск, в который надо закатывать траву, должен быть такой, который горел пред образом. Вооружившись этим талисманом, можно смело идти к начальнику; но нужно проговорить: «*иду насупротив медведя, упираюсь волком*. Пресвятая богородице, спаси меня». Это надо проговорить три раза, не переводя духа. Потом нужно десять раз проговорить: «Пресвятая богородице, спаси

меня, раба божия...» Эти слова надо проговорить как можно скорее: тогда, говорит лечебник, «иди прямо, и все будет хорошо, и к которому человеку идешь, *тот хоша и похож бы на зверя* — и тот смягчится и будет ласков, и одолеешь всякого врага».

Другой сорт этой же травы, как видно, будет много посильнее, в видах тех же умилостивляющих целей; но приговор к этой траве поистине замечателен. Имея траву, закатанную в воск, и идя к начальнику, в то время когда подойдешь к дверям его дома, надо проговорить следующий заговор «*на укрощение злых сердец*»: «Сажусь в сани, крытые бобрами и соболями. Еду на черном медведе, погоняю лисицами и куницами; а как лисицы и куницы, бобры и соболи честны и величавы между панами и попами, между миром и селом, так бы и я был честен и величав между панами и попами, между миром и селом», то есть иду с добром, попросту — со *взяткой*. Но если это не поможет, то *приговор* не прочь и по части зла, потому что продолжается так: «Еду на гадине, уж погоняет. У попов, у судьев — полон двор свиней и я тех свиней *переем*; сею мак — разойдутся (от него) судьи, а те, что меня судят, — не осудят: у меня *медвежий рот, волчьи зубы, свиные губы* (вот как он вооружен!) Кто мой мак будет подбирать, тот на меня будет суд давать, (а я) спрячу мак в железную кадь, брошу кадь в окиан-море; окиан-море не высыхает, кади моей никто не вынимает и маку моего не подбирает (а стало быть, никто и не придирается). Замыкаю зубы и губы злым сердцам, а ключи бросаю, в окиан-море, в свою железную кадь. Когда море высохнет, тогда мак из кади выберут, а тогда и мне на свете не бывать». Этот заговор надо проговорить, стоя у двери дома, где живет начальник, или при входе в «присутственное место». Проговорив, «иди прямо: то все будет по-твоему». Ко всему этому в конце заговора прибавлено: «это было испытано».

Мы привели только главнейшие средства, рекомендуемые для укрощения злых сердец; но, повторяем, их очень-очень много в лечебнике, больше, чем на все другие затруднения в жизни простого человека.

4

Позволим себе привести еще три заговора, которые, как нам кажется, весьма характерны. Первый касается любви. Как мужчине или женщине приворожить к себе любимого человека? Любовный заговор, так же как и заговоры *для злых* дел, происходит со снятием креста, причем под левую пятку кладется крест, а под правую — хлеб. В руках влюбленный человек держит кусок сахару, приготовление которого в такой степени отвратительно, что его изображать не будем. Дело происходит в бане. Взяв в руки сахар и положив под обе пятки, что следует, надо проговорить: «Лягу *не* благословясь, встану *не* перекрестясь» и т. д. (все, что в прежнем заговоре насчет того, чтобы *все знать*). После слов «сатана-сатанище» — следует: «Помоги мне, сатана-сатанище, поймать, изловить... девушку (или мужчину), напусти на нее тоску-тоскущую, сухоту-сухотущую, в румяную кровь, в ретиво сердце, чтобы она на меня зрела и смотрела и с очей меня не спускала, где увидится, в уста целовала, думами не сдумывала, едами не заедала, питьем не запивала, паром не спаривала, водой не смывала... Как вкруг головы моей волоса виснут, так бы и она кругом меня висла. Запираю и замыкаю эти слова тридцатью ключами (насчет злых сердец — только *один* ключ), бросаю эти ключи в окиан-море: как не бывать ключам этим поверх воды, так не бывать бы поверх моего слова и силы». После этого сахар надобно дать в кофее любимому человеку, «в первом стакане», причем *он* (чорт) в то время, когда любимый человек будет пить кофе, должен дать знать о том, что заклинание услышано: он стукнет, прошуршит или пропищит. Если же это не случится, то заклинание не действует. «Только, — прибавлено в конце средствия, — нужно быть смелому и *безбожному* — тогда все скоро будет».

Заговор ружью, перед отходом на охоту, отличается еще большею страстностью: «Встану я, благословясь, и т. д. (сатаны-сатанищи нет и в помине), стану я, раб божий, на мать сыру-землю, помолюсь и поклонюсь на все четыре стороны, стану я свою Марью Марвинскую, огненную бойницу, лютую стрелу заправлять, и закладать,

и заговаривать; ой же ты, Марья Марвинская, лютая стрела, огненная бойница, царь железа аравийского, не я тебя заправляю, не я тебя закладаю, и не я тебя заговариваю, а закладает тебя и т. д. сам господь Иисус Христос и мать божия, пресвятая богородица. Мать божия, пресвятая богородица засыпает свой сильный порох. Сам господь Христос закладает свою светлую пулю на зверя побегучева, на птицу полетучую, кровь горячую. Заложивши пулю и помолившись на все четыре стороны, пойду в далекое чистое поле, пущу далеко лютую стрелу. Не упадай, моя лютая стрела, ни на землю, ни на воду, ни в дерево стоячее, ни в колоду лежачую, а упадай, моя лютая стрела, на зверя побегучева, в птицу полетучую, в кровь горячую. Дуну, плюну я на мать сыру-землю; как моему плевку от моего дыхания не подняться, так бы этому зверю побегучему и т. д. не подняться от матушки сырой земли. Чтобы никому мою лютую стрелу не испортить, не околдовать, ни колдуну, ни колдунье, ни девке, ни молодице, ни старому, ни малому, ни сутуловатому, ни горбатому, ни встречному, ни поперечному, ни лихостливому, ни жалостливому, ни радостливому, ни с яву глядящему, ни со стороны смотрящему, ни исподлобья видящему, ни мне, самому охотнику, от белого тела, ретивого сердца, крови горячей и *всем различным чинам* по моим мастерским наговорам, *зааминил* господь и небо и землю, и зааминь, господи, мои словеса на веки веков» и проч.

Третий и самый, как нам кажется, трогательный и любопытный заговор — «если кто хочет *забыть* человека». Припомните эти рекрутчины, эти солдатчины, когда мать, жена расставались с любимым человеком чуть не на всю жизнь. Припомните эти мучительные ожидания весточки, эту годами угнетающую неизвестность, одиночество, тоску о милом дружке. Сколько тут муки-мученской!.. И вот создается заговор, чтобы *забыть* этого любимого человека, так как сам своей волей любящий человек не в силах этого сделать. Бедный, исстрадавшийся человек идет к чистому ручейку, три раза плещет на себя студеной водой и говорит: «Как я, раба божия, родилась чиста, так и меня очищай святая водица и матушка богородица... Как я забыл родительский день (то есть день рождения), так бы и мне забыть его ныне» и т. д.

Мы не коснулись и десятой доли сторон народной жизни, затрагиваемых народною книгой; но и то, что извлечено из нее, уж может дать понятие о той массе запросов, требований, желаний, таящихся в народе и не находящих удовлетворения ни в чем, кроме заговоров и трав.

Разнообразные формы ига сделали свое дело; но человек, как видите, остался жив, невредим, и душа его жива. Компетентные лица, близко знающие современный народ, утверждают, что он уж не довольствуется плодами собственной мудрости, не имевшей целые века благоприятной минуты для полного своего выражения, и ищет указаний у чужих людей, в работе чужого ума... Он берется на первых порах за евангелие.

Работы для будущего народного писателя, как видите, предстоит много, так как читатель у него будет, несомненно, многочисленный.

МУЧЕНИКИ МЕЛКОГО КРЕДИТА

(По поводу сельских ссудо-сберегательных товариществ)

По поводу доклада, сделанного г. Хитрово в императорском обществе сельского хозяйства о ходе дел в сельских ссудо-сберегательных товариществах, в № 273 «Русских ведомостей» 1878 года помещена передовая статья, автор которой пытается выяснить один необычайно странный факт, бросающийся в глаза всякому, имевшему возможность видеть приведенные г. Хитрово цифры. В самом деле, не странным ли покажется всякому здравомыслящему человеку следующее обстоятельство. В 1877 году все 1030 сельских ссудо-сберегательных товариществ, при 131 450 членах, имея в обороте *собственно* своего членского капитала 3 882 000 рублей, почему-то привлекли в свои кассы со стороны, в виде займов и вкладов, только 4 236 000 рублей, то есть немного больше того, что они, товарищества, имеют сами? [1] Принимая во внимание, что ссудные товарищества имеют целию доставить кредит сельским заемщикам «при помощи гарантии, представляемой *солидарною* ответственностью членов» («Русск. вед.»), невольно спрашиваешь себя, глядя на вышеприведенные цифры: что значит эта ничтожная цифра количества денег, потребленная сельскими товариществами? Неужели нет мелких заемщиков, на которых, как говорят «Русские ведомости», и были рассчитаны товарищества при их основании? Неужели

[1] Да и в этих 4 236 000 надобно считать 1 432 000 руб. вкладов, образующихся большею частию из членских же прибылей, не разбираемых по рукам.

так мало в деревенском населении людей, которые бы нуждались в займах и которые могли бы обойтись без радушной помощи товарищества? Нет! Народу бедного много, деньги нужны народу поминутно, вообще решительно нет возможности сомневаться в том, что и деревня могла бы «поглотить» и не такие грошовые капиталы, какие поглощены ею при помощи 1030 товариществ. Если же причина не в недостатке заемщиков, то не коренится ли она в недоверии капиталистов, которые не верят товариществам своих капиталов? Но и это соображение оказывается несостоятельным, так как, по справедливому замечанию «Русских ведомостей», во-первых, «ни в одном роде кредитных учреждений целость вверенных капиталов не обставлена такими прочными и верными гарантиями, как в ссудо-сберегательных товариществах, которые, помимо собственного значительного капитала, отвечают по обязательствам всем имуществом своих членов», и, во-вторых, еще потому, что, несмотря на ничтожность обращающихся в товариществах капиталов, эти товарищества «успели» в 1877 году заработать чистой прибыли 450 000 рублей!

Что же означает это странное явление, которого, по словам «Русских ведомостей», «мы не встречаем ни в одном из обыкновенных банков»? Действительно трудно представить банк, который бы, имея капиталу 3 миллиона, сумел бы сделать оборотов только на 6; такой банк мог бы существовать только там, где нет ни капиталов, ни людей, — причем, как видите, не было бы надобности и в банке. Очевидно, что ссудные товарищества вовсе не могут быть причислены к таким странным, безлюдным и бескапитальным банкам: в них есть и капиталы и люди, нуждающиеся в них, а главное, обеспечивающие эти капиталы как нельзя лучше. Товарищества дают громадные дивиденды (на 4 мил. 450 тыс.), словом, есть все для самого благотворного и широкого процветания — и, увы, нет процветания! Недоумевая над всеми этими несообразностями, автор статьи, однакоже, как будто останавливается на той мысли, что причина непроцветания коренится в невнимании к товариществам гг. капиталистов, и объясняет это невнимание печальною особенностию русского характера «живо возбуждаться новыми идеями и вопросами, но столь же быстро к ним и охладевать».

Но точно ли упрек в апатии к хорошему делу, к хорошей идее разрешает и вполне уясняет причину странного явления, происходящего в сельских товариществах? Имея, благодаря случаю, возможность довольно близко наблюдать ход дел одного такого товарищества, я, на основании опыта, могу положительно сказать, что причина неуспеха этих якобы «банков» лежит совсем не там, где пытается отыскать ее автор передовой статьи № 273 «Русских ведомостей» и где, наверное, искал бы ее всякий, не знакомый основательно с уставами товариществ и вообще с подлинными условиями, в которые поставлен мелкий сельский кредит.

Такое знакомство с мелочами тех или других явлений русской жизни, крайне желательное и не в одном только рассматриваемом случае, давно бы сняло покров со многих чудес русской действительности, — чудес, от которых в настоящее время принято отделываться какими-то туманными определениями вроде — «врожденных» черт характера, «национальных особенностей» и т. д. Под покровом этих неопределенных определений всегда оказываются не только в высшей степени веские основания, совершенно ясные, объяснимые причины, но даже и самое рассматриваемое явление представляется *совершенно* не в тех формах, в каких его привыкли видеть.

История с сельскими товариществами как нельзя лучше подтверждает сказанное: автору передовой статьи, бесспорно воодушевленному самыми благими намерениями и искренно желающему, чтобы народу было лучше и т. д., не может не казаться, что сельские товарищества имеют какое-то сходство с банками. И действительно, в банках — паи и в товариществах тоже паи; в банках дают деньги и берут проценты, и тут дают деньги и тоже берут проценты. Наконец и в банках и в товариществах получаются барыши. Посмотрите (мельком, конечно) в любой устав любого банка и в устав любого товарищества, и везде будет бросаться в глаза несомненное сходство тех и других. И там и тут — паи, проценты, дивиденд, а если это сходство существует, то не странно ли, в самом деле, видеть, что сходство это прекращается, когда дело касается процесса и результатов деятельности? Банк, заручившись основным капиталом в три миллиона, наверное «поглотит» частных капиталов в десять раз

больше, и вот — другой, который с тем же капиталом не поглощает ничего или поглощает грош. Банк, поглощая такую пропасть, редко дает 10—15 процентов дивиденда, а не поглощающий ничего другой банк, наверное, дает 15% каждый год. Невольно возникает мысль, что тут что-то не так, какая-то национальная ерунда, тогда как стоит только подробно изучить устав одного и другого банка — и все дело разъяснится, причем и окажется, что то учреждение, на которое я привык смотреть как на банк, — решительно не то, а что-то другое, то есть совершенно-совершенно другое. До такой степени другое, что вот эти 450 тысяч *барыша* (ведь дивиденд — чистый барыш?) для того учреждения, которое выяснилось вследствие знакомства с уставом, не только не барыш, а бремя и, главное, бремя довольно глупое. Откуда взялись эти 450 тысяч? Откуда скромные товарищества «успели» извлечь их? Происходит какое-то курьезное и громадное недоразумение... Оказывается в конце концов, что эти «барыши» — члены извлекли из собственных карманов. Никакой другой карман, кроме членского, тут не участвовал и не мог участвовать. За что же гг. члены вымотали из себя такую кучу денег? За то, что они взяли из товарищества семь миллионов денег. Какие же такие это деньги? Это деньги почти все принадлежат тем же самым членам: 3 882 000 — взятых из собственного кармана (членские взносы), да еще 1 432 000 тоже из собственного, из вымотанных (дивиденд, положенный вкладом), и только 2 804 000 рублей были чужие, за что проценты заплачены особо. Итак, большая часть 450 тысяч вымотана гг. членами товариществ из своих карманов для того, чтобы попользоваться большею частию своими же деньгами, то есть: я плачу проценты за то, что лежит у меня в кармане. Положим, что эти 450 тысяч возвратятся в карманы членов в виде прибыли по расчету паев, но ведь прежде, нежели они возвратятся, их надо извлечь из карманов, их нужно достать, добыть и внести. Сочтите теперь все, что извлечено из кармана и что пришло в карман: 3 882 000 членских взносов, 1 432 000 вкладов опять же своих денег — и 450 тысяч, *оставшихся* от уплаты за пользование деньгами товарищества; всего будет 5 764 000. Следовательно, нужно было *сначала* вытащить

из кармана 5 764 000 руб., чтобы удостоиться кредита в 2 804 000 руб.

Что же будет после этого, ежели гг. капиталисты «проснутся» от своей апатии, окажут товариществам благосклонное внимание и наделят нас капиталами? Разумеется, тогда постигнет нас разорение, голод и мор... Потому что если за два миллиона мы должны вытащить из кармана 5 своих, да еще принести на алтарь кредита все свое имущество, что же мы должны сделать, ежели нам вдруг помогут миллионами так десятью? — Смерть, чистая смерть!..

Итак, вы видите — кажется, всё есть: и паи, и проценты, и дивиденды, а выходит одно божеское наказание. Оказывается, что на Руси оказалось 131 457 человек каких-то добряков, которых поставили в самое нелепое, глупейшее положение, уверив их, что от всего этого (я не знаю, как назвать) будут какие-то барыши. А ведь посмотреть со стороны — банк! Как есть банк!..

Если цель сельских товариществ, как ее определяет автор вышеприведенной статьи, состоит в том, чтобы дать возможность мелким (бедным?) заемщикам попользоваться благами кредита, то нельзя сказать, чтобы уставы товарищества (по крайней мере того, который находится у меня под руками) удовлетворяли этой цели.

Что такое мелкий заемщик? Мелкий заемщик, как вообще следует его понимать, есть обыкновенный деревенский мужик, имеющий собственное хозяйство, но не имеющий денег. У него есть две лошади, две коровы, шесть овец, у него есть хлеб, овес, немного льну и т. д., а главное, у него есть руки, рабочая сила — вот все, что может представить мелкий заемщик в обеспечение денежного кредита. Кредит этот ему нужен, во-первых, для уплаты повинностей и, во-вторых, для собственного обихода, «на нужу». Необходимость эта заставляет его продавать не во-время и за бесценок лишний пуд хлеба, лишнюю овечью шкуру, лишнюю меру овса, а главное, заставляет закабаливаться трудом, что прямо расстраивает его хозяйство: на чужой работе он измаивает свой скот, портит упряжь и хозяйственные орудия. Чтобы дать такому заемщику справиться, иметь возможность распорядиться получше своим трудом, продать, не торопясь и не спеша, излишек, имеющийся в домашнем хозяйстве, необходимо,

имея в виду только его имущественное обеспечение и уплату выдаваемой ссуды, сообразоваться также с ходом его хозяйственных дел. Если строителю дома в Петербурге, положим, банки выдают ссуды на долгие сроки сначала под первый этаж, потом под второй и т. д., совершенно справедливо понимая, что с каждым новым этажом вырастает ценность обеспечивающего ссуду имущества, то почему та же система ссуд и уплаты их не может быть применена к мелкому заемщику? Оценив тщательно имущество лица, желающего занять деньги, ему, во-первых, можно выдать ссуду всегда гораздо большую той, какую могут выдать согласно своим уставам ныне действующие товарищества, во-вторых, рассрочив уплату процентов и капитала на долгие годы, можно погашать его долг, не пугая его столь грозной теперь минутой уплаты, и, в-третьих, при увеличении его имущества (подобно тому как, например, при надстройке нового этажа) — вновь увеличивать и ссуду. При таких условиях мелкому заемщику было бы действительно не страшно иметь дело с деревенскими банками.

Совсем не то делается (конечно, согласно уставам) в сельских ссудо-сберегательных товариществах теперь. В каком таком «обыкновенном» банке имущество исправного плательщика, аккуратно уплачивающего то, что следует, может быть продано? А вот в сельских ссудо-сберегательных товариществах — его продадут, потому что каждый член отвечает здесь, во-первых, сам за себя и, во-вторых, за все товарищество, конечно, всем имуществом. Да и при таких-то «гарантиях» — такому мученику-члену дают срок для уплаты ссуды только 9 месяцев.

§ 52 (устава) гласит: Ссуды выдаются на 6 месяцев.

§ 53, уже недовольный, гласит: По истечении срока может быть допущена отсрочка, но не более как 3 месяца,

а § 54 уже рычит: Вторичная отсрочка *ни в каком случае* не допускается.

То есть вынь да положь! Иди и нанимайся в работу, закабаляйся на каких угодно условиях, — а плати.

Но какую же такую благодать предлагают заемщику при таком обеспечении ссудного товарищества?

§ 40 — эта соблазнительная сирена всего устава — сладкозвучно распевает: *каждый член может лично, без поручителей, получить в ссуду в полтора раза против суммы, принадлежащей ему в товариществе: пая или паевой доли.*

То есть внеся, например, три рубля (и рискуя из-за чьей-нибудь чужой доли лишиться своего имущества), можно получить только полтора рубля ссуды или получить своих три рубля назад, да еще полтора. Приняв во внимание, что три рубля, которые у меня лежали в кармане, не требовали никаких процентов и тотчас явились обложенными процентами, как только из моего кармана, на одно мгновение, попали в кассу товарищества и оттуда опять перешли ко мне, я по совести могу считать, что одолжение, которое мне сделал великодушный § 40, — равняется только 1 руб. 50 коп., и проценты, стало быть, я плачу только за них. При 12% годовых за эти 1 р. 50 к. я должен заплатить, платя ежемесячно по $4^1/_2$ к., 54 к. сер., то есть я должен отдать 3 р. 54 к., чтобы получить ссуды 96 коп. Этого уж подлинно нет ни в одном банке! В любом банке, при имущественном обеспечении, берут с заемщика только 10% с суммы, на которую разрешен ему кредит: чтобы взять из банка 500 р., надо представить взнос 50 р., за гривенник дают рубль, в сельских же товариществах за рубль дают только 50 к.

Можете представить, имея в виду вышеозначенный параграф, какие громадные проценты приходится платить мелкому заемщику, и притом почти исключительно за собственные свои же деньги. Ниже мы представим читателю некоторые примеры великих мучеников, распятых мелким кредитом, а теперь познакомимся с дальнейшими параграфами устава.

§ 41. *На ссуду большей суммы требуется поручительство одного или нескольких членов товарищества.*

§ 43. *Каждый член может быть поручителем на сумму не свыше четверти размера полного пая.*

§ 44. *Каждый член может быть поручителем за одного или за нескольких членов, с тем только условием, чтобы сумма поручительства (за?) принятых на себя членов не превосходила размера, определенного § 43.*

Большею частию вступающий в товарищество (по крайней мере в то, устав которого я цитирую) вносит два

рубля. Согласно уставу, он может получить на себя лично — три рубля (2 своих назад и чужой 1 р.) и 12 р. 50 к.[1] на поручителя, всего 15 р. 50 к., и затем уже может, если пожелает увеличить ссуду, брать только на себя, потому что ему *нет возможности когда-нибудь найти другого поручителя,* так как всякий член, вступая в товарищество, вступает потому, что ему нужны деньги, и если не желает на 3 р. получить 1 р. 50 к., то должен непременно искать поручителя, который также желает взять денег. В первый же день учреждения банка является неразрывная связь между всеми заемщиками, преграждающая им всякую возможность увеличить свой кредит, за исключением кредита в тех размерах, который дает § 40, то есть вносить предварительно две части и брать третью.

На этом основании соблазнительный и, вероятно, только для соблазна напечатанный в уставе § 50 — к делу применяться не может почти никогда. § этот так сладко гласит: *«Высший размер ссуды определяется не свыше тройного размера полного пая».*

Прочитав этот параграф, и в самом деле можно подумать, что, внеся 50 р., можно из товарищества получить 150 р., то есть лишних 100 р. Но на деле этого не бывает. На деле, внеся 50 р., можно получить 75 р. (самому лично), причем приходится платить по 36 к. в год за каждый чужой рубль (тогда как в обыкновенных банках при 10% взноса — немного более 6%), а на другие 75 р. надобно искать 6 человек (!) поручителей, совершенно свободных от поручительств, чего решительно сделать нет никакой возможности. Свободные пайщики и не берут и не поручаются, твердо следуя тому герою Островского, который говорит про свой твердый ум: «читаю — а сам не верю!.. Иной читает и верит; а человек с твердым умом — читает, а сам не верит!» Читая таким образом устав, член товарищества «с твердым умом» понял, в чем дело, — и решил не поручаться и не брать, а просто ждать прибыли.

Вышеприведенные §§ исчерпывают все, что касается размеров ссуд и условий, на которых последние могут

---

[1] Полный пай для нашего товарищества 50 р., четвертая его часть — 12 р. 50 к.

быть выданы. Вы видите, что размеры не велики, а условия почти ни с чем несообразно тяжки. Множество, кроме всего сказанного, мелочей, повидимому на первый взгляд незначительных мелочей, возникающих из устава, — как, например, взимание $^1/_2$ к. пени с каждого рубля после семи дней просрочки, — или вытекающих из постановлений местного совета и собрания членов товарищества — как, например, очень высокий процент 12 к. в год, — делают в действительности займы из товарищества крайне обременительными и бесполезными, до того бесполезными, что иной раз просто не знаешь: из-за чего человек мучается?

Для образчика приведу несколько примеров из банковых страданий некоторых наших великомучеников, объясняя их страдания, помимо вышеприведенных §§ и других мелочей устава, еще разного рода местными условиями.

№ мученика будет 244-й. Звать его: *Влас Андреев Калягин,* из с. С—бая, отстоящего от места нахождения товарищества в 15-ти верстах. Мученический венец принял он после четырехлетнего пребывания в товариществе членом — в 12-й день месяца февраля 1878 года. Под этим числом в расчетной книге по обороту паев и ссуд значится, что у Калягина:

Паевых взносов	31 р.
Долгу за ним	58 р. 50 к.
За которые он внес	5 р. 27 к. проц. (отсрочился сразу на 9 месяцев).

Да за просроченное пред сим значительное время, в тот же день 12 февраля, внес 9 р. 10 к.

То есть мученик сей уплатил 14 р. 37 к. за то, что пользовался и намерен пользоваться 27 рублями 50 копейками (вычитая 31 р. из 58).

Итак, он, имеющий 31 р. своих, прибавляет к ним еще своих же 14 р. 37 к., то есть вносит 45 р. 37 к. собственных денег, чтобы попользоваться 13-ю рублями, ему действительно не принадлежащими.

Нет спора, что положение этого страдальца особенное, что подобные вещи можно делать только в восторженном состоянии духа; но посмотрим, до какой степени «по закону», «по уставу» происходят подобные безобразия.

Единственно, что замешано в этом деле не относящегося к уставу, это — не имеющее законного основания милосердие, снисходительность гг. членов правления, которые предпочли лучше возложить на него терновый венец, нежели явно погубить без остатка.

Вот как шло банковое житие Власа Калягина.

Пришел он в банк 14 апреля 1874 года, с товарищем; оба они принесли по два рубля (рассказ ведется по расчетной книге) и взяли, поручившись друг за друга, по 15 р., уплатив за полгода вперед % по 90 копеек.

— Ничего! Ловко это надумано! Право, ловко! — весело говорил в то время Калягин товарищу, уходя из банка.

— Надумано, гляди, и впрямь не худое!.. Пятнадцать копеек отдал, ан у тебя пятнадцать рублев...

— А паю прибавишь — и больше бери!

— Пра, бытто ладно... А деньги, сказывают, только принеси в срок, покажи — и опять бери... Что ж! Ничего! Право, ничего! Про́цент только?

— А прибыль-то! Аль ты забыл? — Год прошел — получай прибыль! Чудак ты! Твои деньги нешто так дуром будут там валяться? Ведь на них тоже нарастает!.. Ах ты, закадычный мой друг! Ведь там растет полегонечку... Чего ты это?

— Ну, Андреич, и впрямь дело, надо сказать прямо, дело это даже и совершенно, ежели сказать по чести, вот какое дело — первый сорт!

— А то — про́цент! Пойдем-ка, обмоем барыши-те... по стаканчику... Ишь, пострел, и бумажки-то какие новенькие... Где и берут такие?..

Так весело разговаривали все Власы, когда начиналось дело. Так думали и начинавшие дело люди, которым стоило немалого труда собрать вокруг себя кружок, который бы поверил, что копейка за рубль все-таки выгодней, чем рубль за рубль, как берут сельские кулаки и мироеды. И действительно, первая ссуда, вопреки пословице, летит «мелкой пташечкой» и производит на кулаков и мироедов значительное впечатление. Хотя раз от создания мира в деревенских руках появляются какие-то деньги, которые известному числу лиц дают возможность не даться в руки живодеру. «На-ко вот, съешь!» — говорит Влас, говорят все получившие ссуду Власы.

— Хотел ты меня, Сидор Петрович, в кабалу упечь, ну, одначе же, господь мне поспособствовал. Так-то! В таком случае надоть тебе немножечко пообгодить!

Все ли шесть месяцев торжествовал Влас Калягин — не знаю; но 14 октября он аккуратно явился в банк и принес 15 р. (так гласят книги). Но через два дня он опять явился и занял уже 18 р., процентов заплатил уже за 9 месяцев, 1 р. 26 к., и чтобы занять 18 р. (а не 15 прежние), внес еще 2 р. паю.

Отчего же этот Влас не берет еще 12 р. 50 к., а только 3 р.? Зачем ему понадобился 1 р., когда одних процентов он оставил 1 р. 26 к.?

Очевидно, что-то тут неладно. И вот устав, а вместе с ним и люди, близко знающие Власа, объясняют вам, что дело с ним случилось неприятное: как раз к сроку-то у него и нехватило денег. Кажется, как не добыть денег только на день, на два, «только в банк показать», и Влас давал за 15 р. даже 50 к. росту, — но, как на грех, денег не было. Кто поаккуратней, сам деньги в банк вез, «тож показать» только, кто поручителю уже успел отдать (тоже, конечно, за процент, за прибавочку) — оставался один Сидор Петрович, который и содрал с Власа за пятнадцать рублей — рубль. Влас знал, что деньги вернет, но образовывался уже новый расход в 1 р. Сидору, да процентов надо было заплатить «за переводку» (отсрочку), которые надо было прибавить к 15 р. Уплатив эти 15 р., Влас целый день жил в деревне, на квартире у кабатчика, выжидал время, когда пойти в «банку». Сразу отдать и взять — неладно так-то. Кабатчик тоже с него за день с лошадью «близ рубля» взял, так что, явившись занимать вновь, Влас уже имел нужду в лишних трех рублях, нужных уже на издержки займа.

— Как тут мне, как вас, благородием, что ли, величают-то... Как бы тут мне, нельзя ли как из банки еще бы малость... Главная причина, с деньгами никак не собьемся...

— Есть поручитель?

— То-то поручителев-то ноне нету; главная причина, все испоручались.

— Ну, внеси еще паю и бери на свои.

(Товарищ Власа также присутствует здесь и говорит то же самое.)

— А больше нам нельзя друг за дружку поручиться?
— Нельзя, до тех пор, пока не заплатишь.
— Да мы заплатили.
— Ну и поручайтесь опять друг за друга в двенадцать рублей пятьдесят копеек. А больше нельзя. Ведите других поручителей.
— То-то нету поручителев-то.
— Ну, а нету — нельзя. Прибавляйте паю и берите на свои. Внесите еще по два рубля, можно выдать по три, то есть уж по восемнадцати рублей.
Влас с товарищем переглядываются. Долго раздумывать им не приходится, и вот они оба говорят:
— Ладно... что ж... А сейчас по два-то рубли надо?
— Да есть с вами деньги?
— То-то нету только-то. Мы было на проценты захватили...
— Так я запишу за вами по два рубля и проценты вычту, — говорит снисходительный член правления: — а что останется — на руки возьмете.
Оба Власа опять соглашаются.
Из 18 рублей вычитают 2 рубля в пай и 1 р. 26 к. (из снисходительности им отсрочили на 7 месяцев) процентов, на руки Власы получают по 14 р. 74 к. Из 74 к. половина остается в кабаке, а за недоданные до 16 р. Сидору Петровичу Влас четыре, а то и пять дней на него работает.
— Ну, оно... тово... Оно ведь барышом набегает... Теперь у нас у обоих уж по четыре рублевки заложено в банку-то... Ну, оно там и нарастает полегоньку...
— Что ж... Пущай... Ничего..
Кончился год, собрали общее собрание. Приехал и Влас, разузнать, много ли набежало барышей.
— Прибыли вам нет.
— Как так? У нас по четыре?..
— Очень просто — как! Вы когда вносили деньги-то?
— Весной, поди, до святой!
— А нужно вносить до нового года; если бы вы внесли до нового года, деньги ваши значились бы в отчете, и на них была бы прибыль, а теперь ваша прибыль придет только в будущем году, потому что и деньги будут числиться с нового года.
— Стало быть, сразу за два года отдадите?

— Нет, только за один; за будущий год...
— Ну, а много ль ее набежит-то?
— Да на четыре рубля — копеек шестьдесят.
— Так! — говорят оба Власа, уже заплатившие по 2 р. 16 к.

Можно с уверенностью сказать, что впечатление этого ответа было столь сильно, что Влас, именно благодаря ему, явившись в банк 26 мая, днем раньше срока, внес 18 р. и ушел, не взяв ничего. Он, очевидно, уже начал крепиться и сомневаться. Но настала рабочая пора, трудное время, когда деньги нужны до зарезу и когда их нельзя ничем заработать, потому что нельзя отвлекаться от земледельческого труда, и Влас опять взял (30 июня!) 18 р. и процентов заплатил 1 р. 8 к. Отсрочился почти до нового года. Осенью у него было множество расходов: он женил сына и извелся и деньгами и хлебом начисто. Не то что процентов платить, а где бы достать на свою нужду, — самому деньги нужны дозарезу. 28 декабря снисходительный член правления опять посоветовал ему внести еще 2 р. и вновь взять 3 р. на расплату, и Влас уходит с долгом в 21 р., но с 6 рублями пая, на которые он уже наверное через год получит 90 к. прибыли.

Срок его платежа 28 июня (1876 г.) — опять трудная рабочая пора!.. Не добившись денег в банке после женитьбы сына, он закабалился; своя работа оставлена для чужой, человек измаялся, и вот у Власа является новый заем в 37 р. 50 к., — причем значится, что паю он внес сразу 25 р. Может показаться, что Влас вдруг разбогател, пошел в гору, занимая такие куши. Увы! Это ему присоветовали. Очень может быть, что он принес 25 р., занятые у Сидора Петровича под процент, с тем чтобы взять в полтора раза больше, то есть 12 р. 50 к. лишних. Но как бы это ни случилось, занял ли он или банк, по беззаконной снисходительности, записал за ним эти 25 р., вычтя их из 37 р., — дела Власа, очевидно, были плохи, так как из этих 12 р. 50 коп. он заплатил проценты за старые 21 р., да за новые 37 р. 50 к., всего за 58 р. 50 к. — 5 р. 27 к. (на 9 м.). Уехал он из банка с громадным долгом, почти в 60 р., и с 6-ю рублями в руках.

Уехал и пропал... Не являлся он и 28 декабря 1876 года, не являлся он и 28 декабря 1877 года... Пропал!

Более полутора года человек этот мучился и терзался, опасаясь продажи имущества, о которой до него доходили слухи, передаваемые односельчанами от членов правления, просивших Власа не доводить дела до худого, а поступить по-хорошему.

— Продавай! Что ж! — говорил он, не зная, что придумать.

Наконец до него дошли слухи о том, что в 1878 году будет происходить раздача прибыли за все года и что Власовы деньги не пропали, а всё оборачивались. Снисходительное правление все поджидало его, не хотело обидеть. 12 февраля 1878 г. Влас объявился и представился. Быть может, Влас имел даже в виду, при помощи прибыли, совсем расплатиться с банком, а быть может, у него скопилось рублей двадцать, и, зная на опыте (Влас хорошо помнил, сколько именно ему перешло денег на руки), что должен он не более двадцати, он и сообразил, что лучше всего ему будет разделаться с банкой: «пущай, мол, берут и прибыль и все, только, мол, меня-то выпустите подобру, поздорову».

Явился он в банк смущенный и робкий.

Рассмотрев его книжку, заведующий счетною частию, должно быть, произнес:

— Э-э-э! Братец ты мой! Да ведь ты больше чем год просрочил!

— Да уж видно, что близу этого числа.

— Что ж ты, привез проценты?

— Н-нет, уж так хотелось бы, господин, уж начисто разделаться...

— Начисто?

— Да уж... будет! Оченно далеко ездить (деликатная причина, выставляемая всеми не желающими обидеть банковских деятелей).

— Можно и совсем. Много ль ты привез денег?

— Да две тридцатки (две десятирублевых).

— Этого мало... Должен ты пятьдесят восемь рублей пятьдесят копеек. Так?

— Да уж, стало быть, так...

— Паю у тебя тридцать один рубль. Так?

— Знаю... надо быть...

— Остается за тобой двадцать семь рублей пятьдесят копеек, да девять рублей десять копеек процентов

и пени по сие число — всего тридцать шесть рублей шестьдесят копеек.

— А паю-то?

— Да я уж его вычел...

— Ну, а сказывали, прибыли, мол, тут набежало?

— Прибыли действительно тебе приходится восемь рублей, а за тобой все-таки двадцать восемь рублей шестьдесят копеек, все-таки двадцати рублей мало...

Долго длится обоюдное молчание.

— Ну что же... как?..

— Да уж и не знаю, признаться, как и быть...

— Ты вот что, — мудро советует одно из тех «славных деревенских лиц», которые, будучи членами товарищества, не берут взаймы и не поручаются, а получают только барыши и очень «прикрасно» знают, что барыши эти образуются именно из этих безумных процентных взносов, каковые взносы ими и поощряются. И каким степенным, мягким, простецким, даже успокаивающим голосом дает мудрый совет такое «славное лицо»:

— А ты бы, Влас, вот я тебе что присоветую. Ты вот прибыль-то возьми, да своих прибавь, да и переведись еще, пожалуй, хоть на девять месяцев, авось и справишься... А то и двадцать рублей отдашь, и все толку не будет. Пустить тебя нельзя... А к осьми-то рублям тебе теперь, поди, всего пятишницу какую надбавить, только и всего, без хлопот, больше ничего... И ступай с богом... Еще своих денег привезешь назад... Так-то. Как хочешь, мне все одно. В случае чего и к мировому, и даже давно следовает на этаких вот, как ты... А что говорю по чести, больше ничего, как хошь!

— Ну, ну! — произносит Влас, упорно надумавшись, произносит с решительным вздохом и решительным жестом.

— Пиши на девять месяцов. Шут с ней. Пущай!..

И вот он вносит 14 р. 37 к. процентов за прошлое и будущее и пени, ухлопав на эту операцию весь свой пятилетний дивиденд и унося на плечах вновь долг полных 58 рублей.

По дороге он заезжает в кабак, и пьет, и шумит... и в пьяном виде говорит про «банку» нехорошие слова, даже кулаком грозит в ту сторону, где пригнездился банк.

— И то есть... и боже мой... — бормочет он. — Я им (самые крепкие слова) дав-вирял, а они меня, теперича, до того произвели — хошь топись.. Нет, шалишь!.. Н-нет, брат! Уммру, зад-душусь, а уж я выболтаю голову из этого хомута... Н-нет... Тут я тебе говорю, друг! Мирон! Тут с эстими с барша-ами — ау, брат! Со святыми упокой! Копейки не бери!.. То есть гроша ломаного не проси!.. Вот что я тебе скажу. Налей еще! Шут с ней! За одно...

Чтобы ясно видеть и понимать причину такого ожесточения, а главное, всю основательность его, потрудитесь вновь, еще раз просмотреть всю историю займов Власа Калягина. Из этого осмотра, в конце концов, окажется следующее:

Из банка Влас Калягин получал *на руки* или *в руки* деньги только два раза.

1) 14 апреля 1874 г. он получил при вступлении 13 р. 50 к. (1 р. на свои 2 р. и 12 р. 50 к. на поручителя)

и 2) 27 июля 1876 из 37 р. 50 к. вновь занятых (за вычетом 25 р. в пай и 5 р. 27 к. процентов на общую сумму долга) у него осталось на руках 6 р. 73 к.

Всего Влас действительно получил 20 р. 23 к.

Вы уж знаете, что Влас 12 февраля 1878 г. расплатился с банком начисто, и все-таки чистого долгу за ним осталось не *20 р. 23 к., а 27 р. 50 к.,*[1] то есть гораздо больше того, что он взял в действительности.

Банк же с Власа взял за пользование этими *действительно* должными последним 20 р. 23 к. следующие капиталы:

В 1874 г.	2 р. 16 к.
„ 1875	2 „ 34 „
„ 1876 „	5 „ 27 „
1877	5 „ 27 „
	и 9 „ 10 „ пени.

Всего банком за 20 р. 23 к. взято % и пени 24 р. 14 к Правда, Власу присчитали 8 р. барышей за 5 лет. Причислив их к 20 р. 23 к., окажется, что Влас *получил* из банка 28 р. 23 к., а уплатил 24 р. 14 к., то есть почти все,

---

[1] Вычитая из 58 р. 50 к. — 31 р. пая, который, при выходе Власа, пойдет в уплату.

что взял, и все-таки, в конце концов, за ним остается непокрытый долг, и притом больший, чем он брал, на семь руб., то есть *27 р. 50 к.*

И таких мучеников — множество.

№ 35-й. *Василий Костин.* Декабря 31 1875 года он внес сразу 5 р. и занял (с поручителем) 20 р., уплатив 1 р. 20 к. (на руки получил 13 р. 80 к.). Июля 20 1876 года он 20 р. возвратил, но ему, по случаю рабочей поры, нужны были деньги, хотя рублей с 10. Чтобы получить их, он вносит якобы 20 р. в пай и получает 30 р.; из них он 2 р. 70 к. платит процент (стало быть, на руки получает только 7 р. 30 к., так как 20 р., будто бы внесенные в пай, вычитают из 30-ти). Долгу на нем образуется 50 р., которые он должен оплачивать по 1 к. за рубль ежемесячно, тогда как в действительности за ним только 21 р. 10 к. (13 р. 80 к. и 7 р. 30 к.).

И запутавшийся таким быстрым и несообразным образом Василий Костин — исчезает. «Ну вас к богу», — наверно произнес он, махнув рукою.

Объявился он через полтора года и платит 6 р. 75 к. пени да 4 р. 50 к. процентов.

Сентября 17 1878 г. он вносит еще 2 р. процентов.

В книге, по которой я цитирую, находится еще такое примечание: пропущено 1 р. 80 к., но я не вижу, в каком именно месте они пропущены, и потому в счет их не ставлю.

Всего, стало быть, № 35 заплатил банку: (1 р. 20 к. + 2 р. 70 к. + 4 р. 50 к. + 6 р. 75 к. + 2 р.) = 17 р. 15 к., а брал 21 р. 10 к. Прибыли он получил 4 р., стало быть, 12 р. заплатил он за 21 р. 10 к. и остается должным 25 рублей.

Товарищ № 244-го — № 243-й понес убытки точь-в-точь такие же, как и его сосед.

№ 31-й. *Афанасий Задворнов.* Членом с 1 января 1875 г.

Паю имеет 12 рублей.

Долгу считается за ним 28 р. (то есть 16 действительных).

Процентов и пени за три года заплатил 16 р. 47 к. или (вычитая дивиденд 5 р.) — 11 р.

Стало быть, уплатив из собственного кармана 23 р. (12 пая и 11 процентами) и все-таки оставаясь должным

банку 28 р., он в действительности пользовался только 16-ю рублями.

И все это без всякого злоупотребления, прямо по уставу.

Не по уставу — только снисходительность, допускаемая правлением. Но спрашивается: что было бы с товариществом без этой снисходительности? На основании устава, оно должно было бы через первые же 9 месяцев по открытии быть закрыто, так как громадное большинство членов не могло внести всей суммы долга, вследствие чего необходимо было бы приступить к описи и продаже имущества. (Порядок этой продажи разработан в уставе довольно основательно.) Но возможно ли было пугать этой продажей только что народившееся товарищество? Как же могут после этого проникнуть в массу какие-нибудь облегчающие положение этих масс идеи, ежели тотчас по появлении этих идей будет следовать опись и продажа имущества? Необходимо было дать возможность установиться делу, окрепнуть, чтобы потом, согласно § устава, предоставляющего общему собранию ходатайствовать об изменении устава, перестроить начатое нехорошо дело на новый, лучший лад.

Но вот прошло пять лет, и дело остается в том же порядке. Долг вырастает над мучениками-страстотерпцами выше лесу стоячего. Кто справился — ушел; кто не справился (множество) — совсем не кажет глаз, пропав без вести, не платит и слуху о себе не дает. Но новый, неопытный человек, которого гонит нужда, все подходит со стороны, и число членов, несмотря на пропавших без вести и убравшихся подобру-поздорову, не уменьшается, а растет с каждым годом, и хомут товарищества никогда не остается праздным. Новые члены, идя на сию вольную страсть, возлагают его себе на шею точно так же, как и старые.

И представьте себе, что, несмотря на опыт, — безобразное положение товарищеских дел ежегодно то «единогласно», то большинством голосов утверждается общим собранием всех членов. На наших глазах в нынешнем (1878) году были отвергнуты два следующие постановления: 1) о том, чтобы процент с 12 был уменьшен на 8 или 9, и 2) чтобы выдача дивиденда производилась не по паям, а по количеству переплаченных членом процен-

тов, и чтобы тот, кто ничего не брал, получал бы за свои деньги, как за заем, — столько, сколько товарищество платит в государственный банк, то есть 6%.

Сказать, что эти предложения были *действительно* отвергнуты *действительным* большинством, — было бы неправдой. Съезжается народу на собрание действительно много; в нынешнем (1878) году, например, были почти все 500 членов, но в числе этих пятисот едва ли найдется человек тридцать, которые бы смогли понять всю банковую механику. Достаточно было «знатокам» дела сказать, что при меньшем проценте не будет, мол, вам и тех 30-ти копеек, которые пришлось большинству получить за 1877 год, — чтобы 12% остались в прежней силе. Предложение о действительно справедливом возврате переплаченных процентов было мгновенно уничтожено также «знатоками» дела, объявившими, что как только такое распределение случится, тотчас же будут вытребованы самые большие полные паи, а так как паи эти у мелких заемщиков, то, стало быть, немедленно же с этих заемщиков начнут взыскивать долги.

Толпа ворчит, покряхтывает, но слушает этих знатоков, действующих исключительно в свою личную пользу... Да как, собственно говоря, и не слушаться-то их? Что такое этот деревенский «знаток» или, правильнее говоря, нарождающийся и уже народившийся кулак? Это такой же еще недавно на памяти у всех серый, бедный мужик, как серы и бедны сотни ему подобных. И вот этот-то человек, почти при одинаковых условиях с соседями, сумел (очевидно, благодаря уму и даровитости) выбраться на божий свет, сумел устроиться лучше всех, сумел лучше всех одеться, завести хорошую скотину, сколотить деньгу. Всякий знает, что, чтобы выбиться из нужды, этому злодею надо было работать вдвое против своих собратьев. Собрат вот не поехал ночью на станцию — больно, вишь, темно и грязно, и волков боится,— а нарастающий кулак не задумался слезть с теплой печи и погнал лошадь в непогодь. У собрата ничего, а у нарастающего кулака 1 рубль. Нарождающийся кулак, несмотря на вьюгу и холод, встал в глухую полночь и повез хлеб в город; он двумя часами поспел на рынок раньше своих собратьев и взял дороже. А сколько надобно иметь твердости духа, чтобы отказаться от вина, чтобы не пить,

то есть быть трезвым на всех этих сходках, праздниках и т. д.! Словом, всякий знает, что человек, достигший кулачьего звания, достиг его благодаря уму, твердости воли, выносливости, терпению и множеству других качеств, отличающих даровитого человека, качеств, какие есть не у всякого.

Каким же образом не слушать советов этого человека, который «сам» умел выбиться из нужды? Надо только слушать его одним ухом, — это тоже всякий знает, — такой человек, разумеется, будет гнуть в свою сторону всегда, но вот это-то и нужно изучить и узнать, как именно надо гнуть в свою сторону, играть себе в руку. Нет сомнения, что кулака давно бы сокрушили, сожгли, словом, извели; глухая злоба, касающаяся его возрастающего благосостояния, волнует его односельчан-неудачников; если же кулак продолжает здравствовать, продолжает расти, то этим он обязан исключительно только обаянию, которое производит его ум. «Знание» (чего бы ни было — все равно) и уважение к знанию, к уму — вот что дает кулаку право выматывать крестьянские животишки.

Другого направления уму и таланту — в деревне покуда нет. Нет и другого знания.

Итак, кулацкий ум и кулацкое знание всегда настолько сильны и основательны, чтобы если не убедить, то заставить замолчать небольшую кучку «пытающихся» рассуждать деревенских людей. А за этой кучкой стоит сплошная масса народа, который покорно, аккуратно, как машина, выносит на своих плечах тяжелое бремя и старых и новых порядков.

Благодаря этой-то массе знатоки дела, сидя сложа руки, получают из товарищества в буквальном смысле громадные дивиденды. Так, например, люди, у которых с основания товарищества был полный пай (50 р.), получили через четыре года по 50 р. барыша, а серый человек, заняв 12 р. 50 к. и заплатив за них в 4 года (по 1 р. 86 к. в год, считая на 15 р.) 7 р. 44 к., получил барыша много-много 1 р. 60—70 к., потому, во-первых, что из 8 р. пая (который он вносил каждый год по 2 р.) он два раза «ошибся», занес его после нового года, и четыре рубля, благодаря этому, не дали ни копейки.

В отношении распределения прибыли я мог бы представить примеры поразительной несправедливости, если

смотреть на дело «по-божески», а не по-банковски. Но я думаю, что и того, что высказано здесь, вполне достаточно, чтобы дать ясное представление о том, что такое вообще наш деревенский банк и в каких условиях находится у нас так называемый мелкий кредит.

В конце концов выходит, что сельские товарищества не поглощают капиталов вовсе не потому, что господа капиталисты не предлагают их, а потому, что их нет возможности поглощать, благодаря ужасному уставу, который обставил дело мелкого кредита так, что от него, кроме величайших затруднений, величайшей тяготы для народа, ничего не вышло, да и не может выйти. Да, наконец, нам и не надо никаких господ капиталистов: у нас, у нашего товарищества, есть кредит в государственном банке на 15 000 р., а мы в 4 года взяли только 4000 рублей. Остальных мы не берем, так как очень хорошие барыши, в 4 года удваивающие капитал, можем получать, согласно уставу, просто так, зря, за ничто, то есть не давая плательщикам процентов почти никаких денег или давая вздор и получая за этот вздор целую прорву самых настоящих денег.

НЕПОРВАННЫЕ СВЯЗИ

I. «ЛЯДИНЫ»

Всякому петербургскому ружейному охотнику должны быть хорошо известны те места, преимущественно в Новгородской губернии, которые называются *лягами*, или *лядинами*, куда господа столичные охотники ездят бить медведей, зайцев, лисиц, тетеревов, вальдшнепов, бекасов и вообще всевозможных зверей и птиц и откуда возвращаются в столицу, в большинстве случаев не пролив ни единой капли птичьей или звериной крови и не выпустив из своих превосходных ружей ни единого превосходного патрона, если не считать нескольких выстрелов в пустые бутылки от рейнвейна, опорожненные за завтраком и очень часто (надо отдать честь искусству господ столичных охотников) разбиваемые в мелкие дребезги на лету...

Господам столичным охотникам очень хорошо должно быть известно, что такие бесплодные, хотя и дорого стоящие, экскурсии оканчиваются выстрелами в пустые бутылки вовсе не потому, чтобы в лядине не было ни птиц, ни зверей. Как известно, в противном уверяют охотников все местные обыватели-мужички, разделяющие с ними трудности экскурсии. Один, например, Родион Миловидов, сам видел целое полчище тетеревов в то самое время, когда барин, около которого он хлопотал, сидел в шалаше и ничего не видал. Если же Родион и не убил ни одного тетерева, то именно потому, что «*поопасился*» барина потревожить, «как бы, мол, не осерчали, зачем разбиваешь охоту,— а то тетеревей было даже до пропасти, вот это самое место». Зайцев, или, как говорят здесь,

зайцо́в, Иван Харитонов также настиг целую стаю, «хошь руками бери», да на грех у него ружье не далеко бьет и порох «крупен», «поопасился у господ увспросить пороху, а то бы, ежели бы с хорошим ружьем, так он одним ударом в клочья бы всю стаю расшиб; главная причина — ружье оченно неспособно... А кабы, ежели!»

Господам охотникам так же должно быть хорошо известно, что такого рода уверения, начинающиеся обыкновенно после полной неудачи и блещущие удивительной изобретательностью, хоть и страдают известной долею преувеличений, имеющих целью успокоить неудовлетворенных «господ», объяснив неудачу охоты только самыми незначительными случайностями («ружье не хватает», «поопасился вдарить» и т. д.), но не совсем лишены и некоторого правдоподобия, так как не только Иван Харитонов или Родион Миловидов видели «собственными глазами» и зайцев и тетеревов, но и сами господа охотники также видали — хотя, конечно, не в таких, как Миловидов и Харитонов, размерах — и тетеревов и зайцев. «Действительно, — подтверждает свидетельство Миловидова г. N ***,— *я сам* видел тетерева... только ужасно далеко!» Г-н М. также видел и утку и зайца и стрелял, но не попал. Мало того: иногда во время этих разговоров, а иной раз именно в ту минуту, когда охота уж кончилась и охотники, отложив попечение о кровопролитии, начинают палить в бутылку, именно в эту-то минуту у кого-нибудь из них «из-под самых ног», в буквальном смысле, шумно взовьется тетерев, и — удивительно! — нисколько не спеша и не торопясь, умеет как-то тут же куда-то бесследно исчезнуть, пропасть у всех на глазах!

Такое очень частое появление «из-под самых ног» или «под самым носом» всевозможного зверья и птицы, наряду с собственными, также довольно частыми наблюдениями господ охотников и уверениями местных обывателей, несмотря на почти постоянные неудачи столичных охотников, продолжает удерживать за «лядинами» славу отличнейших для охоты мест.

И точно, есть здесь много всякого зверья и птицы; но отличительные природные свойства, характеризующие местности, называемые лядинами, дают ей полную возможность пропадать из-под носа и из-под ног. Даже подстреленную птицу или зайца иногда бывает очень трудно.

а очень часто и просто невозможно разыскать, хотя и видно, куда она упала. Поминутно от местных охотников-крестьян слышишь: «вдарил я в него — только шерсть клочьями разлетелась; побег я, хотел уж руками брать, а он (заяц) очувствовался, прыгнул в прутняк, искал-искал-искал — нет! А уж верно, мертвый лежит где-нибудь!» Природные свойства ляги, так приветливо укрывающие зверя и в такое беспомощное положение ставящие человека, заключаются в следующем.

Лядины — суть громадные пространства лесных болот, перемежающиеся с незначительными более или менее сухими (но никогда совершенно не высыхающими) пространствами, едва-едва приподнятыми над поверхностью болот. Пространства эти, не исключая самых топких мест, густо покрыты довольно разнообразными породами леса — ель, сосна, береза, ольха, осина — леса, растущего в буквальном смысле, «как борода»: так же скоро и так же часто. Из каждого срубленного более или менее рослого дерева в тот же год целыми пучками начинает пробивать прутняк, густыми, непроходимыми стенами которого окружены все промежутки между рослыми деревьями, все пни, и которым непроходимо зарастают так называемые *гари*, места лесных пожаров.

В этих гарях прутняк (коллективное название всякой древесной породы, растущей тонким, длинным и ломким прутом), как щетка, лезет из мхов, из-под старых корней, опутывает громадные сгнившие, поваленные огнем и ветром и гнилью деревья, и вот здесь-то во всякое время года преспокойно полеживает и погуливает Михайло Иванович, твердо зная, что до него здесь никто не доберется. Здесь нельзя сделать шагу без звонкого треска сучьев, ломающихся и под ногами и в руках, которыми приходится раздвигать густой прутняк чуть не у самого носа. Сухие сучья от малейшего толчка, по сухому, кое-как еще держащемуся на ногах дереву, падают с треском вам на дорогу, загораживают путь, который весь пересечен массами наваленных друг на друга деревьев. Нога проваливается в гнилой пень, и, едва выбравшись из этой засады, вы попадаете в непроходимую топь. И гнилые деревья, и сухие сучья, и корни, и пни — все это обильно затянуто какою-то неустанно лезущею из болота растительностью мхов, болотных трав, цветов, ягод, каких-то

грибных наростов, и под всем этим — вода, грязь бездонная, гниль мокрая, какой-то зацветший, заплесневелый студень, в котором можно увязнуть по уши, не в фигуральном, а в буквальном смысле. Такова гарь.

Не лучше и самая лядина. Там, где стоит негорелый лес, утопающий в прутняке, там точно так же, под всевозможною болотною растительностию, непроходимое болото, хотя здесь и можно кой-как пробираться, пользуясь обилием старых корней и сучьями. Но пространства между лесом и луговинами украшаются, во-первых, так называемыми «мокринками», то есть местами, где в сухую погоду нога вязнет только по щиколотку, а в мокрую по колено и выше; во-вторых — настоящими болотами, перебраться через которые иногда нет никакой возможности, так как лошадь тонет по брюхо, а тина так засасывает ступню, что человек рискует навеки остаться в трясине, а лошади вытаскивают ноги, оставляя в трясине подковы. Много в таких местах навалено хворосту, палок, бревен, неизвестно — облегчающих или затрудняющих дорогу в эти злачные места; но вообще пробраться туда — вещь весьма мудреная, и без проводника, который знает тропинки, летом пробраться трудно, а весною в апреле, мае — совершенно невозможно.

Самое лучшее время для здешних мест — зима: вся масса воды замерзает толстым, крепким слоем льда, который все увеличивается вследствие таяния снегов в оттепели, и какой бы ни был большой снег, всегда под ним нога отыщет твердую и ровную, как пол в комнате, почву. С весны начинаются «отпотины», потом целые лужи, потом лужи превращаются в реки; но сообщение во все это время еще возможно: еще не вышло *днище*, то есть еще цел низший слой льда. Но во́т настали теплые апрельские дни — и тут для всех смертных, имеющих с лядиною какие-нибудь отношения, настанет роковая минута: днище начинает выходить. В эту минуту все, у кого за зиму не вывезено накошенное летом сено или нарубленные дрова, из всех сил бьются как можно скорее переправить их к большой шоссейной дороге. Лядина оглашается воплями, хляском бьющейся в воде, как рыба, лошади, шлепками мокрого веревочного кнута, раздающимися во всех углах громадного лесного пространства. Люди и скот выбиваются из сил, вязнут по колено, по пояс, по брюхо, по

три, по четыре часа бьются на полверсте и кое-как добираются до двора, измучившись сами и измучив скотину. Наконец какой-нибудь из обывателей, весь мокрый с головы до ног, возвращаясь из лядины и проходя по деревне, свидетельствует своим видом, что «днище вышло!» Тут уж следует благодарить бога за то, что̀ успели спасти, и отложить всякое попечение о том, что в лесу осталось столько-то сена и дров, обреченных лежать там до будущей зимы и, стало быть, гнить.

Кроме всех вышеуказанных сортов мокроты, лядины изобилуют многочисленными ручьями, которые летом хотя и пересыхают до того, что через них перейдет курица, если только не погибнет в густой траве, которою ручьи эти зарастают в изобилии, но все-таки по обоим берегам окаймлены непересыхаемой топью. Даже места, на которых косят траву, места сравнительно высокие — и там в траве постоянно блестит на солнце мокрота, вода; почва и тут гнется под ногою, как бы сухо лето ни было, и всегда, каждый год, благодаря этому обилию отовсюду просачивающейся воды, там, на этих сравнительно сухих местах, гниет масса сена. Словом, где бы нога человеческая ни ступила там, везде она тонет либо в гнилой кочке, либо в желтой и неароматической болотной трясине, либо вязнет в пышном, как губка напитанном водою, мхе. Каждый шаг, даже в самые сухие года, сопровождается чавканьем сапога на разные тоны, далеко отдающиеся в мертво-безмолвном лесу.

Вот это-то обилие всевозможных звуков, сопровождающих решительно каждый шаг человеческий по лядине — то глухим треском сухого пня, то звонкими переломами сухих сучьев, то хляском болотной воды, и шумом жидкой грязи, и неумолкаемым чавканьем сапога, грубо щелкающего на мокринках и глухо хлопающего на мхах, — это-то обилие звуков, весьма исправно передаваемых лесом в отдаленнейшие углы территории, и дает возможность обитающей лядину птице и зверю заблаговременно убраться подобру-поздорову от господ столичных охотников и их превосходнейшей доброты английских ружей. И зверь и птица за две и более версты слышат приближение столичного лакомки, и всегда имеют время — Михайло Иванович уйти в свою любезную гарь, а заяц, тетерев, рябчик тут же, поблизости господ

охотников, забраться в прутняк и спокойно слушать разговоры о том, что хорошо бы попробовать новое ружье на какой-нибудь толстомясой тетерьке. Зимой, когда лядина замерзла и покрылась пушистым снегом, количество предостерегающих зверя звуков значительно убавляется; но зато всякий звук, даже шелест, простой разговор, шарканье спичек о спичечницу — значительно выигрывают в силе, благодаря удивительной тишине, царящей в лядине, удивительной неподвижности воздуха. Обилие прутняка умеряет самые бурные порывы ветра, рассекая волны ветра на миллионы ровно гудящих струй; а в тихие зимние дни, в особенности вечера, когда над лесом видна темная полоса тепла («лес надышал») — тишина здесь стоит заколдованная: за три версты слышен на деревне говор, и можно различить — бранятся ли, поют ли песни, или разговаривают; слышен лай собак, и деревенский житель, находящийся в лесу, узнает, чья именно лает собака. И опять хорошо зверю и птице.

— Так ты говоришь, — спрашивает столичный охотник местного проводника: — есть зайцы-то?..

— Зайцо́в-то? зайцо́в здесь — страсть!

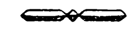
Вот от этих-то разговоров и зайцы разбегаются заблаговременно.

Вообще «пропасть» из глаз, из-под ног и т. д., благодаря предостерегающим звукам, густоте и обилию прутняка, зверю в лядине нет ничего легче; но и человеку, говоря без всякого каламбура, ничего нет легче «пропасть» здесь, если бы только существование его зависело исключительно от ее природных богатств и свойств. Что здесь делать ему? Подо мхом, на самых сухих местах лежит тоненькая, в два вершка, прослойка земли, с грехом пополам удобной для посева; но толстый, непроницаемый слой глины, лежащий под этой прослойкой, делает занятия хлебопашеством весьма рискованными. В дождливое время хлеб вымокает от обилия влаги, в сухое — от непроницаемости слоя глины, которая задерживает влагу около корня хлеба и спаривает его. Сена здесь много, но массу его спаривают дожди и вечная, непересыхающая сырость. Вывозить его бо̀льшую часть года нельзя — нет проезду. Кормить им скот тоже не всегда удобно по причине той же болотной сырой почвы. Овцы, например, от этой сырости болеют здесь

какою-то странною болезнью: у них отрастают ногти длиной (как рассказывают) более полутора вершка, так что больная овца начинает ползать на коленках, не имея возможности ходить. Дрова, рубимые беспрекословно в господских, казенных и крестьянских дачах едва ли не всеми желающими, так называемое в настоящее время третье сословие (имеем, благодарение богу!) скупает охотно по рублю за сажень и, представив в Петербург, продает по пяти. Дрова — это самое легкое и выгодное, что доставляет человеку лядина. Правда, кроме сена и дров, лядина доставляет еще корье, то есть кору ивняка, употребляющуюся на дубление кож; но с какими страшными не только трудами, а прямо физическими страданиями достается этот продукт, равно как и добыча сена, — невозможно себе представить, не наблюдая этого дела лично.

С первых теплых апрельских дней обыватель, знакомый с лядиной, начинает замечать в ясные солнечные вечера на темном фоне леса какие-то движущиеся в воздухе кучки сероватых существ. Это — комары. В первое время поведение этих тварей весьма деликатно относительно человека и скота. Комар еще слаб: прилетит, сядет на руку или на щеку, воткнет свой нос в кожу, но проткнуть ее у него еще нет силы, он еще не справился. Но теплые дни становятся все чаще и чаще, и маленькая тварь размножается с необычайной быстротой; она уж запела, робко и слабо сначала, но с каждым днем это пение становится все звучнее и назойливей. С каждым днем серенькая тварь нарождается миллионами, начинает покалывать, пощипывать; человек начинает похлопывать себя то по руке, то по щеке. Еще день — комариное племя уже трубит, а человек начинает отмахиваться обеими руками; затем — глядишь — ни дышать, ни работать, ни смотреть на свет от этой до невозможности плодущей твари невозможно. Рабочим человеком овладевает ожесточение; он начинает ругаться нехорошими словами, бьет себя нещадно и беснуется... То же самое бывает и со скотиной: сначала она просто похлопывает себя хвостом по спине и по бокам, потом начинает бросаться из стороны в сторону, чуметь, реветь... Иногда заяц выскакивает из прутняка в каком-то безумном состоянии: уши у него разъедены и разодраны в кровь, и, выскочив

на полянку, он ровно ничего не может сообразить. Вот минута, когда его подлинно можно взять руками, если бы человек сам не находился в том же, как и заяц, положении. Не спасают ни дым костров по ночам, ни чад зажигаемых нарочно для этого пней, ничто, до тех пор покуда кожа человека не загрубеет и не заструпеет до степени непроницаемости. Но едва человек приспособился к борьбе с комаром, как на смену его является слепень и за ним овод. Начинается новая война и прямо с кровопролитием. А затем появляются какие-то мошки, которые, по примеру своих предшественников, успевают вновь еще раз доказать здешнему обывателю, что «житья» для него в здешних местах, точно, «нету» никакого. Еще зимой картина молчаливого, точно глубоко спящего леса имеет нечто характерное и даже сильное по впечатлению, но летом просто-напросто — нет житья. В сухую погоду жрет тебя комар, слепень, мошкара, а в мокрую — боже мой, что за тоска здесь! — из-под мхов «булькают» какие-то пузыри грязи; какие-то птицы прилетят и начнут терзать вас унылейшими звуками: одна как будто уныло лает; другая, мрачно запустив свой нос в грязь, издает отрывистые, грубые и редкие, как погребальный звон, звуки; третья вопит жалобным голосом, похожим на голос плачущего ребенка... вопит без умолку, точно умоляет о спасении, точно кричит: «погибаю, погибаю, спасите... спасите». Нет, нехороши здешние места!



II. ЧУДАК-БАРИН

1

Вспомнив, что с этих неприветливых мест «пошла русская земля», невольно приходишь к убеждению, что древнейшему нашему прародителю-новгородцу, начинателю жизни на русской земле, действительно должна была прийти в голову мысль о необходимости призвания варягов, то есть начальства, которое своими мероприя-

тиями давало бы какое-нибудь оправдание местному обывателю на существование в такой трущобе, как лядина. В самом деле, представим себе древнейшего нашего прародителя-новгородца, ведущего беспрерывную и бесплодную борьбу с трясиной, «откуда есть пошла русская земля». Не приходили ли ему в голову примерно такие размышления: «спрашивается, зачем, на каком основании и вообще почему я обязан торчать в этой трущобе, воевать с комарами и вообще более или менее пропадать в болоте, в прутняке, в гари? Из-за чего? Положим, что вот у соседей, у немцев, та же самая трясина и прутняк... Но я понимаю, что там совсем другое дело: там земля завоеванная; пришли чужие люди, забрали в руки все, обложили каждый лоскут данью. Это все понятно. Там, я понимаю, человек притиснут к стене. Плати или убирайся вон! Не на воздухе же жить с семейством... Разумеется, будешь жить в трясине... Но здесь?! (Новгородец восклицает почти в ужасе.) Зачем, из-за чего здесь?.. Нет здесь ни завоевателей, никто тебя по шее не гонит, никто тебя данью не опутывает; из-за чего ж все это мучение? Я понимал бы это безобразие, если бы меня, как немца, притиснул к этому прутняку какой-нибудь бесстыжий завоеватель. Разумеется, тогда бы жил, должен был жить, потому ничего не поделаешь... Но ничего этого нет, и... я не понимаю!»

Вот именно какое недоумевающее о самом себе существование и было причиною того, что в образованном ляднинском обществе того времени стала бродить мысль о необходимости введения в нашей стороне порядков, хотя в приблизительной только степени, по западноевропейскому образцу. Если нет заправских завоевателей, которые бы приструнили нашего брата, «новгородского начинателя», на немецкий манер, то, очевидно, необходимо самим позаботиться об этом, самим установить нечто вроде завоевания. Нельзя сказать, чтобы расчет был плох; напротив, в нем видна значительная доля чисто русской сметливости, глазомера и вообще недюжинного ума. В Европе сначала — завоевание, потом — дань; у нас — прямо дань, а на завоевании прародители наши очевидно остались в чистом барыше. С тех пор до настоящего времени обитателю лядин есть чем отговориться, когда к нему пристанут с вопросом, зачем он торчит в этой трясине и из-за чего бьется?

— Подати, батюшка, — говорит он, — пода-а-ти!.. Подати надоть платить, из-за того и бьемся... Недоимка!

И действительно, недоимки накопил лядинец сверх всякого вероятия.

Итак, если лядина обладает вышеописанными свойствами; если древнейший прародитель наш, новгородец, должен был призывать варягов только для того, чтобы они заставили жить и страдать в этих трясинах; наконец если в настоящее свободное время местные обыватели не хотят приобрести лядину и за половину той цены, которую они давали во время крепостного права; если, повторяем, все это так, то спрашивается: чем, какими резонами можно объяснить попытку какого-то чудака превратить это пустое место в нечто обитаемое? Какие резоны имел этот чудак начать постройку (и не кончить) большого двухэтажного дома в одной из этих трясин? Кого он хотел удивить, начав (и не кончив) копать в этой болотной трясине канавы, как известно, мгновенно зарастающие прутняком и всякой травой? Что, кроме величайших неудобств, имел в виду неизвестный чудак, пытаясь перекинуть через некоторые трясины довольно приличные мостики, так как выбраться из трясины на мост и затем уже с некоторой высоты вновь опрокинуться в трясину же — ни крестьянину с возом, ни охотнику столичному, шаг за шагом пробирающемуся на тряской телеге в какой-нибудь откупленный для охоты участок, не представляет ни малейшей приятности. И вообще что это был за чудак?

Такие мысли невольно должны приходить в голову как крестьянину, пробирающемуся на дровнях за дровами или за сеном в лес, так и столичному охотнику и всякому случайному прохожему, путь которого почему-либо лежит мимо покинутой, но, очевидно, очень недавно начатой, и притом в широких размерах, мызы, раскинутой в довольно глухой местности одной из лядин новгородских.

Мыза задумана в широких размерах: деревянный, двухэтажный с мезонином дом стоит недостроенный, очевидно брошенный своим владельцем; стекла в окнах нижнего этажа кой-где целы; во втором нет ни стекол, ни даже рам; в мезонине то же самое. Дом, надо думать, предполагалось поставить в саду, о чем свидетельствует

повалившаяся в разных направлениях загородь. Новые в то время ворота стоят покачнувшись и перекосившись. Баня, людская просторная изба, сарай, скотный двор, погреб — все это ново, пахнет свежим лесом, носит следы недавнего струга, рубанка, пилы. Масса щеп вокруг дома также свидетельствует о том, что затея поселиться в трясине — затея недавняя, и все это, несомненно стоящее больших денег, брошено, покинуто на произвол судьбы. На расспросы случайных посетителей извозчик или проводник из окрестных крестьян обыкновенно отвечают, что «хо-о-роший был барин... и — и, какой человек! одно слово — доброта, душа-человек! Не нажить такого барина и вовек!» А куда он исчез, этот «хороший барин», никто не знает. Рассказывали, что ушел в заморские земли... «И как ушел-то? Думали было, что в город поехал на день, на два, ан — глядь — вот уж второй год его нету, и посейчас неизвестно где»... Точно так же неизвестна местным обывателям и причина, почему барин нашел нужным бросить все добро, бросить такую кучу денег, уйти, не сказав ни слова знакомым мужикам, которые «очень и премного барином довольны были и завсегда» и т. д.

И затем, если бы случайный посетитель пожелал разузнать о барине что-нибудь поподробнее, то ему сообщили бы множество фактов, доказывающих необыкновенную доброту и простоту (похвальная сторона этого последнего качества в устах крестьянина имеет весьма сомнительное свойство), но решительно ничего в объяснение причин появления его в этой трясине. Расскажут вам для характеристики барина: «Уж и добер только был человек, на редкость даже!.. Ценой не скупился: вперед давал, сколько хошь, — по сту, по двести рублей, и по триста давывал, работой не неволил... Бывало, как лес чистили, часика с два потукаешь топором, дерев с пяток свалишь, уж бежит: не устали ли, мол, ребята? Водки тащат, закуски — пей... Это, например, чай с сахаром за всякое время пей, сколь хошь! Внакладку пивали, сказать ежели вам по совести, истинным богом... всей артелью человек в тридцать внакладку — пей! Ничего! Никаких вредов не делал... Это уж что говорить!. Иди ты, братец мой, к нему в полночь — запрету нет, иди прямо — допускает без разговору, садись, пей чай али там вино,

кофей — это у него сделай милость, не опасайся!.. Скажешь: «А что, Михал Михалыч, хотел я у вас увспросить, коровенку хочу...» — «Много ль?» И сию минуту даст, ежели есть, а ежели нету — «вот, говорит, съезжу в город, привезу...» И верно!.. Одно слово, барин был добреющий, худова слова даже ни единого разу не сказал; а надо говорить уж правду, случалось, с им худо поступали, что греха таить!.. Под конец, как ему уйти, народишко-то вокруг него малым делом поиспортился... Бывало так, что только топором стучит об дерево, а рубить не рубит. Стучат пострелы по пням, а потом идут расчет получать. И платил и вперед давал. До чего баловство проникло например, что Мишка — вот тут есть мальчонка — так тот, постреленок, бывало, в людской сидим, чай пьем, набьет себе в чашку кусков восемь, а то и десять сахару, сидит в шапке перед образами, да еще и на стол, с позволения сказать, садился! Истинным богом, садился, вот до чего их обуяло! А иной и совсем худо делал. Даст ему Михал Михалыч сотельную: «Поди, мол, хошь там Микита или Егор, разменяй, мол, бумагу-то, да, кстати, отдай тому-то, либо тому...» — «Слушаю», — скажет и пойдет, да, вместо того чтобы отдать кому приказано, приходит назад и докладывает: «Уж вы меня, Михал Михалыч, не браните: я деньги ваши истратил, купил себе тесу или там лошадь, корову; уж вы меня поставьте на работу, я вам отслужу». И то не серчал. «Ну что ж!» — только всего и было от него... Вот какой был человек!.. Ну, а как стал он мало-маленько хмелем зашибать — ну уж тут с ним стали орудовать, надо сказать, прямо не по-хорошему... Во хмелю-то хоть раздевай его. Плачет, а с него счищают деньгу-то: охотников-то у нас на эти дела, господин, весьма предовольно!.. Я так думаю, что должно быть, что капиталу он своего решился в наших местах — оттого и ушел. А уж этакой был барин!.. Не нажить такого барина нам, нет, не нажить! Под конец-то он чего-то уж больно затужил, выпьет, бывало, — и крепко иной раз выпивал, — и зальется, а с чего — не сказывает...»

И если бы случайному человеку захотелось узнать, «с чего же это он грустил так», то местный обыватель не нашел бы, что ответить, или ответил бы что-нибудь вроде: «А господь его праведный знает... Капиталу

своему, может, сожаление было али что-нибудь, какие прочие предлоги, — неизвестно нам это. Господь его ведает!»

И ничего более местный обыватель и даже очевидец не сообщит о чудаке добром барине. Анекдотов об этой доброте, разных случаев, в которых она выказывалась, сообщат многое множество; но все эти сведения нарисуют пред вами только фигуру *барина,* правда доброго, но вообще *человека* не нарисуют. Источник доброты, этой чудачливой панибратской обходительности барина с крестьянами, этой заботливости о том, «что̀, мол, не устал ли», наконец источник этого невозможного равнодушия к деньгам — все это для местного обывателя и даже очевидца объясняется именно *барскими,* отличающими барина от мужика, свойствами. Барин может так *чудачить,* куралесить, барин волен куралесить на такой образец, как пожелает: на то он не мужик, а барин, на то у него и денег много.

2

Несколько лет тому назад совершенно случайно пришлось нам познакомиться с этим, отсутствующим теперь в неизвестности, добрым барином, Михайлом Михайловичем, и теперь иной раз, сидя на крыльце его мызы (приведенной в порядок одним моим знакомым) и толкуя с обывателями обо всякой всячине, до некоторой степени могу себе представить поистине трагическое состояние духа, в котором должен был находиться добрый Михаил Михайлович...

Добрый *барин!* Что может быть ужаснее для человека с его направлением мыслей! Он, в ту пору молодой, двадцатипятилетний барчонок, только что оставивший университетскую скамью, приехал сюда вовсе не для того, чтобы величаться капиталами, барством и довольствоваться всеобщим раболепием. Для охотников ко всему этому есть другие поприща, а не лядинская трущоба. Он явился здесь именно в уверенности, что он *порвал связи* как с своим семейством, так и с городским обиходом жизни, с своекорыстным употреблением своего капитала, знания и т. д., и т. д. Все это он бросил позади себя и явился нарочно в трущобу, в бесплодное, дикое место,

где человек терпит, нуждается, бьется... Михаил Михайлович пришел сюда с тем, чтобы «на новом месте» совершенно по-«новому» начать жить, жить так, чтобы каждый кусок, который попадает ему в рот, не пахнул чужим трудом, чужим пòтом. Он пришел трудиться наравне со всеми, как равный в правах и обязанностях, спать вместе с другими на соломе, есть из одного котла, а деньги, как нажитые общим трудом (так был М. М. в этом глубоко уверен в то время юношеских фантазий), должны быть достоянием той кучки людей, которая должна была образоваться как из крестьян, так и из искренно разорвавших с прошлым интеллигентных людей. Что среди крестьян он непременно отыщет людей, которые всецело не только поймут, но еще и разовьют его мысли, — в этом он был совершенно уверен. Крестьянин — это одетый в полушубок живой памятник всего, чего не упишешь в двадцати шести томах истории Соловьева. Мало того: в то прекрасное время к фигуре крестьянина как-то невольно примыкало, кроме двадцати шести томов Соловьева, еще все мучительно передуманное и пережитое европейскою жизнью.

Сообразив все это и соединив все так безобразно-трудно пережитое человечеством в лице крестьянина, которому, наконец, настало время вздохнуть свободно, Михаил Михайлович не мог не подозревать, что такое существо, как крестьянин, бедный, измученный, забитый, испытавший и переживший бог знает какие невзгоды, несущий на своих плечах опыт тысячелетних трудов, — должен, *непременно должен* питать ненасытную жажду устроить жизнь по-новому; у него в горле пересохло от этой жажды, он ждет не дождется, он страстно хочет вздохнуть полной грудью. Пред этим величием Михаил Михайлович — пигмей; он ничего не имеет права желать, как только отдать этому гиганту все, что у него есть: деньги, знание, труд. Больше Михаилу Михайловичу ничего не нужно. Он пришел униженным и смиренным работником. Так Михаилу Михайловичу казалось... Он готов был простить всякую грубость, невежество, всякую неприятность со стороны его народных сотоварищей; он знал, что иначе не может быть, что не из чего выработаться было тонкостям и деликатностям; он был готов

все простить и все претерпеть... Но, увы! — народ никаким образом не мог простить Михаилу Михайловичу ни капли из прошлого, потому что прошлое было крепостное, — как не мог забыть и своего крепостного прошлого. Этот крепостной опыт крестьян — с одной стороны, и с другой — то, что Михаил Михайлович был ведь в самом деле барин, и сокрушило и планы и деньги Михаила Михайловича без остатка.

Да и какие бы другие представления мог иметь только что вышедший «из крепости» крестьянин о людях, подобных Михаилу Михайловичу? Разве было что-нибудь и когда-нибудь подобное? А что Михаил Михайлович — барин, это местный обыватель заключил по тысяче мелочей, которые для Михаила Михайловича казались ничтожными, не имеющими никакого значения в таком серьезном деле, как то, за которое он брался. Уж одно то, что он приехал в деревню со станции в тарантасе, а не пришел пешком с котомкой за плечами и босыми ногами, не попросил христа ради испить, — уж это доказывало, что он не мужик. Он щедро дал на водку, дал столько мелочи, сколько попалось в руку в кармане, — «и карьера его была решена!» А когда к Михаилу Михайловичу стали приезжать его приятели, всё люди простые, честные, добрые, тогда местные обыватели, нимало не сомневавшиеся в том, что люди эти — *господа,* окончательно убедились еще в том, что они и добрые. Один послал за газетой на станцию и дал рубль серебра за хлопоты — заработок небывалый и новый, что немедленно же убедило обывателей в доброте господ и в том, что они — чудаки.

Вот почему рассуждения Михаила Михайловича и его приятелей о том, зачем они сюда приехали, что̀ будут делать и как это выгодно и прекрасно для всех, как это все справедливо и т. д.— местные обыватели не только не понимали, но не желали понимать. Пожелай они — поймут отлично; вся задача в том и состоит, чтобы пожелать! Но они считали своим долгом поддакивать. Своему брату или вообще человеку, который бы пришел с деньгами в эту трясину и объявил бы, что он хочет здесь жить и кормиться, они бы прямо сказали: «ступай отсюда, пропадешь!» Но раз перед ними барин с деньгами

и с своей повадкой (фантазии Михаила Михайловича не более как *повадка*), то дело другое: тут только «потрафляй». Вот почему рассуждения Михаила Михайловича, рассуждения, которых крестьяне даже не считали нужным внимательно выслушивать (хотя делали самый внимательный вид), получили от всех их полнейшее одобрение.

— Ведь и эта земля, которая вот, кажется, никуда не годится, ведь она посмотрите какая будет, если сделать вот то-то и то-то.

— Это уж само собой! Этой земле цены не будет! Одно слово...

— Вот я вам расскажу, — робко начиная поучать, говорил Михаил Михайлович, — например, в Америке...

И рассказывал историю какой-нибудь американской общины, которая на безлюднейших местах сумела развести цветущие довольством поселения, и только благодаря знаниям и определенности цели.

— Цель... вот главное.

— Само собой! Это уж первым долгом!

Словом, какие бы невозможно-идеальные, фантастические идеи ни развивал в это время Михаил Михайлович перед местными обывателями, все они без исключения принимались последними без малейшего протеста и возражения и всегда, напротив, с величайшим одобрением: «само собой!», «Чего лучше?», «Первое дело!», «Первым долгом!»

Если бы Михаил Михайлович в это время не был помешан на своих фантазиях, то он и теперь уж мог бы услышать из уст своих крестьян-сотоварищей (так он думал) нечто, потрясающее все его иллюзии. Так, одобряя и соглашаясь, некоторые из крестьян проговаривались весьма неосторожно, вставляя что-нибудь вроде: «мы завсегда хорошим господам с охотой готовы... Что наших сил.. Для господ». Но Михаил Михайлович в эту пору никого и ничего не слыхал, занятый новым делом, как и мужики не слышали, что̀ он толкует, занятые своим старым. Он полагал, что все рассуждения — сущая правда и неопровержимы, и мужики думали, что они ловко потрафляют барину, поддакивая, — и не ошиблись. Барин оказался — «рубаха!»

3

Начав *общее* дело с взаимного и совершенно основательного нежелания слушать друг друга, добрый барин и добрый мужик так это дело и продолжать стали. Барин «гнал *свою* линию», всячески угождая мужикам и относясь к ним с полным почтением; мужики погнали свою линию, также всячески угождая барину и относясь к нему с полным почтением. Все это, говоря обывательским языком, произошло в полной мере «само собой!» И не прошло трех-четырех месяцев после того, как Михаил Михайлович вступил во владение лядинской пустыней, как однажды, проснувшись утром в наскоро сколоченном мужиками сарае, не без некоторого ужаса почувствовал, что в его житье-бытье что-то неладно...

— Канавы прикажете, Михаил Михайлович, гнать аль мосты наводить? — спросил его крестьянин, сняв шапку.

Михаил Михайлович молчал.

Он был поражен.

«Что ж это, — думал он: — ведь я, кажется, *приказываю... командую...»*

Однако, собравшись с духом, он все-таки отдал какое-то приказание. Но, поднявшись с сена, на котором спал, наскоро напялил рваное пальтишко, в котором ходил по приобретенной трясине, грязные сырые сапоги, вытащил из-под подушки и надел на голову смятую шляпу и почему-то немедленно уехал в Петербург.

Недели две он бегал по петербургским приятелям, не замечая своего странного костюма и грязи, толстым слоем лежавшей на лице и рубахе, и предаваясь все это время непрестанным разглагольствованиям, причем обсуждалась на тысячу ладов справедливость делаемого Михаилом Михайловичем дела. Уже в это время его начинали одолевать припадки острой и мрачной тоски. Думает-думает, остановится на улице с вытаращенным неподвижным взором, постоит и, как сонный, войдет в портерную, спросит кружку, выпьет, спросит другую-третью, и не замечает, что его одолевает хмель...

Так он долго промаялся в Питере; но когда воротился в трясину, то был уже не тем, чем в первый приезд. Он уже не разглагольствовал, убедившись, что его не слушают; он уж не панибратствовал, убедившись, что

в братья мужику он не годится, хотя и продолжал вместе спать и вместе есть. Длинным рядом всевозможных рассуждений о своей задаче он пришел к тому, что только пример, результат видимый, осязательный, доступен будет пониманию теперешнего крестьянина и научит его лучше всяких многословных рассуждений. Стало быть, надо не разглагольствовать, а взять все дело на себя, на свою ответственность. Теперь роются канавы, осушаются сырые места; но когда будет, назло всем преградам, получен первый урожай, словом — когда получатся плоды трудов и знаний, Михаил Михайлович на деле покажет, что̀ значит справедливость. Теперь же он просто будет «пока» распоряжаться.

Решив так, Михаил Михайлович почувствовал себя спокойнее, да и, в самом деле, отношения сделались между ним и мужиками естественнее. Он стал приказывать, а они стали исполнять. «Рой тут канаву!» — скажет Михаил Михайлович и уж не разглагольствует о будущем благополучии, а молчит и молча думает: «потом сами увидите, что̀ это значит!» Став на эту точку, он уже начал отвыкать от сплошного взгляда на весь толкавшийся вокруг него народ; он уже не мог смотреть на всех них одинаково, как смотрел еще недавно, полагая, что пред ним в каждом полушубке ходят все двадцать шесть томов истории Соловьева, а стал различать в одном экземпляре двадцати шести томов — хитрость, в другом — глупость, в третьем — самодурство, в четвертом — ловкость, понятливость и ум.

Появились, таким образом, любимцы, приближенные, доверенные.

Таким образом, если уж в то время, когда Михаил Михайлович был пред мужиком тише воды, ниже травы, если, повторяем, и в то уже время в нем нетрудно было разыскать и рассмотреть барина, барскую повадку, то теперь-то и подавно. Полагая, что он только временно, так сказать, надел на себя шкуру барина, Михаил Михайлович незаметно, в силу того же, что он был *барин в самом деле,* стал сбиваться с равноправной ноги, и воспитанное долголетним прошлым барство стало, сначала понемногу, выступать в его уме, и сердце, и душе, а потом и очень скоро вылилось во всей своей прелести.

Вместе с тем, по мере того как в Михаиле Михайло-

виче стал проступать уж *неприкрашенный барин,* в крестьянине (который, просим не забывать, только что вышел из крепости) стал навстречу барину выступать *неприкрашенный раб.*

Барин начал повелевать, а крестьянин принялся его надувать.

Началась самая утонченная борьба двух естественных врагов, и надо отдать мужикам справедливость — молодцы они в этой борьбе. Лаской, угождением, потрафлением, предупреждением еще не родившихся, но имеющих рано ли, поздно ли родиться желаний, вот как они, и самые талантливые из них, принялись действовать...

У Михаила Михайловича стало образовываться все больше и больше праздного времени, ему становилось все легче и беззаботнее, точно кто по-матерински заботился о нем. Он даже лесть стал слушать как должное, поддался на похвалу, на удивление его уму, знанию. Неведомо как и откуда взялась какая-то бабенка востроглазая, которая стала все тут вокруг да около лебезить. И другая и третья...

4

Михаил Михайлович вновь очнулся, опамятовался и совершенно упал духом. Сначала, когда какое-то ничтожное обстоятельство заставило его прийти в себя, он мгновенно (барская привычка) ожесточился на мужиков. Все в них показалось ему отвратительным: и эти бороды и лица, но пуще всего эти улыбки, эти снятые шапки. «Холопье!» — возопил он всем нутром. Противными ему показались все эти: «Будьте покойны!», «Дело явное, чего лучше!», «Само собой!», «В аккурате!» и множество других ничего не значащих слов, которыми такой мастер отделываться русский человек, когда он не хочет ничего сказать или когда желает сказать не то, что думает.

Бывали у Михаил Михайловича минуты сурового ожесточения против всех и вся. Бывало так, что, ожесточившись решительно на всех толкавшихся вокруг него на работах и постройках людей, ожесточившись на всех огулом и на каждого поодиночке, Михаил Михайлович

прекращал всякие приказания и распоряжения, упорно молчал, не давал ни на что никаких ответов. Тогда народ, толпившийся вокруг него, немедленно же начинал разбредаться; никому не было расчета терять минуты времени даром. Всякий знал: «понадобится — пришлют», и, взвалив котомку на плечи, расползались по лесным тропинкам к новому заработку.

Но по мере того, как равнодушие этих разбредавшихся людей (лично к Михаилу Михайловичу, а не к заработку) становилось все яснее и яснее, ожесточение его против этих людей ослабевало, а перспектива не сегодня, так завтра остаться одиноким в этой трясине — совершенно уничтожала в нем гнев и ненависть. Так же быстро, как и в начале хандры, ненависть его с мужиков переносилась на самого себя, а мужик, напротив, — начинал вырастать, вырастать... в чем же? — в прямоте и правде... Начинало оказываться, что во всем поведении мужика, поведении, которое возмущало так недавно до глубины души, не было ничего, кроме самой сущей искренности и глубочайшей правды. Михаил Михайлович в эти минуты ясно видел собственную свою дрянность, гнилость, негодность, негодность во всех смыслах — в физической силе, в твердости убеждений, в силе мысли, в прочности нравственности и т. д. И во всем этом мужик несравненно выигрывал. Какое необычайное преимущество мужика пред ним уж в одном том, что цель его проста, мала — какая-нибудь коровенка, недоимка! Купить коровенку, уплатить недоимку, а сколько он тратит на это силы, не сердясь, не беснуясь, не хвалясь, не чванясь?.. Ему все простительно, он все из-за хлеба...

5

В такие минуты Михаил Михайлович мрачно пил и под хмельком ворочал мужиков назад, вновь пил «на мировую», под хмельком ехал в деревню в гости, вновь пил в гостях... И тут уже с ним стали поступать без церемонии... Тут-то вот Мишутка сел под образа в шапке, наклал сахару в чашку доверху и на стол грозился сесть. В эту-то пору стали у него брать деньги почти из рук

и почти без церемонии... Не препятствовал Михаил Михайлович этому, убедившись, что другого назначения для него нет, как быть расхищенным на пользу ближнему...

«По-настоящему, — думал он, — надо бы просто послушать совета: отдай имение свое — и ступай!.. Бери, ребята, бери!..»

Он уж совершенно в это время не рассуждал и не фантазировал, а изрекал где-нибудь в крестьянской избе за бутылкой водки краткие изречения, вроде, например, следующего:

— Нет, ребята, мы с вами одного поля ягода... И много, много в вас и в нас разных блох крепостных сидит... И долго-долго, ребята, выбивать из нас этих блох-то придется...

— Само собой! — откликается кто-нибудь на эту речь.

— Да перестань ты болтать чорт знает что! — раздражительно восклицает Михаил Михайлович. — Ну, что это значит «само собой»? — какой тут смысл? Что значит «в аккурате», «к примеру», «первым долгом»? Зачем болтать вздор? Неужели, наконец, после всего, ты прямо не можешь сказать, что́ тебе от меня нужно? Корову? Лошадь? Тесу? Овцу? Телегу? Ведь непременно же что-нибудь подобное, а ты какое-то «само собой», а потом «в аккурате»... Чего тебе нужно?..

— Да лошадку бы точно что...

— Ну вот и прекрасно... а то «первым долгом», «в том числе». Еррунда!..

— Михаил Михайлович! — восклицает востроглазая солдатка, появляясь в избе. — Ты что ж солдатку-то забыл? Чего ж чайку-то не зайдешь напиться?

— Забыл? Нет, я зайду, непременно зайду...

— Ты думаешь, солдатке тоже пить-есть не надо?..

— Как можно! Я-то думаю?.. Что это ты?.. Отлично понимаю. Именно пить-есть...

— То-то, заходи, стало быть, в гости-то...

— Непременно... Тебе чего, тесу или чего?..

. . . .

А уехал Михаил Михайлович потому, что денег у него не осталось ни копейки.

III. ПОДГОРОДНЫЙ МУЖИК

1

В то далекое время попыток в подобном роде, как известно, было великое множество, и если, несмотря на всевозможные внешние различия в способах и приемах, цели они не достигали, то во всяком случае источник, из которого шли фантазии, был чист, а главное — вполне неизбежен, потому что, если Михайлы Михайловичи не могут так скоро порвать уз и пут прошлого, в котором они выросли, то тем более трудно это сделать мужику. Сколько наросло на нем, и вокруг него, и под ногами, и сверху, и снизу — словом, и в нем, и вне его — всякой дичи, паутины! Сколько валяется по пути его развития всякого гнилья, гнилья столетнего, обомшелого, которое путает, сбивает с толку и пути!

Крестьяне, с которыми имел дело Михаил Михайлович и с которыми нам в настоящее время приходится сталкиваться, могут, как нам кажется, служить хорошим образчиком всего, что пришлось пережить русскому крестьянину на своем тысячелетнем веку. Правда, *таких* крестьян, как те, о которых идет речь, многие, изучающие народную жизнь, значительно недолюбливают. Крестьяне эти—шоссейные жители, большею частию живут по сторонам старой московской дороги, имеют частые связи с Питером. Мало того: по территории, которой касаются мои заметки, проходят две железные дороги — Николаевская и узкоколейная, с которыми у крестьян постоянные сношения. Таких крестьян многие, как известно, совсем не считают даже крестьянами: «какие это крестьяне, помилуйте! Тут все перепорчено городом, тут кадрили, пиньжаки». В такого рода суждениях есть известная доля правды в том отношении, что здешние мужики не похожи на мужиков, живущих исключительно земледелием; но знакомиться с положением народа в данную минуту нигде нельзя более подробно, как здесь, потому что если где и есть такой мужик, который бы в самом деле олицетворял собою все двадцать шесть томов Соловьева, так это именно здесь.

Да и по части древности рода здешний крестьянин, как новгородец, перещеголяет своих одноплеменных собратьев. Он именно жил так, как обозначено в двадцати

шести томах. Гнездился он в лядинах, на печищах, перешел поближе к питерской дороге, перелезает теперь к чугунке, видел и аракчеевщину, и холеру, и крепостное право; понатерся в той цивилизации, которая сама идет и едет на деревню, словом — «произошел». Чего еще нужно для всестороннего наблюдения и изучения? Да, наконец, не та ли же участь рано или поздно ждет самый дальний российский медвежий угол и то, что̀ уже получилось в здешних местах? Рано или поздно пройдет каменная, а может быть, и железная дорога и в таких глухих углах, где недавно сожгли колдунью. И туда и во все российские места рано ли, поздно ли придут и кадриль, и «пиньжак», и вообще те же самые новизны, с теми же самыми последствиями. Не Питер, так какой-нибудь Тихвин будет рассадником той же самой цивилизации, какою наделяет наши места столица. Питер для здешних мест ведь только рынок, да и не Питер даже, а Сенная. Сенная же, хоть и маленькая, везде есть; а если нет, то будет везде, где дорога сделает новый рынок для сбыта всего, что идет на подати. Словом, тот же самый дух века, какой дошел из Питера до нас, дойдет и до самого отдаленного угла. Разве можно миновать это, хотя и надо? А следовательно, пренебрегать здешним мужиком, разгуливающим то в пиньжаке, то в тулупе, резонов нет никаких.

Итак, к чему ж, к каким результатам пришел этот новгородский вечевой человек, пройдя через заимки в лядинах, через бродяжничество и шатание по господам, через сохи и обжи, через оброки и барщину, через подушное и поземельное, словом — исколесив вдоль и поперек все двадцать шесть томов и достигнув, наконец, кадрили, пиньжака и петровской папироски?

В двадцати восьми дворах той деревни, которая перед нашими глазами, уже есть четыре крупных представителя «третьего сословия». Как крестьяне, они, без сомнения, получают в общественной земле точь-в-точь столько, сколько им соответствует по справедливости. Но вот как-то разжились, властвуют, скупают у обывателей краденый лес, а один из них имеет рысака и кабриолет — «почесь что барин». Но он — не барин, а крестьянин, временнообязанный, земля его в мирском владении, и, однакож, он властвует, а остальные воруют для него

лес, иные прямо «бьются», — а земля, повторяем, переделена между всеми правильно. Несмотря на эту правильность, постоянно слышишь: «у него и скотине-то есть нечего!» — «А иному бедному и двугривенный слаще рубля серебром!» — очень часто говорит общинник.

2

Недавно в этом отношении нам пришлось быть свидетелем такой сцены:

На мызу (описанную выше и теперь кое-как достроенную одним моим знакомым под дачу) является вечером, через топи лядин, из которых как раз только что благополучно *выступило* само знаменитое *«днище»,* ковыляя на костыле, пожилой человек, отставной солдат. За ним плетется лет десяти худенький мальчик. Солдат и мальчик, окруженные лающими и мечущимися из стороны в сторону псами, приближаются к крыльцу рабочей избы, на котором в приятных разговорах проводили время крестьянин, наблюдавший за мызой (Демьян Ильич), случайный охотник из крестьян же, собирающийся в ночь на тетеревов, и пишущий эти заметки.

Солдат подошел, снял шапку, поздоровался. Несколько секунд помолчали — и солдат и мы. В этот краткий промежуток молчания мы заметили, что у солдата подмышкой курица, а у мальчика в руках какая-то кошелка.

— Яиц не надо ль? — сказал солдат.

Опять помолчали.

— Много ль? — спросил крестьянин, управитель мызы.

Помолчал немного и солдат и потом сказал:

— Десятка три, три с половиной... Сосчитаешь.

При помощи таких кратких вопросов и ответов, перемежавшихся краткими мгновениями молчания, яйца были куплены.

— Михайло! — сказал солдат мальчику, обернувшись назад, — снеси кошелку в избу — сосчитай.

Опять помолчали.

— Грязна дорога-то?

— И-и — не говори! Бездна бездну призывает...

— Выступило днище-то?

— Эва! — еще третьего дни нелегкая его выперла

в полном параде... Наш мальчонка холопский (название деревни) так с ушми совсем чуфыкнул в пучину-то. Выперла, нелегкая ее бери!..

Помолчали.

— А курицу... не требуется вам, господа?

Курица все время вертела головой, плотно прижатая подмышкой, и как-то вытягивала грудь, очевидно желая выскочить. Когда речь коснулась ее, она закудахтала...

— Нет, кур не надо.

Опять помолчали.

— А может, барин скушают?

Курица закудахтала сильнее.

— Ей только дай покормиться с неделю, она — во как раздобреет... У нас она так болталась, смотреть некому — и то, глянь, бока-то всё же мало-мальски... Берите уж, господа! Сорок копеек... у меня старуха что-то недомогает... Деньжонок бы надо... Куда я ее потащу назад-то? Не возьмете — задаром отдам, а назад не понесу.

Взяли и курицу, а впоследствии и съели ее. Конечно, предварительно дали ей отгуляться на воле, отъесться.

Солдат пустил курицу на землю и сказал:

— Ступай! Смотри, чтобы господину бульон хорош был. Не огорчи хозяина!

Курица не побежала, а пошла медленно, осторожно оглядывая новое место.

Опять помолчали. В это время воротился мальчик с пустой кошелкой и сказал:

— Тридцать семь.

— Ну, ладно, сочтемся. А вот что, Демьян Ильич, не возьмешь ли у меня мальчонку?

— Какого?

— А вот!— проговорил солдат, кивнув на мальчика.— Не подойдет ли он тебе в пастухи?

Демьян Ильич поглядел на мальчика и сказал:

— Мне твой мальчик дорог будет...

— Чем же? Полтора куля всего-то...

— Дорогонько...

(По здешним весенним ценам, это около восемнадцати рублей.)

— Дорого? — переспросил солдат и, подумав, сказал: — ну, а девчонка не подойдет ли? Есть у меня

постарше этого мальчонки на год — ничего, девчонка проворная. Она не подойдет ли насчет скотины?..

— Куль! — сказал Демьян Ильич: — Так и быть. Ты знаешь, не из чего мне расходствовать.

— Это нам известно. Куль, говоришь? Что ж, я согласен, только уж дай записку сейчас к Завинтилову (из третьего сословия). Хлебом-то больно бьемся...

— Это можно, — сказал Демьян Ильич.

— Ну, а уж насчет мальчонки, видно, придется рядиться с Завинтиловым. Дает он мне полтора куля, да жидоват ведь человек-то... Ну да уж, видно, надо... Так уж дай записочку-то!

— Сейчас напишем, — сказал Демьян Ильич.

— Ну, ладно, спасибо.

Помолчали.

— Девчонка — она ничего, бойкая! уж я худого тебе не пожелаю. Я знаю, каков ты есть человек...

— У меня с весны загон будет сделан, — сказал Демьян Ильич. — Скотина всегда в одном месте, только бы из загородки не выбилась: — вот и вся работа.

— Хорошее дело... Чего лучше, как загон?

Опять помолчали.

— Там, на деревне, — начал солдат несколько иным тоном, — сказывали, будто тебе человек для дров требуется?

— Надо.

— Что̀ бы ты меня взял? Колоть и пилить я ведь мастер. Хитрого тут нет ничего.

— Пожалуй, возьму. Немного дров-то... колоть, а пилить наши будут.

— Все одно! Сколько наберется. Я бы теперича тебе духом откатал...

— Что ж, оставайся!

Уговорились в цене, написали записку на выдачу куля муки, отдали за яйца и за курицу. Записку солдат отдал мальчику и сказал, чтобы он шел домой, запряг лошадь, съездил за мукой и привез ее домой. Сам же солдат остался и присел на крыльцо отдохнуть.

Мальчик один поплелся с пустой кошелкой по лесу, через топи и болота, через знаменитое *днище*...

Солдат сделал папироску из корешков и какого-то ло-

скута бумаги, который он поднял тут же на дворе в сору, и сказал:

— Справляемся помаленьку... Как-никак... Вот старуха-то у меня малым делом прихварывает — из рук дело одно ушло задарма... Стирка у господ... Рубля два, глядишь, и нет. А то у меня все слава богу!.. Не гуляем... У меня все при добывке. И сам, и старуха, и ребята — все действуют... Я, брат, Демьян Ильич, не охотник по-здешнему: как-нибудь там схватил руб, дело свертел кое-как — и прочь... Или, как другой, нахватал в долг выше головы, и отдает двадцать лет... Этого у меня нету. Я и посейчас гроша ломаного никому не должен, вот я что тебе скажу.

— Я знаю. Ты человек исправный, — сказал Демьян Ильич. — В пример тебя к ним ставить нельзя. Это уж что говорить...

— Я тебе говорю верное слово — так. Ты думаешь, ежели бы я захотел, так Завинтилов не поверил бы мне куля-то? Поверит! Кому другому, хоть бы вот Кукушкиным или Болтушкиным, кажется уж богачами считаются, а им не поверит! А мне, я тебе верно говорю, даст. Только что я не люблю этого — просить. Нет у меня на это характеру... Кому другому не даст, а мне даст.

— Я знаю, это ты говоришь верно. Тебе дать можно.

— А уж, кажется, жид пресветный Завинтилов-то. Вот какое дело!

Солдат, распродавший таким образом курицу, яйца, девчонку, мальчишку и себя и сожалевший только о том, что старуха по случаю болезни не идет в дело, был как-то покойно счастлив, чувствовал полную внутреннюю гармонию, причем доверие Завинтилова, очевидно, уравновешивалось с вышеупомянутой распродажей.

У него было хорошо на душе, ему чувствовалось честно, правильно.

Неподалеку работники пилили дрова.

— Вот какое дело, — еще раз повторил солдат и, обратившись к Демьяну Ильичу, оживленно проговорил: — где у тебя топор-то? Солдат не любит без дела сидеть. Чем сидеть-то задаром, давай-ко топор-то, я покуда что до ужина поколю.

Пила заходила звончей и чаще; солдат, уставив деревянную ногу, как ему было удобнее, принялся колоть дрова. И тут, в этой работе, не весьма для него удобной,

хорошее, правильное расположение духа выступало на первый план.

— Ты режь мне аппетитными кусками, — говорил он работнику, — что ты мне какие орясины подсовываешь? — твое полено к носу моему размером подходит, я воткнуться в него не могу с разгону, а ты режь вот эдакенькие... Так у меня топор-то вопьется вот как!

Стали резать аппетитные поленья.

— Вот это так! Валяй — не задерживай. Вот как у нас, вот, вот, эво! Эво как... вот так-то!

При каждом из этих выражений аппетитные поленья разлетались фонтаном из-под солдатского топора. Тут уж совершенно исчезла работа, а играло роль чистое искусство, которому поддались и работники, уж порядочно уставшие. Теперь они были заинтересованы и своим и солдатским творчеством. Пила пела, не умолкая. Расколотые поленья летели в разные стороны. А солдат при каждом взмахе выкрикивал: «Эво! эво! Ай не хочешь! Поспевай, ребята! Живей!»

И ребята поспевали, как не поспеть паровому пильному заводу.

Хорошо чувствовал себя солдат, распродавший все семейство, и все почувствовали себя вместе с ним так же хорошо, потому, в самом деле, «по-хорошему» поступал человек.

Или вот еще: сейчас на моих глазах крошечная десятилетняя девочка с пяти часов утра и до восьми вечера таскается за скотиной из одного угла мызы в другой. Травы еще мало, да и та, которая уже есть, мала ростом; поэтому скот поминутно переходит с места на место, и десятилетней девочке, проданной родителем за куль хлеба, приходится сделать в день не один десяток верст слабыми и босыми ногами. Босыми ногами потому, что башмаки и даже лапти недоступны для нее при той цене, за которую куплен собственный ее труд. Одних лаптей пришлось бы сносить почти на ту же цену, сколько она «сто́ит сама».

А в то же время, кто не знает, то есть кто не встречал на петербургских улицах, около Гостиного двора, здоровеннейших мужиков, ростом аршина по три, которые слоняются с кружевами, с красными шарами на веревке и даже с букетами цветов. Всякому, например, известно, что такие дылды трехаршинные, у которых силы хватит

убить кулаком быка (от которого иной раз криком кричит в деревне пастух-девочка, пугаясь его рева, злобы, раздражения), — такие-то дылды обступают проезжающих через Строгонов мост на дачи господ с предложением «пукета». Эти дылды — наши деревенские, и, конечно, именно им и следовало бы воевать с быком, вместо того чтобы прыгать с «пукетом». А для девочки самым подходящим делом было бы сидеть дома, расти, учиться и много-много отогнать хворостиной свинью, сующую свое рыло куда не следует.

Недавно в одной из газет мы читали целый ряд наблюдений, неопровержимо доказывающих, что общинные порядки настолько крепки, что крестьяне, выкупившие свой надел, предпочитают оставлять его в мирском владении. В подтверждение этого явления было приведено множество фактов, подлинность которых несомненна, но один из которых произвел на нас вовсе не то впечатление, на которое рассчитывал автор. Именно: рассказывается, что такой-то крестьянин, выкупив надел, оставил его в общинном владении, но при этом прибавлено, что надел выкуплен сыном для престарелого отца. Сам сын не жил в деревне, а жил где-то на стороне; но, жалеючи шестидесятилетнего отца, который за старостью лет не мог бы нести мирских повинностей, стало быть остался бы без земли, без хлеба, — словом, нищим, — сын и выкупил для него землю, то есть поставил его, уже против воли мирских распорядков, в невозможность умереть с голоду. Нас, конечно, очень радует, что общинные начала крепки; но мы спрашиваем: позволительно ли усомниться в широте развития этих начал, ежели сплошь и рядом, при всей крепости и долговечности этих порядков, факты вроде вышеупомянутого встречаются в деревнях поминутно? И что ж это за порядки, когда человек проработал почти все шестьдесят лет, причем чисто мирской работы было переделано его руками многое множество, выбившись из сил, может рассчитывать только на то, что миряне придут к его одру и скажут: «Ну, старичок господний, силов у тебя нету, платить в казну тебе невмоготу, приходится тебе, старичку приятному, пожалуй что и слезать с земли-то... Так-то... потому молодых ребят надыть на землю сажать, а тебе бы, старичку, тихим бы, например, манером, ежели говорить примерно, и помирать бы

в самый раз... Так-то...» Сколько раз нам приходилось слышать выражения, обращенные к старику, к старухе:

— А уж пора бы тебе, старичок или старушка, помирать... Право!

— Пора, пора, родной!..

— Да право!.. Ну что тебе за жизнь? Пожила ведь на свете — ну... и перестань... Чего ворчать-то попусту?

— Ох, перестану, перестану, скоро!..

— Право, так!.. Перестала бы, вот бы и было все честь честью, по-приятному... А то чего застишь?

3

Нынешней зимой мне пришлось несколько дней провести на той самой мызе, которой описание было представлено во второй главе. Вдоволь налюбовавшись зимним пейзажем, наслушавшись буквально мертвой тишины, мы задумали сделать несколько экскурсий в отдаленнейшие места необитаемой территории. Проникали с этой целью, на маленьких санках, по сугробам, без малейших признаков дорог, в глухие деревушки, дворов по пяти, по десяти, куда летом нельзя проникнуть; познакомились с тем, что определяется словом *дремучий* лес, и, наконец, заехали в какой-то глухой маленький монастырь... Заехали мы погреться, никого из братии не желая беспокоить. У самых монастырских ворот стоит какая-то обнесенная плетнем избушка. Как раз в ту минуту, когда мы поровнялись с ней, из избы вышла согбенная старуха с клюкой, и когда мы выразили желание погреться в избушке, старуха охотно провела нас туда. В избе было холодновато и неуютно. Около печки на изломанном столярном станке сидел какой-то старик в красной рубахе и штопал рваный полушубок.

— А, здравствуй! — сказал старик проворно, вскинув на нас глазами, — я тебя знаю... Хороший барин! — добавил он, обратясь к старухе... — Я у него работал...

— Это глупенький у нас мужичок призревается! — объяснила старуха: — дурачок...

— Я у него чашки вертел... Хорошо кормил, хорошо.

— Стало быть, хороший человек? — сказала старуха, разговаривая с дураком как с ребенком.

— Хорошо кормил. Каши сколь хошь.
— Ишь ты!
— И не бьет! Ни-ни! Этого нет!
— Ишь добрый господин!
— Пальцем не ударит...

Он бормотал, поминутно поднимая голову от работы и вновь опуская ее, да и шил он, кажется, вовсе не там, где следовало. Он не говорил, а бормотал всякий вздор, и старуха всегда находила, что́ ему ответить, делая это удивительно деликатно в том отношении, чтобы он не чувствовал своего дурацкого состояния.

— А вот там, за перегородкой, — сказала нам старуха: — также призревается у нас человек... Сто тридцать лет ему от роду... Извольте поглядеть... Пожалуйте!.. Ничего, не обеспокоите... Пожалуйте, поглядите!

За печкой была маленькая дверь. Пройдя через нее вслед за старухой, мы очутились в маленькой каморке, где на кровати самой деревенской работы (очень высокой от полу), под грудой полушубков, каких-то рваных старых тряпок, каких-то лоскутьев с признаками ваты, уложенных, впрочем, весьма заботливо и насколько возможно прилично, тряслось и охало и как будто рычало какое-то невидимое существо... Стотридцатилетний старик закрыт был с головой.

— Родной сын, господа почтенные, — поясняла старушка, остановясь у этой груды, под которой тряслось человеческое существо; — родной сын выгнал из дому... Вот какой нониче народ стал! Кормить отказался... Ну обитель и призревает... Вот уж четвертый год он здесь, и все, слава богу, жив. А сын-то выгнал, думал, помрет где-нибудь... Ан вот господь-то и приютил!

— Да сколько же сыну-то лет? — с изумлением спросили мы.

— Да и сыну-то лет без малого уж сто. Уж у него, батюшки вы мои, и внуки есть по семидесяти да по восьмидесяти годов. Так старик-то, когда в силах был, сказывал: боем, говорит, на него, на сердечного, поднялись... Сын-то, говорит, на улицу выбег, погнал его жердью... Да и внучаты-то поднялись Мамаем! — Вот каково сердечному пришлось на старости-то лет!

Картина, нарисованная старухой, была поистине грандиозна. Представьте себе деревенскую улицу, по которой

целая толпа столетних и восьмидесятилетних старцев гонит также старца, родоначальника всей фамилии, гонит жердью, гонит за то, что человек «объел», что неизвестно, когда же прекратится, наконец, эта праздная еда? Ну если старик проживет и все двести лет? Что же это будет!..

— Ну, а игумен наш — добрый человек, призрел, кормит вот, покой дал... Вот, поглядите на старичка...

Старуха осторожно приподняла груду тряпок в изголовье кровати, и нам представилась громадная, белым пухом покрытая голова. Рычанье, слышавшееся из-под тряпок, происходило в груди старика, в которой работала, казалось, целая кузница... Дыхание было часто, прерывисто. Он трясся от озноба и пышал жаром. Страшно было смотреть на это олицетворение борьбы смерти с жизнью. Смерть видимо одолевала, безжалостно разбивая худую храмину всякими способами — и жаром и ознобом, разрывая внутренности, колотя в грудь. Звуки этой беспощадной работы были потрясающи. Вдруг из-под хлама, покрывавшего старика, с громадными усилиями высвободилась рука... Громадная костяная кисть, на тонкой высохшей кости, поистине напоминала грабли. Грабли эти тряслись, казалось, всячески стремясь распасться, отделиться, рассыпаться, но еще некоторая сила, таившаяся в старике, не пускала их превратиться в прах... Он дотащил эту руку до своего лба. Глаза его неподвижно смотрели на нас, он что-то силился сказать. Пальцы — или кости пальцев — лихорадочно тряслись и касались лба. Он что-то показывал, или хотел показать, вытащив руку. И вдруг губы его зашевелились.

— Пу... — едва слышно произнес старик:— пу.... кли...

В груди его заревело пуще прежнего.

Он захрипел, закашлял, затрясся. Старуха поспешила его закрыть, а мы поторопились уйти от этого зрелища.

Догоняя нас, старуха говорила:

— Это он, вишь, что говорит-то: говорит, что, мол, помню, когда в пуклях ходили солдаты. Ведь он в солдатах сам-от был... И в пуклях хаживал... Вот он и говорит: пукли, мол... Про пукли вспомнил...

Старуха кланялась нам в землю, когда мой спутник вручил ей два двугривенных. Она становилась на колени, потом на руки, потом касалась земли лбом —

и благодарила, говоря, что деньги эти пойдут на старика да на дурачка.

— У меня красная рубаха есть! — громко крикнул нам вслед последний.

Точно из могилы выбрались мы на свежий воздух. Впечатление было до того дурманное, что освободиться от него не было возможности до тех пор, пока на возвратном пути мы не въехали в деревеньку. Деревенька была маленькая, десять дворов, бедная; но за этими разбитыми, почерневшими и замерзшими оконцами виднелись живые лица ребят и взрослых, и живое место оживило нас. Кучер попросил нас зайти за овсом к одному крестьянину.

В чистой, как и вообще во всей Новгородской губернии, выскобленной избе мы нашли старого крепкого старика, который объявил, что сын, у которого кучер хотел купить овса, ушел, но скоро придет, и просил нас погодить; сам же он, без сына, не знал цены.

— Это уж его дело, — сказал старик.

Невольно зашла речь о стотридцатилетнем старце.

— Пустое! — сказал старик. — Это они так, для прилика... славу о себе пускают. Сто тридцать лет — чего не скажут! Али я его не знаю, он — моих годов, и моих-то годов, пожалуй, не будет! Пустой старичишка; одна только от него в дому свара была. Буян! От него никому житья в доме-то не было, все норовит хозяином быть, все мешается не в свое дело. Что врут-то! Это вот они болтают так, чтобы себя увеличить: вот, мол, мы какие благодетели! Пустое! Никогда его сын кормить не отказывался, а только что непокорный старичишка. Я и сам вот старик, и хоть бы, примером взять, вот требуется вам овес, а я знаю, что это дело не мое... Вот придет сын — делайте, как знаете. Мне мешаться в чужое дело не след. Он хозяйствует: — ему верней знать. Видишь вот... Как это он может отца своего прогнать, когда ему отец все предоставил? Сами судите. Я вот трем сынам выстроил по дому, всех пообзавел, на старшего сына три тыщи истратил, купил за него охотника в солдаты, он должóн помнить! А и я тоже не мешай. Вот как по-хорошему... Теперь как праздник или воскресный день, уж у меня Иванка знает, что родителю пятиалтынный на вино приготовлять надобно... Как часы ходят, так верно выдает.

Пятнадцать копеек положь! И дает, худова не скажу, аккуратно. Себе откажет, а уж я не останусь... А и я ему подсоблю, что скажет, что по его распорядкам выйдет. Тоже и я, братец ты мой, даром денег-то с него не беру... Ты меня уважь, а уж я тоже свою часть знаю. Я и водицы приволоку, и лошадку запрягу и распрягу: — сосчитай пятиалтынники-то, ан и выйдет, что без отца-то работника наймешь. Вот каким порядком... Никто не смеет этого сделать — выгнать... А коли начнешь мутить, да чваниться, да привередничать, да чужое дело портить, так и впрямь тебя вон надо гнать. Знай свою часть. Сто тридцать лет! Балалайка он бесструнная — больше ничего. «Я старик, так ты мне, мол, не препятствуй!» Эко дело! Вон и кобель — старик, да не отец он мне, и в отцы я его не возьму, хошь бы он тыщу лет по-кобелиному прожил. А ты хошь и старик, а понимай: — вот в чем дело. Это дело мудреное, дураку его в толк не взять. Понимай свою границу. А старого-то кобеля...

Старик был бодр и крепок. Разговор его был толков, умен, и видно, что он много пережил на своем веку и много передумал. Слушая его простую речь, я невольно раздумывал о том, что не в этом ли трезвом и сознательном самопожертвовании нужно искать наилучших сторон народной души? Она велика «в одиночестве», в холоде и в голоде; она держит на свете человека брошенного, покинутого, держит без ропота, без гнева. В этом отношении народ действительно много пережил, много передумал, и нам кажется, что его мысль несравненно более работала над тем, как жить на свете одинокому, как надеяться на свои руки и как не роптать и никого не винить, если кругом тебя «некому руку подать», чем над разработкою обязательств насчет того, чтобы жить, надеясь на какое-то участие. Живи без всякого участия, знай, что его неоткуда взять; понимай это — и не ропщи: вот теория, которая выработана основательно.

Возможность существования легенды о том, что сын прогнал отца, возможность даже помощью ее распускать о себе хорошую молву невольно говорила о том, что в деревенских порядках не все хорошо и благополучно.

В ожидании старикова сына мы вели от нечего делать разные разговоры. Старик рассказывал о себе очень интересный эпизод из недавней старины, который я и спешу

привести здесь, полагая, что рано ли, поздно ли, а он пригодится.

— ...И господа мужиков продавали и покупали, — говорил он между прочим, характеризуя недавнюю старину: — *да и мужики тоже народ покупывали...*

Таков был тезис рассказа и эпизода. А вот и самый эпизод.

— Я вон за охотника три тыщи по-тогдашнему на ассигнации отдал, за Ванятку-то... И какая была со мною по этому случаю беда — сейчас вспомнить страшно... Три тыщи, ведь это и для барина деньги не махонькие, а для мужика — раззор. Сбивал я их со всей семьи, у всей семьи все до последнего живота распродал, начисто разорился; два месяца охотник-то на мой счет гулял с женой; целые два месяца каждый божий день две пары лошадей он под собой измаивал: то его в город, по трактирам, то по монастырям, то по родне, то опять по трактирам... Чего стоило — страшно и вымолвить! Только как окончилось все это, стало быть настало время идти в присутствие, думаю я: вот сдам, успокоюсь; вдруг, братец ты мой, охотник-то мой — а стояли мы на постоялом дворе — стал задумываться да перед самым присутствием, то есть в ночь под утро, как вести его, — хвать себя по горлу ножом. Женёнка его прибегла ко мне — на дворе я был, около лошадей: «глянь-кось, говорит, что Микитка-то сделал!» Прибег я, а он сидит на стуле да ножом-то себя по горлу смурыжит, а кровища так и свищет. Так я и ахнул: «Варвар ты этакой, разоритель, разбойник! — что ты делаешь?» Отнял у него ножик, думаю: не примут зарезанного-то! Что буду делать? Всего решился, остался ни при чем, да еще и сына придется отдать. Связали мы тут с евонной женёнкой ему горло-то, устыдили его, бессовестного человека, — все говорил: «боюсь казенного бою» — повели к доктору, на квартиру. Пал я тут на коленки, и женёнка-то хлопочет увместях со мной, пал я и взмолился... Все ему рассказал, про все, про свое разорение. Стал его доктор осматривать — только головой качает... Располыхнул он, образина, эво какую ямину, даже страшно смотреть... Ну одначе же — то есть дай ему господь доброго здоровья и на веки веков всякого благополучия! — поглядел, поглядел: «очень, говорит, вредно он для себя сделал. По закону, его надо исключить вон;

но только что, жалеючи тебя, я даже против присяги примаю его. А казне от него один убыток: он и полгода не проживет». И принял, дай ему царица небесная. А то бы... право, сам на себя руки наложил. Уж натерпелся я в то время из-за Ванятки, чего и весь-то он не стоит... И ведь точно: — ближе полгода окончился в лазарете. Женёнка его и посейчас жива, за другого в ту же пору вышла. Покупывали, батюшка, и мы народ-от!

4

Это выражение «покупывали и мы» дает нам возможность хотя слегка коснуться современных семейных порядков в деревне. И здесь прошлое оставило много хорошего, вроде возможности такого старика, который добровольно повинуется сыну; но много и дурного, вроде как бы похвальбы воспоминанием о том, что «и мы покупывали народ». И здесь развитие понятий и взглядов шло не органически правильно, не без помехи. В настоящее время в жизни крестьянской семьи есть такое безмерное скопище неразрешимых трудных задач, что если и держатся иной раз более или менее крепко большие крестьянские хозяйства (я говорю о подгородных), то только, так сказать, соблюдением внешнего ритуала, а внутренней правды тут уж мало.

Довольно часто мне приходится сталкиваться с одним из таких больших крестьянских семейств. Во главе семьи стоит старуха лет семидесяти, женщина крепкая и посвоему умная и опытная. Но весь ее опыт почерпнут в крепостном праве и касается хозяйства исключительно земледельческого, где участвует своими трудами весь дом, причем весь доход идет в руки старухи, а она уж распределяет его по своему усмотрению и по общему согласию. Но вот прошла шоссейная дорога — и вдруг кадушка капусты, распродаваемая извозчикам, стала приносить столько доходу, что сделалась выгоднее целого года работы на пашне, положим, одного человека. Вот уж явное нарушение в одинаковости труда и заработка. Прошла машина — телята стали дорожать: потребовались в столицу. Один из сыновей пошел в извозчики и в полгода заработал больше всей семьи, работавшей в деревне год.

Другой брат пожил дворником в Петербурге, получая в месяц по пятнадцати рублей, чего, бывало, не получал и в год. А младший брат с сестрами целую весну, целое лето с утра до ночи драли корье — и не выработали третьей части того, что выработал извозчик в два месяца... И вот благодаря этому, хотя по виду в семье все ладно, все несут в нее «поровну» плоды своих трудов, но на деле не то: дворник «скрыл от маменьки» четыре красных бумажки, а извозчик скрыл еще того больше. Да и как тут поступить иначе? Эта вот девушка ободрала себе до крови руки и целое лето билась с корьем, чтобы выработать пять целковых, а извозчик выработал двадцать пять в одну ночь за то только, что попутался с господами по Питеру часов с двенадцати вечера до белого света. Кроме того, авторитет старухи еще значил бы, и значил бы очень много, если бы заработок семьи был исключительно результатом земледельческого труда. В этом деле она, точно, авторитет; но спрашивается: что же такое может она смыслить в дворницком, извозчицком и других новых заработках? Что она тут понимает и что может присоветовать? Авторитет ее поэтому чисто фиктивный и если значит что-нибудь, то только для остающихся дома баб; да и бабы очень хорошо знают, что мужья их относятся к старухе с почтением и покорностью только по виду, так как вполне подробно знают достатки своих мужей, знают, много ли кем от нее «скрыто», и сами скрывают эти тайны наикрепчайшим образом. Авторитет главы фиктивный, и фиктивны все общинно-семейные отношения; у всякого скрыто нечто от старухи, представительницы этих отношений, скрыто для себя. Умри старуха — и большая семья эта не продержится даже в том виде, как теперь, и двух дней. Все захотят более искренних отношений, а это желание непременно приведет к другому — жить каждому по своему достатку: сколько кто добыл, тем и пользуйся.

А чего стоит, в смысле нравственной связи, даже внешнее соблюдение этого семейно-общинного ритуала! Чего стоит повиновение старухе, которая ровно ничего «по нонешним делам не понимает»! Каково годами притворяться, будто бы слушаешься! Каково это «скрывать» по годам сотню рублей за пазухой от матери, от брата... Не сметь на избыток купить жене обновку и пожить в свое удовольствие! Разных пут, оставленных

недавнею стариною, великое множество, а новых, еще не исследованных и непривычных явлений — также едва ли не больше, чем старых пут.

Из того и другого в местном подгородном крестьянине слагается, прежде всего, какая-то апатия к интересам своего места и жадное стремление переменить его на другое. Я уверен, что апатия эта немедленно заменится самой оживленной деятельностью, если только у здешнего человека хватит духу порвать связи с насиженным и, правду сказать, давно уже надоевшим местом и уйти на новое. Немедленно же между *чужими* людьми образуется оживленная общинно-хозяйственная деятельность, чего теперь между *своими,* одинаково запутанными во всевозможных старых путах, решительно невозможно достигнуть. Каждый каждому хочет сказать «ты ничего не понимаешь в моем деле»; каждому хочется остаться одному, самому по себе, одуматься; каждому надоело это мирское пустомыслие и семейно-патриархальное притворство.

Любого из здешних обывателей, прародители которого начали с починка и потом в течение тысячелетия просидели на всех пунктах лядины, обжили и бросили все, что теперь заросло белоусом и затянулось болотом, — любого из них ничего не стоит увлечь каким угодно фантастическим рассказом, который бы рисовал выгоды переселения.

Вышеописанная мыза пользуется тем великим для пишущего эти строки преимуществом пред прочими общедоступными для жизни в деревне помещениями, что, благодаря своей необитаемости и апатичности местного населения, решительно не желающего и за деньги жить здесь и караулить дом и скот, она привлекает людей оригинальных, полюбивших уединение, насмотревшихся на разные места, словом — людей любопытствующих, взыскующих чего-то. Жил здесь управителем мужик смоленский, жил какой-то музыкант, жил витебский крестьянин, жил солдат с Кавказа, жил неизвестного звания человек с Урала. У всякого был свой рассказ, и всякий увлекал своим рассказом местного жителя, иной раз старика, точь-в-точь как ребенка увлекает сказка.

— Там, на Урале-то, там, брат, одной рыбы сметы нету. Вытащишь судака, так в нем четыре али пять пудов весу...

— У ты, пропасть какая!

— Я тебе врать не стану. Пошел, ткнул в воду палкой — ан и есть либо судак, либо сом. И ешь его неделю... Вот какие места!

— Ей-богу, надо туда убечь. В наших местах одна тоска, братец ты мой. Чего тут хорошего?

— Что ваши места! ваши места — одна связа!

— Именно так, больше ничего — одно мученье.

— А вот места на Кавказе, вот это уж, прямо сказать, ме-сс-та-а-а! Там, братец ты мой, взял ружье, пошел в лес, хлопнул — ан кабан, а весу в нем пятнадцать пудов. И живи на здоровье!

— Именно надо уйтить отсюда...

— Вот там так уж места! Уж это надо сказать прямо...

— По моему характеру, сейчас бы ушел!

Словом, «уйти» здешний житель готов, по крайней мере в мыслях и на словах, хоть на край света: так запутано, осложнено его настоящее положение.

И в то же время, когда *свои* хотят и думают куда-то уходить, на смену их идут новые, чужие люди.

Сидим мы однажды как-то, разговариваем на крылечке, фантазируем насчет разных «местов», вдруг собаки подняли лай: из-за лесу показались какие-то люди, три подводы, пяток коров, которых гнали бабы босые. На подводах лежали сундуки, перины и разный домашний скарб.

— Кто такие это едут?

— Тоже, должно быть, переезжают куда-нибудь.

Подъехали люди к нам поближе. Присмотрелись мы — не наши, не русские. Бабы хоть и босые, но одеты не так, и телеги не такие, и мужики в пиджаках. Раскланялись они с нами и забормотали что-то...

— Немцы! — вырвалось у нас у всех почти одновременно, причем мы переглянулись.

Кое-как мы добились от них ответа на вопрос, куда они едут. Оказалось, что едут они тоже на какую-то заброшенную, развалившуюся мызу, о которой все мы давным-давно позабыли, до того позабыли, что даже дорогу могли объяснить только приблизительно, и то половину дороги, а другую половину немцам пришлось узнавать самим. Рассмотрев их поближе, мы заметили, что они бедны и измучены и добришко их самое нищенское.

На одной из повозок сидел совершенно ослабевший, молчаливый, сухой и длинный старик. Он как будто спал и тяжело дышал. Одет он был в кургузую куртку, не гревшую ни рук, ни ног. Эта нищета и трудовое утомление хотя бы и немцев на время прекратили в нас патриотическое внутреннее рычание до того, что один из наших собеседников обратился к старичку-немцу с любезностью и весьма ласково сказал ему:

— Пора бы тебе, старичок, умирать!

Старик молчал и не отвечал любезностью на любезность.

— Право, пора бы старику-то вашему помирать.

Немки и немцы тоже не отвечали.

— Ничего не понимают по-нашему! — решили мы.

Немцы и немки тронулись дальше и скоро скрылись в лесу...

— Ишь ползут! — заключил один из собеседников. — То-то я гляжу, что это много этих самых немцев к нам понаехало!

— А много?

— Много их. И что такое, откуда берутся? Все не было, а тапереча пошли и пошли. Ведь, вишь, в какие места забираются, что и здешний-то не знает...

Много «нового» и чудного идет в деревню и «на деревню». В дальнейших наших очерках мы остановимся на «барине», который также в разных видах, по разным причинам и с совершенно различными целями идет в деревню, к народу... Идет по необходимости, иногда по своекорыстию, иногда по глубокой нравственной потребности. Явление это весьма замечательно, и я только могу глубоко жалеть, что разработать это явление во всей полноте и сложности нет еще возможности, смелости и необходимой силы дарования.

По части «искренних» типов этого рода «господ» мы уже имели несколько сцен из жизни Михаила Михайловича; теперь познакомимся и с другим барином, тоже искренним, но в ином роде.

ОВЦА БЕЗ СТАДА

1

— Не окрестите ли, барин, мальчишку у меня?

— С удовольствием... Когда будут крестить?

— Завтра поутру... Так норовим — между утреней и обедней, часу в седьмом... Коли что, ежели будет ваше согласие, так мы с подводкой к седьмому-то часу подъедем?

— Я и так дойду, тут всего до церкви верста... Погода отличная.

— Это точно... Ну, благодарим вас покорно!..

Такой разговор происходил однажды вечером, летом, между мною и крестьянином деревни Язевой, Марком Ивановым. Деревня Язевое лежит в трехстах верстах от Петербурга, как раз на половине дороги из Петербурга в Москву, и в двадцати верстах от одной из железнодорожных станций. Наскучив петербургскими дачами, я задумал провести прошлое лето где-нибудь в глуши, в тиши настоящей деревни, и был необыкновенно рад, когда, ежедневно просматривая газетные объявления об отдающихся на лето дачах, напал, наконец, на объявление о такой именно даче, какая и была мне нужна... Триста верст от Петербурга и двадцать верст от станции по проселку — это, уж наверно, настоящая деревня... В половине апреля, когда в полях лежал еще снег, я отправился нанимать эту усадьбу. В самом деле, место было чисто деревенское, и я тотчас же согласился на условия, предложенные мне хозяйкой дома, а в половине мая и совсем переехал сюда на жительство.

Но, странное дело (хотя совершенно понятное), долгое житье в городах сделало то, что, при всем желании отдохнуть и провести лето «не так, как на даче», дела

пошли, помимо моей воли, как нарочно, совершенно подачному, то есть: прогулки, петербургские знакомые, газеты — и ничего, ничего-таки деревенского. Дачный образ жизни, среди деревенской обстановки — куда нескладная и некрасивая вещъ! Знакомиться с крестьянским населением я не мог, так как у меня не было к этому предлога, а жить, не имея связи с окружающим, — и скучно и трудно. Вот почему я несказанно был рад, когда Марк Иванов, крестьянин, у которого я несколько раз покупал рыбу и раков, пригласил меня крестить. Благодаря этому приглашению, у меня являлся законный предлог войти в крестьянский дом, иметь в деревне знакомых и хоть мало-мальски войти в круг чуждых мне интересов деревенской жизни.

И действительно, с этого дня я стал чувствовать себя менее одиноким, менее отчужденным от людей, которых каждый божий день видел перед моими глазами. Понемногу стали завязываться знакомства, понемногу стала раскрываться тайна существования этих бедных лачужек, этих молчаливых улиц и переулков, этой непонятной будничной, трудовой жизни. А главное, благодаря приглашению Марка Иванова, мне удалось встретить весьма любопытный тип человека, попробовавшего на деле проделать ту вещь, которая на газетном языке называется «слиянием», и притом прочно убедиться в том, что в русской живой действительности существуют такие положения, которые роковым образом могут привести так называемого интеллигентного человека в деревню, к крестьянскому плетню, к намерению выйти из своей интеллигентной шкуры и стремиться войти в среду совсем уж не интеллигентную, прямо — «чужую».

Буду, однако, продолжать начатый рассказ.

2

На другой день утром, ровно в шесть часов, я отправился в церковь. Всю ночь лил дождь, дорога размокла, и короткий путь в полторы версты я месил по грязи никак не менее часу. Дорога шла в гору, была скользка и изрыта глубокими рытвинами; дождь не переставал сеять беспрерывно; крупные дождевые капли от малейшего дуновения ветра ливнем крупных капель слетали с деревьев,

под которыми я намеревался пробраться, и снова выгоняли на грязную и скользкую дорогу. Кое-как я добрался, наконец, до церкви, одиноко стоящей среди кладбища, но не решился войти в храм, а остался ждать окончания утрени на крыльце, очищая лучинкой целые пуды грязи, облепившие мои калоши. Серые деревенские люди один по одному, с большими промежутками, подходили к церкви. Какое-то сонное, удивительно вялое, удивительно нескладное пение дьячков доносилось изнутри храма. Точно они не пели, а бредили во сне, еле вращая языком и вовсе не соблюдая никакой гармонии. В разные стороны тянули разношерстные — не голоса, а какие-то необыкновенные тоны, звуки, и что-то дремотное овладевало слушателями. Многие сидели в притворе на полу, вдоль стен, и не то дремали, не то совсем спали — трудно было разобрать; только сидели эти люди неподвижно, точно заколдованные сонным бредом дьячков.

Утреня, наконец, отошла, и как раз к концу ее впопыхах прибыл Марк Иванов, моя будущая кума с ребенком на руках и старуха-бабка. Покуда Марк Иванов суетился с купелью, таская из речки воду (это все—дело родителя), ко мне подошла бабка и, низко кланяясь, прошептала:

— Вы кумовья-то будете ай нет?

— Я...

— Уж не забудь старуху-то!.. бабушку!.. Я принимала у ей...

Тут я вспомнил, что мне надлежит подробно ознакомиться с количеством необходимых расходов. Крест я купил и знал, что я обязан заплатить священнику; но, благодаря бабке, оказывалось, что существуют еще какие-то расходы, которых я не знал. Успокоив старуху, я обратился к самому Марку Иванову с вопросом: кому и что я должен давать?

— Да вот куме, что́ вашей милости будет... И бабушке... немножечко.

— Я бабушке дам рубль...

— И отлично, хорошо, предовольно!.. Ну и куме уж!.. Полотенчико она вам...

— Куме ты, барин, купи платье, — сказала, смело выступив из толпы, какая-то посторонняя женщина. — Кума твоя — девушка, ей надо это... Выбирай ситчик повеселей какой, цветочками!

— Хорошо.

— Окрестишь, — прибавила она: — и зайди в лавку, купи... Не бог весть что! у вас, у господ, побольше нашего.

— Куплю, куплю.

— Вот и хорошо. А больше ничего и не надо. Куме да бабушке... А прочих не балуй. Так-то!

После этого женщина, на руках у которой был ребенок, укачивая его, отошла в сторону, а на место ее стал мужик, старый старик, и, шамкая, проговорил:

— Ежели твоя милость будет, так уж и нас со старухой не оставь... Мы родители будем Марку-то.

У него тряслась голова и хрипело в горле.

— Что пожалуешь, батюшко... Стары уж мы... Сиротство...

— Надо старичкам-то... — проговорил еще какой-то голос. — Одинокие старики... что-нибудь дай... Ты руб-то разбей... Куда ей, бабке, руб-то?..

— Что пожалуешь... Все на новорожденного-то... старикам! — хрипел старик...

— Ей, бабке-то, за глаза ежели сорок копеек, вполне будет... а по тридцати копеек старикам... Бога помолят.

— Хорошо, — сказал я, — ладно!

— А уж хозяйке, — над самым ухом, как комар прогудел, жарко дохнув, произнес Марк Иванов, — что́ будет вашей милости... И так благодарим покорно... Что вашей милости будет... Хоть двадцать копеек...

Всем нужно, оказывается, хоть сколько-нибудь: у всех сиротство, все норовят воспользоваться случаем, чтобы «как-нибудь», «что-нибудь»... Тяжело мне было на душе, когда, окруженный толпой этого «сиротства», я ходил вокруг купели с новым сиротой на руках. Всем нужно, а тут еще является новый конкурент и требует еще и на свою долю. Откуда возьмет он?

Конкурент, наконец, был введен в лоно православной церкви под именем Гавриила и отправился домой на руках кумы. Повидавшись с священником и дьячком, и мы с Марком тронулись в деревню. По пути из сторожки вышел старый-престарый, кривой на один глаз сторож и низко поклонился.

— Уж за ведерочко что-нибудь! — объяснил мне Марк.

Оказалось, что Марк брал у сторожа ведро, для того чтоб принести воды в купель.

Старик низко поклонился, получив скудную лепту, и поплелся в сторожку.

В лавке мы купили два платья, причем лавочник вывел нас из затруднения разрешить вопрос о вкусах женщин, для которых они покупались.

— Кто кума? — спросил он у Марка.

— Дарья...

— Это — женина сестра, что ли?

— Она.

— Девица?

— Девица.

— Гм... — промычал лавочник и, обратившись лицом к полкам с ситцем и искрестив их пальцем снизу вверх и сверху вниз, выхватил, наконец, одну штуку и, с решительным возгласом: — Вот твоей Дарье! — хлопнул ее о прилавок, спросив: — Сколько прикажете?..

«Вот твоей Дарье» было сказано так веско, что не представлялось никакой возможности предполагать, чтобы Дарье это не понравилось. Ввиду этого, почти не рассматривая материи, мы прямо отвечали на вопрос «сколько потребуется».

— Давай на полное платье! — сказал Марк.

Аршин зашумел в каленом ситце.

Точно так же была выбрана и материя на платье и жене Марка. Лавочник выхватил кусок и категорически объявил, что этот рисунок будет в самый раз для Марьи. Когда мы принесли покупки к Марку в дом, действительно и кума и жена Марка (сидевшая за занавеской) остались очень довольны подарками.

— Лучше не надо! — говорили они.

Несомненно, что лавочник отлично изучил вкусы каждой Дарьи и каждой Марьи.

3

В доме Марка Иванова сошлось избранное общество. Тут присутствовал сельский староста, самый богатый и умный, то есть практический, мужик во всей деревне, приглашенный как лицо, которому под стать сидеть

за одним столом с барином. Кроме старосты, присутствовало два-три из самых «порядочных», то есть крестьян, ведущих свои дела более или менее в порядке; присутствовал сам Марк, бабка и кума. Старый старик-родитель, получив малую лепту, скромно уселся у двери, заявив, что он не будет беспокоить; а старуха с тою же лептой тотчас ушла домой. Марк хотя и удерживал ее и просил старика идти к столу, но, как мне показалось, удерживал не особенно усердно и ни единым словом не протестовал, когда старик начал было отнекиваться...

— Ну как хошь, — сказал Марк, не дослушав его речи.

— Мое дело — старое! — как бы оправдывая равнодушие сына, произнес сам старик, и даже мне, человеку, только что вступившему в крестьянский дом, показалось, что, в самом деле, ему нет тут места. Своей больной старческой фигурой он не подходил к веселью; и сам он знал и все другие видели, что жизнь он уж прожил и осталось ему одно — умереть. Куда ему пировать? «Дело его старое»... Не нужен он становится, как не нужно старое дерево.

Усевшись за стол, на котором кипел самовар, мы выпили по рюмке водки, закусили ее щукой, жареной в яйцах — кушаньем вполне безвкусным, и приготовлялись выпить по другой, как с улицы кто-то звонко застучал в стекло. Я успел разглядеть, что палка, которою стучало неизвестное мне лицо, была не деревянная; на конце ее была, в виде набалдашника, посажена какая-то алюминиевая морда. Самого стучавшего мне не было видно, потому что крестьянские дома в описываемой местности все без исключения двухэтажные: внизу помещаются подвалы и чуланы, а над чуланом — жилая горница.

Марк тотчас поднялся на стук и, заглянув в окно, произнес:

— Балашовский барин... — и ушел на улицу.

— Кто такой? — спросил я.

— Тут в Балашове, тоже вот на лето флигель снял у священника... В пяти верстах отсюда деревня Балашово...

— Барин тоже... — сказал староста: — только что сумнительность есть в нем...

— Какая же? в чем?

— Да так, то есть без твердости безо всякой, — объяснил староста. — Господин не господин... а бог е знает... он и добер и всё... а чтобы настоящего...

4

Староста еще не закончил речи, когда в отворенной двери показался Марк, пропуская впереди себя балашовского барина.

Это был, как я потом разглядел, человек лет сорока, казавшийся гораздо старее своих лет. Какая-то изношенность и вместе с тем беспрерывная нервная раздражительность составляли довольно резко бросавшиеся в глаза черты его физиономии. В небольшой черноватой бородке и в длинных, за уши зачесанных, волосах пробивалась сильная седина. Одет он был весьма прилично, хоть и небрежно; чистая рубашка была не застегнута у ворота, и галстука на нем не было, а шляпа была измята самым беспощадным образом...

— Радостию бы рад, — говорил Марк: — да невозможно!

— Ведь дождь прошел... Сегодня праздник... — говорил ему барин.

— Гости-с! Крестины!.. Милости прошу...

— А! — оглядывая гостей, весело проговорил барин,— всё старые знакомые... Мое почтение! — раскланялся он со мной.

— Всё старые! — поднявшись, проговорили гости. — Здравствуй, Ликсан Ликсаныч.

— Здравствуйте, здравствуйте, друзья любезные, — влезая на уступленное старостой место, говорил барин.— Здравствуйте... как поживаете? Нет ли чего хорошенького?

Говорил он это, очевидно, иронически. Крестьяне, также улыбаясь, отвечали ему:

— Слава богу... помаленьку!

— Ну и славу богу! Простили Ивана-то?

Барин, сказав это, поставил локти на стол и опустил усы на сжатые кулаком пальцы рук. Ответа он ждал, както искоса посматривая на крестьян. Я не знал, почему это

делается, но видел, что сидевшие за столом крестьяне медлили ответом.

Барин тоже молчал, постукивая кулаком по своим усам.

— А? — вопросительно промычал он еще раз.

— Он, Ликсан Ликсаныч, сам пошел на мировую...

— За много ли?

— На полштофе помирились.

— Отлично! А голова-то зажила?

— Кой подживает, кой не...

— «Кой не»... — повторил барин и, обратясь к Марку, произнес: — ты что ж не угощаешь водкой-то?..

Марк со всех ног бросился наливать водку и подал барину через край налитую рюмку. Барин поморщился и залпом опрокинул ее в рот. Но горловая судорога не пускала глотать, и барин долго сидел с сжатыми губами, роясь вилкой в чашке с яичницей и щукой. Кой-как глоток проскользнул, и словно всем полегчало.

— «Кой подживает, кой не!»... — повторил барин, утирая усы концами скатерти.

— Да вот это еще место, — указывая на собственный висок, объяснял один из крестьян: — это еще не совсем... Дюже глыбко просадил он...

— Глыбко?.. — переспросил барин.

Такая манера разговаривать крайне стесняла всех присутствующих: барин точно допрашивал, и видно было, что ответы, которые давали ему его подсудимые, очень мало удовлетворяли следователя. Но барин как будто не замечал этого. Лично мне было просто неловко присутствовать при непонятном мне разговоре; но крестьяне, к которым обращался барин, казалось, хорошо понимали, в чем дело, и чувствовали себя едва ли не хуже, чем я себя чувствовал.

— Ну, а Евсею вы сколько ударов-то дали? — придвигая к себе стакан чаю и как будто с полною беспечностью приготовляясь распить его, продолжал барин тем же строгим тоном.

— Это, Ликсан Ликсаныч, не мы удары-то обозначаем: на это есть суд.

— А не вы «суд»-то?

— Никак нет!.. На то есть судьи... — отвечали крестьяне разом.

— А судей кто выбирает?..

— Ну уж судей, знамо — мы...

— А!.. — с каким-то злорадством прорычал барин и, в сильном волнении, так опрокинул стакан на блюдечко, что чай разлился по скатерти... Барин между тем продолжал в том же тоне:

— Так не вы дерете-то, стало быть? Чужие? Приказывают? Стоит тебе приказать отца родного высечь — ты и выдерешь, и не виноват будешь?..

— Хе-хе-хе! — вдруг засмеялся староста (молодой непьющий, но сухой и жестко-практический малый), — всё вы, Ликсан Ликсаныч, на нас серчаете. Все у нас вам не по вкусу, все худо... Что ж с нас, мужиков-дураков, взять?..

— Известно уж — дураки... — почесывая затылок, произнес один из «порядочных» крестьян. Произнес он это таким тоном унижения, который паче всякой гордости.

— Об этом я не спорю, да — дураки! — сказал барин, не сморгнув.

— Иде ж нам взять ума-то?..

— Да и мало того что дураки, вы... — вдруг вспыхнув непритворным негодованием, проговорил барин: — вы, кроме того, еще и...

Жесткое слово, которое, по всей вероятности, вертелось у него на языке, однако не сказалось. Не кончив фразы, он быстро повернулся ко мне и спросил торопливо и раздраженно:

— Вы тоже в деревню заехали?

— Да, на лето...

— Только на лето? Уж не «сливаться» ли с этими вот?

— Как «сливаться»? Я просто на дачу...

— И не «сливайтесь»! То есть, я вам скажу!..

Он ухватился обеими руками за голову. Я ждал, судя по этому жесту, что он разразится каким-нибудь трескучим потоком обвинительных фраз; но, вместо того, барин мгновенно утих и почти шопотом сказал мне:

— Мы хороши — уж нечего сказать, достойные плоды цивилизации, ну да и они тоже...

Он поцеловал кончики пальцев и потом развел руками.

— Малина! — сказал староста...

— То есть — чудо что такое! Лучше всякой малины... ахти — малина... А ежели мы да они сольемся, да в том самом виде, как сию минуту...

— Свинья не тронет! — досказал староста и захохотал.

— Правда, брат, правда!.. Именно не тронет!.. И свинья понюхает этот лимонад — и прочь!.. Налей-ко мне, Марк!..

Барин подставил рюмку.

— Уж наливай, Марк Иванов, — сказал староста, — всем! что уж...

Марк налил все рюмки, но пить не было никакой возможности, в комнате стояла нестерпимая духота от самовара, от солнца, вдруг начавшего жечь июльским полуденным огнем, и от раскаленной печки... Выпили только один из крестьян, сам Марк да балашовский барин.

— Нет, ребята!.. — заговорил каким-то обиженным тоном балашовский барин, кое-как преодолев эту вторую рюмку: — Вот что я вам скажу — обидели вы меня!..

— Чем же, Ликсан Ликсаныч? Кажется, всей душой... Из чего нам тебя обижать?.. Мы тобой довольны... — послышались голоса, правда не совсем искренние, так как на заявление барина об обиде почти все присутствующие смотрели, очевидно, как на причуду барина, да еще «сумнительного», да еще, как видно, выпившего.

— Обидели, братцы, обидели! Ехал я к вам: думаю, буду жить с вами, помогать — денег мне от вас не нужно, — хлопотать за вас, за вашу крестьянскую семью. Я думал, что деревня — это простая семья, в которой только и можно жить...

Мужики вздыхали, а староста только мотнул головой, как бы говоря: «Невесть что городит». А барин между тем вновь сам налил себе полрюмки, быстро проглотил и продолжал:

— ...А у них тут не только никакой семьи не оказывается — какое!.. Лезут друг от друга в разные стороны... Представьте себе, что́ тут творится, — исключительно обращаясь ко мне, говорил барин. — Вот я сейчас спрашивал их про Евсея, которого они высекли за упорство, *«за то, что занимается упорством и леностью»* (так у них пишется в протоколах волостных судов). Этот Евсей — за-

взятый охотник, предан он своему делу страстно. Семьи, кроме жены, у него нет никакой; хозяйничать надо, стало быть, с работником. Но у Евсея, помимо того, что сердце вообще не лежит к хозяйству, вследствие его специальности, у него, вследствие той же специальности, и средства-то случайные: хорошо, вспомнит про него какой-нибудь барин, которому он мог услужить на охоте, поможет, Евсей и справится, а нет — сидит так... Я этого Евсея знаю; это — истый художник, страстный любитель своего дела и потому добрейший парень. В охотничьем мире он известен очень многим петербургским тузам и благодаря этому сослужил своим сельчанам большую службу. У крестьян этой деревни, вот у этих самых (он указал на сидевших за столом крестьян), больше десяти лет шел спор с помещиком за надел. Они на это дело, как рассказывают, истратили больше тысячи рублей серебром, но толку никакого не добились. Тогда Евсей, несмотря на то, что лично ему земля эта была не нужна, — я говорил, что он был плохой хозяин, — задумал помочь своим товарищам, помочь просто так, по доброте. Он отправился в Петербург, разыскал одного из господ, которого знал как охотника и который, как оказалось, был лицом влиятельным, рассказал ему все дело и, без одной копейки расходов, благодаря своему личному уменью затронуть человеческую струну, выиграл процесс не больше как в полтора месяца со всеми проволочками. Теперь, благодаря этому Евсею, у этих вот джентльменов (опять он указал на крестьян) двадцать десятин мелколесья с отличными сенами и отличные луга. И что ж? Этого человека, который на вечные времена сделал им доброе дело, эти же самые джентльмены выдрали розгами за невзнос податей.

— Постой! — остановил барина один из крестьян, видимо взволнованный рассказом. — Погоди, Ликсан Ликсаныч. Слышал ты звон, да не знаешь, где он.

— Ну где ж? — обратился к нему барин.

— А вот где... Которую землю Евсей отбил, той земли владетель — стало быть, наш бывший барин — и посейчас в присутствии служит, в крестьянском...

— Член... — прибавил другой крестьянин.

— В членах. Когда от него это угодье отошло, он и подвел, чрез старшин и через судей, против Евсея... Судьи-то, братец ты мой, из всей волости выборные...

Кабы из нашей из одной деревни они выбирались, небось бы...

— Ну ладно, ладно... — перебил его барин, торопясь досказать свою речь, — стало быть, это не здешние судьи, а люди, которые не знали Евсея, приговорили его к сечению, потому что им это было внушено и, пожалуй, приказано.

— Вестимо так!

— А вы высекли вашего благодетеля только потому, что было приказано. Так? Ведь *вы* секли-то? Ведь у этого волостного правления?.. Так ай нет?

Крестьяне молчали. Только тот, который возражал, как-то нетерпеливо схватился за свою грудь, что-то, повидимому, желал возразить, но только мотнул головой и махнул рукой...

— Как вам нравится этакая непосредственность? — обратился он ко мне.

— Да нешто, кабы ежели... — совершенно огорченным тоном заговорил было опять мужик, но барин не дал ему окончить и перебил вопросом:

— По-чему вы не заплатили за него этих несчастных двенадцати с полтиной? Ведь он вам сделал добра на тысячи?..

Вместо ответа на этот вопрос другой из порядочных крестьян, все время молчавший, неожиданно и медленно проговорил:

— В случае ежели что, и Евсей твой тоже бы нашего брата не помиловал... Прикажут наказать да прут в руки дадут, так и Евсей твой...

— Ну вот! — стукнув кулаком, завопил барин. — Вот тут и сливайся с ними... Сегодня я сольюсь, а они меня завтра в волости выдерут либо самого заставят драть...

И он, как говорится, «хлопнул» еще рюмку водки и видимо охмелел...

— Теперь еще куплетик, — отирая уж просто ладонью свои усы, продолжал он. — Здешняя помещица отдала свою землю и усадьбу в аренду одной петербургской немке... Эта аренда — тоже превосходнейшая иллюстрация к пониманию теперешних взаимных отношений вот этих господ... Это прелесть, и мы еще поговорим... Не в том дело. Дело в том, что как ни подла и ни жадна эта

немецкая тварь, все-таки уж одно незнание языка заставляет ее прибегать к помощи наших соотечественников, то есть к помощи этих же язевских обывателей, *против тех* же язевских обывателей... На ее счастие, в числе этих господ (опять указание на гостей) отыскалось одно удивительно пригодное для этого немецкого животного русское животное. Это еще молодой парень; но такой глубокой природной кровожадности, такой глубокой ненависти к своему брату-крестьянину я решительно не видал, даже не мог предполагать, хотя и теперь порядочно-таки насмотрелся на их взаимную любовь...

— Зверь — уж что... — подтвердил один из крестьян. — Это верно!

— Я понимаю, что могут быть тысячи причин, объясняющих это уродство; дело не в том. В обществе, в общине, какою я предполагал русскую деревню, такой человек — первый враг, язвы сибирской хуже... Всю силу своей умственной деятельности — а парень он не глупый — он устремляет на то, чтобы затруднить отношения, которые приходится иметь ему с крестьянином, своим же односельчанином. Только из какой-то непостижимой потребности делать зло он привязывается к интересам лиц, которые как раз противоположны интересам его близких! — так вернее и жестче для этой немки слуги едва ли сыскать возможно. Эта шельма — его звать Федосей — этот Федосей неусыпно сторожит ее интересы, точно это его кровное добро. Представьте, он выучил почти наизусть (грамотный!) судебные уставы, знает все закорючки, путает ими крестьян и, разумеется, выигрывает процессы. Помимо этой непонятной злобы против своих, он вообще злой человек: он любит смотреть на смерть животных... любит смотреть на страдания... В прошлом году он, например, сжег в печке девять щенят, которых его немка приказала ему утопить... Понимаете ли, ведь надо быть зверем, чтобы решиться на эту операцию, чтобы нарочно растопить прачечную печь и бросать в огонь по одному щенку...

— Я ему сто раз говорил, — вставил свое словечко Марк: — помрешь сам такою же смертью!

— И что ж? И так... И помрет! Верно это!.. — прибавил мужик, огорчившийся словами барина и все время не перестававший о чем-то упорно и горько думать...

— Так вот этот зверь, — продолжал барин, — однажды заметил, что из немкина амбара пропадает мука. Пять ночей кряду, не смыкая глаз, имел он терпенье высидеть за амбаром со шкворнем в руках, выжидая вора... На шестую — он сам говорил мне, что была темь и дождь, — он, наконец, заприметил какую-то фигуру, пробиравшуюся через двор. Впоследствии оказалось, что это мужик шел за бабкой-повитухой... Не долго думая, верный страж немкиных интересов погнался за этой фигурой и, догнав, буквально изувечил человека тарантасным шкворнем. Он бил его по чем попало, раскроил голову в нескольких местах, словом — изуродовал зверски... Если бы вы посмотрели, с каким глубоким сознанием своей правоты рассказывал этот зверь мне, лично мне, это дело! Он выходил из принципа — «не тронь чужого» (потом я вам скажу, что это за чужое) и чувствовал себя как-то удивительно веселым... Он даже пришел ко мне жаловаться на свою хозяйку, заслышав, что она хочет простить (простить!) этого мужика.

«— Что ж это такое? — говорил он обиженно... — Сейчас бы ушел, ежели б не контракт...

«Но так как прощать невинного немке не пришлось, то Федосей и попал под суд... Суд этот был третьего дня, в воскресенье, — и что ж? Этот самый невинно обиженный человек, изуродованный во имя немкиной собственности, прощает врага всего язевского крестьянства — за полштоф!..»

— Сам же говоришь, драть нехорошо...

— Если прощать — прощай так, а не за полштоф... То-то и беда: не будь полштофа, вы бы высекли его, а полштоф-то и помешал.

— Ах, господи, господи! — широко вздохнув, произнес огорченный мужик. — Говоришь ты, братец ты мой, много, а сказал бы я тебе словечко...

— Знаю я твои словечки, — перебил его барин. — Бедность, сиротство — так? Теперь извольте прислушать...

Барин обратился исключительно ко мне.

— Эти люди, бедность которых уж, кажется, не подлежит никакому сомнению, эти самые люди, которым дорог каждый гривенник, каждая копейка, эти люди *даром, за вино* добровольно обязываются работать на эту

самую немку, на вашу хозяйку... Вы ведь у нее нанимаете флигель, кажется?

Я подтвердил.

— Понимаете ли: *даром* обязались ей всей деревней работать триста сорок дней в году с лошадьми. То есть *даром* делают ей все, доставляют ей тот самый доход, которым она уплачивает аренду и от которого у ней остается — куда довольно!..

— Барин! а барин! — заговорил огорченный мужик. — Право, ты меня в сердце ввел...

— Чем это я тебя рассердил?

— А тем... Поди-ко, спроси у хозяйки-то, у помещицы: даст она нам, мужикам, земли-то? Нет, не даст! Ей надобен один человек, один ответчик...

— Вот ты осерчал, вошел в сердце, а договорить-то мне и не дал...

— Ну договаривай!

— Изволь; а позволь тебя спросить: один кто-нибудь из вас не может, по вашему выбору, взять это дело на себя? Вот ты, ты — сельский староста, ты не пьешь, помещица тебя знает...

— Мне что же? я, слава богу, не сижу без хлеба, — холодно перебил речь барина староста. — Есть у меня пустоши тринадцать десятин, да у двух мужичков нанимаю: — куда уж мне с арендой!..

— Ну вот говорите с ними после этого! Вот они в каких теперь отношениях... «Мне, мое, у меня, а там — прочие, другие, соседи — как знаешь!»

— Я всякому желаю, — кротко бормотал староста. — Дай бог всякому! Мне бог помог — и другим поможет.

— Знаю я, тебе как бог-то помог, — почти огрызаясь на старосту, произнес барин и, тотчас обратясь ко мне, продолжал: — вот, вот она где беда-то!.. Вот что въедается в деревенскую среду с каждым днем все сильней и сильней...

— Эх, барин, барин... Долго ты нас бранил, а и нам бы тебе можно словечко сказать... Худы мы — верно это...

— Друг ты мой любезный! — вдруг самым задушевным тоном произнес очевидно расстроенный барин: — неужели ты думаешь, что я, в самом деле, пришел сюда с вами ругаться?.. Чудаки вы этакие!.. Я ору на вас,

потому что вы не верите, что мне вас жаль... Эх вы! Марк, купи-ка, брат, пивца.

Марк взял от барина деньги и мигом понесся в кабак.

— Не сольешься с вами, а сопьешься!.. Смотреть-то на вас — душа разрывается...

— То-то вот, барин, и есть, — говорил между тем огорченный. — «Дураки, да дураки... да пьяницы...» Были и мы, братец ты мой, хороши, да уж потом стали худы... Знаешь, чай, про мужика да про волка?

— Что такое? про какого мужика? — приподнимая опущенную на руки голову, устало произнес барин.

— Сказка такая есть: про мужика да про волка... Шел, стало быть, мужик с гумна, а навстречу волк бежит... «Мужик, мужик, спрячь меня, за мной охотники гонятся». Подумал мужик и спрятал волка в мешок; мешок у него с собой был... Вот хорошо... погоди, добёр, по-твоему, мужик-то?

— Добёр! — сказал барин как во сне.

— То-то что добёр; погляди, отчего он худ-то стал...

— Ну говори, валяй дальше.

— Ну, охотники проскакали, мужик и выпустил волка из мешка, а волк, как вылез, и говорит: «Теперь, мужик, я тебя съем!» — «Это как же так, — говорит мужик: — нешто так добро помнят?» — «Старое добро, — говорит волк, — забывается». Стал мужик спорить. Волк говорит: «Давай, у кого хочешь, спросим; ежели скажут, что забывается старое добро, тогда я тебя съем...» Подумал мужик, говорит — «ладно!» Пошли по дороге. Попадается старая лошадь, стали они у нее спрашивать: забывается ли старое добро? Лошадь им отвечает: «Служила я хозяину пятнадцать лет, работала день и ночь, а старше стала, ослепла — меня треснули дубиной вдоль спины и выгнали вон... Вот и плетусь умирать, куда ноги приведут... Старое добро, господа, всегда забывается...» Волк разинул рот, хотел мужика съесть; мужик говорит: «Нет, погоди, еще спросим у старичков». И стали они спрашивать у старых собак и у старых людей, и все им говорят: «забывается старое добро». Покуда, мол, нужно — кормят, а как состарился да не в силах работать — и издыхай, где хочешь «Ну, мужик, — говорит волк: — теперь уж я тебя съем...» Видит мужик, дело его плохо. Вдруг

бежит лисица. Мужик к ней: «Рассуди, говорит, нас!» А лисица — хитрая ведь она: «Расскажите, говорит, как было дело». Стал ей мужик рассказывать, как он волка от охотников спрятал в мешок, а лиса и говорит: «Это не может быть!» Волк и говорит: «Нет, это верно. Он меня в мешке держал, покуда охотники не проехали». — «Не может быть. Такой громадный, да чтобы в мешок влез: — это нет никакой возможности». Волк говорит: «Хочешь, влезу, покажу?» — «Влезь!» Волк и влез в мешок и говорит оттуда: «видишь?» Как только он влез, лисица и шепчет мужику: «Завяжи его хорошенько, да цепом, да цепом» (а цеп с мужиком был — с гумна ведь он шел). Мужик принялся молотить волка что есть силы, а лисица стоит и смеется. Глянул мужик на нее, да и подумал: как бы и она со мной чего худого не сделала... Ведь вот упекла же волка... Да вспомнил, что «старое-то добро забывается», замахнулся и царапнул лисицу до смерти... С тех пор мужик и в худых стал... Потому научён.

— Научён, брат научён!.. — твердил барин, поставив локти на стол и опустив в ладони лицо. — От этого-то и съела меня у вас тоска!..

— А был добёр, что говорить, всей душой готов!.. — продолжал мужик. — Да, как помусолили его хорошо, так и стал он цепом отбиваться и от ворога и от хитрого приятеля... Так-то, барин!

— Так, так, друг любезный, так!..

В это время явился Марк, нагруженный бутылками пива.

За этим пивом мы просидели в избе Марка еще часа два, если не больше, продолжая разговоры на ту же тему. Но теперь разговор наш принял несколько иное направление. Как бы утомившись своим негодованием на крестьянские безобразия, барин почти замолк и не то думал о чем-то своем, не то внимательно слушал слова крестьян, преимущественно слова огорченного крестьянина, который теперь почти один овладел беседою, и надо сказать правду: благодаря его разъяснениям, основанным на знании всей крестьянской подноготной,

картина крестьянской жизни стала представляться вовсе не такой уж отчаянной, какая вышла благодаря наблюдениям «не слившегося» барина.

После крестин у Марка мы встречались с барином несколько раз. Однажды я сам пришел к нему в Балашово; в другой раз пришел он ко мне. Несмотря на то, что он прямо заявил о своем намерении жить и думать только вместе с народом; несмотря на то, что я, начиная со дня крестин и с долгого разговора о крестьянских делах, стал весьма прилежно думать о житье-бытье только деревенском, нам обоим не представлялось, однако, ничего более важного в практическом отношении, как вести обо всем этом разговоры (только разговоры!), и притом только барину с барином... Между тем этот самый предмет нашего разговора продолжал с непонятным упорством влачить свою ежедневную лямку; продолжал задаром работать на немку, продолжал сечь своих ближних в дни собрания волостных судов, мирился на полштофе, махал с раннего утра до поздней ночи косой, чтобы ночью не нагрянул дождь и не оставил бы его скотину на всю зиму без корму, словом — шел своей дорогой, а мы, опечаленные его участью, разговоры разговаривали... Постараюсь, впрочем, не потопить читателя в этом море слов, которые на досуге мы сумели произнести на благо народа, а изложу наши словопрения в возможно приличном виде.

6

— Каким путем?.. — восклицал балашовский барин: — чорт его знает, каким путем я думал слиться с ними... Да и слово-то это — «слияние» — какое-то дурацкое... Оно даже в голову не приходило... Я просто чувствовал, что сорок лет, которые у меня за спиной, словно сорок невидимых, но крепких рук примкнули меня к деревенскому плетню и не пускают... «Сливайся, седая каналья», — да и все тут!.. Уверяю вас, в первый же день, как только я приехал сюда, я испугался... ис-пу-гал-ся (повторил барин это слово с особенным ударением), именно потому, что не пускают сорок рук, а сам я того, что здесь делается, не понимаю!.. И представьте, я ведь двадцать тысяч раз бывал и живал в деревнях, ведь моя семья —

помещики; потом я приезжал в эти деревни в виде отца-благодетеля, мирового посредника, земского гласного... Я ведь этот миссионерский путь проследовал, и никогда я ничего не пугался здесь и, в качестве миссионера, даже не только все якобы понимал, а и совершенствовал.

«Но теперь, когда меня в деревню никто *не назначал;* теперь, когда я явился в деревню не на лето, как являлся в свою деревню в качестве барина; когда меня в эту деревню привела жизнь — тут-то я и испугался... Не на шутку испугался. — Зачем я здесь? на каждом шагу стало мне лезть в голову... Пищат цыплята, едет борона с поля, блеет овца, мычит корова — все это что-то мне чужое, идет куда-то по своему делу, в свое место, словом — мимо меня... Я до того растерялся, что, желая объяснить себе мое появление в деревне и с страшными усилиями пытаясь восстановить в своей памяти те бесчисленные иллюстрации, которыми в моем воображении были разрисованы мужик и деревня, решительно ничего не мог припомнить... Точно никаких иллюстраций и не было. Думал-думал, наконец придумал: «пошлю-ка я за водкой в кабак!» Ха-ха-ха... Принесли — «Славянской», «высшей»; с тех пор я и придерживаюсь ее — и ничего: облегчает!..»

— Какие же такие иллюстрации придумали вы к мужику? Чем могли вы его разрисовать?

— Мужика-то? О, батюшки!

Барин вдруг оживился, и глаза его засверкали какою-то совершенно детскою, улыбающеюся радостью.

— Мужика-то не разрисовать?.. Если на то пошло, так я вам скажу, что именно только одного мужика в настоящие дни и можно разрисовывать так, что только мурашки по коже забегают от восхищения... Только одного мужика!

— Какого же? Вот этого самого Марка, Ивана, Кузьму?

— Какого же еще? Разумеется, этого самого... Именно их-то, этих Иванов, Федосеев и можно воображению окружать великолепием... Все, что окружалось, надоело... Теперь великолепней мужика ничего нет на свете...

— Да, если его раскрасить...

— Прибавьте — и потому еще, что его можно раскрасить... На всем другом краска лупится, слезает.

— Право, я бы очень хотел послушать, как вы раскрасите мне какого-нибудь из этих Иванов?..

— Ничего нет легче!.. Позвольте мне припомнить вам один разговор именно по этому же поводу... Тут так раскрасили этого Ивана, что лучше покуда и не требуется... Этот разговор происходил года четыре-пять тому назад, за границей. Я в ту пору шатался там в самом ужасном состоянии духа. Какая-то сильнейшая нравственная оскомина ежеминутно отравляла мое существование. Все, что мне ни припоминалось в моем прошлом, все, что ни видел я перед собою в настоящем, все каждую минуту возбуждало во мне это нестерпимое ощущение оскомины, и я просто не знал что̀ делать. Только в кружках русской молодежи, куда я иной раз — в лучшие из моих сквернейших минут — заходил, только тут иной раз передо мной как будто что-то прояснялось. Но, разумеется, между мною, уже седеющею, изломанной дубиной, и ими — живущими, молодыми — никакой прочной связи не было: так только, в качестве благородного свидетеля, я и мог быть переносим и принят... Так вот раз, когда я забрел в один из этих кружков, мне пришлось натолкнуться, разумеется, на разговор и, разумеется, о народе (это уж всегда!..) Едва я услыхал слова: «мужик», «народная жизнь», и проч. и проч., как тотчас же почувствовал ощущение оскомины и поспешил выйти на балкончик, стараясь не слушать этих разговоров о народе (господи! сколько сам я молотил о нем моим празднословным языком!), и старался развлечь себя предметами посторонними...

«Балкончик был маленький, какой бывает у квартир в одно окно, в полторы комнаты, и висел над улицей необыкновенно высоко: он висел, впрочем, не над одной только улицей, а выходил углом на площадь, куда сходились еще три или четыре других улиц, спускаясь с возвышенностей. Место было необыкновенно типическое: асфальтовая площадь с массивным газовым фонарем посредине и широкий асфальтовый проспект перерезывал ее поперек, с жиденькими рядами платановых деревьев по его обеим сторонам — одни они только нарушали своим ординарным видом оригинальный характер старого квартала, искрещенного переулками, узенькими, кривыми, по-

минутно раскалывавшимися на новые и кривые переулки, обставленные высокими закопченными домами, облепленными закопченными вывесками маленьких кафе, угольных лавок, лавок всякого старья, тряпья и хлама, и населенные несметным числом народа, кишащего как в муравейнике. Но и полная жизни картина этого муравейника, которую я созерцал с моей обсерватории, нисколько не улучшала моего нравственного состояния и не уничтожала ощущения оскомины, несмотря на то, что эта мелькавшая передо мною жизнь почти ежеминутно менялась, как в калейдоскопе, поминутно складываясь, благодаря нагрянувшему омнибусу, барабанному бою, взводу солдат и т. д. — все в новые и в новые перестановки людских фигур. Никоим образом я не мог заглушить в себе этого в высшей степени беспорядочного потока мыслей, неведомо откуда залетавших в голову и неведомо какую связь между собою имевших. И завидовал-то я людям этого муравейника, и ненавидел, и о культуре думал, и о Бисмарке, и о том, что хорошо бы все это рассыпать прахом, и неожиданно о моем личном деле, и потом вдруг о войне. И — то мне казалось, что «мы» всё возьмем и разобьем, а то я вдруг, не знаю почему, желал, чтобы нас «раскатали»... Словом, бог знает, что̀ такое толпилось во мне, и саднило, и ело, без всякого толку, и я, несмотря на страстное желание не слушать разговоров внутри комнаты, должен был их слушать, так как решительно не мог на чем-нибудь определенно сосредоточиться... Долетали поэтому до меня разные отрывочные фразы, которые я большею частью уже и говорил и слышал. Только один из русских, удивительно нежное создание и страшно измученный личными несчастьями человек, — только он один на минуту остановил было мое внимание некоторыми цифрами, касавшимися самых, повидимому, незатейливых сторон крестьянского труда.

«Знаете ли, сколько раз нужно ударить цепом, чтобы обмолотить столько-то ржи?» — спрашивал он. «А сколько?» — «Двадцать восемь тысяч раз!..» — «А знаете, сколько верст надо пройти, чтобы вспахать десятину?» И т. д. И всегда выходили удивительные цифры, невольно обращавшие на себя внимание своими непомерными размерами и рисовавшие хлебопашество делом необычайно трудным. Этими цифрами будущий писатель (молодой

человек этот писал повесть *«Пахарь»*) хотел тронуть общество, тронуть сильнее, чем это делалось до сих пор, и заставить его любить этого мужика, который, несмотря на весь гнет своего положения, добр, самоотвержен, не корыстен и т. д. и т. д. Все это более или менее известно, и я, несколько озадаченный цифрами, вновь предался пустопорожнему унынию, когда пошли вновь общие рассуждения.

«— Да что это вы, Кузнецов, все плачетесь? — вдруг заговорил молодой, необыкновенно талантливый мальчик — ни в ком во всю свою жизнь не видел я такой страстной жажды сунуть себя в какое-нибудь самое опасное, самое смелое, дерзкое дело, как в нем... — Почему вы сидите на несчастиях одного только мужика? Вот вы говорите, что мужик не видит света, потому что — то стоит целый день у цепа, то полгода ходит за сохой... Ну а банкир, с вашей точки зрения, не такое же несчастное существо? Ведь и он целые дни стоит у бумаг и у связанных с ними миллионов случайностей... Там все цеп да цеп, да двадцать верст в день по пашне, а тут всё днем и ночью — деньги, деньги, деньги, и десятки верст на бирже, и точно так же, как для мужика град, так для этого мученика денег тысячи случайностей: оборвалась проволока, опоздал купить такую-то бумагу — пропал, загремел в бездну со всеми своими экипажами и содержанками, и прямо в пасть целой толпы озлобленных людей. Благодаря этой проволоке, благодаря тому, что через Ламанш оборвался телеграф, что Дон-Карлос проиграл битву, что Абдул-Азис неосторожно поиграл с ножницами, — его могут сразу возненавидеть все и будут рвать, как собаки волка, начиная от кучера, которому нужно получить грош, до жены, дочери, родного сына... Ну, как по-вашему, это — не мученик? Что ж, видит он свет? Есть ему минутка подумать о чем-нибудь другом, кроме той же, только банкирской, сохи — бумаг, денег?.. Ну, а если несчастия господ банкиров вас не трогают, так вот вам — кондуктор омнибуса: он целый божий день, с семи часов утра до одиннадцати часов ночи, за полтора рубля серебром вознаграждения, треплется на подножке кареты, буквально не смея отойти, треплется целые годы на одних и тех же улицах, мимо одних и тех же домов. Видит ли он белый свет? А инженер, а священник: разве

все это не привязано к своей сохе? Какой такой общий разговор может быть у священника и актера, у инженера и кондуктора, у сапожника и банкира? Это все до такой степени оторвано друг от друга микроскопичностью смысла своего труда, что вылилось почти в такой же резкой форме, как птица, рыба и т. д.

«— Именно в смысле необыкновенного разнообразия не физической только, а нравственной деятельности, требуемой крестьянским трудом, обиходом его домашней жизни, участь мужика-крестьянина и представляется не только не печальною, но и решительно завидною сравнительно со всеми бесчисленными профессиями, на которые раскололся род человеческий. *«Мы всё сами»*, — говорит мужик; он *сам* добывает хлеб, *сам* добывает кожу на сапоги, овчину на тулуп; он *сам* ткет себе рубашку, словом — он *все сам*. Умственная деятельность его постоянно в работе, постоянно в наблюдении, потому что этого требует разнообразие его деятельности... Одна добыча хлеба ставит его в зависимость от тысячи явлений природы, от тысячи коммерческих, финансовых соображений. Он смотрит и изучает небо и землю, примечает движение ветра и силу тумана — тысячи вещей, из которых на каждой, где-нибудь в казенном здании, сидит по специалисту с хорошим окладом, сидит, совершенно отделившись от света и ничего не понимая, кроме своего оплачиваемого труда. *«Все сам»* — этого довольно, чтобы представить себе, что в мужицкой крестьянской избе сходятся в каждом из обитателей этой семьи тысячи всевозможных специальностей, что в ней царит постоянная умственная деятельность, что в ней — бездна знания... («Знания?» — возопил Кузнецов. «Да, да, знания... подождите горячиться!..») Такая бездна и разнообразие знания, что вот этот серый, аляповатый мужик поймет какого угодно специалиста и поможет ему, а специалист ничего в мужицких нуждах, в мужицких речах не поймет... Приезжай в любую русскую деревню Дарвин, Гумбольдт, кто угодно; и если им в их работах придется делать дело с мужиками, то они непременно найдут людей, которые поймут, что́ им нужно, принесут камень, зверька и т. д. Поймут, потому что каждый наблюдал так же хорошо (только по-своему) то же самое, что и Гумбольдт и Дарвин. А спроси мужик что-нибудь у этого Гумбольдта из своего обихода —

Гумбольдт его не поймет, потому что и речь-то мужика, то есть человека, широко и разносторонне развитого, в своей сжатости, всегда касается одновременно массы разнообразнейших явлений, одновременно им обсуждаемых, или по крайней мере принимаемых во внимание, и, стало быть, темна, сложна, непонятна для всякого, думающего «по своей части». Вы вот не согласны с моей фразой, что у мужика бездна знаний, а я думаю напротив — я даже полагаю, что мужик, который *все сам*, знает решительно все... («Все?!» — «Все, что знает каждый из тысячи специалистов знания».) У него... да что вы хотите! Просто-таки все знает — да и шабаш! Он — инженер и механик, он строит гати, плотины, мосты, мельницы (ветряные, водяные). Он и ботаник и зоолог; он знает каждую травку, знает каждое, самое ничтожное свойство травки; знает, какой зверь, какая птица как живет, то есть знает ее слабые стороны, знает ее хитрости, словом — решительно все, что знает Брем. Он и анатом, давно и основательно знакомый с тем, что делается у зверя в нутре; он и медик, так как у него миллион сведений по медицинской части, с таким же вероятным успехом действия, как и сведения Боткина... Да что я! — больше, чем у Боткина: он останавливает кровь одним словом, он вылечивает укушение змеи, пошептав что-то над осиновой корой и приложив к больному месту... Он и спирит и знаток тайных невидимых сил, которых господа Бутлеров и Вагнер разыскивают под столами и под диванами, не получив, впрочем, никаких существенных результатов. У мужика результаты давно есть: *чорт есть* — и мужик знает его характер, цель существования, цвет шерсти, длину рог и хвоста, потому что его, вот как вас, — так близко видел и держал за ногу (нога у него утиная, только шершавая, с шерстью)... Словом, ни у одного, кроме мужика, счастливца на белом свете, нет такой удивительно разнообразной, всесторонней внутренней умственной жизни. Ни у кого и не может быть такого разнообразия наблюдательности, такого обилия знаний, каким наделен мужик, благодаря именно характеру его труда, который требует от человека самого широкого развития, благодаря его положению, требующему, чтоб он *все сам*. Кто сочиняет и поет навеки остающиеся песни? — мужик. Где найдете вы настоящее

неподкупное веселье, чистое, как чисто оно в детской душе? — у мужика. Кто здоров, силен, великодушен, так, просто великодушен без соображения и форсу? — опять же мужик. Кто всякому поможет, найдется во всяком положении и все перенесет, все поймет? — опять тот же самый мужик... И наконец, при мало-мальски сносных обстоятельствах, у того же самого мужика бывают — и только у него одного — минуты наиполнейшего, широчайшего счастия... Видите, как плохо-то мужику!.. Ему лучше всех! («Ну уж врете!..» — завопил Кузнецов.) Несомненно лучше, если бы только вы, господа интеллигенция с госпожою цивилизацией, не рвали этой здоровой, полной жизненной силы клеточки крестьянского дома на части; если бы вы не доводили ее до распадения какими-то непонятными требованиями, постоянно от нее отнимая и ровно ничего не давая взамен... Почему вы не считаете своей святой обязанностью давать ей *настоящие* знания, последние слова ваших наук? Там, где все, *всё сами,* — там всё поймут, всё нужное возьмут, а главное — все пойдет впрок: все переработается гораздо лучше, чем у вас, иссыхающих над своими специальностями, да еще в одиночку...

«Признаюсь, — продолжал балашовский барин: — много я болтал о мужике, знал я его за железную грудь, и за мученика, и за страдальца, но счастливейшим из смертных ни я, да и никто еще его не считал... Невольно я стал внимательно следить за этой иллюстрацией к мужику и чувствовал, что она мной овладевает, что путаница мыслей и чувств, одолевавших меня, начинала принимать некоторые формы... потому что ведь, право, разрисовано — ничего-таки?»

— Разрисовано — ничего! — сказал и я.

— И лучше, лучше еще можно разрисовать. Я сегодня не в ударе, а то я бы сам...

— И так хорошо, — сказал я. — И этого пока достаточно... Так именно эта иллюстрация и привела вас сюда?

— Сюда привела меня жизнь! Жизнь русская, ежедневная, обыкновенная жизнь обыкновенного дворянина привела меня к тому, чтобы иллюстрации эти пришлись мне по душе. Эта самая жизнь заставила меня жаждать выхода, обновления, выхода из этой бесконечной, тягостной, ежедневной фальши и лживости, переполняющих

жизнь не то чтобы интеллигентного россиянина, а так, просто жизнь обыкновенного неплательщика.. Было в моей жизни так много напрасно и глупо-мучительного, что мужик, иллюстрированный вышеупомянутым способом, не только не терял своих удивительно привлекательных красок, но, напротив, я сам лично, боясь опять остаться с моей оскоминой, стал расписывать его еще ярче, еще великолепнее...

— Еще великолепнее? — изумился я. — Как же и чем вы еще его расписали?..

— А расписал я его таким манером... Впрочем, необходимо прибавить еще несколько слов из соображений по этому поводу того мальчика, который сумел так весело посмотреть на мужика... Развив свой взгляд на этого счастливца, он сказал, обращаясь к Кузнецову: «Нет, Кузнецов, *все* — несчастные, *всем* нужна помощь и спасение, и между всеми-то этими формами жизни, приводящими к несчастию, только мужицкая форма и содержание жизни и имеют для всех спасительную будущность... Только человек, который может *все сам* и не будет иметь надобности перерывать другому человеку горла, чтобы добыть то, что сам не может, не имеет, — вот он-то и есть «идеал».

«Ну, тут под такие громкие и веселые удары и мертвый запляшет... Заплясал и я: мне представилось, что первая в мире земля, земля, которой принадлежит миссия обновления всего белого света, — это земля сплошь мужицкая, сплошь населенная этими разносторонне и совершенно развитыми людьми, известными под именем «мужварья», и где только изредка, «как муха в молоке», мелькает красный околыш интеллигенции — околыш, не имеющий других претензий, кроме получения прибавки... С этой точки зрения на русскую землю мне стало все видно, вся оскомина моя рассеялась. Нашлась характерная черта национальности: мы — люди всеобщего права жить, думать и развиваться, не имея никакой надобности рвать друг от друга кусок, так как всем хватит. Это не подлежит никакому сомнению, и именно только у нас... Нашлась и национальная идея: мы — за всех мужиков всего света, за их право жить, пользоваться всем, что выдумал хорошего белый свет... Ткацкий станок мы сделаем доступным каждой деревенской бабе, взяв из этой выдумки

только то, что сокращает труд, что дает возможность целую зиму труда заменить одним месяцем, и вовсе не обращая внимания на способность выдумки производить массы... Ну и так далее!.. Прибавьте сюда разные: наши артели, общины и прочие и прочие пленительные вещи, вещи, конечно, разрисованные, — и вы поймете, почему я, после целого года размышлений и всевозможных фантазий, очутился тут, у деревенского плетня...»

— Но ведь тут все не так? Ведь не разрисованный-то мужик — совсем другой... Не правда ли?

— Не тот, не тот... Он так же изуродован, как и наш брат с красным околышем; но знаете ли что?.. То там, то сям изредка мелькают какие-то черты в обиходе мужицкой жизни, которые почти приравнивают его к мужику иллюстрированному... Что изуродован он — это верно; но в нем еще живет много самых образцовых, в смысле приведенной иллюстрации, свойств. Расскажу вам один эпизод из фабричной жизни, случившийся на моих глазах. Под Москвой есть большая ткацкая фабрика, едва ли не первая по размерам производства в России. Два года тому назад на этой фабрике было волнение рабочих, окончившееся, благодаря пособию государственного банка, к их полному удовлетворению. Весь шум произошел из-за того, что администрация завода не хотела удовлетворить рабочих за осенние месяцы в тех именно размерах, как было условлено весной, при найме, и рабочие требовали доплаты и сложения некоторых штрафов; — всё это им и дали, благодаря, как я уже сказал, сторонней помощи. Любопытнее всего причина, по которой администрация завода обманывает рабочих, обещая осенью (когда у крестьянина почти нет заработка) платить столько же, сколько весною и летом. Причина этого та, что при наступлении летних месяцев крестьянин предпочитает за ту же цену, которую дает фабрика, работать другую, крестьянскую работу; он предпочитает, например, косить, жать, вместо того чтобы торчать у фабричного станка... Видите ли, он не доведен еще до такого деревянного положения, как иностранный рабочий, иссушенный и обездушенный каленою атмосферою и машинною деятельностью фабрики, и позволяет себе еще фантазировать, прихотничать, бросая с весны его кормилицу-фабрику... Возможно ли, стало быть, нашему

капиталисту вести свои дела так, как ведет их капиталист иностранный; возможно ли ему конкурировать с фабриками, на которых люди работают с правильностью и неутомимостью паровых машин, когда его рабочий еще не оболванен вконец и предпочитает делать более веселое, разнообразное дело крестьянского обихода за ту же или даже меньшую плату, какую дает благодетель-фабрикант с своим однообразнейшим машинным трудом? Чтобы удержать фантазера-работника, чтобы не потерять всего состояния из-за его фантазий, из-за его желания работать «повеселей», капиталист наш должен прибегать к разным уловкам и, между прочим, к той, о которой я уже говорил, то есть он обещает платить ту же цену и осенью, когда является множество желающих работать и когда цена значительно падает. Только под таким условием, весьма выгодным, и можно удержать «любителей крестьянства» у фабричных станков. Но осенью, разумеется, с ними поступают иначе и, кроме того, донимают штрафами, так как, несмотря на надувательство осенью, все-таки рабочий крестьянин несет с собою в фабрику множество убытков, портит иной раз с умыслом, уходит, когда дорога каждая минута, и т. д. И все эти убытки надобно выручать с него разными правдами и неправдами, обманами, штрафами... Без таких фокусов и уловок да без помощи сторонней — нашему капиталисту-фабриканту плохо, почти невозможно существовать: у него нет нужного ему *машинного человека,* у него поневоле работает крестьянин — человек, привыкший делать работу, требующую большой внутренней жизни, работу крестьянскую. Со временем, впрочем, я надеюсь, и господа фабриканты будут благоденствовать; но теперь еще мелькают живые черточки, и вот они-то и поддерживают веру в иллюстрированного мужика...

— Но ведь эти черточки редки, слабы... Да и так ли вы поняли факт, о котором была речь?

— Мне кажется, так; впрочем, не знаю.

— Но все-таки мало их, этих живых черт, и редко они попадаются.. Неужели такие или подобные, едва заметные черты укрепляют в вас веру в эти иллюстрации... и ведут, как вы говорите, к плетню?..

— Да... и эти черты... А мои сорок лет-то? А сорок рук-то? Их-то вы позабыли!.. Они тут! — это главное!..

7

В другой раз, в одно из следующих свиданий, я прямо направил речь на эти сорок лет. Что такое за таинственные года, результат которых — странное появление «барина» (барин он был почти неисправимый) среди мужиков с целями весьма неопределенными и к тому же с невозможностью, как он говорил мне не раз, воротиться вспять?

— Теперь по крайней мере я не знаю... мне нельзя воротиться, — говорил мне не раз балашовский барин; — буду вот так сидеть, проедать, что есть...

— Я сам прожил на свете тоже сорок лет, видел много худого, миллионы раз желал, чтобы было лучше и легче; но никогда мне не приходило в голову забросить себя, ради этого «лучше и легче», за крестьянский плетень, ничего не зная и ничего не умея...

— Ах, батюшка, — возразил мне на это балашовский барин; — вы! Вы — человек семейный, то есть человек, поставленный в необходимость «не рассуждать» или рассуждать, имея, однако, постоянно в виду сохранение в безопасности вашего собственного гнезда, словом — рассуждать молча, оглядываясь, рассчитывая...

Я было хотел возразить, но балашовский барин прервал меня на первом слове, сказав:

— Будет, будет уж! Мы знаем этих свободномыслящих отцов семейств... Самый смелый выдерживает верность своим свободомыслиям до тех пор, пока сыну или дочери не стукнет десять — одиннадцать лет, когда надо отдать их учиться в гимназию...

Не буду приводить довольно жаркого спора между мною и балашовским барином по этому интересному вопросу о детях (настоящих, маленьких детях), так как это затянуло бы и без того уже длинное повествование о балашовском барине и так как этот предмет достоин более основательной разработки, чем случайный разговор. Чтобы прекратить этот спор, начинавший принимать оттенок раздражения, я поспешил вновь повернуть речь на историю самого балашовского барина.

Барин продолжал:

— Ну а я, как человек не семейный, как шатун или как саврас без узды, естественно мог посвящать более

времени всевозможным мечтаниям, не стесняя себя мыслью о том, что мечтаний этих почему-либо осуществить невозможно...

— И, однако, не осуществляя?.. — его же тоном прибавил я.

— Само собою разумеется! Я мечтал, рассуждал, не стесняясь — и только: вот вся разница между мною и вашим братом — опорою отечества. В практическом отношении мы одинаково — ноль, то есть родные братья... На мою беду, направление моих свободных размышлений приняло общественный характер благодаря тому обстоятельству, что я начал жить в самую совестливую эпоху русской жизни — в эпоху освобождения крестьян... После войны, после всего, что она обнаружила в русской жизни, пора было вспомнить обществу о том, что есть нечто, именуемое совестью; и вот все, что было мало-мальски живо, не засечено и не сгнило, все это поняло, что ему сейчас же, сию минуту следует работать, служить в этом громадном лазарете и всеми способами помогать выздоровлению, исцелению больных, калек, уродов.

«Вот и я осенен был необходимостью такого дела... Прямо почти с университетской скамьи (сознаюсь, я был не из особенно преданных науке молодых барчуков) я попал в самый по-тогдашнему (да и по-нынешнему) отборный круг общественных деятелей, на самые наисовременнейшие общественные дела. Тут, в этом кругу, были и радикалы-губернаторы, и радикалки-губернаторши, предводительши с гуманнейшими взглядами, и борьба тут была с хищными стремлениями закоренелых, «обомшелых» крепостников, и главное — тут впервые фигурировал народ, скромно притекавший к нашему гуманному сочувствию. Раз попав на эту стезю, я уже не сходил с нее до тех пор, покуда мне не сделалось тошно и меня не одолела вышеупомянутая оскомина. Был я и секретарем в комитете, и мировым посредником, и потом земским гласным, наконец даже председателем одного уездного земского собрания, и попечителем разных благотворительных учреждений, словом — прошел всю лестницу, доступную красному околышу, воодушевленному благими намерениями... И что же? в конце концов получилась убийственнейшая оскомина. Я уже сказал, что не слишком предавался научным занятиям, не слишком

развивал себя помощью научного опыта; но, несмотря на мое полуневежество, я как-то инстинктивно, нутром, если хотите, стал чувствовать с первых же шагов моей общественной деятельности, что есть в ней какая-то трещина, дребезжит что-то... Кажется, вот сделаешь все, что возможно, отдашь свое жалованье, если мало определенной суммы, ну, например, хоть на школу — нет, дребезжит! Чуешь, что дело, которое ты сделал, уж в самом себе носит трещину, как старый горшок... Замечательно, что в этом ощущении трещины играли роль не столько независящие обстоятельства, сколько что-то иное, чего я понять не мог.

«Например, устраиваю я школу, покупаю книги, катехизисы, арифметики, приплачиваю учителю своих десять-двадцать рублей, словом — устраиваю дело елико возможно хорошо, и тут же чувствую, что — нет! — все дребезжит что-то, где-то уж треснуло... Разумеется, направление сельской школы, выбор учебников и так далее принадлежит не мне. Но, несомненно, мне принадлежит какое-то тайное согласие с избранным не мною направлением для школы. Я, делающий, или по крайней мере думающий, что делаю дело общественное, полезное народу, чувствую одновременно две такие вещи: я вижу, положим, что учитель берет место потому, что ему нечего есть и надобно что-нибудь делать и чем-нибудь жить до тех пор, пока он не получит дьяконского места и не найдет невесты. Положим, я, кроме того, вижу, что учебный круг предметов, преподаваемых крестьянским детям, почти ничего им не даст, ничего не прибавит в их развитии, ни на одну каплю не прояснит окружающего, — положим, что я в этом совершенно убежден... Но все-таки я устраиваю эту школу... Я чувствую, что делаю вздор (я тогда только *чувствовал* этот вздор, а не знал еще этого наверно), что вместо дела выходит какая-то декорация с усерднейше-преданной фигурой учителя, с кротко благословляющим детей батюшкой, с этими детьми, вступающими на новый путь... Чувствую во всем этом прореху, прибавляю учителю десять рублей, и все-таки оставляю именно все в том же дырявом виде... Что-то мешает мне довести до конца мою мысль о негодности школы, что-то мешает мне громко, публично заявить об этом.

*

«Нет! не одни независящие обстоятельства. Мешает мне мое в высшей степени ложное положение, положение барина... — заметьте, что я говорю — мешает положение не интеллигентного человека, а просто барина, мешает мое звание... Всякий раз, когда я замечал или чувствовал в каком-нибудь из моих общественных дел дребезжащую трещину, всякий раз, когда я видел вздор, я молчал, потому что именно мое звание заставляло меня опомниться... «Какой же я буду барин, — как будто говорило во мне что-то, — если, например, школа будет отличная *в самом деле?* и что ж будет, если в самом деле *они* узнают?» Пожалуйста, не думайте, что я когда-либо мог думать таким разбойничьим образом — нет, никогда (говорю о том давнем времени)! Я бы не мог вам в таких определенных фразах формулировать того странного нравственного упорства, которое вдруг просыпалось во мне всякий раз, когда суть дела требовала от меня чего-нибудь такого, что заставляло меня «вспомнить»: а я ведь барин!.. Потом, долго спустя, я узнал, что я вовсе не барин и ничего во мне барского нет... Тогда я этого не знал и, делая пустые, бессодержательные дела, приличные мне, как русскому интеллигентному человеку «из господ», понемногу, каждый день, каждый час хоронил внутри себя очень много гаденьких вещей. Не верил я, например, школе, — прятал это и старался думать, что верю, что делаю дело. Когда в газетах меня расхвалили за мою необычайно просвещенную деятельность, я даже был рад и подумал: «а ведь, в самом деле, я пропасть сделал...» Но ведь шила в мешке не утаишь, и правда моих пустопорожних дел выплывала иной раз вдруг во всей своей суровой беспощадности. В одну минуту становилось мне все противно, и, в раздражении, я оканчивал тем, что сваливал все (плохо рассуждал я тогда) на какую-нибудь христопродавческую рожу какого-нибудь из таких же поддельных интеллигентных людей — и уходил...

«Но, пошатавшись без дела полгода, год, я вновь начинал чувствовать, что звание мое вновь влечет меня на сцену российского прогресса. И вновь занимал какое-нибудь из просветительных амплуа, чувствуя, что не то, не так надо делать, и вновь продолжал снисходить к себе, вновь почему-то оберегал привилегированность своего положения, вновь позволял себе бирюльками отделы-

ваться... И нельзя сказать, чтобы и в окружающем обществе я не находил поддержки в этом, в высшей степени неискреннем поведении. Немало и кроме меня жило, да и живет народу, твердо знающего, что дело его — вздор, обман, нуль, но продолжающего притворяться, ради сохранения своего положения, и представлять этот нуль делом, правда стесненным независящими обстоятельствами... И у всякого — в этом можно ручаться головой — скребут кошки, у всякого нет живого места в душе от сознания своего притворства, пустоты, бессодержательности жизни, и все ради какого-то необычайно упорного, но в высшей степени неосновательного не то чтобы желания — нет, никто этого не желает, — а именно какой-то конфузливости пред своим положением русского интеллигентного человека «из господ». Точно этому человеку и в иной форме нельзя быть интеллигентным...»

— Я вас не понимаю, — сказал я.

— Погодите немного: может быть и поймете... Итак: в течение пятнадцати, восемнадцати лет, ежеминутно зная за собой вину и снисходя к себе под теми или другими предлогами, из которых ни одного я не считал по совести справедливым, укрепляя, кроме того, свое декоративное существование примером окружающего меня общества, которого я, также по совести, уважать не мог, — я, в конце концов, накопил в самой святая святых моей души такую бездну неверия, подозрительности, холодности и вообще какой-то бесформенной студенистой гадости, что решительно утратил всякий смысл как своего положения среди двигающегося вокруг меня люда, так и возможность какой-нибудь уж даже и не искренней связи (про искреннюю я совсем и позабыл!) с этим людом... Все мне стало противно, глупо и подло: противен и этот смиренный сельский педагог, потому что он — вовсе и не педагог, а рот, ищущий каши; противен и этот мужик, три года подряд не понимающий, что его сына вовсе ничему не учат, хотя и гоняют по морозу за восемь верст; опротивели мне все гуманные, радикальные, либеральные лица, разговоры и поступки, так как все это ходит вокруг да около, норовит утянуть кусочек в свое гнездышко, прикрыв его вновь либеральными листьями...

«Я не могу, не в силах передать этого ужасного состояния, когда, утомленный напряжением в лганье, человек

как-то бессильно и холодно начинает ровно ничему не верить и теряет, во имя этого неверия или отвращения, даже самую способность додумывать до конца свои скверные, но многочисленные, как тучи комаров, мысли... Я думал, что я умру... Ужас, ужас как был рад, чтобы кто-нибудь пришиб меня, чтобы разбило поезд, на котором я еду, или взорвало паровик парохода, на котором меня, холодного как кусок льду, везли куда-нибудь на петербургские острова... Однако никто меня не пришиб, котлы, на счастье господ пассажиров невских пароходов, не лопались, — а я... уж сам не знаю как — вдруг собрался и уехал за границу.

«В подробности моих заграничных наблюдений я вдаваться не буду, я скажу о них несколько слов вообще. Прежде всего я должен сказать, что, с переездом на чужую землю, я стал быстро поправляться нравственно, и не потому, чтобы меня, как говорится, развлекала «новизна» и «перемена мест», а потому, что я стал дышать воздухом действительности, очутился среди «понятных» явлений жизни, понятных от начала до конца явлений, которые, благодаря своей объяснимости, видимой законности, возбуждают также законное и самому мне понятное течение мыслей... Вот разбило поезд железной дороги, положим, — посмотришь, в самом деле немудрено разбиться: рельсы перепутаны, как нитки в куске материи, поезда несутся, как ветер, один за другим в громадном количестве — немудрено прозевать одну секунду... Я понимаю, что если бы был я на месте того, кто прозевал, то, при толкучке и суматохе, я бы прозевал пятьдесят раз... Все это я понимаю, и у меня не остается в сознании того студенистого, бесформенного комка несвязных представлений, какой остается у меня после подобного же железнодорожного случая на какой-нибудь московско-индийской дороге, где поезда сшибаются среди необозримого простора, сшибаются оттого, что машинист пьян, а пьян оттого, что в сущности и ехать ему незачем, так как едет он обязательно с пустыми вагонами. Почему, по какому резону все это совершается, я не соображу и, разумеется, только заскучаю от размышлений на тему: зачем ездить, когда этого вовсе не нужно?.. И машинист-то запьет именно потому, что ему нет достаточных резонов влачить пустые поезда и получать жалованье за не-

настоящее дело. Я бы мог привести вам бесчисленное множество параллелей между *ихним* и нашим обиходом; но то, что особенно действовало в них, что меня становило на твердую землю, что давало мне знать, что я среди живых людей, это именно — совершенно ясная причинность и зависимость между собою всех явлений, какие только совершаются перед нашими глазами. Там все можно понять, и притом каждому; у нас — далеко нет... Понимал я там, и почему тамошнему рабочему человеку нельзя, ни под каким видом невозможно в конце концов, не схватиться для защиты своих попранных прав; понимал я, что и барину тамошнему нет никакой возможности сделаться помягче, поснисходительней, почеловечней. Понимал я там, почему каждый стоит за свое положение, за отвоеванное место на белом свете...

«Нескладны такие порядки — что говорить, и возмутительны... но ведь основание они имеют, резоны у них есть... Наскучивши безрезонным существованием, я всею душою был рад жить среди резонной жизни, смотреть на резонных людей и на их хоть и нелепые, хоть и отвратительные даже, но доступные пониманию дела. Глядя на такой понятный строй жизни, можно было «в самом деле» скорбеть, чего со мною давно не случалось... Каким, например, образом могу я «в самом деле» скорбеть о бедности нашего мужика, когда он может быть не бедным, когда у него под боком лежит богатство? Я только не понимаю тут причины, почему богатство, которое никому не принадлежит, не может кому-нибудь принадлежать... Исцеляясь этой возможностью «в самом деле» думать и жить, я невольно стал разыскивать причинность и моих собственных поступков, основания лично моего общественного положения... И уж не знаю, каким извилистым путем размышления мои на эту тему привели меня к такому вопросу: да почему это я считаюсь барином? Что такое во мне барского, такого, что̀ бы заставило меня, как заставляет тамошнего барина, доходить до зверства, защищая свою барскую суть? Какая такая у меня эта суть?..

«Забралась в мой мозг эта мысль, — и пошла работа!.. И что же вы думаете: в конце концов я убедился, что я — решительно не барин, а тот же наш мужик, только поставленный в очень глупое положение. От этого-то глупого положения я и лгал и рисовал декорации, от этого-то

я и оскомину нажил. Да и, в самом деле, какой я — скажите на милость — барин; что такое есть во мне подлинно барского, то есть вообще характерного, что бы меня, по сущности моей, отличало от мужика, как сеттер отличается от дворняжки или английский лорд от английского фабричного? Вот недавно мне пришлось читать небольшую иностранную повесть. Выведена в ней молодая девушка обедневшего, но старинного аристократического рода. Чтобы жить, существовать на белом свете, ей надо было выйти замуж за богатого буржуа. Но предания ее семейства оказываются настолько для нее важными, что она отказывается от этого невозможного для нее брака и идет в монастырь, в такие годы, когда ей жить бы и жить... Не знаю, найдется ли у кого-нибудь из нашего брата, красных околышей, что-нибудь подобное, какая-нибудь психологическая черта породы, которая бы заставляла человека не то чтобы зарывать себя живьем в землю, как почти сделала девушка, а хоть немножечко повременить, покобениться, прежде нежели изменить своим традициям. Я по крайней мере почти не вижу никаких традиций, которые бы внутренно, психологически отделяли красный околыш от лаптя... Какие такие, позвольте вас спросить, мои феодальные воспоминания? Крестовый поход на провиантский магазин? Поставки и подряды? Долгая откупная варфоломеевская ночь?.. Да разве я скажу об этом хоть одно слово моему сыну? Разве я порекомендую ему брать с меня пример? Скажу я ему разве — какие я штуки выделывал с акционерами таких-то и таких-то обществ? Разумеется, никогда ни одного слова ни об одном из моих рыцарских подвигов... Еще менее открою я ему тайну моего преображения в господина. Тщательно я буду умалчивать, как и за что я «понравился» и «вышел», как меня наградили, сделали барином, или как я сам, долгое время свирепствовавший где-нибудь в казенном овсе или муке, вышел оттуда с гербом и купленным поместьем... В громаднейшем большинстве случаев феодальные воспоминания требуют самого строгого умолчания, и вот почему громадное большинство красных околышей воспитывается совершенно в тех же самых понятиях, как и крестьянские дети. Скажу про себя: вынянчила и выкормила меня крестьянка; сказки, песни пелись мне крестьянские,

играл я с крестьянскими мальчиками... Да и семья наша, как и всякая «возведенная», не могла противопоставить этому мужицкому направлению ровно ничего господского: лечили меня и сами лечились по-деревенски, верили более знахаркам, чем докторам. Моя мать хотя и говорила по-французски, а точно так же сводила у меня ячмени с глаз посредством какого-то спрыскивания с лучинки, как и обыкновенная баба; праздники, посты соблюдали те же самые, что и мужики, и вообще — можете вести параллель сами — вся моя подоплека не может быть не чем иным, как тою же мужицкою подоплекой; мы, по совести, по душе, были родные братья, и вот почему так часто моя нянька должна была повторять мне фразу:

«— Как это можно! *называетесь вы* барином, а ровно деревенский мальчишка...

«Называетесь»! Лучше этого нельзя определить привилегированности моего положения. Да, я именно только назывался барином, как и мои родители, и отдаленные пожалованные феодалы, и предки тоже только назывались барами. Помню — всякий раз, когда я слышал эту фразу няньки: «а называетесь барином», я как будто спомнивался, старался сообразить, но, не сообразив, позволял, однако, себе поверить, что мне стыдно (говорила старая нянька и мои родители — как же не верить?), и с тех пор как я стал верить в какую-то, обязывающую меня поступать неискренно, тайну, — с этого времени начинаю чувствовать одиночество, бессодержательность... Иногда бедная старуха нянька пыталась было заменить свое голословное *«называетесь»* барином более резкими доказательствами моего высшего происхождения и положения и говорила примерно так:

«— Нешто это можно? Ведь вы барином называетесь, ведь у вас сапожки вон какие, а вы их в грязи испачкали, ведь они три рубля даны, только мужики этак-то вот в грязи...

«Такого рода доказательства еще более суживали мою способность мышления, так как я сам, желая рассеять туман, окружавший меня, вследствие бездоказательности моего привилегированного положения, с радостию хватался за все, что мало-мальски резонно доказывало разницу между мною и деревенским мальчишкой.

Сапожки, рубашка, у отца орден, «маменька вон в каких платьях, а евонная мать — эво в чем... она — простая баба», «у господ чай пьют, когда хошь, а у мужика только в светло христово воскресенье!» Такие, как изволите видеть, чисто внешние различия и были теми точками, с которых началось понимание моего нравственного положения. Только благодаря этим пустякам я и приучился считать себя чем-то иным... И в самом деле, ведь только эти пустяки и останавливали меня впоследствии, когда я уж был большой, от искренних и правдивых поступков...

«— А́ ну как останешься без сапог? А ну если придется жить в избе?..

«Желание поступать правдиво постоянно было во мне, потому что никакой внутренней цели, твердой и прочной, заставлявшей меня умышленно сделать другому вред, чтобы отвоевать простор самому себе, как это делают «тамошние» настоящие красные околыши (устраивая, например, умышленно невежественную школу, чтобы лучше было распоряжаться народом), — никакой такой цели у меня не было. Напротив, я всегда понимал чужое положение лучше моего, крестьянское лучше своего, барского, потому что нутро-то у меня было крестьянское, а все барское было вздор: сапожки в три рубля, чай когда угодно, орден.... Вообще разные бирюльки... Да и нельзя русскому человеку, в каком бы он положении ни находился, не покориться влиянию мужика: мужик силен... Из енотовой шубы он переоденет вас в полушубок, попробуйте только пожить в деревне; заставит вместо калош носить валенки, интересоваться посевом, скотиной и оставить в стороне чтение газет. Он заставит ваше интеллигентное лицо обрасти неинтеллигентной бородой, приучит в дороге, во вьюгу, привертывать к кабаку и находить удовольствие в стаканчике винца. Барин не только не может противопоставить мужику чего-нибудь самостоятельного, но, напротив, сам постоянно заимствуется у него во всех надобностях господского обихода, от развития собственных детей, которые жадно подбирают крупинки сказочек, загадок, побасенок, изобретенных мужиком для своих заскорузлых ребятишек, и кончая маринованным грибом, которым закусывается рюмка поповской водки на обеде в честь

какого-нибудь просветителя; все это изобретено мужиком, барин только заимствовал и ел... Правда, по части съестного кое-что выдумано и интеллигенцией, так: существует кушелевская баранина и строгоновская говядина... Но ведь не бог знает что — выдумать какую-нибудь баранину или гусятину, когда они уже давно сами себя выдумали и преспокойно продаются во всех мясных и курятных лавках.

«Из-под такого всепоглощающего влияния мужика сильней всех доводов няни и семьи выводит — надо сказать правду — школа, гимназия, университет. Я знаю по себе, да и вы, наверное, согласитесь, что направление доступного нашему брату образования таково, что, по окончании курса, например в университете, теряешь возможность стоять на своих собственных ногах и тотчас принимаешься искать каких-нибудь казенных костылей в виде подъемных, прогонных, добавочных... Словом, начинаешь в отчаянье взывать — «давай!» и чувствуешь, что непременно надобно что-нибудь «получать от казны», так как без ее благодетельной помощи предстоит гибель. Я ничего не умею заработать; я не могу есть на улице печенку, потому что я довольно чисто одет, словом — мое положение самое привилегированное... Но, как ни сильно содействует направление образования обезножению нашего брата-околыша, как оно ни стремится образовать из нашего брата-околыша слой или особенный образованный круг, хитрость его не удается: не дальше, как через месяц по вступлении в этот круг, начинается ощущение какого-то овладевающего тобою угара...

«— Э, батюшка, — говорят уже несколько образовавшиеся члены этого круга, — это еще что, вы поживите-ка тут годик — с ума сойдете!..

«В самом деле, припомните, представьте себе эту нестерпимую натянутость, напряженность, выдумку и фальшь того руководящего губернского, уездного, какого хотите, общества, которыми охвачен каждый из его представителей... Припомните эти вечера, собрания: ученые, увеселительные, семейные, весь обиход жизни руководящего общества — какая скука! какая *сибирная* тоска и подделка! Через год, если вы не женились, не привязали себя к месту, или, как говорят коренные

провинциалы, «не укрепились», я уверяю вас, что никакое жалованье, никакая прибавка, то есть уж самые достоверные акты общественной деятельности вашей, не искупят мучений, которые вы испытываете благодаря своему привилегированному положению. Положение это так в самом деле ужасно, что я даже и выяснять его не хочу: мне больно вспомнить, больно представить себе все это... Я не забуду тех минут, когда, осененный мыслью, что я совсем не барин, я невольно припомнил ту массу лжи, которую мне пришлось проделать благодаря моему ложному положению. Помню, как, разубедившись в удобствах такого поддельного существования, я остановился на роковом вопросе: что же я такое наконец? Я оказывался каким-то барином, не имеющим возможности наполнить свое барское существование, несмотря на то, что мне платили за это хорошие деньги. Я оказываюсь человеком, завидующим мужику, тогда как ни один мужик не будет завидовать нищему. Я понимаю мужика больше, чем самого себя, я сочувствую ему больше, чем тому привилегированному кругу, к которому принадлежу сам...

«Что ж я такое? Я — просто *овца без стада*... Я отбился, или меня отогнали, не знаю хорошенько, от моего стада, от народа, с которым у меня нет никакой внутренней разницы, и я в тоске шатаюсь по российскому интеллигентному пустырю. Вы знаете пословицу: «овца без стада не живет или не бывает», а я, русский интеллигентный человек, без стада, без общества... Куда же мне пойти, где жить? Тут-то вот и подвернулись иллюстрации к русскому мужику... Ну, разумеется, больше мне некуда идти, как к нему!.. Возможно ли мне даже и подумать теперь вновь каким-нибудь способом войти в ряды людей, разъезжающих для пользы народа на обывательских, — ни за что!.. Я вот буду — тут!»

Балашовский барин энергически стукнул при этом слове кулаком об стол. Под словом «тут» я понял деревню...

— Ну что ж вы будете здесь делать? — сказал я...

— Почем я знаю!.. Знаю, что мне надо жить тут, — и больше ничего... Понадоблюсь я им — отлично; не понадоблюсь — буду сидеть и пить славянскую... У меня вот есть несколько денег... выйдут они здесь очень скоро.

Стану продавать платье, проживу и то, и, в конце концов, все-таки я думаю, что доведу же я себя до того, что поверят они мне и понадоблюсь я им в чем-нибудь... Кой-что я знаю больше их. Стало быть — жить тут и ждать... Вот и все!..

Неожиданные обстоятельства среди лета потребовали моего возвращения в Петербург. Воротившись в августе, я, к удивлению моему, не нашел уже барина: он уехал. Рассказывали о приезде какой-то дамы, и в истории барина вообще оказывалась какая-то невысказанная и необъясненная им сторона. Странное, болезненное впечатление осталось во мне от этой и больной и изломанной фигуры; но некоторые его иллюстрации, как он выражался, к народной жизни произвели на меня такое впечатление, что я не мог отделаться от них, раздумывая о том, что мне пришлось видеть в деревне.

МАЛЫЕ РЕБЯТА

I

Один из моих давнишних знакомых, некто Иван Иванович Полумраков — чиновник, занимающий в настоящее время довольно видное место в одном из петербургских министерств, «устрояющих», созидающих, направляющих и руководящих, — пораздумавшись в свободную от всей этой массы работ, конечно на пользу блага отечества, минуту — вообще о *подлинном* положении дел в этом самом отечестве — невольно почему-то начинает печалиться и трепетать перед участью своих собственных детей. Много, очень много мотивов, заставляющих Ивана Ивановича непременно сокрушаться об этой участи, возникали в его голове при этих размышлениях; но мы не будем утомлять читателя перечислением этих многочисленных мотивов скорби, а только остановимся на той же самой теме, которая волнует и не одного Ивана Ивановича Полумракова.

Много на своем веку приходилось мне встречать чадолюбивых родителей, но Иван Иванович отличается от них не столько особенностью в чадолюбии, сколько именно озабоченностью, повидимому не дающею ему покоя, над разрешением вопросов о том, что̀ нужно детям образованного или более или менее обеспеченного человека в предстоящей им жизни? чему учить? к чему приготовлять? в каком направлении вести нравственное развитие?

Автор этого очерка, имея намерение сказать несколько слов о том подрастающем поколении, которое в настоящее время, сидя на стуле, еще не достает ногами до полу, не может оставить без некоторого вни-

мания такого «озабоченного» тем же вопросом родителя, как Иван Иванович Полумраков, тем более что «озабоченность» его не ограничивалась только размышлениями, умозаключениями и т. д., но выражалась и в некоторых опытах, на деле пояснявших то, до чего Иван Иванович доходил путем продолжительных размышлений.

Прежде всего необходимо объяснить причину происхождения в Иване Ивановиче такой «особенной» заботливости о собственных детях; необходимо потому, что — надо говорить правду — было время, когда Иван Иванович не блистал ни чадолюбием, ни «заботливостью» в той степени, в какой блещет он и тем и другим в настоящее время. Пра́вда, он всегда был добрый и ласковый отец; но чтобы так обременять себя вопросами, касающимися иногда самых мелких сторон детской жизни, детской души, детского будущего, — этого не было и в помине. Говоря откровенно, происхождение этой заботливости находится в тесной связи с одним не столько неприятным, сколько неожиданным эпизодом, случившимся в жизни Ивана Ивановича несколько лет тому назад.

Дело в том, что три года тому назад зимой, в пять часов утра, в квартиру Ивана Ивановича позвонили, затем вошли в кабинет и спросили: «Знаком ли он, и давно ли, с акушеркою N, запутавшейся, как оказалось, в каком-то непрактическом предприятии?» Иван Иванович, ободренный необыкновенной вежливостью и почтительностью, с которыми был предложен этот вопрос, оправился и с достоинством отвечал, что акушерку N он, точно, знает, так как семейному человеку трудно обойтись без этого знакомства, но что знакомство это основано только на профессии г-жи N, что никоим образом не может иметь ни малейшей связи с личными взглядами этой госпожи, так как Ивану Ивановичу якобы совершенно неизвестно, какие такие г-жа N имеет взгляды.

На том все дело и кончилось; все произошло вежливо и деликатно; деликатно до того, что, например, лицо, посетившее Ивана Ивановича, дабы не пачкать окурком папиросы очень изящную пепельницу, само открыло заслонку печки и, нагнувшись, бросило окурок в самую глубину. Наконец, чтобы замять неприятный разговор,

лицо это обратило внимание на олеографию Куинджи и выказало большой вкус к изящным произведениям, указав прикосновением кончиков пальцев к полотну картины несколько действительно блистательных, эффектных черт, касавшихся освещения. Повторяю, посещение прошло так тихо и любезно, что в Иване Ивановиче не могло и не должно было остаться после него ни малейшей тревоги. Кроме того, даже и высшее начальство того министерства, в котором служил Иван Иванович, только мимоходом и спустя долго после события, напомнило ему о нем, и притом с единственною целью ободрить. Словом, все и началось и кончилось превосходно, а Иван Иванович, несмотря на это... призадумался!..

Показалось ему, изволите видеть, что в левом глазу того высшего начальства, которое шутя намекнуло ему на неожиданное обстоятельство, что-то как будто мелькнуло, какая-то будто черта, и черта неожиданная. Правый глаз — Иван Иванович очень хорошо это помнит — ласкал и улыбался совершенно бескорыстно, искренне, а в левом глазу шмыгнуло что-то, шмыгнула какая-то неожиданная точка.

«Однако, — в ту же минуту подумалось Ивану Ивановичу: — шутки-шутки, а дело-то, кажется, ведь в самом деле...» На словах «в самом деле» Иван Иванович остановился, так как его внезапно осенила, даже поразила мысль: «А что, если все это — «в самом деле», то есть и акушерка, и визит, и то, что̀ шмыгнуло в левом глазу? Что, если все это не случайность, не праздная игра воображения, а подлинные явления, имеющие какие-нибудь основания? Словом, опять-таки, что если все это — «в самом деле»?

Мысль эта была так сильна своей внезапностью и значительностью, что Иван Иванович почувствовал, как горячая испарина разлилась у него по спине и выступила на затылке, и с этого же момента не иначе стал смотреть на явления действительности, как на такие, которые происходят в самом деле, имеют результаты и основания. Кроме того, если мы прибавим, что уверение Ивана Ивановича в том, будто бы он никаких убеждений г-жи N, акушерки, не знает, ложно, то читателю будет понятно, что Иван Иванович в самом деле должен был впасть в значительную озабоченность, сначала

относительно собственной особы, а затем и относительно неразрывно связанного с ним семейства.

Впоследствии мы скажем несколько подробнее о том, к чему привели размышления Ивана Ивановича, основанием которых был рассказанный нами незначительный эпизод; теперь же мы должны сказать, что, не случись этого эпизода, и тогда Иван Иванович, как и всякий человек более или менее обеспеченный, не мог бы просуществовать без некоторой озабоченности уже по одному тому, что человек этот живет не двадцать пять лет тому назад, а в настоящие дни и годы. Двадцать пять лет тому назад вопросы личности и нравственности стояли прочно и ясно, или по крайней мере для всякого была совершенно ясна «ненужность» этих вопросов нравственности. Центром и идеалом жизни был барин, а нравственность заключалась в крепостном праве. Все, что не было ни барином, не нуждавшимся в нравственности по праву, ни мужиком, не разрабатывавшим этого тонкого предмета *по недосугу*, все, что жило «вокруг» барина и мужика, также не разрабатывало означенных вопросов, по ненадобности. Чиновник, говорилось в то блаженное время: — служи, купец — торгуй, шатун — шатайся. Вопрос: «как?» и другой: «зачем?» не могли стоять в общественном внимании на первом плане ввиду того, что, «выслужившись», «расторговавшись», человек мог отдохнуть, только сам сделавшись барином. Толкись, бейся, изловчайся в той тесной клетке, которую судьба отвела тебе на жительство, а выбьешься, достучишься, дотолкаешься — твое счастье. Все ясно и точно, определенно и покойно. С божьей помощью жизнь идет по торной колее. В то блаженное время Ивану Ивановичу — да и не одному ему — было жить легко. На душе не лежало бы никакой ответственности ни за один поступок, ни за одно помышление, раз они не выходили из пределов желаний дослужиться или расторговаться, то есть приблизиться к заветному идеалу. В воспитании детей родителю стоило только приводить в пример детям себя, свою неустанную заботу о благе своем и своей семьи, а самое благо было ясно, всем лезло в глаза.

Теперь — увы! — не то. С устранением этого, всем понятного, веками установленного представления о благе, олицетворенного барином, в нравственном мире русского

человека образовалось пустое место, которое необходимо было волей-неволей чем-нибудь наполнить. Волей-неволей пришлось знакомиться с нравственностью. Всякому попрежнему предоставлялось право расторговываться и выслуживаться, но отсутствие идеала заставляло задумываться над вопросом: «зачем?» и за этим вопросом сам собою пришел другой — «как? каким путем?» Общественное внимание волей-неволей было заинтересовано вопросами о принципах чести, совести. Пришлось размышлять над этими вопросами — иногда против охоты и желания.

Иван Иванович Полумраков, как и масса его сверстников, застигнутых старыми временами на школьной скамье, и новыми — на первых путях жизненного поприща, не принадлежал к числу тех решительных натур, которые, однажды дав себе ответы на поставленные жизнью вопросы, продолжают твердо следовать им и идти до конца. Нет, не сделался он ни ярым либералом, ни ярым консерватором, а, благодаря мягкости своего характера, подчинялся влияниям времени, не слишком выясняя настоящее и будущее и в то же время как бы не расставаясь и с симпатиями, вынесенными из прошлого.

Долгое время он очень чистосердечно и симпатизировал г-же N и одновременно с тем успевал по службе, и ни г-же N, ни начальству не казалось это странным. Иван Иванович, мягкий характером и духом, мягко принимал не очень еще жесткие влияния времени и жил, чувствуя себя порядочным человеком. Да не подумает читатель, что Иван Иванович, как говорят, «вилял» между этими влияниями. Ничуть. Он жил этими влияниями, принимал их и отзывался на них, но в тех размерах, каких требовали еще не совсем выясненные общественные явления. Явления эти были робки, неопределенны, атмосфера туманна, а Иван Иванович не особенно дальнозорок. Но то, что он видел, он принимал.

Так как речь наша касается специального предмета, именно *детей,* то мы не будем распространяться здесь о тех новых влияниях времени, которые Иван Иванович должен был принять в свое сознание, а ограничимся только теми, которые касаются избранной нами темы, и остановимся только на том новом, что̀ уже вошло в круг

современного воспитания детей, имеющих родителей с таким же более или менее обеспеченным положением, как и положение нашего Ивана Ивановича.

II

Нет никакого сомнения, что самою существеннейшею новизною в этом деле является присутствие, так сказать, народного элемента. Если новые времена, которые мы переживаем, именно только и новы, главным образом благодаря «новому» положению мужика, то разумеется, что влияние, или, вернее, какое-то легкое отдаленное дыхание этой новизны не могло не коснуться и того круга людей, который и вырос и держался на свете благодаря только старинному положению мужика. Из этой-то мужицкой новизны вышло все то новое, что обнаруживалось впоследствии в новизнах немужицких; отсюда вышли на свет и непрактическая акушерка, и непрактический студент, и ожесточенный ненавистник живых людей, и такие либеральные страдальцы, как мягкосердый Иван Иванович. Все эти представители новых времен, конечно, немедленно определили бы свою собственную задачу, определили бы ее с величайшей простотой и точностью, если бы самое новое и самое главное действующее лицо, открывшее новую эру жизни, вымолвило бы хоть единое словечко в объяснение того, чего, мол, желает оно теперь достигать. Если бы такое словечко было сказано, простота и вместе осмысленность жизни для всех сделалась бы ясною, всякому предлежала бы своя дорога, и, разумеется, не было бы сомнительных комбинаций в людских отношениях, не было бы того запутанного, тягостного, досадного и вообще в высшей степени мучительного положения, которое впоследствии пришлось переживать образованному обществу. Но драма началась и продолжалась, а главное действующее лицо молчало как мертвое.

Понятно, что такое положение дела ставило людей, подобных Ивану Ивановичу, в величайшее затруднение; приходилось почти только «чутьем» руководствоваться в собственных поступках, идти вперед без всяких определенных указаний. И точно, Иван Иванович не столько *знал* доподлинно о значении начавшейся драмы, сколько

чуял это значение. Только этим чутьем и можно объяснить те маленькие новости в домашнем и общественном воспитании малых ребят, которые известны, наверное, всем, имеющим в числе своих знакомых таких чадолюбивых родителей, как изображаемый мною Иван Иванович. Нам кажется, что, именно благодаря этому чутью (практическая черта, наследованная от П. И. Чичикова), явилась на свет и эта простота обращения родителей с детьми, этот «папка» — вместо «папа», это «ты» — вместо «пожалуйте ручку». Отсюда же вышли эти токарные станки, эти ящики с сапожными инструментами в «благоустроенных семействах», этот скрип пилы в худеньких руках ребенка, для поправления здоровья которого по совету доктора ежедневно покупают какие-то особенные куриные яйца по баснословной цене. Все подобные эксперименты в народном духе производил над своими детьми и Иван Иванович, так как он хотя и не получал еще такого оклада, который бы позволил ему питать своих детей вышеупомянутыми золотыми яйцами, но принадлежал к числу людей обеспеченных или образованных и все-таки имел *чутье* и практиковал его.

Не раз, глядя на все эти сапожные шилья, гвозди и молотки, валявшиеся на паркетном полу довольно дорогой квартиры Ивана Ивановича, на эту дратву, топоры и рубанки, забиравшиеся иногда даже в гостиную, я подумывал над вопросом: к чему такой прочно поставленный человек, как Иван Иванович, разыгрывает всю эту комедию? Ведь не допускает же он всерьез мысли о том, чтобы его дети, содержание которых уже теперь, когда они едва в силах поднять обеими руками крошечный сапожный молоток, обходится втрое дороже содержания целой артели в пять человек не игрушечных, а настоящих сапожников, что они, эти *дорогие* дети, будут когда-нибудь «в самом деле» добывать себе хлеб сапожным молотком или шилом, или топором, или пилой? Думает ли он, что они когда-нибудь могут быть сапожниками, дроворубами, столярами?.. «Почем знать! — ответствовал на мои вопросы по этому поводу Иван Иванович. — А может быть!» Или еще проще: «Все может случиться!» Но, очевидно, это были, как говорится, не ответы; и только одно ничтожное обстоятельство, одна небольшая сценка, свидетелем которой мне случайно пришлось быть в квартире

Ивана Ивановича, дала мне некоторую возможность уследить «подлинное» направление мыслей Ивана Ивановича в этом деле.

Как-то однажды мне пришлось ночевать у Ивана Ивановича. Мы спали в его кабинете, выходившем окнами на двор, и поутру проснулись рано, проснулись от необыкновенного тепла и необыкновенного солнечного блеска, наполнявших комнату до ослепления и духоты. Немедленно было открыто окно, в комнату пахнула теплая влага великолепнейшего майского утра, а вместе с нею со двора ворвались в комнату и чистый звук колокола, и какой-то веселый шум, и гам, и смех. Внизу, на дворе, очевидно происходило что-то такое же веселое, как веселы были день, небо, солнце, воздух. Иван Иванович, отворивши окно, повидимому залюбовался тем, что происходило на дворе, и при новом взрыве смеха торопливо позвал меня. Вот что там происходило. Дворники, кучера, конюхи, кухарки, горничные и прочий рабочий люд петербургского дома (из числа таких, где живут хорошие господа), кто с ведром в руке, кто с метлой, кто с лопатой и т. п. — все народ ражий, хорошо кормленный, хорошо выспавшийся — в разных позах остановились в разных пунктах двора и, как говорится, «помирали со смеху», хохотали без удержу, потешаясь над тем, что происходило вверху, в окне четвертого этажа. А там какой-то румяный, ражий детина, не то маляр, не то плотник, работавший в квартире, из которой господа начали выезжать на дачу, стоя на краю подоконника, держал в объятиях красивую, плотную, франтоватую горничную, которая вопила благим матом, не забывая в то же время почти ежеминутно наносить своему похитителю звонкие, сильные удары голой и крепкой рукой по физиономии — или нет, не по физиономии, а прямо «по морде».

Не обращая на эти удары ни малейшего внимания, ражий детина хохотал во всю пасть и, потрясая горничною над четырехэтажной бездной, орал, обращаясь к зрителям:

— Подставляй фартук, я ее кину!.. Эй, ребята, держи, подхватывай!

— Давай, давай! — азартно бросая метлу и потряхивая фартуком, во все горло откликался один из зрителей, дворник; — кидай! готово!

— Размахнись хорошенько! — советовали конюхи.

— Хватай! — орал детина, в самом деле размахиваясь горничной, как неодушевленным предметом.

— Дуй его, Авдотья, по морде! Чего он безобразничает! — визжали бабы.

— Авдость! обдерни хвост!

— Бей его!

— Махай ее через крышу!

Хохот неудержимый и искреннейший, визг горничной, чувствовавшей однако, что все это «в шутку» и «любя», звонкие оплеухи «в шутку», искреннейшее веселое оранье, хохот, остроты, румяные, оживленные здоровьем лица парня, и горничной, и публики, и ко всему этому солнце, блеск воздуха и неба, могучая сила и детская простота и в природе и в людях — все это так пленило Ивана Ивановича, что, отойдя от окна, он в сильном волнении мог только произнести:

— Пар-ршивая цивилизация!..

И сбросил рукою на пол только что принесенную и лежавшую на столе газету, впрочем, может быть, и не нарочно.

— Ну, где вы (предполагается: в этой цивилизации) найдете это... эту... — лепетал Иван Иванович и, не договорив фразы, опять произнес:

— Какое же сравнение с этой паршивой цивилизацией?

Эта сценка не была, конечно, поводом к полному уяснению взглядов Ивана Ивановича на необходимость введения в дело воспитания детей некоторых новинок в народном духе, но все-таки она дала некоторую путеводную нить к объяснению. Игра во все эти шила, дратвы и топоры не была пустою комедией, а имела в основании почти определенный расчет. Дети Ивана Ивановича, очевидно, никогда не будут ни сапожниками, ни портными; за спиной их никогда не будет болтаться мешок с куском черного хлеба и рубанком... Об этом Иван Иванович не допускал даже мысли. Но эта пила нужна для того, чтобы маленькие обеспеченные ручки были так же крепки, как и те, которые в силах играть горничной, как пером. Это дерганье дратвой расширяет грудные мышцы. В этом только отношении физического благополучия и понятна какая-то туманная вера Ивана Ивановича в необ-

ходимость какого-то внимания ко всему трудовому люду, вступившему на новый путь. Но, не понимая во всей широте значения этого влияния и только чутьем догадываясь о нем, мягкосердечный Иван Иванович, однакоже, и тут, как видите, умел извлечь некоторую *пользу для себя,* сумел, так сказать, взять с мужика взятку и принести ее в дом свой.

III

Недолго, однако, пришлось Ивану Ивановичу довольствоваться в своих житейских и служебных поступках исключительно чутьем, так как в некоторых отношениях явления действительности совершенно выяснились, вышли из тумана, и добираться до их, еще недавно темного, смысла ощупью уже не было никакой надобности: они стояли налицо. Пришлось серьезно обдумать свои к ним отношения. Иван Иванович начал испытывать эту необходимость и сознавать всю ее серьезность со времени известного уже нашим читателям эпизода, описанного в начале первой главы настоящего отрывка. Как только Иван Иванович убедился, что все совершающееся совершается *в самом деле,* исходит из известных причин, а главное (вот именно, где главное-то!) имеет известные результаты, вполне неминучие, тотчас же ему пришлось определить собственные свои отношения к этим явлениям, пришлось обдумать их всесторонне, со всей искренностью и тщательно определить свое место в людском обществе. И тотчас же, как только Иван Иванович стал думать об этом серьезно и по совести, так напала на него тоска, в душу закрался лёдяной холод, белый свет опостылел, и все его существо стало как-то «саднить» в бесплоднейших и вместе с тем тягостнейших страданиях.

Прежде всего, определяя свои отношения к начальству и припоминая знакомство с акушеркой, г-жой N, Иван Иванович сразу увидал, что он жестоко виноват перед начальством, что он из года в год обманывает его доверие, что он, одним словом, лжец, на которого в трудную минуту едва ли может это начальство положиться. Он убедился, что видел в начальстве только оклад, что не будь тут оклада, оно не имело бы такого преданного слуги, каким считался Иван Иванович. С другой стороны,

припоминая свою служебную деятельность, которая оплачивалась хорошим окладом, Иван Иванович так же мгновенно убедился и в своей виновности перед акушеркой, так как, открывши ей всю подноготную и все последствия своей деятельности, он должен был бы оказаться ее явным врагом, а вовсе не «сочувствующим», каковым его считала непрактическая и увлекающаяся г-жа N. Словом, в обоих случаях почтенный, добрый, мягкий и либеральный Иван Иванович вдруг, как только пришлось подумать серьезно, оказывался просто-напросто лгуном, да еще каким — корыстным! Разве все это не из-за оклада? Да! у Ивана Ивановича не оказывалось никаких нравственных убеждений. Он боялся потерять оклад, решительно не зная, на какую сторону в определившихся людских отношениях мог бы он стать по убеждениям. Не было у Ивана Ивановича никаких убеждений, никакой нравственности. Был только страх перед акушеркой, перед начальством и главное — перед окладом.

В эти минуты было жалко смотреть на Ивана Ивановича, особенно в отношениях его к детям. Однажды в кабинете у него совершенно случайно столкнулись: эта самая акушерка N, генерал из того министерства, где Иван Иванович служил, и студент-технолог в высоких сапогах. Иван Иванович вертелся на своем кресле как на иголках, чувствуя, что настала минута, когда надобно «дать ответ», то есть при малейшей случайности в разговоре о текущих событиях необходимо поступить беспристрастно и по совести. На беду Ивана Ивановича в комнату вбежал его шестилетний сын и задал один из неожиданных детских вопросов. Что было делать Ивану Ивановичу? С одной стороны — студент и акушерка, а с другой — генерал. Иван Иванович вспыхнул и вывернулся, сказав: «Чаю! чаю! скажи, чтобы чаю нам давали! Философ!» И, таким образом, выпроводил ребенка вон, оставшись невредимым.

Но, оставаясь до некоторой степени невредимым лично, Иван Иванович чувствовал, что относительно своих детей он поступает безнравственно. Свои житейские связи и отношения он еще мог кое-как, с грехом пополам, оправдать тем, что у него на плечах семья. Ради семьи он тянет лямку, хотя «сочувствует». И если поступает при этом не совсем добросовестно и искренно, то опять же потому,

что у него семья, что он не один. Но, принося такие жертвы ради семьи, естественно было подумать о том, что же получает в самом деле эта семья? И тут Иван Иванович совсем терял голову, прежде всего потому, что себя, свою деятельность он никоим образом не мог бы рекомендовать детям: это значило рекомендовать искусство лгать из-за оклада; сказать же что-нибудь по совести — боялся. Дети росли поэтому в какой-то невозможнейшей атмосфере либеральных недомолвок и умолчаний по самым существеннейшим вопросам нравственности. А нравственность — в этом Иван Иванович убеждался с каждым днем все более и более — необходима. Начинается жизнь, жизнь «в самом деле», и чтобы перенести ее случайности, недостаточно одних крепких мускулов, румяных щек, а нужно нечто сильнее их. Но Иван Иванович не мог дать ничего подобного. Ничего подобного не давали ни пилы, ни дратвы, ни станки, ни детские сады, ни кубики, ни «жестяник», ни плетение, ни клеение, ни молотки, ни загадки, ни ребусы, ни анаграммы и проч. Иван Иванович пробовал было углубиться в область современной печатной педагогии, но, во-первых — приходилось зарыться в книгах, которым нет конца и края, а во-вторых — Иван Иванович на первых порах встретил тут такие вещи, которые совершенно охладили его намерение что-нибудь позаимствовать у педагогии. Так, в одном из самых почтенных педагогических журналов, пользующихся упроченною репутациею, Иван Иванович натолкнулся на следующую *живую беседу* (как сказано в журнале) учителя с учениками по поводу молитвы господней. *Учитель:* «Где бог?» *Ученик:* «Везде». *Учитель:* «А *особенно?*» *Ученик:* «На небе». Учителю, который, как видно из статьи, не желает, чтобы ученики *задалбливали слова,* необходимо помощью *живой* беседы выяснить основательность именования бога *отцом небесным,* и вот он, как видите, смотрит на это наименование только как на *имя прилагательное.* О дьяволе беседы еще проще. *Учитель:* «Кто нам более всего делает зла?» *Ученик:* «Дьявол!» И все тут. Без рассуждений и разговоров, просто оказывается, что существует дьявол и делает людям вред.

Итак, где же добыть этой нравственности? Каким способом в душе подрастающего молодого поколения образовать тот прочный, нравственный фундамент, который вы-

держал бы то, что время воздвигнет на нем? Иван Иванович думал только об этом фундаменте, а о том, что выстроить на нем — не решался думать, умывал руки, да и не мог он предвидеть, что будут строить: жилой ли дом или гауптвахту, тюрьму или храм — лишь бы устоять под напором тяжести. Долго думал Иван Иванович, но, наконец, придумал.

Он решился так: Анна Петровна, его жена, с детьми большую часть года будет проводить в деревне, а он, Иван Иванович, всецело отдастся служебным обязанностям — да и не обязанностям вовсе, а просто служебному заработку... Иван Иванович решился лечь грудью в эту лямку для того, чтобы со временем приобрести собственную усадьбу, а с нею и прочную почву как для себя, так и для потомства.

Итак, как видит читатель, этот план насчет деревни, усадьбы и т. д. просто-напросто означал только то, что Иван Иванович, не найдя в себе никакой нравственности и не найдя ее в педагогических лучинках и бумажках, решил, повинуясь тому же, наследованному от П. И. Чичикова практическому чутью, *позаимствоваться* означенной нравственностью у мужика. Позаимствовать и утащить в дом свой. Но, увы!..

Впрочем, так как опыт с позаимствованием у мужиков нравственных начал частью происходил на моих глазах, частью известен мне из обстоятельных рассказов Ивана Ивановича и, наконец, так как опыт этот представляет некоторый интерес вообще, то я позволю себе сказать о нем несколько подробнее.

IV

Решив «позаимствовать», Иван Иванович всю зиму довольно прилежно следил за газетными объявлениями: не отдается ли где в аренду помещичья усадьба? И к концу зимы таких объявлений было найдено довольно много. Усадьбы отдавались и в степях, и в глуши непроходимой, и по всем линиям железных дорог. Иван Иванович выбрал несколько адресов таких усадьб, которые лежали не слишком далеко от Петербурга, так — часах в семи, и не слишком близко к железной дороге,

то есть «к цивилизации», которую он не иначе представлял себе в настоящее время, как в виде какой-то непрестанной необходимости врать с утра до ночи.

Решено было осмотреть эти усадьбы тотчас, как только мало-мальски стает снег. Но так как в то время в Петербурге весну *сделали* ранее обыкновенной месяца на полтора, то в половине марта в булочных уже появились жаворонки, а в начале апреля уже приходилось приняться за поливку улиц, потому что появилась пыль... Ввиду всего этого, едва только прошла святая неделя, как Иван Иванович и я, приглашенный им, тронулись в путь.

Мы выехали с вечерним поездом, а в шесть часов утра должны были выйти на одном маленьком полустанке и затем на лошадях ехать верст за двенадцать в усадьбу, которую предполагалось осмотреть, а если понравится, то и нанять. Поистине какая-то детская радость охватила нас обоих, едва мы очутились в вагоне, и не покидала нас вплоть до следующего вечера, когда мы опять вошли в вагон, чтобы возвратиться в Петербург. Я, несомненно, был заражен этим детски-радостным расположением духа благодаря Ивану Ивановичу, которому в самом деле было отчего радоваться. Все нравственные муки, все неразрешимые нравственные загадки для него оканчивались с поселением в деревне. Она, эта самая деревня, должна дать детям Ивана Ивановича, во-первых — физическое здоровье, которого не дадут ни гимнастики, ни прогулки в скверах, ни дорогие доктора. Деревня даст все это так, задаром. Во-вторых — она даст необходимые прочные начала нравственности. В то время когда ни педагогия, ни тем менее сам Иван Иванович не могут просто и ясно познакомить детей с причинностью явлений и человеческих отношений, деревня даст все это, простосердечно передав детям теплую веру в бога и зародив, таким образом, зачаток связной мысли, пробудит искренность чувства и даст ему пищу в простоте и деревенской откровенности человеческих отношений. В-третьих — она же, эта самая деревня, уничтожит ненужное и гибельное в детях сознание неравенства между людьми, которого нельзя никоим образом избежать в столице. Дети будут в толпе крестьянских детей приучаться жить в обществе человеческом, начнут понимать, что̀ такое жизнь.

Словом, Иван Иванович, решив «позаимствовать», черпал в своих планах, конечно, щедрою рукою из непочатой деревенской жизни. По крайней мере по пятнадцати существеннейшим вопросам деревня должна была позаботиться услужить измучившемуся в бесплодных страданиях Ивану Ивановичу. И мы были ужасно рады, что обуза, наконец, снята с плеч или будет снята в самом скором времени. Петербург и вообще *«паршивая цивилизация»,* само собою разумеется, подвергались величайшей критике, так как они решительно не дают ни малейшей возможности к мало-мальски здоровому нравственному развитию и совестливому существованию на белом свете. «Что такое, в самом деле, эта хваленая цивилизация, этот великолепный Петербург? Одна ложь — больше ничего! Вранье, жадность и ложь с утра до ночи». Иван Иванович приводил в пример себя: оказывается, что он, например, «ничего иного не делает, как врет направо и налево, с утра до ночи, конечно если смотреть на дело беспристрастно. Тогда как деревня...» Но, попав на дорогу всевозможных сравнений, мы до такой степени были подавлены обилием материала, что стали перескакивать с одного предмета на другой, хвататься за что попало, и пусть поэтому читатель извинит, если найдет в отрывках этих сравнений, следующих ниже, недостаток последовательности в мыслях, а иногда, повидимому, и просто бессмыслицу, это так только кажется, глядя поверхностно; на деле же нами руководила совершенно ясная для нас мысль, именно: в Петербурге, вообще в городе — все ложь, а в деревне — все правда. Ложь — вся эта жадная ежедневная суета, этот шум и блеск, все — ложь. Солдаты идут с барабанным боем — ложь! Чиновник с портфелем бежит, как помешанный, — ложь! Барыня с собачкой — чистая комедия! А в деревне нет ни стука, ни грома, ни блеска; все здесь чистосердечно и правдиво. Вон на горе храм, бедная сельская церковь... трогательный жалобный звук колокола... искренние слезы старушки... кресты над могилами истинных тружеников... Пастырь, седенький старичок, идет по косогору... с палочкой... все просто, хорошо, правдиво!.. И солнце светит приветливо. А в Петербурге? А в Петербурге, чтобы солнце-то видеть, — и то надо ехать на лошадях верст за двадцать, на «пуант»; да и на пуанте-то оно закаты-

вается не в море, а за полицейскую будку. Нечего сказать, природа! А в деревне действительно если природа — так природа, а не будка; лошадь — так лошадь, овца — так овца; ветер, птица на ветке, рыба в речке, козел, баран, или, например, дерево — все это натурально, просто, все сущая правда. Это вовсе не то, что какие-нибудь кубики, лучинки, плетение и вообще всякая ерунда.

До глубокой полуночи продолжали мы разговаривать, делая эти несколько беспорядочные, но в высшей степени оживленные и яркие параллели между лживыми явлениями цивилизации, которая олицетворялась Иваном Ивановичем в виде неусыпающего лганья, и деревенскими добрыми и простыми нравами. Я не привожу их во всей подробности, потому что боюсь утомить читателя; но, говоря вообще, в пользу деревни оказалось такое множество всевозможных преимуществ, что более или менее понимающему человеку, вроде Ивана Ивановича, было бы просто глупо не поживиться чем-нибудь у такой богачки, как деревня.

Радостное состояние наше, прерванное на несколько часов сном, вновь возобновилось утром, когда мы, наконец, доехали до станции, где должны были выйти. Было чудеснейшее весеннее утро. Весна была в самом начале, вода бешеными потоками бурлила в оврагах и бойко, непрерывно журчала под рыхлыми, но еще толстыми слоями снега, которого везде — и в поле и на дороге — было довольно. Выйдя на крыльцо станции, мы были поражены необыкновенной тишиной, в которой отчетливо слышалось стоявшее в воздухе непрестанное журчанье — точно щебетанье — таявшего снега. И небо было молодое, даже молоденькое, и деревья влажные — точно выкупавшиеся и отдыхающие. А воздух! воздух так и ломил в грудь, ломил такою массою здоровья и свежести, что нехватало крови и легких, чтобы поглотить ее. Он пьянил, утомлял.

Полустанок был маленький, незначительный; около него лепилось всего два-три домика, из которых один был постоялый двор. Домики были опрятные, зеленые какие-то, с желтыми цветами на ставнях и с яркомалиновыми крышами. Какой-то седенький мужичок в лаптях и армячке, старый, сухонький, но легкий на ногу и проворный,

подбежал к нам, точно по воздуху прилетел — так неслышно и легко ступал он своими лаптями по проталинке, — и пригласил на постоялый двор. Этот мужичок как нельзя лучше поддерживал наше детское расположение духа. Он проводил нас на постоялый двор, привел в чистую комнату наверх, добыл хозяйку, и все проворно, но не спеша — такая у него была натура «легкая». Молоко, которое принесла нам степенная хозяйка, было в самом деле в высшей степени ароматическое и такое густое, что облипало губы, как самая густая масляная краска, и стиралось с величайшим трудом. Маленький, кособокий, но ясный как солнце, мгновенно вскипевший под руководством проворного старичка самовар был для нас мил в эти минуты необыкновенно. Но всего был милей старичок, которого звали Карпием. Он сам называл себя так — не Карпом, а Карпием.

Напившись чаю, мы вышли на крыльцо, около которого Карпий запрягал нам лошадь. И тут в несколько минут, с свойственною всей его натуре легкостью и проворством, он успел познакомить нас чуть ли не со всей своей историей и с задушевнейшими своими убеждениями.

Оказалось, что этот человек был почти не от мира сего. Не по нем, не по его впечатлительной душе была тяжелая крестьянская лямка, докучливая жизнь на миру... Его с детства тянуло странствовать, переменять места, не грешить с людьми, что неизбежно для человека, прилепившегося к месту; и, повинуясь этим влечениям натуры, он много видел на своем веку и людей и мест, вырабатывая кусок хлеба чем придется. «Поживу, покуда поживется, а от худова — уйду!» Была в его глазах какая-то, так сказать, придураковатость, но придураковатость нежная. «Уйду, не люблю ссоры, потому в ссоре, храни бог, сорвется с языка нечистое слово — а уж это хуже всего!» Карпий объяснил нам, что во многом он грешен, а чтобы обругать кого — нет! этого бог миловал! Ни разу в жизни он никого не обозвал худым словом, не то чтобы лукавого помянуть! При последнем слове Карпий плюнул даже. Как доказательство своей непоколебимой верности этому убеждению, он показал нам руку, кисть и палец которой были все переломаны и срослись в какие-то комбинации. Эту руку лет двадцать тому назад ему изуродовали на Волге. Был он в партии бурлаков, и на ночлеге,

на берегу, Карпиева партия из-за каких-то причин затеяла драку с другой партией, ночевавшей неподалеку. Драка с берега перешла на воду; Карпий, очутившись в воде, стал хвататься руками за край какой-то лодки, а его колотили веслом по рукам. «И тут я вытерпел, черного слова не молвил!» Карпий тряхнул седой головой, и радовалось его лицо этому хорошему, угодному богу поступку.

Немало удивлял он нас в пути удивительнейшими сообщениями об удивительнейших вещах. Переезжали мы небольшую речку по синему, рыхлому уже льду: разговор невольно зашел об опасности этой переправы. Карпий уверил, что речка неглубока; но когда мы перебрались на другой берег, завел речь о том, что нечего пугаться, что господь, наверное, умудрит человека. Человек своим человеческим умом ничего не придумал, а бог умудрит, да так, что только диву дашься. И в доказательство своих слов загадал такую задачу: что бы, например, надо было делать, ежели бы, паче чаяния, пришлось провалиться не на эдакой речонке, а на широкой и глубокой реке? Положим, человек — тот уползет по льду, а как с лошадью быть? тащить ее — сил нет; подводить веревку под живот — напрешь на края полыньи, провалишься и с лошадью. Как тут быть?

Загадав загадку, Карпий помолчал, выжидая, и произнес, хитро улыбаясь:

— А есть средствие.

— Есть?

— Е-есть!

И объяснил это средствие. Оказалось, в самом деле, нечто удивительное: надо, по его словам, просто удавить лошадь, сразу захлестнуть ей «удавную» петлю; при этом она заглотнет такое количество воздуха, что ее всю «вспучит» вдруг, и она сама выплывет, как пузырь; тут ее тащи за хвост, и петлю отпускай по капельке, по вершочку. С полчаса полежит и встанет.

Если это и неправдоподобно, то все-таки весьма остроумно придумано. И мы с Иваном Ивановичем немало разговаривали о народном, непосредственном уме, его нетронутых, природных богатствах и опять убедились, что есть тут чем поживиться образованному и обеспеченному человеку.

Но Карпий скоро еще более поразил нас, сообщив такое «средствие», в котором не было ни малейшего человеческого смысла и которое в то же время было весьма замечательно.

— Такие ли еще бывают средствия-то! — таинственно и ласково заговорил он, слушая наши рассуждения об «удавной» петле. — Есть, господа вы мои, такие средствия, только — а-ах!..

— Есть?

— И-и!

— Какие, например?

Карпий обернулся к нам, поехал тихо и сказал, почему-то понизив голос:

— Об чем, спрошу я тебя, скотина разговаривает?

Иван Иванович, повидимому, совершенно не ожидал такого вопроса.

— Я не знаю! — сказал он, как ребенок, застигнутый врасплох.

— А вот есть средствие!.. Узнаешь, что̀ говорят, примерно, овцы, коровы, лошади; все ихние мысли — все!

— Да зачем же это?

— Как зачем? Мало ли что человеку знать желательно, да богом ему не дано. Примером скажем — падеж, болезнь, хворь какая... Пойдет скотина валиться, человек не знает причины, а скотина знает. Она еще когда знает это! Примером, возьми так: едешь ты со двора, а лошадь нейдет, упирается, — что, мол, такое? Ударил ее кнутом, побил, поехал — хвать, волки напали! Видишь вот, она-то знала, а ты-то не знал... Вот человек и добивается...

— И точно есть средствие?

— Есть. Но только уж извини, уж это не от бога!.. Нет! Бог не положит этого человеку. А это уж дело... того самого... черненького... Его! Вот то, что я наперед сказывал, об лошади — то от бога, а это — от черномазого... Это уж он наущает.

— А все-таки наущает?

— Вота!.. Ка-ак!..

— Ну какое же средствие-то?

— А вот какое: первое дело, надобно сказать, скотина разговаривает все-навсего раз в год, как раз под новый год, в полночь. Тут у ней идет предсказание, что̀ с кем

будет. Видишь. Вот, друг ты мой, под самый-то под новый год требуется тебе первым долгом хлебец благовещенский скушать с четверговою солью. Первое это дело. Скушал ты хлебец, надевай шапку и шубу шерстью вверх, а самый корень всему делу — кость человечья: откуда хочешь, достань кость от человечьей ноги; и как ты кость достал, иди в полночь в хлев и садись в угол, а кость приставь к уху — тут все и окажется. Сейчас и услышишь, как одна лошадь другой говорит: «А меня, например, на покров волк будет поджидать». Другая ей: «Где, мол?» — «Там-то!» Ну, кто знает, и не едет тем местом. Вот какое средствие! Ну только уж от нечистого, от него. Это дело не божие, говорить нечего...

— Да ведь это... изобретение! — воскликнул Иван Иванович, — ведь это — телефон какой-то! Помилуйте, съешь то-то, надень так-то, приставь к уху... Какая точность, определенность!..

И опять мы поговорили об народе и похвалили...

Усадьба, в которую мы доехали часа через два, была как нельзя больше подходяща к нашему тогдашнему настроению. Особенно поразило нас обоих то, что она совершенно соответствовала нашим дорожным мечтаниям даже по внешнему виду — и горка и на горе храм сельский, ветхий, с жалобным колоколом. Даже старичок с палочкой — и тот оказался на своем месте: именно шел по косогору ко храму... Солнце тоже было на своем месте и в том самом виде, как рисовал себе Иван Иванович, то есть оно приветливо, щедро рассыпало свои благотворные лучи. Усадьба, стоявшая на пригорке в саду, была вся залита солнечными лучами; словом, все было приветливо, просто, тихо и покойно, все и все нам понравилось. Понравилась усадьба, понравились мужики, снимавшие шапки, и вид местности, и храм, и речка, которая еще только вздувалась подо льдом, словом — все как нельзя больше соответствовало нашим желаниям. Иван Иванович был просто в восхищении... С двух слов усадьба была нанята на круглый год, задаток дан, условились о времени переезда, о необходимых починках; постояли на крыльце, выходившем в сад, помечтали о том, как все это будет хорошо летом, закусили у арендаторши усадьбы чем бог благословил, но с удовольствием и неимоверным

аппетитом, и тронулись в обратный путь. Необходимость возвратиться в Петербург заставила нас вновь заводить речь о прелестях деревни и о неприятностях столицы; но я передавать их не буду.

V

К величайшему моему сожалению, мне не пришлось быть личным свидетелем опыта, предпринятого Иваном Ивановичем и начатого, казалось, при весьма благоприятной обстановке, так как все лето я провел совершенно в другой местности России. Передаю поэтому о результатах опыта со слов Ивана Ивановича, с которым мы встретились уже осенью. Заглянув как-то в начале сентября в его квартиру, я нашел не только самого Ивана Ивановича, но и все его семейство, которое по первоначальному плану должно бы было жить еще в деревне. Разумеется, первое, о чем спросил я, было: «как он провел лето в деревне, увенчались ли его надежды каким-либо успехом и почему, наконец, его семейство так рано возвратилось в город?» На последний вопрос Иван Иванович отвечал просто: «не приходится», потом сослался на темные осенние ночи, непривычные для людей, живших десятки лет в городе; на вопрос же о том, хорошо ли ему было в деревне, отвечал: «Ни-че-го», но при этом произнес: «Но...» и умолк. Вскоре, когда мы уселись за чай в его кабинете, он опять несколько раз говорил мне, что «вообще ничего», но опять всякий раз прибавлял частицу *но,* а к этой частице какую-нибудь сценку, замечание, факт. Слушая эти отрывочные заметки, факты, сценки, рассказываемые без всякой последовательности и, очевидно, без достаточной яркости, я тем не менее пришел к убеждению, что Иван Иванович потерпел полное фиаско, что ему на этот раз не удалось «поживиться», и, сколько я могу судить, основываясь на сообщениях весьма отрывочных, по следующим причинам.

Главнейшею причиною неудачи Ивана Ивановича было то, что он никоим образом не мог добиться от народа мало-мальски искренних человеческих отношений, таких, при которых, с одной стороны, Иван Иванович мог бы открыть свою душу и чистосердечно сказать:

«бери!», а с другой — чтобы и народ деревенский так же бы распахнул свое нутро, так же бы радушно сказал Ивану Ивановичу: «получай, барин, тепло-то!» Даже и тени таких отношений он не мог добиться от народа. И не мудрено: у Ивана Ивановича — большой оклад. Поэтому едва Иван Иванович поселился в деревне, как деревня поняла, что за ее долготерпение господь послал ей доходную статью. Очевидно барин живет на готовые деньги — очевидно он должен потреблять, тратить деньги — и вот, с первых же дней по приезде, между усадьбой, где жил Иван Иванович, и деревней, где обитали мужики, установились самые неискренние отношения: ни один человек не приближался к усадьбе «без своекорыстных целей». Вот идет мужичок, идет, повидимому, просто поговорить, побеседовать, что особенно было бы приятно Ивану Ивановичу, который с удовольствием вспоминал простосердечного Карпия, — а глядишь, на деле окажется, что он, этот простосердечный-то человек, пришел только затем, чтоб заставить Ивана Ивановича брать у него мясо. Случилось Ивану Ивановичу отказать: этот человек, встретившись на другой день, и не поклонился, точно в глаза не видал он Ивана Ивановича.

С первых же дней вокруг усадьбы образовалась какая-то непрерывная цепь «своекорыстных» людей, которые толпились вокруг приезжей семьи именно только потому, что она платила за масло, за кур, за мясо, за рыбу, за ягоды. Сквозь эту цепь своекорыстных людей не было никакой возможности пробраться к *настоящему,* бескорыстному деревенскому люду, а впоследствии Иван Иванович убедился, что если бы ему и удалось прорвать цепь и пробиться сквозь ряды неприятеля, то и там, в деревне, где бескорыстие-то должно находиться, и там, едва только Иван Иванович приближался к бескорыстному человеку, как этот человек превращался в корыстолюбивого и с первых же слов говорил что-нибудь вроде следующего: «Эх, барин, связались вы с Антошкой! Позвольте, я вам на пробу зарежу теленка?» Словом, везде и всюду Иван Ивановича преследовала жажда деревенских людей «поживиться» не по части нравственных богатств, как хотел поживиться сам Иван Иванович, а просто насчет денег. Старушка ли придет, расскажет сказочку — просит внучкам на гостинцы, просит старых

сапог, шапки... Старичок ли придет про старые времена поговорить — тоже просит, а чуть Иван Иванович не даст — перестал ходить. Словом, как только прерывалась денежная связь, так прерывалось даже шапочное знакомство.

Один факт возмутил Иван Ивановича жестокостью, в отношении корыстолюбия, до глубины души. Старичок со старушкой доставляли молоко детям Ивана Ивановича, доставляли по известной цене. Однажды по случаю приезда гостей второпях взяли молоко не у старика и старушки, а в другом месте, поближе взяли, чтоб не идти далеко, а главное, заплатили тремя копейками дороже. И что же? Старичок со старушкой прекратили носить молоко, зная, что от этого расстроится здоровье ребенка, для которого оно бралось, зная, что дети даже умирают от перемены молока, и всё для того, чтобы «припереть» Ивана Ивановича и заставить его платить тремя копейками дороже. Очевидно, он может платить, если заплатил. «Ты отчего же мне *просто* и *откровенно* не сказал, что тебе нужно три копейки? Зачем же мучить ребенка-то?» — протестовал Иван Иванович. «А ты-то, — отвечал старичок: — отчего мне *откровенно* по одиннадцати-то копеек не платил? Небось по восьми все время платил... тоже, поди, откровенно!»

Что делал мужичок, поставлявший мясо, — уму непостижимо. Обыкновенно, зарезав теленка, он развозил его пункта в три; но летом, когда рабочая пора и время дорого, этот мужичок решил не ездить никуда, а всю телушку вручить Ивану Ивановичу. Он так и сделал. Основываясь на том, что «семейству без мяса невозможно», а достать его негде, приходилось брать целую телушку и более половины выкидывать собакам. В течение трех летних месяцев Иван Иванович с семейством «съели» двадцать восемь телят и пять коров, что достаточно было бы для батальона солдат. Но что! это пустяки. Один парень, который почему-то *«понравился»* Ивану Ивановичу и которому последний однажды сказал об этом, — как-то, подгуляв во время сельского праздника, прямо потребовал от Ивана Ивановича «деньжонок»! «За что?» — «Да так. Сам говоришь, понравился, а денег не платишь! Это, братец мой, не модель — так-то! Не по-господски!..»

А дети Ивана Ивановича? Дети, конечно, не подозревали о тех терзаниях, которые испытывал их родитель, и беспечно *«играли»* на вольном деревенском воздухе; но Иван Иванович ясно видел, что им так же, как и ему, ничего, пожалуй, не придется позаимствовать. Конечно, воздух был чудесный, здоровый, солнце закатывалось не за будку, а за лес, освещая его, как роскошный дворец, чудными, как золото, яркими лучами; травки и цветочки были действительно настоящие, чистенькие, душистые, а ключ, журчавший из-под горы, был чист, как слеза. Все это было хорошо и благотворно действовало на душу, молоко тоже было душистое и густое. Но нехорошо то, что к концу лета на детях обнаружилась какая-то сыпь, которая, по словам нарочно выписанного врача, оказалась весьма подозрительною. Нехорошо, что старичок и старушка, которые все лето доставляли душистое молоко, по расследованию доктора оказались не совсем здоровыми и едва ли не принесли с собою нездоровье в семью Ивана Ивановича. У старичка и у старушки оказались на руках и на ногах какие-то раны, над которыми доктор только покачал головой. «Отчего же вы не лечитесь?» — «Как не лечимся — лечимся». — «Я, — сказал старичок,— двадцать седьмой год лечусь!» — «Чем?» — «А слюнами мажу да золой присыпаю! Оно и подсыхает!» У старичка и у старушки оказались дети, женатые и семейные, маленькие внучата, игравшие вместе с детьми Ивана Ивановича, и у всех их последовательно, из поколения в поколение, переходил один и тот же способ лечения, конечно вместе с недугом. Разумеется, Иван Иванович должен был устранить и старичка и внучат и сосредоточился на лечении, позабыв, что цель его состояла не в позаимствовании болезни, а в чем-то другом.

Тем не менее все лето, вплоть до обнаружения злосчастной сыпи, дети Ивана Ивановича ежедневно находились в обществе крестьянских детей, играли в их игры, но и тут Иван Иванович видел, что в расчетах своих ошибся. Дети крестьянские были чисты духом и сердцем, но в этой крестьянской чистоте отражалась только голая действительность, которая к тому же отражалась с беспощадной фотографической верностью. Детский ум и душа принимали все, что эта действительность предлагала им,

а она предлагала в большинстве случаев материал далеко не кристального достоинства.

В деревне, например, поймали почтальона, который хотел было утащить сумку с деньгами. Ребятишки играют в вора, и блистательно, то есть художественно и вместе с тем фотографически верно, исполняют это представление. По всем комнатам и через комнаты на двор несется в сад толпа ребятишек, лет до десяти в среднем возрасте, догоняют вора. Вор, как ветер, несется с сумкой, закинув голову назад, прижав сумку к груди, весь потный и бледный. Вот он спотыкнулся о бревно — и вся орава, гнавшаяся за ним, наваливается на него: «Веревку! Давай кушак! вяжи ему руки! А! ты отбиваться! Утымай, Егорка, сумку, отдавай начальнику!». Сумка отнята, вор связан; он устал, он еле стоит на ногах, волоса у него спутаны; словом, он отлично исполняет роль вора, которого «поймали», «связали». Но и не один он, а вся толпа верна действительности до мелочей. Кто такой вор? Сын одного деревенского бобыля, красильщика, человека, который просидел год в остроге. Ему быть вором; два сына лавочника — полицейские. Дети простых крестьян, как и в действительности, толпа, которая «содействует», бежит, галдит, исполняет, что прикажут. А дети Ивана Ивановича? Разумеется, они исполняют господские роли; один оказывается исправником, другой — становым. И их заставляют с точностью выполнить возложенные на них обязанности.

Вора поймали, связали.

— Что теперь? — спрашивают мужики.

— Теперь к становому! — отвечают лавочники. — Мы — десятские, вы — свидетели, а Володя с Колей — становой и исправник. Володя! садись на стул, допрашивай!

Володя садится на стул, но не знает, что делать.

— Ругай! — советуют ему. — Ругай его наперво: мошенник! каналья! упеку!

Володя ругает.

— Ударь его по морде!

Но Володя конфузится, а лавочники говорят:

— Это исправник его ударит! Володя! ты говори: ведите его, подлеца, к исправнику.

Ведут к исправнику, по дороге толкая вора в спину. Коля — исправник сидит на стуле, но также не знает, что́ ему делать.

— Бей его сначала по щеке! — советуют знатоки.

Коля затрудняется, но ему говорят:

— Ты так, не взаправду, коснись только! Ну теперь приказывай: «в холодную его, шельму!»

— В холодную его, шельму!

Вора сажают в холодную, на лестницу, ведущую на чердак, и лавочниковы дети припирают дверь палкой.

— Вот так-то, — говорит десятский, — посиди-ка, друг любезный, в теплом месте.

— Что ж теперь? — спрашивает исправник.

— Ты молчи; теперь он прощенья будет просить, а ты не слушай.

И точно, запертый в холодной вор таким рыдающим голосом, с такими надрывающими душу мольбами начинает умолять о помиловании, что у исправника немедленно же глаза наливаются слезами.

— Выходи, Миша! — говорит он жалобно, забывая, что он исправник.

Но тут уже сам вор делает ему замечание.

— Так нельзя скоро! — уже своим и несколько обиженным голосом отзывается он из-за двери. — Какая же это игра будет? Ты меня до-олго не пущай! Я буду вопить, а ты мне кричи: «нет тебе, подлецу, пощады!»

И начинается вопль. Мальчик-вор, наверное, слышал этот вопль, раздирающий душу, от отца, которого тоже сажали в острог, от матери, которая, наверно, рыдала и выла, горюя об участи мужа, и он истинно артистически выполняет эту сцену. Но исправник уже старается не плакать, чтобы не испортить игры, приучается не слышать этих воплей и твердит: «нет! нет!»

— Ну, будет! — говорит сам вор и толкает дверь.

Его выпускают. Порядок спектакля требует, чтобы за тюрьмой следовало наказание «скрозь строй!»

— Сколько прикажете дать ударов? — спрашивают лавочники.

— Сто! — говорит исправник, не умеющий считать до десяти.

— Ну что больно много! — возражает вор. — Эва!

— Двадцать — будет! — говорят мужики.

Приносят прутья, «силом» валят вора на пол. Исправнику советуют кричать: «бей сильней!» Вор, само собой

разумеется, «вопит», но все слабей и слабей: это значит, что его «засекают». Наконец он умолкает. Он без памяти. Десятские и мужики на руках несут его и кладут на большую плетеную корзину.

— Это лазарет!

Игра кончилась.

Не нравится вам эта игра — вот другая. «Пропивают» невесту, сватья ездят из одной деревни в другую, останавливаются в кабаках, выпивают, шатаются, валяются... Словом, все, что дает действительность, все переносится в игру. А жестока и тяжела эта действительность, и, что всего обидней казалось Ивану Ивановичу, — что его детям, как детям господским, отводилась в этой действительности, во имя самой сущей правды, большею частию неблагодарная, неприятная роль барина, причем этими играми развивались иногда самые нежелательные качества. Барин бьет, наказывает — это нехорошо; но и право миловать, в котором игра уверяла детей благодаря своей правдивости, — тоже не особенно нравственное право.

Плоха, забита, груба была жизнь; жестки ее впечатления. И в результате, как казалось Ивану Ивановичу, известная доля жестокосердия или по крайней мере равнодушия ко многому, что требует сочувствия и должно вызывать сострадание. Вот, например, сценка:

Приехал под окна усадьбы мужик. На телеге стоит кадушка, а в кадушке теленок. Дети и их деревенская компания смотрят на мужика, на телегу и на кадушку, стоя в садике.

— Теленочка продаю! — говорит мужик.

— А где теленочек?

— А вот, в кадушке.

— Зачем в кадушке?

— Да еще он маленек, двух недель нету... Он еще и на ногах не стоит.

— Покажи нам теленочка.

— А поглядите, с моим удовольствием.

Дети облепили телегу. Мужик открыл дерюгу, и оттуда выглянула красивенькая мордочка, тепло дохнула на детскую руку, поглядела добрыми детскими глазами, какой-то звук издала.

— Какой хорошенький!..

— Славный теленочек, только мало кормлен. Что ребенок малый! Ему молочка надобно, а нету молока-то, вот и продаю.

Выходит кухарка и торгует теленка.

— Купи, купи! — кричат дети.

Теленка покупают. Мужик на руках несет его неуклюжую детскую фигуру, кое-как устанавливает на слабых ногах к частоколу палисадника и, когда все любуются им, спрашивает кухарку:

— Сами резать будете, али мне?

И привыкают дети не плакать и смотреть, «как режут», и потом кушать.

Не счастливилось Ивану Ивановичу и по части того старичка, который по косогору с палочкой в руках обыкновенно направлялся к ветхому храму. Отец Иоанн был, точно, старичок, и с палочкой; несколько раз заходил он к Ивану Ивановичу попить чаю, но, увы! не вносил никакого «простого миросозерцания о премудрости творца в творениях его», а, напротив, вел самую практическую беседу. То расскажет, как один телеграфист, воспользовавшись тем, что телеграммы пишутся карандашом, стер текст у старой телеграммы и написал на имя известного в городе богача «выдать такому-то полторы тысячи» — предъявил и получил. «Ловко! Нет, ведь как ловко-то!» — присовокупляет старичок с палочкой. То попросит сочинить ему (сам старичок слеп) донос на благочинного или отвезти на станцию и бросить в ящик донос, сочиненный им самим... Вообще мало было теплого и детски-наивного в словах старичка. Копейка и добродушно-детская зависть к копейке — это слышалось чаще в его речах.

В общих чертах оказалось, что не в Петербурге, а именно в деревне дети Ивана Ивановича узнали, что они не мужики, а господа, и имеют поэтому право карать, прощать и не прощать; получили некоторую крепость нервов, приучившихся быть нечувствительными во многих, весьма драматических случаях; затем получили какую-то сыпь, требующую серьезного лечения и, наконец, приобрели самое обстоятельное, всестороннее знакомство с чортом. Если педагогия, как мы видели, только сухо констатировала факт существования дьявола, то деревня

разработала этот вопрос во всех подробностях. Деревенский чорт был такое же действительно существующее лицо, как вот этот лавочник, или кузнец, или становой. Все видели его собственными глазами: одного он схватил в воде за ногу; другой наткнулся на него в бане; третьего он водил целую ночь вокруг болота и чуть не утопил; четвертый «своими глазами» видел, как чорт ходил у него по крыше и ростом был более четырех сажен. Рассказы обо всем этом отличались, конечно, необыкновенною реальностью, а следовательно, неотразимо действовали на воображение. Чувство страха, почти панического, до сих пор совершенно незнакомого детям Ивана Ивановича, перед неведомым, таинственным злом, было также одним из приобретений, «позаимствованных» у деревни. Правда, дети Ивана Ивановича совершенно отвыкли врать, к чему начали было привыкать в городе; деревня во всем поступала совершенно правдиво, по сущей совести, но Иван Иванович, в конце концов, всем этим далеко был не удовлетворен, и в его голове зрело новое решение, о котором мы своевременно узнаем.

VI

Прежде нежели продолжать рассказ об опытах, которые Иван Иванович Полумраков счел нужным произвести над своими детьми, после неудачи «с деревней», я должен сказать несколько слов как в объяснение причин личного моего внимания к этим опытам, так в объяснение собственного моего на них взгляда. Опыты, вроде тех, которые производил и производит Иван Иванович, могут иметь некоторый интерес только при известном освещении, то есть при изучении их с известной точки зрения, а так как в настоящем случае эта точка зрения зависит от личности наблюдателя, то я волей-неволей должен сказать несколько слов уже не об Иване Ивановиче и его детях, а о себе.

Главнейшее основание моего внимания к чужой заботе об участи подрастающего поколения, говоря откровенно, лежит в собственных моих душевных скорбях; а скорби эти состоят в том, что тридцать пять лет моей жизни я прожил без капли дела и в то же время без минуты отдыха. Коренное мое несчастие состоит в том,

что новые времена захватили меня несколько ранее, чем, например, были захвачены люди возраста Ивана Ивановича, и я понял эти времена более определенно, чем это мог сделать Иван Иванович и люди его возраста. В то время как Иваны Ивановичи были застигнуты ими более или менее врасплох, я уже не мог не знать, и притом довольно положительно, что главнейшее требование новых времен состоит в том, чтобы всякий человек, имеющий претензию на кое-какое образование, *непременно* делал бы какое-нибудь добропорядочное дело *и непременно* на пользу ближнему. Будет барствовать! Труженик, столетиями работавший на других, начинает новую эру жизни: надобно работать и работать непременно в его пользу. А что он нуждается в этой работе, в этом не может быть ни малейшего сомнения: он только что вышел из заключения, голодный, холодный, замученный, забитый, полудикий и решительно беспомощный во всех возможных смыслах. Тут ли не найти себе места и дела, особливо человеку, знающему цену своим силам и готовому помириться с какими угодно микроскопическими размерами поприща, лишь бы только оно имело связь с добропорядочностью дела (непременно) на пользу ближнему? И что же? Ведь не нашлось! Не нашлось не только для людей, в миллион раз меня сильнейших, энергичнейших и образованнейших, но даже и для таких, которые, подобно мне, не фордыбачили и пред скромнейшими размерами работы. Напротив, вопреки всевозможным резонам, представляемым историей человечества, ежедневным и ежеминутным опытом вседневной жизни, эти люди решительно не требовались нигде и нигде не находили себе пристанища. В громаднейших размерах потребовался молчаливый получатель всевозможных жалований, молчаливый делец из-за денег, специалист, стукающий счетами на пользу какой-то молчаливой наживы, почти всегда не имеющей ни малейшей связи с главнейшею задачей времени или имеющей с нею связь губительную, разъедающую зачатки возникающей жизни. Повсюду открылось множество дел для наживы, только для наживы... Приходилось пристраиваться либо к железной дороге, стучать счетами, сидя над мертвыми цифрами (так мне казалось), либо к банку, либо к коммерческому предприятию; и везде, во всех вновь открывшихся для грамотного человека попри-

щах, было одно какое-нибудь желающее нажиться лицо или целая куча подобных лиц, какое-нибудь сухое, неинтересное занятие «для хлеба», затем физическое утомление, жалованье в кармане — и пустота!

Очень может быть, что я и ошибаюсь, что все эти дела имели или имеют непосредственную, а главное — благотворную связь с задачами времени; очень может быть, что взгляды мои узки, ограниченны. Все это пусть будет так; но что же делать, если во мне как-то само собою завелась закваска, развившая непременное желание видимой, ощутительной, понятной работы, и непременно в смысле пользы нуждающегося ближнего... Толкаясь по этим новым поприщам, скучая ими невыносимо, десятки раз бросая их в полном негодовании и вновь волей-неволей принимаясь за то же, я, к великому моему удивлению, стал замечать, что требования на безграмотного человека не только не уменьшаются, но увеличиваются с каждым днем; даже из литературы стали раздаваться голоса, отгоняющие грамотного человека от задачи, требующейся временем. «Сиди на своем стуле, стучи счетами, получай деньги и ступай прочь! Не твое дело, добропорядочное ли это занятие или нет! Получай и ступай! А не хочешь такого дела — опять же убирайся вон! Найдутся сотни тысяч людей, которые ни о чем не думают, не рассуждают, а умеют считать на счетах, с нетерпением ждут жалованья, а получив его, тихим манером идут в портерную!» Так кричали новые поприща верхних слоев. Что же касается до новых поприщ, которые, казалось, неминуемо должны были открыться и внизу, то во имя их вовсе не слышалось призывных кликов... Напротив. «Пошел вон! — покрикивали рыжие подстриженные бородки. — Не суйся! испортишь, изгадишь!..» И превосходно доказывали твою негодность на основании исторических документов, отчищая ими, этими бумажными документами, как наждачной бумагой, серую действительность до степени ярко блещущего самовара... Выходило что-то удивительное: вверху скучно, пусто, а частенько и бессовестно, а вниз — не пускают! «Не нужно! Убирайся вон! Ты интеллигенция, гнилушка, вон с глаз моих!..» Хоть ложись да умирай! А безграмотный человек все подваливает и подваливает! Он улучшает нравы и финансы, он умиротворяет, укрепляет народные

идеалы, оздоровляет села и города, проповедует гигиену, водворяет науку, и т. д., и т. д., и все это без разговоров, все в одну минуту и все за три копейки. Стоит только сказать этому расторопному человеку: «Оздорови деревни, прекрати неправду, развивай бытовые начала, улучшай нравы, вот тебе два целковых на расходы!» Расторопный человек ответит только одно неизменное «слушаю-с», хлопнет нагайкой по лошади — и след простыл. Глядишь — все исполнил и даже сдачи представил с двух рублей, за всеми расходами, семьдесят пять копеек... Спрашивается, что тут делать?

Много в эту пору сгибло народу. Уж не знаю, как я цел остался, каким образом не очутился в Неве, не помешался. Я помню только целые года какого-то смертоноснейшего угара. Только, бывало, и видишь: вот-вот человек сойдет с ума, бегает что-то, мечется, смотрит какими-то ужасными глазами, и точно: через день, через два — рассказывают — повезли в сумасшедший дом! Или придет кто-нибудь и извещает, что он только что с одиннадцатой версты — просидел десять месяцев. В то же время в обществе, жившем *без дела и без отдыха*, утомленном этим невозможным нравственным состоянием, стала распространяться какая-то мертвящая ханжеская доктрина, проповедывавшая кротость и простоту сердца, требовавшая какого-то умиления почти пред голой пустотой и ровно ни к чему, ни доброму ни худому, не обязывавшая человека. Благодаря этой доктрине острая боль утихала в человеке, но зато наставало состояние бесчувствия и бессмыслия, точь-в-точь напоминавшее угар или обморок...

Вот именно в таком состоянии находился я в то время, когда Иван Иванович проделывал свои опыты над детьми: я интересовался им просто потому, что сам не знал, что с собой делать. Я уж не раз подумывал о том, каким бы более или менее приличным способом наложить на себя руки, как случилась рассказанная в предшествовавших главах поездка в деревню. Я вздохнул свободно, почувствовал себя на мгновение по-детски легко, и во мне вдруг с неудержимою силою выросло желание во что бы то ни стало вырваться из этого пустого места тяжких мук, прекратить это позорное существование без дела и без отдыха и уйти в деревню. И я ушел. Не летом и не

на дачу ушел я, а зимой, в самый разгар зимнего сезона, и ушел, к великому счастью, на работу... Работа попалась крошечная, мизерная, — заниматься в конторе у одного помещика.

VII

И что же? Скромные желания мои (узнать: нужен ли зачем-нибудь грамотный человек?) немедленно же по приезде в деревню были удовлетворены в размерах поистине неожиданных. Положительно с первого же дня на меня со всех сторон стали напирать такие явления деревенской жизни, в которых я чувствовал и ясно видел нечто, дававшее смысл моему существованию, нечто, заставлявшее собирать, укреплять свои силы для видимого, осязательного дела. Правда, дела эти были мелкие, не шумные, но я до такой степени наголодался каким-нибудь понятным мне делом в долгие годы самоубийственной тоски, что был рад им несказанно. Приведу несколько примеров.

К такого рода деревенским делам я примкнул, как уже сказано, в первый же день по приезде. Еще в то время, когда я проезжал по деревне, направляясь к зданию конторы, где я должен был жить, я заметил на селе какое-то, как мне показалось, оживление. День был будничный, снежный; сухой снег, гонимый довольно сильным ветром, заметал улицу большими сугробами и дымом дымился на крышах, у заборов, у ворот... В такую погоду деревенский житель предпочитает сидеть дома, и я поэтому был несколько удивлен, видя, что народ не только не прячется по домам, но почти весь высыпал на улицу; у ворот видны группы баб и подростков, мужики группами толпятся посреди улицы, группами же переходят от двора к двору, машут руками, галдят. «Что такое у них?» — спросил я извозчика. «А господь их знает праведный! Что-нибудь есть... Ишь вон как! ишь!» — сказал ямщик, указывая кнутом на одну группу крестьян, в которой шел какой-то оживленный говор, причем один из крестьян что-то крикнул, сорвал с головы шапку и ударил ее оземь, а себя кулаком в грудь.

— Есть, есть! — проговорил возница. Урядник, с плетью в руках и с сумкой через плечо, проскакал мимо

нас и что-то также кричал охриплым и простуженным голосом. «Н-ну есть!» — уже вполне уверенно закончил возница и почему-то погнал лошадей. Скоро мы подъехали к конторе; но так как помещика дома не оказалось, а делать мне было нечего и, кроме того, нечего было курить, то я, чуть-чуть обогревшись, пошел на село, разузнав предварительно, где находится лавка. Говор и толкотня, как мне показалось, еще более увеличились в деревне; урядник носился по сугробам от двора к двору и вообще выказывал какую-то особенную оживленность. «Что такое у вас в деревне?» — спросил я лавочника, после того как он, заспанный, вышел из своего дома, отпер дверь и впустил меня в холодную низенькую лавку, переделанную из амбарчика.

— А уж не могу вам в точности объяснить. Не наше это дело. Да, должно быть, что-нибудь из пустяков. Учителишка тут что-то связался с урядником-то, ну, а впрочем, не могу вам утвердительно доложить...

Едва лавочник проговорил это, как меня взяло какое-то «сумление». «Ох, — подумал я, — не творит ли, храни бог, учителишка чего-нибудь недоброго?» А надобно сказать, что в одной из крестьянских групп я приметил какую-то шляпу и какое-то пальтишко не крестьянского покроя. Шляпа особенно смутила меня. Было в ней что-то недоброе: во-первых, была она летняя, а во-вторых, надета совсем небрежно — один конец полей вверх, а другой вниз... Словом, выражение «учителишка», летняя шляпа зимой, урядник и народ, о чем-то шумящий, — все это почему-то щипнуло за сердце и заставило подумать: «не уйти ли, мол, мне от греха подобру-поздорову?» Но уйти не пришлось. Едва я вышел из лавки, как наткнулся на целую группу крестьян, которая, громко разговаривая, торопливо шла мимо.

— Это что ж такое будет? Разве это по-божьи? Какое по-божьи, явно раззор! Хоть ложись помирай...

Говорили они все разом и торопливо прошли мимо; я уж заинтересовался историей и подошел к другой группе. Здесь, среди толпы крестьян, какой-то старый старичок, которого все внимательно и одушевленно слушали, говорил в сильном волнении:

— Нету правды! Не стало ее нисколько! Д-да! Нет ее! Писано об этом, да. В книгах сказано, не быть ей!

И нет! Видел царь Соломон сон-от: вот он когда сбылся. Д-да! Столб-от стоял каменный, в семь обхватов, конца ему, кажись, не было, а из-под него заяц выскочил, он и рассыпался; вот что Соломон царь во сне видел — вот оно и есть... Правда-то столбом стояла, а кривда-то зайчиком выпрыгнула, да и пошла по земле гулять... А правды-то нету! Нету ее! Конец пришел правде! Прядает по свету кривда! Да, как же не так-то? И когда это видано? Чистое дело, последние времена настают...

Толпа глубоко и мрачно вздохнула, молча пропустила она через свои ряды старичка, который, в величайшем нервном возбуждении, проворно побежал прочь, видимо потрясенный и угнетенный сознаваемым бедствием.

— Что такое? — решился спросить я у толпы, очевидно призадумавшейся над словами старичка...

Несколько секунд никто не ответил мне ни слова; но потом у одного благообразного, не очень старого крестьянина вдруг мгновенно сверкнули глаза, и, глянув на меня в упор, он нервно шагнул по направлению ко мне и произнес, весь, как говорится, «захолонув от гнева»:

— Да вот что!..

Едва проговорив это, он как бы задохнулся, тяжело дышал и бледен был как смерть...

— Да вот что... Больше ничего... хотят до последнего со свету сжить!

Он сорвал с головы свою шапку, отмахнул ею как-то в сторону, при слове «сжить!» также быстро нахлобучил и коротко прибавил:

— Больше ничего!

— Выморить хотят начисто!.. — прибавил хладнокровней другой крестьянин.

— Что вы! Помилуйте! — проговорил я. — Как же это возможно? Разве это возможно? Зачем это?

— Да уж это не наше дело,— зачем? А должно быть, что так требуется!

— Не может этого быть! Что за вздор такой?

— Ан вон требуют. Вон, видишь, урядник-то, успросикось у него... Там сказано: «в противном случае военным судом»... Вот оно что!

— Да как же иначе-то? Ну ты возьми: первое, крыши на скотных дворах раскрывать, скотину в избе не держать, навоз вывозить из деревни вон, есть из разных

чашек, какое старое хоботье, тряпье — жечь! Ну что ж это такое? А не то — расстрел!..

Тут все заговорили вдруг.

— У нас семьи двенадцать человек, покупай двенадцать чашек? Откуда это взять? И как же теперича я выкину из избы скотину, ведь она должна померзнуть? Нешто это не разорение? Помилуйте, скажите, раскрою я крышу, так ведь она поколеет, скотина-то! Чем же мы жить-то будем? Навоз! Отдирай его из-подо льду! его ломом теперича не возьмешь — ведь это конец! Вон огурцы, капусту вышвыривают в речку: это что ж такое?

Словом, нечто ужасное, хотя и очевидно нелепое происходило в деревне. Очевидно мне было только одно, что урядник что-то перепутал, и я, желая удостовериться, в чем же, наконец, дело, вместе с крестьянами направился к той группе, где виднелась шляпа «учителишки». Здесь шумели ужасно, и, как кажется, только потому, что урядник был тут.

— Нам что велят, то мы и исполняем! — сердито кричал этот человек, шевеля обледенелыми усами. — А смутьянов нам велено записывать и представлять.

— Сделайте милость, записывайте и представляйте куда угодно. Я вам говорю одно, что вы сами переполошили народ.

— У нас есть строжайшая бумага.

— Знаю я, какая бумага у вас, только там ничего этого нет, что вы требуете.

— Мне уж, позвольте сказать, вернее знать это! — вы кто такой? — обратился урядник ко мне.

— Конторщик.

— Что вам здесь угодно? Не ваше тут дело, и без того смутьянников много. А я вот как, — угрожающе обратился он к толпе, — я больше ничего — уеду, а не мое дело, ежели отвечать вам придется! Двадцать раз говорил, пущай же!

И он было повернул лошадь, но учитель остановил его.

— Вы должны успокоить народ, а не мутить.

— Мы знаем, кто мутит-то. Сделайте милость, не беспокойтесь.

— Отлично, только вы ответите за то, что требуете, чего в вашей бумаге нет.

— Этого вы не можете говорить!

— Почему? Вы вот совсем не понимаете, что́ такое сказано насчет сажени воздуха, а требуете, чтобы я рассаживал учеников на две сажени друг от друга. Это сказано о том, чтобы дышать, понимаете ли, для дыхания, чтобы хватало воздуху...

— Как же это, позвольте вас спросить, дышать саженями? И кто этою саженью, когда бы то ни было, дышал? — позвольте мне узнать, так как вы очень образованны... Ежели я дышу, так я просто вот, господи благослови, дыхну так-то и раз и другой, честь честью, на кой же леший мне сажень-то ваша, и куда я ее дену? И что вы пустые слова говорите? На две сажени потому, чтобы болезнь не пристала, а саженями не дышат.

Толпа тоже призадумалась над этим странным предписанием дышать квадратными саженями. Очевидно, что-то неладно; но несомненно, что кривда выскочила из-под столба и разгуливает по свету безнаказанно.

Безграмотство торжествовало. Но не смутившийся этим учитель, из всех сил стремившийся доказать безграмотству, что оно, точно, ровно ничего не понимает в бумагах, после продолжительных уверений, успел-таки поколебать самоуверенность урядника до того, что тот довольно смирно произнес:

— Нам этого разбирать не приходится. Нам что прикажут... Сказано, мол, на две сажени... Ну, а крыши?..

— И крыши вовсе не нужно раскрывать, — доказывал ему учитель.

— Ведь сказано в бумаге, как же не нужно-то?

— В бумаге сказано — «по наступлении теплого времени»... а разве теперь теплое?

— И чашки не нужны?

— И чашки не нужны до тех пор, пока доктора не удостоверят, что болезнь заразительная началась. И тогда-то вот нужно отделить больного от здоровых и есть из разных чашек...

Словом, все, что строжайше, согласно бумаге, требовал урядник, оказалось, согласно той же бумаге, не имеющим никаких оснований к тому, чтобы народ зашумел от погибели правды на земле. Все дело в том, что бумага, в которой эти меры были изложены, необыкновенно пространно и подробно изъясняла их, тщательно объясняла причины и следствия каждой меры, а деревенскому

человеку надобно прежде всего знать, чего от него требуют, надобно узнать суть в двух словах. И вот, когда безграмотство, распространявшее в народе гигиенические сведения, въехало верхом в деревню, оно должно было опустить «все разглагольствования», которых, разумеется, ни единого слова не понимало, и возвестить миру самую суть. И вышло поэтому — крыши раскрывать, скотине помирать, огурцы и капусту выбрасывать, а «в противном случае» — военным судом...

— Наше дело, братец ты мой, — уже совсем покорно сказал урядник, — что прикажут... Нам этого неизвестно... Нет ли, ребята, у кого трубочки закурить? Помучился я с вами ноничe — страсть как!

И, закурив трубку, хлопнул лошадь плетью и поскакал в другое место проповедывать пришествие кривды на землю.

Тотчас по его отъезде начался неистовый хохот парней, баб и мужиков. И было веселие велие...

— Ах, ты... — чихая от смеху и покачивая головою, говорил добродушный, простенький мужичок, указывая рукою по направлению удалявшегося урядника. — Приехал с каким приказом — чтобы всему миру помирать!..

— Ха-ха-ха! — покатывалась толпа.

— А Мироныч-то, Мироныч-то! заяц, говорит, выскочил у него из сумки-то!..

— Да под столб-от убёг заяц-то!

— Ха-ха-ха...

Тут я познакомился с учителем, и вместе с ним мы долго пробыли в развеселившейся толпе. Среди всевозможных насмешек мне случайно пришлось услыхать кое-что серьезное.

— Болезнь происходит от худого человека, а не от навозу! — сурово рассуждал какой-то почтенный человек: — вон в Сырейке кто пустил на овец мор? Буканиха, солдатка, известное дело.

— Дело явное!

— Тут не крышу раскрывать, а долбануть по затылку — вот и все!

— А то что же? Нешто возможно этаких злодеев на свете держать? За это ни на небе, ни на земле взыску нет...

— Ишь ты! Морозьте, говорит, скотину... для здоровья!

VIII

С этого эпизода решительно не проходило дня, чтобы деревенская жизнь не предъявляла чего-нибудь, прямо забиравшего за живое. Бывало, то учитель (оказавшийся очень добрым человеком) пришлет за мной поговорить по какому-нибудь делу, то я пошлю за учителем.

Например, прихожу я к учителю и застаю человек четырех крестьян, которые зашли к нему по случаю праздника. Разговор идет о земле.

— Не будет вам никакой земли! — самым настоятельным манером убеждает их учитель: — не будет! Вот напечатан циркуляр, в котором сказано, что не будет больше никакой земли вам дано.

— Оттого, что не знаешь ты здешних делов, так ты и говоришь. Нам здесь довольно известно. Анна Андреевна, покойницы барыни мать, должна помереть, а наследник остается Лев Львович. Она ему не отдаст, нам довольно известно, потому он уж и так одну часть промотал, а старуха-бабка, Анна-то Андреевна, строгая дама.. Уж это, верно, не потатчица таким делам!.. Вот мы и в надежде: по всему оказывается, что к нам будто должен отойти участок-то, потому больше некому.

— И Лев Львович получит, и бабка ваша Андреевна продаст, а к вам он никак не попадет, уж будьте в этом уверены. Подарить она вам не подарит, а владеть будет Лев Львович, а не он, так кто-нибудь другой.

— Это верно! — подтверждают некоторые голоса.

— Продаст! Да кому продать-то? Опять же мы *знаем все здешние карманы-то*, ты нас об этом спроси. Первым долгом толст карман у мельника, у Коромыслова, да ему не к руке покупать-то: зачем она ему, земля-то? За коим шутом он втешится сюда — у него и так, гляди-ко, как жернова-то работают, только греби денежки... Укупил бы, пожалуй, Ларивонов кабатчик, человек-то и вправду глазастый и жадный, да его прошлым летом подожгли, сгорел начисто, остался в одной рубашке — скоро-то не выкарабкается....

— В десять лет не вылезет!

— А еще-то кому ж? Селифонтов барин? Ну, у того хоть точно что тетка Прасковья Андреяновна больно жирна деньгой-то, ну и он навряд, чтобы что... У него

лесное дело широко пущено, навряд, чтобы отстал; в лесное дело вцепился — не рука отставать от хорошего... Ведь хозяйство-то, братец ты мой, тоже не легкое дело. Ведь тут денежки отдай чистенькие, да потом и жди барышей... Когда дождешься-то? Ну вот и все, почитай, карманы-то... А больше-то кому ж быть? — больше некому!

— Не беспокойся, друг любезный, из Петербурга, из Москвы налетят, из-за границы.

— Ну во-она чего! Это уж ты, друг любезный, стал пужать летошним снегом... За коим это шутом понесет его нелегкая из Москвы? Там поди, чай, свои дела-то есть... И кто это поедет экую даль в незнакомое место? Что ж он тут будет в чужом-то месте болтаться? Это и нашего брата возьми; хоть бы меня ты, примером, завез в чужую сторону — что бы я? Вестимо, мне мат... И ему так-то: народа он не знает, порядков тоже, покуда и приладится, так должен разориться вконец... Это что! В наших местах сподручно нашему, ближнему, а всех наших мы довольно знаем...

— Укупят! — настаивал учитель. — Всё укупят! И Анну Андреевну со Львом Львовичем, и всю округу укупят, все лоскутки не мужицкие — всё укупят!

— Ну, всего-то не укупишь! Это, братец ты мой, уж извини, сделай милость; таких и денег-то — посчитай-кось — нету на свете! Разве уж с нечистым человек свяжется, ну, может быть, что... А так, чтобы натуральный человек этакую прорву деньгов отвалил, нету, не бывает этого. Нельзя!

— Бывает! Поверь ты мне! Не такие еще есть капиталы!

— Нету таких денег!

— Есть! Ей-ей есть!

— Оставь! Невозможно это! Нету!

Идет продолжительный разговор о капитале, о кредите и т. д. А завтра идет другой уж — о нравственности. Рассказывают такую вещь: урядник пригласил по-товарищески, как «солдат солдата», одного крестьянина, служившего в военной службе, зайти выпить по рюмочке. Встретил его на улице: «Здорово!» — «Здравствуй!» — «Солдат солдату рад, пойдем в кабак, клюнем по рюмочке». Пошли, выпили сначала по рюмочке белого, а потом и красного. И как только выпили красного, уряд-

ник вынул из кармана книжку и говорит новому знакомцу: «Ну теперь, друг любезный, ты свидетелем будешь, что Ермолай (кабатчик) незаконную торговлю ведет красной водкой? Как твоя фамилия и место жительства?» И все в книжку записал и представил. Крестьянин-солдат прибежал к учителю как угорелый.

Кстати сказать, этот солдат был один из самых впечатлительных к чужому горю людей, каких мне приходилось встречать в той деревне, о которой идет речь. Именно чужое горе волновало его едва ли не более, чем собственная забота. В местном ссудном товариществе он был по горло запутан в поручительствах за других и знать не хотел никаких параграфов устава, которые стесняют его права в этом отношении. Почти каждое воскресенье и каждый день, когда товарищество открыто, он вламывался с каким-нибудь несчастным мужиком, за которого никто не хочет поручиться, и, торопливо помолившись на образ и поклонясь господам членам, громко восклицал: «Давайте нам, господа, денег. Вот человечку больно нужны... Человек хороший, я знаю...» — «Что у тебя есть?»— спрашивали хорошего человека. «Овца...»— «Еще? Лошадь есть?» — «Нету лошади-то... То-то нету...» — «Коров много ль?» — «Да и коров-то, приятный ты мой, тоже... что-то несчастлив я на коров-то!..» — «Нету, стало быть?» — «В эфтим-то и состоит главная причина, что нету...» —«Ну, хлеб есть ли?»—«Хлеб-от...»— уныло начинает бедный человек, но Дмитриев (так звали крестьянина-солдата), видя его затруднение, немедленно же вступается: «Чего ты музычишь без толку? — накидывается он на расспрашивающего члена. — Как бы у него было, он бы к тебе и глаз не показал; затем и пришел, что нету ничего. Вынимай деньги-то, записывай, будет болтать языком-то!» — «Да нельзя ему дать, коли ничего у него нет». — «А я говорю, давай! Я поручаюсь! Коего тебе чорта?» — «На тебе и то незаконные поручительства есть». — «Ну ладно, знаем, давай деньги-то!» — «Да как же я дам-то? Ты сам посуди? Кто будет отвечать?» — «Ладно, ладно. Отпирай сундук-то, доставай! Больше ничего не требуется... Отпирай, что ль, тебе я, кажется, говорю человечьим языком или нет?» — «Да хоть на пай-то есть ли у него?» — «Нету у него ни копейки! Давай денег, отпирай сундук, пиши всё

на меня, упорный какой мужик! Небось сам запустишь лапу-то в сундук, как понадобится на засол! Знаем мы вас — законники! Сейчас давай двадцать пять целковых, шут этакой!» Бранился Дмитриев с этими законниками постоянно и всегда почти успевал добиться своего. «А ведь с тебя когда-нибудь взыщут?» — говорили ему. Дмитриев только смеется. «Да взыскивай, сколько хочешь, у меня ничего нет!..»

Можно себе представить, какой гнев возбудил в таком человеке поступок урядника. Дмитриев и ругался, и плевал, чтобы изгладить даже ощущения этого предательского вина, грозился и т. д. Поступок был, точно, возмутительный, но он превратился во всеобщую загадку после того, как у мирового судьи произошло разбирательство по этому делу.

У мирового судьи выяснилось, что урядник ходил к этому кабатчику задолго до составления протокола и всякий раз пил водку и белую и красную, правда, пил на деньги, а между тем протокола не составлял.

— Отчего ты раньше меня не штрафовал? — спросил урядника кабатчик. — Я бы, может, и торговать не стал вовсе, ежели бы знал, что ты со мною сделаешь?

— А потому, — отвечал урядник, — потому я тебя раньше не штрафовал, что ты... бедный человек, и ничего у тебя не было. Ведь ты должен понимать — казна требует штрафу, ведь с тебя надо семьдесят пять рублей, что ж бы я с тебя взял-то, когда у тебя и семи гривен не было? Ну, и должен был я тебе дать время расторговаться, чтобы закон соблюсти. Разве я могу идти против закону! Ежели мне из твоего штрафу и следует получить половину, тридцать семь с полтиною, так ведь это тоже закон требует: нешто я сам-то по себе взял бы с тебя хоть алтын! Закон! Таперича же я знаю, что на праздниках об рождестве ты торговал ничего себе, средственно, и штраф отдашь, то есть, что следует по закону...

— Да я только и оправился-то мало-мальски об рождестве. Ведь я вдовый, у меня на руках трое ребят...

— Что мне приказывает закон, то я и должен исполнить.

Скажите, пожалуйста, достойна эта сцена (а таких сцен множество), чтобы заставить человека призадуматься? И Дмитриев даже призадумался над ней. Тут

все загадка — загадка, которую непривычному, простодушному человеку трудно разгадать.

Ограничусь покуда вышеприведенными примерами, иначе я бы запутал читателя в массе мелочей, повидимому не имеющих никакой друг с другом связи. Скажу только, что под влиянием всех этих сцен и разговоров я настрочил к Ивану Ивановичу письмо, из которого и привожу здесь некоторые отрывки.

IX

«...Кстати, почтенный Иван Иванович, сказать два слова о ваших детях. Не удивляйтесь, что о детях я начинаю говорить непосредственно после изображения вам современных деревенских порядков, да еще нахожу, что такой разговор будет «кстати». Истинно говорю вам, почтенный Иван Иванович, участь русской деревни и участь русского молодого поколения находится в прямой зависимости друг от друга; от них обоих зависит, быть ли солнцу на небе, быть ли тьме кромешной на земле... Чтобы недалеко ходить за доказательствами, отыщите у себя на письменном столе суворинский календарь, раскройте его в том отделе, где находится таблица о народонаселении, и посмотрите на итоги. Красноречивее всего, конечно, последняя графа этой таблицы, где сказано, что крестьянских сословий на русской земле ни много ни мало как шестьдесят миллионов. Эти же крестьянские сословия несомненно преобладают и во всех других графах, пересматриваемых поочередно: так, несомненно обилие их в миллионной массе войска, несомненно обилие их и в городском населении, и даже в духовенстве. И в войске, и в духовенстве, и в мещанстве преобладает тот же крестьянский, хотя более или менее переодетый элемент, родство которого с подлинным крестьянством во всяком случае несомненное. Если ко всему этому прибавить в буквальном смысле микроскопические цифры первых граф таблицы, где исчислено количество сословий вполне привилегированных и привилегированных более или менее, то нет ни малейшей возможности, нет даже тени возможности не видеть, что «сила» (другого слова я не нахожу) несомненнейшим образом находится на стороне миллио-

нов, а не сотен тысяч. Двадцать лет тому назад эти миллионы были ничто, это была именно масса нулей к несколько многозначительным передовым цифрам; теперь же без этих нулей передовые цифры теряют всю свою значительность, а в будущем, когда подрастет поколение, которое уже не знало, что такое барщина, что такое «бурмистр», вообще, когда вырастет новое поколение, тогда значение передовых цифр должно само собою умалиться несравненно более, так как эти нули призваны к жизни, и они будут жить, «они теперь уже живут», будут жить, потому что должны, не могут не жить. Настоящая минута в высшей степени критическая для русского общества, так как переживаемые нами годы, несомненно, должны решить дело в каком-нибудь одном определенном смысле: как жить — «по-хорошему» или «по-худому»? Позволительно спросить: по какой дороге пойдет растущее поколение, найдет ли оно в себе силы к тому, чтобы, выйдя на вольный свет из-под крепостного ига, повести жизнь дальше? будет ли оно скреплять общинный обиход, развивая широту общинных надобностей и интересов, или, не справившись «с головой», продаст первенство за чечевичную похлебку и станет жить «по-худому», не расширяя, а суживая мирской интерес? Можно с уверенностью сказать, что дело решится именно в последнем, нехорошем смысле, если на помощь деревне, «не знающей» всей сложности новых условий жизни, не придет человек, знающий эти условия, и не оборонит ее от беды. Задача обороны, как видите, лежит ни на ком другом, как только на грамотном, образованном человеке, и если к тому же принять во внимание громадную цифру массы, нуждающейся в грамотном человеке, то легко убедиться, что масса грамотных людей, в десять, в сто раз бо̀льшая существующей налицо, могла бы быть многие годы поглощаема народною массою вся без остатка. Вы, Иван Иванович, конечно понимаете, что я не могу и не имею возможности сочинять проекты системы народного образования, я только хочу обратить внимание родителей подрастающего поколения и его воспитателей на то, что, воспитывая и образовывая, они *не могут* оставлять без внимания нужды миллионной массы просто уже потому только, что она миллионная и что как таковая она не может не иметь веса в будущем. Что же делаете вы, Иван

Иванович, и другие не менее вас чадолюбивые родители и опытные воспитатели? Вглядываясь в существующую систему воспитания и образования, легко видеть, что она не только не проникнута сознанием того, что образованные люди прежде всего нужны народу, а не главному обществу акционерных надуваний, но, напротив, как бы добивается, чтобы образованный человек замкнулся с своими знаниями в среде, не имеющей ничего общего с народом. И это стремление замкнуться проникает и ваше чадолюбивое сердце и педагогическую практику. Что вы, например, теперь делаете с вашими ребятишками? Вы точно как бы предчувствуете, что народ что-то значит, и в этих видах производите разные опыты с деревней... Но ведь все это только *для себя*, все это с целью поставить своих чад именно в изолированные от народа и наиболее безопасные условия. Вы хотите заимствовать от народа его терпение, крепость мышц, выносливость, даже веселость, словом, хотите «позаимствовать» — и только. О каких бы то ни было обязательствах или обязанностях в отношении к народу нет и помину. Предполагается, повидимому, что будущее поколение проживет счастливее теперешнего, именно потому, что будет иметь возможность далеко стоять от народной массы. Но именно это-то и не может случиться. Представьте себе, что шестьдесят миллионов остаются жить по собственной своей воле и что безграмотный человек будет единственным компетентным лицом во всех вопросах современной деревенской действительности. — Что выйдет? Несомненно, выйдет узость и даже полная потеря мирского интереса и, как следствие этого, распадение мира. Представим себе, что распадение это приметно только едва-едва, в самой слабой степени, что на волость, в которую входит до десяти и более деревень, в течение года произойдет *только один* случай обнищания и только *один* обогащения, что, словом, в течение года, из двух-трех тысяч душ один человек уйдет прочь по нищете, а другой уйдет — потому, что отъелся; представим себе это и произведем простое умножение. Нищих и их будущее мы совершенно оставим, а возьмем только отъевшихся по одному на волость в течение года. В уезде — двенадцать (или около) волостей, в губернии двенадцать или около уездов, а губерний восемьдесят; таким образом, при самых скромных

предположениях, мы получим довольно почтенную цифру безграмотных и отъевшихся людей, которые, покинув деревню, естественно поступают в то общество, в котором и я и вы имеем честь жить. Купив себе на Апраксином рынке «пальты» с бобровыми воротниками и побывав в Фоли-Бержере, они уж очевидно на стезе попасть в интеллигенцию, куда действительно и попадают в скором времени, предварительно, конечно, вместо апраксинских «пальтов» приобретя енотовые шубы и записавшись членами в клуб. Если вы наполовину сократите цифру, получившуюся от умножения, но признаете, что приток таких людей в обществе неизбежен, то в самом ближайшем будущем общество это, полагающее себя изолированным, неминуемо должно пропахнуть взглядами, желаниями, аппетитами *этого* большинства. К тому времени, как подрастут ваши дети, это должно непременно совершиться. И какова тогда роль ваших, столь лелеемых, детей? Разумеется, они должны будут, если пожелают есть хлеб (а они этого пожелают), *работать на этих переодетых в енотки деревенских выбросков.* Эти выброски безграмотные, они не умеют ни читать, ни писать, не знают никаких порядков, они должны платить «знающим», которые и будут служить им, потому что, ничего не зная и не понимая, люди эти непрестанно жаждут; при громадности наплыва таких людей образованный человек, разумеется, вздорожает, потому «требуется», будет ломить с этих еноток хорошую деньгу за всякую малость, и енотка должна платить, так как весь грамотный человек расхватан. И, как вы думаете, почему бы чей-нибудь Петенька, Васенька и т. д. мог устоять и не взяться за деньги енотки? Такова вероятная будущность человека, образованного без внимания к народному делу, в том случае, если народ начнет жить не по-хорошему.

«Но не менее горько его дело и в том случае, ежели шестьдесят миллионов вдруг, по щучьему велению, по божию благословению, возьмут да и справятся сами собой. Тогда ведь человек, образованный в замкнутой от народных интересов среде, совсем уже не нужен... Нет, Иван Иванович, только полнейшее внимание к нуждам шестидесятимиллионной массы народа, положенное в основание всей системы воспитания и образования и полнейшее выяснение этих нужд, только это одно может дать

смысл многим десятилетиям русской жизни и пристроить к делу массу талантливых русских людей... Не все заимствовать у народа и прятать в доме своем, надо и для него поработать; если уж нельзя сделать этого по совести, так хоть и из расчета. А то ведь наймет енотка-то и начнет орудовать».

В ответ на это письмо Иван Иванович написал мне между прочим следующее:

«...Все это, быть может, и справедливо, но в высшей степени неопределенно... Как это, например, я могу воспитать детей в интересах народных нужд? И где такое заведение? Что я должен делать? Что такое, наконец, енотка? Словом, не в обиду вам будь сказано, несмотря на всю убедительность, письмо ваше не имеет, как мне кажется, реальных достоинств.

«А так как мне, как отцу, особенно много фантазировать не полагается, а необходимо предпринимать что-нибудь реальное, то я пришел к следующему заключению. По примеру того самого народа, который, как вам известно, целые тысячелетия выходит невредим из всевозможных бед, руководствуясь только взглядами отцов и дедов (как отцы наши жили, так и мы), и я решил последовать тому же, конечно применительно к моему положению. Что ж делать, если я обеспеченный более или менее человек? Уж должно быть, так мне написано на роду. Будем жить, как жили наши отцы и деды... Практическое это решение я осуществил следующим образом: какая-то почтенная дама рекомендовала *русскую няню,* старуху шестидесяти пяти лет. «Вот оно!» — подумал я, прочитав это объявление. Прожить шестьдесят пять лет, это значит — быть самым корнем и теперешнего и будущего поколения. Тут, наверное, должна быть полная система воспитания, основанная на опыте прошлого, а стало быть, годная и для будущего. Я немедленно же поехал по указанному адресу. И как вы думаете? Оказалось, что не один я разыскиваю нравственных фондов. Вместе с моими санями к крыльцу того дома, где жила русская няня, подкатила карета, за ней опять сани, там коляска, там опять карета — словом, съезд, как к посланнику великой державы... Из швейцарской все мы, родители, двинулись целой толпой в квартиру № 16, где пребывало дорогое нам существо; в толпе были молоденькие дамы,

гвардейские офицеры, инженеры и т. д. — и все это отражало на лицах желание перебить и страх опоздать захватить сокровище. Не буду рассказывать, каких жертв стоило мне овладение этой драгоценностью. Одна дама, самая молодая, супруга гвардейского офицера, едва увидала няньку, как затряслась от страха, попятилась назад и тем навела панику и на инженера и на других посетителей. Инженер, впрочем, оправился было и едва не овладел старухой, но едва он завел речь о том, чтобы она носила чепчик, как бы поражен самым бесцеремонным отказом, произнесенным таким голосом, что молоденькая дама попросила воды... Я, конечно, всем этим воспользовался, и старуха теперь у меня... Что вам сказать о ней? Говоря вообще, это — ад! Сам бес, вельзевул, кажется, вселился в это седое существо! Представьте себе, высокая седая женщина, с густыми седыми волосами, простоволоса, с глазами, выражение которых — острая внимательность и каменное упорство в одно и то же время. Женщина тучная, мягкая... Представьте себе, что это мягкое и жирное, как жирный старый кот, существо ходит без башмаков, в одних чулках, неслышно и неожиданно появляясь чуть ли не во всех углах квартиры, — и вы поймете, что это олицетворение порядка. И точно, все пришло в порядок и стоит на своих местах. Прислуга у нее — «девки», которые, также согласно порядку, зовут ее «чертовкой». Маленькую девочку она стращает, как и водится, «мужиком», тогда как в деревне мужики сажали ее к себе на колена. Словом, вся старая мораль налицо. И пусть. Пусть будет какая-нибудь мораль, чем никакой или чем такая, с которой нельзя жить на свете!..»

X

На этом мы распростились с Иваном Ивановичем и его опытами. И так как ничего нового в этом отношении мы пока сообщить не имеем, то скажем несколько слов по тому же детскому вопросу в отношении к подрастающему поколению деревни. При этом мы должны откровенно заявить, что не можем брать этого вопроса во всей сложности, то есть не можем подробно разбирать современной школы, ее достоинства и недостатков, ее положе-

ния и значения в общих условиях деревенской жизни. Это все вопросы чрезвычайной важности, требующие основательно разработки и обильных, внимательно собранных материалов. Такой задачи мы в виду не имели, просто потому, что не могли бы удовлетворительно ее выполнить. Нам хотелось только в общих чертах отметить направление, по которому идет образованный человек, и нам кажется, что он идет от народа, а не к нему: точно так же мы хотим только отметить существеннейшие черты, преобладающие в умственном и нравственном развитии народа в настоящее время.

Минуя школу, имеющую, как нам кажется, весьма мало значения в совершенствовании условий народной жизни, мы должны сказать, что влиятельнейшим учителем как старых, так и новых поколений деревни является попрежнему сама жизнь, улица и то, что на ней происходит. В этом отношении, нет никакого сомнения, кулачество — явление новое и самое крупное, самое видное за все время, начиная с освобождения крестьян.

Что же это за явление? Что такое кулак? Существует мнение, что деревня портится, расстраивает свои порядки от пришлого со стороны человека. Пришлый человек является в деревню, при помощи капиталов или копеек покоряет под ноги своя всю округу, начинает эксплуатировать и развращать. В появлении таких людей не может быть сомнения — всякой мерзости, точно, очень много толчется вокруг деревни, — но почему всякая мерзость кулацкая находит для себя почву, это не может быть объяснено ни капиталом собственно, ни чужеземством его обладателей. Что капитал не обеспечивает барышей — возьмите помещиков: деньги у них были, и притом порядочные; барыши тоже они желали получать — чего бы недоставало? Есть всякая возможность без труда овладеть округой, а между тем на деле вышло и выходит иначе; помещики с капиталами разорились, а вот деревенский человек разжился и стал тысячником ни с чего, начал, в буквальном смысле, без алтына. В самом деле, не чудеса ли творятся наяву: вот барин, просадивший в имение десятки тысяч, не знает, как быть и куда себя пристроить, и вот мужичок, начавший разживу с сальной свечки... да, в буквальном смысле, с фунта сальных свечей. Придет ли в голову какому-нибудь постороннему

деревне человеку с капиталом, желающему от нее поживиться, тень мысли о конкуренции человека, владеющего только сальной свечкой, фунт которых стоит двенадцать копеек? Разумеется, никому и никогда; вся тайна этого явления в том, что всякий местный или пришлый человек наживы *имеет* непременно *деревенскую опытность*, непременно прошел всю деревенскую лямку, знает всю деревенскую подноготную и является поэтому чистейшим продуктом всех условий исключительно деревенской жизни, и притом главным образом теперешней. Всякий пришлый непременно должен был пройти лямку деревенской жизни в «своей» стороне, иначе он не имел бы успеха и на чужбине, как не имеет успеха барин, хотя у него и имение большое, и кредит в банках, и т. д. Возьмем хоть историю с сальной свечкой. Каким образом можно разжиться, то есть сделаться тысячником, пустя в оборот сальную свечку, цена которой полторы копейки? Для Ротшильда, владеющего миллионами, это неразрешимая загадка, а вот деревенский человек разрешает ее в самом блистательном виде, и именно только потому, что он человек деревенский. Как известно, всю зиму и осень в деревнях бывают по вечерам посиделки; устраивают их девушки для того, чтобы привлечь деревенских парней в такое собрание, где все деревенские девушки налицо — выбирай любую; по дворам никого не сыщешь, а следовательно, волей-неволей придешь в известное место. Чтобы эти посещения не представляли для женихов никакой тяготы, девушки принимают на себя все расходы по устройству собраний. Они платят за квартиру и освещают ее. Плата за квартиру обыкновенно не велика, копеек сорок в месяц; это девушки еще кое-как одолеют; но осветить избу в течение нескольких месяцев, на это у них уж нет никаких средств — и вот тут на выручку является практический деревенский человек; он верит по две, по три свечки сальных в долг, то есть тратит копеек по пяти в день и записывает по пятачку за свечку; отдавать же ему не деньгами, а работой. За каждый пятак девушки обязуются сжать ему *суслон* (цена определенная), то есть десять снопов. Сочтите, сколько сгорит сальных свечей и, следовательно, сколько обработают ему девушки, которые, несомненно, ему и благодарны останутся. Этот же практический деревенский человек *знает,* когда несутся куры

и когда бабам нужны деньги, знает, когда у кого сколько шерсти, когда под залог идут овцы, а когда телята — словом, *знает* самые сокровенные помыслы деревенские и только поэтому и имеет несомненный и верный успех. Наконец, кто не знает, что вот это самое имение, в которое ухлопаны десятки тысяч, которым управляли ученые агрономы и которое не давало ничего, кроме убытка, немедленно начинает «приносить пользу», как только к делу приставят опытного местного жителя. Вообще всякому, желающему иметь с мужиков доход, непременно надобно проникнуться кулачеством, из барина с облагороженными манерами превратиться в нечто напоминающее волка, из пиджака перелезть в полушубок. Словом, для того чтобы хищничать в деревне, у кого к этому есть охота, надо изучать это дело ни у кого другого, как у опытных деревенских людей.

Мы охотно верим в дурное влияние на деревню массы пришлых элементов, но никоим образом не можем только ими объяснять деревенского кулачества, то есть выделения среди деревенской массы личностей, эксплуатирующих эту самую массу. Беда именно в том и состоит, что кулачество — явление не наносное, а внутреннее, что это не пятно, которое можно стереть, а язва, органический недуг.

Но самая горькая и обидная черта этого явления заключается не собственно в хищничестве, а в том, что ничего другого, хотя мало-мальски равнозначащего по разработке и технике, деревенская жизнь за последнее время не представляет. Есть ли что-либо хотя приблизительно так прочно усевшееся и усовершенствованное в отношении, положим, самопомощи, как усовершенствовано кулачество? Существует ли, словом, какое-нибудь явление, прямо противоположное и имеющее какое-нибудь значение, пользующееся каким-нибудь успехом? Говоря беспристрастно и не боясь нападок, мы должны сказать, что ничего подобного нет; напротив, что всего ужаснее, так это то, что в кулачестве вы видите несомненное присутствие ума, дарования, таланта. Посмотрите, сколько человеку, вылившемуся в кулака, надо передумать, сколько ему надо внимательности к себе, к другим, чтобы с успехом делать свое дело, как надо много знания людей, характеров, вообще жизни. Подумавши об этом серьезно, вы убедитесь, что для кулачества необходимо

быть очень умным и очень талантливым человеком. Иногда блещут в деятельности кулаков подлинно гениальные способности, и в то же время вы не можете не убедиться, что равносильного таланта, ума, наблюдательности, вообще даровитости ни в чем другом, ни в мирских общинных делах, ни в семейных отношениях — не выразилось. Что же значит это явление? Отчего ум и талант на первых порах (что будет дальше, мы не предсказываем, так как говорим только о настоящей минуте деревенской жизни) пошли таким недобрым, неприветливым и разорительным для самого народа путем?

XI

Не выдавая своего мнения по этому вопросу за непогрешимое, я, однакоже, имею некоторые основания предполагать, что до кулачества, до холодного, обесчеловеченного взгляда на людские отношения, деревенский человек дошел именно, и к несчастию, собственным умом, и притом умом сильным, наблюдательным, бесстрашным. Что ж давало этому уму непосредственное наблюдение жизни? Говоря вообще, всякий энергический деревенский ум за все последние двадцать лет мог в великом изобилии питаться наблюдениями, производящими только дурное и ожесточающее впечатление. Некоторое как бы *злорадство* непременно должно было лечь в основание его наблюдательности. Не говоря о материальных обидах, в виде урезок земли, леса, в виде плохого качества пашни, довольно-таки частенько достававшейся крестьянам по их освобождении, какая пища злорадству в этих попытках вчера еще полновластной усадьбы — сохранить прежнюю повадку отвоевать право на широкое безделие, когда уж к этому нет никаких средств! Не забудем, что наблюдатель наш — крепостной крестьянин; и нам будет понятно, почему неудачи помещичьего дома без особого сожаления встречались этим наблюдателем... Вон — в этой усадьбе — уже нет огромной дворни, не съезжаются полчища гостей, не выезжают из этих ворот тесовых кавалькады охотников и не тешатся по неделям в отъезжем поле... Громадная карета, величиной с дом, стоит недвижимо под сараем и лупится, расклеивается от дождей...

Вот ее продали за безделицу на слом и стали ездить «парочкой», в маленьком тарантасике. Перечислите, припомните все в этом роде и подумайте, сколько раз деревенский наблюдатель должен был ощутить в себе желание сказать или подумать: «Ага, потишали, небось!» Кроме того, какая масса насмешек должна была волновать наблюдательный ум, когда среди явного разорения господская усадьба вдруг проявляла прежнюю повадку, как бы говорившую деревне: «И без вас обойдусь!.. ко мне еще придете, поклонитесь!» Это случалось, разумеется, когда удавалось заложить имение и некоторое время действительно не думать о новых условиях жизни; но наблюдательному уму было смешно глядеть на эти попытки. Он знал, что они основаны на проедании земли, которая под ногами... В общих чертах, наблюдения деревенского ума над непорядками господской усадьбы возбужали нехорошие мысли.

Другой сорт наблюдений — деревенский, не умеющий сcбраться с головой мир. А он точно что не умеет разобраться с делами и с головой... Ему бы «по делам-то» надо скрепиться, стать крепко за свой расчет, разузнать все дела, где, как и что, чтобы на пользу себе делать, а не во вред, чтобы человеку легче против прежнего было, а не трудней, а он что же? На каждом шагу промахивается и промахивается. «Старики», то есть люди, которые ровно ничего не могут понимать в новых порядках, потому что всю жизнь прожили в старых, отдали, например, для уплаты податей реку за двести рублей и стали проданную рыбу покупать у своих же арендаторов-мужиков; арендаторы и двести рублей выручили назад да триста рублей нажили — и вышел вместо выгоды убыток, то есть был бы чистый барыш, если бы всяк ел рыбу задаром. Старая крепостная повадка сказалась: «заложись, а плати». Сечь тоже не только не перестали, а усовершенствовали — секут и в селе и в волости... Старики думают, что это ученье, а за что? За трубочки с табачком, за пустяки, внимания не стоящие. Высекли, разозлили малого, а тот со зла пустил красного петуха, спалил всю деревню, в разор разорил и закабалил купцу. Из всех сил бьются, чтоб в податях выправиться, и в то же время продают за копейку огромный доход, а на глазах у них крадет деньги и староста, и писарь, и старшина, и никто об этом дознаться не может. И везде, где не пони-

мают, — водка. Водка — везде, где нужно знание обстоятельств, недоступных крестьянскому уму. Это, с одной стороны, а с другой крепостной опыт, то есть опыт, решительно ни на что не годный при новых условиях жизни, — вот решители сложных вопросов всей системы самоуправления, общественных, юридических, финансовых. Наблюдая эту разладицу и нескладицу, деревенский наблюдательный ум непременно должен сказать: «Нет, ребята, с вами пива не сваришь... Всю жизнь бейся, а придет старость — иди по миру: вам надо подати платить, а старику не в силу работать, стало быть ступай вон, а на твое место нового работника... Всю жизнь бейся, а вы разозлите, обидите какого-нибудь человека напрасно, сожжет он тебя дотла, совсем со скотиной, и опять вылезай!» — «С вами тут жить ничего не разберешь, точно во тьме кромешной, лучше от вас убраться подобру-поздорову!»

И так, наблюдая эти два рода непорядков (господский и крестьянский), деревенский наблюдательный ум относительно первых приходит к тому заключению, что там — всяческое желание избежать всяких неудобств, по возможности без малейших уступок кому бы и чему бы то ни было, и никакого внимания к нужде нашего брата. «Тут, брат, нас не пожалеют!» — решает он, припоминая столетия, в которые народ работал на барскую усадьбу. Главное же, он видит, что тут все дело держится на деньгах. Деньги — корень всему. С другой стороны, крестьянские непорядки приводят такого наблюдательного человека уж не к злой насмешке, а к страху той неизвестности, безрезультатности жизни, в которой нельзя не убедиться всякому мало-мальски внимательному деревенскому жителю, хотя жизнь эта — неусыпающий труд и тягота. Прибавьте ко всему этому еще то, что наблюдатель деревенский воспринимает явления жизни, приводящие его к тем или другим взглядам и убеждениям, самым реальным образом — так сказать, ощущает их не иначе, как на собственной шкуре. Он на собственной шкуре узнал, что̀ значит погорать дотла «по злобе», что́ значит провиниться перед миром, что́ значит расплачиваться трудовой копейкой за мирскую неопытность, незнание... Представьте себе все это, и вам будет понятна та жестокость в невнимании к чужой беде, которая начинает руководить деревенским человеком, горьким опытом доведен-

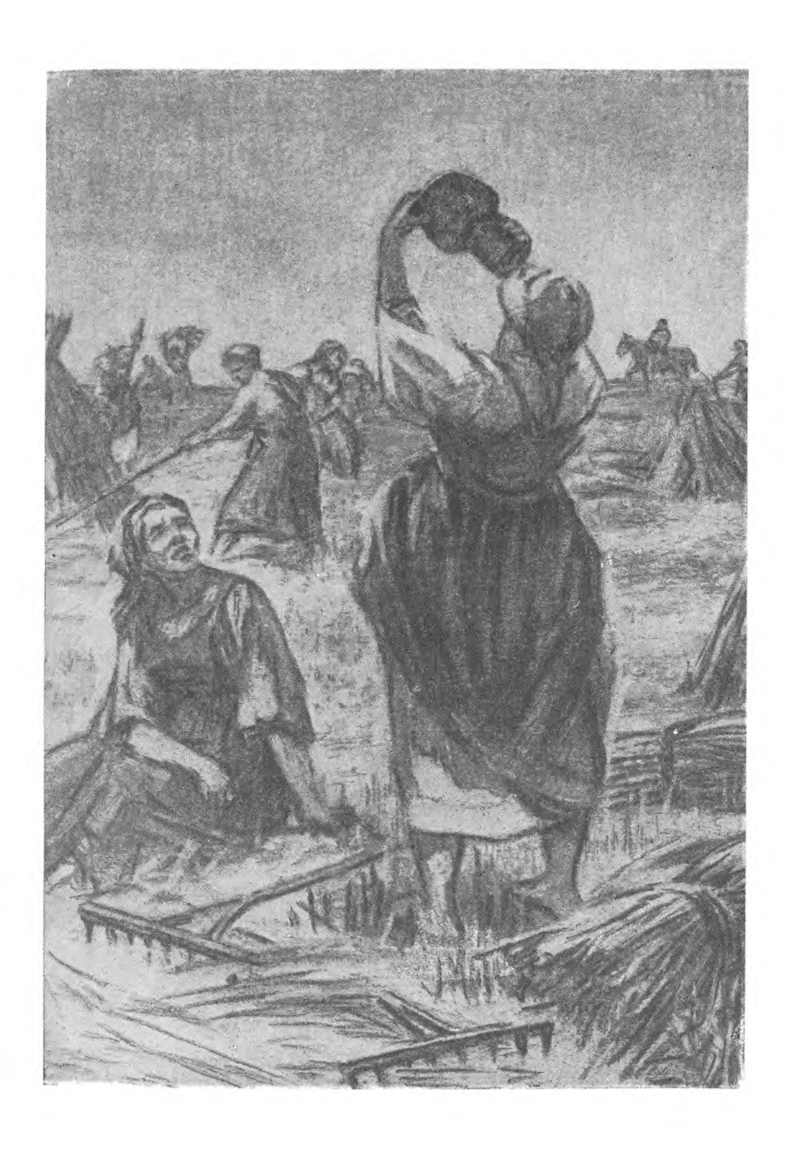
ным до сознания, что надо выбираться из этой хляби собственными средствами... Он уж ничего не видит — начав выбираться — кроме цели стать вне этих трудных и безрезультатных условий жизни. И начинает он при первой возможности пускать в оборот лишний грош, даже сальную свечку, как мы видели. Сколько нам удавалось наблюдать, выделение таких ожесточенных непорядками людей происходило большею частию после неурожайных годов. Здесь лишний рубль дает немедленно власть не над одним каким-нибудь человеком, а над массой людей.

Замечательна в биографии всякого такого человека еще следующая небезинтересная черта. Человек, как видите, вышел из ненавистничества как к барину, так и к мужику. Кажется, и тому и другому прямой расчет сокрушить этого ненавистника, но на деле же выходит иное. Барин, обитатель господской усадьбы (говорю в самых общих выражениях), не сокрушает его по тем соображениям, по которым он не без злорадства иной раз говорит себе: «По-о-смотрим! Как-то вы на воле-то проживете! Как заберет вас в руки какая-нибудь кулацкая морда — узнаете барина, да поздно будет!» Иной даже радуется, что такой-то нагрел мужиков: «Так их и надо! Отлично! Право, молодец!» И невольно чувствует симпатию, конечно все-таки считая нагревателя канальей. Канальей его считают и мужики; но разве могут они не поставить ему в заслугу ловкости, с которою он, например, оплел чемадуровского или балабаевского барина?.. «Уж и развязная же только башка у шельмы!» Таким образом, при кличках порицательных: «шельма», «плут», «пройдоха», «каналья», сопутствующих кулаку повсюду и имеющих основание в материальных, всеми чувствуемых ущербах, тому же самому человеку сопутствуют — и ничуть не в меньшем количестве — и похвалы: «ловко!», «отлично!», «гениально оплел!», «молодчина!» — похвалы, основанные, как видите, уж на уважении к уму, таланту, дарованию. Это-то последнее уважение и есть кулацкая сила, в ней-то и заключается гибельность кулацкого влияния: он держится настолько же хищничеством, насколько и нравственным влиянием на общественное сознание, которое, по множеству причин, *не может* не считать его правым, а пожалуй, и почтенным. Какая же другая дорога для деревенского умного, энергического человека теперь?

Именно во имя сочувствия и даже, пожалуй, невозможности несочувствия кулацкой морали сила кулака велика и у мужиков, и у бар, и у начальства. Он всех знает, он понимает все деревенские отношения, он может отвечать всем и обо всем. Он поэтому и столп и советник. Ему же принадлежит первенствующая роль и в деревенской действительности. Деяния кулака — самые крупные и заметные на деревенской улице. Самая видная, самая понятная, самая новая мораль, выглядывающая из явлений современной деревенской улицы, — мораль кулацкая. А так как подрастающее деревенское поколение, как и то, которое отживает, учится жить и думать так, как учит действительность, улица, и так как против кулацкой морали ниоткуда на деревенскую улицу не проникает ничего противодействующего ей, то мы, положа руку на сердце, решительно не можем не сказать, что это поколение воспитывается, главным образом, только кулацкою моралью. Чистая детская душа деревенского ребенка в изобилии принимает впечатления, даваемые кулацкой действительностью, и невольно, без протеста подчиняется ее морали.

XII

Вследствие так называемых непредвиденных обстоятельств мой хороший знакомый, сельский учитель, тот самый, что воевал с урядником, должен был оставить свою должность и выехать из деревни. Я зашел к нему проститься и застал не то чтобы в грустном или сердитом расположении духа, а в каком-то апатическим столбняке, в состоянии какого-то тягостного равнодушия. Впоследствии, так через полгодика, непредвиденные обстоятельства эти, будучи должным образом выяснены, оказались сущим вздором: весь сыр-бор загорелся из-за каких-то, довольно, впрочем, искусно скомпанованных сплетен, пущенных в обращение охочими людьми, и притом под влиянием исключительно самых микроскопических личных обид, главным образом карманных; благодаря полному выяснению дела через полгода учитель был совершенно оправдан от всех подозрений и вновь мог приняться за свое любимое дело. Но в данную минуту, с которой



начинается этот рассказ, не только учитель, но и все, кто жил в усадьбе и кого так или иначе задела история с непредвиденными обстоятельствами, не могли не испытывать какой-то невозможной душевной тяготы, чего-то глупо ошеломляющего.

Охочие люди (эти самые «пальты») сумели, для более верной и надежной отместки, придать своим сплетням такой животрепещущий оттенок, благодаря которому сплетня почти мгновенно превращается или должна быть превращена в преступление, с тем, кроме того, особенным свойством, что наказание за это преступление должно следовать немедленно, а расследование — долго спустя после наказания...

Учитель и все жители усадьбы в момент этого рассказа находились именно под впечатлением какого-то удара, тумака. Все чувствовали, что все это произошло, должно быть, из-за пустяков, но никто ничего доподлинно не знал и, следовательно, не мог чувствовать себя свободным от некоторой тревожной, хотя и бесплодной задумчивости...

— Занимать вас, уж не взыщите, не буду! — сказал мне учитель, когда я пришел к нему, — хотите сидите, хотите лежите... чай пейте... что хотите... только я вам не слуга — башка трещит от дурману... Чисто дурман!.. — прибавил он, взглянул на меня действительно осовелыми глазами и медленно, как не совсем здоровый человек, продолжал занятие, за которым я его застал: он рылся в бумагах, не спеша шагал от шкафа к сундуку, укладывая книгу, рубашку, и от сундука плелся к столу, по дороге разрывая ненужные бумаги и разбрасывая клочья по полу, который и без того был ими усеян. В комнате было темновато, солнце уже садилось, был час седьмой августовского вечера... От нечего делать я принялся оправлять керосиновую лампочку...

— Вот! — произнес учитель, подойдя к столу, за которым я возился над лампочкой, — вот вам, позабавьтесь от скуки...

И он положил на стол целую пачку каких-то листков и тетрадок.

— Детские сочинения, — прибавил он. — Позаймитесь — забавные есть произведения.

Лампа была зажжена; недоставало только «самоварчика», чтобы усесться в уголок и «позабавиться», как

выразился учитель, произведениями деревенского молодого поколения, которое меня всегда и сильно интересовало. На счастье, в то время, когда я уже подумывал самолично приступить к маленькому кособокому самоварчику, не раз услаждавшему наши деревенские досуги, в комнату вошел новый посетитель: это был давно знакомый и мне и учителю мальчик Гриша, ученик местной школы. Он принадлежал к тому небольшому числу учащейся деревенской молодежи, которое благодаря некоторому достатку имеет возможность, досуг и охоту «почитать книжку», не только школьную, учебную, а вообще какую «позанятней». Из числа таких любителей книжки Гриша был, впрочем, не лучший — от природы он был недалек и не особенно талантлив, но и не глуп, аккуратен, терпелив и кое в чем сметлив. Движения его были не быстры, не отличались ловкостью и проворством, но видно было, что он уже примечал за собой, старался держаться «поаккуратней»; маленькие бесцветные глазки чуть-чуть светились с мало выразительного, но тихого лица...

— А! — сказал учитель. — Гриша!..

— Убрались рано... Делать-то пока нечего. Не надо ль чего помочь?..

Не торопясь, расстегивал он новенький, аккуратный полушубок и прибавил:

— Укладываться не помочь ли?

— Да я уж совсем уложился. А ты вот, если уж будет твоя такая милость, самоварчик бы поставил... Вот и барину повеселее бы было...

Скоро близ печки загремела самоварная труба, затрещала лучина, запахло дымом. В ожидании «самоварчика» я принялся за чтение детских сочинений. Вот что и вот как писали маленькие сочинители:

О зайце. Рассказ Андрея Храмова (девяти с половиною лет).

«Я ездил на гумно. Подъехал к соломе, увидел зайчиный след; увидал я зайчиный след, бросил лошадь, пошел по зайчиному следу. Подошел к кирпичному сараю; вошел в кирпичный сарай — я увидал зайца! Заяц лежит. Вот я взял воротился — побег за собаками. Нет! Долго будет! Не сбегаю! Сел на лошадь, погнал домой за со-

баками. Приехал домой. Но собак нет. Но я воротился на гумно. Приехал. Взял вилы: я пойду угоню зайца. Пришел в сарай, но зайца нет. Андрей».

Товарищеское свидание. Сочинение Федора Балдашова (мальчику одиннадцать лет).

«Однажды Федя приехал в губернский город.

Идет Федя по городу и около самой лавки колбасной, которая на Дворянской на углу, против немецкой церкви, вдруг внезапно встречает своего товарища...

— Здорово, Кузьма!

— Здорово, Федя!

— Как ты поживаешь?

— Помаленьку, брат Кузьма.

Постояли Федя с Кузьмой и простились.

Шел-шел Федя, подходит он к храму святыя живоначальныя и нераздельныя троицы и с радостью видит еще товарища Василия.

— Здорово, Василий!

— Здорово, Федя!

— Как ты поживаешь?

— Помаленьку, брат Василий.

Постояли Федя с Василием и врозь пошли».

Следующее по порядку рукописей сочинение не имело заглавия; наверху четвертки бумаги написано было просто: «Осипа Правдина» (мальчику десять лет). Сам автор разделил свои произведения на три части, отделенные одна от другой черточками.

«Во-первых, взяли меня на льду Федор Книгин, Иван Владимиров, Александр Морозов; взяли они меня трое, связали, положили на лед, а потом ушли. Я и лежу. А батюшка Александр едет; проехал, воротился, развязал...

«Пасли мы с братом свиней; да я лег у межи, да и уснул. А он пошел меня искать ночью. Кричит. Я услыхал и откликнулся. Он меня нашел; мы пошли домой. А меня искала мама у гумен; а я с братом иду, она меня и увидала.

«А в третий как было: у нас была клушка (наседка) с цыплятами. А ворона стала цыплят ловить. Вот клушка на сарай. И я на сарай! И пошел сараем по крыше, хотел ворону пугнуть, да и провалился сквозь крышу, через солому. Только бы уж совсем провалиться — уцепился за жердь: висел-висел — пал. Полчасу лежал; ушибся».

Четвертая рукопись также без названия. Вверху листа написано: «Феодор Морозов» (одиннадцати лет), солдатский сын. Сочинение в виде письма к учителю.

«Ваше высокоблагородие,
милостивый государь
Андрей Петрович!

Согласно вашему приказанию, честь имею донести вам, что у нас есть на реке, на Бурачке, мельница о двух поставах. Она мелет хорошо. Затем уведомляю вас, что в семействе нашем существует воскобойня, на которой мы пробиваем воск, продаем свечникам; свечники из него сучат свечи, которые зажигаются в церкви у каждой иконы. Священным долгом считаю при сем присовокупить, что в настоящее время мы дожидаемся торжественного праздника рождества христова и должны исправить свою обязанность: сходить к заутрене, к обедне, а после обедни разговеться, чем бог благословит.

Остаюсь всепокорнейший вашего
высокоблагородия
верный слуга Феодор Морозов».

Пятая рукопись принадлежит сыну трактирщика, Семену Курносову, тринадцатилетнему мальчику, и также не имеет названия.

«Я в трактире подаю чай, воду, лазию в погреб, собираю посуду, перетираю посуду, наливаю вино, получаю деньги, смотрю за народом. Выручка у нас хороша: когда 800 в месяц, когда и меньше, а когда и более. Я в Екатериновке учился хорошо, только там меня на колени ставили раз пять, а здесь нет этого: я из училища приду, пойду на девишник, пробуду до утра, приду домой — меня не ругают».

Кузница. Описание Андрея Кузнецова (тринадцати лет).

«Мы вчера на кузнице с тятей наварили две насеки. Тятя стоит у горна, а я дую мехами. Как нагреется железо, так тятя его вынет на наковальню. Ежели толстое железо, то мы зачнем в два молота бить; тятя бьет маленьким, а я большим молотком бью. Тятя железо держит в клещах. А иногда и я стою у горна, а тятя дует, или кто-нибудь другой дует. Я умею сделать легкую деревенскую работу, как то: деревенские кочедыки для лаптей. Лампы запаиваю и молотки делаю; а тятя умеет делать все деревенские вещи, и «такея» самовары лудит — страсть! ружья чинит, даже и новые делает; ну только теперь у него сломался станок, и он распродал весь свой струмент. Тятя даже гармонии чинит, но я этого дела не знаю».

Рассказ об венчании. Быль. Филиппа Яковлева (четырнадцати лет).

«Нанял меня Александр Павлович (крестьянин), с лошадьми, обвенчаться с своей супругой и заключить билет, чтоб она не могла от него отпереться. Уговорился Александр Павлович с супругой своей, нареченной невестой Грунькой, и поехали. Перво поехали к нашему гвардейскому попу. Наш поп не отпирается и просит с них за обручение жены двадцать пять рублей. Им показалось дорогонько. Мы обратно до бузуевского попа приехали, а его дома нет, в город уехал — мы обратно. Приехали к алакаевскому попу — и этот уехал к благочинному. Мы опять обернули лошадей, приехали в Гореловку. Приехали мы в Гореловку, заехали к невестиной сестре, выпрягли лошадей; дружка пошел с женихом к попу. Приходят к попу и спрашивают: «Батюшка! обручи нам невесту с женихом!» Ну, батюшка не отпирался, а просил водки. Дружка с женихом пошли за водкой, выпили штоф вина и поехали в Кузьминку, потому в Гореловке церковь сгорела. Приехали в Кузьминку, там выпили два штофа. Потом стали они пьяны. Ну, ввели жениха с невестой в церковь, а поп-то был шутник: постановил его с невестой, взял их за руки и повел к налою;

дьякон книгу читает, а поп «наизусь» отчитывает. И надели венцы. Постояли жених с невестой в венцах, вдруг поп скидает венцы те. А дьякон: «Что ты делаешь, батюшка? разве можно так-то? Пусти лучше, я один обвенчаю!» А батюшка опять венцы надел, и повел кружить кругом, и запел: «Матери боже наш и роди сына Имянуила». Три раза обвел кругом, потом подвел к иконам, поцеловали они икону, потом батюшке в ноги. И поехали опять к родне; чаю напились, водки полведра выпили и достаточно были пьяны; потом поехали домой, потом пьяные-то жених с невестой разодрались. Потом она плачет. Едем-едем — заломит руки кверху и заревет коровой. Стали к соседям подъезжать, вдруг она и закричи, а жених из телеги выскочил; ушел прочь... «Пошли прочь к чортовой...» Мы поехали, приехали к матери; стала ее мать есть, зачем без Александры воротилась. Тут приехал Александра, купил на рубль водки от матери тихонько. Невеста стала у него вино отымать, а он ее схватил за волосы и мало что не убил ее».

В таком роде было написано до семидесяти «сочинений», но ни в одном из них, несмотря на всевозможные названия, свойственные «сочинениям», как, например: рассказ, быль, описание, именно и не было ничего сочиненного. «Сущая правда» и явная, видимая неспособность что-нибудь присочинить от себя, что-нибудь прибавить, одинаково была свойственна как девятилетним, так и четырнадцатилетним писателям, то есть чистота и ясность детской души ничем, никакою примесью, никакою фальшью не была помрачена и у мальчиков, которые года через два будут женихами, а через три наверное — семейными людьми.

— Ну что, как вам нравится? — произнес учитель, все время молчаливо занимавшийся своим делом.

— Хорошо... — сказал я.

— Что же именно тут хорошего?

— Хорошо... как чистый воздух... — мог я ответить.

— Так-то так, но на меня они производят несколько иное впечатление... Какая беспрекословная, так сказать, покорность факту! Обратили ли вы на это внимание?

Учитель произнес эту фразу, внезапно оживляясь,

и быстро подошел ко мне. Он, очевидно, хотел пояснить свою мысль, но остановился.

Под самыми окнами послышался хляск по грязи лошадиных копыт... Кто-то, повидимому, быстро подскакал к окну и остановился; кто именно подъехал к окну, не было видно — на дворе уже стемнело — да, кроме того, едва учитель приблизился к раме и припал к стеклу, защищаясь рукою от света, как хляск копыт послышался снова... Тот, кто подъехал, побыл у окна несколько секунд и поспешно ускакал прочь...

— Уж не урядник ли тут разъезжает? — сказал учитель в беспокойстве... — И что им еще от меня нужно?.. Узнай, пожалуйста, — обратился он к Грише, — кто там разъезжает; выйди, посмотри, будь друг.

Самовар уже был готов. Гриша торопливо, насколько это было возможно при его неповоротливости, поставил его на стол, за которым я занимался чтением, торопливо оделся и ушел. Учитель, встревоженный воспоминаниями недавних беспокойств, со всею их тягостной, досадной, выводящей из терпения бессодержательностью, умолк и, тревожась ожиданием Гриши, то беспокойно шагал по комнате и ерошил волосы, то, чтобы скрыть беспокойство, принимался хлопотать около самовара, заваривая в рассеянности груду чаю.

Наконец Гриша воротился.

— Урядник и есть! — сказал он, едва отворив дверь.

— Ко мне?

— Не! не к вам... На деревню поехал... по *нашему* делу. Сейчас надо бечь от вас.

— Ну слава богу!.. Просто мученье, ни я ничего не понимаю, ни они ничего не понимают... ведь это с ума можно сойти!.. Давайте чай пить... Ты что ж не раздеваешься? — обратился учитель к Грише.

— То-то бечь надо... Урядник-то по нашему делу, я вам сказывал, приехал. Опрашивать будет...

— Какое такое у вас дело с урядником?

— Да тут у нас, у робят, дело-то... Не знаю еще, меня-то *примут* ли... Ишь вон давеча говорят, чтобы меня в компанию не брать...

— Какое дело-то, я все-таки не понимаю.

— Да тут дело... когда-то еще выйдет решение. Долго... Кабы ежели бы решение вышло, ну, тогда

хорошо всем будет, по двадцать пять рублей на брата выйдет по закону... Этто трактирщик Маслов подал на Недоноскова...

— Недоносков тоже трактирщик? — спросил учитель.

— Из-за того и подал Маслов-то, что Недоносков ему перебивает торговлю... Правов у него нет на вынос, а он отпущает вино-то... вот из-за этого... Ну, а наши робята подсобили Маслову-то...

— Каким родом подсобили?

— Как подсобили-то? Уговорились с Масловым пойтить к Недоноскову в трактир... на чай, например, на расход Маслов свои три рубли дал. Чаю пей сколь хошь... Ну и чтобы купить у Недоноскова бутылку вина за печатью... Недоносков-то не давал — ну упросили... А Маслов, значит, и пымал с вином-то... Так уговор был, чтобы пымать нас... Маслов-то говорит — мне, бает, ничего не нужно, а что выйдет по решению из суда — все вам, а там, вишь, сто целковых придется и больше еще ста, сказывают... Ну а меня-то в компанию принять не хотят. «За что тебя, говорят, ты не уговаривался...» Так что ж, что не уговаривался? Я же их в трактир привел, на свои чаем угощал, а они три-то рубли, почесть, целыми скрыли, поделили промежду себя... Вот теперь урядник приехал, допрашивать будет, я сам от себя покажу, пущай по закону разделят, по правилам, коли добром в компанию не принимают. Стало быть, покуда прощайте...

Последние слова, касавшиеся неодобрительного поведения товарищей, Гриша произнес детски-обиженным тоном.

Он ушел, а мы с учителем молча и многозначительно переглянулись. Оба мы были поражены этой детской наивностью, с которою Гриша воспринял и передал нам чистейшую гадость.

А такую гадость, как липкую грязь, господа Масловы и Недоносковы в обилии и ежеминутно разбрасывают вокруг себя в поучение подрастающему поколению деревни.

БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАНЯТИЙ

(Очерки, заметки, наблюдения)

I. ВОЛОСТНОЙ ПИСАРЬ. СОН ПОД НОВЫЙ ГОД

1

Журналисты и литераторы имеют обыкновение под новый год видеть разные более или менее фантастические сны, о которых и повествуют в новогодних нумерах тех изданий, в которых имеют честь состоять сотрудниками. Будучи до некоторой степени прикосновенен к журнальному делу и литературе, и я, пишущий это, также сподобился сновидения и также, по примеру прочих собратий моих, хочу сказать о нем два слова читателям. Само собою разумеется, что я заснул внезапно, не помню как и когда, но очень хорошо помню, что сновидение было не фантастическое, без малейших каких-либо черт сказочного, неправдоподобного или таинственного элемента; напротив, сон мой был необыкновенно реален и скорее походил на газетную корреспонденцию, чем на действительный сон; во сне я видел статистические цифры, журнальные статьи, читал процессы — словом, почти ни на мгновение не отрывался от действительности; причиною такого «газетного» сновидения было, по всей вероятности, то, что я заснул с газетой в руках; догадываюсь, что и причиною того, что я заснул, и притом заснул внезапно, как убитый, было опять-таки то, что накануне нового года я слишком усердно предавался чтению «новых» газет, хотя если не все из них, то весьма многие не только, повидимому, не имеют намерения усыплять своих читателей, но как бы стараются изо всех сил разбудить его и поэтому кричат, даже «орут», и вообще стараются взять горлом. Окончательно же свалила меня с ног ныне уже не существующая газета «Россия», под патриотические вопли которой я и смежил свои вежды.

Вопли эти касались самого прозаического вопроса — вопроса о волостных писарях, и так как они имели значительное влияние на весь последовавший за чтением сон, то я и должен сказать, в чем именно они заключались. «Здесь, — вопияла газета, — у самых корней государственной жизни (в деревне и в особенности в волостном правлении), у самых источников всех ее питательных соков, все задачи, права и обязанности управления может с удобством нести на себе и круглый невежда, и пьяница, и вор, и даже революционный агитатор!» Тут же исчислены были и самые обязанности управления, исполняемые в настоящее время пьяницами, невеждами, ворами и даже агитаторами. Обязанности эти оказываются далеко не шуточными, а именно: «полицейская власть, власть судебная, ибо он фактически управляет волостным судом; он же заведует администрацией волости, распоряжается исправлением дорог, содержанием пожарной части, мерами общественного призрения, наблюдает за нравственностью, за исполнением санитарных правил, за действиями сельских должностных лиц; он же заведует волостным хозяйством, мирскими сборами и капиталами, продовольственными запасами; он заведует раскладкою и взиманием государственных и земских сборов; по его распоряжению выполняются требования воинской повинности; от него зависит выдача паспортов, увольнение крестьян в заработки, вызов их оттуда обратно; он исполняет и объявляет по волости вновь изданные законы, правительственные распоряжения и предписания уездных учреждений и т. д. Одним словом, все те разнообразные предметы управления, для заведывания которыми существуют в губернии и уезде различные уездные и губернские распорядительные, исполнительные и контролирующие учреждения — а над ними в столице центральные — все это в волости вверено единоличному, в большинстве случаев самостоятельному и бесконтрольному ведению писаря и старшины...», которые, как уже знаем, зачастую оказываются пьяницами, невеждами, ворами и даже революционными агитаторами... Я заснул собственно на заключительных словах статьи, где говорится, что на смену этим пьяницам, ворам и проч. должны быть допущены новые силы, «новые деятели с высшим умственным и нравственным уровнем» («Россия», № 63). По-

следние три строчки патриотической статьи, повторяю, убаюкали меня, и главным образом потому, что в последнее время, когда «повеял зефир» и русскому пишущему человечеству представилась некоторая возможность сказать свое слово погромче того, как говорилось оно недавно, — эти призывы образованного человека к делу, к вмешательству в запутанные до безобразия условия народной жизни, слышатся из всех и новых и старых передовиц, вылетают из-под всех перьев, но, увы! вылетают почти всегда без плоти и крови, без малейших попыток определить это участие, очертить хотя бы и гадательно, хотя бы и с примесью известной доли непрактической фантазии... Предложения, простые и сложные, соединенные в приятные округленные периоды, в которых обыкновенно выражаются и излагаются эти призывы, хотя и приятно ласкают ухо слушателя и мысль читателя, но в большом количестве не могут считаться питательной и полезной для ума пищей, и вот почему читатель очень скоро набивает от них оскомину, и его начинает клонить сон в таких пунктах патриотических воззваний, где, казалось бы, надобно было воспрянуть и ожить...

После слов «умственный и нравственный уровень» я почувствовал, что веки мои слипаются и я, как ключ ко дну, стремительно погружаюсь в непробудный сон... Где я?.. Оглядевшись, я догадался, что нахожусь в волостном правлении: белые голые стены, кой-где украшенные планом уезда, портреты государя, министров... Комната большая, просторная; в углу — сундук с деньгами, а передо мной широкий стол с кучей бумаг, с двумя сальными свечами в приличных подсвечниках, за столом — радостная фигура молодого волостного писаря, которым сновидение не задумалось сделать моего старинного знакомого, по фамилии Лиссабонского... Эта великолепная фамилия уже сама по себе означает, что человек, который носит ее, есть разночинец, то есть принадлежит к такому классу людей, который, несмотря на свою многочисленность в русской земле, поставлен вне всякой возможности быть для нее чем-нибудь иным, кроме бремени. В былое время крепостного права вся эта масса безземельного, грамотного пролетариата прямо кормилась народом, в виде поповских, дьяконовских, чиновничьих, приказчичьих семейств, с упразднением же крепостного

права вся эта масса народа брошена на произвол судьбы. Для громадного большинства этих несчастных людей бедность не дает возможности пройти весь круг образования, дающий вход в общество; земельный надел, могший прикрепить массу таких людей к крестьянскому труду и миру, — оказался почему-то невозможным; ремесленных, сельскохозяйственных и других профессиональных школ и училищ, дающих возможность приложить свои руки к труду и есть не сухой хлеб, как всем известно, существует на всю многомиллионную Россию так мало, что не насчитаешь и пятка. Таким образом, на глазах у всех образовался громадный резервуар грамотных, но зависимых в куске хлеба от любого богатого мужика, кабачника, людей, которые в большинстве случаев и стоят у «корня государственных основ», но из этого же резервуара выходит немало людей (они ведь люди), которых близость к народной среде, знакомство с нею невольно и неотразимо побуждают и жить и работать в ней, и притом не на пользу кабачникам и мироедам, а на пользу народу... Лиссабонский был именно разночинец последнего свойства. Со школьной скамьи он постоянно стремился найти какое-нибудь дело в деревне, именно в деревне, а не в городе, где, по его словам, он просто не «умел» жить. Нельзя сказать, чтобы ему не удавалось по временам пристраиваться к месту, и не в городе, а в деревне, но он обыкновенно выдерживал недолго; выходили места в конторщики, в приказчики, в писаря к мировым посредникам, но везде он не уживался долго потому, что собственно хлеб, харчи, словом, возможность быть сытым — не привлекает его. Да и работать-то приходилось больше на состоятельного человека, а Лиссабонский, по доброте сердца и потому еще, что в голове его бродили кой-какие идеи, желал работать как раз наоборот, на несостоятельного человека, мужика. «Состоятельный, — говорит он, — найдет; за деньги к нему пойдет и не такой грамотник, как я; вот Губонин да Поляков — деньгами забирают в руки самый цвет интеллигенции; все куплю, сказало злато... А вот у кого денег-то нет, кто «купить-то» не может нужного человека, вот тому-то и надо помогать. Ну, да время не такое стоит...»

Так говаривал Лиссабонский в прежнее, хотя и недавнее время, в ту же минуту, когда я увидал его во сне,

за столом в волостном правлении, он весь сиял, и первое слово, которое я от него услышал, было:

— Призывают, братец мой, всё призывают! Не такое время... Если не вор, не пьяница, не невежда — нужны господину Губонину, чтобы не быть обокраденным, и обворованным, и, стало быть, разоренным, так уж мужику-то и подавно нужен такой человек.

— Что же ты будешь делать для мужика? И чем ты, не вор, не пьяница, можешь быть ему полезен? — спросил я. — И не лучше ли всем вам, ворам и не ворам, оставить его в покое и убраться отсюда из деревни подобру-поздорову.

— Да я и уберусь, как только выгоню вора! Пусть уйдет вор и разоритель — и я сейчас же удалюсь куда глаза глядят... Но дело-то в том, что разоритель всяких свойств, всевозможных видов и форм, свободно вступает в деревню, а противовеса ему в деревне нет. Возьми вот последние крестьянские процессы, в них все есть для окончательного омрачения людей; есть владелец, который *старается* запутать их, есть власти, которые *не стараются распутать,* есть власти, которые действуют со строгостью и скоростью, и есть народ, который ничего не понимает. Но человека, который бы пришел к ним только с желанием распутать их, который бы взялся за их дело, — нет его! Припомни, пожалуйста, хотя процесс великолуцких мужиков и подивись, каким образом в продолжение двадцатилетней путаницы не нашлось человека, который бы сказал мужикам: «Да что такое, ребята, у вас делается? Какой такой план? Дайте-ко мне посмотреть». Вот этого-то амплуа человека, внимательного к мужицкой, крестьянской нужде, и нет в деревне, и только вот теперь стали поговаривать в газетах, что амплуа это надобно заместить не ворами, пьяницами, невеждами или агитаторами, а... Ну, словом, вот такое-то амплуа я и хочу занять...

— В каком роде, однако, ты будешь действовать?

— Действовать я буду так, как укажут обстоятельства; ты видишь, что я только сию минуту сделался волостным писарем, я еще ничего не знаю. Но мне кажется, что работа на мужика — весьма определенна. Укажу тебе на примере. Ты читал процесс крестьян графа Бобринского? Конечно, читал и, конечно, понял, что в этом

процессе, как говорится, обе стороны *хуже;* ты видишь здесь, что как барин, так и мужики — не могут оба отделаться от старых крепостных привычек; барин хочет видеть «свободных» крестьян опять в крепостной зависимости; он, получивший при собственном освобождении себя «от барства» — и землю в громадных размерах и капитал, который дает ему возможность устроиться в новых условиях, и, несмотря на это, он даже не дает себе труда подумать о том, что условия эти действительно новы, что ему «обязательно» теперь самому заботиться о работнике, устраивать *свое* хозяйство иным путем. Ведь кое-кто из крупных землевладельцев додумались же наконец, что, будучи *только барином* и ни аза в глаза не понимая в земледелии, будучи грубым невеждой в человеческих отношениях, можно дотла прогореть даже с первейшими, усовершенствованнейшими земледельческими орудиями и капиталами. Эти некоторые образумились и додумались до мысли, что доход с земли надобно получать в самом деле от земли, а не у мирового судьи по исполнительным листам, что надо думать о земле, а не о призыве войск, и стали заводить для собственного обихода работника, и притом знающего. Словом, пришли к мысли, что нельзя обойтись без работника, и притом такого, который сыт, одет, а в недалеком, надеюсь, будущем принуждены будут подумать и о том, что благосостояние их, владельцев, прямо зависит от благосостояния работника, что, следовательно, его надобно поставить в возможно лучшие, справедливейшие условия... Чего тут! Сам великий Бисмарк призадумался над этим делом и скомпоновал закон о страховании труда, а нам, начинающим новую жизнь, надобно хватать в таких вопросах до самого дальнейшего пункта... Тут же, в процессе, ты должен был заметить какое-то упорное стремление удержать мужика, *заставить* его, если не при помощи дранья на конюшне, то при помощи повесток мировых судей, работать попрежнему... Он даже и не думает о том, что работника он может найти себе не только здесь, среди своих крепостных, мало ли народу, которого не тянет семейная жизнь, которому тяжела своя ноша, который хочет жить один и т. д. Он ничего этого не думает, а тащит мужика *силом*... С другой стороны, и мужик также как бы не знает иных условий существования, как те,

которые он влачил при крепостном праве; ничего не поделаешь без графа, думает он; какая-то старая крепостная сила тянет его снять перед Августом Карлычем шапку, надеяться на графа, «авось простит», не взыщет, «по-суседски», — и опять влезает в хомут. Если же бы они покупали хлеб на те деньги, которые переплатили немцу, так им и земли графской совсем не было бы нужно, не говоря о том, что немец тогда сам поклонился бы им... Оказалось ведь, что земля у них отдавалась в двух верстах только на два рубля дороже, — это при таких громадных-то неустойках? А все крепостная старина — «помилуют», — да и барин-то, кажется, хлопочет о том, чтобы право миловать осталось за ним в прежней силе, — все это привычка... И все это должно кончиться; я уже говорил о том, что господа начинают понимать, что земля не будет доходнее оттого, что в деревни будут призываться солдаты и что земледелие заменится битвою при Ватерлоо. Начинают понимать, что надо быть внимательным к земле и к человеку, словом начинают понимать, что надо «устраивать» свои хозяйства. Позволительно ли это мужику? Может ли он *также* «устраиваться», и притом как лучше, а не как хуже, и могу ли, если я только знаю, что могу, — помочь ему в этом труде устройства? Ведь вот он не знает, что на те деньги, которые он переплатил Августу Карлычу, можно купить землю в Туле в банке, а я знаю. Могу ли я надоумить его купить? Ведь вот он поднимается со всеми семьями, распродает все свое имущество и идет куда-то на кисельные берега переселяться, откуда его гонят назад по этапу, а я знаю, что такое карта, где лежит земля, как туда пройти, как выхлопотать... Я вот об этом-то и говорю, только о таких делах и говорю. И роль-то моя, и задача-то моя, и силы, и знание — только и хватит на эти маленькие дела в пользу народа, а там мне и конец. Устроившись, народ станет жить и сам. Но устроиться ему необходимо помочь, ибо расстроиться вконец ему ничего не сто́ит. И теперь вон то и дело недобрые вести. Там на фабрику Хлудова требуют солдат, тут воюют с судебным приставом, там зовут войска... И ведь это *с начала,* этим *начинают*. Что же будет через десять лет? Но теперь, кажется, понято, что ворами, жадными, невеждами и всякими Август Карлычами нельзя обновлять жизнь... Поняли, что

расстроить деревню, значит расстроить всю Россию. Положительно везде, и в печати и в обществе, слышится одно: «надо прекратить это безобразие...» И какая, в самом деле, гибель работы! Читал ты, что такое волостной писарь?

— Читал.

— Ну, скажи, пожалуйста, неужели же я-то, не вор, не пьяница, не грабитель и тем паче не агитатор, уж так и не пригожусь хоть для этой волости, хоть для одной деревни, при такой моей доле?..

Лиссабонский ждал от меня ответа, но в эту минуту дверь отворилась, и в комнату правления вошло новое лицо.

2

Это был рассыльный земской почты. Весь в снегу, с обмерзлой бородой, в башлыке, он казался каким-то чудищем. Первым делом по приходе в правление он направился к ярко топившейся печке и, ежась и приплясывая, стал греть руки и ноги в валенцах. Обогревшись, он приблизился к столу и вынул из кожаной сумки два пакета; один был очень толст, а другой тонок.

— Вот! — сказал он весело: — гостинчик мужикам! Способие прислали больше тыщи рублей.

— Какое пособие?

— А на голод. Для раздачи. Царь нас помнит, батюшка!.. Вон как угодил — в самое бедовое время подсобляет. И мужичишки-то ра-адехоньки!..

— Когда же они успели узнать? — спросил Лиссабонский.

— Эва! Я тут, верстах в десяти, признаться, в кабачок заехал погреться — проболтался, что, мол, гостинец везу царский, так оттудова мигом разнесли... беднота!.. Голодуха!.. Небось запрыгаешь!

— А другой пакет от кого? — спросил Лиссабонский.

— Ну, а этот, — как-то скосив голову набок и с выражением сожаления мотнув ею, проговорил рассыльный, — этот пакет, надо сказать правду, не вполне может быть суприЗом... Нет, весьма не такой пакет, чтобы его счесть за удовольствие.

— Что же такое?

— Насчет недоимки! Без послабления и без снисхождения!.. — проговорил рассыльный, пожимая плечами, и прибавил: — что будешь делать? Такое наше мужицкое счастье!

Как и куда исчез рассыльный, я не помню, но знаю, что вслед за его исчезновением я и Лиссабонский торопливо принялись распечатывать привезенные пакеты. В том пакете, который, по словам рассыльного, не представлял для крестьян удовольствия, мы нашли бумагу уездного исправника, в которой было сказано, что «с получением сего, предписываю тебе немедленно взыскать числящиеся за второе полугодие на жителях деревни такой-то сборы, в количестве стольких-то рублей, копеек, в противном случае...» В другом пакете были деньги, около тысячи рублей, и бумага от уездной земской управы, в которой сказано было, что деньги эти немедленно должны быть розданы жителям той же самой деревни, с которой немедленно же должны быть взысканы и сборы... Но что особенно поразило нас, так это, во-первых, то, что цифра недоимок была точь-в-точь та же, что и цифра пособий, и в недоимках стояло 876 руб. 34 коп., и в пособии стояло 876 руб. 34 коп., а во-вторых, в обоих пакетах мы нашли списки недоимщиков, причем, к наивысшему нашему изумлению, опять в обоих списках оказались одни и те же лица. В списке недоимщиков значились имена: Перепелкина, Ворокуева, Офицерова, Колобродина, и в списке нуждающихся в пособии стояли те же имена, и в том же порядке, то есть Перепелкина, Ворокуева, Офицерова, Колобродина и т. д. Очень может быть, что в действительности не случается ничего подобного, но мы просим не забывать читателя, что все описываемое происходит во сне и, стало быть, не может избежать некоторой неточности. Прочитав эти странные бумаги, и я и Лиссабонский были до некоторой степени поражены странным совпадением и цифр и имен: одни и те же деньги как бы вручаются в пособие и в то же время как бы отъемлются. Которой из этих двух бумаг отдать предпочтение?

— Какое странное совпадение! — проговорил Лиссабонский, спрятав деньги в стол и вертя перед собой бумаги и списки... — И там и тут одни цифры, одни имена... Уж не потому ли деньги на пособие присланы одновре-

менно с требованием недоимок, что деньги эти должны идти не в пособие, а в казну?..

— Ну, за-ачем казну-у! — произнес в ответ чей-то незнакомый голос... Оглянувшись, мы увидели, что в правлении посреди комнаты стоит небольшого роста опрятненький старичок, молится на образ и в то же время говорит:

— Заче-ем! У казны, у матушки, много денег... Что уж ей питаться этакими-то крохами... Авось перетерпит лютое-то время!..

Старичок помолился, подошел к Лиссабонскому и, протянув ему руку, сказал очень ласково:

— Ну, здравствуй, новый наш министер... Здорово! Пришел старик Баранкин, обзнакомиться с новым писарьком-то. Давай, милушка мой, жить в согласии и в дружбе... Вот что я скажу... Знаешь, чай, слыхал Баранкина?

— Нет, — ответил Лиссабонский, — не слыхал, не знаю.

— Ну узнаешь, Баранкина все знают, дружочек мой, все-э! На-ко вот, прими гостинчику, посненького!..

Старичок отвернул полу и достал из кармана панталон бутылку водки с надписью «Русское добро»...

— Я не пью! — сказал Лиссабонский.

— Э? Чего так?

— Так, не пью! Не научился... Не могу!

— Э-э-э, какой ты? А ты привыкай помаленьку... Надо! У нас без водки нельзя... Н-не думай!..

— Ну уж, что делать, раньше не научился, теперь привыкать поздно!..

— Н-ну, ин не надо! И так полюбим друг друга... Я тебе скажу, понравился ты мне, право слово, по душе. Я врать не люблю, а говорю прямо, что сразу ты мне понравился: вижу, понятливый ты человек... Вот что!

— Спасибо вам!

— Право слово, дорого мне, брат ты мой, что ты человек, как я вижу, хороший. Вот что мне дорого. Я, братан мой милый, люблю, чтоб по душе, по совести, чтоб помягче... Ведь ежели так-то, по мужичьи-то взять — кто ты? Писарь! Кто мы? — хозяева твои; мы тебя наняли, платим тебе деньги, следовательно, ты и обязан нам служить. А я не так: с хорошим человеком надобно

по-хорошему, а не по-худому... Видишь, я вот и пришел к тебе, сам пришел, чтобы, значит, ты также меня понимал... А скажу я тебе, в веселый ты час к нам попал... Ты пришел, и бумага какая-то пришла приятная...

— Да! — сказал Лиссабонский. — Вот пришло две бумаги, и я не знаю, что мне с ними делать. В одной пишут: выдай пособие, а в другой — взыщи, и точь-в-точь с одних и тех же крестьян, и копейка в копейку и там и тут. Кому ж — крестьянам или казне?

— И об ччом! Казне... Казна матушка царская вел-ликка! Вел-лика! Н-ну авось она как-нибудь и перетерпит... А вот я тебе скажу, только скажи ты мне, любишь ты ветчинку хорошенькую, копчененькую? А коли любишь, так уж окорочек я тебе без сомнения представлю, потому, милушка ты мой, коптильня у меня есть, и большая и хорошая... Только, милушка, ветчинка-то выходит из свининки, а свининку-то купить надобе, ку-у-упить ее надобе, свининку-те... воот что есть главное, а купить-то, голубеночек мой, ее надо на де-е-нежки, ох, на денежки, миланчик мой! А денежки-то, миламурчик мой, все-то денежки-то мои, махонькие, все-то мужички разобрали, да по дворам растаскали, да и не отдают, купидончик ты мой! А свинина-то дешева стала, вот бы ее купить теперича, ан она к рождеству-то и ветчиной бы обернулась, и окорочек-то бы у тебя к праздничку Христову был, ан денежек-то нет — все в расходе да в разброде... А в кармане-то у Баранкина одни записки да расписки... Вот, милушка, доброе твое сердце и должно понять это да старичка-то в обиду не дать... Старичку-таки, голубь мой, кормиться надо, надобно ему и подсобить... А расписки — есть. Ты что? Ты думал, старик зря? Н-нет, мой сизокрылый голубчик, расссписсски! Ффформенные... «при первой возможности». Все форрменное! Тут уж без обману!.. Время, время учит нашего брата... Я вон лавчонку имею, с городом делишки делаю, а в городе-то всё вексельки берут... Знаешь? вексельки? Все одно бумажка махонькая, а шея трещит от нее, трещит!.. А здесь-то все на совесть было прежде, все на совесть — ну, это вышло будто и не подкадриль одно-то к другому: там векселек, а тут совесть, ан оно и тово... не вполне спокойно... И тут, стало быть, надо расписочки, бумажки, и бумажки ффооорменные, голубь мой белоснежный! Ох, форменные!..

И все у меня бумажечки-то форменные, крреэпкие, прекрепчайшие: и «по востребованию», и «немедленно», и в «противном случае» — всё есть, нельзя, дружок молоденький, нельзя... Накось вот, посмотри, какие тут у меня есть бумажечки... Всеее форрменные... без отмены, без послабления, а этого я только и хочу — без ссоры, без брани, а по-тихому... А могу! Перед богом могу!.. Почитай-кось!

Старичок вручил нам целый пук исполнительных листов и решений волостного суда, листов и решений такого рода, что мы немедленно же увидели в нем злейшего кулака и мироеда; условия Фишера были ничто в сравнении с этими форменными бумажками, которые представляли собою поистине нечто потрясающее.

— Н-ну, как по-твоему? Вполне ли по закону? Да я и сам знаю; тоже имеем знакомство, кой-где и у нас есть руки наши... И видишь ты, могу ведь я и не по-тихому сделать, а не хочу... Вот я тебе и говорю, по чести, по мягкому моему нраву: деньги эти казенные ты в казну не отдавай, а отдай ты их мне. Вот как будет по-хорошему-то, а не по-худому. Потому, все эти самые народы, которые там, в списках-то, они и есть мои должники.

И в самом деле, переглядывая вновь его форменные расписки, мы опять наткнулись на те самые имена, что и в двух бумагах; тот же Перепелкин, Офицеров, Ворокуев и т. д.

— Следовательно, — сказал старичок, — отдай ты деньги мне, и будет это дело кончено потихоньку... А окорочек представлю — уж это без сомнения...

Старик долго бормотал какие-то ласковые слова и сулил разные копченые блага, но ни я, ни Лиссабонский не могли выйти из состояния, весьма близкого к оцепенению, всматриваясь пристальнее в форменные бумажки старика. Можете представить, что и цифра долгов, предъявляемых им, была в итоге та же самая, как и в двух других предъявлениях, то есть 876 руб. 34 коп. Таким образом, оказывалось три формальных требования, которые необходимо было удовлетворить: выдать пособие, собрать недоимки и уплатить Баранкину по законным обязательствам; все бумаги — формальные, с печатями и т. д.

— Ну, — сказал я Лиссабонскому, — вот ты не вор, не пьяница, не агитатор и не невежда. Ты стоишь на выс-

шем, чем воры и пьяницы, нравственном и умственном уровне — как ты поступишь? Все требования законные, везде, даже о выдаче пособия, есть выражения «в противном случае...» А ведь это что означает?

Не помню, отвечал ли что-нибудь мне Лиссабонский, потому что комната моментально наполнилась массой народа. Откуда-то явились все эти Перепелкины, Офицеровы, Ворокуевы и т. д. Помимо уличного холода, который пришел в комнату вместе с ними, они внесли в самих себе, в своих фигурах и выражениях лиц, холод их изб, какую-то озяблость всего существа до самого нутра, до последней капли крови. Истертые, коляные от дождей полушубки сидели на них как чужие и походили на какие-то латы, сделавшиеся широкими; из широких воротов высовывались голые шеи, иззяблые выражения лиц и мертво-холодные бороденки; даже не обындевели эти бороденки — так были тощи, худы и внутренно промерзли их обладатели...

— Что, голубчики! — заговорил сиплым голосом Офицеров, крестьянин, бывший когда-то в солдатах: — сказывают, гостинчик нам есть... Али зря болтают?..

— Есть! — глухо сказал Лиссабонский, и моментально в комнате настала поразительная, поистине потрясающая тишина. Народ замолк, остолбенел от восторга и радости, и только что-то как будто шуршало, шелестило в воздухе... Это шелестили коляные овчины рукавов, касаясь груди... Крестился народ тихо, трепетно, боязливо, а из глаз его падали горячие, кипящие жгучим жаром слезы. Из глубины обмерзлого нутра хлынули они, растопили этот лед души и тела и текли по щекам, по бородам, по холодным, кривым, уродливым пальцам... Это было во сне, но вовеки я не забуду этой минуты. Замерли и мы, посторонние люди, но вдруг тот, кого звали Офицеровым, повернув лицо в сторону, для того чтобы отереть залитое слезами лицо полою полушубка, случайно увидал Баранкина. Увидал и замер, полусогнувшись и держа в руке конец полы, и полными слез глазами глядел на Баранкина.

— Ты тут зачем? — заговорил он зловещим и в то же время рыдающим голосом, приближаясь лицом к Баранкину. — Прррон-ню-хал?

Офицеров не разгибался, а еще более присел, уперся обеими руками в раздвинутые колени и, как бы намере-

ваясь «прянуть» на Баранкина, уже не голосом, а «сипом» змеиным зашипел:

— Кр-рови н-нашей насосаться пришел? Кровушки че-ло-ве-чей захотел пососать?

На мгновение водворилось молчание; Баранкин не мог оторвать глаз от этого мокрого, но зверски ожесточенного лица Офицерова и трясся от злости... Это продолжалось мгновение. Офицеров выпрямился, вытянулся во весь рост, подошел вплотную к Баранкину, так что животом касался и напирал на его лицо, и тут же ткнул ему в губы кукиш, прибавив:

— На!

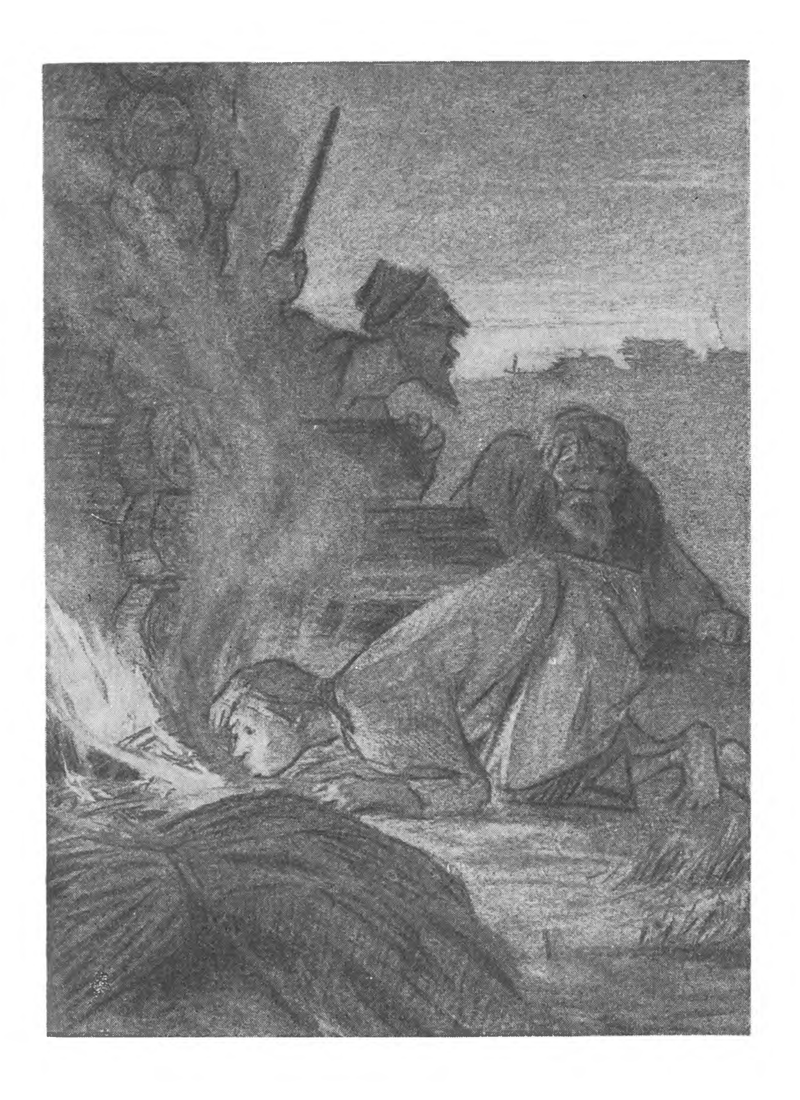
И еще ткнул и еще прибавил:

— На! Еще на!

— Перестань, разбойник! — завопил, наконец, Баранкин, но Офицеров не перестал; он только отошел от Баранкина на один шаг и, не теряя злобного выражения в лице, продолжал:

— Я т-тебя, зм-мею, насквозь вижу! Это ты наши сиротские-то крохи хочешь отнять? Это ты кровь-то, последнюю-то кровь хочешь выпить? Али мало пил? Не насосался? Ну, так, змея ты проклятая, не придется тебе пососать-то! Царские деньги! слышишь, проклятая душа!.. У меня мальчонка, сын шестнадцати годов, помирает, а ты пришел отымать помощь! Бутылку водки писарю принес? Разобью об голову — и ответу не будет... Ты взыскивай, разбойник, дьявол вас знает, как вы там щета пишете — пиши, пиши там, я тебе потом сочту всё!.. А этих денег не будет тебе, подлецу! Пронюхал! Нос твой паскудный разорву на двадцать частей! Ах ты, удавиться бы тебе ноне ночью, разбойник ты этакой! Ведь ты грабитель! Ведь ты душегубец! Ведь ты разоритель, гадина ты этакая! И против тебя нет управы? Тебе надо ветчинки, а мне не надо? Ему не надо? Не надо нам всем! Ах ты, преисподний ты смрад, ах ты... Да ведь я тебя плевком пополам перешибу, ежели на то пойдет...

Я не в силах передать того потрясающего впечатления, которое производили проклятия, сыпавшиеся из уст Офицерова. Голос его, сначала как бы с трудом протискивавшийся сквозь стиснутые зубы, с каждой минутой делался все более и более выразительным, проникал с жгучей страстностью, речи делались короче, отрывочней, но жгли



и Баранкина, и Офицерова, и всю публику как огнем. Офицеров побледнел, пот градом лил с его лица, всклоченные волоса прилипли к худым вискам, и по мере того как в голосе его начали слышаться уже рыдающие ноты, те же, какие-то отрывочные, но рыдающие звуки послышались и в толпе... Она говорила тоже о ненасытности Баранкина, говорила по словечку, глухо и как бы всхлипывая...

Не помню, чем кончилась эта сцена. Помню одно, что деньги были отданы тем самым лицам, которым они предназначались по спискам земской управы. Помню и Баранкина, уходившего после всех, его ожесточенное лицо и слова, сказанные Лиссабонскому:

— Ну, миловидный мой писарек, разговорец у нас с тобою будет особенный... Особенный у нас будет с тобой обиход...

Сильно хлопнув дверью, Баранкин исчез.

— Скажи, пожалуйста, неужели же я должен был деньги эти зачесть в подати или отдать мироеду? Ведь если сочли нужным помогать людям, стало быть знают, что у них нет!.. Не правда ли?

Что отвечал я Лиссабонскому — не помню... И комната волостного правления и Лиссабонский исчезли неведомо куда, и сон принял беспорядочный, отрывочный характер; места и лица менялись, следуя с поразительной быстротой одни за другими...

...Вижу я деревенскую улицу, заваленную снегом; посредине белой дороги, несмотря на то, что на дворе поздний вечер, ясно видна группа мужиков... Это те самые Офицеровы, Ворокуевы и т. д., которые только что получили пособие... Шум и говор между ними, и смех даже слышится: рады, веселы, благодарны; поминутно снимают шапки, крестятся...

— Что, язва сибирская? — остановившись около дома Баранкина, произносит Офицеров. — Взял?

— Что? — вопрошает тот же дом другой из осчастливленных: — хлебнул?

— А было, братцы, подобрался! Ло-о-вко подобрался было... Дай бог здоровья писарю-то, писарь-то не пьяница, не вор... Не пошел на его сладкопевство... А то бы сглонул.

— Сгло-онул бы! Этому живоглоту...

Вдруг Офицеров не выдержал, и со словами:

— Ах ты, язвина! — вдребезги разнес стекло в окне у Баранкина каким-то попавшимся на дороге кирпичом...

Вижу опрятную, теплую-претеплую, хоть и сильно пахнущую маленькими детьми комнату, принадлежащую некоему Иоанну Бенедиктову. Согласно «духу века», Иоанн Бенедиктов поражен страстию, даже не страстию, а сладострастием к материальным благам, которые понимает в самом обжорном, так сказать, виде. Иоанн Бенедиктов любит пряники, сладкое, вообще, что вкусно языку... Когда он едет по железной дороге и ему приходится видеть буфет, обставленный яствами и питиями, он не может оторваться, все трогает рукой: и бутылку, и шоколад, и яблоко, он трясется... Но ведь на все это надо деньги, и Иоанн Бенедиктов достает их; он святей святого — что касается его обязанностей. «Знаешь молитву господнюю?» — «Где нам знать!» — «Ну, не венчаю». — «Да у нас все готово, напекли, наварили, ваше боголюбие!» — «Двадцать пять рублей серебром!» Дают. Он не дает причастия, если знает, что у человека есть в кармане деньги, не дает под каким-нибудь предлогом, которых в церковном уставе множество; не крестит, не хоронит и т. д. Деньги и деньги, а кроме денег, гуси, окорока, пряники, вино... Голос у него тихий, взор ангельский, но в малейшем движении видна обжорно-сладострастная душа.

Иоанн Бенедиктов и Баранкин, весь дрожащий от гнева и ожесточения, строчат бумагу... Они союзники по части ветчины. Тут, в этой ветчине, замешаны и церковные деньги и староста, у которого, посмотрите, какой хорошенький домик, а ведь старостою всего два года. Иоанн Бенедиктов строчит, а Баранкин помогает; староста входит тоже взволнованный и растрепанный.

— Что за напасть? — испуганно спрашивает он.

— А вот слушай: казенных денег не платит... Камнем разнес окно... Чистое бунтовство... Пиши: и на мои слова — коли ежели казна требует...

Белый день. Опять снежная дорога. Баранкин с бумагой под жилеткой, в легких санках на дюжем рысаке, во всю мочь мчался к тому самому мировому судье, кото-

рый постановлял решение насчет взыскания Баранкина. Он примчал одним духом. Минута — и они беседуют, слышатся слова: «Что ж это будет? Ведь решено по законам? Камнем в окно!..» и т. д. Мировой судья, с носом, налитым водкой, чувствуя, что душа его уж продана чорту, подправляет бумагу; писарь Юнусов, из штрафных солдат, перебеляет... и опять поле, саночки, вдали станция железной дороги...

— Поговорим мы с тобой, миловидный, миламур писарек!..

Опять большая, даже громадная комната; столы с бумагами, конторки, в отдалении масса таких же комнат, откуда доносится скрип перьев. За большим столом сидит лицо в мундире, перед ним тетрадь с надписью: «Дело о именующем себя Лиссабонским, обвиняемом...»

— Опять! Боже мой, что это такое? вчера Карпов, третьего дня Андреянов, сегодня Лиссабонский — конца нет!

Каким образом все три лица, о которых упомянул человек в мундире, очутились в комнате — не знаю, но помню, что между ними и лицом происходили такие разговоры:

— Помилуйте, — говорит Лиссабонский, — за что же? Ведь, действительно, пособие приказали выдать? Почему виновным оказываюсь я, а не Баранкин, который довел их своими бесчеловечными требованиями...

— Помилуйте! — слышу я голос Карпова.— Крестьяне сожгли хлеб у г-на N ночью в тот самый день, как я появился в селе и толковал с ними. Я не буду говорить о причинах, которые побудили их стать во враждебные отношения с г. N, — дело Бобринского с Фишером и дело в Великих Луках разъяснят это лучше. Я буду говорить только о себе: в настоящее время всеми сознано, что улучшение крестьянами своего состояния зависит, между прочим, от улучшенной обработки земли. Я ничего не хочу, я говорил только о земледельческих орудиях, уговаривая их купить молотилку всем миром. Теперь они пользуются молотилкою г. N, который берет с них за час. Я уговаривал их купить сообща. Неужели это преступление? Вот газета, издаваемая благонамеренными лицами; извольте прочитать: «в артели, товариществе —

спасение нашего крестьянства», я говорю то же самое. Можно писать в газете, так неужели же нельзя говорить-то о том же в деревне? Я прошу вашего снисхождения выслушать следующий пример. Представьте себе, что какая-нибудь фирма, торгующая земледельческими орудиями, разослала по деревням агентов с самыми обыкновенными коммерческими целями: как можно больше распространить этих продуктов в народе. Ведь всякому такому агенту *непременно* надобно будет *говорить с народом* и непременно надобно будет *проповедывать* те самые идеи, которые проповедывал я, *непременно* надобно будет говорить о том, какая выгода в приобретении собственного инструмента, надо говорить, что деньги, которые вы за него платите тому-то, останутся у вас в кармане, и т. д. Без *таких* разговоров нельзя обойтись никому, никакому самому скромному деятелю в народе.

— Однакож, подожгли!

— Но, позвольте...

— В свое оправдание, — слышу я голос Андреянова, — я могу сослаться на параграф такой-то устава -ского ссудо-сберегательного товарищества, где сказано, что имущество крестьян — такое-то и такое-то — не может быть продано для уплаты долга товариществу, так как такая продажа расстраивает их благосостояние и ослабляет платежную силу. Устав утвержден господином министром внутренних дел. Извольте посмотреть. В то время, когда купец Миломордов прибыл с урядниками и приставом для описи имущества и когда урядник, выстрелив из револьвера в цыпленка, ранил при этом женщину и хотел стрелять в овцу, я, будучи членом правления ссудного товарищества и состоя письмоводителем, заменяющим председателя в его отсутствие, вышел и объявил, что так как, согласно параграфу устава, все члены товарищества отвечают своим имуществом, то, во-первых, лишать их имущества, обеспечивающего ссуду государственного банка, нельзя, ибо банк — учреждение правительственное, а Миломордов только мироед, и что, кроме того, согласно параграфу, то имущество, которое хотели описывать, *не может* быть описано, ибо параграф утвержден, как я уже доказывал, господином министром внутренних дел...

— Однако, после ваших слов, крестьяне оказали сопротивление. Урядник Двуглавов получил по уху.

— Но, позвольте. В параграфе сто двадцать третьем...

Вижу вокзал железной дороги. Отправляются. Сонное состояние позволяет мне видеть, что в одной из сумок лежит толстый пакет за семью печатями, а в пакете немного менее десятка дел: тут и о Лиссабонском, и об Андреянове, и о Куприянове, и все обвиняемые... Вижу Петербург в восемь часов утра, когда приходит почта. Бегут со всех концов России кучи, горы пакетов, и всё Лиссабонские, Андреяновы и Куприяновы, и всё с вредными разговорами. Вижу лицо: распечатало оно все пакеты, всплеснуло руками и возопило:

— Одновременно во всех губерниях, во всех уездах и во всех деревнях!.. Нет, тут надо без послабления...

И опять ночь и снег, сугробы снега, елки; елки и тройки; тройки и колокольчики... А на тройках Лиссабонские, Андреяновы, Куприяновы... Только колокольчики позвякивают, да полозья скрипят. Даль, тьма...

На мгновение я ничего не видал во сне, но ухо мое не переставало слышать звуки колокольчиков; они то замирали вдали, то слышались громче. И в самом деле, они с каждым мгновением стали явственнее доноситься до моего уха и, наконец, заговорили полным звуком... Что же это такое, однако? Я опять в волостном правлении; опять те же стены, тот же сундук, тот же шкаф, но Лиссабонского нет; на столе лежат нераспечатанными два пакета, из-за которых случилась вся рассказанная история. Очевидно, что ничего этого не было, но продолжая грезить и сознавая, что все это делается во сне, я чувствовал, что что-то будет. И точно, едва только бубенчики замолкли, как мне показалось, под самыми окнами волостного правления, как в комнату ввалился грузный человек в бобровой шапке и в лисьем пальто с бобровым воротником. Это был старшина. И я еще раз убедился, что мне пригрезилось бог знает что, потому что без старшины ничего подобного тому, что сделал Лиссабонский, — нельзя было ни под каким видом. Но меня инте-

ресовало, что́ именно будет сделано теперь. Вслед за старшиной вошел писарь, проворный и ловкий парень, по фамилии Загалстухов; оба они, и старшина и писарь, разделись, поотогрелись, поразмялись и приступили к разборке дел.

— Читай, что в бумагах! — сказал старшина.

Писарь прочитал бумагу о пособии.

— Читай другу́ю.

Писарь прочитал о взыскании.

— Ну, как же быть теперь? — спросил старшина. — Ведь в обеих «в противном случае» прибавлено — а это слово у меня вот где.

Старшина показал на затылок.

Писарь повертел бумаги в руках, поглядел в списки и проворно произнес:

— Очень просто!

— Уж уладь!

— Будет в аккурате сделано!

— То-то чтоб.... Я уж сиживал... знаю... уж, пожалуйста, чтобы — вполне!

— Авось знаю? Чего ты?

— То-то!..

В это время вошел Баранкин; помолился богу, поздоровался со старшиной, с писарем; вынул бутылку водки, шепнул писарю что-то на ухо; писарь взял бутылку, поглядел на ярлык и отнес ее в угол, за кассовый сундук. Порешив с писарем, Баранкин взял под руку старшину, вышел вместе с ним в сени и, поговорив там минуты две, возвратился назад вместе со старшиной.

— Ну, ладно! Пес с тобой! Будь по-твоему! — сказал старшина Баранкину, войдя в комнату, и, обратясь к писарю, прибавил:

— Слышал, что ль, что старый хрыч-то желает?

— Я и так знаю!

— Можно?

— Очень просто!

— Ну — ин пущай! Обладим!

Немедленно после этого разговора расписки, хранившиеся в кармане Баранкина, очутились на столе; писарь положил их посреди бумаг о пособии и взыскании и расправлял рукой. Офицеров, Недобежкин, Ворокуев и все прочие явились немедленно.

— Что, господа, — сказал Офицеров, — говорят, гостинчик есть нам, горьким?

— Кажется бы помолчать можно, покуда не спросят, — сказал писарь. — Ты видишь, делами занимаемся.

— Это-то я вижу, а зачем вы Баранкина-то к нашей крови припускаете?

— Какой такой крови? Что здесь за бойня? Ты видишь, чей тут портрет? Смотри, брат...

— Это все мы видим...

— То-то помалчивай... Гостинчик!

Настало мертвое молчание. Холодные, промерзлые до нутра люди стояли окаменелыми столбами, не шевелясь и не двигаясь ни одним членом. Глаза выражали напряженное ожидание, и толстые, налившиеся кровью жилы на худых шеях бились с горячечною скоростию...

Писарь шумел бумагами; старшина и Баранкин, глядя в разные стороны, барабанили по столу пальцами и по временам вздыхали.

— Офицеров! — произнес, наконец, писарь.

Офицеров выступил вперед.

— Тебе пособия двадцать восемь рублей.

— Благодарю покорно.

— Погоди благодарить-то. После поблагодаришь.

— Как угодно. Мы готовы.

— Да взыску с тебя, — продолжал писарь,— вот ему, Баранкину, столько же.

— Отдадим... Вы способие-то пожалуйте нам... Вы сначала дайте, что нам следует, а потом уж и о Баранкине...

— Вот твои деньги, — сказал старшина, держа в руках пачку денег, — видишь, что ль?

— Да вы в руки-то потрудитесь...

— Аль мои руки хуже твоих? Украду, что ли, я их?

— Зачем украсть, а как сказано в бумаге отдать, так и отдать бы...

— А вот в расписках тоже сказано отдать, а ты не отдаешь — это как?..

— Пускай взыскивают... А способие надобно на руки...

— Я и отдам на руки, только не тебе... Нам сказано наблюдать закон, за это нашего брата не хвалят... На, Баранкин, получи!

Баранкин взял деньги, а писарь, показывая Офицерову расписку, сказал:

— Вот твоя расписка, теперь ты расквитался.

И разорвал ее.

— Покорно благодарим! — весь зеленый от гнева, сказал Офицеров. — Благодарим, что исполняете закон... Как же, позвольте вас спросить, теперь вы Баранкину деньги отдали, а как же насчет казны? Опять выбивать будете? Из чего же теперь вы выбивать-то будете... царю-то?

— А ты меня попроси, — сказал Баранкин. — Я, милый мой куманек, пустошь взял в аренду у господина Онегина, так, ежели на то твоя будет воля, бери под работу... Я дам. Работа легкая — косьба. Коли что — дам, перед богом.

Офицеров молчал, но так смотрел на Баранкина, что меня мороз подирал по коже. Баранкин долго и ласково говорил о работе и о том, что готов дать денег, но Офицеров молчал как убитый... Наконец он вдруг как-то ослаб, вздохнул и, беспомощно опустив руки, сказал:

— Н-ну, давай!.. Я... что ж... Я буду...

— Вот и добре. Сейчас и условьице... Ну-ка, милушка!

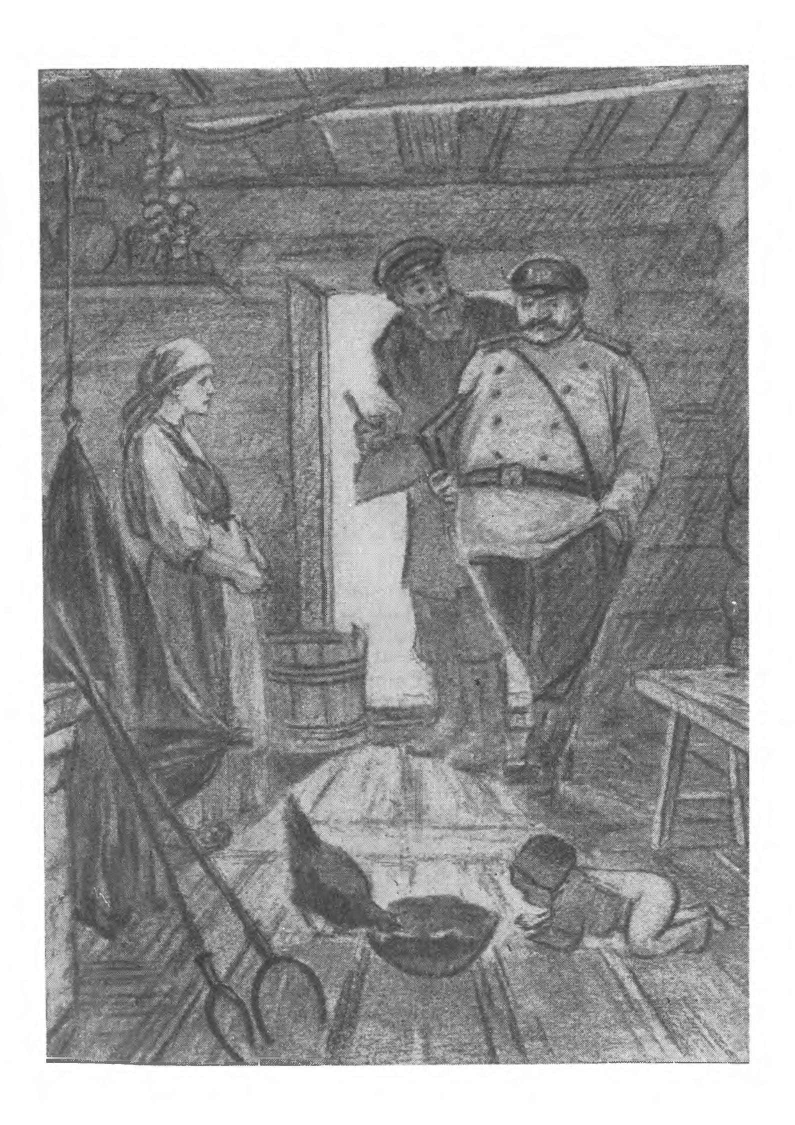
Писарь, к которому относились эти слова, немедленно выхватил из кучи книг, лежавших на столе, книгу условий и опытной рукой настрочил условие. За двадцать пять рублей Офицеров обязывался выкосить территорию величиной с Великобританию, обязывался кучами неустоек, подвергая себя всяким египетским казням, и в задаток получал пятнадцать рублей. Офицеров, в конце условия, приложил три креста...

— Получай деньги, — сказал Баранкин, отсчитывая из полученных денег три пятирублевки. Но едва Офицеров протянул руку к деньгам, как Баранкин, вместо того чтобы вручить ему их, быстрым движением руки описал над столом кривую линию, вручил их старосте со словами:

— Вот и казну-матушку почтим! Получи недоимку-то!

— А мне-то?

Эти слова несчастный Офицеров не произнес, а крикнул, как малое дитя, и этот тон горькой обиды — обиды, доведшей большого, рослого и немолодого мужика до того, что он почувствовал в себе беспомощность ребенка и ребячьим криком выкрикнул слова обиды, тон этих слов — «А мне-то?» хватал за душу.



— А мне-то что ж? — повторил Офицеров, еще более чувствуя себя беспомощным и жалким. — У мене сын помирает... Дайте, господа! в ножки вам...

Зато старшина, писарь и Баранкин, благодаря этому детски-беспомощному состоянию Офицерова, сразу почувствовали в себе какую-то внутреннюю, или нет, прямо физическую силу, физическое спокойствие и непреклонность. Они чувствовали, что из Офицерова и всех других его товарищей, присутствовавших в комнате, «хоть веревки вей» — так все они ослабли духом.

— А ты подумал ли, — спокойным и поучающим тоном проговорил старшина, постукивая рукою с деньгами по столу, — подумал ли ты, сколько разов я сиживал за вашего брата в холодной? И что ж! и теперича вы меня, перед праздником-то Христовым, хотите в темную упечь? а?

— Да дай хоть что-нибудь! Господи боже мой! Ведь что ж это такое? Ведь тут уж последние способа̀... Царица небесная, что это такое!..

— Иван Абрамыч (так звали старшину), — вступился Баранкин, — ты тово — помягче... Ус-ступи... Ну, хоть что-нибудь... Как-нибудь по-божьи... по-суседски!

— Да хоть что-то-нибудь дайте — что ж это такое? Ведь это... Господи помилуй!..

— Свиньи у тебя есть? — как бы в раздумье спросил старшина.

— Поросенок есть, а так, чтоб свиньи, — нету!

— Что поросенок... Мне свинина нужна... Не́тели велики ли?

— Одна не́тель есть... Купи хоть не́тель-то!

— Только что именно из-за одной твоей нужды — больше ничего... два целковых дам. Получи.

— Да прибавь хоть что-нибудь из казенного-то? Господи ты боже мой... Абрамов! Ведь, братец ты мой, на том свете есть судия...

— Вот тебе еще трешна — и ступай-ступай.

Офицеров взял молча пятирублевую бумажку (старшина сказал: «За не́тель потом вложу свои в подати-то»), постоял, подумал и, видимо приходя в себя, проговорил:

— Вот она, кровь-то наша где!..

Как я очутился на дворе, на морозе — не помню; знаю только, что я как будто хотел очнуться, заглотнуть свежего воздуха; я действительно делал глубокие вдыхания и в то же время слушал, что происходит внутри волостного правления (я стоял у окна). Тихо было внутри большой комнаты; слышался только гул разговаривающих и по временам слово «кровь», произносимое на разные тоны. Минут через пять с крыльца правления спускался, после вышеописанного расчета, мужик и, надевая шапку обеими руками, шептал то же слово... Он сделал два-три шага по улице и опять сказал «кровь». Еще через пять минут выходит другой мужик, также рассчитавшись... И так — все. Они плелись по улице один за другим вялою поступью, как осенние мухи, и не знаю, каким образом всех их я вдруг увидел вместе, в маленьком жарком кабаке. Здесь уже шел громкий говор, и слово «кровь» произносилось не шопотом, а громко, во всю мочь.

— Дурачье! — возопил в толпе находившихся в кабаке крестьян чей-то посторонний голос. — Дур-рачье!..

— Кто ты такой? Как смеешь ругаться?

— Это лакей чей-нибудь. Ты зачем сюда залез, лизоблюд?

— Какой я лакей! — гордо сказал неизвестный человек весьма подозрительного вида. — Я — «уровень»!

— Какой-такой?

— Просто — уровень! Без всяких прочих... Умственный и нравственный.

— Это, ребята, оборотень. Бей его!

В волостном правлении все было кончено; все разошлись; весел ушел Баранкин, и доволен был старшина. Много накупил он по сходной цене разной живности и провизии и под рождество повезет ее на широких розвальнях в город на базар; Баранкин немедленно пустился на бойком рысачке по окрестностям скупать свинину. У писаря к празднику в кармане жилета тоже шевелилась красненькая. По удалении из волостного правления публики он откупорил бутылку водки, стоявшую за шкафом, выпил залпом три рюмки, взял лист белой бумаги и, описав пером в воздухе несколько зигзагов и кругов,

как ястреб «пал» им на белую бумагу и побежал: «Во исполнение предписания, честь имею доложить, что пособие в размере роздано, в чем препровождаю расписки; равным образом, при неусыпном старании о взыскании недоимок, таковых, при нынешнем голодном времени, взыскано...»

— Очень просто! Всем сестрам по серьгам! — заключил писарь, запечатал бумаги в пакет и отправил. В губернии распечатали, прочитали и сказали:

— Все благополучно...

В то время, когда писарь дописал последнюю строчку, из кабака вышел пьяный Офицеров и, бия себя кулаком в грудь, бормотал, между прочим, что-то несообразное:

— Я в-вас успокою... Вот бог свидетель, отец наш... Я сссебя не пожалею, а уж удостоверю!.. Уж да.

Я проснулся.

Открыв глаза, я увидел, что около меня стоит тот же Лиссабонский, только настоящий, живой. Он и разбудил меня.

— Какими судьбами? — с удивлением воскликнул я, изумленный появлением Лиссабонского, которого не видал более пяти лет.

— Разрешено! — весело улыбаясь, проговорил Лиссабонский. — Еду, брат, в деревню, в волостные писаря...

— Зачем? — не без ужаса воскликнул я, находясь под влиянием сна.

— Призывают... Вот погляди газету: «с нравственным и умственным уровнем». Только знаешь что... Действительно призывают, и очень часто, но почему-то не говорят о тенденции этого уровня... Ведь и у грабителя тоже есть уровень, и у всякого мракобесца. Неграбительский-то уровень позволителен ли? вот в чем вопрос... Между тем эти неграбительские течения в русской жизни и в русской мысли ведь положительно необходимы в это время, когда такой простор течениям грабительским. А главное, этого течения идей искоренить-то нельзя. Они — не выдумка, а правда, и правда именно русской жизни. Я расскажу,

как они захватили меня, например. Что я? Человек без определенных занятий, ничтожная капля общественного моря. А и в капле кое-что видно любопытное.

Отрывки из этих рассказов мы и хотим передать в последующих очерках.

II. ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Долгое время не приходилось мне возобновить с Лиссабонским разговора по поводу явлений русской жизни, возбужденных в нашем сознании странным сновидением под новый год. Однажды начавшийся было разговор был прерван появлением приятеля, предложившего отправиться на сельскохозяйственный съезд и разлакомившего нас напечатанной программой съезда, которая, как нам казалось, давала возможность искреннему человеку сказать хотя пяток искренних слов о народе. Но мы горько ошиблись. Прослушав часа три не то чтобы разговоры, а какое-то болотное «бульканье», причем слова ораторов вяло появлялись, как пузыри на болоте, беззвучно лопались, не оставляя впечатления, даже звука, мы оставили залу заседания с каким-то безжизненнейшим душевным утомлением. Когда мы шли на съезд, у нас были вопросы и интерес в разрешении их; когда мы шли со съезда, не было у нас ни вопросов, ни интересов, а было неотразимое угнетающее впечатление какого-то нездорового «бурчания», бурчания, в котором как-то коллективно слилось: бурчание гнилого болота и расстроенного желудка и еще более расстроенной мысли... Две недели после этого гипнотического сеанса не хотелось ничего читать, ни о чем думать, ничем интересоваться... Возьмешь газету и едва только встретишь что-нибудь вроде: «земельные наделы крестьян...», или «как известно, малоземелие...», или «улучшенная обработка...» — и валится из рук газета, потому что «бурчание» по всем этим *«насущным»* вопросам

неотразимо встает в воспоминании. А тут эти бесконечные, отупляющие, даже окаменяющие вести о голоде: сегодня пишут о мальчике, который съел свою ногу перед смертью от голода, завтра о женщине, которая повесилась также от голода, а послезавтра и бесконечно изо дня в день всё новые и новые и всё более и более невероятные и отупляющие известия. Тут же, среди этих ужасов, толкутся какие-то благодетели, требующие корок на прокормление миллионных масс, решающиеся сушить их на собственный счет; тут же и Федя с Машей, пожертвовавшие два рубля, тут же и крики на безделие, и мероприятия, и звуки благородного негодования, и в конце концов надо всем этим и между всем этим то же самое «бурчание» пленной мысли и пленной энергии...

Не только для разговоров с Лиссабонским не было ни малейшего предлога, но и охоты к нему совершенно ни малейшей не чувствовалось. В таком-то гнетущем душевном состоянии пришло мне на ум уехать на денек из Петербурга в деревню, и если я рассказываю ниже об этой поездке, так это потому только, что она до некоторой степени была причиною возбуждения некоторого интереса к продолжению разговора, начало которого рассказано в первой главе этих заметок.

Не без чувства величайшего удовольствия очутился я в вагоне Николаевской дороги, в вечер того самого дня, когда мне пришла мысль уехать в деревню. И еще больше удовольствия испытал я, когда двинулся поезд, ибо, несмотря на то, что путь мой был недолог и удаление из Петербурга ненадолго, все же таки Петербург хотя на некоторое время уходил от меня; я на время, на несколько дней, мог позабыть его, фактически (за расстоянием и невозможностью получать газеты) должен был остаться вне ежедневных интересов петербургского дня, то есть вообще имел возможность механически облегчить свое душевное состояние. Деревня не особенно привлекала меня, но я твердо знал, что там есть кой-какие новости, новости деревенские, и хотя маленькие, но реальнейшие, и, стало быть, способные интересовать вас в самом деле, а не так только, чтобы кой-как убить время.

В четвертом часу утра, когда еще над снежными равнинами лежит глухая, темная, непробудно-сонная ночь, я должен был оставить вагон и пересесть в сани. Выйдя

из вагона на платформу станции и ища глазами ямщика, я совершенно случайно встретил знакомого крестьянского парня Мишу, лет двадцати. Оказалось, когда я подошел к нему, что он также ехал с этим же поездом, только сидел в другом вагоне.

— Ты зачем это в деревню? — спросил я Мишу, зная, что он с двумя другими братьями жил в извозчиках в Петербурге и должен был пробыть вплоть до весенних полевых работ.

— Да что! — с горечью самою искреннею сказал он. — Паранька намутила, подлая!

Паранька — это была та самая девица, о которой я рассказывал прежде, что ее не выдавали замуж, оставляя в девицах из-за сельскохозяйственных интересов.

— Что же такое случилось?

— Самовольски с женихом убежала!

Миша сказал это с таким ожесточением, которое меня изумило.

— Без отца, без матери повенчалась. Чистая срамота — анафема этакая!

— Хорош ли жених-то?

— А пес их знает, кто он там такой... Теперича вот из-за ней...

Миша не договорил, потому что нас обступили крестьяне, ожидавшие на холоде и в темноте ночи седоков в ближайшие деревни. Миша и я, мы сели в одни сани, так как нам было по дороге, да, кроме того, в доме Мишиных братьев я должен был взять другую лошадь, собственно уж на мызу к Ивану Ермолаевичу — таков обычай, а не необходимость. Почти всю дорогу Миша хранил глубокое молчание, да и я не расспрашивал его; все молчало кругом, и это молчание невольно действовало на нас. И извозчик и мы ехали молча и молча думали. Я думал о поступке Параньки, не понимая, откуда взялась у этой кроткой, терпеливой и выносливой девушки такая смелость, поистине необыкновенная...

Семейство Горшковых, к которому принадлежали Паранька и Михайло, было одно из самых богатых, до сей минуты не делившихся семей. Часто я заглядывал к ним, так как давно уже установился обычай брать у Горшковых лошадей до мызы, хотя в этом, на самом деле, не было никакой надобности. И всякий раз, когда приходи-

лось мне зайти к ним, было ли то рано утром, в полдень или вечером, я всегда почти заставал самовар, за которым присутствовали все наличные, не занятые работой члены семейства, и взрослые и маленькие, и все упрашивали пить чай. Все они были ласковы, постоянно говорили: еще «чашечку молочка», «хлебца» и т. д., но, несмотря на эту предупредительность, решительно не понимаю, почему в семействе этом я чувствовал крайнее стеснение. В разговорах и взаимных отношениях домочадцев чувствовалась какая-то тягостная напряженность; выходило как-то так, что не только я был чужой в этой семье, но казалось, что и все-то члены семейства как бы чужие друг другу, чувствовалось, что и между ними тоже перегородки, холодные, неискренние отношения, и что в этих якобы семейных отношениях и в этом семейном гостеприимстве слишком много (если не всё) приличия, внешнего, обиходного «обращения», которое разработано в крестьянском быту весьма обстоятельно. Знакомясь впоследствии с этой семьей и вообще с условиями крестьянской жизни, я стал убеждаться, что чувство не обмануло меня, и что в семье давно уже начался разлад, разлад коренной, и что если семья эта и продолжает держаться не делясь, то только потому, что ее держит привычка к повиновению умной, крепкой и распорядительной бабке и, главное, нерешительность кого-либо из семьян «начать». Казалось, каждый ждал, кто первый в семье начнет «бунтовать». Разлад этот, начавший проникать в семейство, как и во все русские деревни, по мере того как в деревню сделался возможным доступ заработка не исключительно земледельческого, тронул описываемое мною семейство уже довольно давно. Покуда семья эта была исключительно земледельческая, совместная общинно-семейная жизнь была всем понятна: все работают одно и то же дело, все потребляют вместе выработанный продукт, все озабочены одной и той же заботой — успешностью земледельческого труда. Все ему подчинено, и подчинение это всякому члену понятно. Всякий в лучших семьях подчинялся сознательно требованиям одного для всех труда и равного для всех благосостояния. Хотя надобно прибавить, что такие семейные организации, именующиеся, например, в славянских землях «задругами», в наших местах иной раз именовались «запряжками»,

причем наименования для семейных отношений также нередко брались и берутся также из сельскохозяйственного лексикона: женился — «влез в хомут», или «походика в моих оглоблях», или «натрешь холку-то» и т. д. Но, конечно, были семьи полного и гармонического согласия. Одну из таких семей мы во всех подробностях опишем в особом отрывке. Возвратимся к семье Горшковых. Семейство это было, несомненно, порядочное; бабка помнила древнейшие времена крепостного права. Старший сын был в крепостной зависимости лет двадцать и лет двадцать на воле; два средних помнили эти времена очень мало, а младший, Михайло, и совсем их не помнит. Но бабка, имеющая совершенно определенный кодекс, регулирующий семейные отношения, господствует над умами неопытных односемейников, из которых почти все, не исключая и самого старшего брата, более или менее расшатаны уже в нравственных основах. Первая расшатывающая новость новых времен — это упразднение сознания рабства, принадлежности другому человеку, барину. Эта новость самая лучшая из всех, какие только ни посещали семью в последние годы; она лучшая, несмотря даже на то, что с упразднением подчиненности и сознанием «воли» тотчас же была заменена новою неудобною новостию, урезкою угодий, земли; но, повторяю, несмотря на это, она все-таки самая ободряющая человека новость. Земли стало меньше, но времени для ее обработки прибавилось, а вместе с тем получился остаток сил, прежде поглощавшийся исключительно земледельческим и своим и барским трудом. Этот остаток сил не остался праздным и немедленно же пошел в обиход. Один из средних братьев поехал в Питер в зимние легковые извозчики; другой, тоже средний, сделался лесником и стал получать жалованье, а вместе с заработками того и другого началось и разрушение стройности земледельческого семейного союза. Извозчик за пять месяцев выслал сто рублей, а лесник добыл двадцать пять. Спрашивается, на каком основании он, этот лесник, с таким неограниченным аппетитом истребляет чай и сахар, которые явно куплены на деньги извозчика? И кроме того, на каком основании истребляют этот чай все домочадцы, например старший брат, который один выпивает в течение суток до восьмидесяти чашек (все семейство выпивает

в день примерно до девятисот чашек чаю с четвертью фунта сахара на всех. Вот почему, между прочим, крестьянин, покупая в лавке сахар, всегда прибавит фразу: «какого покрепче»... то есть чтоб с одним куском можно было выпить чашек пятьдесят) и который, однако, для этого сахару и чаю не ударил палец о палец. В то время, когда извозчик мерз по ночам, мучился с пьяным, получал «взашей» от «жандара» где-нибудь около клуба или театра, этот старший брат преспокойно лежал на брюхе на печке и рассказывал небылицу о том, как двадцать семь медведей, на его глазах, прошли в Тихвин на переселение с детьми и никого не тронули. Положим, что кормились его дети, в то время как он был в отлучке, но ведь летом он сам работал, и они ели не чужое. Единственно, что заставляло извозчика терпеть, это то, что лошадь и сани куплены на общие деньги. Но уже он терпел. Терпел он год и два, но уже давно задумывался, высчитывал, сколько перешло «своих» денег, а в то же время за ним стали «замечать», что малый норовит «скрыть» часть выручки и старается столько внести в семью, сколько, по его соображению, вносили другие; однажды его дочь, девочка, набрала ягод за лето на пятнадцать рублей (из города приезжали покупать), и он попробовал было недодать той же суммы из извозчичьей выручки. Но бабка не позволила. Другой брат, попроще, тоже стал задумываться над своим жалованьем и хотя отдавал его бабке, но тоже подумывал и высчитывал, сколько «перешло» на старшего брата и на детей его. Вон Параньке купили платье у татарина, и явно из его денег, а Паранька дочь старшего брата; в то же время Паранька сама выработала — драла кору ивняка — рублей пятьдесят и присвоила эти деньги себе; младший брат припомнил платье, купленное на его деньги, и когда мать этих денег не отдала, то в следующий месяц, по его счету, у него оказалось жалованье, которое именно ему принадлежит. Он передал, или от него перешло лишних за платье; Паранька с бабкой не отдали его денег, так вот он поэтому сам отымает у них свое жалованье и пропивает. Всей этой разладины невозможно изобразить во всей полноте, но в общих чертах она происходила, во-первых, от сознания почти всех младших членов семьи, что от каждого из них что-то перешло к другим, перешло мое

к другому, и, во-вторых, от еще более обидного сознания, что и ко мне, к каждому из нас, перешло чужое. Эти две раздирающие спокойствие духа черты — мое и не мое — одинаково чувствовались в каждой мелочи: в куске сахару, в чашке чаю, в платке, в ситце и т. д. Николай смотрел на Алексея, думая — «мое ешь» и чувствуя, что и Алексеево тоже как бы съедено им, Николаем; точно так же и Алексей чувствовал себя неудовлетворительно: напившись чаю сколько хотелось, он хоть и икал, не стесняясь, чтоб показать, что вот, мол, напился, и напился притом «своим», но и он был не искренен, чувствуя, что есть тут в чаю, или в сахаре, или в булке, словом, где-то тут, и верней, да и обидней всего, — кажется, в желудке что-то чужое. В случаях возникавших споров дело всегда сводилось на желудок: «Аль ты у меня в брюхе смотрел?» или «В брюхе, брат, не видно, что мое, что твое». Вот именно это мое-твое, наблюдаемое всеми в каждом куске, в каждом глотке, было то, что всякий раз гнáло меня из-за стола Горшковых, несмотря на их приглашения выпить чашечку. Пили они истово, молча, уставясь в блюдечки, но норовили, как мне казалось, поровну выпить, и как бы следили (конечно, не подавая виду), не перепил ли кто кого или не объел ли в чае, в сахаре. По крайней мере взоры, которые бросали они искоса друг на друга, на своих и чужих детей, — прескверные были взоры. И такая-то тягота чувствовалась во всем. Поедешь с одним братом, другой при встрече издалека узнает, много ль дал. Станешь отдавать одному из них деньги — другой непременно смотрит во все глаза и в кошелек и в руки брату; и, разумеется, такое напряженное положение не могло долго продолжаться. Вышло так, что первая забунтовала было Паранька. Оказывалось необходимым сшить для нее шерстяное платье. Все мужики долго, года полтора, упирались против этой затеи с непоколебимой энергией. Миллион раз, не меньше, было доказано им и бабкой, и другими женщинами, и самой Паранькой, которая рыдала горючими слезами множество зимних вечеров, что Паранькиных денег перешло на мужиков больше ста рублей, — упирались мужики, поистине, по-бычачьи. Наконец стала рыдать и бабка — тогда решились сшить ей платье. Отправили сначала старшего брата «разузнать цены» и вообще узнать, в чем тут дело

и во что обойдется, и тот почему-то надумал ехать на пристань верст за двадцать пять. Взял лошадям овса и сена и проездил двое суток, причем он советовался с кузнецом, коновалом и ходил по лавкам, но ничего не узнал, не знал, как спросить, и воротился ни с чем. Чтоб не охладить решимость братьев, Паранька стала реветь с той самой минуты, как решено было сшить ей платье. Этими слезами она не давала покою мужикам, и, благодаря ее усилиям, при полнейшей неохоте, а главное, при полном незнакомстве с этими делами, вслед за старшим братом поехали оба середние брата, и тоже на пристань, где лесопильный завод, а стало быть, народ. Братья также путем ничего не узнали, но приехали с убеждением, что надо послать баб, по возможности старух. Паранька не давала покоя слезами. Старухи поехали и воротились через два дня в полном испуге: меньше как за сорок целковых никто и думать не берется о платье... Тут все — и братья, и жены, и даже Паранька как бы поняли, что дело это невозможное, но бог спас Парасковью. Какой-то солдат, будучи на пристани, слышал разговоры горшковских баб о платье, понял их беспомощность и дал знать в драгунский штаб, что под Новгородом, верст за сорок от деревни, где жила Парасковья. В штабе нашлась какая-то портниха, которая, воспользовавшись случаем (какой-то офицер перевозил в Петербург рояль), увязалась с ямщиком и на рояле приехала к Парасковье. Вот эта-то солдатка и поставила все дело на новую ногу. По ее словам, все будет дешево и хорошо; опять начались разъезды, причем одного овса лошадям стравили больше трех кулей — по семи рублей куль, да солдатке на чае, на сахаре и на водке в течение шести недель, покуда шили, и кроили, и перепарывали — извели бог знает сколько денег, так что когда платье было, наконец, готово и братья сосчитали *всё*, то оказалось, что можно было бы купить два сруба двенадцатиаршинных и в семнадцать звен каждый. Солдатка утащила какие-то остатки, за которыми тоже гоняли лошадей с бабами, и платье, кроме того, вышло ни на что не похоже. Впоследствии Паранька неусыпными трудами, а главное «утайками» денег, сшила себе шелковое платье в Нове-городе, купила «казак» и пальто и хранила эти вещи в чужом доме. Вслед за Паранькой начал бунтоваться середний брат, извозчик; он стал

требовать, чтобы его держали «на отчете», то есть чтоб положили с него определенную сумму денег в год, а он выручит или не выручит — отдай. Он основывал это требование на том, что лошадь и сани окуплены давным-давно. Но точно ли они окуплены? Вот тут и пошли аргументы вроде того, что «ты глядел, мол, мне в брюхо, твое там али мое». Но первый отделился Алексей лесник, и отделился вернее потому, что искреннее всех и чаще всех чувствовал тяжесть чужого, которое переходит ему. Свое, что лишнее, он аккуратно пропивал, чтоб оно никому не доставалось, не так, как Николай, который утаивал, но, отрезвившись, не мог не сознавать, что едал он и чужое. Для того чтобы решиться на раздел, он стал пьянствовать, как говорится, «не судом», пропил семьдесят рублей — все годовое жалованье, допился до драки, орал бог весть что, и только поэтому мог оторвать себя от семьи, от привычки к ней. В трезвом виде он не мог бы вести корову с отцовского двора, вести своих ребят, лошадь, тащить сани и т. д. Он пьянствовал до того, что валялся, подобрал себе компанию пьяниц и с ними-то кое-как «разорвался» с родной семьей, перейдя в небольшой домик, принадлежавший семейству Горшковых и выстроенный ими лет десять назад после пожара. Они все жили в этом доме, покуда строился большой дом. После того как отделился Алексей, брат извозчик приехал в деревню, а на свое место послал младшего брата Михайлу. Это было нынешней осенью, и вот теперь не проездил Михайло и двух месяцев, как в доме случилась новая история, убежала Паранька, и его требуют домой, а брат Николай (извозчик) опять возвращается в извоз. Почему требуют Михайлу? Почему Михайло зол на Параньку, чем она ему повредила? Все эти вопросы были для меня загадкой... А главное, я не мог понять, отчего Миша так необыкновенно зол на Парасковью. Это был юноша, красивый, добрый паренек, а теперь я не узнал его — уж на станции он показался мне жестоким, и жестоким как-то дико, ибо нападал на Параньку за «самовольство» — точно старый, выживший из ума деспот; но дорогою он меня совсем поразил. Мы ехали молча бо́льшую часть дороги; я даже думал, что Михайло заснул, но он, оказалось, бодрствовал, а по мере приближения к деревне стал что-то поговаривать про себя, и вдруг заговорил:

— Как бы только платья ей не отдали... Как приеду, первым долгом отыму ейное платье... Дрянь паршивая!..

— Это ты Парасковью все бранишь?

— Как же ее, дьявола, не бранить-то? Я сам ей, подлячке, помогал, дурак был, одежу-то в людях хоронить, а она вон что... В жисть не расстанусь, а уж отыму ейные платья... Шелковое, да шерстяное, да казак, все отыму! На клочья разорву, а не дам... Псовка экая!

Михайло был так зол, что разговаривать с ним не было никакой охоты.

Не буду рассказывать о тех деревенских новостях, которые поведал мне Иван Ермолаевич; едва ли они будут интересны читателю: волки съели без остатка двух собак, две коровы разрешились от бремени, причем телята получились «все в отца» (последние слова «все в отца» Иван Ермолаевич произнес с истинным умилением) и т. д. Возвращусь к истории Михайлы, который, согласно уговору, должен был приехать за мной с вечера, чтобы ночевать в пустом доме, а утром ехать на станцию.

Вечером Михайло приехал. Разговаривая за чаем о том, о сем, мы, наконец, коснулись и поступка Параньки.

— Что ж, — спросил Михайлу Иван Ермолаевич, — одежу-то Паранька увезла, аль отобрали?

— Отобрали... Успели... Только что бурнус успела ухватить.

— Увезла-таки бурнус-то?

— Увезла, — угрюмо опустив глаза в блюдечко с чаем, проговорил Миша как-то отрывисто.

— Тебя-то зачем из Питера выписали? — спросил Иван Ермолаевич.

Этот вопрос мгновенно расшевелил Михайлу. Глаза его загорелись, и он с сильным гневом и раздражением произнес:

— То-то вот Паранька-то, поскуда, подвела меня под смерть, чисто под топор. Теперича выписали меня — женись! Мясоеду осталось мало — успевай! Хлопочут теперь насчет невесты, ищут... Ведь у нас, сам знаешь, семейка-то не маленькая; ежели хоть месяц без работницы останутся, так и то разор. Одной скотины, коров восемь голов, да телят, да овец, лошадей четыре... Вот и надобно жениться...

— А работницу нанять?

— Работницу? По нашему семейству работницу найти нельзя... да и кто будет деньги платить? У нас работница не может, потому семья громадная — никаких денег не возьмет... Тут надобен *свой* человек. Вот теперича они и разыскивают невесту... Чтоб она вместо Параньки орудовала... Ведь вот что она натворила, дубина безобразная... Ну, да и ей счастья не будет... Оно хоть и по любви, полюбовно вышло, а тоже и в жениховой семье не сладко ей будет... Ведь жених-то тоже любит, любит, а тоже на Параньку позарился из-за работы... Работница она — настоящая... это верно, а у него в семье четыре тетки, вот на них и будет работать... Пущай... Кабы послухала, что говорили — взять мужика в дом, али бы погодить замуж-то, покуда подрастут наши свои девки, ан бы... А теперь вот, бог ее знает какую-такую жену мне приспособствуют... Уж наверно, чтоб бессловесную, вот как Алексею присодействовали... Свинья какая! У меня, может, у самого тоже любовь-то есть... А теперь вон — накось — скотина, говорят, не поена два дня, так и женись неведомо на ком... Тоже ведь не весьма приятно из-за теленка или там из-за овец на всю жизнь с идолом с каким связаться...

Из дальнейших разговоров с Михайлой оказалось, что у него действительно существует в Петербурге привязанность. С год тому назад познакомился он с няней одних господ, живших поблизости на даче. Он перевозил ей вещи. Няня эта оказалась крестьянкой той же губернии, что и Михайло, и притом из деревни, весьма недалеко отстоящей от деревни Михайлы. Няня эта была девица старше Михайлы лет на восемь, но она понравилась ему и лицом, и поведением, и положением в семье. Семья ее состояла только из отца и матери. Девушка, которую любил Михайло, с пятнадцати лет служила в Петербурге в людях, отдавая решительно все родителю. Она до того свято исполняла эту обязанность — «отдавать все» в деревню, что едва ли и знала какую-нибудь другую. Был в ее жизни один эпизод, который всякого другого, не столь искренно и глубоко понимавшего свою «обязанность», мог бы разбить и обессилить: после шести или семи лет работы в Петербурге отец ее, на ее деньги, отлично обстроился, прикупил скотины и стал жить порядочно; он даже стал звать дочь домой, полагая взять ей мужа «во двор», — и вдруг сгорел и дом и все имущество. Отец в

отчаянии стал пьянствовать, и в один из таких загулов от кабака, в котором он шумел далеко за полночь, воры угнали лошадей, которые так и пропали бесследно. На беду, дом, стоивший не одну сотню рублей, был застрахован только в пятьдесят, чтоб «меньше платить страховки». Дочь, намеревавшаяся оставить Питер и опять взяться за крестьянство, должна была остаться и снова начала труднейшее дело устройства вконец расстроенной семьи. В то время, когда познакомилась она с Михайлой, отец и мать ее были снова устроены, снова у них был и дом и скот, снова все у них поправилось и пошло в ход и снова отец звал ее опять домой, говоря, что умри он со старухой, дядья отымут дом, выстроенный на трудовые деньги племянницы. Вот почему она и заинтересовала Михайлу. Сундук, который он перевозил, также играл некоторую роль в благоприятном впечатлении, которое производила на него няня. Он был тяжел и велик, и много было в нем имущества. Но не это пленило, главным образом, Михайлу в Авдотье (так звали девушку); пленили его кротость ее и удивительное терпение. Столько работать, как она, и не роптать — вещь достойная уважения. Сойтись с такой кроткой и работящей, к тому же грамотной и не забывшей крестьянства женщиной для Михайлы казалось большим счастьем. Она ему сочувствовала и любила его, он ей нравился. Женясь, они были бы полными хозяевами и начали бы хозяйствовать, никому не одолжаясь. Михайло и его невеста частенько подумывали об этом, толковали о том, как выписаться из общества, много ли это станет и т. д. И вот оказывается, что от всего этого надобно отказаться, жениться «к спеху», потому что некому поить телят и потому что мясоед короток, жениться бог весть на ком.

— Ведь вот что она, подлая, сделала! — заключил Михайло свой рассказ и свою исповедь.

И нельзя не сознаться, что негодование на Параньку Михайлы было вполне объяснимо, понятно и до некоторой степени извинительно.

— Погодить бы ей надоть, покуда девки-то подрастут... — сказал Иван Ермолаевич.

— Про что ж я-то говорю. Я про то и говорю... Кабы погодила-то, нешто бы так-то вышло... Идол этакой! Авось бы, кажется, нечего бояться, не осталась бы в дев-

ках, такие работницы не остаются в девках... Такую всякий возьмет... Нет вот!.. Да еще как... Прямо с вечеринки... Баушка говорит: прямо, говорит, как была одета на вечеринке, так и села в сани к жениху. — Что ты, мол, Парасковья? Куда? А она — «не век же мне с вами маяться»... Полушубок у жениха-то был припасен. Так и уехали... А наутро повенчались... Баушка-то говорит: я, говорит, так и обмерла... Стою на крыльце, гляжу, вижу, что Паранька уезжает, а ничего не соображу... Только как начали телята реветь, непоенные, тут только я очувствовалась... Думаю: «ах ты, каторжная, что сделала...»

— Да, вам трудно... — сказал Иван Ермолаевич с глубоким вздохом. — Велики ли девки-то у вас остались?

— Да самой-то старшей одиннадцать двенадцатый, а прочие все ниже...

— А скотины много ли?

— Телят сейчас штуки четыре...

И Михайло стал высчитывать количество скота.

— Да! — сказал Иван Ермолаевич решительно. — Не справиться... Надо бабу. Какую невесту-то сватают?

— А пес их знает... Да я не покорюсь... Это уж как угодно.

Долго шли между нами разговоры о Михайле и его деле, и, несмотря на то, что в разговоре этом скотина и люди, девки и телята перемешивались в одну какую-то странную массу, невольно всем становилось ясным истинно драматическое положение Михайлы. Не покорись он — расстроит целую семью, возьмет на душу грех; покорись — значит, пожертвуй собою. Сколько геройства требовали от человека эти непоенные телята!

Утром мы оставили Ивана Ермолаевича и рано уехали сначала в деревню, а потом на станцию. В деревне зашли к бабке, повидаться. И здесь вновь должны были присутствовать при горьких и трогательных хозяйственных жалобах расстроенной Паранькою семьи.

Грустно покачивая головою, бабушка, видимо убитая горем раздела и самовольного брака, долго причитала на ту же драматическую тему о людях и телятах:

— Я стара, у старшей невестки пятый год болят ноги, плохо ходит... Эта вот девка — еще малéнька, не осилить ей... Скотина ревет... Ни воды достать, ни замесить — нет человека! Ах ты господи, батюшка владыко... — и т. д.

Скучно было слушать это, ужасно скучно.

Уходя, столкнулись на крыльце с отделившимся Алексеем и должны были зайти к нему. Алексей, встретивши нас, был под хмельком, и вместе с ним присутствовал товарищ, столяр, тоже под хмельком. Дело в том, что Алексей устраивался, а столяр его устраивал, делал ему лавки, шкафчик для посуды, и в разговорах об этом устройстве непременно участвовала водка. Разговоры поэтому, даже о шкафчике, шли душевнейшие. Алексей, человек почти сорокалетний, был не то чтобы рад своей самостоятельности, но, как дитя, в буквальном смысле как ребенок, был поглощен своим новым положением, в котором он «все сам». Он поминутно прибавлял почти к каждому слову два слова о том, что теперь, мол, все сам, «все свое», «нельзя», «все надо». И так как средств у него на это «все» не было, то покуда дело устроения шло в разговорах и преимущественно в питии с приятелями водки, питии, быть может, необходимом для поддержания бодрости духа, ибо дело Алексея было, в самом деле, труднейшее. Теперь все надо добыть самому, от пищи до сапога и кнута. Жена Алексея понимала всю тяжесть предстоящего ей жития и во время нашего посещения только и говорила, что об этих тягостях: теперь сама и за детьми, и за скотиной, и в поле, и в доме; обо всем сама думай, сама шей, сама стряпай, мой и т. д. Не менее часто, чем выражение Алексея «теперь все сам», жена его употребляла другое: «...вот продадим теленочка — бог даст справимся!» Этот же теленочек частенько поминался и Алексеем в разговорах его с столяром, лавочником... словом, со всеми, с кем заставляло сталкиваться его новое положение, новая забота и нужда... Везде, при заказе шкафика, при питье водки, в лавке при покупке кнута, соли и т. д., везде теленочек играл роль плательщика, везде на его продажу указывалось как на расплату... Видел я этого теленочка, на которого возлагали столько надежд и который должен удовлетворить такой массе нужд нарождающегося Алексеева хозяйства... И скучно стало мне и боязно за судьбу Алексеевой семьи.

III. ЛИССАБОНСКИЙ РАЗГЛАГОЛЬСТВУЕТ

Незначительная отлучка из Петербурга, как уже сказано мною выше, дала мне возможность возобновить с Лиссабонским прерванный разговор. Свидевшись, по приезде, с Лиссабонским, я рассказал ему о своей поездке, о Михайле и Алексее. История Михайлы заинтересовала его.

— Кстати, — сказал он, выслушав меня, — у меня есть одна вещица, весьма подходящая к такого рода явлениям... — Говоря это, Лиссабонский порылся в боковом кармане своего сюртука и вытащил оттуда небольшой сверток бумаги. Развернув его, он вынул оттуда кусок какого-то странного продукта. Серого, пепельного цвета продукт был легок, как пемза, но плотен, как самый крепкий камень.

— Что это такое?

— Это хлеб. Такой хлеб едят в самарских благословенных палестинах.

Много раз видел я эти редкостные экземпляры продуктов, заменяющих пищу, но такого, как тот, который был в руках у Лиссабонского, я еще не видал, и, несмотря на то, что продукт был действительно ужасен, он, как и экземпляры, прежде мною виденные, как-то не потряс меня нравственно. Не знаю почему, но, глядя на такой хлеб, почему-то начинаешь чувствовать как бы отупление и мысли и чувства, вероятно потому, что воображение отказывается представить себе человека, который бы *в самом деле* мог считать *это* хлебом...

— Какое же отношение, — спросил я Лиссабонского,— этот камень или это дерево имеют к истории Михайлы или Алексея?..

— Самое непосредственное отношение и самую теснейшую связь. Если ты хочешь понять эту связь, то необходимо смотреть на этот кусок дерева или камня, заменяющего хлеб, не с точки зрения малоземелия или неурожая и так далее, а, так сказать, с точки зрения нравственного состояния народной души. Этот ужасный кусок ужасен, главным образом, только в психологическом смысле... Это (он взял кусок и подержал его перед своими глазами) — психология, это душа народная, придавленная, забитая, испуганная... Это при-

ниженная народная мысль, это — сердце без надежды, это — потеря веры в человека, в человеческое право, утрата представления о том, что человек имеет право жизни... Посмотри, разгляди внимательнее этот психологический камень: сколько надо потратить усилия мысли на то, чтобы создать его; ведь тут, вот видишь, есть какие-то зелененькие крапинки — это лебеда, вот здесь что-то желтеет, вероятно солома... Тут вот что-то вылезает наружу, как кажется, щепка... Словом, это... изобретение! Ведь тут надо было думать, приготовлять, запасать заблаговременно эту лебеду и эту солому, и, наконец, эту щепку надо было довести, также при помощи усилия мысли, до такой степени внешнего вида, чтобы она, по возможности, утратила оскорбительный вид щепки, употребляемой в пищу. Теперь, представь ты себе нравственное состояние человека, который поставлен в необходимость тратить свою мысль на подобные изобретения... Ведь для того, чтобы изобретать это (а это — «изобретение», — повторил Лиссабонский настойчиво), надобно чувствовать себя на необитаемом, пустынном острове: кругом голые камни и хищные звери, и нет живого человека. Не на кого понадеяться, не у кого спросить помощи, не от кого ждать участия, а приходится сосредоточивать все усилия мысли на том, чтобы как-нибудь влачить безнадежное, холодное, безучастное существование, влачить, не видя впереди ничего, кроме смерти... А между тем посмотри-ка ты вот на эту карту (он указал рукой на большую карту Российской империи, которая висела на стене моей комнаты) — пустыня ли это? Посмотри ты вот на эту Самарскую губернию, питающуюся камнями вместо хлеба; что это, Сагара, или Аравия, или гнилое бесплодное озеро?.. Нет! Это благословеннейшая из земель. Это *именно* не пустыня, не Сагара, а житница, и вот отсюда-то и изошло, прежде чем изойдет из других мест российской земли, это изобретение (он указал на хлеб). Посмотри на этот кусок и посмотри на всю Россию... Ведь если смотреть на нее с материальной-то точки зрения, так ведь именно такого куска произойти не могло... *Фактически* — такой кусок сущая нелепость, абсурд, бессмыслица, ложь. *На самом деле*, в действительности все могут быть сыты, всем должно хватить... Погляди, опять-таки повторяю, на эту карту и убедись. В некоторых

европейских землях уже *фактически* нехватает на всех; у нас, напротив, именно фактически-то для всех хватит, да не только для всех теперь существующих, а на десятки, сотни лет и для всех, имеющих народиться... И, стало быть, если, вопреки всевозможным вероятиям, вопреки всякому смыслу, у нас не только нехватает, а прямо приходится изобретать вот такие позорные вещи (опять Лиссабонский поднял и подержал перед глазами самарское изобретение), так тут, очевидно, должна существовать какая-нибудь нравственная причина, какое-нибудь душевное расстройство, словом, что-нибудь не материальное, а какое-нибудь высшее душегубительное зло, какое-нибудь злостное умерщвление человеческой мысли... Иначе, как бы могла эта мысль уходить на изобретения съедобных щепок и камней в земле, где всего много, всем хватит?.. Ведь это такое психологическое состояние (говоря это, Лиссабонский держал в руках самарское изобретение и, забывшись, относился к нему, как бы к живому психологически расстроенному существу), это такое нравственное расстройство, которого невозможно поправить никакими материальными благами... Вот недавно писали в газетах о том, что в одной из петербургских гостиниц застрелился какой-то полковник, оставив в комоде сотни тысяч денег. Деньги! Кажется, это уже первейшее условие для благосостояния. А умер, застрелился, сам на себя наложил руки, стало быть, душа умерла, душа не могла быть восприимчива к жизни, душа не находила пищи или не могла принимать ее... Вот это-то самое душевное состояние заключается и в этом куске...

— Но, — перебил я Лиссабонского, — ведь ты хотел показать какую-то связь этого куска с жизнью Михайлы или Алексея. Кажется, по поводу их ты и о куске-то заговорил. Какая же тут связь?

— Видишь ли, какая... Уж и из того, что ты рассказал об Алексее, видно, что в будущем ему предлежит, так же как и самарскому земледельцу, сосредоточить свою изобретательность над чем-нибудь, подобным этому куску. Да и не только Алексею, а почти всему российскому крещеному, крестьянскому миру придется рано ли, поздно ли сосредоточить свое внимание на изобретениях подобного рода. Если в Самарской губернии этот знаменитый кусок явился ранее, чем в других местах, то это потому,

что она *самая богатая*, что в ней прежде других совершился процесс вторжения губительных денег, нарушивших мир и покой семейного крестьянского жития и семейного хозяйства. До других мест это еще не дошло, потому что там нечего взять. Но так или сяк, рано или поздно, явления, разрушающие стройность земледельческой семьи, доберутся в самые отдаленные уголки России, и если общая тысячелетняя система бесчеловечных общественных и взаимных отношений будет практиковаться с такою же настойчивостию, как практиковалась до сих пор, то везде, везде в конце концов этот удивительный кусок...

— Что такое «бесчеловечные отношения»? — перебил я Лиссабонского.

— Я сейчас скажу, что́ я подразумеваю под этими словами. Теперь дай мне договорить об Алексее. Раз нарушена стройность и добровольная подчиненность членов семейного хозяйственного союза, раз во взаимные отношения членов семейства начинает вторгаться неискренность, желание «уйти от зла», не брать на душу греха делается самым настоятельным. Чтобы уйти от зла, надо просто уйти из семьи, где отношения взаимные испортились. Во имя этого желания ушел из семьи Алексей, уйдет и Михайла, ушла и Паранька. Во имя этого желания не ежегодно, а ежедневно идут по всей Руси великой тысячи разделов, распадаются тысячи семейных союзов, и благодаря той системе отношений, которую я назвал «бесчеловечною», все они, или по крайней мере девяносто девять сотых из этих семей, осуждены на неминуемую нравственную смерть... Человек уходит «от зла», уходит ради сохранения своего человеческого достоинства, и немедленно же, едва только в его сознании мелькнула искорка этого сознания, он уже задавлен бесчеловечием. Ведь вот этот Алексей, ведь уж и теперь он вместе с женой и со всей семьей находится в полной зависимости от телушки. Телушка оказывается опорою всего семейства; удастся ее продать — хорошо, а не удастся? Ведь цены бог строит, да и помимо цен — телушка может завтра же протянуть ноги. Таким образом, вместо воображаемой самостоятельности человек попадает сразу в полнейшую зависимость, да от чего? от скотины!.. Всякая случайность хлева, падеж, болезнь и т. д., все это увеличивает трудности его положения до ужасающих размеров. Ведь

надо знать, что значит *самому* кормить семью при помощи земледельческого труда, надо знать, что такое кусок хлеба, добытый самим... Ведь один хлеб, тот самый хлеб, который мы, например, получаем в готовом виде из лавки, он один требует семь месяцев труда почти постоянного. Во имя его нет в жизни человека дня, в который бы большая часть часов не была занята заботой о какой-нибудь ничтожности, вроде навоза, которая нужна для добычи хлеба, для добычи пропитания... Этот многосложный разнообразный труд непременно должен быть коллективным; но об этом после. Возвращаюсь к Алексею. Таким образом, для него, начинающего «отдельную» от семьи жизнь, вопрос пропитания является самым существенным, а при той зависимости от всевозможных случайностей, в которых находится земледельческий труд, прямо сказать, подавляющим. Вся мысль уходит на это пропитание и суживается до последней степени. Околей у него корова или лошадь, и он уже страшно ослаб, он уже испытывает страх жизни, страх пред невозможностию поднять своими плечами громадную обузу труда. Мудрено в такую минуту не выпить водочки, но, в самом лучшем случае, страх жить на свете, страх одиночества, страх зависимости от каждого теленка или коровы ведет если не к пьянству, то именно к этому безнадежному душевному состоянию, когда человек начинает чувствовать себя на необитаемом острове, когда ему начинает казаться, что вся его надежда на те крохи хлеба, которые у него в амбаре остались недоеденными, и вот он тщательно выметает этот амбар веником, печет какую-то помесь зерна и земли, прибавляет потом овса, потом соломы, и так далее, и так далее. Вот все-то это вместе и есть результат «бесчеловечных» общественных отношений, бесчеловечных влияний, тяготевших над этой несчастной землей тысячу с лишком лет... Спрашиваю я тебя: почему не ожесточается Алексей, а только тупеет, только изобретает: сегодня изобретает вот этакий камень, завтра изобретет пищу прямо из дерева, а послезавтра начнет питаться собственным телом? Ведь писали же о мальчике, который съел ногу, стало быть, по части отчаяния, тупой безнадежности — не все еще исчерпано... Почему он не заорет на всю Россию о голоде и почему еще надо «открывать» этот голод сердобольным филантропам?.. Но во

имя чего он мог бы орать, протестовать и шуметь вообще? Единственно только во имя человечности, во имя «человеческой» нужды, человеческих прав... Если бы он *знал* например, что он *может* жалеть своих детей, умирающих теперь безо всякого внимания сотнями, тысячами от недостатка пищи; если бы он *знал*, что ему, мужику, *можно* заботиться вообще о себе, о своей семье, жене, детях, он бы давно заорал на весь мир... Но вот именно в этих-то отношениях он совершенно изуродован системой «бесчеловечных» влияний... Он думает, что ничего *этого* ему *нельзя*... Что подати, всевозможные посторонние требования начальства, вообще *служба,* и притом служба чему-то неведомому и в то же время неумолимому, — что все это *главное*, а что он сам, его семья, его домашняя жизнь, словом, что весь он и все они, как человек и как люди, — сущее ничтожество и самое последнее дело... О, знай-ка он, что *можно* жалеть свое дитя, что *можно* заботиться о нем, что *можно* устраивать *свою* жизнь «по человечеству» и по-человечески, давно бы земля наша была полна медом и млеком; но он отвык верить в это право, и вот она Сагара, Аравия бесплодная... в ней питаются камнями вместо хлеба, в ней является благодетель купец, предлагающий «на свой счет» сушить собачьи корки, в ней миллионы людей просят хлеба христа ради и умерли бы с голоду, если бы не подавало «христа ради» заботливое правительство, а Коля с Федей не пожертвовали «тлех лублей».

Лиссабонский видимо был взволнован своим монологом.

— А все-таки, — перебил я его, — я не понимаю хорошенько, что ты называешь системою «бесчеловечия» или системою бесчеловечных отношений?

— Прежде всего пойми хорошенько это слово, а главное, знай, что равнозначащего ему нет, сколько я знаю, ни в одном европейском или азиатском языке... то есть ни в одном языке нет такого слова, которым бы можно было определить отношения, выражаемые нашим словом «бесчеловечный»... Что это за отношения? Отношения, в которых «человеческое» — не принято во внимание, изгнано из обихода жизни, или по крайней мере сведено на ноль... Все, что просто, что мягко, словом, все, что следовало бы, «по человечеству», все это представляется почти возмутительным; напротив, все, что жестоко,

и в громадном большинстве явлений жестоко без всякой нужды, вот это-то и считается как бы необходимым, без чего почти невозможно обойтись. Пожалуйста, не подумай, что эта черта отношений и взглядов присуща какому-нибудь классу общественному, преимущественно пред другими, нет: все поголовно «ходили» и воспитывались целыми поколениями под влиянием холодного, студеного веяния бесчеловеческих идей... Разбери-ка ты хорошенько путаницу явлений, которая кишит теперь пред глазами всего общества, и посмотри на нее с точки зрения преимущественных мнений, и увидишь, что путаницы никакой нет, потому что «бесчеловечность» решительно над всем господствует и всему дает тон. Ни одна земля в мире, кажется, так не занята исключительно *делами*, так мало не живе́т, как Россия, и в конце концов ведь вот... — есть нечего! А всё дела! Дела без конца и начала! Ни минуты покоя, отдыха! И всё серьезнейшие, практичнейшие!.. всё меряют, толкутся, считают, всё платят, «выбивают», «выколачивают», «искореняют», «ходатайствуют» и т. д. — хлопот полны руки, все в поту и утомлении от трудов... а житья нет! Везде и всюду глубочайшая отвычка поступить «по-человечески», «уважить» человека, отвычка принять во внимание простое человеческое желание, отвычка именно это простое-то считать делом. Всякое бесполезное злодейство всегда найдет массы исполнителей... Почему бы, например, доводить до буйства людей, вот этих мужиков, когда, *просто* по-человечески взглянув на это дело, сразу видно, что у них нет земли, что им нечего есть? Нет! Такое воспитание: все знают, что нет земли, что есть нечего, а бьют и колотят... потому что... да как же это попросту, по-человечески-то поступить?.. Ну, скажи ты сам, не удивился ли бы ты, если бы вот этот Баранкин, грабитель деревенский, раскаявшись, одумавшись, взял бы да и разорвал все эти векселя мужицкие, то есть понял бы, что он поступал бесчеловечно, и раскаялся?.. Ведь как хочешь, а такой поступок всем показался бы по малой мере странным... «С ума сошел», — сказали бы одни, а другие (особенно в последние годы) приняли бы это за явный бунт; поступить «по-человечески» — это значит идти вразрез со всем господствующим направлением жизни... Я бы тебе мог привести несчетное множество примеров из текущей действительности, но они и так

у всякого перед глазами... Это многолетнее веяние «бесчеловечных» отношений, повторяю, проникает все слои общества, без исключения... Даже в народе... Я вовсе не хочу сказать, что народ жестокосерд или сочувствует жестокосердию... Нет, я даже склонен думать, что во всем русском обществе, во всем народе, нет сочувствия бесчеловечию; нет его по той простой причине, что бесчеловечие отношений именно и исключает из обихода право предъявления симпатий или антипатий к чему-нибудь или кому-нибудь. Право этих предъявлений — право человеческое, а я именно говорю о таких отношениях, где это право попрано, изъято из обращения... Не сочувствуют — чему тут сочувствовать! — а «неизбежным», «неминуемым» — считают все... пожалуй что и поголовно. Часто пишут в газетах: «становой высек всю деревню». И полагают, что становой, точно, один взял и высек. Нет, деревня высекла деревню по единому мановению станового... Она безропотно помирает с голоду, потому что не знает, есть ли такое право, чтобы человек непременно ел? Она же безропотно сечет друг друга, ибо знает, что нет такого права, чтобы не сечь... Из всего этого и слагается та психология, благодаря которой...

Лиссабонский взял опять в руки самарский хлеб и прибавил:

— В обильной земле миллионы едят землю и солому!

— Так что же, — спросил я Лиссабонского, в свою очередь касаясь самарского куска, — это, по-твоему, душа народная?

— Не душа народная, а состояние народной души... И знаешь что, — прибавил он оживившись, — именно вот такое-то состояние и располагает всего более к самым детским, ребяческим иллюзиям. Решительно не знаю такой сказки о кисельных берегах, такой возможности пробудить чистейшую детскую веру и в человека, и в добро, и так далее, как в той душе, которая самым жестоким образом пригнетена веками бесчеловечных *дел*... Лед тает от малейшего теплого луча... И человек, который только и делал, что пугался, сек и был сечен, который вытягивал всю жизнь из себя и даже из других жилы, и притом неведомо зачем, словом, человек, который *вовсе* не жил по-человечески... он-то, грубый, жесткий,

старый деловитым опытом, он-то и мякнет как воск, разнеживается как ребенок, раз только луч мысли о возможности и законности человеческих отношений в самом деле коснется его души... Но вот именно такой-то мысли и не веет над этой огромной землей...

Здесь я возразил Лиссабонскому, сказав ему, что, напротив, в последние годы в народе замечаются прелестнейшие явления, именно в смысле желания отрешиться от сознания, что бесчеловечные отношения только одни и святы, а все прочее — вздор, чепуха и противозаконность; что в народе поминутно стало являться желание упорядочить, обмягчить, «очеловечить» взаимные отношения...

— Знаю, — сказал Лиссабонский. — Я знаю эти явления... Явления действительно драгоценные... Но, во-первых, они возникают именно потому, что система бесчеловечных отношений и в деревне принесла свои плоды, что очнувшемуся человеку и в деревне стало невтерпеж от тех же самых гнусностей, которые привыкли считать только достоянием, так сказать, городским... А во-вторых...

— Нет, — перебил я Лиссабонского. — Ты что-то уж больно мрачно смотришь на вещи... Послушать тебя, так ведь это бог знает что...

— Да ты меня еще и не дослушал. Продолжаю... А во-вторых, если я смотрю на вещи так, а не иначе, то ведь есть же этому какие-нибудь причины... Вот когда я расскажу тебе всю свою жизнь, то есть мое воспитание, мое время, мои недуги всяческие, мою душевную жизнь, взгляды на народ, опыты с этими взглядами в народе, словом, когда все это ты узнаешь, тогда и не будешь, я полагаю, удивляться, отчего мне так скучно и отчего я так скучно смотрю на свет.

Недели чрез две Лиссабонский явился ко мне с рукописью и объявил:

— Не буду рассказывать... Долго. А вот лучше читай сам, я написал все, что хотел рассказать тебе.

Рукопись носила название «Опыты жить по-человечески».

IV. КАНЦЕЛЯРЩИНА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В НАРОДНОЙ СРЕДЕ

1

Рукопись, которую мне принес Лиссабонский, представляла собою такую путаную массу разношерстных фактов, такую массу беспорядочно исписанной бумаги, что передавать ее в подлиннике нет никакой возможности. Все сбито здесь в кучу: Карл Маркс сменяется каким-то волостным писарем, а за рассуждением о джутовом мешке следует тирада о самоубийстве; газетные известия, касающиеся самой последней минуты текущей действительности, перемешиваются с воспоминаниями детства, явления русской жизни, без всякой видимой связи, сменяются рассуждениями о европейской политике и т. д. Очевидно, что Лиссабонский хотел сказать *все*, что у него накопилось на душе, но не мог выполнить этого, сбиваемый, во-первых, явлениями и вопросами дня и, во-вторых, обилием накопленного горьким опытом жизни материала. На замечание мое о том, что рукопись, доставлённая Лиссабонским, есть верх безобразия и беспорядочности, последний нашелся мне ответить только следующее: «Да! Переживи-ка ты на своей шкуре российский культур-мордобой... так я и погляжу, какая там у тебя выйдет беллетристика...» Кое-что, однако, в этой беспорядочной куче наблюдений, признаний и рассуждений, наскоро нахватанной Лиссабонским, пришлось мне по вкусу, и я решился сделать кой-какие выборки, чтобы познакомить с ними читателя, надеясь, что он примет во внимание упомянутый выше «культур-мордобой» и не будет взыскателен к не вполне удовлетворительной форме изложения этих отрывков.

2

«...Так вот о бесчеловечии-то, о бесчеловечности, лежащей в основании всех общественных и даже семейных отношений, о бесчеловечности, первенствующей и почитаемой «главным» почти всем обществом, и почти во все времена, и почти во все часы даже до сегодняшнего дня...

Для более ясного представления плодов и последствий этой системы отношений я хотел взять материалы из собственной своей биографии, то есть на себе показать, как обесчеловечивающая политика отразилась на мне, как она выражается в моих взглядах на семью, общество и как из коллективного соучастия миллионов таких же, как и я, государственных атомов выходит в конце концов та адская скука, та жестокая безжизненность, та именно жесточайшая скуловоротная история, вся сочиненная из какого-то беспрерывного стремления к «устроению» (как лучше!), тысячелетним результатом которой является всеобщее в самые последние дни русской жизни сознание, что не только ничего не устроено, но что даже ничего еще и не начато как следует и что никакого здания нет и не было. Показать душегубительные результаты этой политики на какой-нибудь отдельной личности, и лучше всего на себе самом, мне казалось делом весьма удобным, а главное, легким в смысле литературной работы: рассказывай просто свою биографию, факты *личной* жизни, а там уж всякому и будет видно, насколько личная жизнь эта потерпела от обесчеловечивающей политики. Но можете представить, что в то самое время, когда я пишу эти строки, я уж чувствую, что задача, представлявшаяся мне легкой, необычайно усложняется и делается необычайно трудной, и как вы думаете, почему? Да потому, чувствуется мне, что именно личной-то биографии у меня и нет никакой... Ведь чего бы, кажется, проще начать речь самым простым манером, примерно так: «Я родился на берегу реки Непрядвы, протекающей по прекрасной долине. Отец мой был человек крутого нрава, хотя и имел нежное сердце, и т. д.» Чего бы проще? Но вот подите же; мне почему-то кажется, что именно эти-то личные подробности, что все это мелочи... Посмотреть на них объективно, отнестись по человечеству и к своим детским годам, и к отцу, и к матери, и к красотам Непрядвы и т. д. — все это представляется мне ничего не стоящим. Кому какое дело до твоего детства, до отца и матери, до красивого вида речки, впечатление которого, быть может, живо во мне и теперь?.. Все это вещи «чисто личные», а потому, разумеется, не стоящие и медного гроша... Да и в самом деле, обозревая весь этот «личный материал» биографии моей, я на-

хожу что-то скомканное, смятое, растоптанное и попранное, как ничтожество, и — чем? Чем-то беспрестанно моей личной жизни враждебным и, главное, — не нужным ей ни капли... Ведь вот и сию минуту: представляется мне, что если я вместо разговора о детстве, о впечатлении речки и вообще вместо разглагольствований о всех этих пустяках заведу речь, например, хоть бы о джутовом мешке и вредном влиянии, которое он должен иметь на развитие кустарно-мешочного промысла, и займусь изложением моих чувств и огорчений по поводу этого Тамерлана, идущего на наших несчастных деревенских баб, то я буду достоин внимания читателя, хотя джутовый мешок лично меня вовсе не касается... Мне даже кажется, что, говоря о джутовом мешке, а не о своем несчастном детстве, я именно говорю о гораздо более существенном, более достойном внимания, чем если бы говорил о каких-то нравственных личных муках. Представляется мне, что без помощи чего-нибудь «серьезного», вроде поведения моего в каком-либо «мероприятии», мне даже и нет возможности возбудить внимания читателя ко мне как к человеку, существу живому, живущему личною жизнию. Недавно, в этом роде, на меня произвел довольно сильное впечатление один факт. Один мой товарищ, очень молодой человек, написал повесть из народной жизни; когда мы ее прочитали вместе, то оказалось, что главнейшее внимание автора сосредоточивалось не на людях, которых в повести было выведено много, разного пола и возраста, а на том, как эти люди обнаружили себя в выполнении какого-то казуистического положения по имущественному праву (что-то о разделе одного теленка между тремя наследниками). Казалось, что автору все выводимые им лица интересны только в той мере, в какой они оказываются сведущими в вопросах канцелярско-общественных знаний, а не просто как люди и как человеки. Не знаю, быть может я и не прав, только «такие» проявления деревенской общественности не только меня не радуют и никогда не радовали, но, напротив, постоянно повергают в уныние, ибо кажется мне, что все в настоящее время доступные деревенскому миру «общественские» дела — до такой степени сведены на мелочи, и притом мелочи, поистине канцелярские, что при всем совершенстве разработки этих

якобы «общественских» дел они именно лишены как жизненных источников для своего питания, так, само собою разумеется, и жизненных результатов. Не пишут ли в наших канцеляриях целые вороха всевозможных бумаг, и притом о сущем вздоре; чтобы вытребовать, положим, паспорт из деревни, сколько надобно исходить разных мест, подать бумаг и т. д. Спрашиваю я: можно ли, по справедливости, назвать людьми, живущими в самом деле «общественными» интересами, тех чиновников, которые исписывают тысячи листов бумаги, вытребовывая паспорт или вчиняя иск о выстроенном не по плану здании? А ведь если не все эти мученики бумажного и чернильного дела, то некоторые из них занимаются своим делом страстно, самоотверженно. Поглядите-ка вот на этого «чиновника», исписавшего по сущим пустякам тысячи листов бумаги и ведро чернил: он мученик, он зелен весь и болеет; у него геморой, согнутая спина! Он до того предан этим бумажным делам, что личные семейные дела его отодвинулись на двадцатый план: дети его растут кой-как, в доме беспорядок, скука, ссоры с женой; придя домой отдохнуть, он уж думает, как бы уйти в канцелярию; там нет ни шума ребят, ни их глупых вопросов, а есть «дела», то есть бумаги, любимые занятия, писание любимых пустых фраз и т. д. Когда такой человек умрет, не будет пустой фразой, если сотоварищи назовут его тружеником, который весь отдал себя «службе»... Ведь, право, в этом роде есть личности героические, но когда посмотришь на эту нищенскую, оставшуюся без куска хлеба семью, на этих кой-как ученых, запуганных детей, которым покойник «не имел времени» уделять самого поверхностного внимания, которым за служебными занятиями отказывал в ласке, в заботе о развитии и будущности, то невольно задумаешься над вопросом: во имя какой такой высшей задачи человек так страстно служил бумаге, переписке о выеденном яйце и так мало был внимателен относительно просто человеческих обязанностей, хотя бы только по отношению к детям. Невольно рождается вопрос, способен ли бы был этот верный слуга переписки отдать себя на съедение бумажным делам, если бы внимал простым человеческим обязанностям, налагаемым жизнию лично на него не как на чиновника, а как на человека? Представляется даже, что при уча-

стии жизненных и житейских обязательств, а главное, при внимании к ним, представляется, что и взгляды этого «служаки» значительно бы изменились как на самую его «службу», так и на полезность отдавать ей всего себя. Теперь вот этот служака, узнав, что директор гимназии выгнал вон его сына, не разобрав, в чем дело, сам «прибавил» ему за то, что его выгнал директор, сам прибил сына и также выгнал из дому, а тогда бы, то есть при сознании, что служение бумаге и чернилам вещь вовсе не такая серьезная, понял бы, что гораздо серьезнее участь человека, который, в лице, быть может, неспособного или нерадивого сына, может пропасть, спутавшись на первых порах жизни, ожесточиться с юных лет и весь век потом плакаться на свою горькую участь. Очевидно, что несчастный труженик-чиновник, потерявший на службе всю свою жизнь, только по забитости, по загнанности и по запуганности, сузивших в нем чисто человеческие требования ‹...› канцелярских порядков и начальства, мог полагать, что пустяки, которые он делал всю жизнь и которые жизнь эту съели, настолько важны и серьезны, что в жертву им можно принести и себя, и свою личную жизнь, и жизнь ему близких и присных людей.

Вот эту-то самую «канцелярщину», заменившую собой «живое» общественное дело, дело, основанное на предъявлениях потребностей нравственно живущего человека, и вижу я в большинстве так называемых «общественных» мирских дел современной нам деревни. Возьмите, в самом деле, для образца «общественные дела» деревни, живущей и жившей, так сказать, среднею деревенскою жизнью, то есть деревню, пережившую крепостное право, даже не право, а просто крепостное хозяйство и все, что затем последовало, и вы на первых же порах, при самом поверхностном взгляде на общий обиход жизни, не можете не увидеть прежде всего, что личная жизнь крестьянского дома почти ни капли не выигрывает от того, что «общественские» дела деревни делаются самым безукоризненным образом. Вы видите, что этим общественским делам посвящается слишком много такого напряженного внимания, которого они совершенно не заслуживают по своему внутреннему существу. С какими, например, церемониями происходит дележка земли, лугов, как тонко

разработана общественная служба при постройке какого-нибудь моста, сколько церемоний и сколько мысли тратится на «правильное», безобидное питье вина и т. п. А в частной жизни этих общественных людей даже и в приблизительной степени не уделено заботы на разработку простых человеческих отношений. Деспотизм во имя хозяйственных интересов, зависимость человека от лошади, с хозяйственной (а не человеческой) точки зрения устраиваемые браки и т. д., словом, бездна подавляющих человека, личность человеческую, угнетений, которые решительно не составляют общественной заботы. Глядя на все теперешние общественские дела с точки зрения удовлетворения «человеческих» требований, с точки зрения человека, сознающего, что он создан по образу и подобию божию, решительно отказываешься понимать прелесть этих переделов, драм из-за межевых столбов и т. д. Но с точки зрения канцелярской, не принимающей во внимание никаких иных сторон человеческой натуры, кроме сторон, удовлетворяющих правильному действию канцелярского механизма, действительно этими «общественскими делами» можно восхищаться.

В настоящее время в литературе весьма замечательным явлением являются исследования так называемого русского сектантства.[1] Наизнаменательнейшая сторона вновь возникающих сектантских общин, несомненно, та, что общины эти, по внутреннему своему смыслу, решительно не похожи на те калеки-общины, которых в русской земле пока еще громадное большинство и которые кое-как влачат свою изуродованную жизнь, будучи воспитаны, с одной стороны, канцелярскими общественными требованиями, а с другой — убивавшим личность человеческую крепостным правом. Эти вновь возникающие общины, несомненно, и сектами-то почитаются потому, что они наотрез отказываются как от крепостных преданий, так и от канцелярских общественных идеалов. Они «не подходят» под общий тон жизни, где всевозможные требования, унижающие и презирающие личность, первенствуют, и поэтому, вероятно, считаются такими явлениями жизни, которые нарушают общественный поря-

[1] Мы касались этого явления в статье «Народная книга», № 8-й. «Отеч. записки» 1880 г.

док. Существенное отличие общины канцелярской от общины сектантской состоит в том, что в основание последней входит именно уважение и внимание к личности человеческой, к жизни человеческого духа, к нравственным, человеку, человеческой душе свойственным обязательствам. И замечательно, что раз такая община единомышленников сложилась не во имя только того, что «наши участки рядом», не во имя того, что «мы сдаем кабак» и т. д., а во имя единомышленности и во имя уважения каждого в каждом человека, так немедленно из «общественных» забот этой группы людей исчезают, и исчезают бесследно, те именно якобы общественские дела, которые составляют доблесть общины канцелярской. В то время как в канцелярской общине всё делят, всё меряют и никак не вымеряют, в то время как в канцелярской общине потеют и идолослужат перед загородью, перед общественным быком или межевым столбом — в сектантской общине эти-то дела забыты, и подвиги, с ними сопряженные, оказываются не имеющими никакого значения: люди сразу теряют аппетит топтаться при дележах земель или лугов, совершенно теряют способность оценивать точность, с которою канцелярский общинник ценит свою заботу о том, чтобы «носком непременно в пятку попасть» и т. д. Напротив, соединившись во имя сознания «человеческих» нужд и скорбей, человеческих нравственных обязательств, люди разгораживают изгороди, уничтожают все эти колышки и значки и соединяют все участки в один общий. Вместо того чтобы, с изумительною точностию переделивши землю, изнурять себя и свою семью на одинокой, непосильной работе, «по человечеству» сложившаяся община принимается за коллективный труд, стремится облегчить добычу хлеба, пропитания, потому что уже сознает, как несправедливо изнурять прежде времени малых ребят, беременных женщин и т. д. Это уже все «по человечеству», во имя человеческой природы и человеческой нравственности. Труд одиночный и тяжкий, который камнем давит личность человеческую в общине, воспитанной канцелярщиной, который к тому же ни капли не облегчается, несмотря на то, что на сходках о каких-нибудь мирских делах народ галдит по целым суткам или по неделям топчется

на межатнях, в новых общинах — отходит на второй, если не на самый дальний план. Здесь уж знают, что труд нужен «для чего-нибудь», здесь уж знают, что отдавать себя только труду, всепоглощаться в нем — несправедливо, так как есть обязательства, которые, по совести человеческой, должны быть удовлетворяемы именно плодами этого труда: помощь ближнему в несчастии, помощь больным, детям, старикам и т. д. И в канцелярской общине есть и дети, и немощные, и старики, и люди, находящиеся в несчастии и жаждущие участия и помощи, но канцелярская община приучена молчать об этих надобностях, она приучена молча терпеть несчастия ближнего, болезнь и смерть ребенка, приучена во всем жертвовать человеком, его нравственною скорбью, нравственными потребностями во имя чего-то такого, что почти ни капли не укрепляет в человеке человеческого достоинства. Спрашиваю: что может быть совершеннее того церемониала, той точности и других не менее ценных качеств, которые канцелярски-изуродованная община обнаруживает, например, хотя бы при пресловутых переделах земли? Разве может быть что-либо более совершенное, разве можно выдумать что-нибудь более артистически выработанное? Неужели, не довольствуясь тысячами способов измерений, тысячами практикующих приемов, станут, наконец, не только топтаться ногами, не только попадать носком в пятку, а примутся ползать и вымеривать все четвертями и вершками? Вы видите, что такое предположение нелепица и что это «общинное» дело идти дальше не может в своем развитии, что оно и без усовершенствования уже махровый цвет, канцелярское изящество, и вот почему у канцелярской общины с ее добродетелями, подвигами и проч. — нет будущности. Она не единит человека с человеком, она не снимает мук с человеческой души, а раз, при всех своих канцелярских совершенствах, она не достигает этого нравственного единения и взаимно-человеческого внимания, она — пустая канцелярщина, многотомная тщательно разработанная переписка по вопросам, не стоящим выеденного яйца. Как бы эта канцелярщина ни совершенствовалась, не она облегчит душу народную, не она напоит и накормит голодного, пригреет одинокого, не она возродит духовную жизнь народа.

3

«Нет! Джутовый мешок решительно невозможно обойти молчанием! Покуда я вел речь о влияниях, попиравших в русском человеке — человека и перерабатывавших его в «канцелярского служителя» (конечно, в самом разностороннем смысле), — джутовый мешок то и дело приходил мне на память и мешал последовательности изложения. Очевидно, что необходимо излить пред читателем эту мешковую скорбь, чтобы отделаться раз навсегда и от скорби и от мешка. Что такое джутовый мешок? По внешнему виду это есть самый обыкновенный (и, говорят, даже не весьма прочный) мешок для перевозки зерна, сделанный из индийского растения — джута, того самого, из которого делаются веревки в детских гимнастиках. Но по внутреннему своему содержанию он бич божий! — «Что за времена настали горькие! — жалуется крестьянская женщина. [1] — Прежде, бывало, наткешь ровного холста да повезешь в Суджу, там его из рук рвут; купца — видимо-невидимо! Продашь выгодно, купишь чего требуется и едешь домой; теперь же совсем иное: сидишь за пряслом целую ноченьку, и берет тебя горькое раздумье: когда-то еще удастся продать! Поносишь-поносишь по городу, да и привезешь назад... Вот какие ноне горькие времена настали!» Вы представьте себе эту несчастную бабу деревенскую, многие ночи слепнувшую за пряслом, ходит она, бедная, по городу — никто-то у нее не спрашивает ее товара. «И что это деется? — думает несчастная баба. — Господи помилуй, господи помилуй... И что это за времена такие, господи батюшка!.. И с чего это? Что такое? Какая напасть?» — ходит баба из улицы в улицу, от одних купецких ворот к другим, и понять не может, что́ за притча такая, что, несмотря на «ноченьки» трудовые, должна она идти домой с пустыми руками... Не нужно!.. И не знает она, бедная, что разоритель ее — какой-то иностранный мешок. Пришел этот мешок неведомо откуда, объявился в 21 копейку за штуку и знать не хочет несчастную бабу... Земля наша хлебная, зерно — единственное богатство, а мешок непременный спутник зерна... Судите сами, какую многотысячную массу жен-

[1] Корреспонд. из г. Суджи, Курск. губ. «Порядок», № 70.

щин и детей обездоливает на Руси этот заграничный тиран!.. Но выдержка, приведенная нами выше из корреспонденции, не вполне еще рисует бедствие (в буквальном смысле), приносимое этим победоносным мешком. В «Сборнике материалов для статистики Тверской губернии»[1] мы находим весьма подробное и обстоятельное описание города Бежецка, который почти весь существует торговлею льном, выделкою льна в холст, идущий на мешки, и шитьем мешков. И здесь мы находим сведение, что еще в 1872—1873 году слышались жалобы на упадок льняного и мешочного дела. Следовательно, почти десять лет тому назад уж иноплеменник грозился на нашу бедную землю. «Холст продают, — читаем мы в сборнике, — большею частию женщины, они же и главные его производительницы. Некоторые из этих женщин рассказывали мне (автору сборника) следующее: «Самое *злое* нынче время. Приходится *чуть не на коленях* умаливать купцов, чтобы взяли холст. Бывает время, хороший-то холст по рублю продаем за кусок (20 арш.!), по шесть, по семь гривен, а теперь вот... Эва какие куски по 35 коп. продаем! Да и то еще не берут!.. Случается, привезешь холст-то, а тут тебе и дают тридцать копеек за кусок (20 арш.!)». А вот что такое шитье мешков. «Шитьем мешков в Бежецке занимается почти целая слобода, называемая штабом; мешки шьют домах в полутораста. Работниц в них и старых и малых наберется сот до пяти по меньшей мере. Купцы, перекроив накупленный холст (закройщицами большею частью члены семейства купца), раздают его по этим домам для шитья. Плата за шитье полагается зимою 35 коп., летом 40 за каждую *сотню* мешков. Мешок шьется голландской пеньковой ниткой, которая идет из Москвы, нитки выдают швеям хозяева-купцы. Рабочих дней в году у швей от 200 до 250. В воскресные дни и прочие праздники, особенно летом, швеи работают как и в будни. *Самая ловкая* швея в сутки может сшить не больше пятидесяти мешков, если проработает часов пятнадцать или шестнадцать в сутки, а самая плохая не сошьет за то же время и пятнадцати мешков. Первая выработает в день до 20 коп., последняя до 5 (копейка за 3 часа работы[1]).

---

[1] Изд. 1874 г. Вып. 2-й.

Пять копеек в день обыкновенный заработок малолеток»... «Мне случалось, — продолжает автор, — побывать домах в десяти, где живут и работают швеи; но попал я туда как раз в такое время, когда у них во всем штабе не было ни одного заказного мешка и все швеи сидели без работы. Около одиннадцати часов утра вошел я в первый попавшийся дом. В комнатах, по крайней мере на полу комнат, довольно чисто, и даже слышен запах плохой помады. Меня встретили две очень молодые девушки, и той и другой на вид не более шестнадцати лет. Я поздоровался, девушки засмеялись и сказали с хохотом: «Раненько вы, сударь, по гостям-то изволите ходить!» — «Что поделаешь, занятие наше такое!» — «А ваше какое *заделье?*» — «Вы, сказывают, мешки шьете, так покажите мне вашу работу». Девушки *перестали улыбаться* и в один голос сказали, что у них вот уже более недели нет никакой работы. В комнату вошла пожилая с болезненным видом женщина и подтвердила только что сказанное. Расспрашивая их о житье-бытье, я узнал, что, кроме шитья мешков, у них нет никакой другой работы, что в год они впятером [1] заработают не менее 140 руб. и не более 200 руб. Все инструменты их состоят из больших иголок, концы которых они сами притупляют на бруске, чтобы не колоть рук. Люди немощные, старухи употребляют к тому же железные крюки, надевая их на большой палец ноги (шьют босые), чтобы придерживать края мешка во время шитья. «Очень трудно вам работать?» — «Трудно... да уж мы привычны: ведь нас с пяти лет за шитье-то сажают. Привыкнешь». — «Ну, а как же вы впятером-то на 200 руб. живете, ведь это мало?..» — «Н-ну, мы *еще находим...*» — «У вас огород, что ли, есть?» Швеи засмеялись. «Нет, у нас нет огорода», — отвечала пожилая женщина. Пожилая женщина закашлялась и ушла из комнаты. Одна из девушек тоже ушла. «Что же вы теперь делаете, когда вот работы-то нет?» — «А с гостями занимаемся..» — «С какими гостями? Что у вас, постоялый двор, что ли?» — «Нет... да вот... ко всем, значит, здесь в слободе — гости ходят... да вы будто не знаете... расспраши-

[1] В том числе одна немощная старуха и одна восьмилетняя девочка.

ваете?..» — «Нет, я не знаю... Так разве эти гости вам деньги носят?» — «Ха-ха-ха! Неужли же без денег? Бывает, и вина всякие приносят... Иной раз и офицеры и всякие господа прочие...» — «И много вас здесь таких, что гостей-то принимают?» — «Да все занимаемся... только старухи вот не могут». Когда я уходил, одна из девушек, засмеявшись, сказала: «Вы привезете нам винца-то когда-нибудь?..» Во всех домах, где я был у швей, я слышал все то же, что здесь описал, и везде мне делали такой же прием, местами еще красивее»... Но идет-гудет джутовый мешок и грозится на бедных мешочниц, грозится оставить их при одних гостях. Да разве это всё? Бедствия, приносимые этим губительным мешком, далеко не исчерпываются этими двумя только группами несчастных деревенских баб-ткачих и несчастных городских девушек-мешочниц. Ведь прежде чем лен превратится в мешок, ему надобно пройти массу рук, которые все остаются пустыми, благодаря иностранному пришельцу. Каемся — шум, поднятый в печати о злодействах джутового мешка, мы в значительной степени приписываем тому обстоятельству, что мешок этот бьет по карману барина ничуть не меньше мужика. Едва ли бы об этом мешке пошел такой шум, если бы пришлось кряхтеть только мужику. Впрочем, быть может, это мнение пессимистическое. Во всяком случае, перечисляя всех гибнущих от джутового мешка, мы должны упомянуть и о барине — ведь десятина (по тем же сведениям) может приносить до семидесяти пяти рублей *чистого дохода*. За барином мешок буквально валит с ног целую массу, тысячи простого люда, мужика. Буквально весь уезд, весь народ в уезде существует благодаря льняному производству, и притом почти исключительно ему. По тем же сведениям, почти вся масса земли, находящейся во владении и аренде крестьян, засевается льном. С пришествием мешка вся масса крестьянства во всех своих ежедневных нуждах делается вполне беспомощною. Но ведь мало вырастить лен, надо его еще и «сделать» льном; и вот, кроме мужика, который его растит, заграничный пришелец вырывает хлеб из рук у массы рабочих, занимающихся его трепаньем; на одной только льно-трепальной фабрике в Бежецке работает 400 человек рабочих. Куда они денутся и что будут есть? За льнотрепальщиками

идут ткачихи, швеи и т. д. Так вот вследствие того, что объявился какой-то заграничный, машиной сделанный мешок, объявился в 21 копейку, в буквальном смысле тысячи, десятки тысяч народу мгновенно становятся на гибельную стезю разорения... Попробовали наложить на мешок пошлину, то есть не пустить его силой, мешок и тут извернулся. Иностранные фабриканты, судя по газетным слухам, заводят три громадные фабрики для выделки тех же мешков в самой России, в самых центральных пунктах хлебной торговли, причем выделка его будет, конечно, машинная, за которой не угнаться никакому «рукомеслу», а цена его будет еще дешевле, потому что джут сырьем ввозиться будет уже без пошлины.

Словом, мешок, объявившийся в 21 копейку серебром, вдруг моментально оставляет без хлеба десятки тысяч народу, стариков, старух, матерей, детей, девиц и т. д. Спрашиваем, что может в смысле борьбы с этим бичом божиим сделать вся вышеупомянутая общинно-артельная, до высшей степени совершенства разработанная канцелярщина? Ведь на всей этой огромной территории, населенной тысячами людей, без всякого сомнения существуют все вышеупомянутые общинно-канцелярские порядки и добродетели; везде на сотнях тысяч десятин люди топчутся на межниках, идолослужительствуют перед межевыми ямами и т. д. Ни малейшего также сомнения нет и в том, что повсюду среди этих тысяч людей, мужчин и женщин, существуют всевозможные артельные начала, даже у бежецких швей при внимательном изучении окажутся непременно кой-какие артельные отношения, механизм которых, я уверен, доведен до такого совершенства, что сгоряча можно, на основании его, предрекать обновление всего существующего строя. Но, несмотря на все это, идет-гудет джутовый мешок и все это сметает как вихрем. Не слышит и не внемлет джутовый мешок, что, при пособии, мол, от земства, все эти начала распустятся пышным букетом, гудет-гремит и стирает с лица земли и общественные порядки и разрабатывающих эти порядки людей. Да что джутовый мешок! Не только он, этот истинно злой иноплеменник, попирает эти порядки, — и до прихода его в наших местах порядки эти мало помогали человеку... Не защищали они труженика-человека от самого непрестанного

грабительства. Джутовый мешок поражает по крайней мере сразу, а до джутового мешка работника-человека рвали поминутно и на всяком шагу. Везет он лен на продажу, его грабит маклак. «Часто *без гроша* в кармане (читаем мы в той же книге) торгаш бродит по рынку и торгует лен крестьян. Вот случилось сходненько получить партийку льна, скупщик вешает лен, высчитывает, сколько придется выдать мужикам, и тащит тех мужиков к какому-нибудь из троих льноторговцев-комиссионеров (с Петербургом). Купец выдает деньги; мужики с грехом пополам рассчитаны; а торгаш о чем-то беседует с купцом *на непонятном* для крестьян языке. В их беседе слышатся слова: карбонец, тара и множество других непонятных слов. Оказывается, что под словом тара разумеется то вознаграждение, которое купец должен выдать барышнику за хлопоты, и это вознаграждение считается на карбонцы» и т. д. Таким образом, оказывается, что канцелярские порядки не только не в силах сопротивляться европейскому мешку, но они буквально бессильны просто перед всяким желающим ограбить. Ведь, как видите из приведенной выписки, мужик терпит от грабителя, который нападает на него просто-таки *без гроша*. Джутовый мешок по крайней мере представитель капитала, и капитала серьезного, а до джутового мешка грабили не только без капитала, а просто без гроша, и против *такого-то* уж совсем ни с чем не сообразного разбойства в общественных и артельных механизмах, как видите, нет приспособлений. А что этот грабеж шел испокон века, это видно из того, что даже язык грабительский выработался особенный: ведь надо же время, чтобы выработать особый язык для грабежа, и не выработано ничего для противодействия ему!

Таким образом, при продаже льна, при его обработке, при выделке пряжи, холста, мешка мы постоянно видим около работника какого-то «любителя», который, как уже сказано, не имея в кармане гроша, получает, как-то так, только во имя желания поживиться, пользу, чистую прибыль и, разумеется, удовольствие. Где ж корень этой уступчивости необыкновенной со стороны мужика? Почему такая податливость перед самыми неосновательными притязаниями на наживу, и притом людей, желающих сделать это без гроша в кармане? Почему такая

снисходительность бежецких девиц к посещению их гостями и такая неясность в определении своей профессии? Почему такое как бы даже убеждение, не требующее сомнений в том, что мешок и гость с мадерой — суть как бы подспорье одно другому? Не пытаясь отвечать на эти вопросы категорически, отметим только следующие явления: то же тверское земство, движимое гуманными побуждениями (хотя и не без общего всякому российскому гуманству сухо-канцелярского оттенка), вздумало оказать пособие осташковским сапожникам, эксплуатируемым точь-в-точь так же, как все перечисленные выше производители льна-мешков. Оно стало образовывать «из работников» артели, давая заимообразно деньги на устройство таких артелей. Что же вышло? Вышли артели, только артели не «рабочих», а «хозяев». Сговорятся, например, пять человек образовать артель, им выдадут деньги; получив деньги, пять рабочих немедленно превращаются в пять хозяев, и каждый из них заводит *своих* рабочих. Этот факт, как нам кажется, дает указание, хотя и крошечное, на корень зла; если я сегодня рабочий, товарищ таких же рабочих, завтра, с легким духом, могу сделаться хозяином и нанять своего товарища в батраки, — это значит, что я отлично понимаю только *свою* пользу и что со вчерашним моим товарищем меня связывала, ставила наравне только равнявшая нас нищета, бедность, одинаковость несчастия. Очевидно, что если эту бедность я презираю и ненавижу в себе, то в соседе я ее забываю, то есть невнимателен я к соседу, не беру в личное свое внимание его горя и т. д. И действительно. Система бесчеловеческих отношений принесла свои плоды в том, что личность человеческую, не ценя в себе, русский человек мало ценит и в другом, и поэтому, несмотря на свои общинные и артельные порядки, он одинок, он в пустыне, и вот почему можно прийти к нему без гроша и, пользуясь его одиночеством, ограбить. Далеко не так в тех ново-возникающих общинах, где в основании союза кладется мысль о человеке, человеческом достоинстве, нравственных обязательствах друг к другу. В таких общинах немыслимо смешение понятий мешка и гостя с мадерой, ибо гость с мадерой — позор, обида, оскорбление нравственного чувства. Барыш, доставляемый гостем, заменяется усовершенство-

ванием способа труда. Круг сплочен во имя общего блага, во имя внимания к своим дочерям, и сыновьям, и старикам, и старухам, как людям. Единящая, таким образом, единомышленников «по человечеству» внимательная мысль не могла бы, положим хоть в деле джутового мешка, ограничиться бесплодными рыданиями перед купцом, который не берет холст, а непременно бы подумала о защите. Если мешок бьет тем, что он работается по щучьему велению машиной, то мысль о борьбе с ним тем же орудием непременно пришла бы в голову общинникам само собой: *нельзя* не бороться, *надо* бороться, потому что *позорно, бесчеловечно и по совести преступно* быть равнодушным к тому, что вот это, например, человеческое существо, моя или чужая дочь, в случае моего равнодушия должна будет существовать позорным ремеслом приема «гостей». Разве можно жить на свете, допуская такие вещи? Где же бог-то в нас?.. И будьте уверены, что даже ничтожная земская ссуда распределилась бы в этой общине не так, как в канцелярски-мелочной артели или в канцелярски-правильной общине. Да, обезличила русскую общественную мысль заменившая ее «общественная канцелярщина». И проела эта канцелярщина не то чтобы так называемую интеллигенцию, а в значительной степени и массы народные. Обыкновенно русское общество привыкло представлять себя в таком виде, что одна половина его здоровая, а другая — гнилая; народ здоров, а интеллигенция — гниль. Голова сгнила и болтается на мочалке, а в то же время ноги бегают в лучшем виде. Что за нелепый образ! И куда бы вы ни перенесли, здоровье ли в голову, а гниль в ноги, или здоровье в ноги, а гниль в голову, — одинаковая нелепица и невозможность представить себе этот нелепый образ. Если уж дело пошло на аллегории, то мне кажется, что русские недуги рисуются несколько в ином виде: в русском обществе тронута параличом целая половина тела, от головы до пяток; и именно — опять-таки если говорить сравнениями — та половина, где лежит сердце человеческое. Другая сторона, сторона опухшей, расстроенной печени, напротив, действует и регулирует весь строй жизни. Недаром у нас остроги каменные в четыре этажа, под железными крышами, и в каждом уездном городе, а народные школы — лачужки, кое-как крытые соломой,

да и не всегда топленые... Число посетителей острогов растет с каждым годом и, сообразно с неперестающим увеличением заключенных, растет и забота о том, чтобы их разместить, растут расходы, растут усовершенствования... А из университетов гонят, из гимназий гонят, а в деревенские школы не попадают сотни тысяч, миллионы. В остроге кормят даром, а вот когда недавно, *наконец*(!), удалось открыть в одном из университетских городов студенческую кухмистерскую, там, боже милосердный, какой поднялся трезвон, точно праздновалось вступление России во второе тысячелетие: о кухмистерской телеграфировали во все газеты; открывали ее с молебствием, водосвятием; причем служил сам епископ в сослужении с четырьмя архимандритами. Были войска, градоначальники... и все в парадных мундирах... Достигнута, наконец, возможность получить бифштекс ценою в пятнадцать копеек! Да и тот, как впоследствии оказалось (тоже в телеграммах), вышел никуда не годным: жёсток, как подошва, и едва ли не из маханины!

— Жестокие, сударь, у нас нравы! — скажем мы словами Кулигина...

4

«...Недавно одна учительница простонародной женской школы, помещающейся в одном из уездных городов, в одной из таких слободок, какая описана автором, посещавшим бежецких мешочниц, задумала приучить детей писать сочинения. Ученицы ее, все без исключения, если не будущие мешочницы, то все принадлежат к городскому пролетариату, на который у нас почему-то не обращается никакого внимания. Учительница сказала, чтобы девочки, как умеют, рассказали, у кого что на душе, и вот одно из таких признаний: «Я продумала целую ночь — писать ли секреты? Но надумала писать. У меня рассказ начинается с свадьбы мамы. Мама замуж вышла 21-го года, но она вышла не за милого, а за постылого, потому что она ни за что не хотела идти с ним под венец, хотела идти просить милостыню, но брат, особенно старший, Илья, ни за что не хотел ее оставить девушкой. Он говорил: «Если мы отпустим

просить (милостыню), то она года через два родит ребенка и придет к нам жить... А если отдадим за солдата, то будет уже не наша, а посадская солдатка...» Мама не хотела идти за своего жениха, потому что он был из жидов, но его перекрестили, и крестным отцом был епископ... Отец наш был худой, черный, поэтому мама до смерти убивалась, чтобы не идти за него замуж. Но вот справили свадьбу, и маму увез этот еврей в город. Она его не полюбила, но все-таки у них было трое детей... Старшая, Варвара, когда ей было шестнадцать лет, то ее прельстил молодой торговец. Мама, конечно, ее выгнала из дома, потом у нее родилась дочь Машутка... Он ее в замуж не берет, потому у него была жена... Второй сын у мамы был Николай, живет в N в почтальонах и нам денег не посылает. Третий, Григорий, каждую ночь где-то ходит и что делает — не знаю... Я сама уж другого гнезда. Сказать просто — незаконная. Это и по лицу видно, я белая, а другие черноватые. Пятая сестра — тоже незаконная, маленький брат — тоже незаконный. Теперь маме пятьдесят лет, но она не бросила этого дурного порока, и нынче она живет с одним солдатом-постояльцем... С ним мама стала добрее, но я этому не рада; она скрывает свои поступки, а все и маленькие дети знают; это, по мне, худо. Она меня раньше все била и ругала, да как еще ругала.. но когда она заругается, то я затыкаю уши, а когда лежу на кровати, то читаю молитвы, или рассказываю из русской истории, или сочиняю сочинения... Что она меня била и ругала, то вы (обращение к учительнице) в этом отчасти виноваты: помните, прошлую зиму сказали мне, согласна ли я поступить в гимназию, я сказала маме, а там не приняли, то мама меня и стала бранить, что я ее обманула... Но я решила — так как в гимназию меня не приняли, то я поступлю в монастырь, потому что хоть там и тюрьма, но лучше, чем здесь... каждый день брань, попреки, даром ем хлеб. Буду там работать, не буду видеть каждый день греха... А может быть, постигнет меня и такая участь, как старшей сестры? Я теперь думаю, что я ни за что не погублюсь — но не знаю... Ведь я еще невелика... а ведь когда буду девушка, то, может, так и сделаю, как сестра и маменька... Конечно, я буду стараться всеми силами, чтобы этого не сделать, а когда поступлю в монастырь, то не

буду соблазняться — а все-таки не знаю... Мне как не в монастырь, то более нет никуда дороги... А не то в могилу, потому что мне не пережить этой жизни...»

Нет — из участи таких существований, стонущих беспомощно по всем углам русской земли, покуда еще не сделано ни общественных вопросов, ни общественских задач. Недаром года полтора тому назад с таким необычайным торжеством был «пронесен» по всем журналам, и толстым и тонким, как доказательство, что в «общественских делах» значительную роль играет и сострадание и забота о беспомощном, тот факт, что в какой-то губернии общество прокормило старуху бабу. Едва этот факт был обнародован, как тотчас же его подхватили, и он обошел решительно все журналы и все статьи, посвященные общественным порядкам. Вышеупомянутая баба непременно присутствовала в каждой из статей, всегда выдвигаясь, как укор сомневающимся... «Вот, — писалось в одной, — вопреки уверениям, что наша община и т. д., мы можем сообщить следующее: в одной деревне» и т. д. Следовало повествование о прокормлении бабы. В другой писалось: «Между прочим, мы не можем не отметить следующего замечательного факта: в одной деревне, как нам известно из вполне достоверного источника, без всякого постороннего влияния крестьяне прокормили» и т. д. И опять баба... «А чтобы доказать, — писалось в третьем, — что упреки, расточаемые разными свежими или, вернее, свежепросольными наблюдателями, якобы в равнодушии... то вот факт, который говорит сам за себя: крестьяне деревни» и т. д. Словом, по всем журналам и газетам моментально пронеслась весть: бабу, бабу прокормили, бабу! бабу! бабу! И везде факт, в доказательство его достоверности, подтверждали цитатами: «Отечественные записки» сослались на «Русскую мысль», «Русская мысль» на «Русское богатство», потом все вместе на всех вместе... А вот когда в недалеком от Петербурга расстоянии, также «вопреки уверениям», в некоторой деревне была сожжена живьем некоторая больная старушка, так этот «прискорбный» случай проследовал в печати почти без шума... Жестокие, жестокие, сударь, у нас нравы...

«Впрочем, позвольте: в моей памятной книжке есть один незначительный эпизодик из народной жизни, вернее даже случай из народной жизни, рассказанный мне одним приятелем. Мне кажется, что здесь не будет лишнее привести его. Вот этот случай в том самом виде, как он записан у меня:

«Весна. Голодная, отощалая деревня: какие-то одинокие, брошенные на неприветливую, голую, безлесную равнину выселки в пять-шесть плохо обстроенных, почерневших дворов... Голодна, мрачна деревня, а весенний резвый и пьяный ветер — точно кровь пьет из жил невидимо; дует в лицо и грудь, и слабеет человек... Слабый от голода, обессиливаемый дыханием весны, ходит обыватель мрачный и почти злой. Пуще всего ест нутро, что много пустых мест: пусты закрома, и ветер по ним гудит, пусты погребицы, пусты кадки и горшки; на столе пусто, и пусто в столе... Загляни в закром — оттуда ветер дует; тронь горшок — загудит, а рядом тоже загудит другой... Мучителен этот звук! Наткнулся в пустых сенях угрюмый мужик на пустой бочонок: загремел бочонок, рассердился мужик, толкнул его ногой что есть мочи, бочонок с грохотом докатился до двери, ушиб мальчонку. Не понял мальчонка, что у отца на душе, заревел благим матом и взбесил отца окончательно; принялся мужик бить мать и шипит сквозь зубы — «Н-не тиррань ты меня, голодная соб-бака!» Голодны, холодны, слабы телом и духом и злы были обыватели: друг с другом почти не говорили, на баб не глядели; становились к ним спиной или боком. Злы были мужики и бабы и сердились друг на друга, на детей, на скотину — да и скотина была тоже голодна и сердита. Вон бодаются в чахлом пустом поле две коровенки: выгнали их в поле, а в поле-то есть нечего; и начали они драться друг с другом; одна думает на другую: «Это ты, подлячка, все сожрала, мне ничего не оставила!» А в поле-то ничего еще и не выросло — одна голая земля, и та плохо оттаяла. Даже бараны, и те пихают друг друга под бока, один другого подозревая в обмане. «Не может быть, чтобы нечего было есть, — думают они, — иначе зачем выгонять в поле? Стало быть, это ты, мерзавец, съел». А в поле-то их выгнали именно потому, что

дома нечего есть. Голодный возвращается скот по дворам и ревет и блеет без устали всю ночь... А от этого рева еще пуще закипает гнев у хозяина на сердце. Пьяный ветер, гудящие «пустым» закрома, голодный рев скотины и голодная мрачность людей — не приведи таких минут пережить и лихому лиходею!.. На беду в одну из ночей весенний пьяный ветер превратился в зимнюю стужу, вдруг, после теплого дня и теплого вечера, понесло откуда-то холодом, а там надвинулись темные тучи, повалил снег, поднялась метель. Господи помилуй! Господи помилуй! Всю ночь дрожмя дрожали голодные и холодные люди, дети, овцы и коровы. Вялый, худой, измученный вконец, выполз наутро крестьянин из избенки, занесенной снегом, выполз неведомо зачем. Глянул — а в плетне, между верхними концами кольев, — торчит крыло... Поглядел — птица какая-то... Гусь, кажется, дикий... Осмотрелся кругом — господи! да их видимо-невидимо! На крышах, на земле, вон на заборе, вон под крыльцом, по завалинам, везде из-под снега торчат крылья, птичьи носы, хвосты... Видимо-невидимо навалило птицы. Вон одну прищемило калиткой, другую прихлопнуло дверью в амбаре, только крыло видно... Вьюга застигла огромную перелетную стаю диких гусей и всякой дикой птицы. Ужаснулся крестьянин, какая этой птицы сила летела несметная... Не только на его дворе, а над всей деревней той насыпало ее точно из мешка на всех дворах, на всех плетнях, где носом в снег, где из-под снегу, хвостом или лапкой — все несчастная птица целыми десятками виднелась... Постоял, постоял крестьянин, дивясь дивному делу, подошел к плетню, вынул одного гуся, поглядел, отряхнул от снегу — глядь, а гусь-то жив, еще тепел... «Бра-а-атцы! — во всю мочь, не зная сам почему обрадовавшись, завопил он: — ведь они живые!» И побежал к соседу. От соседа к соседу — выползли наутро все. Все дивятся, все ахают и все *рады*... да, *рады* были, что гуси не замерзли! Откопают, отобьют от него снег, кричат бабам: «Волоки, волоки в избу...» — «Живы, живы!» — «Ребята, живехоньки гуси-то... Тащи в сарай, отойдет! Тащи, да легче, легче!..» И что ж, *забыли* голод, забыли злость и гнев и так-то принялись *помогать* гусям, спасать их от гибели, что даже повеселели, обрадовались... Все обрадовались — и старые и малые:

«живы... ведь живы... оживают!..» Только и слышалось по поселку... Горячая шла работа!.. Но вот опять приударило солнце, опять разлилось весеннее тепло, зазябшая птица отошла, отогрелась, выбралась из амбаров, сараев — выбралась, загоготала и улетела...

И только на другие сутки пришло иным на мысль: «Отчего это, ребята, гусей-то мы не поели? Ведь вот какая оказия! Какую прорву нанесло, а мы... ах, ты! Вот оказия-то... так даром и пустили!..» И тут только догадались крестьяне — голодные, и старые догадались и малые, что не съели они гусей от жалости... Жалко стало несчастных... Несчастье ведь с ними было!» Вот этот эпизод.

Видите, какое чудное, детское сердце! Но пора ему быть и мужественным, то есть мужать в благородных требованиях и благородных порывах. Ведь уж он большой; совсем большой человек, этот крестьянин!.. А чтоб быть мужественным, надо работать, работать...



V. НА ТРАВКЕ

1

«...Мне незачем подробно распространяться о том, почему (писал мне Лиссабонский из деревни еще в начале весны) все мои помышления, все мои, душевные и телесные, долговременные мучения, словом, почему все мое прошлое и все мое настоящее в конце концов привело меня к единственному, неотразимому, непоколебимейшему желанию... лечь на траву! Лечь на зеленую травку, лицом к сырой земле, лечь и закрыть глаза... У меня уж не было ни малейшего желания поехать «в деревню» для того, чтобы смотреть, что делает народ, слушать, что народ говорит, и, пристально вглядываясь в обиход народной жизни, высматривать и себе среди него работы, работы, как говорится, «по плечу»... Нет! мне действительно нужна

была только трава, зеленая трава, сырая земля; мне действительно только того и хотелось, чтобы лечь, лечь... в траву, зеленую, непременно зеленую... Лечь на сырую землю, лицом к сырой земле, к сырой зеленой траве, лечь и закрыть глаза...

...По возможности все это я постарался выполнить, то есть выбрался из Петербурга, нашел на широкой русской реке более или менее уединенное место и добрался до травы. Правда, по раннему времени, трава была маленькая, но действительно зеленая, сырая, так что можно было бы выполнить и другую главнейшую половину моих желаний — «забыться и заснуть», так сказать духовно заснуть на этой траве, не навеки, а на некоторое время... Но вот этого-то главнейшего желания моего мне и не удалось выполнить, и причина этого была для меня весьма удивительная. В прежнее время, когда я, как тебе хорошо известно, сам лез и совался в народную среду, сам выискивал себе в житейском обиходе этой среды хлопот, дел и забот, которые бы дали и мне, человеку без определенных занятий, право на существование, право на заработанный хлеб и право́ на сознание за собой какой-нибудь самой малейшей полезности среди нуждающихся в моих (как я думал) посильных трудах деревенских обывателей, — в это время немудрено было превратить собственную жизнь в ряд непрерывных беспокойств и забот о том, что живешь в деревне, где обыкновенно «отдыхают», где воздух, травка и т. д. Чего стоили мучения по поводу того только, что народ, для которого я, как говорится, «всей душой», не внимая мне, большею частью слушал меня из снисхождения, зевая в кулак, и т. д.

Совершенно не то теперь. Теперь, как видишь, я уже не суюсь, не лезу и ничего не хочу, кроме одиночества, тишины, молчания и зеленой травы... и вот теперь-то сам народ не дает мне покою. То я *сам* к нему лез, а он меня почти что не принимал; теперь он также *сам* лезет ко мне, и я *должен* принять его, ибо он напирает на меня массой. Не меньшая разница обнаруживается между нами обоими и в самой сущности этого «напирания» друг на друга. Я, бывало, повторяю, норовил «всей душой» и всячески старался «как лучше», а он теперь относится ко мне далеко не с такими побуждениями. Он норовит,

как мне кажется, уличить меня в чем-то, поминутно запускает в меня шпильки, язвит, критикует и вообще выказывает относительно меня, то есть вообще человека, не принадлежащего к народной среде, — огромную подозрительность. Подозревает же он меня в чем-то крайне злостном, и, что особенно замечательно, в этой подозрительности к «барину» вообще в народе замечается полное единодушие, сплоченность; какая-то невидимая нить подозрительности единит всех деревенских жителей, без различия их положения и состояния. Это единодушие и единогласие я впервые встречаю в деревне; в первый раз в жизни я чувствую, что деревня, в известных случаях, из растрепанной и размочаленной на множество бессильных в отдельности человеческих атомов вдруг может сплотиться в крепкую массу и стать буквально «как один человек». Где же тут возможность забыться на зеленой травке? Не дают, шпыняют...

Эту, совершенно для меня новую черту я стал ощущать на каждом шагу, как только мне приходилось быть в самом малейшем соприкосновении с народом. Разыскивая себе угол «зеленой травки», я ехал по железной дороге и на пароходе в полном молчании; я был занят своими мыслями; меня ничто не интересовало, да я и мало слушал, что говорится в толпе. Вот на пароходе какие-то два мещанина разговаривают о «своих делах». В былое время одни эти жилистые хищные морды обратили бы мое внимание, не говоря об этих «своих делах», которые наверное бы навели меня на тревожные и неприятные размышления; теперь же ни их ястребиные физиономии, ни их возмутительные «свои дела», о которых они разговаривали, не трогали меня в должной мере, хотя и были на этот раз действительно возмутительные... Вот, кстати, для образчика один из таких разговоров «о своих делах»:

— Давно ли жена-то померла? — спрашивал один ястреб другого ястреба.

— Да уж недели с две...

— Никак уж вторая у тебя помирает?

— Вторая! — ответил вдовый ястреб кратко и сплюнул за борт парохода...

— Был слух, что, мол, скончалась-то не вполне правильно?..

— Надо бы хуже, да нельзя!.. Вот как скончалась... Тьфу! Больше ничего!

Проговорив это, ястреб еще раз плюнул уже с ожесточением и, запахивая чуйку, с ожесточением прибавил:

— Не с покаянием или, примерно, будем говорить, как по-христиански, но, вполне можно сказать, с грабежом окончилась покойница, вот так я скажу!..

Ястреб еще раз плюнул, еще раз запахнулся и продолжал:

— Мы торгуем с братом... он в Буграх, а я в Залузье... Капитал один у обоих... Ты знаешь брата-то?

— Слыхал... Корней Егоров?

— Ну вот. Он самый. Можешь ты понять, каков он есть человек? Прямо сказать — тигр или, например, аспид какой железный... Приедет учитать лавку — так редко когда за ножи не схватимся... Двенадцать фунтов солонины однова я выкинул собакам, грудинку, потому оченно духом взялась, так ведь он, анафема-проклят, чуть было меня не зарезал, дьявол этакой!

— Крут!

— Чорт въяве, не то чтобы, например, человеку сходствовал... С этаким-то дьяволом я вот двадцать лет маюсь... Кажинный день норовит схватить за горло... Должен же я как-нибудь себя соблюдать. Так или нет?

— Само собой!

— Н-ну... Я тебе говорю по чести, что мне?.. Н-ну, вот и было у меня, в течение времени, скрыто, значит, тыщи три... значит, в куньем воротнике. Я тебе говорю прямо: под подкладкой, значит, было... Подкладка простегана, все честь честью. Воротник-то этот в сундуке... Вот, братец ты мой, как стала Авдотья-то помирать... и не помню, каким манером я обронил ключ от сундука. То ли обронил, то ли вытащила мать ейная — мать-то при ней была — уж не знаю; только что, гляжу я, мать-то эта самая тихим манером наняла подводу — марш домой! «Прощайте! недосуг, телятники, мол, приехали...»

— А есть у вас телята-то поеные? — перебил другой ястреб.

— Есть.

— Почем?

— Тридцать, тридцать пять...

— Гм... Н-ну?

— Ну, значит, и оказалось: валяется воротник за сундуком, подкладка вспорота, денег нет... Так меня, братец мой, и затрясло всего... Схватился за дочь — бить! Говори (так и так) — где деньги? Молчит как убитая, а была все время при матери... Тут старшая дочь, от другой жены, от первой, все и открыла. Своими, вишь, руками Авдотья-то отдала матери, а ключ-то, видишь, дочь ей вытащила. Я к Авдотье: «Сказывай, говорю, отдавала матери деньги?» А она, братец ты мой, глядит эдак-то на меня, зубы стиснула — «не скажу!» говорит. Я уж тут — даром что больной человек — вышел из всяких границ... «Н-нет?» — «Не скажу!» Как камень! Так и померла.

— Не вполне благородно!

— Я тебе говорю, скончалась не по-христиански, а, прямо сказать, разбойным манером померла. И всю жизнь-то как волк была... Только и возьмешь, бывало, боем одним... Упорная была покойница, настояще как дерево или, например, камень какой... Старшую-то дочь, от первой-то жены, слопала совсем... Да и мать-то ейная — тоже скорпиону преподобна. Да и Авдотья-то народила детей, тоже вроде как ехидны какие... только что возьмешь кнут, да оболванишь всех поголовно, и от первой и от второй супруги... ну, тогда и имеешь спокойствие...

— Так и пропали деньги-то?

— Ищи поди их! Мать-то ейная говорит: «это, говорит, мои были деньги; у тебя, говорит, денег нету; пусть, говорит, брат рассудит». Ну, а брат, ты сам знаешь... Он уж и теперь косится, как жеребец очумелый. Нюхает что-то. А как узнает, так ведь... Он меня раз топором было рассек пополам из-за того, что восемь фунтов двухтесных гвоздей недосчитался. А тут — так ведь он... Он и то все сулится: «Ежели, говорит, узнаю, что, например, скрываешь деньги, так всего, говорит, тебя издеру овечьим гребнем, то есть всю кожу издеру, в ленты...» Вот какой урожденный чорт!

— Н-да!.. Человечек, ничего... Не пропащий человек.. Нет! Человек уж, брат, вполне можно сказать... сурьезный!

— Живодер, одно слово...

— Ну, и что же? — спросил первый ястреб второго ястреба. — Ведь по делам-то выходит, опять тебе надобно жениться?

— Мне без жены, — отвечал второй ястреб, — все одно без рук... Первое дело — восемь человек детей, всех их надо держать в руках... второе дело — работники; накормить, напоить... скотины тридцать голов... А третье дело — торговля: сено, лес, мало ли на моих руках... Я вот и теперь, давно ли без жены-то? а и то смаялся... Двух недель не будет, а уж у меня голова кругом идет... Веришь — все руки отрепал, кое о ребят, кое о работников, нет способов одному управиться!

— Ну, только,— сказал первый ястреб,— трудненько, я думаю, насчет невесты будет... Не пойдут, пожалуй?

— Нейдут, анафемы... Про девок и разговору нет; те, брат, ноне сам знаешь... воля! Да ежели бы, положим, я и склонил девицу, так ведь это мне не расчет... Молоденькая на что мне? Кабы я бы молодой был — ну так! А то, хоша я еще и в силах, ну всё же не в пàру... У меня у самого дочери почесть что нèвесты. Вдову взять — опять редко которая вдова без детей; тоже нет расчету, и своих у меня много... А которая вдова и без детей, и можно бы, пожалуй, соблаз ей сделать,— ну, опять же трудно. Ноне вдòвы-то норовят за холостого выйти, потому всякая рассчитывает за своими чтоб ходить детьми...

— Как бы тебе того... без невесты, пожалуй, не остаться бы? — проговорил первый ястреб.

Второй ястреб подумал и отвечал с расстановкой:

— Думается мне, братец ты мой, что дело это как-никак, а сладится...

— Али есть на примете?

— То-то что есть. И такая, я тебе скажу, особенная женщина, лучше мне, по моим делам, не требуется... Первое дело, скажу тебе, состоит она на девичьем положении, следовательно, не вдова и вроде как девица. А может, и было что-нибудь, так ведь это, братец ты мой, не касаемое до меня, коль скоро я вступлю в брак.

— Само собой!

— А второе дело, веры она не нашей, століоверка... Я было и подумывал — хорошо ли, мол? Ну, так рассуждаю, что как она на нашего брата косится, то есть

на православных, то и ребятам потакать не будет... Для нее православный— что нехристь, татарин, а, стало быть, работники ли или ребята — уж это от нее им не будет снисхождения. Уж она их произведет в страх и вполне сократит... Окроме того, и по природе — ха-арактерная баба, упаси бог, какая кремневая! А мне такая и требуется, мне надо, чтоб она бы в дому была, как молния, например, во все места бьет, так чтоб и тут... Чтоб то есть пикнуть никому не давала, а уж эта — стрела огненная! Ты погляди на нее — из себя она сухощава, жиловата, речь у ей отрывная, одно слово, женщина упорная! А мне это и требуется... Мне в доме надобен такой человек, то есть чтоб страх к нему был у всех, а уж лучше ее, как я сужу, не сыскать...

— И что ж? Соглашается?

— Куда тут! Разве этакого-то безбожного человека согласишь сразу? Тут еще, погляди-ко, сколько надо хлопот. Соглашается? Да ей и заикнуться-то об этом деле — я так считаю, неспособно... На что отец духовный, а и тот отлетел от нее кубарем, как сунулся ее увещевать насчет, значит, веры... А тут она и вовсе осатанеет... Нет! ее надо перво-наперво обломать начисто всю, сбить с нее фонаберию-то; еще тут, друг любезный, хлопот будет, боже мой, сколько!..

— Как же ты ее обломаешь-то? Есть ли способà-то?

— Способà, я тебе скажу, есть. Видишь, какое дело... На счастье мое, братан-то, что я тебе говорил, купил у нее пять лет тому назад полдома, в Буграх-то... Пять окон по улице его, по вороты, а четыре окна ейные, и лавка ейная внизу-то, торгует она мелочами, а брат трактир держит... Уж она не раз жаловалась брату, что, мол, пьяные донимают; брат говорит: «Продавай свою часть, стало быть, четыре окна-то, то есть от ворот по угол». Ну, она упирается. «Я, мол, с чем останусь?» Ну, а теперятко, как, значит, я овдовел, братан-то и раззàрился на полдома-то... Первое дело, в случае браку полдома без покупки отойдут к нам, второе, у меня в хозяйстве будет человек сурьезный, а третье — и лавку-то ейную уж он возьмет за себя, а то теперь приговора не дают. Дело-то, видишь ли, вполне нам в руку. И полдому, и лавка, и хозяйка, и всё! Одно только и остается, что обломать ее требуется! Не идет, каторжная, добром-то! Главное —

в оглобли-то ее вопхнуть, а там уж рычи, не рычи, наплевать. По нашим делам, что злей, то лучше...

— Обломать-то хитро! А то бы тебе в самый раз...

— А братан-то? Эдакой-то разбойный человек, да чтобы он не обломал? Ну, уж это напрасно! Уж что ему вступило в голову, с мясом вырвет. Не расстанется!.. Мы было калякали с ним, «перво-наперво, говорит, надо побожьи, и не то чтобы стращать ее, что, мол, «отдай полдома», а так говорить, что возьми, мол, мою половину, всем домом владай и замуж выходи». Сначала, говорит, надо мягко, чтобы раззадорить ее на дом-то, жадны ведь бабы-то... А как ежели домом ее не возьмешь, ну тогда надобно напорством поступать. Братан-то говорит: «коли добром не пойдет, так я ее, шельму, огнем начну жечь со всех концов». Заведу двенадцать кузниц да примусь молотками зудить да полымем пускать — так она у меня в одни сутки позабудет, как и самою-то ее по имени звать, не токма замуж упираться... Нет, брат! Чего-чего... а уж этого от братана вполне можно надеяться... Ежели уж он меня, своей крови, не жалеет, так уж чужого человека — и в порошок изотрет, не ахнет... Уж это что!.. Утихомирит...

— Ну, а как в дому-то у тебя она ощетинится?

— А это-то что такое?

Ястреб показал свой кулак.

— Слава тебе господи, тоже с одного маху и мы переносье перешибали на своем веку. Зачем же щетиниться? это нехорошо. Надобно, чтоб честно, благородно, тихим манером... Мы хотим не худого, а хорошего... Бог даст, все и обойдется.

— Дай бог! — сказал ястреб. — Ну, а она-то, — прибавил он, — знает, что ли, насчет ваших замыслов?

— Настояще, пожалуй что, не знает... Это дело надо делать потише, сам знаешь... Надо ее нахлобучить с одного маху, надо сразу с обеих концов наперетъ, чтобы то есть непреклонность эту ейную перешибить... В таком разе надо помалкивать... Ну, хоша мы и молчим до поры до время, а чует она... озирается...

— Имеет подозрение?

— Н-да! так что-то бы как пужаться стала... Намедни братан-то не вытерпел, дюже уж его полдому-то сластит, полез к ей в половину осматривать... ну, и я с ним...

Сделали тот предлог, что будто насчет стропил и боровов, то есть, следовательно, якобы насчет страховки... Ну, наплели дуре всячины... Так, братец ты мой, как принялись мы это за осмотр-то, как принялся братан-то по всем местам ревизовать, вот тут она, братец ты мой, как будто испужалась... Потому братан-то ведь кока-с-соком... Уж что-нибудь он недаром это задумал; это ей известно... Вот она и стала озираться, как птица какая сумасшедшая... И стала топоршиться, как наседка... Думаю я так, что чует она...

— Надо быть, чует... Ну, а дом?

— Дом богатейший! что стропила, что балки — цены нету!

— Да, — сказал многозначительно первый ястреб, — это вам, по вашей коммерции, подходит... Ежели, например, взять в расчет, что полдому и, например, лавка и одно под одно трактир, то вполне можно сказать — не упускай бабы, но всячески старайтеся вогнать ее, например, в стойло... Я надеюсь так, что братан твой маху не даст!..

— Маху!.. Я тебе говорю ведь: не человек, а прямо — живорез! Такому ли человеку маху давать?..

— Н-да. А подходит, говорить нечего.

На этом оба ястреба закончили разговор о «своих делах» и замолкли...

Кстати уж сказать здесь же еще два слова об этих ястребах, чтобы более не возвращаться к этому предмету. Не так давно мне совершенно случайно пришлось быть в деревне Буграх и познакомиться с тем самым живорезом, о котором так много повествовал один из ястребов. Живорез живет в своем полдоме в самом центре трактира, в самом центре гама, шума, кабацкой брани и ругани. Он действительно как железный; голова у него не болит от этого кабацкого рева, несмотря на то, что комната его отделена от трактира дощатыми перегородками. В комнате кровать железная и железный несгораемый шкаф, да ко всему этому и он сам одинокий железный обыватель. Воистину это какое-то ястребиное гнездо. Показывал он мне сад. И здесь видно во всякой мелочи что-то железное и жестокое: маленькие, тщедушные, неумело посаженные кусты смородины огорожены такими

кольями, которые годились бы на сваи. Жиденькая малина привязана к такому столбу, что напоминает преступника, привязанного к позорному столбу. Эти огромные колья у растений и цветов кажутся поставленными не для подпоры и помоги, а стоят как палачи, «сило̀м» тащат к себе несчастные растения, не дают им ходу, «не пущают»... «Сило̀м» — в этом выражении вся суть ястребиной жизни: «сило̀м» с работниками, «сило̀м» с детьми, «сило̀м» с женой, со смородиной, с малиной. Везде веревка, палка, оплеуха... Показал мне этот ястреб конюшню и рассказал историю болезни одной лошади, и тут оказалось, что даже болезнь, и ту ястребиный ум нашел возможным уничтожить тоже только «сило̀м»... Ученым людям, докторам он не верит; — «это одна глупость!» — говорит он на основании опыта, и на этом же основании принялся он лечить лошадь сам. У лошади началась опухоль на животе и стала подвигаться к груди. Чтобы остановить ее, «не дать ходу», он поступил так, как вообще поступают, когда кому-нибудь не дают ходу: запирают ворота, привязывают на веревку и т. д. Так он поступил и с опухолью. «Позвал я, — рассказывал ястреб, — работника, взял веревку (лекарство от всех болезней и во всех вопросах), да и перетянули ей живот по самую по опух эту. Я к себе тяну, работник к себе, перехватили мы ее так, что только пополам не разрезали. Ну, тогда опух пошел назад, значит, к задней части... вот в эти места. Погодил я дни три, покуда опух совсем сядет на место, ни корму, ни воды не давал; наконец того, вижу, раздуло ей эти места... Как только раздуло их, тут я и пошел бритвой полосовать... Так оттуда болезнь-то эта самая кусками так и пошла валиться; одного мяса пуда полтора вывалилось из этих мест... И что же? Отдохла ведь... Полтора года еще после того воду возила... А дай докторам, то есть ученым, давно бы ноги протянула»... Что всего обидней, это то, что в силе веревки и палки ястреба убеждает не только такой случай с лошадью, но вообще несомненный успех его во всех делах, во всех предприятиях: везде он «первым долгом» пускает в ход веревку, палку, грубую силу и везде успевает. Не думаю однако, чтобы успех этот был продолжителен...

— Это ваш дом? — спросил я ястреба на прощанье.

— Покаместь только половина, скоро и другая будет наша...

— Покупаете?

— Купили бы, да незачем, и так будет наша...

И ястреб улыбнулся самой спокойной, самоуверенной улыбкой.

2

«В былое время такие ястребиные разговоры производили на меня самое ожесточающее впечатление. В былое время я бы непременно ввязался в этот ястребиный разговор, непременно бы стал вопиять против «безобразия» этих ястребиных взглядов и ястребиных поступков; но теперь я был так утомлен, утомлен вообще более или менее ястребиным направлением жизни и до такой степени уж освоился с той «зоологической правдой», которая при известных условиях делается единственным основанием и объяснением жизненного обихода, что даже и не думал принимать в ястребином разговоре хоть бы малейшее участие. Да кроме того, разве действительно не все так «должно подходить одно к одному», как повествовали ястребы, очевидно не исповедующие никакой другой правды, кроме зоологической? Разве «может» раскольница противостоять живорезу? Нет, «не может». Разве может живорез противостоять жажде получить задаром полдома? Тоже нет. Разве не «подходит» раскольница к семье овдовевшего ястреба? Хорошенько разобрать, так окажется, что вполне подходит. Семья его подобна какому-то гнезду, населенному враждующими друг с другом существами. Всех их надобно сократить, приплюснуть так, чтобы никто пикнуть не смел, и эта роль пресса и обуха как раз подходит к раскольнице; она *должна будет* ненавидеть эту семью как раскольница, затем — как каторжная, посаженная в эту семью как в тюрьму; следовательно, перед ее ненавистью и местью за свою судьбу все будут равны: ей все чужие и все враги — всех она *должна будет* угнетать, давить, а это только и требуется. Все, с точки зрения этой зоологической правды, здесь правильно, все на своем месте. Не удивился бы я даже и тогда, если бы мне сказали, что и раскольница *сама*, несмотря на предстоящую ей

каторгу, полагает, что каторга эта и для нее также неизбежна. Теперь она чует беду, но, подумавши, убедится, что иначе, как быть съеденной ястребами, ей нельзя ничего другого придумать; спрашивается: что такое она «на сем свете» с своим полдомом? Что она мотается? Ведь она не может же не чувствовать, что ее полдома сами тянутся к ястребу? Что ее полдома «подходят» к нему, что рано ли, поздно ли, а ястреб оторвет эти полдома? ведь он ястреб, разве *может он* оставить это дело так? С другой стороны, разве вдовый ястреб *может* изгнать от себя мысль о том, что раскольница как раз «подходит» к нему? И разве она сама-то не понимает, что ему именно требуется, чтобы она, раскольница, шла к нему как в каторгу, чтобы она была зла на свою судьбу и всех бы, во имя этого зла, ела поедом? Не безмозглая же она дура, чтобы этого не понимать и не видеть во всем этом неизбежной судьбы... Я даже уверен, что и теперь, еще почти ничего не зная, она уже чует гибель неминучую, видит ее неотразимость и начинает ожесточаться... А это тоже, как мы видели, «требуется». Все тут неизбежно и зверски-справедливо. И вот почему я с полным спокойствием слушал зоологические разговоры, точно читал Брема.

Итак, я ехал, молча смотрел, молча слушал; очень мало видел, а что и слышал, то меня весьма мало интересовало и, во всяком случае, вовсе не волновало. Но едва я раскрыл рот, чтобы сказать слово соседу, как немедленно же наткнулся на шпильку, пущенную в меня из какого-то неведомого мне, но несомненно враждебного источника или побуждения. Проезжали мы мимо какого-то монастыря, расположенного в весьма живописной местности. Место мне понравилось, и я захотел узнать, как оно называется и что это за монастырь? С этим вопросом я было обратился к соседу, по виду похожему на торговца, человеку лет пятидесяти, доброму, опрятному и с физиономией весьма благоприличной; ничего не было в ней ястребиного, а напротив, было очень много рассудительности. Вот к этому-то соседу я было и обратился с моим вопросом, но не успел я произнести и всей фразы, то есть не успел выговорить этого вопроса: «Что это за монастырь?» — а едва только выговорил: «Что это...», как благообразный торговец, не дав мне окончить

вопроса, впился, так сказать, в мои слова «что это...» и, видимо не желая слушать вопроса до конца, с ядовитою ласковостью в выражении губ поспешно заговорил:

— Это-с? А это, милостивый государь, по-нашему, по-мужицкому, называется божий храм! Да-с, храм господний! Как это самое по-вашему, по-благородному, называется, нам — уж извините — неизвестно, потому что мы мужики, а мужики, милостивый государь, само собой, не более есть, как набитые дураки...

Я с недоумением поглядел на соседа, не зная, как объяснить себе это нежелание слышать вопросы и этот язвительный тон речи.

Нимало не смущаясь моим недоумевающим и пристальным взглядом, благообразный сосед глядел на меня в упор, прямо мне в глаза, глядел пристально и продолжал уже не без некоторой доли жесткости в голосе:

— Но хоть мы и мужики и дураки, а мы, по нашему глупому мнению, так считаем, что коль скоро увидим храм господний, то вот эдаким вот манером шапочку-то снимем (он снял шапку), да крестное знамение-то сотворим (он перекрестился) и раз, и два, и три... Вот эдаким вот манером, почитаем мы, что следует нам поступать, по нашему, по мужицкому, по дурацкому мнению... Ну, а как по вашему, по благородному, по ученому мнению, уж этого нам неизвестно, извините. Потому мы неучены, а только что помним мы бога, чтим его, боимся, со страхом благодарим... А уж как господа понимают — ну, это нам неизвестно...

— По нашему, по мужицкому мнению, — заговорил уже другой голос позади меня, и заговорил гордым, уверенным тоном, — мы так считаем, что это есть монастырь святителя, отче Антоние папы Рымского, который из города Рыма на камение проплыл вплоть через Санкт-Петербург... Так мы по глупости своей считаем... Позвольте ваш билетик!

Этот второй пособник первого моего соседа оказался служащим на пароходе и, отрывая кончик билета, также упорно смотрел мне «прямо в глаза» и говорил уж совершенно наставительно.

— Извольте получить билетик... Антоние, следовательно, папы Рымские-с, милостивый государь, так мы полагаем, по глупому нашему смыслу...

Тут я решился возразить.

— Этот Антоний вовсе не был папой! — осмелился я проговорить.

— Ну вот-вот-с! — заговорил первый из моих враждебных собеседников. — Вот вы, милостивый государь, человек ученый, образованный, вот вы и знаете уж, что не так, то есть, по-дурацкому, по-мужицкому мы мужики-дураки думаем... По-вашему, мы есть дураки, а по-нашему, по-глупому, мы так полагаем, что надобно почитать святых угодников, и полагаем так, что святители отче Антоние, Рымские папы, на камение прибыл, то, следовательно, как угодника божия, мы его чтим и молимся ему, чтобы простил бы и помиловал наши согрешения... Н-ну, а вы, так как вы имеете благородное образование, так для вас, я так думаю, что ничего это не составляет...

— Я не понимаю, что вы говорите! — сказал я.

— То-то и есть, я говорю: дураки мы! И где же нам, дуракам, понимать, как должно по наукам, чтобы, например, не чтить святых угодников? Для нас, для мужиков, так представляется, по нашей глупости, что который человек имеет веру в бога, тот и в мыслях своих имеет, например, совесть... А который...

— Что ему бог-то! — вдруг перебил какой-то рыжий верзила сильным, режущим ухо, басом: — иному бог, а иному приятнее чорт... С чортом-то иному много будет поприятнее иметь свои каламбуры... Чорт-то, ведь он, брат, тоже учен...

— Нау-учит хорошему! — послышалось откуда-то из-за спины у верзилы...

— А может быть, что и так бывает, как вот он сказывает, — продолжал первый из собеседников. — Конечно, что мы глупы, ничему не учены, но только мы знаем от наших прародителей, как бы искони — бе бог, то мы и чтим и благодарим, и за хорошее благодарим и за худое, потому всё от бога. Хотя мы и дураки, но мы в поте лица несем наши труды, семейства, заботимся и терпим, потому так установлено богом, и господь нас не оставляет: были мы вот крепостные, а теперь господь нас освободил, и, следовательно, мы должны его славить и благодарить; так по-нашему, по-глупому, по-дурацкому... А по вашему, по-благородному, по-ученому, вишь, вот

не так... Антоний не Антоний, храм не храм, а «что, мол, такое?» (он передразнил мой вопрос), работать, вишь, не надо, повиноваться не надо, бояться тоже не резон, а живи в свое удовольствие... Ну, вот мы и думаем, что господь в таких делах — не указчик...

— Чорт *им* указатель, больше ничего! — отрезал верзила. — Бог на этакие пакости не надоумит, а чорт с удовольствием!..

— Конечно, дьяволу приятны поганые *ихние* поступки; что говорить! Это злодейство для него первое удовольствие. Господь нас, раб своих, из рабства, за наши мучения и слезы, освобождает, а дьявол-то — эво чего норовит! — чтобы, например, на оборотку! Ну, только нет, навряд!.. Хоша, конечно, ученому народу и приятнее, чтобы, значит, на прежних правах; но господь милостив и щедр, а бес сокрушится, яко воск... Так вот мы и думаем, по глупому нашему уму, и чтим, и молимся, а которые есть люди, покорные дьяволу, так тем зачем бога почитать? Мы вот, дураки-то мужичье, как видим храм, так и снимем шапочку, да низенько поклонимся... А вам зачем?

Последняя фраза была сказана с ужасным ехидством.

— Вот ученым, — загремел верзила, — написать бы себе чортову харю, да и почитать ее как своего заступника. Я так думаю, что это будет, по вашему уму, правильно... А мы, мужики, будем богу поклоняться, а чорта по шее долбить, доколе он не расточится, как последняя свинья. Вот как надо по-нашему.

— Закатил *ему* хорошего леща, — произнес какой-то посторонний слушатель, очевидно плохо вслушивавшийся в разговор, но, несомненно, имевший «собственное мнение» относительно «главного» предмета разговора, — засветил *ему* звезду по уху — вот тебе и правà!

— А кто ж на лежачих лесорах будет ездить? — вмешался новый собеседник, также имевший «собственное мнение».

— Да мы с тобой! Ты думаешь, не сумеем? Не беспокойся!.. А тò правà!.. Я б тебе показал, пузастому чорту, право!.. Погляди-ка, какие у них у всех пузы-то! все мало. «Подай назад...» Н-ну, нет, брат, погоди, повремени...

Разговор мало-помалу сделался общим, причем всякий хотя и говорил, повидимому, как бы что-то совершенно особенное, самостоятельное, не подходящее к тому, что сказал предшественник, но какая-то неразрывная, трудно уловимая нить соединяла все эти разрозненные мнения и фразы; что-то совершенно определенное, всем понятное лежало в глубине этих разглагольствований, казавшихся на первый взгляд почти бессмыслицей. Именно это что-то, скрытое от моего понимания, и ощущалось мною как нечто враждебное, неприязненное, ощущалось тем с большею неприятностью, что все разговаривающие, очевидно, имели меня предметом своего суждения, хотя большинство и не обращалось ко мне в своих рассуждениях. Разговаривая друг с другом, они смотрели на меня; при словах: «им», «ихние» и т. д. в мою сторону адресовался кивок или ядовитый взгляд. Очевидно, что в моей фигуре, в моей внешности они нашли какие-то общие, всем им хорошо известные признаки человека, над которым не только можно, а даже должно упражнять свои критические способности и практиковать критические взгляды. Я был точно на суде, точно подсудимый, и решительно не знал, как выпутаться из этих сетей, которыми опутала меня публичная критика. К счастию, в самую трудную для меня минуту пароход подъехал к какой-то деревне, где я решился выйти. Но в то время, когда я спускался по железной лестнице в лодку и отдал билет тому человеку, который уязвил меня во время пути, человек этот не преминул уязвить меня и еще раз.

— Слезаете? — спросил он. — Доброе дело-с... Так, так-то-с! По-нашему-то будет святители отче Антоние, папы Рымские, а по-вашему, пожалуй, и не требуется этого... Оченно жаль-с... А по-нашему так.

К счастию моему, я был уже в лодке, которая стала медленно отъезжать от парохода, и не слыхал, какие такие язвительные шпильки пускал мне вдогонку один из моих неожиданных преследователей. Но этим эпизодом злоключения мои не только не кончились, а, напротив, только начинались. С парохода я мог еще уйти; но что я мог и могу сделать в глухой деревушке, где я поселился, где меня никто не знает и где благодаря тому обстоятельству, что в моем паспорте значится фраза:

«бывший студент», «учитель», — сразу определилась во мнении деревенского общества самая зловредная, самая не популярная, а главное, не подлежащая ни малейшим сомнениям в зловредности, сторона моих нравственных свойств. «А, студент! — сказал сельский писарь, прочитав вид. — Так!» Неграмотные мужики только поглядели на меня исподлобья и стали переглядываться друг с другом и писарем. Слово «так» писарь произнес таким тоном, что оно совершенно ясно для всех выразило такую мысль: «А-га! вон куда *их* стало заносить!..» Я отличнейшим образом понимал смысл всех этих взглядов, всех этих «тонов», которыми говорились, повидимому, самые обыкновенные вещи, понимал, что в глубине этих взглядов и обыкновеннейших разговоров лежит подозрительность не собственно ко мне, которого никто не знает в этих местах, а к целой, огромной группе известного сорта людей, в которых сосредоточивается все, что народ почитает опасным. Я все это уже видел, чувствовал и хотел бы что-нибудь сказать в свое оправданье, да не мог, не знал, как начать, да, наконец, мне и сообразиться-то не давали порядком, потому что шпиговали на каждом шагу. Я молчал, сидел либо в своей избе с книгой, либо с книгой уходил на реку — и везде меня настигало шпигованье. И в этом шпигованье — а главное в тенденции-то шпигованья — все: и бедный, и богатый, и власть деревенская и деревенская безгласность — все как один, все согласны, все напирают на одно и видят зло в одном и том же.

Лежу я на этой самой зеленой травке, и вдруг развязной поступью подходит ко мне деревенский пролетарий; он в рваной рубахе, рваных штанах, он бос и наг; я же нанял его сделать мне кровать; я же дал ему на выпивку «для начатия» работы — и он же, выпив, первым долгом является критиковать меня, его заказчика.

— Извините, господин, — говорит он, точь-в-точь *как все*, смотря мне смело и *прямо* в глаза и, *как все*, загадочно смело улыбаясь, — извините, что мы вас спросим... Позвольте узнать, как будет ваше, например, звание?

— Зачем вам?

— Да собственно, чтобы знать-с. Например, откуда, как?.. В нонишние времена, сами знаете, оченно много разных шарлатанов оказывается.

— Я приехал жить летом на даче, — категорически отвечаю я. — Мне надо пожить в деревне для здоровья.

— Так-с... Стало быть, из Петербурга к нам для здоровья собственно?

— Собственно для здоровья. Видишь, какой здесь воздух-то! Вот мне и хочется подышать.

— Воздухом-то-с?

— Да, воздухом.

— Ну, а в Петербурге-то нешто нету воздуху-то?

— Есть, да скверный.

— Ишь ты ведь! Стало быть, для воздуху?

— Да!

— Так-с. По машине приехали, насчет, например, воздуху?

Молчание.

— Очень приятно...

Молчит и смотрит на меня, как говорится, «в оба».

— Что ж ты, работаешь кровать-то?

— Мы работаем-с. Не сумлевайтесь... Будет исправно.

— Пожалуйста, поскорей... Шел бы ты работать!

— Слушаю-с.

И все-таки стоит и смотрит в оба. Наконец нехотя идет и говорит:

— Н-ну, очень приятно... Воздух у нас мягкий... Коли ежели вам приятно насчет воздуху... Да мы так только, любопытствуем: кто, мол, такие? Так насчет воздуху — это превосходно! А кровать будет готова, не сумлевайтесь.

Идет.

— Для воздуху?.. Ловко! Из Петербурга... Та-а-ак.

На полдороге остановился, поглядел на меня, посвистал весьма развязно и наконец-таки ушел.

Ушел пролетарий, является туз, старшина, богач.

— Бог помочь, — говорит он, входя в избу, и, едва я ответил на приветствие, хочу ему подать руку, как он с улыбкой (*та самая улыбка*, всеобщая) произносит:

— Перво-наперво позвольте уж нам наш мужицкий закон соблюсти, богу помолиться, а потом уж и вашу ручку примем. Уж извините! Такое у нас, у мужиков, у дураков, глупое обыкновение.

Он помолился на образа, повесил картуз и сказал:

— Ну, вот теперь позвольте познакомиться.

Следуют те же самые вопросы: откуда, зачем и т. д. Но на этот раз некоторые из моих объяснений проходят без подозрения. Старшина, как человек бывалый, уже понимает, что «для воздуха» можно приезжать из Петербурга даже и по машине и т. д.; но вот заходит речь о паспорте, о том, что в паспорте стоит слово «студент» и другое слово «учитель», и дело принимает другой оборот.

— Я удивляюсь, — говорит старшина, — чему только в нонешние времена учат ученых людей! Я к тому, извините, что вот у вас в паспорте сказано «учитель»; ну, вот мне и пришло на мысль... И чему только, я удивляюсь, учат нонича? Двадцать лет его трут и мнут, а — скажите вы на милость — появляется по окончании этого самого курса столь бессовестный человек, что он даже, извините, лба не умеет перекрестить... Я вас, извините меня, не знаю; кто вы такие, мне неизвестно, может быть вы и бога почитаете, опять же я не знаю. Я должен прийти взять бумаги, потому, по нонешнему времени, сколь много шарлатанства... Я не про вас говорю, а только к слову, что сказано вот тут «учитель» — ну, и я к слову насчет, значит, разных подлецов прочих упомянул... Ведь иной бессовестный человек, иной раз встанет утром, рожу свою поганую не умоет — сейчас зажег папиросу или там цыгару, подбоченился, засвистал: фю-фю-фю, шапку в горнице надел, ходит перед образами как ни в чем не бывало... Ведь вот какие есть мазурики! Был у меня «тоже», вот *как и вы*, этакой бессовестный учитель... Среда, пятница, Петров пост — ему это и внимания не составляет! Земство прислало — дай бог ему здоровья — там тоже всё ученые люди, высчева кругусмыслу. Пост не пост — пошел на погребицу, облапил горшок молока — лакает, как свинья. Извините, уж я с вами говорю прямо: я пришел к вам по делам; хотите, слушайте меня, хотите нет, а что я пришел — то потому, что я начальник здешний. Вы барин, а я мужик, но я все же ваш начальник, и пришел я по делам; а не угодно меня слушать — как угодно.

Я просил говорить; говорил, что я все это понимаю и признаю его власть и т. д.

— Так вот каких нониче шарлатанов натворили! А считается учитель, тоже деньги получает. Он — бессовестный, лба перекрестить не умеет, а учитель! Чему же он может учить? Я бы его самого растянул в волости — да, вишь, тоже нельзя, заступятся; я так считаю, что это все одна шайка, рука руку моет, чтобы дух шарлатанский распустить по свету, а тем временем... Мы тоже слышим и видим, сделайте одолжение. А впрочем, очень приятно познакомиться. Воздух... что ж? Ежели насчет воздуху — ничего... сколько угодно. А за глупые наши мужицкие речи уж не взыщите, потому мы не ученые, а мужики-дураки, следовательно, и умных речей у нас нет. Ну, а какие есть, не взыщите. У нас тут воздух; вполне можно сказать, может освежать, например... До свидания-с!

Ушел, но этим не кончилось: на дворе, где мужик-пролетарий делал мне какую-то нелепую кровать, завязался общий оживленный разговор обо мне и о моих, всем ясных, всем враждебных свойствах. Замечательно, что и богач-старшина, и мужик-хозяин, и баба — все были как один человек. Но пуще всего меня волновало то, что пролетарий-то и был особенно неумолим в подозрительности.

— Слушай ты его, — азартно говорил он старшине, не переставая работать, — ты его послушай, он тебе наплетет... Учитель! Коего ему дьявола воздуху понадобилось за полтораста верст от Петербурга? Ты за ним должен глядеть в оба!.. Они мастера разговаривать-то — воздуху!

— Ну, будет тебе, — урезонивал его старшина, — тебе говорят, дураку: на дачу приехал; разве мало ездит господ?

— То-то много — не мало! Я про то и говорю: много, мол, их, шарлатанов. Он вот приехал насчет воздуху. А что у него на уме?

— Ну, что?

— Да! Что? Ты начальник, ну-ка говори, что? Знаешь?

— А ты знаешь?

— Я-то? Я его насквозь вижу.

Каким образом, через несколько времени такого разговора, плотник-пролетарий нашел возможным провозгласить на весь двор фразу о том, что «*они*, в прежние

времена, людей на собак меняли, нам это хорошо известно», я решительно не понимаю и совершенно не могу выяснить себе направления мыслей плотника. Но фраза была произнесена громогласно и поддержана подобными же примерами: поддержал и мужик-хозяин, и хозяйка-баба, и даже старшина. Пролетарий-плотник будоражил публику больше всех. Когда была готова кровать, я дал этому моему ненавистнику на водку, дал я ему хорошо и надеялся, что он снизойдет ко мне и перестанет относиться ко мне с озлоблением, которого я ровно ничем не заслужил. Но я жестоко ошибся; плотник выпил «на все» и поздно ночью появился около моей избы.

— Эй! — кричал он мне с улицы. — Учитель! Поди-ка сюда. Иди, что ли? Н-ну, будет тебе, перестань, ид-ди! Я бы тебя поучил малым делом. Поди, я тебе дам наставление... Чего молчишь-то?

— Будет тебе орать-то! Не нашел время днем! — остановил его голос хозяина. — Чего орешь? Спит он.

— Спит? Ну, пускай: пес с ним. Пускай. А то бы я его вопросил бы о предметах. Пущай бы отвечал. Ну, пес с ним... Я бы ему показал, как человека на собаку менять... Я бы его научил... Ну, пес его дери...

Таким образом, на первых же порах моего пребывания в деревне я не мог не убедиться, что в настоящее время в народной массе бродят какие-то не вполне ясные для меня идеи, которые сплачивают ее в полном единомыслии. Во имя этих идей народ может «как один человек» поступать. В этом я убедился, несмотря на то, что лично ко мне враждебность окружающих меня лиц поутихла, хотя и не прекращалась. Следовало бы здесь рассказать про одного прохожего старика, который раскрыл мне господствующие теперь в массе идеи в полной законченной последовательности; но этот старик так великолепен, что я посвящу ему особую главу. Теперь же я ограничусь сказанным.

«Боже мой! как мне доказать им, а в особенности вот этому плотнику-пролетарию, что я вовсе не то, что̀ они обо мне думают?» — думал я не раз, чувствуя ежедневно, ежеминутно тяжесть какой-то враждебной подозрительности во всех деревенских обывателях.

Они, правда, уж не разглагольствовали со мной открыто, они могли проходить мимо меня; но это было еще хуже: упорный, подозрительный взгляд каждого из них всегда останавливался на мне, долго пронизывал меня и нимало никогда не смягчался.

«Отдыхать» на травке при таких условиях было в высшей степени неудобно. Наконец желанный случай доказать, что я не «шарлатан», представился мне совершенно неожиданно. Но результаты получились совсем не те, каких я ожидал. Об этом неожиданном случае я расскажу дальше.

VI. СВОЕКОРЫСТНЫЙ ПОСТУПОК

1

«Итак, — думал я, — что же такое должен я сделать, чтобы снять с себя, в общем мнении людей деревни, подозрение в злонамеренности?»

Меня, без всякого сомнения, глубоко радовало то новое (для меня) явление сплоченности деревенских людей, которое обнаруживается в настоящее время в ревнивом оберегании «мужицких правов», но право же, думалось мне, они «не на того» напали, и не я тот человек, который таит в душе своей злостные относительно этих «правов» намерения... Чтобы доказать это подозрительным деревенским людям, очевидно, необходимо было совершить какой-нибудь такой поступок, который бы сразу, и притом для всего *сплошь* подозрительного деревенского общества, показал мои подлинные желания и взгляды по отношению к ним, деревенским людям, моим новым знакомцам и неожиданным врагам. Необходимо было притом совершить такой поступок, который бы обнаружил мои намерения *без разговоров*, так как именно только «*за разговоры в деревне*» на Руси, как известно, сгибло немало народу, а я просто хотел отдыхать на травке, а насчет погибели не думал спешить, потому что, казалось мне, и так я уже почти погиб... Поступок, не сопровождаясь разговорами, должен был в то же время иметь

то свойство, чтобы при *всеобщей* подозрительности, при *всеобщей* сплоченности в недоверии и ревности к правам давал бы также *всеобщее*, то есть для *всех* одинаково доступное представление о том, что я не крамольник и не враг вообще крестьянского благополучия, необходим был, следовательно, поступок, как говорится, просто «благородный». Раз *все* меня подозревают, надо, чтобы и подозревать перестали также *все*, а для этого и надобно было поступить «вообще» благородно. А так как и за благородные поступки также на Руси сгибло несметное множество благороднейших людей, то необходимо было придумать такой благородный поступок, чтобы он, во-первых, был меньше булавочной головки, а во-вторых, чтобы он обладал свойством полнейшей неуязвимости, чтобы под него никто не мог подкопаться, придраться или «прицепиться». Соединив все сказанное выше в одно целое, читатель, надеюсь, поймет, что задача, которую задало мне новое течение деревенской мысли, была весьма затруднительна: я должен был совершить такой поступок, который, во-первых, должен быть общепонятен, во-вторых, неуязвим, в-третьих, благороден, в-четвертых, меньше булавочной головки, и, наконец, в-пятых, поступок этот в общей сложности должен был так ли, сяк ли дать деревенскому люду представление о том, что я, неизвестный для них человек, не таю против них зла.

Что же такое должен был я сделать?

Долго ломал я голову и, вероятно, не пришел бы ни к какому результату, если бы меня не выручила совершеннейшая случайность. Именно: понадобилось мне быть как-то в Петербурге, и здесь, у одного из приятелей, я совершенно случайно встретил, в числе разных книг, разбросанных на письменном столе, небольшую брошюру об оспопрививании и, просматривая ее, узнал, что в Петербурге, в императорском вольном экономическом обществе, можно получать оспу бесплатно, так как давно уже образовался какой-то капитал, на проценты с которого оказалось возможным устроить даровую раздачу оспенной материи. Сведение это сразу вывело меня из затруднительного положения. Я вспомнил, что перед отъездом из деревни я как-то слышал от старшины, что он тоже собирается ехать в Петербург и, между другими

делами, которые думал сделать в Петербурге, хотел также купить для волости и оспы. Сделаю, думал я, это дело для деревни. Я — посторонний человек, и хотя поступок этот будет весьма ничтожный в смысле общественной пользы, а все-таки будет, во-первых, полезный поступок, во-вторых, даст деревне возможность взглянуть на меня не с худой, а с доброй стороны, а в-третьих, такой поступок никого не может обидеть, и всякий должен сказать: «хорошо». Авось, думалось мне, крестьяне переменят обо мне мнение, когда узнают, что я, которого они считают в числе ненавистников ихнего благополучия, вспомнил о них в Питере, вспомнил о их недостатках и добыл бесплатно такую вещь, за которую они до сих пор, как мне известно, платили деньги. Хотя дело, которое я задумал сделать для них, было решительно микроскопическое, но его никто из крестьян не будет в состоянии объяснить каким-нибудь худым побуждением, а мне, в моих стеснительных обстоятельствах, ничего иного и не требовалось. Не утаю от читателя, что личный расчет, руководивший мною в этом «благородном», с «булавочную головку» поступке — расчет на то, что поступок этот, давая крестьянам некоторый намек на присутствие во мне добрых намерений, умягчит их сердца и мысли и даст мне возможность хоть неделю полежать на травке именно так, как я об этом мечтал, этот личный расчет побудил меня дать моему поступку некоторую огласку. Нужда, говорит русская пословица, научит кирпичи есть; та же нужда учит есть и калачи, она же и меня научила тому, что известно под выражением: рожь на обухе молотить и соринки не обронить. И точно: лишь бы только выбраться из-под гнета незаслуженного недоверия, ни единой соринки из такого ничтожнейшего «поступка», как трубка с телячьей оспой, я не проронил. Возвратившись в деревню с оспенными трубочками, я постарался сделать так, чтобы они достигли рук оспопрививателя, описав по деревне, по возможности, значительный круг и пройдя чрез многие руки. Для этого я вручил трубочки крестьянину совершенно мне незнакомому, даже из другой деревни, дал ему двугривенный, с тем чтобы он отнес эти трубочки знакомому мне пролетарию, чтобы пролетарий передал их старшине, а уж старшина передаст их оспопрививателю. При этом,

давая двугривенный, я просил незнакомого крестьянина передать пролетарию на словах следующее:

— Скажи ему, чтоб он передал эти скляночки старшине и сказал бы ему, что не надобно ездить в Петербург и тратить крестьянские деньги. Я вспомнил, что вам надо, и достал бесплатно. Ни копейки не стоит. Зачем напрасно тратить деньги? Крестьянам деньги нужны. Пусть скажет старшине, чтобы не ездил, не тратил. Сколько угодно дают бесплатно...

Несколько раз повторял я ему одно и то же, всякий раз сокращая речь, так что в конце концов крестьянин ушел от меня, неся в памяти своей только представление о том, что вот «за это прежде платили деньги, а теперь бесплатно» и что я, именно я, Лиссабонский, «*вспомнил*» об этом, я, Лиссабонский, не захотел, чтобы деньги тратились даром.

Такого шарлатанства я бы никогда прежде не позволил себе, да никогда оно и не пришло бы мне в голову, вероятно потому, что мне никогда также не могло прийти в голову, чтобы меня-то, меня, Лиссабонского, человека, именно из-за сочувствия деревенской нужде обреченного остаться вне общества, человека, вынужденного скитаться, не имея определенных занятий, чтобы меня-то мог деревенский человек заподозрить в желании воротить крепостные порядки. А раз это случилось, надо было подниматься на хитрости.

Хитрость моя удалась как нельзя лучше в том отношении, что трубочки с оспой действительно достигли рук оспопрививателя не прежде, как побывавши в десяти других руках, причем передача из одних рук в другие сопровождалась комментированием моих слов «бесплатно», «вспомнил», «напрасно не тратить денег». Результаты этой уловки не замедлили обнаружиться, но, увы, они были вовсе не те, которых я ожидал! Моим бесцветным, микроскопически «благородным» поступком я хотел примирить с собою до некоторой степени *весь* крестьянский мир, так как он *весь*, всей массой, «*все как один*», напирал на меня в своей подозрительности. Но, увы! поступок мой в сотый раз доказал мне, что единение полное и плотное в недоверии к крепостническим злоумышлениям, подозреваемым крестьянином во всяком человеке, который носит сюртук, есть то самое

плотное единение, которое сковывает нацию перед чужеземным неприятелем, и что, раз дело коснется интересов обыкновенного жизненного обихода, нет того, что называется «масса», нет сплошной толпы, нет мысли, проникающей всех и вся однообразным сочувствием ей или несочувствием... В сотый-тысячный раз убедился я, что если народ носит одинаковые полушубки, одинаковые бороды, пашет одинаковыми сохами и косит одинаковыми косами и т. д., то это вовсе не означает, что он «масса», что он одинаково думает, исполнен одинаковыми желаниями, что вообще нельзя «любить» сплошь всю деревню, хотя бы у нее сплошь у всей были «ядреные щеки» (тоже свойство народное) и т. д. Вы видели, какой почти бесцветный поступок совершил я, полагая, что *весь* крестьянский мир скажет за него: «хорошо». Однако посмотрите, что вышло.

Входит ко мне в избу деревенский туз, старшина.

— Доброго здоровья!

— Здравствуйте.

— Зашел на минутку. Присесть позвольте.

— Пожалуйста... Там, я послал вам...

— Как же-с! Как же! Получили... Благодарим покорно! Очень благодарны... «Вспомнили-с!..»

Он отер платком лицо и не без тонкой иронии проговорил:

— Будучи вы в столице, изволили вспомнить наших мужичков...

— Совершенно случайно...

— Прекрасно-с. Это доказывает ваше внимание... Так как дело это нисколько вас не касающее, потому мы сами завсегда знаем, что требуется, а, между прочим, вы имели такое внимание, что вспомнили, то мы и считаем это... как ваш благосклонный поступок... Очень благодарны-с!

— Помилуйте, ничего не стоит...

— Нет-с, что же-с! Мы понимаем... Должны ценить... Бесплатно-с... Это мужичкам будет приятно... Да-с. Это для них первое удовольствие... Теперича они эти двадцать там или тридцать рублей, которые на оспу шли, пропьют у кабака. Как же? Экономия!.. Чистый барыш! Ну, само собой, и надо нажраться... Хе-хе-хе...

Гость мой как будто начинал слегка раздражаться.

— Вы уж меня извините-с, я — мужик, говорю по-мужицки, может, моя речь для вас оказывает как грубость, а уж извините — позвольте вам упомянуть — «нехорошо-с!» Очення для меня неприятно... Конечно, вы от доброго сердца, а так как вы не знаете наших делов, то уж извините, хотите сердитесь, хотите нет, а уж скажу: «дурно!», очень дурно поступили!

— В чем же?

— Позвольте вам сказать — вы наших делов не знаете... Теперь спрошу вас: ежели вы имели такое внимание, зачем вы прямо мне в руки не отдали?.. Кто начальник?

— Вы!

— Почему ж вы отдали мужичью?

— Вас не было, кажется...

— А вам, коль скоро вы так благосклонны, а вам погодить бы-с! А вы еще изволили назудить им «бесплатно». Зачем-с?

— Действительно ведь бесплатно...

— Знаю-с, очення знаю! Я про то говорю, зачем вы им внушаете вредные мнения?.. Они и так уж избаловались, негодяи, а вы им эдакое мнение внушаете... Кабы ежели бы вы знали наши порядки деревенские, так вы бы старались внушить им добро, а не зло, а вы их утверждаете в глупом мнении... Ведь они, канальи этакие, и так ничего знать не хотят, ведь за них, подлецов, сколько раз я в холодной-то сидел — за недоимки? А вы им — «бесплатно!» Я, по-ихнему, и так уж из воров вор... Послушать их, так я их каждый день обкрадываю,— и податей много беру, и земских много, беру да в свой карман кладу, потому что для них, канальев, нет лучше, приятнее удовольствия, как чтобы не платить ни копейки... А вы им воткнули в глупые ихние башки эдакой, например, предлог, что «бесплатно!» Ведь теперича они как загалдят-то! Теперича заикнись я им что-нибудь касательно денег, податей или чего прочего, ведь у них есть предлог: «даром, мол, брал, а деньги в карман клал». Нет-с, уж извините, а сказать, что вы хорошо поступили — этого по совести сказать не могу... Нет, нельзя этого сказать, нельзя-с!

— Я не знал.

— То-то, что не знали-с. Это мы понимаем, что ничего вам неизвестно... И другие-прочие тоже ничего путем не понимают, а делают распоряжения и также вот благосклонно поступают, а выходит на поверку, что избаловали народ до такой степени — сма-атреть тошно! Богом вам побожусь — смотреть тошно! До такой степени расслабили его благосклонными вниманиями да строгими взысканиями, что подобен он стал расслабленному младенцу или какому-нибудь бесчувственному пьянице, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой... Хлеба у него нет, овса у него нет, податей заплатить не может — совершенно без рук, без ног, недвижим и расслаблен... Тут ему и способие, тут ему и всякое снисхождение, — а наказывать его, чтобы, например, за невзнос прописать ему мягкую часть для здоровья, как можно, нельзя! Помилуйте! «Как можно драть! Это ужасно...» Почему же, позвольте вас спросить, когда бывши мы при крепостном праве успевали не токма свою землю обработать, а обрабатывали и господскую, да раза в три больше нашей? Почему это? А теперь и своей нам много, три полосы, извольте поглядеть, лежат в бурьяне... Да и то, только что, прямо сказать, бабы бьются, а эти, орлы-то, мужварье-то это безобразное, только калякает, да перекоряется друг с дружкой, да у кабака сидит, способий ждет. Почему, позвольте вас спросить, в прежнее время были у нас хлебные магазины полным-полны, а теперь они пустые, того и гляди на кирпич продадим, а деньги пропьем? Ведь до какой степени ослаб народ, невозможно этого и высказать вполне... Ведь он хомута починить не умеет! Помилуйте! «Да, дурак ты эдакой! Да ты взял бы цельный-то хомут, да поглядел бы, как он сделан, да и делал бы так. Тут, вон видишь — дыра, и ты, мол, дыру верти; тут вот веревка продета — и ты веревку продевай!» Учишь его, дурака, а ему все одно — к стене горох. Стал он совершенно как меланхолический какой-нибудь осел, извините меня. Чем бы, в самом деле, починить хомут-то, а он поглядит на него, поглядит, да зевнет, да шваркнет куда-нибудь в угол, в грязь, а сам попер нога за ногу к кабаку, не навернется ли какой пьянчуга, не поднесет ли стаканчика!

Гость мой все более и более воодушевлялся.

— Почему, — продолжал он, — почему я... пошел мне

уж пятый десяток, почему я посейчас знаю, что́ нужно по хозяйству, и все могу сделать? Я и сапог сошью, не пойду в люди, я и косу отпущу, я и плотник, я и шорник, я и кузнец — то есть, одним словом, все, что потребуется по хозяйству, сделаю сам, не пойду в люди. Почему это? А потому, что мы воспитывались у покойника-родителя в страхе, в почтении и послушании, слушались родительских слов, почитали начальников, закон... например, правила, бог, престол, все прочее, что есть указано для человеков... А теперича, позвольте сказать вам, иду я, начальник, по улице — они и шапки не снимают, подлецы! Хорошо ли это? Позвольте вас спросить: кто я?

— Начальник!

— А разве возможно мне, начальнику, оказывать такое невежество? В прежнее время я бы позвал его в правление да всыпал бы ему полсотни горячих, так он бы и понял, что̀ есть начальство и для чего оно поставляется; а что я сделаю теперь, в нонешнее-то время, позвольте вас спросить? В нонешнее время изволь я жаловаться в суд, а в суде-то кто? те же самые, канальи, непочитатели... Поднес им пивца, они и начнут канитель тянуть, трут да мнут, да и кончат пивцом да винцом, а я, начальник, которому он, негодяй, сделал дерзость, остаюсь ни с чем. Оплевали меня, я так оплеванный и хожу... Ну, что же, хорошо это, похоже это на порядок? Да это еще не всё-с. Что суд? суду-то я и сам как никак могу дать острастку, прищемить его, это что? а вот что вам скажу: выдери я его, мерзавца, своим распоряжением, ведь он меня сожжет, со всем семейством по миру пустит!.. Ведь вон они какие анафемы сделались!.. А почему? Баловство! Воля! Потаканье... изгадили народ, ни на что не похоже! Я его, какого-нибудь там прохвоста, распоряжаюсь драть, а он мне вынимает бумагу: «На-ко, мол, воткнись рылом-то, почитай, что написано». А в бумаге написано: «душевная болезнь... печенка оторвалась... сердце разрывается и нос, у подлеца, трясется. Доктор такой-то», и печать приложена. Ну что я могу сделать? Позвольте вас спросить? Что? А всё разные благосклонные народы, все они поблажают и потрафляют разным пакостевым поступкам. «Ах, как можно драть» — «на тебе бумагу!» — «Ах, бедный мужичок,

у тебя, несчастного, овсеца нет, на тебе овсеца»... Позвольте, говорю, господа члены, драть мне их, подлецов, в настоящих размерах? «Ах, что вы, что вы... Надо регелиозно внушать им во храме...» — «Да ведь за это платить надо свяшенству, ведь он, батюшка, не меньше как сто двадцать рублей запросит, ведь даром никто не будет вожжаться, а они, мол, и так не платят». — «Ах нет, нет, драть... Это ужасно... Регелиозно надо...» Н-ну, пусть по-вашему, как вам угодно... А между прочим, хоша эти самые члены столь благосклонны, а бумаги присылают мне такие: «взыскать немедля, в противном случае по всей строгости закона». Теперь извольте: драть его нельзя, потому печенка у него, у пьяницы, разрывается и нос он расшиб в кабаке пьяный, это есть душевная болезнь, и, следовательно, драть его нельзя. Коль скоро его драть нельзя, денег он мне не платит. Денег он мне не платит, я поступаю в холодное место. Поступаю я в холодное место, вот наш мужичишка и думает: «Так его и надо, не взыскивай!» Недаром, мол, в темную посадили. И почтения мне не оказывает, никого не боится, потому доктор ему даст бумагу, чтоб его не касаться, работать не работает, потому ему овса дадут... вот и извольте тут жить. А чуть не вытерпел, распорядился, прописал ему штук двадцать, глядишь — головешку в сенной сарай засунул... То есть ад, а не порядок, вот что я вам скажу! Вот и выходит, что благосклонность-то ваша, милостивый государь, не вполне к месту. Да-с, уж извините!.. Вы вот благосклонствуете... а я чрез это... вором пойду... среди канальев. Вот оно и неприятно-с...

Я еще раз извинился перед гостем в своей неосторожности и, чтобы выйти из неприятного положения, в которое поставил меня упрек в благосклонности, превратившей невинного человека в вора, сказал:

— Скажите пожалуйста, что же нужно, чтобы прекратить это безобразие?

— Которое-с?

— А вот то, про которое вы рассказываете. Что для этого нужно?

— Что нужно-то? Извольте, я вам объясню, в кратких даже словах... Но только, как вы и как прочие благо-

склонные члены понятия насчет наших делов не имеете, а сердце у вас чувствительное, нежное, так вы, пожалуй, мои слова сочтете за обиду...

Я старался уверить моего гостя в противном.

— Чего ж мне обижаться? — сказал я между прочим.

— Действительно!.. Вот когда вам, господам чувствительным членам и благосклонным особам, перестанут мужики взносить взносы, это, я так думаю, точно что будет для вас обидно... А покуда вы снисходите, а нам тем временем всё же бумажки присылаете, насчет чтобы «поспешить взысканием», так пожалуй что в чувствительные слезы словами моими я вас и не введу... Да-с. Думается так, что не введу вас в рыдание по мужичку, коль скоро у него деньжонки шевелятся... А требуется нам, по моему мужицкому мнению, не оченно много...

— Чего же?

Гость поглядел на меня, помолчал мгновение и решительно, твердо произнес:

— Палки на нашего брата нет! Вот чего нам требуется, милостивый государь!..

Гость поднялся с места и, волнуясь более и более с каждым словом, продолжал:

— Зачем отняли от нас палку? Давайте мне ее вот в эти самые руки, давайте мне ее на два года без всяких разговоров, все я произведу, все водворю, все укореню на своих местах! Через два года вы не узнаете наших мест, только дозвольте мне палку, только палку разрешите! И овес будет свой, и хлеб будет, и скот будет, и не будет пьянства, и настанет повиновение, и порядок, и страх, и правила, всё утвержду, произведу, просвещу и ублаготворю — палку, палку мне позвольте! только позвольте палку! «Ты чего в кабаке болтаешься?» (гость обращался, очевидно, к воображаемому мужику). — «Тебе какое дело?» — «Какое мне дело?.. Рррозок!..» — «Батюшка, матушка!» — «Рррозок!» — «Ты почему не снял шапки? Почему у тебя не засеяна полоса? Почему у тебя нет хлеба? Куда девал? Отчего скотина голодная?» — «Да приели хлеб-от, да, вишь, кормить нечем, да откуда взять-то...» — «А! откуда взять, приели, не кормили, рррозок!» Так ббу-удет порядок! Так я вам, милостивый государь, в два года такой представлю вид, в «Жи-

вописном обозрении» не отыщете... А ежели вы, господа члены, будете выдавать документы, что драть нельзя, потому у него печенку в драке отшибли, а в том же числе потребуете, чтобы взыскивали, — так уж извините! Господь с вами совсем, живите как знаете! Сделайте милость, потакайте им, сколь вам угодно, а уж я человек, который знает страх, совесть, правила, престол божий и прочие которые достойны человека предметы, уж я уйду лучше, оставлю вас... Справляйтесь одни, как вам угодно. А на этакое безобразие смотреть не буду... Уж извините!.. Так вот какое мое мужицкое мнение... А знаю, что не понравится...

— Действительно, — начал было я.

— Да знаю! Уж знаю-с!.. Вам надо регелиозно внушать, деньги получать, да чтоб благосклонно, потому ему, каналье, нос разбили в кабаке, ну он и оказался болен душевною болезнию, неизлечим... Все это нам известно, только как бы не пенять-с... Н-ну, однакож и ко дворам пора...

— Позвольте еще одну минуту, — сказал я, останавливая собиравшегося уходить гостя. — Скажите пожалуйста, как же вы теперь-то справляетесь?

— Как-с справляюсь? Деру-с!

Гость пожал плечами.

— Но ведь запрещают.

— Сколько угодно! Деру, милостивый государь, в собственную свою голову. Да будет его святая воля, всевышнего! а нельзя не драть, как вам будет угодно. Пущай жалуются, дам ответ чистосердечный! Спасибо еще, есть у нас на деревне два древних мужичка, древнейшие обыватели, имеют медали за столетнее потомство, так вот те подсобляют... А то ведь и помощников-то не найдешь... Разложишь иной раз мужичонку, а на ноги и на голову сесть некому! Кому ни скажешь — «ну, как же, стану я...» Иной раз и розги-то никто не хочет в руки взять. Ну, а уж эти старички действительно никогда не покидают. Филофей с Дорофеем... Только заикнешься: «Ну-ко, старички, утвердите дураку закон», — завсегда готовы! Потому они, как люди старого завета, понимают правила, порядки, то и видят, что по нонешним временам нельзя без этого. И не послабляют! Нет. Кричи не кричи, а засыпят,

что следует... И всё с приговором: «помни правила, почитай начальников, не балуй, не пьянствуй, бог... престол... храм...» Покуда не вспухнет... Коренные старички — мало теперь таких сурьезных мужиков... Так вот, милостивый государь, как мы справляемся. Оно, конечно, не вполне благосклонно, да зато... только по этому самому и чаек-то с булочкой, с вареньицем благосклонные господа кушают-с. Будьте здоровы! Заболтался я у вас.

Гость ушел.

Но не успел я привести в порядок мысли, навеянные мне речами гостя, как в избу вошли новые посетители: один из них был мой недавний враг, пролетарий, а другой — просто молодой деревенский парень. К удивлению моему, оба они почему-то весело улыбались.

— Ловко! — сказал пролетарий. — Ай не любишь этого? — проговорил он, обращаясь к отсутствующему гостю: — что в карман-то не дали зацапать!.. Ишь какие рацеи развел...

— Палку требует! — сказал парень.

— Чив-во-о-о? На-ко вот! Пал-лку! На-ко вот, выкуси это. Нет — довольно, будет. Не такие времена! Я под окном сидел, все слышал, какие он тут разводы разводил. Дай ему, животному, палку!.. У них, у канальев, только и есть ума на все — бить!

— Правилов не понимаем! — проговорил парень.

— У них, у канальев, только и правилов, что «плати» да «ложись»... Как снял с человека штаны — это значит закону научил, правилу... А не угодно ли ежели бы палку-то *нам* передать в руки, так, пожалуй, и мы правила-то да разные религии прописали ихнему брату также бы без послабления. Пожалуйте-ко нам палку-то! Довольно она у вас была... Что такое, скажите на милость, за манера — драть! Как чуть поослабло — потерял закон, «ложись!» Чуть что хочешь, чтоб поприятнее — «ложись!» Давайте мне палку, я их, канальев, сам произведу! Я их научу, как брюхи растить на мужицкий карман! Давай сюда мне палку-то! Ишь какие законники, анафемы! Овса у меня нет, так меня драть! Хлеба нет — драть! Денег нет — ложись! Ну, уж это, братец ты мой, вполне глупо. Нашего брата драть, а вы брюхо себе набивать? И все мало? Все нехватает? Недостает?

Всё выбирают и выбивают, и никак до корня не догребутся? Когда этому будет конец? Позвольте узнать? Я как-то сказал было одному члену: «Ваше высокоблагородие! Много ли за нами недобору?» — «Очень, очень много». А животик у него — вот эдакой, ровно как тройнями тяжел. Вот я коснулся ему к животику-то пальчиком и говорю с вежливостью: «а между прочим, говорю, ведь вот у вашего высокоблагородия в этом месте и так довольно туговато!.. Что же, ежели мы сполна взнесем, не будет вам вреда от этого?..» Так мимо ушей прошло, будто не слыхал... да! все мало... А за что? Спросить по совести? То-то и оно-то...

И тут пошли такие речи, которые ни в чем, решительно ни в чем не походили на речи только что оставившего меня посетителя. За исключением веры в то, что палка есть верное средство в затруднительных обстоятельствах, переживаемых деревней, в речах новых моих гостей было все другое, от первого и до последнего слова: другие желания, другие цели и т. д. Я не передаю этих речей в подробности, так как некоторые выражения моих гостей, говоривших в сердечной простоте, не всегда были вполне удовлетворительны в цензурном отношении. Не передаю я также множества сцен, случайных разговоров, слышанных мною то там, то сям в народной толпе и доказывавших, что во всех самых мельчайших ежедневных явлениях жизни идет переборка, трудная и упорная, старого на что-то новое. Не передаю этого потому, что картина, складывающаяся из этих мелких жизненных черт, выходит большая, многосодержательная и требует внимательной, тщательной работы, на которую я сию минуту не способен. Кроме того, в ней так много жизни, что мне, человеку изломанному, смотреть даже больно, хочется отвернуться, чтоб не мучить себя... Ограничиваюсь двумя вышенаписанными сценами потому, что хочу о себе, о своей пропавшей жизни сказать два решительно последних слова. Своекорыстие побуждает меня... И вот, только из-за этого желания поговорить о себе, из-за желания придраться «к случаю», я и беру из всего «нового», происходящего в народе, только одну черту, которая звучит особенно настойчиво, слышится повсюду, — именно мнение о необходимости палки...

Бить надо! Дать леща!.. Дайте мне палку, без палки ничего не будет!.. Дайте мне! Дайте нам! «Вас надо колотить!» — «Нет, вас...» и т. д.

Если вы прибавите к этому массу подобного же рода звуков, слышащихся далеко за пределами деревни, таящихся в бесчисленном множестве голов разного звания и состояния, то согласитесь с тем мнением, также для многих вполне справедливым, что мысль русская вообще, как говорится, «зашевелилась», что вообще происходит какое-то «пробуждение». Я, конечно, рад... Но если это пробуждение, то оно для меня решительно не по душе... Оно оскорбляет меня, какого-то там Лиссабонского, оно, наконец, дает мне право даже обидеться тою глубокою несправедливостью, благодаря которой я, человек, которому положительно противны такие «пробуждения», остался «без определенных занятий» и пропал ни за нюх табаку.



VII. ГЛУБОКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Окончание записок Лиссабонского

«Время мое, то есть время таких людей, как я, Лиссабонский, людей, стремившихся «в деревню» служить народу, — миновало. Куда нам теперь с нашими «благими» намерениями! Но если я решаюсь вспомнить об этом миновавшем времени, то единственно из чувства глубокой жалости к тому, что вот мы, Лиссабонские, пропали и пропадаем так, без толку и без всякого проку... Жалко мне, что мы не потреблены (своевременно) народной средой, жалко потому, что вместе с нами не потреблены народом и наши добрые намерения, жалко потому, что, как мне кажется, как я упорно верую, поглоти нашего брата среда народная — право, не было бы этого сумбура, этой тьмы, жестокой путаницы и, наконец, *такого* пробуждения... Я так думаю, я так верю, верю упорно, потому что... за что же я пропал-то?

19 февраля 1861 года я, в числе прочих учеников — ской гимназии, с начальством, одетым в мундиры, во

главе, слушал на площади губернского города N, перед собором, чтение манифеста об освобождении крестьян. Я знаю, что «проклятые вопросы» начались не со вчерашнего дня, но я также знаю, что для «массы» русского народа, к которой я принадлежу по рождению и воспитанию, проклятые вопросы сделались *обязательными* именно с этой минуты. Итак, я стоял в толпе и слушал манифест. Значения его, во всей его огромности, я тогда не понимал, но понимать это значение меня научила сама жизнь. «Теперь не то!» — заговорили чиновники. «Ноне не то время!» — тараторили мужики. «Не те ноне времена!» — охали купцы. Иные от этих новых времен плакали, разорялись, ожесточались, другие радовались им, приободрялись, похваливали. Что же такое случилось? Крестьян «освободили». От кого освободили? От крепостной, рабской зависимости. Что такое крепость? рабство?.. На эти вопросы мне ответила книжка, сразу осветившая то, что я множество раз имел перед глазами, но чего я не понимал. Книжка научила меня понимать, что событие совершилось во имя справедливости, что хоть и жаль, что разоряются, что жаль плачущих, нищающих, идущих по миру, жаль всех, кто дышал и жил рабским трудом и около рабского труда, но что делать! Это — жертвы необходимые и, сравнительно с массой, для которой совершен акт высочайшей справедливости, ничтожные.

Таким образом, идеи «свободы» и «народного блага» не выдуманы мною, или, вернее, нами, Лиссабонскими, в минуты праздности, а сами пришли к нам, «помимо нашей воли» стали *обязательными*, и не только для нас, молодых подростков, но для всего общества поголовно; и для друзей освободительных идей и для врагов они, идеи эти, сделались *обязательными*. Человек, который сегодня крестился в водах Днепра, *должен был*, помимо желания, помимо привычки, осваиваться с *обязательной, новой* для него христианской идеей. Он уже *не мог* смотреть назад, он должен был всматриваться в новое будущее, волей-неволей должен был переиначивать весь обиход своей жизни на новый образец, сообразно новой, обязательной для него идее. Такое огромное событие, как освобождение миллионов от крепостной зависимости, точно

так же обязывало проникаться не старыми крепостными идеями — уже потому, что они стали старыми, отошли, остались назади, — а новыми, совершенно противоположными крепостной неправде, освободительными идеями, идеями блага народного, народного устроения, благополучия... Итак, вы видели, что новые идеи мы *обязаны* были принять, *обязаны* были проникнуться ими, и если тронулись, как говорится, «в народ», то не с злостными намерениями и не по прихоти или фанаберии, а потому же, почему весною тают снега, тронулись, «гонимы вешними лучами» новых, обязательных для всего русского народа освободительных идей... Да, государи мои, мы потому пошли к народу, что были *гонимы* благотворными лучами, как солнце, огромного события, освобождения... Если это — вина, то уж никак не наша.

Таким образом, акт освобождения создал задачу молодого поколения, наложил на него обязанности, и притом с совершенно определенной тенденцией: народ, вчера крепостной и раб, сегодня стал свободным человеком; следовательно, надо работать с ним и для него. Кто же и что в обществе, которое только вчера стало в *совершенно новые* условия, могло разрешить обязательную для нас задачу? Кто мог ответить на вопрос: как и что делать в народе и для народа? Очевидно, что у общества, то есть решительно ни у одного человека во всем русском обществе, не было опыта, который бы пригодился в новых условиях. Разве крепостники могли ответить на вопрос: что нужно делать теперь, когда и их самих сдали в архив? Разумеется, нет; и, разумеется, надо было учиться и почерпать знания в другом месте, у других людей; и вот явились опять книжки, почему-то столь проклинаемые, книжки иностранные. Огромный опыт европейской жизни, установившейся в известных формах, решительно мог и должен был дать указания для миллионной массы, только что призванной к жизни, мог дать указания хотя бы относительно только того, чего не нужно делать, чего надо бояться делать, чего не надо допускать... Не знаю, как кто, только я руководствовался именно этими соображениями. Да, наконец, разве не опыт европейской жизни привел к простому, мирному, заблаговременному, так сказать, освобождению крестьян,

вместо того чтобы дожидаться того же освобождения в другой форме? Не велика беда, стало быть, и в том, что мы, Лиссабонские, тронулись в путь, начитавшись иностранных книжек... своих-то ведь не было, и никто из «своих» не знал, что надобно делать, а делать, как мы видели, надобно было новое дело...

Итак, *повинуясь обязательному*, для всего русского общества новому, совершенно новому направлению мыслей и задач, не выдуманных мною, не вычитанных в иностранных книжках, а прямо, логически и *неизбежно* вытекавших из новых условий, в которые стала миллионная масса народа, я и пошел в деревню. Деятельность моя в деревне если и страдала множеством недостатков, то неопытность и новизна могут служить для меня, Лиссабонского, большим оправданием. Между прочим, меня самого много раз мучил один весьма крупный недостаток в этой деятельности, именно какая-то казенная сухость, какая-то канцелярщина и канцелярская узость, в которую я облекал так называемые благотворные идеи. Но и это да будет мне прощено на том основании, что необузданной канцелярщиной укреплялись также и неблаготворные идеи, что повсюду, вместо «общественного дела», свирепствовала «общественная канцелярщина». Но, несмотря на неопытность, незнание народной жизни, сухость и казенщину форм деятельности, сущность этой деятельности, несомненно, соответствовала духу нового времени. Раздумывая теперь об этом, я поражаюсь той огромной неприготовленностью русского общества к восприятию новых идей, которая дала возможность заподозрить мою скромнейшую из скромных деятельность в деревне, а главное, не догадаться, не видеть, *не узнать* в этой деятельности *той же самой* тенденции, которая лежала в основании великого события — освобождения.

Да, повторяю, я преследовал в деревне, в мелких деревенских общественных отношениях, *ту же самую* тенденцию, которая в огромных размерах выразилась в освобождении миллионов крепостных людей. *Ту же* новую, освободительную тенденцию я старался, по мере своих скромных сил, применить, а главное, *отстоять* в глухой далекой деревне; я старался не дать ее в обиду

в маленьких, мелочных деревенских общественных отношениях, словом, повторяю, я в крошечных размерах делал в деревне то, что человек, облеченный высшей властью, делает в огромных размерах в высшем государственном учреждении. Теперь уже не тайна, каких трудов, какой борьбы стоило лучшим русским людям *отстоять* справедливейшую, человечнейшую освободительную идею в высших учреждениях. Сколько было врагов, сколько недоброжелателей, и все это надо было побороть, победить, чтобы добиться права совершить справедливейшее дело! А в деревне, куда я пошел, разве нет таких же самых врагов, хотя там и не сановники, а люди в полушубках? Разве в деревне нет охотников властвовать над слабым, пользуясь нуждой, бедностью? Разве в деревне нет врагов справедливости, разве здесь нет деспотов, мироедов, «живорезов» и прочих бесчисленных типов человекообразных хищников? Разве в деревне муж не дерет жену за косу, не колотит до полусмерти сына, «потому — глава»? Разве нет в деревне бедных, нищих, беспомощных, и, с другой стороны, разве там нет воров, грабителей, людей легкой наживы, ростовщиков, ханжей, и т. д., и т. д. Увы! к несчастию, всё есть, всё налицо! Вот, кажется, уж какой ничтожный поступок совершил я, привезя бесплатную оспу, а и то сколько разных мнений в одной и той же деревне: одни прямо говорят: «худо», «дурно, милостивый государь»; а другие также прямо восклицают: «ловко!» Очевидно, есть и партии, есть и мнения об общественных задачах и отношениях, совершенно различные, друг с другом совершенно не согласные. Кому же, которой из них должен был я потрафлять, говоря крестьянским языком? Да, разумеется, той же самой, которой «потрафляли» высшие деятели, освобождая крестьян. Не рабовладельцам, не крепостникам, не хищникам потрафляли они, а не дали в обиду тех, кого эти хищники эксплуатировали, кем пользовались, кого гнели... Точь-в-точь то же, как «две капли воды», делал и я в деревне в те краткие мгновения, в которые я имел огромное счастие держать в моих руках какое-нибудь деревенское дело... Я препятствовал тому, чтобы вот этот мироед, ростовщик не выпил из мужиков кровь, как пьет паук. Я препятствовал

несправедливейшим сделкам «сильных» деревенских воротил с опоенными водкой мужиками; я тщательно смотрел за мужицкой копейкой, не давая ее расхищать, не давая «насиживать» воротилам на мужицкую шею тысячи кровных рублей... Я ратовал против подкупа на суде, против подкупа на выборах, против водки во всех тех случаях, где должна быть строгая, трезвая правда... Словом, я точь-в-точь делал то самое, что крупные деятели делали в высших сферах. Крупную монету я разменял на гривенники, как и потребно в деревенском обиходе...

И меня выгнали из деревни как врага! Не буду распространяться об этом печальном (да, печальном, горьком) недоразумении, обращу внимание читателя на результаты этого недоразумения, обнаруживающиеся теперь. Недалеко ходить за примерами — сенаторская ревизия на каждом шагу доказывает, что новое дело едва ли не погублено старыми руками. Чего ни коснитесь: вот вам новый деревенский суд — подкуп, водка, пиво, своекорыстие... вот вам общественная касса — все расхищено, растащено, истрачено на частные потребности: один открыл на эти деньги кабак, другой — лавку... Личная месть — за водку и подкуп сажает правого в темную, сечет, а виноватый жив, здоров и процветает... И везде, на каждом шагу, нет признака присутствия человека, который бы в новых учреждениях поддерживал, отстаивал новую, справедливую идею этих учреждений... Этот человек мог быть только я, Лиссабонский, только такие, как я, люди, то есть люди, рожденные на рубеже новой русской жизни, окрещенные и осененные в лучшую юношескую пору жизни новыми благотворными идеями, принявшие эти идеи всем сердцем, со всею искренностью, со всем жаром самоотвержения и бескорыстия. Но нас выгнали оттуда; с позором выгнали. За то, что было потом — не я, Лиссабонский, ответчик. Не успев даже прикоснуться к делу, я уже подвергся остракизму. Меня только и делали, что наказывали... Я давно уже человек без определенных занятий. Я не знаю, как, что и почему. А теперь, когда я слышу поминутно разговор о палке, когда я убеждаюсь, что разговоры эти далеко не пустые, что этой палкой хотят разобраться в путанице, тягостной и ненужной, я и совсем никуда не гожусь; и все

это не по мне, и слишком грубо, жестко, и глупо, и обидно, до крови обидно!.. И вижу я, что не остается мне ничего иного, как пожалеть о прошлом, вздохнуть о нем и, сказав себе: «да будет воля твоя!», уйти куда-нибудь... Куда глаза глядят... Я измучен, я болен... Я не могу ничего... Я... словом, я... куда-нибудь...»

На этом оканчиваются отрывки из записок и писем Лиссабонского. Где он и что с ним — мне неизвестно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТ АВТОРА

Очерки, собранные в настоящем издании, появляясь первоначально в журнале «Отечественные записки» 77—79 годов, вызывали в журналистике немало отзывов и замечаний, иногда весьма резких: меня упрекали в непонимании народной души, в преувеличении дурных сторон народной жизни и, наконец, вообще в неправильном толковании явлений современной деревенской действительности. Во всех этих замечаниях и нападках, в укор мне, было указываемо на множество явлений народной жизни, совершенно противоположных тем, которых касаюсь я, и вообще лица, возражавшие мне, старались доказать, что народ сам по себе хорош, тогда как я будто бы только и хлопочу о том, чтобы доказать, что он дурен.

С полным уважением относясь ко всему, что было высказано возражавшими мне лицами хорошего и теплого о сером русском человеке, — я, однако, не могу оставить за собой приписываемой мне специальности — ругать народ, «чернить» мужика — и должен сказать два слова в объяснение того, почему именно в современной деревенской действительности мне бросились в глаза такие, а не другие явления.

Объяснение это будет коротко, если читатель сам потрудится припомнить мнения, господствующие в обществе и литературе, относительно интеллигенции и народа, в то время, когда писались эти очерки. В общих чертах это было время, когда так называемые внутренние вопросы оказались бесплодно утомительными — в общем

внимании отошли на второй план, когда так называемый интеллигентный человек стал как бы успокаиваться в апатичном сознании своей гнилости и негодности, и на сцену выступили общие рассуждения о народном духе, о его силе, и крепости, и мягкости, и будущности, и т. п., — рассуждения более общие, хотя и восторженные, и в то же время совершенно невнимательные к действительному состоянию народного духа.

Под влиянием таких усыпляющих веяний времени мне пришлось быть в деревне, причем самое поверхностное наблюдение над ее настоящим житьем-бытьем прежде всего и сильнее всего показывало мне, до какой степени несправедливо и невеликодушно со стороны русского человека, именующего себя интеллигентным, успокаиваться в сознании собственной негодности и ровно ничего не делать для миллионной массы народа, только что начинающего оттаивать после крепостной стужи и жить своим умом. Дело трудное, работа черная, упорная, иногда ожесточающая сердце, — на каждом шагу ждала, как мне казалось, именно этого интеллигентного человека, и вот почему, если действительно в моих очерках собрано более дурных черт, чем хороших, то черты эти должны были служить не укором серому человеку, а напоминанием человеку образованному о его обязанности работать для блага народного.

Если читатель, просматривая наши очерки, будет иметь в виду это объяснение, то есть будет смотреть на непривлекательные явления деревенской действительности как на доказательство равнодушия к народу человека образованного, — то, может быть, и не посетует на меня за то, что я в наблюдениях моих почти вовсе не касался таких черт народной души и жизни, которые, несмотря на всю свою привлекательность, вовсе не касались задачи, лежащей, по моему мнению, на человеке не деревенском.

Что же касается до внешних недостатков предлагаемых очерков — отрывочности, недоделанности и т. д., — то я заранее признаю справедливым все, что может быть по этому поводу сказано читателем, но делать из маленького большое — невозможно, и вот почему очерки являются в этой книге без всяких изменений против первоначального текста.

Отрывок четвертый

Вот именно на эту-то вторую недоимку деревенского житья-бытья я и желал обратить внимание читателей, когда писал мои деревенские заметки. Недоимка, как видите, вполне ясная и внимания достойная, и однако, как это ни странно, заметки мои подверглись обвинению. Обвинений этих я перечитал и переслушал не мало, и хотя я очень хорошо сознаю, что писать к каким-то заметкам еще какие-то комментарии дело не особенно дельное, но, ввиду такого обвинения, как «измена», считаю нужным не то чтобы оправдать, а досказать недосказанное. Это, между прочим, даст мне еще и случай взглянуть на деревню с новой, также небезинтересной стороны.

«Не потрафил» я моими заметками, как мне кажется, главным образом потому, что в настоящее время в литературе возник какой-то странный, небывалый взгляд на положение народа — взгляд, если можно назвать (как говорят дети) — *неправдышный*. Происхождение такого неправдышного взгляда, как мне кажется, можно объяснить следующими обстоятельствами.

Утомленные сознанием трудности переживаемой минуты, общество и печать (кто раньше, кто позже — судить не берусь) пожелали облегчить свое положение, как бы сговорившись «не думать» об этом положении, — думать о другом. Такое намерение делается совершенно понятным и основательным, если только представить себе, в каком, в самом деле, ужасном состоянии находилась недавно душа русского человека, как бы случайно, на живую нитку, пристегнутого к европейским порядкам. Русский человек неожиданно узнал, что эта живая нитка — не нитка, а канат, и узнал силу этого каната именно в ту минуту, когда только что было стал приходить в себя, строить планы, думать, жить. Русская душа оживала, начинала ощущать присутствие совести; русская мысль, впервые попробовавшая расправить крылья, понеслась было, как птица, ввысь, понеслась смело, фантазируя, не стесняясь и все норовя устроить по-новому... И вот именно в эту-то торжественную минуту пробуждения русский человек с ужасом увидел, что он уже жил, что он не юноша, что он уже поврежден и не может дать ходу своим новым побуждениям. Смелость мысли, возникавшая

в нем, парализовалась привычной трусостью; раскаяние в прошлых неправдах побивалось непобедимою потребностию держать ухо востро и т. д... И вот с этой минуты началась для него не жизнь, а каторга. Как белка в колесе, стал вертеться русский человек в кругу противоречий, созданных для него временем: от мысли переделать весь свет он перескакивал к мысли набить свой карман; набивая карман, каялся и, раскаиваясь, пугался и думал только о собственном спасении. В таком положении он стрелялся, выбрасывался из окон, принимал яд и, разумеется, переставал страдать, но тот, кто не принимал яду, не бросался с четвертого этажа на мостовую, тот изнывал, томясь тем нравственным нулем, который образовывался из этих плюсов и минусов, побивавших один другого в самой глубине его души.

В таком состоянии измученному обществу пришла мысль остановить маховое колесо европейских порядков, увлекавшее нас на ненавистный путь всяческой неправды, нас, которые не хотят ее, которые хотят по чести, по совести и всё такое... И вот в спицы этого колеса стали засовывать разные препятствия, оказавшиеся, впрочем, весьма ненадежными: колесо продолжало размахивать, вышвыривая те, большею частию бумажные, препятствия, которыми хотели его остановить... Славянская раса, славянская идея, православие, отсутствие пролетариата и т. д. — все это, доказанное на огромном количестве листов бумаги, было смолото и растреплено не перестававшим махать колесом, которое как бы говорило при этом русскому человеку: все это вздор! Пролетариат у тебя и есть и будет в большом количестве... Ты фарисей! Обманщик, сам обворовывающий себя и жалующийся на какую-то Европу! обманщик и лжец! трус! лентяй!

Сербская война была опытом на деле доказать, что все обвинения, раздававшиеся собственно в сознании каждого, кто хотел доказать, — неправда... Было двинуто все, что только считалось силою и орудием сопротивления. Тронулись с хоругвями, с причтом, с колоколами, даже чудовских певчих с неистовыми басами двинули из Москвы через Вену, по Дунаю, прямо на аванпосты Мухтара-паши... По части национальной идеи была предъявлена широкая деятельность славянских комитетов; была предъявлена доброта русского сердца, безза-

ветность, безответность, беспрекословность, бестрепетность и безропотность... Была предъявлена также отчаянная храбрость, готовность к смерти, даже как будто желание смерти, отвага, говорившая — «ну бей! бей! ты думаешь, я побоюсь!» Было предъявлено бесстрашие, достигавшее безумия, и хладнокровие, почти граничившее с умопомрачением. Такие крупные характерные черты, само собой разумеется, не могли не перемешиваться с чертами мелкими, хотя и также характерными: была, между прочим, предъявлена русская ширь, душа нараспашку, а с тем вместе предъявлен был и кулак, и скула свороченная как-то сюда замешалась, и значение слова «учить» было разъяснено. И над всем этим носилось достигшее почти европейских размеров лганье прессы...

И, несмотря на то, что было поднято на ноги все, что есть в наличности самого сокровенного, — вышло... Что вышло? Положа руку на сердце, можно сказать, что вышло — невесть что! В конце концов оказалось, что кто-то нажился, «зацапал в карман» — и все! После этого что ж такое происходило? И почему в конце концов только и слышишь: «виноват!» Виноват тот, виноват другой, виноваты сербы... В чем виноваты? Разве тут что-нибудь худое случилось?..

Действительно, случилось очень худое. Оказалось, что западноевропейских язв в русском человеке так же много (или почти так же), как и в его подлиннике, да, вдобавок, и неевропейские-то черты русского человека также оказались с язвами.

Между тем, попав вместе с обществом, быть может по неведению, на ложную дорогу самовосхваления, самопрославления, литература не могла, как не могло и общество, сразу отдаться еще горшему, чем прежде, разочарованию. После этих торжеств сказать себе: «будет!» и приняться за трудную работу над самим собой, за беспристрастное изучение обнаруживавшихся язв — дело нелегкое, и как общество, так и литература не могли сделать этого вдруг. Прокляв интеллигенцию, которая залезает в сундуки, страдает раздвоенностию и мелкодушием и т. д., они всё сочувствие сосредоточили на народе, но опять-таки не в смысле сочувствия его действительному положению или его терпению, с которым он его переносит, — нет! Появилось какое-то слащавое,

чтобы не сказать слюнявое, отношение к народу. В то время, когда интеллигенция, ее недуги, скорби и язвы разрабатывались довольно подробно и дельно, всякое деловое отношение к народу считалось как бы неуместным. Народ стали просто хвалить за его непочатое, непосредственное чувство, а о том, в какой школе воспитывается это чувство, по какой дороге оно идет и пойдет — об этом не говорилось.

Говорилось вообще примерно так, — делаю небольшую выписку из одной статьи газеты «Неделя» 1876 года. Статья называется «От себя *или от деревни?*», и вот что, между прочим, в ней пишется:

«Проезжий в этих местах — большая редкость; поэтому, если станция приходилась в деревне, обыкновенно собиралась толпа поглазеть... Усаживаемся это, бывало, с своей свитой: в пасмурную погоду сделают тебе кибитку, натащат рогож, и вот собравшиеся *от нечего делать* крестьяне начнут укутывать и снизу, и с боков, и спереди, чтоб нигде не промочило, точно своего родного выправляют. Врезалось мне лицо одного парня — одно из славных русских лиц; он более всех старался и, кончив, весело сказал: «ну, теперь ладно, не проймет!» Что я был этим людям? Что они мне? Откуда такое почти родственное участие к проезжему?»

Что ему Гекуба?.. И вот на этом-то факте строится целая теория, доказывающая, что все спасение общества лежит в глубине «непосредственного чувства, насквозь проникающего душу и тело (!) простого человека». Признаюсь, я вовсе не вижу, чтобы в вышеописанном подвиге было что-нибудь такое, от чего можно было бы приходить в умиление, так как для того, чтобы обернуть проезжему ноги, да притом «от нечего делать», да еще в деревне, где «проезжающий большая редкость», вовсе, мне кажется, нет надобности в каких-то особенных, исполинских размерах нравственного чувства, проникающего будто бы не только душу, но даже — страшно сказать — самое тело, да притом еще «насквозь»!

Уж ежели на этом строить радующие и радужные теории будущего, то какую блистательную будущность должен я предсказать так называемому гнилому Западу, на основании следующего факта: один гнилой западник, с которым я ехал на омнибусе в проливной дождь, про-

ехал лишних три или четыре длинные парижские улицы (тогда как ему давно надо было слезть) потому, что у меня не было зонтика, и он держал свой зонтик надо мной! Если прибавить к этому, что проезжающих в Париже будет несколько более, чем там, где ездил автор вышепоименованной статьи, что они не составляют предмета развлечения и что, наконец, человек этот сделал доброе дело не от нечего делать, а в силу сознания какой-то обязанности, то во сколько раз этот поступок будет выше поступка «одного из славных русских лиц», воспеваемых автором. Да и, кроме всего этого, меня, признаться, берет сомнение насчет одного обстоятельства: мне почему-то представляется, что при этих обоюдных симпатиях барина и «славного лица» дело едва ли обошлось без мелочи, так что-нибудь вроде двугривенного... Право, должно быть что-нибудь тут непременно промелькнуло, какое-нибудь «с вашей милости», или просто так: «на, мол, тебе, спасибо!» и, конечно, «благодарим покорно!»

Очень может быть, впрочем, что я и ошибаюсь. Я согласен, что иной раз в кармане не бывает мелочи, и тогда непосредственное чувство проникает насквозь без всякого гонорария... Но и тогда непосредственное чувство все-таки никак не может служить характеристикой народных доблестей, и строить на нем одном что-либо прочное и величественное для будущего не представляется никакой возможности.

Судите сами: среди площади, на сельской ярмарке, происходит драка, толпа окружает дерущихся, так как такие явления вообще редки, и посмотреть на них любопытно. Но посмотрите, что делает это же самое непосредственное чувство, проникающее насквозь...

— Хорошенько его, хорошенько! — раздаются голоса. — Рыжий! Рыжий! в бок его, лысого, суй. Суй его по боку-то, по боку-то... Эй, лысый, не плошай! Дуй его, рыжего-то, в сусалы, эх, прозевал, — и т. д. И что ж! Благодаря этим советам людей посторонних, собравшихся посмотреть на битву от нечего делать, уже и в самом деле насквозь пробивают бока, причем не обходится без смеху, также безыскусственного.

Вот на таких-то тоненьких, как пленка кипяченого молока, как папиросная бумага, фактах стали выстраиваться в литературе добродушные, милые взгляды на

народ. Можно даже сказать так, что литература стала строить народу глазки. «С этаким-то сердцем (и тут факт: один мастеровой дал закурить папиросу и не спросил за это на водку), как у такого народа, да это что ж такое будет!» — на разные тоны возглашали народные любители и плодили таких любителей в публике. «Народное горе», горе темного царства с Тит Титычами и Катеринами, горе сел, дорог и городов, горе деревенской избы, деревенской женщины, горе лошадиного и бесплодного труда, горе бесплодных страданий, и т. д., и т. д. — все это исчезло из области литературного внимания, пошли в ход «славные» лица, молодцы ребята, непосредственное чувство, непочатые углы смиренномудрия и целомудрия и т. д.

Особенно удобно, для всех не желающих унывать, это *неправдышное* направление было тем, что, рассуждая и хваля, оно не брало почти никогда фактов из текущей действительности. Факты эти были в изобилии, но они обыкновенно ставились без всяких комментарий, случайно, как обгорелые пни на цветущей долине лжесвидетельства. И замечателен еще маневр, проектируемый этим миловидным направлением: всякий раз, когда дело касалось положения народной мысли, всякий раз, когда простых, бездоказательных выхвалений оказывалось недостаточно, а необходимо было дать читателю нечто осязаемое, представители направления ловким маневром устремлялись в глубину истории... «Как так, — говорили они: — русская народная мысль не действует, не живет? Кто это говорит? Кто говорит, что раскол, например, похож на старый сапог?» И для того чтобы показать, что этот сапог не стар, современная его дряблость начинала освежаться давно прошедшей жизненностию происходивших в нем явлений, и выходило не только хорошо и умно, а, прямо сказать, блистательно, до того блистательно, что, глядя на стоптанный сапог, невольно думалось: уж не во сне ли я?..

Удивительно миловидное вырабатывалось направление: скользкое, как налим, ускользающее от всякого подозрительного рассмотрения, и в то же время жирное, приятное, как налимья уха!.. Оказывалось, что мысль народная не только не мертва, но, напротив, живуща, бурлива... Правда, бурлит она там где-то, невидимо, но это и хорошо, пусть ее копается в своих подземных дырах, не мешайте ей, вы только испортите! Вы интеллигентный,

гнилой человек, наживайте себе деньги, получайте оклады, но, ради самого создателя, не трогайте народ, не суйтесь к нему с своим «головным» недугом... Ради самого бога!..

При таком-то странном взгляде на русский народ, когда стали восхваляться разные качества этого народа, независимо от условий, в которых им приходится развиваться, мои деревенские заметки, разумеется, должны были произвести весьма неприятное впечатление: читатель только что было изобрел средний, сочувствующий меньшему брату и ни к чему не обязывающий взгляд, только что успел поуспокоиться, и вдруг, вместо милых «деревенских домиков», вместо «славных русских лиц» и т. д., являются какие-то шершавые, корявые, плохо пахнущие деревенские картины, хотя не было сомнений, что лица у всех этих не понравившихся читателю людей были — лица славные, симпатичные, хотя и сердца у них были чудесные и непосредственного чувства было много. Я не отрицал ни единым словом всех этих прекрасных качеств, я только хотел сказать, что качества эти, воспитываясь в известной школе, могут принять то или другое направление, что и в доме Вяземского, на Сенной, родятся, и живут, и развиваются невинные дети, но что условия, в которых находится этот дом, невольно направляют нравственные и умственные силы невинного, симпатичного, талантливого ребенка по известному направлению. Люди, нападавшие на меня, умалчивали о месте, в котором помещается материал, а толковали только о том, что материал этот превосходный; я же, не отрицая превосходных качеств материала, хотел только сказать, что́ именно происходит с этим материалом и в каких условиях он находится. Вот и вся разница.

Пренебрегать условиями, в которых живут русские люди, полагать, что добрых качеств русской души не могут изменить никакие внешние давления, — нет никакой возможности. Вся история с Сербией, очевидцем которой пришлось быть и пишущему эти строки, как нельзя лучше доказала в конце концов, что школа, в которой воспитывается русский человек, уже пожинает плоды своих усилий. Разносторонность, разнообразие природных

качеств и навыков, которыми вообще русский человек блистал перед иностранцем, тем не менее вовсе не препятствовали тому, чтобы из самого широкого, свободного, обставленного всевозможными удобствами проявления этого разнообразия не получился бы в результате такой скучный нуль, какой получился. В русском человеке есть *все*, только он сам не знает, что именно ему-то самому нужно, и от этого он способен исполнять решительно все...

В виду огромного значения, которое имеет система воспитания, в виду уже получившихся результатов этого воспитания нельзя было не обратить на нее внимания и при изучении деревни. Ошибка моя состояла в том, что я в моих заметках показывал большею частию только результаты. Вот муж, продающий жену, вот человек, желающий только набить карман, а зачем набить — разберемся после и т. д. Читатель, также не обращавший внимания на систему воспитания и принесенные ею плоды, не мог быть доволен этими невеселыми картинами, увлекаясь славными лицами и непосредственными чувствами. Между тем, зная педагогические условия, в которых находятся эти непосредственные чувства, а главное, зная, что в деревне не только нет даже тени чего-нибудь равносильного этим условиям в смысле отпора, читатель, может быть, не так бы негодовал на непривлекательные поступки некоторых деревенских обывателей и, пожалуй, разглядел бы, что и у мужа, продающего жену, тоже одно из славных русских лиц. Недавно вот было напечатано в газетах, что арендатор одной мельницы подговорил своих рабочих убить, покончить с хозяином, у которого он эту мельницу арендовал. Чтобы склонить рабочих на свою сторону, он дал им на пропой по четвертаку и обещал двадцать пять рублей, когда дело будет кончено. Дело было кончено успешно в ту же ночь, и я покорно прошу объяснить мне, какую именно роль в этом чарующем значении четвертака играет незначительность надела, обилие налогов или недоимки и т. д. Нетрудно видеть, что принять грех на душу и за двадцать пять рублей не было никакого резону, потому что эти двадцать пять рублей вовсе не такие деньги, чтобы на них можно купить земли, уплатить подати, словом, «поправиться». Словом, никакими корыстными, экономическими, даже политическими соображениями объяснить

такое явление невозможно, если не обращать внимания на педагогические условия русского народа. Признаемся, нетрудно догадаться, что ребята, которые услужили г. арендатору за четвертак, — суть именно те же самые славные лица, которые с такой заботливостью укутывали ноги господину проезжающему. Непосредственное чувство играет в обоих случаях одинаковую роль, подчиняясь в первом случае состраданию к промокшему проезжему и желанию рассеять скуку, а в другом желанию — не убить, нет, боже сохрани, — а просто желанию выпить... Хозяин, очевидно, знал момент, когда завел речь о четвертаке, — и, благодаря водке, все это каким-то образом и произошло.

Итак, в каких же собственно педагогических условиях находится в настоящее время деревенский житель, и главным образом молодое деревенское поколение? Сравнивая прошлое с настоящим, с уверенностию можно сказать, что крепостное право, несмотря на всю свою беззаконность, имело перед теперешним полноправием одно несомненное преимущество, именно искренность этой беззаконности. «Что хочу, то делаю» и «ты мне подвержен» — эти два положения, управлявшие русскою деревнею, были до такой степени всем деревенским жителям явно беззаконны, что решительно не было никакой надобности заподозривать в отношениях к помещику какой-нибудь подвох. Дело было совершенно ясное; оставалось только изучать владельца, изучать его повадки, прихоти, привычки... Хоть и не всегда помещик представлял собою предмет, достойный изучения, тем не менее крестьянской мысли была работа, было о чем подумать, а главное, была некоторая мирская связь в виду одинаково над всеми стоящего беззакония. Благодаря этой мирской связи одинаковость условий могла иной раз даже крепко сплачивать крестьянскую среду, могла сосредоточивать деревню на каком-нибудь намерении и т. д. Нет сомнения, что порядки были безобразные, но безобразие их было явно, просто, бесхитростно. Теперь не то. Теперь деревенский житель опутан каким-то туманом, сбивающим неопытного человека с толку и пути. Теперь деревенского человека уверяют, что он так же свободен, как и помещик, говорят ему, что он сам управляется с своими деревенскими делами, словом, как будто подни-

мают его из ничтожества и как бы даже желают, чтобы он не слишком робел, встал бы на ноги, оправился... А между тем во всех этих, повидимому самых гуманных заботах, одновременно с ними, переплетая их тонкою, но цепкою нитью, тянется какая-то нескончаемая фальшь и даже лицемерие. Деревню, например, уверяют, что в своих личных делах она такой же хозяин, как и помещик, — и точно, деревня является самостоятельной единицей, когда платит повинности. Но вот помещик поехал в город, заложил имение в банке, привез деньги, прикупил земли; а попробуй сделать ту же операцию деревня, — ей не поверят денег так, как поверили помещику... Крестьянский мир уверяют в том, что он самоуправляется, что в его домашних делах никто ему не помеха, а между тем сельского старосту — о значении которого для деревни читатель может судить из рассказа об Иване Васильеве — может сменить непременный член, то есть человек, совершенно миру посторонний, ничего в деревне не знающий и не понимающий. Деревню убеждают заводить ссудные товарищества, дают ей денег, говорят, что это ее облегчит, поможет и т. д. И с виду как будто бы оно так и есть, — а попробуйте как следует изучить устав, который составляется не в деревне, и вы решительно будете не в состоянии решить вопроса о том, например, в каких размерах надо выдавать ссуду: в одном месте сказано, что можно выдавать в три раза против суммы внесенного пая, и, узнав об этом, член товарищества говорит: «Вот это ловко! Хорошо! От эвтого польза будет!» А тут же рядом весьма категорически объявляется, что можно выдавать только треть, то есть на три внесенных рубля как будто можно выдавать и девять рублей, и в то же время нельзя дать больше четырех... В первом случае крестьянин рад платить по копейке с рубля — он получает, кроме своих трех, еще шесть рублей лишних, — а во втором ему, кроме своих трех, приходится получить только один рубль лишних денег, а платить надо и за свои же собственные деньги три копейки, то есть делать нечто невозможное: платить проценты за собственные свои деньги!..

Вот такою-то гуманностью проникнута вся почти современная педагогическая система деревни. С великим тру-

дом, путаясь в этих правах, натыкаясь на плетни, преграждающие путь к этим правам, спотыкаясь и недоумевая на каждом шагу, деревенский житель, стремящийся доподлинно узнать, в чем же дело, что ему можно и что нельзя, встречает сухой, мертвый взгляд педагога, вместо ожидаемой, по сладости речи, симпатичной, доброй физиономии.

Человека десять недель бьет лихорадка; у него нет денег, чтобы съездить в город взять лекарства. Хоть есть в деревне богач, который дает ему, разумеется за громадные проценты, денег, чтобы вылечиться, поправиться, но крестьянин не возьмет денег на свое лечение; а вот на подати — возьмет, за какой угодно процент. Можно кончить вином на мирской сходке какие угодно личные крестьянские дела, недоразумения, даже преступления, но преступления против педагогических требований — нельзя.

Настойчивость, неуклонность, с которыми предъявляются деревне эти требования, сделали то, что, заполнив собою современные крестьянские учреждения, они уже значительно изменили и те порядки, которые созданы были когда-то самою деревней. Так, восхищаясь общинным землевладением, этою удивительною точностию, достигающею аптекарского совершенства при дележе общественного имущества, — нельзя оставлять без внимания тех изменений первоначального идеала, которые произошли вследствие преобладания в крестьянских понятиях важности не просто людских, своих интересов, а интересов совершенно посторонних. На справедливости, сбнаруживаемой деревнею в распределении общественного имущества, нельзя уже строить особенно пленительных фантазий насчет справедливости деревни вообще к человеку, нельзя уже уверять себя, что у нас «всякий» равен «всякому», так как слово *душа*, фигурирующая в общинных дележах, имеет уже особенный, установленный педагогической системою смысл и вовсе не означает души и человека, обладающего ею вообще. Ведь вот Федюшка оказался не имеющим души. Ни в водах, ни в лесах, ни в полях, составляющих общественное имущество, ему не принадлежало ни сучка, ни рыбки, ни лоскута земли. Да и не один Федюшка, безродный и сирота, не имеет права считаться душою. Самое деление

семьи на едоков (в иных местах на вопрос: сколько у тебя человек семьи, отвечают: «Да *ложек* с восемь, али, пожалуй, с девять наберется»), работников и душ деление, принятое во всех вопросах, касающихся общественного имущества, указывает уж, что душа имеет в деревенских порядках не подлинное, а искусственное значение. Шесть человек семьи, при одном работнике, имеют две платежные души, — это значит, что из шести человек только двое вкушают прелести переделов, а четверо сидят на шее двоих. Или: старуха с дочерью и внучкой — эти три существа, не имея работника, не могут уж считаться в числе душ, и, таким образом, все трое не участвуют ни в лесах, ни в водах, ни в землях, а мерзнут от холода и побираются христовым именем. Умри в семье, при шести человеках, работник, как представитель «души», — и все шесть человек делаются бездушными. Таким образом, выходит, что если в той или другой деревне считается, положим, пятьдесят душ, то это не значит, чтобы и было действительно пятьдесят; пятьдесят — это патентованные, в действительности же деревня наверное имеет подлинных человеческих душ втрое большее количество, которое, однако, не пользуется общинными благами.

Теперь прошу представить себе положение деревенского человека, который понял порядки, среди которых он живет. Не почувствует ли он себя одиноким в этой общине, и не мелькнет ли у него мысль уйти отсюда туда, где полегче, где поинтересней и посправедливей? Представьте себе к тому же, что человек, сообразивший педагогическую механику, настолько еще не одеревенел, что жалеет, положим, своего ребенка, не хочет, чтобы тот умер как-нибудь случайно, «горлушком», как умирают на его глазах сотни детей ежегодно, не хочет, чтобы его, такого милого мальчика, колотил палкой какой-нибудь фельдфебель, чтобы его сек этот мир за баловство, за неплатеж повинностей, — и вот является желание добиться денег, нажиться и уйти. Уйти из этих условий необходимо, потому что сделать мирской вопрос из этих погибающих детей, из этих сечений, из этих фельдфебелей — нет никакой возможности. Таких вопросов деревенский мир не касается, всякий подавлен им в одиночку и уже утратил веру в то, чтобы вопросы эти могли ког-

да-нибудь быть достойными общественного внимания. И вот желание выйти порождает желание добиться средств, и в человеке талантливом, даже сердечном, который понял свое собственное положение, — начинает зарождаться кулак, сначала во имя полного нравственного одиночества, а потом, со временем, и уж просто во имя наживы. Там, где — как говорится — «не за что взяться», можно продать барину и жену — лишь бы выбраться на божий свет; там же, где хороша земля, где природа не обидела человека, умный деревенский человек выбивается в люди и не покидая деревни. Так как особенно строгой нравственности система от деревенского человека не требует, то бесцеремонность в средствах людей, не желающих оставаться в дураках, доходит до поразительнейших размеров.

Образование этого класса людей, этой аристократии современной деревни, делает положение простого мужика еще более трудным и еще более суживает размеры его мысли. Наряду с трудом для удовлетворения посторонних интересов он не меньше трудится и на аристократию деревенскую; благодаря этой аристократии несовершенные формы современного общинного землевладения изменяются еще более. Вы видели, что дележ земли и без аристократии довольно неудовлетворителен; аристократия делает то, что многие из признанных за души душ принуждены уступить свои владения богатеям, причем иной властвует наделами пяти-шести человек. Судите же теперь, много ли настоящих хозяев в деревне, если исключить из общего числа живых деревенских людей все, что не имеет и по закону права пользования землею, и вообще если вспомнить все, что по поводу этого было сказано выше.

Значительное большинство крестьянского населения благодаря вышеприведенным обстоятельствам все более и более теряет между собою свою мирскую связь, так как все более и более чувствует трудность личного своего положения. Дележ двухсот рублей, взятых с кабатчика, между душами (конечно, только законными) лучше всего доказывает, до какой степени вымерла мысль о дружном общественном хозяйстве и внимании: у всякого много своих забот, и всякому нужны свои два целковых, тогда как те же двести рублей дали бы миру около двухсот

же десятин земли (в соседстве, в удельном ведомстве, отдаются земли в аренду по 1 руб. — 1 руб. 25 коп. за десятину) и десять десятин дровяного и издельного леса. Каждый видит, что надежда только на себя, и сообразно с этим живет изо дня в день. Интересуясь двумя рублями, потому что они попадают ему прямо в руки, он вовсе не интересуется своими собственными сотнями и тысячами, которые растрачиваются разными старшинами и писарями, не интересуется потому, что все равно из этих денег никому не достанется ни копейки.

К главе I

Рассказывал мне один слепинский мужик такую историю про старого барина, или, вернее, историю своей конюшни...

— При старом еще, при дедушке, тоись, нынешнего-то барина, Миколай-то Миколаича... При старом, стало быть, Миколай Миколаиче... Пошел к нему мой дедушка леску попросить: конюшню надо, мол, строить, Миколай Миколаич. А у нас скота было — слава богу. Убрались мы с хлебом к успенью, спешит дед к осени с этой конюшней. А уж и холодки пошли. Дедушка скотинку берег, не давал ей зябнуть: бывало, чуть не вся изба зимой набита скотом — про сенцы и сараи и говорить нечего... Вот он и пошел к барину, чтобы разрешил леску. «На что?» — «Конюшню хочу строить!..» — «Возьми!» Принялись мы рубить, возить, пошла у нас стройка живым манером. К покрову все начисто обладили, покрыли — и скотину ввели. И конюшню-то вывел дед — дворец! Почитал он скотину — это что говорить: такой покой ей уготовал — на! Вот, хорошо. Вчера, так надо быть, поставили мы в конюшню скотину, а нониче (будем так говорить) случилось мимо нас барину ехать... Глянул так-то: «А! Что такое? Чье?» — «Наше, — говорит дед: — конюшенку, батюшка, вашими милостями выстроили». — «А спрашивался?» говорит. — «Как же, батюшка, спрашивался, это, то есть, насчет лесу...» Помычал что-то барин про себя, а наутро, только что было умылись, помолились — хвать, подъезжает к нашему дому двадцать четыре подводы. —

Что такое, зачем? Господи помилуй! — «С господского двора, свозить конюшню, барину понравилась...» Туда-сюда — и боже мой, и на глаза приказчики к барину не пускают... Что будешь делать?.. Свезли, сломали.. А уж заморозки пошли настоящие, так что и совсем морозы по ночам бывали... Ревет скотина. На дедушке лица нету... кипит у него ретивое... Опять идет к барину, опять в ножки... (что было-то!) Само собой — леску! Дал, и так, что еще больше дал, чем в первый раз... Опять мы принялись топорами звонить, и опять вторая конюшня поспела. Вывели мы, братец ты мой, эво какие палаты, обомшили и оконопатили — чистый рай для скотины... вверху сена вали хоть тысячу пудов. Любил скотину дедушка, берег покойник, дорожил... Недели не прошло, опять едут разбирать... Фу ты боже мой, что такое! Уж тут дед себя не помнил, взвыл, как волк, ощетинился — чисто зверь!.. «Понравилась»... да и шабаш. «Да, господи помилуй! — говорит дедушка: — ай у барина-то лесу нету. Пусть прикажет, такие ли мы ему хоромы выведем... Уж что же это такое завидовать мужицкому добру?» Лютовал дед и убивался, а и вторую конюшню таким манером сломали и перевезли на барский двор. «Ну, — сказал дед: — уж в третий раз не пойду кланяться этому бесстыжему... — так-таки «бесстыжим» и назвал при приказчике при самом, ей-ей!.. — На свои кровные выстрою — пущай тогда подойдет...» Заложились опосля того мой дед и отец, начисто, все до нитки заложили, коё распродали, что было, сбили денег, купили за двадцать пять верст старую ригу, у одного дворника, леску прикупили — опять конюшня готова, и еще того лучше вышла, право слово... «Ну, теперь подходи, барин!..» — сказал дед и ждет, что будет, лютей лютого зверя... Да и деревенские-то наши мужики тоже любопытствуют, что выйдет... И случись что — именно постояли бы за деда. Идут: «К барину ступай!» — «Ты опять выстроил конюшню?» — «Так точно!» — «Как же ты у меня не спросился?» Тут и стал дед стыдить барина, не вытерпел: «Завидущие твои глаза, говорит, ай у тебя добра мало! Скажи только, не такую конюшню выстроим... Вздумал разорять мужика... есть ли на тебе крест?.. Уж не хочешь ли и эту отнять конюшню-то? Так опосля этого не барин ты, а бесстыжий человек...» Так устыдил он барина,

страсть: и топал-то он, и кричал-то «живым зарою в землю», и в бороду-то лез, а дед все свое, пронял барина, вогнал его в стыд... И с этого стыда-то приказал барин дедушку драть... Шибко били старика, а конюшню оставили... Поди вот что было!

Несколько лет тому назад гулял я среди густого заброшенного парка старинного господского дома, долго никем не обитаемого. Был со мной старый-престарый дворовый человек, доживавший век в покинутом доме вместе со старыми слепыми дворняжками. Шамкая губами, он во время нашей прогулки по парку поминутно с какою-то тоскою повторял: «И что было... Чего-чего не было... Что было, и что стало!..» и т. д. И когда я спросил его: «Что ж такое было?..», то старик только махнул рукой и затряс головой, как бы подавленный массой воспоминаний... «Что было-то?» — остановившись в густой аллее, зашамкал он наконец, задавая этот вопрос не столько мне, сколько себе, и, помолчав, стал отвечать на него так... «Были (крепко, жалобно сказанное слово) дубы!..» (Молчит и жует губами...) «Были (опять крепкое слово...) скворцы!..» Тут он затряс головою и долго жевал губами, потом вдруг махнул обеими руками, как бы представляя, что все провалилось сквозь землю, и дребезжащим голосом возопил: «Нет (крепкое слово) ни дубков, нет (крепкое слово) ни скворцов!» Больше он ничего не говорил и не вспоминал, только тряс головой и вздыхал. Унеслись и из его воспоминаний старые барские годы. Мелькают в нем какие-то тени прошлого, бегут как тонкие, разорванные ветром облака... Какие-то скворцы... дубы — вот все, что сохранила ему память...

...Чтобы яснее представить всю эту страшную трудность борьбы с неверием крестьянина в здравость господской мысли, в человечность господского «нутра», мы в одном из следующих очерков представим отрывок из памятной нашей книжки, посвященной этому предмету. Теперь я упомяну только о том, что действующее лицо этого отрывка, лицо действительное, до сегодня не может забыть фразы, сказанной ему одним крестьянином, когда борьба эта кончилась, когда они поняли друг друга и когда мужики успели выбить из упомянутого лица все

в самом деле не нужное, барское. Фраза эта не забывается упомянутым лицом, так как означает наивысшую похвалу человеку, пожелавшему сблизиться с народом. «Ну, Васильич, — сказал крестьянин покоренному барину: — прямо скажу, не барином бы, а мужиком тебе быть... Вот тебе мое слово!»

Завладев имением великана, новый барин поселился только в двух комнатах, стал носить мужицкие сапоги, полушубок, принимал крестьян, как своих друзей, и платил дороже, чем платят соседи. Но мужик не верил ему, так же как и соседям; водку пил, деньги брал, а смотрел как на барина и не полагал между ним, — желавшим ему добра, — и другим, который просто его нанимает и не пускает дальше заднего крыльца, — никакой разницы. Барин чувствовал себя глупым, несмотря на то, что, для примера, рыл и канавы и удобрял костями, и наглядно показывал такими опытами преимущество знания перед незнанием. Все эти дренажи мужик произвел, молотилкам удивлялся и хвалил, но, рассуждая, что все это *не наше* и не для нас, нисколько не чувствовал от нововведений никакой пользы для себя и не трудился доказать новому барину, что его благие намерения приносят плоды, что жертвы его (барин отдал на эти нововведения все свое состояние) не пропадают даром. Делай что хочешь, плати, мы исполнять будем... и всё! Ничего другого барин не получил от народа, которому хотел дать и от которого хотел заимствовать. Сделать эти нововведения достоянием общественным и стать самому слугою, то есть совершенно переменить роли, — барин не мог и потому, что был барин, и потому, что глупо, и потому, что мужики первые захохочут над этим. Кончилось тем, что сам барин считал вздором все, что он рыл и вырыл, все, что он применял и улучшал. Кроме того, этот же самый барин сильно обижен был и оскорблен бессердечием крестьянина, который, как оказалось, только из-за денег и возжался с ним, поддакивал и потакал. Мало того: барин увидал, что мужик, из личных своих выгод, поощрял в барине самые дурные инстинкты, незаметно развил в нем нравственную неряшливость, нравственное спустя рукава. Мужик, одним словом, обманул веру в народ, в его чистосердечие,

простоту... «Холопы, копеечники, распутники — вот что такое этот сконапель народ!.. Впрочем, ребята добрые, впрочем, дети...» Ужас и за народ и за себя, тоска за то и другое, и обиды и злость — все это вместе выгнало барина вон... Он просто ушел и бросил все на произвол судьбы, оставшись, к своему глубокому горю, в долгу тем самым мужикам, которым он сам хотел помочь выйти из нищеты и невежества. Убегая, он чувствовал, что позабыл все что знал и что поглупел на 75%, не менее...

———

Всматриваясь в инструкции о крестьянском самоуправлении, о волостном сходе, волостном суде, можно подумать, что деревня в самом деле живет общественными интересами, — так много наставлено в этих инструкциях пунктов, подлежащих мирскому решению и обсуждению; но, всматриваясь в практическое применение этих инструкций, видишь, что никакой общественной силы тут нет и проявить и практиковать ее не на чем. Видишь, что из деревни не исходит в общий поток, направляющий жизнь всей страны, ровно ничего или уж что-то бесконечно малое, что деревенская мысль ни капельки не участвует в направлении мысли, руководящей страною. Мелкая, утомительная, копеечная хлопотня и возня с своим добришком, с дележом земель, лугов, доведенная, кстати сказать, до артистического совершенства и правильности, — вот в чем деревня может быть полным хозяином и в чем она может распоряжаться на всей своей воле, обдумывая эти мелочи сколько угодно, разрабатывая вопрос о твоем и моем — сколько угодно, и, надо сказать правду, эта односторонность направления общественной крестьянской мысли сузила и как бы даже задушила крестьянский мозг на копейке серебром, приковала его крепко-накрепко к каждой тряпке, к каждому дырявому лаптю, так как над правильностью распределений этих тряпок и лаптей между сочленами деревенского общества — весь запас свободного крестьянского мышления... Глядя на эту сухую, микроскопическую возню крестьянского ума над участью каждой собственной и чужой щепки, можешь, правда, удивляться силе этого ума, удивительной логичности и последовательности, но не можешь не видеть, что эта логичность — мышиная, крото-

вая, направленная на ничтожные, поистине грошовые, цели. Вот сию минуту идет война, из этой самой деревни уходят люди, над этой самой деревней скажутся последствия победы или поражения; но найдите хоть одного человека, который бы не то что задумался, а стал бы слушать вас, если бы вы коснулись в разговоре вообще настоящей минуты. Зевать начнет самый умный из умных; а вот насчет телки, как ее выменить, на телегу ли с хомутом или на пару овец с придачею, насчет придачи, насчет того, на сколько — на копейку или на две обочли на мельнице, и т. д., и т. д. — об этом мы проговорим не час и не два, — два дня кряду; копейка, две копейки, обчел, нажил рубль, передал грош и т. д. — вот это неисчерпаемый сюжет для разговоров, неисчерпаемая и самая насущная тема, а главное, единственная тема для самостоятельного мышления.

Ограниченность круга этого мышления поразительна и обидна; она почти лишает вас всякой возможности каким бы то ни было путем возбудить внимание крестьянина к его насущнейшим общественным нуждам; непременно надо начинать с телки, с курицы, с копейки серебром и долго тянуть эту канитель, прежде нежели получится возможность завести речь о каком-нибудь общем крестьянском недуге, общей надобности насущной, но не примечаемой. Да и тут, едва только телка перестает быть главным предметом разговора, едва, вместо копейки Ивана Иванова, вы начинаете речь о деньгах вообще, весь интерес к разговору в крестьянине исчезает, он слушает из приличия и очень, очень широко разевает рот, зевая и скучая, а главное, не понимая ничего и не желая понимать. Охота у него к этому пониманию совершенно отбита. Да и не мудрено ей пропасть.

В общих чертах, вся умственная деятельность крестьянина занята, таким образом, почти только одной работой: достать денег. Безотрадней и суше такого нравственного настроения нельзя ничего себе представить. Эта вечная служба неизвестному, непонятному, — служба, не смягченная никакими видимыми результатами, — иссушает народный ум, дает ему жесткое, ограниченное направление. У господ, которые, быть может, так же шибко иной

раз хлопочут о деньгах, как и мужик, есть книги, журналы, газеты, помогающие им знать, что делается на белом свете, находить себе место и дорогу среди людей и явлений данной минуты; ничего подобного в положении крестьянина нет, — он окружен непроницаемой тьмой, из которой к нему не светит ни одной звездочки. Для досуга, для отдыха, для свободной работы мысли — если к этому еще представится какая-нибудь возможность — у крестьянина всё те же совершенно детские сказки, страхи, черти, клады и т. д... Крепко верит он в тот самый вздор, в который верил его тысячелетний предок, и на этом вздоре окружающая крестьянина тьма еще несчетное число лет может разыгрывать то, что ей будет только угодно... Ребенок душой, он — как взрослый человек — мелочной, сухой и жесткий практик. Громада лежащих на нем обязанностей, понятных ему только в виде уплаты денег, суживает его личный обиход до микроскопических размеров, большею частью до простого стремления прокормиться, до мелкой ежедневной, из года в год переходящей возни над кропотливой заботой пережить день.

В общих чертах, положение крестьянина не особенно привлекательно. Беспрекословный исполнитель повелительных наклонений, исходящих из волости, он, не имея ни цели, ни причины, знает одно, что ему нужны деньги и деньги. «Крестьянство», то есть земледельческий труд, денег этих не дает, — и необходимо добывать их на стороне. Случайность заработка, дающая одному больше, другому меньше, третьему совсем ничего, — разъединяет «мир», общину. Жаль, тысячу раз жаль расшатываемого требованием денег и денег русского крестьянства.

К главе III

Этот последний пример, занесенный мною в деревенский дневник уже после отъезда из Слепого-Литвина, помог мне отчасти в разрешении одной деревенской загадки, истинный смысл которой прежде был для меня неясен.

Ежели нашему простому «серому» мужику, в настоящее жуткое время, так «шибко», так «во что бы то ни стало» нужны деньги и деньги и ежели он буквально бьется как рыба об лед, не находя или уже истощив все способы раздобыться ими у себя, в деревне, — то отчего бы, в самом деле, не попробовать ему «поправиться» где-нибудь на стороне, на заработках в городе, на какой-либо сподручной службе?.. И затем, отчего это всегда выходит как-то так, что ежели этот мужик, крепко притиснутый нуждою, и рискнет, наконец, на такую пробу, то, несмотря на очевидные выгоды, — быстро раскаивается в своем риске и бежит назад домой, как это делает Иван Абрамов, как то же самое, если помнит читатель из конца первого отрывка, делает и другой крестьянин, Иван Афанасьев?.. Отчего, далее, даже и те из них, которым, после такой пробы, почему-либо надолго отрезан всякий путь к отступлению, — никогда, однако, не «поправляются» на стороне и приходят назад в деревню с пустыми руками?..

Иван Абрамов и Иван Афанасьев своим личным опытом, на своих собственных спинах несут возможно полное решение этих вопросов. Их горькая участь, в силу такого решения, взывает к вашему милосердию и делает для вас обязательным единственно справедливый вывод из всего этого: если вы хотите «поправлять» мужика в его действительно ужасном теперешнем положении, — то поправляйте его на месте, у него дома, в *его* деревне, а не гоните его нá сторону, где он теряется поистине как малый ребенок, если только он настоящий *серый* мужик, а не кулак, не современный деревенский «пройдоха»...

К главе IV

Наконец, обратите внимание на сторожа, о котором говорено вначале: член общины не может найти поручителя в 15—20 рублях, тогда как, кроме общественных сумм, находящихся в распоряжении сельского схода, в селе есть банк, которому государственный банк делает кредиту на 15000 рублей. Этот член общины не видит

никакой возможности оправиться, в виду работы, которая у него, да и у всех его односельчан под носом, когда всем видно, что двадцать рублей он отработает...

Здесь отец не пускает мальчишку на работу, жалеючи грозит ему и, пожалуй, жалеючи и прибьет, а при настойчивости и непокорности — призовет на помощь и старшего брата, который засветит оплеуху не хуже хорошего родителя, а между тем знающий, основательно развитой человек сумел бы чем рассеять эту скуку, приковав внимание мальчика к какому-нибудь интересному делу, хоть к книжке, в которой рассказывается, отчего кричат и умирают дети?.. Но ни человека, ни книжки, ничего такого нет. Есть школа, но учитель, работающий из-за хлеба, сам мало знающий, сам подавленный бедностью, рад отдохнуть летом один, попить-погулять в гостях у соседа священника. Да и в рабочее-то, классное время впору ли ему справиться с шестьюдесятью человеками?.. Чтобы их научить азбуке — и то, по его собственному выражению, он «отмолотил» себе язык. Есть ли ему возможность и время к внимательности? Нужен просто *внимательный* (и в большом количестве) деревенский житель, а его-то и нет...

«Стало быть, так угодно богу, если тысячи и миллионы народа бьются точно так же, как и мы», — вот как объясняет себе каждый крестьянский дом свое положение, поднимаясь на работу с петухами.

Но покорно подчиняясь велению свыше, крестьянин, сидящий на необитаемом острове, не может не действовать, не может не смотреть на себя иначе, как только в интересах этого необитаемого острова. Этих интересов, этих забот, которые тоже даны свыше, такая гибель и облегчить их какими-нибудь иными силами, кроме собственных, до такой степени кажется невероятным (никто не знает примера со дня рождения), что окружающие одну крестьянскую семью другие крестьянские семьи для первой будут также казаться такими же необитаемыми островами, населенными жителями, действующими и смотрящими на жизнь только во имя своих собственных забот... Попалась одному необитаемому острову работа,

он захватит ее столько, что не в состоянии и выполнить, а уж соседнему острову не скажет!.. Если соседний остров послабей, победней, то, пожалуй, можно всучить ему работу, которая попалась, но вместо рубля заплатить слабому острову пятиалтынный, а восемьдесят пять копеек оставить у себя в кармане... Случись то же самое с слабым необитаемым островом — и он поступит так же точно, и оба будут полагать, что все это совершенно правильно, по-божьему, по-господнему...

И в самом деле, при такой разрозненности членов общины в нравственном отношении, посмотрите, какая ничтожная связь существует между ними и в вопросах общественной выгоды, прямой пользы, расчета.

И нет людей, которые бы приняли к сердцу весь этот ужас деревенских порядков, которые бы, перестав сочувствовать народу на словах, считали бы своею обязанностью жить среди него, отдавая ему свои знания и давая ему возможность видеть и понимать такие вещи, которые теперь уткнуты в самый темный угол *собственных* своих нужд, забот и горя...

К главе VI

Признаюсь, все эти соображения произвели на меня не очень-то приятное впечатление, неприятное почти в той же мере, как и следующая, виденная мною на днях, сцена. На крылечке одной избы сидела женщина и ласково-преласково гладила кошку; кошечка была хорошенькая, молоденькая, очевидно не достигшая еще кошачьего совершеннолетия. Женщина ласкала и приговаривала:

— Умница! Вот уж умница, Пеструшечка!.. Мышку поймала! Первенькую.

А хорошенькая, молоденькая кошечка, нервно виляя хвостом, утирала лапкой окровавленный ротик...

Я очень хорошо знаю, что нельзя допускать мышей безнаказанно распоряжаться в кладовой; я, кроме того, решительно не стою за мышиную автономию; но я не люблю и милых, наивных мордочек, у которых окровавлены миленькие, хорошенькие губки... Я бы не решился

гладить и ласкать эту невинную с окровавленной мордой тварь, хотя и признаю, что тварь эта действовала на законном основании, хотя и понимаю, что столь раннее сознание своих обязанностей, какое обнаружила молоденькая кошка, достойно всякого почтения... И мне невольно припоминается милая, умненькая кошечка, умывавшая лапкой свой хорошенький ротик... И, право, нехорошо на душе...

Приведу два примера деятельности Ивана Васильева из рассказанных мне сычовским обывателем, чтобы читатель сам мог убедиться как в природной даровитости этого человека, так и в действительности одушевлявших его общественных качеств.

И то и другое стало для меня особенно ясным, когда обыватель рассказал мне о переделе общественных земель. Дело это в здешних местах происходит, по словам рассказчика, обыкновенно таким образом: в год передела все общественники-землевладельцы, со старостою во главе, отправляются на место передела и, во-первых, обходят общественную землю, деля ее на три поля, во-вторых, обходят отдельно каждое поле (озимое, яровое, пар), деля на участки по качеству, также на три участка: хороший, средний и плохой, и, в-третьих... Но, в-третьих, начинается нечто для обыкновенного смертного невероятное. Представьте себе, что по разделе земли на поля в каждом поле оказалось по десяти десятин (говорю примерно), а по разделе на участки по качеству десять десятин поля разделились таким образом: хорошей, положим (из десяти десятин), оказалось две десятины, средней — три, а плохой — пять. Вот эти-то куски и требуется разделить между всем миром, между восьмидесятью человек. Судите теперь сами, какая египетская работа (уж не знаю чего: ума или чего-нибудь другого) нужна, например, для того, чтобы определить ту цифровую дробь десятины, которая приходится на душу в двух десятинах хорошей земли, суметь потом, по-пчелиному точно и верно, без обиды, отмежевать эту дробь на земле; потрудитесь представить себе все невозможное пересечение линий, все эти геометрические фигуры, которые могут при этом возникнуть; прибавьте к этому, что точно такая же операция происходит над каждым полем, следовательно, повто-

ряется девять раз, и подивитесь необычайной силе памяти Ивана Васильева, который, в качестве сельского старосты (два года он был сельским старостой), мог *помнить* один все эти трижды восемьдесят геометрических фигур! Каждому домохозяину нетрудно помнить границы своих участков в трех полях, но помнить одному границы всех участков — дело громадное, а Ивана Васильева именно и хвалят за то, что он «помнил», что он не давал маху в случаях споров и всегда мог вернейшим образом указать, что кому следует.

Но этого еще мало; земля, разделенная таким аптекарски-совершенным способом, обыкновенно не остается в таком виде, как изображено выше. Почти тотчас по разделении ее аптекарски правдиво, на сцену выступает, во-первых, взаимное соглашение, а во-вторых, нужда, и моментально сбивают всю эту кучу геометрических фигур, всех этих треугольников, углов, клиньев, скрупулов, драхм и унций в одну перепутанную массу, совершенно уничтожающую аптекарскую правдивость передела: тут оказывается, что владельцы хороших драхм предпочли взять побольше худых золотников, тут земля ускользнула, потому что «ты мне подвержен», потому что нужда велит ее отдать внаем и т. д., и т. д. до бесконечности. Но если аптекарски-аккуратный вид правдивого дележа и исчез, если в действительности и вышло так, что некоторые из получивших землю пошли домой вовсе без земли или с правом только на худую землю, тогда как другие с тем же правом исключительно на хорошую, то все-таки для сельского старосты необходимо помнить, крепко держать в голове весь процесс превращения передела из одной формы в другую, то есть, памятуя обо всех вышеупомянутых треугольниках и прочих фигурах, необходимо знать, как, на каком основании фигуры эти очутились вовсе не в тех руках, в которые попали они при аптекарской развеске. Все это необходимо было помнить, ввиду необходимости разрешать очень и очень частые недоразумения, возникающие из смешения нужды с правом, а права с «ты мне подвержен». А Иван Васильев все это знал, все помнил, и фигуры, и драхмы, и «ты мне подвержен», и «что кому следовает». По крайней мере его решения по разным земельным спорам крепко помнит вся деревня, говоря, что справедливей его никто ни прежде,

ни после таких дел разбирать не умел, потому что никто не обладал такой способностью вникать во всю эту геометрию нужды. И мне кажется, что Иван Васильев не мог бы в таком совершенстве выполнять этого трудного дела, если бы напряжение его внимания не поддерживалось глубоким сознанием общественной важности этого дела.

Другой рассказ обывателя, касавшийся деятельности Ивана Васильева, рисует его также при дележе общественного имущества, именно леса. Дело это, хотя несколько и в меньшей степени, все-таки требует недюжинного внимания к общественным интересам. Лес делится таким образом: во-первых, миряне по возможности в полном составе назначают участок, который подлежит к срубке, для чего всем миром делают обход этому участку; затем, во-вторых, вновь обходят отведенный участок и сортируют его на разряды, по качеству леса, причем топором отмечают деревья первого сорта, второго и третьего, для чего необходимо обойти лес три раза, а всего, стало быть, уже четыре, и, в-третьих... Но тут опять происходит нечто поразительное, именно: обойдя лес четыре раза, миряне делают каждый свою метку или жребий со своей меткой; для этого берутся по возможности ровные сучья, рубятся на равные шашки, и на этих шашках каждый мирянин ставит свой знак: кружок, крестик, крестик и палочку и т. д. Затем все эти шашки складываются в шапку старосты, и мир, предшествуемый старостой с шапкой, трогается в путь, разумеется сначала к деревьям первого разряда. У первого же дерева весь мир, все восемьдесят человек останавливаются, и староста вынимает жребий, и дерево метится тою же меткой, какая на жребии. И затем такая процедура происходит буквально у каждого дерева, каждого куста, чуть не у каждого сучка. Бывают случаи, что иной не признает метку своей, бывает, что метки сойдутся одинаковые, бывает множество случаев, когда мирянин норовит отделаться от дерева, которое ему не по нутру, — и вот почему старосте надо помнить все метки, двадцать раз пересмотреть их, чтобы не было одинаковых, похожих, двадцать раз переспросить каждого, чтобы он пред всем миром и притом не раз засвидетельствовал все особенности своей метки. Небходимо помнить все эти кружки на метках и сучки на шашках, в особенности в виду так называемых *нечек* (нечки), то

есть лично не присутствующих при дележе. Занятый работой крестьянин поручает вынуть жребий соседу, знакомому, первому попавшемуся обывателю. В таких случаях обыватель, которому доверено вынутие жребия, ставит на этот жребий доверителя ту же метку, какая стоит и на его жребии. Вот в таких-то случаях, не в обиду мирянам будь сказано, довольно-таки частенько бывают случаи, что худое дерево достается нечке, и хорошее тому, кому нечка доверил. Необходимо поэтому добиться, чтобы, при одинаковости меток, являющийся доверенным мирянин признал бы какую-нибудь из шашек за свою и какую-нибудь за нечника. Тут уж нужно помнить такие вещи, как, например, сучок, и притом с какого боку и велик ли, потому что сучок может быть и на той и на другой шашках, но только что тут поменьше, а там побольше, и не с того боку, да и потоньше... Все это надо помнить, чтобы никому не было обидно, и Иван Васильев помнил, по крайней мере все сычовские жители говорят, что за его время никому в этих делах обиды не было, что Иван Васильев никому не дал сфальшивить...

К главе VII

...Не зная еще всей трудности деревенского дела, я в одном из предшествовавших отрывков попробовал было оценить по-деревенски оплачиваемые теперь знания и труды и, между прочим, предложил врачу курицу в вознаграждение за медицинскую помощь крестьянину. За эту курицу один врач не то что обругал меня, а с непостижимою и постыдною злобою просто «осрамил» печатно — правда, в собственной газете. Теперь я понимаю эту злобу и говорю себе: поделом, не прикасайся с такими требованиями к человеку, помазанному уже по губам земским окладом рублей тысячи в три, — правда, за «санитарный надзор» над территорией не менее германской империи. Нет, таких помазанных окладами не оторвешь от земского или иного сундука — какая тут, в самом деле, курица! Ошибка моя была велика, и я понес за нее достойное наказание, тем более достойное, что ни о каких жалованьях и окладах в настоящем деле не может быть и речи.

К главе VIII

...Но тут произошло обстоятельство, которое сразу, решительнее всяких деревенских сплетен и подвохов, развязало Андрея Васильича с деревней. Он получил известие, что в его личных и семейных делах произошло нечто неладное, потребовавшее его непременного присутствия и немедленного отъезда.

Не случись этого — и нет никакого сомнения, что деревня поглотила бы «без остатка» все, что было в Андрее Васильевиче нужного для нее... Сообразно с этим, с другой стороны, и Андрей Васильевич терял бы себя самого все более и более, понемногу, по частичке, — вплоть до тех пор, пока бы терять уже ничего не оставалось. А в результате всего этого оказалось бы только то, что Андрей Васильевич *съеден* деревней окончательно, «без остатка», а сама деревня, с таким аппетитом скушавшая его, конечно получила бы пользу для себя, но польза эта, сравнительно с громадностью личной жертвы съеденного, казалась бы ничтожной, едва-едва заметной... Чтобы эта польза была действительно велика настолько, что могла бы вывести деревню из непроглядного мрака, в котором теперь живет она, на яркий свет божий, — поистине велико должно быть количество таких съеденных ею жертв!..

К главе IX

Некто г. Б., человек, как видно из многочисленных статей и статеек, подписанных этой буквой и помещавшихся в разных повременных изданиях, весьма близко стоящий к народной среде и внимательно следящий, главным образом, за явлениями, касающимися народной нравственности, — напечатал в одном из июльских №№ газеты «Новое время» небольшую заметку под заглавием «Неудовлетворенные стремления», касающуюся, как нам кажется, наиважнейшего из явлений, отличающих современную русскую и в особенности русскую простонародную жизнь. Явление это — стремление некоторых наиболее талантливых людей народной среды выработать такую нравственную доктрину (*найти нравственную опору,* —

говорит г. Б.), которая бы осмысливала жизнь человеческую, уясняла бы взаимные отношения людей, — словом, давала бы трудной, хлопотливой, крепко работящей крестьянской жизни нравственное уяснение, оправдание, смысл. «Необходимость поисков нравственной опоры» автор заметки приписывает желанию в народе бороться с «пьянственными и другими разорительными увлечениями», пробравшимися в настоящее время и в крестьянский мир, но объяснение это кажется нам не вполне удовлетворительным. Конечно, «пьянственная» сторона современной действительности, как в крестьянском, так и в благородном обществе, не подлежит никакому сомнению: всеобщая «пьянственность» — черта современная, притом черта, усердно разработанная и разрабатываемая. Но объяснить ею и другими «разорительными увлечениями» желание найти нравственную опору в своем существовании нельзя, так как такое объяснение далеко не исчерпывает всей совокупности условий, среди которых приходится жить освобожденному крестьянству. Не раз в своих заметках, печатавшихся под иным названием, мы указывали на то, что та растерянность современной крестьянской жизни, которая невольно бросается в глаза всякому мало-мальски беспристрастному наблюдателю, хотя и объяснима, главным образом, недостатками матерьяльными, почти всю жизнь крестьянскую убивающими на беспрерывный и не всегда плодотворный труд, но что главнейшая забота и главнейшая беда, с которою приходится бороться крестьянству, —это полная беспомощность в таких явлениях, в которых необходимо, во-первых, самое широкое знание, и, во-вторых, необходимость выяснения нравственного смысла своего существования на белом свете. Мы говорили (и будем говорить в особой статье более подробно), что, как нам кажется, только теперь, то есть после освобождения крестьян от крепостной зависимости, для миллионной массы русского народа настало время, когда ей необходимо и до некоторой степени можно жить своим умом, только теперь до некоторой степени кончилось то беспрерывное, изменявшееся только по названию и по форме, нравственное иго, которое целые сотни лет заставляло тратить народ наибольшую часть своей нравственной и умственной силы исключительно почти на приспособление к чужому жела-

нию, велению, приказанию. Он не имел почти времени «думать» и много-много что успевал — «приноровляться» к тягостнейшим и запутаннейшим условиям жизни, созданным для него прихотливым произволом. Способность «сживаться» и «уживаться» в самых невозможных обстоятельствах и с самыми невозможными обстоятельствами, жить, руководствуясь «сноровкой», и т. д. — все это наследие столетий запуганной, с толку сбитой мысли; и мы, несмотря на то, что все эти качества разработаны в русском человеке весьма основательно и широко, не можем считать за качества, достойные национальной гордости. Приноровляясь целыми столетиями то к «барину», то к «татарину», русский человек постоянно должен был делать бесчисленные уступки в своей мысли и совести, постоянно и беспрерывно шатал и то и другое то в одну, то в другую сторону. Сохранение своей шкуры было едва ли не самою реальнейшею из забот его. Даже и в тех случаях, где русский человек, сообразив, что жить таким образом, то есть только из-за сохранения своей шкуры, невозможно и перед богом грешно, начинал подумывать о нравственных основаниях жизни, создавал во имя этого секту, толк и т. д., — даже и в таких случаях мысль его несравненно более тратилась на тó, чтобы «сокрыться» с своим учением, чем на разработку его в подробностях. Не успеют пять — десять человек прийти к мысли, что худо жить так, без закона, не успеют выработать трех-четырех положений о том например, что в гости и на пиры не ходить, женатым разжениться, а неженатым не жениться и т. д., не успеют сочинить какого-нибудь самодельного стиха, в котором половины нельзя понять, а другая трактует о том же, то есть в гости не ходить, вина не пить, — смотришь, принуждены бежать, скрываться по лесам, скитаться из угла в угол. На собрания, сходки — дни и недели; на то, чтобы устроить угол для них, чтобы огородить их нá эти недели, уходят годы, десятки лет. Да в сущности все русские секты суть бегуны: бегали они гораздо больше, чем думали, и думали гораздо больше о том, куда и как убежать, как скрыться и т. д., чем о том, чтобы развивать и совершенствовать свое учение.

Но вот в настоящее время, когда над народом нет уже ни татарина, ни барина и когда, кроме этого, он

очутился в совершенно новых условиях, когда он поминутно сталкивается с совершенно для него новыми явлениями (хотя бы в области наживы), волей-неволей ему приходится думать, и думать много, и притом обо всем. Недавно еще и его семейные отношения, и его отношения общественные, наконец размеры и тяжесть труда — все имело объяснение и причину в барине, во владельце. Думать, распоряжаться во всех этих обстоятельствах *по-своему* было невозможно; как на маяк, надо было смотреть на барский двор и оттуда ждать указаний: за кого отдать дочь, куда идти на заработки, сколько дней работать и т. д. Над всем царствовала чужая прихоть, чужая мысль; народу оставалось приспособляться к ней, натягивать или ослаблять свои нервы, «изловчаться», «приноравливаться» и т. д. Теперь — совсем не то; все теперь надо делать по-своему, а дела этого куда как много и с своей семьей и с чужими людьми. В прежнее время, командуя над народом, барин и отвечал за свои приказания — отвечал, конечно, перед богом. Мы знаем следующий случай, характеризующий недавние времена. У грозного помещика сгорела деревня. Пожар произошел в рабочую пору, в горячий июльский бездождный день. От одной искры деревня сгорела, как спичка, и в такое же короткое время. Буквально сгорело все дотла. Прибежавшие с поля крестьяне нашли на месте своих жилищ груды угольев. И что ж? Первая мысль была не о своем ужасном положении, а о барине... «Это *его* господь наказал, — говорили мужики: — Поделом *ему*...» Вот до какой степени недавно еще русский человек был *весь* чужой. В недавнее время прикажет барин привести из такого-то двора девицу или прикажет сечь не на живот, а на смерть, и очень часто «занапрасно», — все это беспрекословно исполнялось немедленно. *Сило́м* тащат девицу, держат ее за руки и за ноги или секут и засекают; а кто отвечает-то? Барин. Его воля — кабы наша воля... Во многих наигнуснейших делах, совершенных руками народа, этот народ не считал себя (и имел на то право) ответчиком. Теперь он *сам* отвечает, и поверьте, что положение его в этом смысле ужасно трудное, труднее в миллион раз, чем бедность материальная и т. д. Великое множество осталось в народе от недавнего времени привычек, взглядов, обычаев,

выросших исключительно на почве крепостного права и совершенно негодных теперь: а между тем только этой моралью, унаследованною от крепостничества, и приходится довольствоваться в явлениях новой жизни... «Старики», правящие миром и домом, все неграмотные, все помнят барина, все «поротые» и «драные». Непоротое поколение еще и не выступало на сцену, да и у него бо́льшая часть взглядов еще крепостнические, ба́рщинские. Ни церковь, ни тем паче школа ничего, *ровно ничего,* в смысле разрешения труднейших вопросов жизни, не дали и не дают с упорством поистине варварским.

Вся совокупность этих явлений, а не одно только желание противодействовать пьянственным и разорительным наклонностям, побуждает народ — одних по доброй воле, а других волей и неволей — сосредоточивать свою мысль на нравственных вопросах. Наро́д начинает создавать учения, основанные на изучении евангелия, образовывает секты. Автор заметки, по поводу которой мы говорим, отметив факт появления многочисленных сект в народе, как образчик приводит секту «сютаевцев», образовавшуюся в самое недавнее время в Тверской губернии, Шевновской волости, в деревне Шевелине. Основатели этой секты — крестьяне Василий Сютаев и сын его Димитрий. Сютаевцы основывают свое учение на евангелии, которое они на русском наречии знают наизусть и постоянно его цитируют, толкуя всё по-своему в духовном смысле. Всех людей они признают братьями, — турок, язычник для них тоже брат, — и на собственность смотрят с евангельской точки зрения. «Говорят, — прибавляет автор: — что у Сютаева много последователей, которых он увлек «безупречною жизнию», и, кроме того, помимо «безупречности жизни», немалую роль в привлечении к секте последователей играет «подъем всего экономического быта», обыкновенно обнаруживающийся во всяком таком кружке, который, во имя известных убеждений, отшатнулся от «пьянственных» и других отправлений жизни и пожелал жить и думать по-своему — так, как велит «слово божие». Факт поднятия экономического быта, как нам кажется, может лучше всяких иных доказательств говорить о том, что главнейшая народная беда заключается в забитом и сбитом с толку сознании, в беспомощности его мысли... Всю жизнь биться «из-за податей», всю

жизнь возиться «со скотиной», даже почти зависеть от нее, так как скотина — первая помощница человека в добыванье этих податей, биться из-за хлеба, биться из-за того, чтобы как-нибудь протянуть — от осени до весны, от весны опять до осени — что это за жизнь? Такую каторжную жизнь можно влачить кое-как, спустя рукава, да и к такой-то жизни надобно еще понуждать... И вот, без света и тепла в душе, коченея в холодной атмосфере труда — труда только из-за хлеба, скудного и непитательного — вяло и сонно живет большинство русского крестьянства. Оно как бы махнуло рукой на все и не думает о завтрашнем дне. Гнилая солома на крыше, грязь и смрад жилья, полуголодная, малосильная скотина — все признаки изнуренного человека... А что может быть изнурительнее труда только ради пропитания? Помимо унылого, пустынного внешнего вида деревни, ее обывателя, его скотины, невольно говорящего всякому, что они не живут, а влачат жизнь кое-как, помимо этих истощенных полей и изобилующих навозом озер и рек, доказывающих, что человек, который везет навоз не в поле, где он нужен, а в реку, где он вреден ему и его скотине, помимо этих внешних признаков душевного упадка, этот упадок виден поминутно, на каждом шагу, в делах общественных. То же кой-как да «с плеч долой» видно и в волостном суде, и на сходке, и т. д. Везде «с этим народом» любой проходимец может сделать, что ему угодно, за стакан водки и имеет полное право кричать в лицо «этому народу»: «Я всех вас за копейку куплю и продам... Вы отца родного продадите за грош!..» В такого рода упавших «духом» людях, как бы потерявших аппетит к жизни, потеряна способность самой простой расчетливости; как сонный, он платит втрое за лоскут земли, который мог бы приобрести втрое дешевле, и т. д. И вдруг с этакой-то деревней, с этаким-то растерявшим свои мысли обывателем совершается дивное диво и чудо чудное. Посмотрите: на место гнилой соломы крыш красуются крыши тесовые и стоят дома с крылечками, а крылечки со столбиками. Ворота не только не скрипят и не валятся, а прямо щеголяют своим изяществом: под каждой шляпкой вбитого в них гвоздя блестит белая звездочка жести, прямо уж для «красоты» приделанная; стекла в окнах не из ребезочков, склеенных замазкой или заклеенных бума-

гой, а настоящие, цельные, а за стеклами видны чистые занавески и цветочки... Лошадь — не скелет, с уродливым, чуть не волочащимся по земле, соломою раздутым брюхом, а настоящая, хорошая, сильная лошадь, да и телега по ней — гудит своими большими крепкими колесами и крутыми боками кузова... И на этой телеге, из этих ворот, с этого крылечка не идет и не едет пьяный, бесчувственный от хмеля человек; он не валяется посреди лужи лицом вниз, в грязь, не чувствуя, что голову его толкает свинья своим рылом; его не секут, по мирскому приговору, за распутство, за драку и т. д. Что за чудеса? Не более года тому назад и земство, вспомоществуемое администрацией, и полицейские, и урядники, и священство — словом, все, что поставлено для попечения о народе, — поистине до кровавого пота бились с этим самым народом, уговаривая его, в видах приближения эпидемии, очистить свои дворы от навоза; на одни разъезды к этим самым мужикам была израсходована целая прорва денег, и ничто на них не подействовало; напрасно разъясняли им во всех подробностях преимущества свежего воздуха перед несвежим, убеждали честью, честью просили, грозили, запирали для острастки в темную — ничего и ничего! Охрип исправник, охрип становой, охрип и на полгода потерял голос урядник; батюшка также ужасно расстроился и распростудился с этим народом до того, что должен был ходатайствовать и перед земством и перед администрацией о пособии на «излечение» в размере по пяти рублей с каждой инстанции, — словом, «этот самый» народ измучил, ожесточил все местное начальство, оскорбил его в самой глубине просвещенных побуждений его сердца и в конце концов как был в навозе по горло, так и остался... Правда, угроза о вечных муках за ослушание, которыми грозно постращали неподатливых к пониманию собственной пользы обывателей, и еще более реальная угроза о мучениях на земле, начертанная искусной речью исправника, закончившего свою проповедь угрозою немедленного военного суда и непонятной, но страшной фразой «в двадцать четыре часа», — только вся эта масса угроз, выдвинутая сразу и одновременно направленная и с неба и с земли, могла, наконец, заставить «этого самого» мужика взять вилы и зацепить ими небольшой клок навоза, да и то немедленно же им

овладело равнодушие даже к военному суду, и он, насадив на вилы навоз, не только не вынес его за деревню, на расстояние от последней в размере пяти верст, как было указано в инструкции, но даже и за ворота не вышел, а чтобы хоть мало-мальски исполнить требования начальства, опрокинул этот навоз в собственный, тут же на дворе, свой колодец, благо недалеко ходить... А теперь, спустя один, два года после этих нелепейших поступков мужика, загляните-ка на его двор и подивитесь, по чьему это велению и настоянию двор этот щеголяет уютом и изумительной опрятностью... Высокие, просторные, хорошо укрытые навесы, окружающие двор со всех четырех сторон, защищают от непогоды всякую домашнюю скотину и птицу и не гноят на дожде, как прежде, всякий рабочий снаряд, сбрую, телеги, сани и т. д. Навоз не валяется кучами, в которых по щиколотку вязли ноги прохожих и который этими ногами заносился в избу, а давным-давно вывезен в поле, разложен там правильными рядами, да и на какое поле? На то самое, которое эти самые мужики, будучи в сонном состоянии, отдавали зря, за медный грош целовальнику, да сами же и работали на него один год за долги, которые из крошечных и ничтожных целовальник без особенной хитрости довел до степени неоплатных. Кто совершил такое удивительное превращение? Уж не начальство ли, не земство, наконец не урядник ли, этот, если верить газетам, истинный чародей, творящий чудеса за самое ничтожное вознаграждение, и притом на своих харчах? Нет!

Чудеса эти сделала *книга*.

Г. Б., по поводу заметки которого мы начали речь, говорит, что в поисках «нравственной опоры» народ берется за книгу, принимается изучать евангелие, книгу, которая затрагивает и отвечает на все волнующие его вопросы. Г. Б. горько сетует на то, что рознь, все более и более обнаруживающаяся между православною церковью и народом, не должна бы существовать на самом деле, так как учение православной церкви заключает уже в себе все, чего теперь *сам* народ добивается своим умом; он как будто сетует на пастырей, которые не умеют понять всей великости лежащей на них задачи, сожалеет, что, вместо примирения с народом, увеличивают рознь, обрушиваясь на возникающие секты с преследованиями.

По нашему мнению, секты эти, носящие разные наименования — большею частию по имени основателя, в сущности не имеют между собою большой внутренней разницы, да и сектами назваться не могут. Разве сектанты — те из провинциальных, губернских обывателей, которые, вместо того, например, чтобы убивать время за игрою в винт, предпочитают проводить вечера за книгой? Разве сектанты — кружки людей, не распутничающих, не жадных до наживы? и т. д. Такие кружки есть во всяком обществе, такие заводятся и в деревне. И там и тут эти кружки просто-напросто состоят из людей, которые желают жить сознательною жизнью. В деревнях такие кружки имеют почти всегда религиозный оттенок, и их немедленно же причисляют к сектам, начиная против них преследования, которые и придают кружку просто мыслящих людей до некоторой степени враждебную замкнутость.

Нет никакого сомнения, что вопросы как о степени участия православной церкви в возникновении отщепенцев от нее, так и о влиянии преследований на укрепление этого отщепенства — вопросы весьма важные и существенные и сто̀ят того, чтобы остановиться на них внимательнее. Но это не входит в план настоящей заметки, которая пишется только для того, чтобы, во-первых, отметить факт пробуждения народного сознания, стремление определить свои личные и общественные отношения, осветить их определенным миросозерцанием, чтобы, во-вторых, обратить внимание людей, интересующихся делом народным, на то превращение в экономических условиях народной жизни, которое немедленно обнаруживается в видимом улучшении благосостояния всех тех из крестьян, которые начинают жить на основании определенных нравственных воззрений, и, в-третьих, наконец, для того, чтобы указать на великое значение *книги*, к которой прибегает задумавшийся *обо всем* русский крестьянин. Тысячелетняя жизнь его полна громадного опыта, наблюдения его бесчисленны, всесторонни и, при внимательном изучении, несомненно дадут обильный материал и многому научат тех, кто жил не в условиях народной жизни; но сам-то народ, обремененный этим тысячелетним опытом, чтобы разобраться с своей головой, ищет помощи в книге и в чужом уме, в чужом ука-

зании... Мы уж знаем, что прежде всего он берется за евангелие, берется за него именно потому, что евангелие есть единственная книга, которая с такой удивительной простотой раскрывает перед совестию человека всю необъятную совокупность явлений, обнимающих правду человеческих отношений и нравственных обязанностей; но, кроме этого внутреннего значения, евангелие есть и в буквальном смысле единственная книга, которая отвечает всей совокупности требований, возникающих в пробужденном сознании; никаких других книг, которые могли бы дать пробужденному сознанию действительную пищу, которые бы расширяли возникшую мысль, таких книг в буквальном смысле в народе нет, а между тем, как мы ниже увидим, он нуждается в них настоятельно. Все же *печатное*, что проникает в массы, поистине ужасно, не то чтобы по бессодержательности, а прямо по отсутствию малейшей внимательности к тому положению, в котором находится освобожденный крестьянин уже двадцать лет. Ведь он теперь судья, имеющий голос в важнейших делах мира, волости, суда присяжных, земства и т. п., и что же преподносится ему? Только на этих днях стали издавать кое-как составленные сборники узаконений, непосредственно касающихся народного быта, да и то более пригодные для мирских властей, чем для самого мира. Некоторая доля, и притом весьма малая, книг, мало-мальски благоприлично составленных, может проникать в сельские школы; но ведь это — капля в море. Народ потребляет сотни тысяч трехкопеечного тряпья в то время, когда ему нужно самое что ни на есть первейшее из произведений ума человеческого, а за ценой, поверьте, он не постоит, раз пробудилась потребность. Не говоря о полной бессодержательности большей части книжек так называемого светского содержания, причем каскадный трактирный элемент играет немалую роль, даже книжки так называемого духовного содержания, и те издаются для народа в самом возмутительном виде. Рекомендуем любителям взглянуть и почитать эти жития с лубочным рисунком на первой странице, издаваемые большею частию в Москве с разрешения духовной цензуры и продающиеся по десяти и пятнадцати рублей за тысячу. Желание издателя вогнать книгу в ничтожную цену делает то, что он елико возможно сокращает содер-

жание жития, исключая почти всегда весь нравственный смысл подвигов и поступков того или другого подвижника. Голые, кой-как и притом до невозможности сокращенно рассказанные факты торчат один около другого без малейшей связи, объяснения, а иногда, напротив, получают смысл весьма недоброкачественный. Например, два сириянина идут в Иерусалим на поклонение гробу господнему; один из них оставил дома старуху мать, другой — молодую жену. Дорогой им приходит на мысль порвать с миром всякие узы и посвятить себя на служение богу. Делают они для этого следующее: остаются в пустыне, где, на их счастие, попадается огород с овощами, кем-то покинутый, и избушка. В этой избушке, питаясь овощами, «посланными богом», они и начинают жить, борясь с искушениями. Искушения же, судя по изложению жития, состоят в том, что одному постоянно вспоминается мать-старуха, разумеется, терзающаяся неизвестностию о сыне, другому жена, также брошенная на произвол судьбы. Подвиг их, опять же по свидетельству трехкопеечной книги, состоит в том, чтобы постом и молитвой отогнать от себя эти земные мысли о старухе и о жене, и действительно в конце концов они достигают своей благой цели. Спустя много лет оба они неожиданно видят в сонном видении, что мать одного и жена другого возносятся на небо. Почему они радуются этому обстоятельству, почему видят в этом собственную заслугу — неизвестно. Сказано, что молитва их была услышана... Далее один из этих пустынников, убедившись после смерти жены (вознесение на небо означало, что старуха и жена умерли), что личный подвиг его уже достаточен, что молитва его услышана, задумывает возвратиться в мир, чтобы и на других влиять своим совершенством. Он является в город в страстную пятницу, покупает кусок говядины и начинает его есть публично, в то время, когда народ выходит из церкви. Народ осуждает его за то, что он в пост, и притом в такой великий день поста, ест скоромное, — и почему оказывается, что он совершенно прав, хотя видимо вводит своим поведением в соблазн людей молящихся, а молящиеся — виновными, неизвестно. И всё так. Например, некоторый пустынник, живя в пустыне, имел лошадь и льва. Лошадь возила воду, дрова и т. д., а лев смотрел за ней, карау-

лил. Однажды, когда она паслась, караульщик-лев заснул, и лошадь отошла в сторону, пошла по дороге и пристала к какому-то купцу, который и взял ее... Пустынник осердился на льва, заставил его исполнять все то, что делала лошадь, и так прошло несколько лет. Вдруг однажды лев встречает на дороге караван, идут верблюды, нагруженные товарами, и при них пропавшая лошадь. Оказывается, что караван принадлежал тому самому купцу, который увел несколько лет назад *случайно* приставшую к нему лошадь. Как верный слуга, он бросился на купца и так заревел ужасно, что купец бросил и караван и лошадь и убежал без оглядки. Лев взял лошадь и верблюдов с товарами и все это привел в обитель. Пустынник поглядел на добычу и *улыбнулся*. Спрашивается: за что наказан невиноватый купец, а пустынник, овладевший чужим имуществом, прав? Ничего этого неизвестно. Все это, сравнительно с подлинником, изуродовано, перекалечено самым невозможным образом. Только сильная надежда и сильная потребность найти в книге что-нибудь «для души» заставляют крестьянина вынимать из кошеля трудовые три копейки и отдавать их за ничего не стоящую бумагу. Евангелие на русском языке, как известно, появилось в народных массах весьма недавно, и вот, как свидетельствует компетентное лицо, оно уже приносит плоды даже в виде «поднятия экономического благосостояния». Очевидно, народу нужна книга и книга хорошая. Тот же г. Б. свидетельствует, что, изучая евангелие, выучивая его даже наизусть, крестьяне не решаются уже полагаться на собственную свою компетентность в толковании темных и непонятных мест текста, а ищут указания у людей, знающих более и более ученых. Так, сютаевцы прилежно изучают произведения митрополита Филарета и уже не довольствуются теми самодельными выводами начетчиков, людей малограмотных и, главное, запуганных, которые приводили к таким нелепым решениям нравственных вопросов, как, например, скопчество и т. д. Итак, одна книга влечет за собой другую, а если мы потрудимся представить себе всю сложность обуревающих народное сознание вопросов, то должны будем убедиться, что пытливый ум его не ограничится только двумя вышеупомянутыми книгами.

Итак, начинающий жить и думать народ ищет указания в чужом уме, в чужом знании. «Либо пахать, либо писать». И точно, за массой физического труда (которому мы посвятим следующее письмо) ему некогда было заниматься умствованиями. Он подумывал о многом, об очень, очень многом; но люди, обладавшие досугом более его, могли думать много свободнее, чем он, и могли поэтому в тысячу раз лучше удовлетворить нравственным вопросам, волнующим известную часть народа в настоящее время. Опыта у народа накопилось много — говорить нечего, — но разобраться с ним ему не было досуга. Почему в настоящее время ему решительно нет возможности даже в слабой степени довольствоваться литературными произведениями, так сказать, внутреннего приготовления, произведениями, созданными в редкие минуты жизни, почти всецело поглощаемой физическим трудом.




ПРИМЕЧАНИЯ

ИЗ ДЕРЕВЕНСКОГО ДНЕВНИКА

Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Впервые очерки под разными заглавиями напечатаны в «Отечественных записках» (1877 — X, XII; 1878 — I, IX, XI; 1879 — V и 1880 — VIII) за подписью «Г. Иванов». В виде цикла очерки при жизни писателя переиздавались четыре раза: в отдельном издании 1880 года под заглавием «Люди и нравы современной деревни. (Из деревенского дневника)» и во всех трех прижизненных изданиях Собраний сочинений Успенского под заглавием: «Из деревенского дневника».

Обращение Успенского к изображению крестьянской жизни было творческим откликом писателя на тот широкий и неослабевающий интерес, который проявляло передовое русское общество к положению крестьянских масс, особенно после реформы 1861 года. Мотивы крестьянской жизни появляются в творчестве Успенского уже в 60-е годы («Побирушка», «Воскресенье в деревне», «Деревенские встречи» и др.). Большой социальной остроты в изображении деревни Успенский достиг в очерках «Злые новости» (1875) и «Книжка чеков» (1876). Однако первым наиболее крупным произведением о пореформенной деревне, произведением, открывавшим новый этап в творческом пути писателя, явились очерки «Из деревенского дневника».

Развитие мировоззрения Успенского в 70-х годах тесно связано с историческими процессами, происходившими как в русской, так и в западноевропейской жизни. Уже в 60-х годах Успенскому было ясно, что проведенные царским самодержавием

реформы не принесли действительного облегчения крестьянским массам. Заграничные поездки 1872 и 1875—1876 годов широко познакомили писателя с капиталистическими порядками Западной Европы. Успенский навсегда запомнил картины разгула военщины в Пруссии, нищету пролетариата и крестьянства в Бельгии, Франции, Англии, расправу буржуазии с парижскими коммунарами. Острая критика капиталистических порядков стала одной из основных тем творчества Успенского. Во время этих же заграничных поездок Успенский знакомится и сближается с эмигрантскими кругами русского революционного народничества (Г. Лопатин, Д. Клеменц, П. Лавров и др.). Взгляды народников на русскую действительность не могли не заинтересовать Успенского. Как писатель-реалист, воспитанный на идеях революционной демократии, Успенский в то же время видел, что народническая теория носит умозрительный, абстрактный характер, не опирается на фактическое знание русской, особенно крестьянской жизни. Отрицательно относясь к капитализму, не желая его торжества в России, Успенский пытается найти силы, которые могли бы направить развитие России по иному пути. Не находя этих сил в городе, Успенский полагает, что такой силой могло бы быть только крестьянство. Так возникает решение Успенского поближе, воочию узнать народную жизнь, изучить процессы, в ней происходящие. Сам Успенский об этом периоде своих исканий впоследствии писал: «Затем подлинная правда жизни повлекла меня к *источнику,* то есть к мужику».

Еще в июне 1875 года Успенский из Парижа писал: «Мне необходимо июнь, июль и август провести в России, в деревне. Это для меня необходимо, как воздух... я теперь ищу случая облечь мои мысли в плоть и кровь, — мне нужно видеть, жить среди самой настоящей русской народной жизни» (Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. XIII. Письма. Издательство АН СССР, 1951, стр. 163). Эту мечту Успенскому удалось осуществить лишь в 1877 году. Лето указанного года он проводит в селе Сопки Валдайского уезда Новгородской губернии. В марте 1878 года Успенский отправляется в Самарскую губернию, где находится с некоторыми перерывами до августа 1879 года. Там он работает одно время в должности письмоводителя сельского ссудно-сберегательного товарищества в селе Сколково Богдановской волости. Наблюдения над крестьянской жизнью в Новгородской и Самарской губерниях и послужили основным материалом для очерков, составивших цикл «Из деревенского дневника».

Сопоставление наблюдений писателя с документальными статистическими источниками по экономике изображенных в очерках

деревень Новгородской и Самарской губерний подтверждает, насколько глубоко и верно подметил Успенский происходившие там изменения, характерные и для других мест России. Проникновение в деревню капитализма, остатки крепостничества, рост недоимки, нужды, разложение общины, диференциация крестьянства — вот явления, характерные для русской деревни пореформенного периода. «Старое крестьянство, — указывает В. И. Ленин, — не только «диференцируется», оно совершенно разрушается, перестает существовать, вытесняемое совершенно новыми типами сельского населения, — типами, которые являются базисом общества с господствующим товарным хозяйством и капиталистическим производством. Эти типы — сельская буржуазия (преимущественно мелкая) и сельский пролетариат, класс товаропроизводителей в земледелии и класс сельскохозяйственных наемных рабочих» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 142). Заслугой Успенского было то, что он одним из первых запечатлел в художественных очерках эти сложные процессы, происходившие в деревне, процессы, сущность которых не понимали или не хотели понимать народники.

Мы не можем проследить работу Успенского над очерками «Из деревенского дневника» на всех этапах, так как рукописей очерков не сохранилось. Без сомнения, как при написании очерков, так и при их переиздании Успенскому приходилось считаться с цензурой. Л. Ф. Снегирев, первый издатель очерков отдельной книгой, сообщает о «мрачном настроении» Успенского этого периода: «Цензура свирепствует чуть не по-бутурлински. Рассказы его зачеркивает совсем или искажает текст до неузнаваемости» («Голос минувшего», 1914, № 4, стр. 214).

В журнальной публикации очерки не составляли единого цикла, а имели каждый или самостоятельное значение, или входили в циклы, впоследствии писателем разрушенные. Однако уже в журнале наметилось объединение очерков как по проблематике и образам, так и по общему заглавию. Так, подзаголовок «Из деревенского дневника» появляется уже в очерках второй главы.

Интерес к деревенским очеркам Успенского был настолько очевиден, что уже в 1879 году возникла необходимость отдельного их издания. При отборе очерков для первого отдельного издания и оформился основной состав цикла, получив заглавие: «Люди и нравы современной деревни. (Из деревенского дневника)». Это издание Успенский снабдил предисловием, которое, однако, не увидело света, как сообщает Л. Ф. Снегирев, «по обстоятельствам, не зависящим от издателя». Вместо этого было дано небольшое

предисловие «От издателей», в котором сообщалось о цели издания и работе, проделанной автором над текстами очерков. Эта работа состояла в основном в следующем.

Очерки соответственно материалам наблюдений в Новгородской и Самарской губерниях были разделены на две части: 1) «В северной полосе» (впоследствии главы I—III) и 2) «В степи» (впоследствии главы IV—VIII). Порядок расположения очерков остался тем же, что и в «Отечественных записках», но имевшиеся в журнальной публикации заглавия очерков Успенский снял и ввел лишь нумерацию, причем каждый очерк назван «отрывком» («Отрывок первый», «Отрывок второй» и т. д. — всего девять отрывков). Сняв с очерков их индивидуальные заглавия и дав им лишь номерное обозначение, Успенский выдвинул на первый план их целостность, цикловую собранность.

В содержание текста Успенский в этом отдельном издании не внес значительных изменений. Наиболее существенные изменения относятся лишь к концовкам обеих частей цикла: в конце первой части было добавлено рассуждение о крестьянском заработке «на стороне» (оно было исключено в последующих изданиях; см. «Приложение», стр. 552 данного тома), в конце второй — дописан новый абзац о поглощении Андрея Васильевича деревней (эта концовка также была затем переделана). Большое количество поправок относилось к стилю очерков, их образности, языку. Успенский вносит ряд художественных деталей в изображение. Так, если в журнальной редакции иногда были только названы те или иные явления действия, то здесь писатель находит для них образные характеристики, определения, которые не только называют, но и *показывают* предмет, действие, дают им качественную характеристику. Приведем несколько примеров (разночтения отмечаются курсивом): «Ни у кого ничего не отнимал» — «Ни у кого ничего *ровнешенько* не отнима́л»; «вопиет» — «*подавленное впечатлениями* вопиет»; «писарь действует так...» — «писарь действует *ехидно, из-под низу,* так...»; «другие слова» — «другие, *уже грустные* слова» — и т. д.

В работе над языком заметна тенденция к избавлению от диалектных форм, слишком экспрессивных просторечных выражений и к замене их выражениями общелитературными: «с эстой» — *«с этой»;* «швыркну» — *«швырну»,* «с непоротком» — *«с кулачьем»,* «писаря гогочут» — «писаря *едва могут уняться»* и т. п. Исправляются опечатки, описки и тому подобные погрешности, вкравшиеся в журнальную публикацию.

Следующую, уже гораздо более значительную, переработку очерков Успенский произвел при включении цикла в первое Собрание сочинений писателя (т. V, 1884).

Для того чтобы эти перемены в новом издании цикла стали понятными, следует принять во внимание существенные изменения, которые произошли за протекший после 1880 года период и в русской общественной жизни и в мировоззрении писателя. После 1881 года в условиях восторжествовавшей и все более крепнущей политической реакции, нашедшей свое выражение и в усилении царской цензуры, было невозможно ставить многие вопросы крестьянской жизни с такой же остротой, как в конце 70-х годов, в годы революционной ситуации 1879—1880 годов. Успенский не мог не учитывать этих перемен. Вследствие этого он смягчил политическую остроту очерков, убрав из них наиболее открытые, публицистически заостренные суждения о современном бедственном положении деревни.

Изменившаяся историческая обстановка нашла отражение и в мировоззрении Успенского, в его непрекращающихся исканиях правильных ответов на острейшие вопросы времени, какими были вопросы крестьянской жизни, пореформенного развития России вообще. В этих поисках выхода Успенский в первой половине 80-х годов испытал наибольшие колебания в сторону народнической идеологии. В творчестве Успенского эта близость к народничеству получила наиболее яркое воплощение в известной теории «власти земли» (см. очерки «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли» и др.). Все это обусловило то, что Успенский при включении цикла «Из деревенского дневника» в Собрание сочинений счел необходимым смягчить антинародническую направленность ряда высказываний и картин очерков.

Отзывы критики на очерки также должны быть учтены для понимания существа перемен, которые произвел писатель при подготовке нового издания в новых условиях. Особенно острой была критика, исходившая из народнического лагеря, так как вопросы, затронутые в очерках Успенского, касались существа программных положений народничества.

Народники продолжали считать крестьянскую общину спасительным оплотом против торжества капитализма в России. Успенский же на конкретных примерах показывает, что внутри самой общины, у общинников все большее значение приобретают деньги, товарно-денежные отношения, то есть в конце концов начинает торжествовать та же «цивилизация», что и в капиталистическом городе, в буржуазной Западной Европе.

Народники все еще не отказались от рассмотрения крестьян как однородного целого, единого в своих интересах. Успенский одним из первых показал, что крестьянство, в том числе общинное крестьянство, перестало быть однородным, что оно диференцируется, разлагается, выделяя, с одной стороны, из своей среды все более растущую массу деревенской бедноты, а с другой — небольшую группу кулаков, «мироедов», богатеющих за счет разорения и эксплуатации бедноты.

Народники продолжали идеализировать нравственный мир мужика, деревенский быт, весь жизненный уклад народной крестьянской жизни. Картины, зарисованные Успенским, показывали, что и нравственность крестьянина и его быт испытывают серьезные и притом далеко не отрадные изменения под воздействием все более усиливающейся индивидуализации, капитализации деревенских отношений.

Хотя и у самого Успенского были некоторые проявления общности с народническими воззрениями (образ Ивана Афанасьева, суждения о роли интеллигенции), однако в основных положениях очерков «Из деревенского дневника» наметилась противоположность взглядов Успенского на деревню взглядам народническим. Естественно поэтому, что очерки Успенского встретили разноречивое к себе отношение в народнической критике.

Критические отклики народников на очерки Успенского можно разделить на три основные группы. Представители либерального народничества, выразителем мнений которого была газета «Неделя», обрушились на Успенского с обвинением в «клевете» на народ, в «измене» народу, в поверхностном знании условий крестьянской жизни и т. д. и т. п.

Но не только критики из рядов либеральных народников были недовольны Успенским. Такая представительница революционного народничества, как В. Н. Фигнер, которую высоко чтил Успенский, также была огорчена его очерками. «Зачем, — говорила она ему при встрече, — рисовать деревню такими красками, что никому в нее забраться не захочется и всякий постарается от нее подальше». Успенский в ответ очень мягко определил позицию революционерки-народницы: «Она требует: подай ей мужика, но мужика шоколадного!» (В. Н. Фигнер. Полное собрание сочинений, т. III, М., 1932, стр. 121). Собственно такого же шоколадного мужика требовал изображать и Г В. Плеханов, стоявший тогда на позициях народничества. В статье 1878 года «Об чем спор?» на страницах той же «Недели» он обвинял Успенского в неправильном изображении деревни, в слишком пессимистическом воззрении на деревенскую жизнь.

Другой разновидностью народнической критики была точка зрения П. Н. Ткачева, с наибольшей полнотой высказанная в его большой статье «Мужик в салонах современной беллетристики». Ткачев стоит за правдивое изображение деревенской жизни, и он признает за очерками Успенского многие достоинства в этом отношении. Но Ткачеву, как народнику, дороги общинные «устои» деревни, которые он считает, несмотря на все имеющиеся отрицательные явления, жизненными. Поэтому для Ткачева неприемлемы многие выводы Успенского. Считая противоречивыми ряд суждений Успенского (о происхождении фальшивых взглядов на народ, о барщине, интеллигенции и др.), Ткачев зачеркивает все теоретические выводы автора очерков «Из деревенского дневника», признавая ценность лишь сообщенных им фактов. Ткачев выдвигает тезис, столь часто затем повторяемый в литературе об Успенском: «Публицист в нем постоянно вредит беллетристу» («Дело», 1879, № 8, стр. 15). Вместе с тем Ткачев, сравнивая Успенского с Златовратским, говорил: ...в его очерках современная деревня и современный мужик отражаются несравненно живее и рельефнее, чем в очерках г. Златовратского» (там же, стр. 15, 31).

Своеобразную позицию по отношению к Успенскому и его очеркам заняла группа народников, с которыми Успенский был близок или по «Отечественным запискам», или по другой литературной и общественной деятельности. Такие критики, как Н. К. Михайловский, Н. С. Кривенко, А. М. Скабичевский и др., при всем различии их высказываний, имели общее в том, что они, защищая Успенского от особенно резких нападок, вместе с тем считали картины, рисуемые Успенским, односторонними, излишне мрачными и неприемлемыми, если их не дополнить более «светлыми» картинами очерков народника Златовратского. Сам Златовратский в очерках «Деревенские будни» на страницах «Отечественных записок» вступил также в полемику с Успенским. Михайловский, выступая в качестве «друга» Успенского, стремился «оправдать» его, а сами очерки представить как не имеющие обобщающего значения. Таковы основные отклики народнического лагеря на очерки Успенского.

С яростными нападками на Успенского выступила реакционная пресса. Славянофильская газета «Русь» писала: «Народ, каким изображает Гл. Успенский, может возбудить отвращение, досаду, презрение, негодование, все что хотите, только не любовь» («Русь», 1882, № 3, стр. 22). Не менее ожесточенно нападала на Успенского и газета «Новое время».

Положительную, но малосодержательную оценку очеркам Успенского дали некоторые органы либеральной печати (газета «Новости», журнал «Вестник Европы»). Подлинный демократизм крестьянских очерков Успенского был им глубоко чужд.

Многочисленные и разноречивые отклики критики на очерки заставили выступить самого писателя. В «Отечественных записках» за 1878 год в № 11 появляется ответ Успенского на критику, озаглавленный: «В объяснение недосказанного». (В отдельном издании 1880 года он составил «Отрывок четвертый» второй части, см. стр. 533—546 настоящего тома). Успенский не отступает здесь от своих позиций, — наоборот, он еще более остро критикует существующие неверные взгляды на народ, осуждая прежде всего народническую литературу. Подготовляя очерки к первому отдельному изданию, Успенский сохранил их полемический пафос. В специально написанном предисловии «От автора» (см. стр. 531—532 данного тома) он вновь разъясняет правильность своей позиции. При подготовке же Собрания сочинений он не считает столь важным сохранение полемического пафоса первых публикаций. Самые значительные перемены в издании 1884 года и связаны прежде всего с ослаблением публицистической антинароднической направленности очерков. Опущен ряд мест, где говорится об индивидуализме крестьян, их темноте, узкости их миросозерцания. Убрал Успенский яркую зарисовку переделки общинных земель (переделы земли народники любили изображать как доказательство общинного духа мужика). Смягчены места, где с особенной силой изображены наиболее неприглядные проявления частнособственнической природы крестьян (например, убийство конокрада Федюши). Совершенно исключена глава, являвшаяся отповедью на народническую критику его очерков. Сделан и ряд мелких исключений в духе смягчения антинароднических высказываний в первых публикациях. Так, например, снято острое замечание об общинных порядках: «Общественные порядки могут меня разорить, но уж помочь мне стать на ноги — нет, не помогут».

Сделанные сокращения, не меняя общего смысла зарисованных Успенским картин крестьянской жизни, все же в известной мере ослабляли злободневный, боевой характер очерков, какой они приобрели в пылу полемики с народнической и реакционной литературой и критикой.

В то же время следует отметить, что исправления Успенского не носили однолинейного характера, они шли в разных направлениях, свидетельствующих о сложности размышлений Успенского над крестьянской жизнью и в этот новый период своего творчества.

Если, с одной стороны, он снял ряд мест, направленных своим острием против народнических, либеральных и т. п. представлений о деревне, то, с другой стороны, Успенский в ряде случаев и усиливает антинароднический смысл своих зарисовок деревни. Так, например, еще более подчеркивается критика торжества кулачества и новых, капиталистического типа, «бар» в деревне (образ кулака-немца Адольфа Иваныча); путем некоторых изменений усиливается обобщающая трактовка картин очерков.

Наряду с изменениями идейного порядка Успенский производит тщательную правку очерков в художественном отношении. Изменилось само внешнее оформление цикла. Окончательно определяется заглавие — «Из деревенского дневника»; устраняется деление на части и вместо «отрывков» текст делится на главы; этим самым композиционное единство цикла еще более закрепляется. Включается новый очерк, «Народная книга», составивший девятую главу. Даются развернутые подзаголовки перед каждой из глав. Меткими краткими формулами Успенский в этих названиях передает основной смысл очерков, подчеркивает их направленность, сами названия приобретают значение крылатых слов и выражений.

Успенский внимательно правит весь текст цикла, хотя не все главы подверглись изменениям в одинаковой степени. Наиболее тщательной правке подверглись первая и четвертая главы, открывающие одна рассказ о Новгородской, а другая — о Самарской деревнях.

В издании продолжена та стилистическая правка, которая начата в первом отдельном издании. Подчеркивается связь цикла с другими произведениями писателя. Таковы ссылки на очерки «Овца без стада», «Непорванные связи», «Малые ребята». Все эти очерки помещались в пятом томе вслед за циклом «Из деревенского дневника». Произведены изменения в обрисовке некоторых образов. Так, например, появляются новые штрихи в облике деревенского торговца Кузнецова; образы крестьян Ивана Абрамова и Ивана Афанасьева, раздельные в первых публикациях, сведены в один.

Таковы основные изменения, внесенные Успенским в текст очерков «Из деревенского дневника» при включении их в первое Собрание сочинений.

При подготовке второго издания Сочинений (оно помечено 1889 годом, но фактически вышло в свет в конце 1888 года) правка очерков была значительно меньшей. Успенский здесь продолжил художественную доработку текста. Таковы, например, добавленный диалог писарей с Бертищем по поводу его отношений к жене,

некоторые замены («Бревно помирает со смеху» — *«Компания, заседающая на бревне,* помирает со смеху»; «а вдруг и пень выпалит» — «а вдруг и *из палки выстрелит»* и др.). Вводятся в ряде случаев уточнения и разъяснения в смысловом отношении. Производятся словарные замены в сторону сближения с общелитературными нормами языка, смягчаются некоторые резкие выражения. В основном при подготовке второго издания Собрания сочинений Успенский ограничился стилистической правкой очерков.

При работе над третьим изданием, вышедшим в свет в том же 1889 году и являвшимся по существу допечаткой тиража второго издания, Успенский внес лишь незначительные замены.

Прослеживание работы писателя над очерками показывает, что наибольшие изменения Успенский внес при осуществлении первого издания Собрания сочинений. Так как эти изменения тесно связаны и с развитием мировоззрения самого автора, и с переменами в общественно-исторической жизни за этот период, и, что особенно существенно, с острой общественно-литературной борьбой, разгоревшейся вокруг очерков Успенского при их появлении, то редакция настоящего издания сочла необходимым познакомить читателя с теми наиболее существенными отрывками, которые Успенский изъял из очерков при включении их в первое издание Собрания сочинений. Все эти отрывки даны в приложении, там же печатается предисловие «От автора» к изданию 1880 года.

В то же время переиздания очерков показывают, что работа Успенского над произведением не прекращалась вплоть до последнего прижизненного издания. Эта работа шла в направлении все большего художественного совершенствования текста. Поэтому именно текст последнего прижизненного издания положен в основу данного Собрания.

Очерки «Из деревенского дневника», вызвавшие столь многочисленные отклики при их появлении, не нашли, да и не могли найти правильной оценки как в народнической, так и в буржуазно-либеральной критике. Лишь в последующий период, в период борьбы марксизма с народничеством, крестьянские очерки Успенского были оценены по достоинству. Г. В. Плеханов в своих трудах, направленных против народничества, часто использует очерки Успенского для доказательства иллюзорности народнических воззрений на русскую пореформенную деревню. В 1888 году в сборнике «Социал-демократ», издававшемся в Женеве группой «Освобождения труда», появляется большая статья Плеханова, посвященная характеристике творчества Успенского. Крестьянские очерки, и прежде всего цикл «Из деревенского дневника», особенно

интересуют Плеханова. Он полностью отверг свою прежнюю народническую оценку очерков «Из деревенского дневника», высказанную в статье «Об чем спор?». Теперь Плеханов указывал, что Успенский «совсем незаметно для себя, пришел к тому, что подписал смертный приговор народничеству и всем „программам“ и планам практической деятельности, хоть отчасти с ним связанными» (Г. В. Плеханов. Сочинения, т. X, стр. 40).

На большое общественное значение творчества Успенского, и на очерки «Из деревенского дневника» в том числе, указывала ленинская «Искра» в статье «По поводу смерти Г. И. Успенского». «Его деревенские очерки конца 70-х годов, — говорилось в статье, — совпадая с личными впечатлениями ходивших в народ революционеров, содействовали крушению первоначального анархически-бунтарского народничества» («Искра», 1902, № 20, 1 мая).

В трудах В. И. Ленина, посвященных анализу пореформенной деревни и направленных против народничества, содержатся неоднократные ссылки на крестьянские очерки Успенского. В труде «Экономическое содержание народничества» (1894—1895) дается следующая характеристика крестьянина: «Раз крестьянин становится товарным производителем (а таковыми стали уже все крестьяне),— то «нравственность» его неизбежно уже будет «основана на рубле», и винить его за это не приходится, так как самые условия жизни заставляют ловить этот рубль всяческими торговыми ухищрениями». К этой характеристике следует сноска: «Ср. *Успенского*» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 357). Совершенно ясно, что в первую очередь здесь подразумеваются очерки «Из деревенского дневника». В работе «Капитализм в сельском хозяйстве» (1899), характеризуя индивидуализм крестьян, В. И. Ленин также ссылается на сочинения Успенского: «Мелкому производителю (и ремесленнику, и крестьянину), — пишет В. И. Ленин, — мешает перейти к коллективному производству крайне слабое развитие солидарности, дисциплины, их изолированность, их «фанатизм собственников», констатируемый не только среди западно-европейских крестьян, но, — добавим от себя, — и среди русских «общинных» крестьян (вспомните А. Н. Энгельгардта и Гл. Успенского)» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 4, стр. 105—106). В гениальном труде «Развитие капитализма в России» (1896—1899) В. И. Ленин также ссылается на произведения Успенского, и на очерки «Из деревенского дневника» в том числе, при анализе явлений, происходивших в русской деревне. Характеризуя подгородное хозяйство, В. И. Ленин указывает, что здесь «...мелкий земледелец торгует всем понемножку: и своим домом, сдавая его дачникам и кварти-

рантам, и своим двором, и своею лошадью, и всяческими продуктами своего сельского и дворового хозяйства — хлебом, кормом для скота, молоком, мясом, овощами, ягодами, рыбой, лесом и пр., торгует молоком своей жены (питомнический промысел под столицами), добывает деньги самыми разнообразными (не всегда даже удобопередаваемыми) услугами приезжим горожанам и т. д., и т. д.» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 265). К слову «горожанам» дана сноска: «Ср. Успенского «Деревенский дневник».

Использование творчества Успенского в трудах В. И. Ленина — яркое свидетельство исторических заслуг замечательного писателя-реалиста в деле изучения и художественного изображения пореформенной русской деревни.

Стр. 16. *...амуры и «псишэ»...* — Амур и Психея — божества из греческой мифологии; здесь имеются в виду картины на сюжеты, связанные с мифами об этих божествах.

Стр. 18. *«пленной мысли раздраженьем»* — из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Не верь себе».

Стр. 21. *Грачовка, Солянка* — улицы в старой Москве, на которых помещались самые грязные притоны, публичные дома, кабаки и проч.

Стр. 25. *Червонные валеты* — так назывались члены клуба «червонных валетов», занимавшиеся мошенничествами различного рода с целью вымогательства и других преступлений; уголовный процесс над разоблаченными преступниками происходил в Москве в феврале 1877 года и привлек широкое внимание общественности, так как «героями» его была в основном молодежь, происходившая из дворянской среды. Сам термин взят из романа французского писателя Понсон дю Террайля «Клуб червонных валетов» (1858).

Стр. 30. *...о немедленном призыве...* — Здесь, а также в последующих упоминаниях Дуная, Шипки, Карса и т. д. речь идет о фактах, связанных с русско-турецкой войной 1877—1878 годов.

Стр. 31. *...освобождать Болгарию...* — Победа русской армии в русско-турецкой войне принесла свободу, хотя и неполную, болгарскому народу, боровшемуся за свою национальную независимость и освобождение от турецкого гнета.

Стр. 33. *Тальки* — мотки пряжи, льняных ниток.

Стр. 38. *Калашникова пристань* — торговая пристань в Петербурге.

— *Балабан* (тат.) — жеребец; здесь в смысле: болван, дурак.

Стр. 41. *...синюю бумагу...* — так назывались денежные ассигнации в пять рублей.

Стр. 51. *Плевна* — турецкая крепость на территории Болгарии; Плевна русскими войсками осаждалась особенно долго и была взята 28 ноября 1877 года.

— *Александринка* — драматический театр в Петербурге; ныне — Ленинградский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

Стр. 56. *Непременный* — непременный член уездного присутствия по крестьянским делам, основанного в 1874 году для руководства органами крестьянского самоуправления и надзора за их деятельностью

Стр. 57. *Классическая система образования.* — В результате реакционного устава 1871 года были упразднены реальные гимназии и оставлены только классические гимназии; в них главнейшими предметами были признаны древние языки, тогда как количество часов на уроки истории, литературы сокращено, а преподавание естествознания упразднялось совсем.

— *Веси* (старослав.) — сёла; здесь в смысле: населенные пункты.

Стр. 96. *...«буржуй» (выражение И. С. Тургенева)...* —слово употреблено в романе Тургенева «Новь».

Стр. 111. *...товарищество, банк* — имеется в виду ссудо-сберегательное товарищество. См. очерк «Мученики мелкого кредита» и примеч. к нему.

Стр. 114. *Эльдорадо* — сказочная страна золота и драгоценных камней, которую разыскивали в Америке первые испанские завоеватели; в переносном смысле — страна довольства, сказочного богатства, чудес.

Стр. 144. *...как один англичанин выстрелил в месяц!..* — Речь идет о романе Жюля Верна «Путешествие на луну».

Стр. 161. *Ветхий деньми* (библ.) — бог отец, Саваоф; здесь в смысле: отцы, носители патриархальных устоев деревни, главы общины.

Стр. 165. *«не внемлющая и не дающая ответа»* — неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Элегия» (1874):

Но тот, о ком пою в вечерней тишине,
Кому посвящены мечтания поэта,
Увы! Не внемлет он — и не дает ответа.

Стр. 181. *...трех деревень...* — Под тремя деревнями, изображенными Успенским под названием Солдатское, Разладино и Барская, имеются в виду действительные, как это установлено исследователями, три деревни Самарского уезда: Гвардейцы, Разладино и Сколково.

Стр. 182. *Удельное ведомство.*— ведомство, ведавшее землями, принадлежавшими лицам царской фамилии.

Стр. 185. *...ссылает по мирским приговорам...* — Право ссылки по приговорам крестьянских обществ было введено в 1845 году.

Стр. 203. *Андрей Васильич Соловецкий.* — В этом герое, по свидетельству современников Успенского, писатель изобразил А. А. Александровского, судившегося за революционную деятельность по процессу 193-х, был оправдан, после чего в Самарской губернии работал в качестве приказчика в имении К. М. Сибирякова.

МУЧЕНИКИ МЕЛКОГО КРЕДИТА

Печатается по последнему прижизненному изданию статьи: Глеб Успенский (Г. Иванов). Люди и нравы современной деревни. (Из деревенского дневника). В степи. М., 1880, стр. 221—252.

Впервые напечатана в «Отечественных записках», 1878, № 12, стр. 133—149 под заглавием: «Страстотерпцы мелкого кредита»; при подготовке статьи для издания 1880 года Успенский внес незначительные изменения.

Материал для статьи дала работа Успенского в качестве письмоводителя ссудо-сберегательной кассы в селе Сколково, Богдановской волости, Самарской губернии в 1878 году. Статья была закончена, как показывает проставленная в тексте «Отечественных записок» дата, 12 ноября.

Ссудо-сберегательные товарищества были учреждены в России по инициативе либерального дворянства в 1865 году, в 1871 году был выработан и утвержден правительством устав товарищества. Задачей ставилось, как это прокламировала либеральная пресса, обеспечить крестьян дешевым мелким и краткосрочным кредитом. Поддерживала первоначально идею ссудо-сберегательных товариществ и народническая пресса. Однако практика скоро показала, что эти товарищества не только не оправдали возлагаемых на них либеральных надежд, но еще более способствовали дальнейшей диференциации деревни. Эту практику ссудо-сберегательных касс и показывает в своей статье Успенский. По вопросу организации крестьянского кредита Успенский высказывается и в ряде других произведений.

Правильность и типичность подмеченных Успенским фактов подтвердили статистические сведения по многим губерниям. В. И. Ленин в «Развитии капитализма в России», цитируя книгу

В. Постникова «Южнорусское крестьянское хозяйство» (М., 1891), пишет: ...крестьянская буржуазия является также представительницей торгового и ростовщического капитала», затем следует сноска: «Пользуясь сама «очень многочисленными» сельскими кассами и ссудо-сберегательными товариществами, которые приносят «существенную помощь» «крестьянам с достатком». «Крестьяне маломощные поручителей за себя не находят и ссудами не пользуются» (стр. 368 цит. соч.)» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 56).

Стр 243. *...доклада... Хитрово...* — Имеется в виду доклад о ссудо-сберегательных товариществах, прочитанный в Вольно-экономическом обществе секретарем Петербургского отделения комитета В. Н. Хитрово.

Стр. 250. *...герою Островского...* — Приведенные далее слова являются неточной цитатой из речи стряпчего Харлампия Гаврилыча Мудрова в пьесе А. Н. Островского «Тяжелые дни» (действие II, явл. 2).

НЕПОРВАННЫЕ СВЯЗИ

Печатаются по изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Впервые напечатаны в «Отечественных записках» 1880, IX, под заглавием: «Из деревенского дневника. I. «Лядины» новгородские. II. Непорванные связи. III. Подгородный мужик», за подписью: «Г. Иванов». Заглавие журнальной редакции указывает на связь очерков с циклом «Из деревенского дневника». После журнальной публикации при жизни писателя издавались четыре раза: в сборнике «Деревенская неурядица» (т. I, СПБ., 1882) и во всех трех прижизненных Собраниях сочинений. Очерки были сданы в редакцию в мае 1880 года, однако печатание их задержалось. «В сентябре будет рассказ, — писал Успенский 14 июля 1880 года М. И. Петрункевичу, — уже сданный в редакцию еще в мае, но отложенный Салтыковым, несмотря на мою просьбу печатать летом» (Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 228). М. Е. Салтыков-Щедрин, как это видно из рукописи, подверг очерки значительной правке, с которой Успенский согласился. Впоследствии Успенский о своем отношении к Салтыкову-Щедрину писал: «Я... безусловно подчиняюсь, например, Щедрину. Щедрин — литератор, беллетрист, за которым огромный опыт

и огромный труд. Я знаю его, ценю, уважаю и знаю еще, что он может мне указать» (там же, стр. 497). Исправления и сокращения Салтыкова-Щедрина в «Непорванных связях» касались главным образом некоторых противоречивых характеристик в вопросе о разложении крестьянства, о положении общины. Справедливо рисуя социальные противоречия, разъедавшие общину, Успенский вместе с тем склонен был помечтать о крестьянской общине, какой она должна быть. Вот как, например, рисуются Успенским в первоначальной редакции очерков желаемые общинные порядки: «Общинное хозяйство это, во-первых, право всех ртов получать кусок хлеба, как всех душ — получить для хлеба землю; во-вторых, это такого рода хозяйство, где право на хлеб основано на том, что при общинном хозяйстве решительно не найдется в деревне ни калеки, ни глухого, ни увечного, ни дряхлого беспомощного старца, словом никого, до последней девочки или мальчика, который умеет отогнать хворостиной свинью от анбара с хлебом и т. д., — словом, ни единой души человеческой, которая бы не могла участвовать чем-нибудь в общей гармонии труда, которая не была бы впитана этой общинной трудовой машиной, добывающей общинный хлеб» («Глеб Успенский. Материалы и исследования». 1. Издательство АН СССР. М. — Л., 1938, стр. 403). Все это суждение, как и ряд других, удалено Салтыковым-Щедриным, который никогда не разделял народнических упований на общину и считал бесплодным говорить об идеале, лишенном какой-либо реальной исторической почвы. Фактически и Успенский, рисуя действительное положение дел в общине, показывал ту же несостоятельность воззрений народников на общину. Правдивостью зарисованных Успенским картин деревенской жизни всегда дорожил Салтыков-Щедрин.

В сборнике «Деревенская неурядица» очерки «Непорванные связи» перепечатываются без каких-либо существенных изменений по сравнению с журнальной редакцией. Здесь очерки получили окончательное заглавие, которое ранее принадлежало второму очерку, получившему теперь заглавие «Не в привычку дело». Сохраняется первоначальная концовка, которая свидетельствовала о намерении Успенского продолжить очерки, однако это намерение не было осуществлено.

Существеннее была работа, проделанная при подготовке очерков для включения в Собрание сочинений. Окончательно устанавливается заглавие второго очерка: «Чудак-барин». Производится значительная стилистическая правка, вводится нумерация подглав, устраняются погрешности первых публикаций, есть некоторые сокращения. Как и в тексте «Из деревенского дневника», Успенский

устраняет места, слишком резко направленные против народнических воззрений. Устраняются также публицистические рассуждения об историческом прошлом русского крестьянина-общинника. При всех этих изменениях, однако, здесь, как и в очерках «Из деревенского дневника», сохраняются в неприкосновенности правдивые картины крестьянской жизни, показывающие иллюзорность народнических и либеральных представлений о деревне.

В основу очерков положены наблюдения писателя в той же Новгородской губернии, на мызе Лядно (около Чудово), принадлежавшей А. В. Каменскому, приятелю Успенского. Изображенный в очерке «Чудак-барин» интеллигент народнического толка имеет своего прототипа. Сын писателя Б. Г Успенский сообщает, что в очерке изложена история «барона Михаила Павловича Ребиндера, владельца мызы «Лядно», впоследствии проданной А. В. Каменскому. М. П. Ребиндер увлекался народническими идеями, поселился в «Лядно», пытался войти в связь с местным крестьянством, создать сельскохозяйственную артель, товарищество по осушению болот и истратил при этом значительные средства. Однако осуществить свои намерения ему не удалось, он разорился, продал «Лядно» и эмигрировал в Америку, где и пропал бесследно» (Архив Г. И. Успенского в Институте русской литературы АН СССР).

Народническая и буржуазно-либеральная критика с неодобрением отзывалась о «Непорванных связях». Полное признание правдивые и высокохудожественные очерки Успенского нашли в трудах, направленных против народников. Г. В. Плеханов в статье «Об экономическом факторе», в которой подвергались критике социологические воззрения Н. К. Михайловского, использует образные выражения крестьян из «Непорванных связей» («Литературное наследие Г. В. Плеханова». Сборник IV, М., 1937, стр. 124—125).

В. И. Ленин, используя произведения Успенского для характеристики подгородного хозяйства («Развитие капитализма в России»), несомненно учитывал эти очерки (В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 265).

Стр. 273. *Третье сословие* — то есть представители класса буржуазии, в деревне — кулачество.

Стр. 275. *«пошла русская земля»* — из заглавия русской летописи «Повести временных лет»: «Се повѣсти времяньных лѣт, откуда есть пошла русская земля...

Стр. 280. *История Соловьева.* — Имеется в виду «История России» С. М. Соловьева (1820—1879), доведенная в своем изложении до 1774 года.

Стр. 289. *Временно-обязанный* — так назывались крестьяне, освобожденные реформой 1861 года от крепостной зависимости, но обязанные впредь до заключения выкупной сделки выполнять свои повинности перед помещиком.

Стр. 297. *Мамай* — татарский хан, захвативший власть в 1361 году, разбит русскими войсками под водительством Дмитрия Донского в битве на Куликовом поле в 1380 году.

Стр. 300. *...некому руку подать»...* — из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно».

ОВЦА БЕЗ СТАДА

Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1877, IX, с подзаголовком в скобках: «Из памятной книжки», за подписью: «Г. Иванов». При жизни писателя очерк переиздавался четыре раза: вместе с очерками «Из деревенского дневника» в издании 1880 года и во всех трех прижизненных изданиях Сочинений.

Очерк написан на основании наблюдений в селе Сопки Валдайского уезда Новгородской губернии, как и последовавшие за ним первые очерки «Из деревенского дневника». В очерке используются также впечатления от заграничных встреч писателя с народниками во время поездки 1875—1876 годов.

В издании 1880 года очерк, по сравнению с журнальной публикацией (рукопись не сохранилась), подвергся правке, в основном стилистического характера. Количество разночтений незначительно. При включении же очерка в первое издание Сочинений (т. V, 1884) изменения сделаны более существенные. Наряду с некоторой стилистической правкой и дроблением очерка на семь подглавок сделаны сокращения с целью смягчить, как и в очерках «Из деревенского дневника», его острую публицистическую направленность. Так, устранено ироническое замечание по поводу «слияния» народнической интеллигенции с мужиком. Устранена декларация Успенского относительно своей литературной позиции как летописца новых фактов действительности и той задачи, которую он ставил себе при создании данного очерка.

Таким образом, данный очерк и по содержанию и по творческой судьбе тесно примыкает к циклу «Из деревенского дневника».

Стр. 327. *...мирового посредника...* — Мировой посредник — должность, установленная по реформе 1861 года; мировые посредники назначались из дворянства губернаторами по рекомендации предводителей дворянства и утверждались министром внутренних дел. Основная их функция — быть посредником между помещиком и крестьянами при составлении так называемых «уставных грамот», в которых определялись размеры крестьянского надела и крестьянские повинности.

—*...земского гласного...* — Земские гласные избирались в губернские и уездные земские собрания; согласно положению 1864 года о земской реформе, выборы были «бессословными», но фактически они обеспечивали преобладание в земских органах дворян и чиновников.

Стр. 329. *...о войне...* — Имеется в виду русско-турецкая война 1877—1878 годов.

Стр. 330. *Абдул-Азис* — турецкий султан, убит 4 июня 1876 года в результате дворцового переворота.

Стр. 331. *Дарвин* Чарльз Роберт (1809—1882) — великий английский ученый-естествоиспытатель.

— *Гумбольдт* Александр (1769—1859) — выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник.

Стр. 332. *Брем* Альфред Эдмунд (1829—1884) — немецкий зоолог, автор известной книги «Жизнь животных» (1863—1869).

— *...сведения Боткина...* — Имеется в виду Боткин Сергей Петрович (1832—1889) — выдающийся русский врач-терапевт, ученый, основоположник физиологического направления в клинической медицине, крупный общественный деятель.

— *Бутлеров* Александр Михайлович (1828—1886) — великий русский химик; стихийный материалист в своей научной работе, в философских взглядах он был идеалистом, опубликовал в 70-х годах ряд статей в защиту спиритизма. *Вагнер* Николай Петрович (1829—1907) — русский зоолог и писатель-беллетрист; выступал со статьями, пропагандировавшими спиритизм.

Стр. 334. *...красный околыш интеллигенции...* — Имеется в виду: дворянской интеллигенции; только дворяне имели право ношения фуражки с красным околышем.

Стр. 335. *...волнение рабочих...* — Здесь рассказывается о забастовке, происшедшей в июле 1875 года на ткацкой фабрике Коншина в Серпухове; забастовка окончилась победой рабочих.

Стр. 338. *После войны...* — Крымской войны 1854—1855 годов.

— *...секретарем в комитете...* — Имеются в виду губернские

дворянские комитеты, учрежденные в 1858 году для составления положения об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян.

Стр. 344. *Крестовый поход* — так назывались военные походы западноевропейских феодальных государств на Восток в XI — XIII веках под предлогом защиты интересов христианской религии и церкви.

— *Варфоломеевская ночь.* — Деятельность винных и других откупщиков здесь сравнивается с массовой резней гугенотов (сторонников протестантской религии во Франции), произведенной католиками в Париже в ночь под праздник св. Варфоломея, 24 августа 1572 года.

МАЛЫЕ РЕБЯТА

Печатаются по изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Впервые напечатаны в «Отечественных записках», 1880, II и V, с подзаголовком в скобках: «Из памятной книжки», за подписью: «Г Иванов». После первой публикации при жизни писателя переиздавались четыре раза: в сборнике «Деревенская неурядица», т. I, СПБ., 1882, и во всех трех прижизненных изданиях Сочинений.

Очерки «Малые ребята» являются продолжением творческой разработки в основном того же жизненного материала, что и в предыдущих очерках, и также примыкают к основному циклу периода — «Из деревенского дневника». Переработка очерков от издания к изданию сходна с переработкой предшествующих очерков (незначительная правка стилистического характера издания 1882 года, наиболее существенные переработки при подготовке т. V первого Собрания сочинений в 1884 г.). Сохранившиеся части наборной рукописи очерков, а также черновые наброски некоторых неполных глав свидетельствуют о большой работе писателя по разъяснению в своем творчестве новой проблематики (взаимоотношения интеллигенции и народа, вопросы воспитания детей и др.). При публикации очерков в журнале, как это видно из сличения текста с наборной рукописью, автору пришлось посчитаться с требованиями цензуры. Так, подверглись смягчению выражения о народном разорении, о правительственных мерах по регламентации крестьянского хозяйства (исключены слова крестьян: «Явно разбой! Разор! Вконец разорят! Хоть ложись помирай!»), резкие выпады кре-

стьян против полицейских властей (исключены, например, эпитеты, характеризующие отношение крестьян к представителю власти: «*жестоко* сверкнули глаза», «*гневно* прибавил», «приехал *пес*, с каким приказом»; слово «*урядник*» заменено повсюду словом «верховой»), высказывания о тех гонениях, которым подвергалось революционное народничество в 70-х годах («Много в ту пору перевешалось, передушилось, перестрелялось народу...»).

При подготовке очерков для первого издания Собрания сочинений Успенский произвел ряд изъятий, в основном публицистического характера. Эти изъятия шли в двух направлениях: с одной стороны, удаляются некоторые места антинароднического характера (так, например, о кулацкой морали и в рукописи и в первых двух публикациях говорилось как об «имеющей... в недалеком будущем пропитать решительно все сферы общества»), а с другой, — устраняются некоторые противоречивые суждения самого писателя, носившие народнический характер (таково, например, рассуждение о пореформенном крестьянине, который будто бы «примкнул к общечеловеческой семье, к общечеловеческим порядкам, он сделался судьею в чужом общечеловеческом деле, он стал общественным деятелем не только у себя в деревне, но в волости, в городе, в столице» и т. д.) (См. «Деревенская неурядица», т. 1, стр. 107—109.)

В окончательной редакции усилен иронический оттенок в характеристике главного героя — Ивана Ивановича Полумракова. Так, слов, характеризующих его министерство как одно из «устрояющих, созидающих, направляющих и руководящих» (эти эпитеты напоминают щедринские названия царских министерств того же периода), в первоначальных редакциях не было.

Очерк не получил правильной оценки в современной Успенскому критике. Народническая «Неделя», встретившая начало очерка с большими похвалами, не удержалась затем от упрека Успенскому в пессимизме: «Это исключительное сосредоточение на невеселых условиях и помешало г. Успенскому разглядеть скрытую сущность народной жизни и народной души; оно-то и придало такой мрачный отпечаток безнадежного пессимизма всем его изображениям» («Неделя», 1881, № 50, 13 декабря, стр. 1703). Для реакционного журналиста Е. Маркова очерки «Малые ребята» послужили поводом для возгласов о «засилии мужика» в «Отечественных записках» («Русская речь», 1880, XII, 208). Глубоко демократическое направление журнала, руководимого М. Е. Салтыковым-Щедриным, вызывало раздражение и озлобление у представителей реакции.

Стр. 355. *Куинджи* Архип Иванович (1872—1910) — русский художник-пейзажист.

Стр. 395. *Суворинский календарь* — календарь, издававшийся А. С. Сувориным, издателем реакционной беспринципной газеты «Новое время».

Стр. 402. *Для Ротшильда...* — Ротшильды — семья банкиров, разветвленная династия финансовой олигархии; продолжают играть важную роль в капиталистических странах и в настоящее время.

БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАНЯТИЙ

Печатаются по тексту «Отечественных записок», 1881, I, III, IV, VI и VIII.

После опубликования очерков в журнале цикл при жизни писателя перепечатывался четыре раза: почти без всякого изменения в сборнике «Деревенская неурядица» (т. III, 1882; было изменено несколько заглавие: «Из записок человека «без определенных занятий») и во всех трех прижизненных Собраниях сочинений, где состав и содержание цикла были сильно сокращены и изменены. Эти сокращения и изменения были вызваны сложными общественно-политическими обстоятельствами, в условиях которых создавались, а потом переиздавались очерки Успенского.

Цикл «Без определенных занятий» писался в период, связанный с событиями 1 марта 1881 года, когда народовольцами был убит царь Александр II. Если первые очерки цикла отражали общественный подъем, связанный с революционной ситуацией 1879—1880 годов (отсюда острота критики существующих отношений в «Сне под новый год»), то последовавшая затем реакция и полицейский террор заставляли смягчать картины изображаемой действительности, приспособляться к усилившемуся цензурному гнету. Но все же и в последующих очерках Успенскому удавалось сказать многое о переживаемом периоде. В судьбе героя очерков читатель угадывал трагедию, пережитую революционным народничеством, в ряде мест очерков содержались намеки и открытые указания на голод, на разорение крестьян, на судебные процессы крестьян за «сопротивление властям». При публикации очерков в «Отечественных записках» приходилось, как это показывают сохранившиеся наборные рукописи части очерков, смягчить ряд мест, изменить заглавие очерков (так, очерк «На травке» имел первоначальное заглавие «Деревня после 1 марта»). Но все же

общественный подъем начала 80-х годов позволил пройти очеркам сначала в журнале, а затем (почти без изменения) и в отдельном сборнике 1882 года, хотя при издании последнего цензура и обратила внимание в этих очерках на «крайне грустную картину все ниже и ниже падающего быта крестьянина» и на «тирады о безвинно страдающих народниках» (Дело СПБ. цензурного комитета 1881 года, № 88; Центр. гос. ист. архив в Ленинграде).

Ко времени издания тома шестого Собрания сочинений (1884), в который включался данный цикл, политическое положение в стране существенно изменилось: реакция все более укреплялась, были закрыты «Отечественные записки», ряд прогрессивных изданий уничтожен цензурой. В этих условиях Успенский не решился включать в Собрание сочинений очерки в их первоначальном виде, и цикл «Без определенных занятий» претерпел существенные изменения: совершенно устраняется очерк «Лиссабонский разглагольствует», в других очерках сделаны значительные изъятия, последние два очерка слиты в один, причем оценочное заглавие («Глубокая несправедливость») было снято. Таким образом, вместо первоначальных семи глав получилось пять. Так как был устранен центральный для характеристики главного лица очерк («Лиссабонский разглагольствует»), то теряло смысл и первоначальное заглавие цикла, и Успенский заменяет его на «Очерки, рассказы, письма», подчеркивая этим разрушенность цикла. Выпущенные места касались острых политических проблем и фактов: о крестьянских процессах, самарском голоде, о растущем бюрократизме в деревенской общине, о необходимости крестьянского возмущения, задачах интеллигенции и др. Сам Успенский, объясняя в подстрочном примечании к циклу изменения, оправдывал их утратой актуальности некоторых моментов очерков. Но ясно, что это «оправдание» носило внешний и вынужденный характер, так как перечисленные проблемы и факты, конечно, не утратили своего значения ни в 1884 году, ни в более позднее время. Не решился Успенский на восстановление пропусков и в изданиях 1889 года. За прохождение через цензуру второго и третьего изданий Успенский опасался чрезвычайно: он боялся привлечь к себе внимание своим юбилеем (двадцатипятилетие литературной деятельности, отмеченное общественностью в 1887 году), его письма полны тревоги за издание. О литературе, стонущей под гнетом царской цензуры, Успенский в 1888 году в одном из писем говорил: «Она убита в самых лучших своих стремлениях и приведена к тому, что писатель, садясь за работу, думает о том, чтобы не писать так, как он думает» (Г. И. Успенский. Полн. собр. соч., т. XIV, изд.

АН СССР, 1954, стр. 91). По поводу второго издания сочинений он писал Соболевскому: «Книги мои совершенно окончены печатанием... Но утверждают за достоверное, что книг моих не выпустит цензура. И не только я ничего в них не прибавил из цензурных вырезок, которые было вставил, — но, напротив, еще оборвал и урезал» (там же, стр. 196—197).

О том, что очерки «Без определенных занятий» были «опасны» в цензурном отношении, доказывает вышеприведенный отзыв цензуры в связи с изданием 1882 года; сохранился и другой отзыв цензуры об одном из очерков этого цикла. Когда в 1898 году издательница О. Н. Попова представила в цензуру очерк «Сон под новый год» с целью напечатать его отдельным изданием в серии книжек для народа, то С.-Петербургский цензурный комитет определил: «Согласно мнению цензора, рассказ этот... как непригодный для народного чтения, к печатанию не дозволять» (Дело СПБ. цензурного комитета, 1898, № 122).

Таким образом очевидно, что Успенский при сокращении и изменении текста цикла «Без определенных занятий» при печатании его в Собраниях сочинений был вынужден считаться с цензурными требованиями.

Вместе с тем из сопоставления текстов журнальной и последней прижизненной редакций видно, что художественной, стилистической правки цикла Успенским не производилось (есть лишь незначительные разночтения, в основном в части пунктуации).

Исходя из того, что при изменении текста цикла «Без определенных занятий» Успенский исключил места большого идейного и художественного значения, что эти исключения по всем данным обусловлены опасениями перед цензурой и что в остальной части текст остался без каких-либо серьезных изменений, — редакция сочла необходимым в настоящем издании избрать за основу текст первоначальной публикации цикла. По части сохранившейся рукописи восстановлены места, исключенные по цензурным требованиям, на основании рукописи и других изданий исправлены опечатки, пропуски и т. п., допущенные в журнальной публикации.

В очерках «Без определенных занятий» нашли отражение как непосредственные наблюдения писателя, так и его знакомство с широкой русской прессой, в которой он особенно внимательно следит за материалами о деревне. В образе Лиссабонского отразились также факты движения интеллигенции «в народ». Работа в деревне в качестве волостных и сельских писарей, счетных работников, фельдшеров и т. д. была типичным явлением в практике народнического движения.

Очерки «Без определенных занятий» были широко известны передовым кругам русских читателей. Изображенные здесь картины крестьянской жизни использовались в марксистской литературе 90-х годов. Так, Г. В. Плеханов в «Политическом социально-революционном обозрении» («Социалист», 1899, № 1, июнь, издавался в Женеве) использует образ деревенского старшины из очерка «Своекорыстный поступок» (См. Г. В. Плеханов. Сочинения, т. III, стр. 108—109).

Стр. 419. *«Россия»* — газета реакционно-аристократического направления, издававшаяся в 1880 году в Петербурге; далее цитируется передовая статья этой газеты от 17 ноября (№ 63).

Стр. 422. *...все куплю, сказало злато...* — из стихотворения А. С. Пушкина «Золото и булат».

— *Губонин да Поляков* — капиталисты-миллионеры, особенно нажившиеся на железнодорожном строительстве.

Стр. 423. *Процесс великолуцких мужиков* — дело о сопротивлении властям крестьян Великолуцкого уезда при взыскании арендной платы помещику: крестьяне были введены в заблуждение неправильным землеустроительным планом и отказались платить аренду за землю, которую справедливо считали своей. Подробнее об этом процессе Успенский пишет в очерках «Крестьянин и крестьянский труд».

— *Процесс крестьян графа Бобринского.* — Имеется в виду дело крестьян села Люторич Епифанского уезда Тульской губернии, доведенных до открытого возмущения вымогательством помещика, у которого крестьяне остались в полнейшей экономической зависимости и после своего «освобождения». Упоминаемый далее *Фишер* — управляющий имением графа Бобринского.

Стр. 424. *Закон о страховании труда*, введенный Бисмарком, имел целью расколоть рабочее движение, так как страхование распространялось только на часть рабочих.

Стр. 425. *...на фабрику Хлудова требуют солдат...* — в связи со стачкой рабочих на Ярцевской мануфактуре в Смоленской губернии в сентябре 1880 года.

Стр. 446. *Паранька* (Паланька), а также упоминаемый далее *Иван Ермолаевич* описаны в очерках «Крестьянин и крестьянский труд».

Стр. 471. Знаком ‹...› обозначен пропуск, вкравшийся в первоначальную публикацию очерка.

Стр. 483. *...словами Кулигина...* — в драме А. Н. Островского «Гроза».

Стр. 485. ...*сожжена... старушка...* — Речь идет о факте, имевшем место 4 февраля 1879 года в деревне Зрочеве Тихвинского уезда Новгородской губернии, где крестьянка-вдова была принята за колдунью и сожжена вместе с ее избой.

Стр. 489. ...*«забыться и заснуть»...* — из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу»,

Стр. 499. ...*читал Брема...* — см. примечание к рассказу «Овца без стада», стр. 332.

Стр. 500. ...*монастырь... Антоние...* — Антониев монастырь на берегу Волхова, основанный в 1106 году.

Стр. 508. ...*про одного... старика...* — Успенский написал рассказ «Старики (Из памятной книжки)», напечатанный в «Русской мысли», 1881, № 11; впоследствии вошел в состав рассказа «Старый бурмистр».

Стр. 518—519. *«Живописное обозрение»* — еженедельный иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге.

Стр. 523. ...*крестился в водах Днепра...* — Имеется в виду принятие христианства в России.

Стр. 524. ...*тронулись... «в народ»...* — Движение «в народ» особенно массовый характер приняло летом 1874 года; оно было обречено на полное поражение и закончилось рядом политических процессов над революционерами-народниками. В. И. Ленин об этом движении писал: «Вера в коммунистические инстинкты мужика, естественно, требовала от социалистов, чтобы они отодвинули политику и «шли в народ». За осуществление этой программы взялась масса энергичнейших и талантливых работников, которым на практике пришлось убедиться в наивности представления о коммунистических инстинктах мужика» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 259).

— *«гонимы вешними лучами»* — строка из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Отрывки очерков «Из деревенского дневника», не вошедшие в тексты прижизненных Собраний сочинений Успенского, печатаются по изданию: «Люди и нравы современной деревни. (Из деревенского дневника)», М., 1880. Текст предисловия «От автора» — по публикации журнала «Голос минувшего», 1914, IV, стр. 213—216.

Относительно содержания данных отрывков и предисловия см. примечания к очеркам «Из деревенского дневника».

Стр. 532. *...без всяких изменений...* — Это утверждение не следует понимать буквально: Успенский произвел значительную правку текста очерков «Из деревенского дневника» при подготовке его к отдельному изданию (см. об этом в примечаниях к циклу). Писатель имел в виду, что он не произвел каких-либо изменений в составе и содержании очерков.

Стр. 533. *«Отрывок четвертый»* — так озаглавлена в издании 1880 года публицистическая статья, которая первоначально была опубликована под заглавием «В объяснение недосказанного» («Отечественные записки», 1878, № 11). Эта статья явилась ответом Успенского на многочисленные критические отклики, вызванные его деревенскими очерками; этою же статьей Успенский предполагал и закончить свой цикл деревенских очерков 1877—1878 годов (см. подзаголовок, имевшийся в журнале: «Отрывок шестой и последний»), однако в 1879 году появился очерк «Черная работа», а затем в 1880 году статья «Народная книга», которые Успенский впоследствии также включил в состав цикла «Из деревенского дневника».

— *...вторую недоимку...* — Успенский имеет в виду недостаток в народном, крестьянском сознании интереса к положению своих односельчан, общинников, среди которых немало «сирот, малых и старых», нуждающихся в помощи и внимании.

Стр. 534. *Сербская война* — восстание против турецкого гнета, вспыхнувшее в Боснии и Герцеговине в 1875 году и закончившееся поражением сербов; восстание вызвало добровольческое движение в России, в котором приняли участие и некоторые представители революционной народнической интеллигенции. В сентябре 1876 года Успенский, находившийся в Париже, также выехал в Сербию, откуда написал ряд корреспонденций, печатавшихся в «С.-Петербургских ведомостях» и «Отечественных записках».

— *Чудовские певчие* — певчие Чудовского монастыря в Москве, в Кремле.

— *Мухтар-паша* — турецкий генерал-губернатор Боснии и Герцеговины, командовавший в 1875 году турецкой армией.

— *Славянские комитеты*, основанные в Москве в 1858 году и в Петербурге в 1868 году, во время сербской войны развернули широкую деятельность по организации движения добровольцев.

Стр. 536. *«От себя или от деревни?»* — статья П. П. Червинского, напечатанная в «Неделе», 1876, № 2.

— *«Что ему Гекуба?»* — фраза Гамлета из одноименной трагедии Шекспира.

Стр. 538. *Тит Титыч* — Брусков, действующее лицо в пьесе А. Н. Островского «Тяжелые дни»; *Катерина* — героиня из пьесы А. Н. Островского «Гроза»; *«Горе сел, дорог и городов»* — название сборника «Повестей, рассказов, очерков и картин из народного быта» А. И. Левитова (М., 1874).

Стр. 539. *...в доме Вяземского, на Сенной* — домá на Сенной площади в Петербурге, в которых ютилась городская беднота.

Стр. 542. *...изучить устав...* — См. в настоящем томе очерк «Мученики мелкого кредита».

Стр. 546. *Рассказывал мне...* — Последующий рассказ помещался в конце второй подглавки после слов: «...без всякой причины, «ни за что» (см. в данном томе стр. 16).

Стр. 548. *Чтобы яснее представить* — следовало после слов: «...когда он подходит к нему «просто так», как «человек к человеку» (стр. 24).

— *...в одном из следующих очерков...* — см. главу IX «Из деревенского дневника».

Стр. 549. *...Завладев имением...* — следовало после слов: «...барином оставался» (стр. 25).

— *Новый барин* — ср. «Чудак-барин» в «Непорванных связях».

Стр. 550. *Всматриваясь в инструкции...* — следовало после слов: «...на ее карман» (стр. 32).

— *...о крестьянском самоуправлении...* — Имеется в виду самоуправление, установленное реформой 1861 года. В органы крестьянского самоуправления входили: сельский сход, избиравший сельского старосту, сборщика податей и других мелких должностных лиц; волостной сход, избиравший волостное управление и волостной суд. Ведению этих органов подлежало очень ограниченное количество дел, преимущественно по раскладке и сбору податей и повинностей; в обществах с общинным землевладением сюда добавлялись вопросы, касавшиеся земельных распорядков.

Стр. 551. *В общих чертах...* — следовало после слов: «За ним есть недоимка».

Стр. 552. *В общих чертах...* — следовало после слов: «...деньги нужны «дозарезу» (стр. 50).

— *...последний пример...* — следовало после слов: «...не нажить «больших» капиталов!..» (стр. 109). Выше было рассказано о безуспешных попытках крестьянина Ивана Абрамова заработать «на стороне» необходимое для поправки хозяйства количество денег.

В окончательной редакции образ Ивана Абрамова слит в одном лице с Иваном Афанасьевым.

Стр. 553. *Наконец, обратите внимание...* — Последующий абзац следовал за словами: «подайте христа ради, что вашей милости будет!..» (стр. 114).

Стр. 554. *Здесь отец не пускает...* — следовало после слов: ...непроходимой темноты и тяжести...» (стр. 118).

— *«Стало быть, так угодно богу...»* — следовало после слов: ...веры в предопределение свыше» (стр. 118).

Стр 555. *«И нет людей...»* — данный абзац заканчивал главу четвертую. (По изданию 1880 года: «В степи. Отрывок второй».)

— *Признаюсь, все эти соображения...* — следовало после слов: «теперь стало на этот счет потише...» (стр. 159).

Стр. 556. *Приведу два примера...* — следовало после слов: ...ничего не желающего слышать и знать упорства!» (стр. 162).

Стр. 557. *...скрупул, драхм, унций...* — старинные единицы аптекарского веса, равные — 1,24 г, 3,732 г и 29,86 г.

Стр. 559. *Не зная еще всей трудности...* — следовало после слов: «...о каком-то жалованье...» и служило концом главы шестой (стр. 201).

— *...один врач... обругал меня...* — Видимо, имеется в виду заметка за подписью «Пустомеля», напечатанная в «Самарском справочном листке» 1878, № 225.

Стр. 560. *Но тут произошло обстоятельство...* — следовало после слов: «И стал Андрей Васильич жить «пока что»...» (стр. 226). Данным отрывком заканчивался цикл в издании 1880 года.

— *К главе IX.* — Данный отрывок являлся началом статьи «Народная книга», включенной в сокращенном виде в цикл «Из деревенского дневника» в первом издании Собрания сочинений.

— *Некто г. Б...* — По предположению Б. П. Козьмина, имеется в виду И. С. Беллюстин, сотрудничавший в «Новом времени»; Успенский говорит о статье «Неудовлетворяемые стремления» («Новое время», 1880, № 1584, 27 июля).

Стр. 563. *У грозного помещика сгорела деревня...* — Подробнее этот эпизод Успенский разработал в очерках «Из разговоров с приятелями. (На тему о власти земли)» в главе «Интеллигентный человек».

Стр. 564. *Сютаевцы* — секта, основанная крестьянином Новоторжского уезда Тверской губернии Сютаевым Василием Кирилловичем.

Стр. 570. *Два сириянина идут в Иерусалим...* — Данный рассказ и последующий о пустыннике, лошади и льве перекочевали в лубочную литературу из так называемых «Патериков» или «Отечников» — сборников переводных рассказов из жизни святых; эти патерики были известны в России с XI века, из них наиболее распространенными были: «Синайский патерик» (или «Луг духовный») Иоанна Мосха и «Египетский» («Сказание о египетских черноризцех»).

Стр. 571. *Митрополит Филарет* — московский митрополит, автор книг «Православное догматическое богословие», «История русской церкви» и др.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

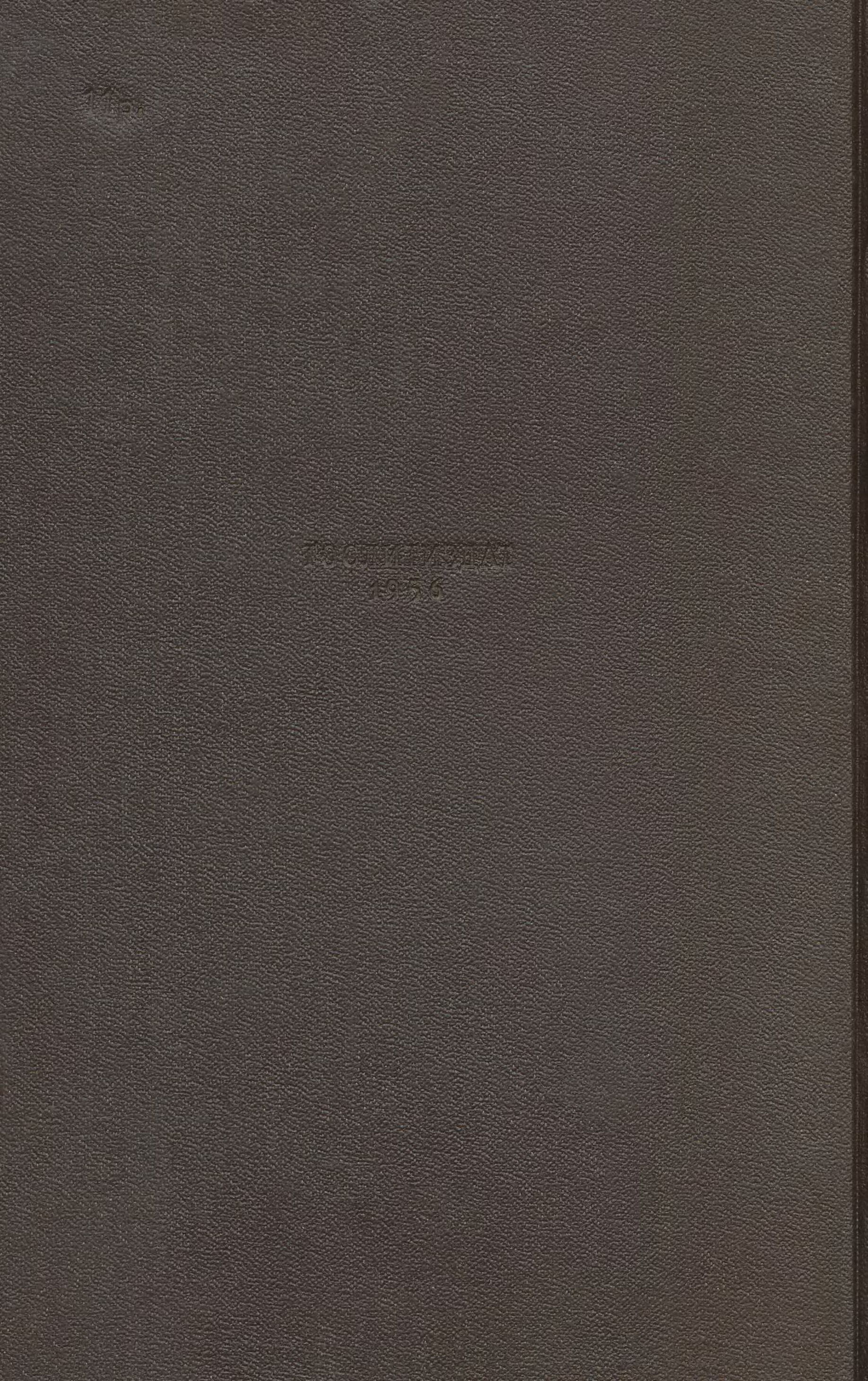
ИЗ ДЕРЕВЕНСКОГО ДНЕВНИКА

Редактор П. П. Быстров
Художник А. Я. Малков
Художественный редактор
А. М. Гайденков
Технический редактор
Л. П. Крючкина
Корректор И. Ф. Кузнецова

Подписано к печати 23/II 1956 г. М-00704. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$—38 печ. л. = 31,16 усл. печ. л. 30,51 уч.-изд. л. + 5 вкл. = 30,84. Тираж 150000 экз. Заказ № 827. Цена 11 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности.
4-я тип. им. Евг. Соколовой.
Ленинград, Измайловский пр., 29


ГОСПОЛИТИЗДАТ
1956